ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



Захар Прилепин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

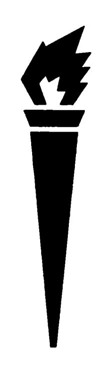
120 лет
биографической серии
«Жизнь замечательных людей»



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК
1427
(1227)

Захар Прилепин

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

«ИГРА ЕГО БЫЛА ОГРОМНА»



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2010

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Леонов Л.М
П 76



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

*Автор выражает благодарность Дмитрию Быкову,
который летним днём 2005 года надоумил меня взяться
за жизнеописание Леонида Леонова,
Николаю Андреевичу Макарову, внуку Леонида Леонова, —
за помощь и понимание,
Наталии Леонидовне Леоновой, дочери писателя, —
за гостеприимство и критические замечания,
далеко не все из которых, каюсь, были учтены в этой книге,
Ольге Ивановне Корнеевой,
возглавляющей Государственный архив Архангельской области, —
за любезно предоставленные неизвестные ранее документы
о пребывании Леоновых в Архангельске,
Андрею Рудалёву и Эду, приютившим меня в Архангельске,
Алексею Коровашко, Илье Шамазову, Алексею Коленскому —
за дельные советы,
а также всем, изучавшим жизнь и творчество Леонида Леонова
и тем самым серьёзно облегчившим мне работу над этой книгой,
издателям, которые публикуют сей труд.*

ISBN 978-5-235-03318-4

ОТ АВТОРА

Леонид Максимович Леонов — мир непомерный.

Путешествовать в этом мире надлежит с богатым запасом сил, с долгой волей и спокойным сердцем. С пониманием того, что он полноправно граничит с иными мирами мировой культуры.

Принимаясь за свой труд, мы знали, что наше путешествие в мире Леонова лишь началось. И едва ли даже путь длиною в жизнь позволит пройтись хотя бы раз каждой тайной тропой.

Тем более что нам памятны уже пройденные места в этом мире, куда так хочется возвращаться из раза в раз. Там пришлось пережить минуты, быть может, наивысшего счастья читателя и слушателя. Там замирало сердце от внезапной высоты и от пугающей глубины.

Вот несколько наименований тех мест, что отозвались радостью или прозрением.

Повесть «Evgenia Ivanovna» — как мягкий, тёплый круг на солнечной стене.

«Петушихинский пролом»: внезапно открывшаяся, беззвёздная, чёрная вышина, вспугнувшая взгляд так, что в ужасе сами зажмуриваются веки.

Величественная «Дорога на Океан», где врывается зимний воздух в распахнутое окно и взметаются ледяные шторы, полные хрусткого снега.

«Необыкновенные рассказы о мужиках» — как тяжёлая, густая смурь над среднерусской деревней, в которую вглядываешься долго и безответно.

Роман «Вор», который сам есть отдельный мир удивительного городского многоголосья, живых теней Благуши, предсмертной высоты цирковой арены, пивной пены московских нэпманских кабаков, тоскливых тупиков достоевской нашей родины...

И «Пирамида» — почти бесконечный путь, где за каждым поворотом новые неисчислимые, выворачивающие разум перекрестья. Идёшь им иногда словно в душном бреду, иногда словно в прозрачном сновидении, порой словно ведомый кем-

то, порой напрягая все силы разума, дабы не заблудиться, — и нежданно выходишь на страшный пустырь размером в человеческую душу...

Сказанное Леоновым таит великое количество пророчеств. Нечеловеческим зрением своим он зафиксировал несколько движений Бога.

В прозе его равно различимы первый детский смех и последний тектонический гул глубинных земных пород.

Читая Леонова, иногда будто бы скользишь по-над ясной водой; но иногда словно продираешься в тяжёлом буреломе, под хруст и хряст веток, глядя вослед заходящему, оставляющему тебя в чёрном лесу солнцу.

И только упрямый путник будет вознаграждён выходом на чистую, открытую небу почву, где струится холодный ключ, целебнее которого нет.

* * *

Кому-то может показаться, что в случае с Леоновым всё понятно: совпис, многократный лауреат, орденоносец, «Русский лес» и что-то там ещё...

Но ничего ясного вовсе нет: ранняя его, пронзительная проза не прочитана и даже не опубликована толком; «советские» романы его, страшно сказать, почти не поняты, хотя переизданы десятки раз на десятках языках; о «Пирамиде» и речь вести страшно: неизвестно, с какого края к ней подступаться; те же, кто подступался, — зачастую видели лишь свой край, и то — насколько хватало зрения.

Сама судьба Леонова амбивалентна: её легко можно преподнести и как несомненно успешную, и как безусловно трагическую.

Родился в Москве, в семье забытого ныне поэта-суриковца. Семья распалась, когда Леонид ещё был ребёнком: отца отправили в ссылку, и он покинул столицу с новой гражданской женой, оставив в Москве пятерых детей.

Юность Леонова пришлась на Гражданскую войну.

Не испытывая очевидной симпатии к большевикам, в силу обстоятельств он попал в Красную армию. Собственно Гражданскую войну Леонов описывал очень мало и вспоминать эти времена не слишком любил.

Вернувшись в Москву, Леонов пробовал поступить в университет и провалился.

Начал писать прозу и выступил с рядом рассказов и повестей, сразу принёсших ему признание определённого круга читателей — но не критики.

Со второй половины 1920-х годов Леонов выступает как драматург. Одна из первых его пьес была запрещена вскоре после премьеры. Ещё более трагична была судьба другой, написанной накануне войны пьесы, которая подверглась сокрушительному разносу.

Куда более Леонов известен как романист. Имя писателя часто ассоциируется с жанром «производственного романа». По внешним признакам к этому жанру можно отнести книги, изданные Леоновым в 1930-е годы: «Соть», «Скутаревский», «Дорога на Океан». Со временем, но далеко не сразу, они принесли Леонову и читательский успех, и блага, даруемые властью. Однако сегодня, вместе с полной потерей актуальности жанра производственного романа, почти исчез и читательский интерес к Леонову.

Самое, пожалуй, известное произведение Леонида Леонова — роман «Русский лес», вышедший в 1953 году, сначала едва не растерзанный в пух и прах литературными недоброжелателями, а потом неожиданно удостоенный Ленинской премии, для современной читающей публики является, с позволения сказать, непроходимо советским.

После «Русского леса» в течение полувека Леонов не публиковал больших вещей, да и публицистика его появлялась в печати всё реже.

Писатель постепенно исчез из эпицентра литературной жизни, уступив его иным властителям дум. На исходе 1980-х многие думали, что Леонова и в живых уже нет.

Известен знаменательный диалог тех лет меж Никитой Сергеевичем Михалковым и его отцом, баснописцем, автором трёх гимнов Сергеем Владимировичем. «Папа, а Леонид Леонов ещё жив?» — «Жив». — «И всё ещё соображает?» — «Соображает, но боится». — «Чего боится?» — «Соображать».

Ещё более категорично высказался известный беллетрист Михаил Веллер, походя бросив в своём романе «Ножик Серёжи Довлатова» следующую фразу: «...уже второе поколение читает и цитирует “фантастов” (низкий жанр!) Стругацких — и хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове».

Часть нового литературного истеблишмента фактически отказала Леонову в литературной значимости.

Впрочем, статус советского литературного вельможи ещё продолжал по инерции действовать на представителей власти. В 1989 году, в честь девяностолетия писателя, Леонова навестил генсек Михаил Горбачёв, между прочим, выразивший при встрече своё восхищение романом юбиляра «Бруски». Увы, Леонов никогда не был автором этого произведения, принадлежавшего перу писателя Фёдора Панфёрова.

Незадолго до смерти, уже в 1990-е, Леонов попал в больницу с диагнозом «рак горла». Его навещали нечастые посетители, ужасаясь убогим условиям, в которых находился писатель: палата напоминала грязный барак. В больнице Леонова собирался навестить ставший президентом Борис Ельцин, но передумал. Зачем ему был нужен советский классик?

В 1994 году Леонид Леонов издал свой последний роман «Пирамида». Если бы эта книга вышла на пять лет раньше, в те годы, когда взбудораженная публика рвала из рук в руки сочинения Анатолия Рыбакова и Александра Солженицына, её хотя бы прочитали. Не поняли бы, но всё-таки прочитали: всей, ну, или почти всей читающей страной.

Но в 1994-м уже начали падать журнальные и книжные тиражи, а само мировосприятие русской интеллигенции, до сих пор истово верившей в силу слова, вступило в период тяжёлой трансформации. В середине злополучных, суетливых, постыдных 1990-х «Пирамиду», по большому счёту, читать было почти некому.

...Это печальный вариант судьбы.

* * *

К счастью, у нас есть возможность рассказать всё иначе. Так что взмахнём лёгкими вёслами и вернёмся на тот берег, откуда отчалили, чтобы переплыть эту реку заново.

Итак, отец Леонова был широко известным в своё время поэтом суриковской школы. Оба деда Леонида Леонова жили в Москве и владели собственными лавками в Зарядье. Бóльшую часть детства Леонов провёл в дедовских домах. Степенные, колоритные старики глубоко повлияли на Леонова. В сущности, Леонов стал последним счастливым свидетелем той, старой, купеческой, домовитой, трудовой Москвы.

Он достойно отучился в школе и гимназии. Публиковаться начал ещё в 1915 году в архангельской газете, редактором которой был отец писателя.

После революции перебрался в Архангельск. Летом 1920-го добровольцем уходит в Красную армию. В 1921-м его откомандировывают в Москву. В 1922-м он, совсем молодой ещё человек, за весну—лето написал сразу добрую дюжину рассказов и повестей, и реакция первых слушателей была восторженной.

«Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему — Леонов, — писал художник Илья Остроухов Фёдору Шаляпину. — Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Как там умеет он её в такие годы увидеть — диво дивное!»

Первые книги Леонова были опубликованы в 1923 году. «Этот человек, без сомнения, является одной из самых больших надежд русской литературы», — напишет вскоре про Леонова Горький.

Леонова безоговорочно воспринимают как мастера, известность его быстро становится всеевропейской. Эпитет «великий» рядом с именем Леонова появится, когда писателю не будет и тридцати. Первое собрание сочинений Леонов выпустит в 29 лет. Эмигрантская критика увидит в Леонове чуть ли не единственное оправдание всей советской литературе. Родная критика подчас не жалует, но её приязнь далеко не всегда могла быть показателем достойного литературного труда.

С середины 1920-х книги Леонова выходили почти ежегодно (кроме нескольких сложных лет накануне и во время войны) в течение семи десятилетий. Многие романы выдержали свыше двадцати переизданий. И книги эти многие годы имели своих благодарных читателей: Леонову присылали тысячи писем.

Произведения его переведены на все основные языки мира. Библиотека научных работ о Леонове — огромна, она в сотни раз превышает по объёму написанное им и включает труды специалистов большинства европейских стран.

Влияние Леонова на всю русскую литературу глобально и не изучено во всей полноте.

Для одних Леонов был камертоном, по которому сверялось подлинное, значимое, важное. Другие, скажем, Владимир Набоков, сверяли по Леониду Леонову (и ещё по Шолохову) свой успех. Известно, как вопиюще несправедливо оценивал Набоков и «Тихий Дон» Шолохова, и «Барсуки» Леонова. Как ревновал Набоков, когда у Леонова в один день состоялись премьеры спектаклей по его пьесам и во МХАТе, и в Малом театре...

Ни тому, ни другому не дали Нобелевскую премию, хотя Владимир Набоков заслуживал её безусловно, а Леонида Леонова Нобелевский комитет в качестве соискателя премии рассматривал трижды...

Впрочем, что мы всё о литературе и о литературе...

Понятно, что, по словам самого же Леонова, «биография писателя — это его романы»; но и о жизни этого писателя тоже есть что сказать.

Он прожил без малого век, и судьба его стоит вровень с этим страшным и небывалым столетием. Леонов в разные годы века бывал и очарован, и оглушён, но никогда он не был раздавлен и унижен настолько, чтобы опуститься до бесстыдной подлости.

До последних дней он сохранил ясность рассудка: белый, сухой, как древнее дерево, старик, он многие годы строил свою «Пирамиду» и в 90 лет, и в 91 год, и в 92. Глаза стали сла-

беть — так он держал в памяти десятки телефонов своих редакторов и помощников.

Читая «Пирамиду» и памятуя о шутке сановитых Михалковых, понимаешь, кто тут на самом деле соображал.

Тем более смешно поминать имя того самонадеянного чудака, мимоходом сказавшего как-то в одном из своих легковесных романов: «...хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове».

Смешно оттого, что имя Леонова — самое неудачное из числа тех, что он мог бы выбрать для своего суесловного рассуждения. Те, кто Леонова называл своим учителем, — первые среди литераторов, ставших сутью и крепью литературы второй половины века.

Леонову посвятил Виктор Астафьев одну из первых своих повестей. Под благословляющим именем Леонова он начинал свой путь.

Учителем называл Виктор Астафьев Леонова уже сам будучи стариком: хотя какие вроде бы в такие годы могут быть учителя! А вот могут...

Космической мощью Леонова восхищён автор нескольких воистину великих романов о войне Юрий Бондарев.

«Где сейчас, в каком пространстве гений Леонова? — спрашивает он. — Там, в других высотах, в неземных декорациях, вокруг него не очень многолюдно, так как из миллионов художников только единицы преодолевают границу для дальнего путешествия к потомкам».

Валентин Распутин, классик безусловный, говорил в дни юбилея Леонова: «Два великих события на одной неделе — столетие Леонова и двухсотлетие Пушкина. Это даты нашего национального торжества. Дважды на этой неделе вечности придётся склониться над Россией».

Слышите? «Вечности склониться!»

Что самое забавное: даже выше упомянутые Стругацкие почитали Леонова высоко и прямо говорили о влиянии его книг на собственную прозу. А вы говорите: «...хоть бы одна зараза...»

Что до леоновской жизни, то она была куда сложнее тех набросков, что мы сейчас сделали: хоть печального рисунка судьбы его, хоть счастливого.

Жизнь его была и куда печальнее, и куда счастливее.

Будучи в возрасте патриарха, Леонид Леонов сказал как-то, что у каждого человека помимо внешней, событийной, очевидной биографии есть биография тайная и ненаписанная.

Не без трепета мы берём на себя смелость совместить, сшить не самой ловкой иглой в нашем повествовании обе эти жизни воедино.

Пойдёмте.

Глава первая

РОДИТЕЛИ. ЗАРЯДЬЕ. ДЕТСТВО

Когда ему было девять лет, приснился сон: он идёт по цветочному лугу, Господь начинает благословлять его, и обрывает движение...

Иногда кажется, что биографию Леонида Леонова стоит начинать не с дня его рождения, вести рассказ не с московских улочек начала позапрошлого века, но из тьмы запредельных глубин, где зародилась искра его сознания.

«Откуда же берётся у всех больших художников это навязчивое влечение назад, в сумеречные, слегка всхолмлённые луга подсознанья, поросшие редкими, полураспустившимися цветами? Притом корни их, которые есть запечатлённый опыт мёртвых, уходят глубже сквозь трагический питательный гумус и радиально расширяющееся прошлое, куда-то за пределы эволюционного самопревращенья, в сны и предчувствия небытия» — так говорил Леонов в «Пирамиде».

Но даже он ответа не дал: откуда в художнике и творце это влечение назад, всё дальше и дальше, минуя сны, память мёртвых, отсветы прошлого, за пределы первых времён?

И едва ли нам найти тот волшебный фонарь, что позволил бы проследить таинственный, горний путь искры божественного духа, однажды обретшей себе пристанище на земле в сердце человека по имени Леонид Леонов.

Оттого мы лишь возьмём на себя труд по мере сил проследить путь этого сердца от светлого дня мая 1899 года до сумрачного дня августа 1994-го.

Горемыка-отец

Леонид Леонов родился в Москве, в последний месяц весны, 19-го по старому стилю, по новому — 31-го, и был крещён по православному обычаю.

Отец — Максим Леонович Леонов, мать — Мария Петровна (в девичестве — Петрова).

К моменту рождения сына Леонида родители были женаты всего год, и проживут они вместе около десяти лет — с 1898-го по 1908-й.

Отец Леонова публиковал стихи под несколькими псевдонимами, самый известный из них — Максим Горемыка. По всей видимости, псевдоним отца является одной из первых нитей, которая связала судьбу самого Леонида Леонова с судьбой Максима Горького.

Скорее всего, Алексей Пешков, выбирая себе в 1892 году свой народнический псевдоним, не мудрствуя, сделал его по готовому образцу: от Максима Горемыки до Максима Горького полшага.

Правда, литераторов, писавших под псевдонимом Горемыка, существовало на исходе XIX века не менее десятка (и ещё пяток Горемыкиных и один Горемычный), но Максим всё-таки средь них был один, и к тому же самый известный.

Горький никогда не поднимал эту тему, но стихи Максима Горемыки знал уже в молодости.

Максим Леонович Леонов родился 13 (25-го по старому стилю) августа 1872 года в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии, в крепкой крестьянской семье.

Отец Максима Леоновича — то есть дед нашего героя — Леон Леонович Леонов смог перебраться из Полухина в Москву, открыть свою бакалейную лавку в Зарядье. Начал наездами поторговывать ещё в 1868-м, а потом переехал в город насовсем.

Десятилетним мальчиком и Максим Леонович, закончивший к тому времени полтора класса сельской школы (на этом его образование завершилось), отправился в Белокаменную помогать отцу, у которого дела шли всё лучше. На сына своего Леон Леонович возлагал надежды, но, как часто водится в подобных случаях, Максим выбрал себе путь совершенно иной, поперечный.

Поначалу он, как и ожидалось, служил в лавке отца «молодцом»: резал хлеб, развешивал жареный рубец, но чуть ли не втайне начал почитывать книжки, купленные задёшево на Никольском рынке. Книжки и поменяли жизнь его.

В 14 лет Максим Леонов познакомился в Зарядье со стариком-сапожником, из евреев-выкрестов. Звали старика Тихон Иванович, и в отличие от иных обитателей тех мест питал он слабость к литературе. Тихон Иванович и дал Максиму Леонову почитать поэта Сурикова, автора знаменитой «Рябины» (той, что шумит, качаясь и склоняясь головой до самого тына) и стихотворения «В степи» (про умирающего ямщика, которое

также стало народной песней). Суриков, как и Максим Леонов, родился в деревне, мальчиком переехал в Москву помогать отцу в мелочной лавке, выучился грамоте, а затем и стихотворству, начал публиковаться, получил известность. Умер в Москве в 1880-м молодым ещё, в сущности, человеком, тридцати девяти лет, хотя в общественно-читательском сознании Суриков неизменно представляется бородатым стариком.

Судьба Сурикова и стихи его, иногда пронзительные, иногда бесхитростные, Максима Леонова поразили. Так он и сам начал писать, показывая результаты старику-сапожнику. Одно из стихотворений Тихон Иванович, наконец, одобрил, произнеся колоритную фразу: «Рифмой не звучит, однако попытать можно».

Именно это стихотворение и вышло 28 февраля 1887 года в московской газете «Вестник», называлось оно «Взойди, солнышко». Максиму было в ту пору 15 лет.

В семье литературная деятельность Максима никому не глянулась.

«Отец мой, — вспоминал потом Максим Леонов-Горемыка, — старик старого закала и держал меня в ежовых рукавицах. Я рос каким-то забитым мальчиком, и жажда чтения, появившаяся у меня на 12-м году, поставила меня во враждебное отношение с отцом. Книги, которые находили у меня, рвали и жгли, не обращая внимания ни на слёзы, ни на мольбы. Я принуждён был читать украдкой».

Свидетельство трогательное, но отчасти сомнительное в свете дальнейшего острого интереса деда к литературе хотя бы церковной. Может, не так он не любил книги, как казалось сыну? Может, поведение сына куда больше мучило его?..

Стихи Горемыки наследовали одновременно и суриковской традиции (любовь к народу, милая деревня, доля бедняка), и иным модным именам той поры от Константина Фофанова до Мирры Лохвицкой (романсовые мотивы на тему: «...с тобою мы не пара, ты — прекраснейшая скрипка, я — разбитая гитара...»), но как поэт Горемыка несравненно слабее и Сурикова, и Фофанова.

Зато в качестве организатора он проявил себя достаточно рано. Правда, к печали отца, вовсе не в купеческом деле.

«В Зарядье, — вспоминал Леонид Леонов об отцовском бытье, — литературы, можно сказать, не ценили, и свой сюртук, например, в котором отправлялся на литературные выступления, поэт Максим прятал в дворницкой. Собираясь в кружок, тайком переодевался у дворника, а на рассвете в той же дворницкой облачался в косоворотку и поддёвку для приобретения прежнего зарядьевского обличия».

Максим познакомился с местными, зарядьевскими поэтами-самоучками, такими же по большому счёту отщепенцами, как и он: в друзьях были сын соседнего трактирщика Иван Зернов (он умер совсем юным, девятнадцати лет) и сын соседнего портного Иван Белоусов. «Левоныч» они называли его.

В 1888 году зарядьевский кружок молодых поэтов-самоучек вполне оформился: свидетельство тому — фотография московских поэтов «из народа», опубликованная тогда же в печати; Леонов-Горемыка среди прочих присутствует на ней. Годом позже выходит коллективный сборник кружка под названием «Родные звуки», собравший бесхитростные стихи десяти поэтов, ныне забытых напрочь, — упомянутого Белоусова, Вдовина, Глухарева, Дерунова, Раззорёнова, Крюкова, Козырева, Лютова, Слюзова. И самого Горемыки конечно же...

«Авторы настоящего сборника, — писалось в предисловии, — все писатели-самоучки, не получившие никакого образования, но своими собственными силами, без посторонней помощи пробившие себе путь на свет божий».

В том же 1889-м вышла и дебютная книжка Горемыки-Леонова под непритязательным названием «Первые звуки». Самоё слово «звуки» обладало для поэтов-самоучек необыкновенным очарованием: в XIX веке оно действительно являлось часто употребимым в поэтической речи...

Леонов-Горемыка являлся, по сути, и главой, и душой писательского кружка.

В многочисленных петербургских и московских журналах выходят не только его стихи (к примеру, такие: «От тоски-злодейки / Да от злой кручины / Пролегли глубоко / На лице морщины...»), но и статьи, в основном разоблачительного свойства — «Новый вид издательской аферы», «Переиздатели» (по вопросам книгопечатания). Печаталась его публицистика и за пределами столиц — скажем, в «Донской речи». Леонов-Горемыка был очень работоспособен. Переписку вёл просто огромную: позже, когда профессор А. К. Яцимирский решил собрать воедино биографии русских поэтов-самородков и за помощью обратился к Максиму Леонову, то в ответ получил письма и биографии буквально «в нескольких пудах». Тысячи документов!

В начале 1890-х вокруг него образовалась группа более чем из сорока человек. С 1890 года Леонов-Горемыка переписывается с известным поэтом-суриковцем Спиридоном Дрожжиным. В 1892-м знакомится с другим поэтом — Филиппом Шкулёвым, их дружба продлится долго.

Шкулёв был на четыре года старше Максима Леоновича, давно публиковался, казался пожившим; не имел, к слову ска-

зать, одной руки: покалечился ещё мальчиком, когда работал на заводе.

«Я услышал, что в Москве... есть поэт-лавочник, который хорошо пишет, а сам душа-человек, — вспоминал потом Шкулёв. — Посылаю письмо и вскоре получаю ответ: “Рад познакомиться, жду 28 мая, на Сокольническом кругу в 8 ч. вечера, на концерте в пользу Красного Креста, при входе”.

Прохожу на круг в указанное время, подхожу к молодому брюнету, в цилиндре, в сюртуке, в сорочке и в белых перчатках безукоризненной чистоты, словом, в буквальном смысле джентльмену и спрашиваю:

— Где я могу видеть Максима Леоновича Леонова?

— Я самый... — мило улыбаясь, ответил мне молодой человек».

Так и познакомились.

Придя, впрочем, в другой раз в лавку, где работал Максим, Шкулёв увидел совсем другого человека — «в грязном пиджаке с засаленным фартуком».

Леонов и Шкулёв посещали чайную, где сидели порой по пять-шесть часов, опиваясь чаем. Спиртного поэты-самородки не потребляли: сам Максим Леонов был убеждённым трезвенником и, судя по всему, позже передал это качество своему знаменитому сыну.

Общие собрания поэтов проходили в одном зарядьевском трактирчике; и вскоре странные, непьющие молодые люди начали вызывать интерес властей.

Косоворотка и поддёвка всё менее были по душе Максиму Леоновичу. Он отрастил длинные волосы и приобрёл вид для тех времён весьма симптоматичный.

Нелегальные собрания молодых людей, бесконечно говоривших на темы народных печалей, не очень приветствовались полицией. Максима несколько раз предупредили, он не внял. Кончилось тем, что, к ужасу родни, двадцатилетнего Леонова-Горемыку «административно выслали» в Архангельск, где он пробыл более года — с середины 1892-го до конца 1893 года.

Ссылка не прибавила Леонову-Горемыки ни лояльности к власти, ни стремления вернуться в отцовский дом развешивать жареный рубец.

Приехав домой, он выступает инициатором выпуска новых коллективных сборников своих собратьев по перу. Один за другим выходят «Блёстки», «Искры», «Грёзы», «Нужды»; что-то было в тех названиях от наименований лавочек — сказывалась все-таки кровь в детях зарядьевского купечества.

Книги эти пользовались определённой известностью, да и самого Максима Леонова знали уже и за пределами Зарядья.

Горький в одном из своих фельетонов в «Самарской газете» за 1895 год цитирует, с позволения сказать, стихи, присланные в газету очередным графоманом: «...прошу же я вас / напечатать в газете мой стих первый раз / как Леонов поэт прослыву я точь-в-точь».

В 1898 году выходит вторая книжка стихов Леонова-Горемыки, её рецензируют, порой даже хвалебно.

В 1902 году кружок Леонова наконец-то получает официальную санкцию на существование; называется он отныне Московский товарищеский кружок писателей из народа (спустя год его переименуют в «Суриковский литературно-музыкальный кружок»).

К этому времени стихи Леонова-Горемыки стали приобретать явную социальную окраску: проще говоря, Максима, к ещё большему удивлению отца, потянуло в революцию.

Он сходится с Николаем Бауманом, с 1903 года руководившим Московской партийной организацией большевиков и одновременно Северным бюро ЦК РСДРП.

Знакомство их было не очень долгим: 18 октября 1905 года Баумана убили. 20-го, на похоронах революционера, в которых приняло участие около ста тысяч человек, Максим Леонов произносит речь.

В тот же день он совместно со Шкулёвым открыл на Тверском бульваре, возле памятника Пушкину, магазин «Искры» и при нём издательство. «Искрой», между прочим, уже называлась первая нелегальная марксистская газета в России, которая под руководством Ульянова-Ленина выходила с 1900 года; правда, не на Тверском, а в Лейпциге, потом Мюнхене, Лондоне, Женеве.

С издательства «Искры» и начались серьёзные неприятности Максима Леонова. Издатели запустили в печать ряд вещей откровенно революционного содержания, вроде брошюры «За что борются люди, ходящие с красным знаменем», «Пауки и мухи» немецкого социалиста Карла Либкнехта, сборника статей Розы Люксембург.

Да и совместные сборники «народных поэтов» теперь уже назывались не «Блёстки» и «Грёзы», а «Под красным знаменем» или «Под звон кандалов». Последний немедленно конфисковала охранка. Начались обыски, очередные «внушения», кратковременные аресты. Само издательство конечно же закрыли.

Тем временем пришла первая русская революция. Частый гость в доме Леоновых, Шкулёв участвовал в баррикадных боях на Красной Пресне, и дружинники пели его песни: «Красное знамя», «Вставайте, силы молодые!», «Я — раскалённое

железо!» и самую, наверное, знаменитую: «Мы кузнецы, и дух наш молод...» — она исполнялась на мотив модной тогда венской шансонетки.

Леонов-Горемыка в то время оказался связан с движением московских булочников: писал воззвания, составлял иные документы, исходившие от их союза.

Профессиональным революционером он конечно же не был. В первую революцию Леонова-Горемыку даже не посадили. Вместе с тем Максим Леонович придерживался вольных воззрений слишком упрямо и последовательно, постоянно предпринимая попытки где-то ещё и публиковать собственные труды и сочинения своих товарищей.

Четырнадцать раз отца Леонида Леонова привлекали к судебной ответственности в особом присутствии Московской судебной палаты, несколько раз отпускали под залог, но в конце концов он оказался в тюрьме.

«Пародия на человека»

Не удивительно, что набожные, домовитые, крепко стоявшие на ногах деды Леонида Леонова считали Максима Леонова человеком смутным, странным, а то и никчёмным.

К моменту рождения сына Леонида Максиму Леонову было 27 лет. Он был женат уже во второй раз. И позже, расставшись с матерью Леонова, оставив на руках безработной женщины пятерых детей, он вступил в третий брак.

Самый простой путь — сказать, что отношение к отцу у Леонова было сложным. Причины для возникновения не самых лёгких отношений были, и главная причина нами уже названа. Отец Леонида Леонова, да, оставил семью — правда, не совсем по своей воле: семья распалась, когда Максима Леоновича во второй раз отправили в ссылку.

Леонид Леонов не вёл в юности дневников, не написал мемуаров (если не считать нескольких публицистических статей с вкраплениями воспоминаний), да и в жизни был человеком скорее закрытым.

Тем не менее ранняя его проза может послужить пищей для размышлений.

Никаким, конечно, не прообразом, но искажённой отцовской тенью уже кажется повествователь в повести «Записи Ковякина...» — Андрей Петрович Ковякин, поэт-графоман, то романс сочиняющий, то оду, то песнь о народной печали; маниакально записывающий малейшие деяния, свершаемые его знакомыми; к тому же непьющий.

Но куда более интересный срез дан в романе «Барсуки», основанном во многом на биографическом материале, чего сам Леонов не скрывал.

Там есть два образа, которые так или иначе ассоциируются с Горемыкой-отцом.

Уже на первых страницах романа появляется весьма жёсткая пародия на поэта-суриковца Степана Катушина — в нём угадываются отцовские сотоварищи, да отчасти и сам отец.

В романе у Катушина есть заветная корзинка. «Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обёртках, с пятнами чужих незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч...»

Иваном Захаровичем звали, напомним, Сурикова.

«...А вокруг него ютились остальные неизвестные певцы простонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обёртку и собственные катушинские стишки.

Проходили внизу богатые похороны... <...> Степан Леонтьич... писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода... Май стучал в стёкла первым дождём — пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют... а о чём и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда».

В романе действуют зарядьевские купцы Бычалов и Секретов, прототипами которых в разной мере стали два деда Леонова — соответственно Леонов и Петров. (Быхалов — в большей степени, Секретов — лишь некоторыми чертами.)

У купца Быхалова есть непутёвый сын Пётр, и он революционер. Здесь Леонов-Горемыка просматривается совсем отчётливо.

Вот после долгого отсутствия среди обычных покупателей в лавке отца появляется беспутный и нежданный Пётр, вернувшийся из тюрьмы:

«— Чего прикажете? — сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.

— Это я, папаша... — тихо сказало подобие человека. — Сегодня в половине одиннадцатого выпустили...

Слышно было в тишине, как снова выскользнула и покатилась серебряная монетка.

— В комнату ступай. Сосчитаемся потом, — рывком бросил Быхалов и огляделся, соображая, много ли понято чужими людьми из того, что произошло.

Как сквозь строй проходил через лавку быхаловский сын, сутулясь и запинаясь».

Пётр рассказывает отцу, что сидел в Таганской тюрьме — именно там отбывал свой срок и Максим Леонов-Горемыка.

И вот ещё какая есть деталь в романе: Быхалов-старший, владелец лавки в Зарядье, хочет женить непутёвого сына на дочке Петра Секретова, человека также зажиточного и крепкого. Возвращаясь к теме прототипов этих купцов, скажем проще: прототип одного деда сватает сына прототипу второго деда.

По уговору обоих купцов, революционер Пётр, ещё после «первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение» (ну, как у Максима Леонова в 1892 году), ходит к дочке Секретова Насте в качестве домашнего учителя.

После очередного урока Настя неожиданно разрыдалась.

«— Что вы, Настя? — испугался Пётр.

— Знаете что?.. Знаете что? — задыхаясь от слёз, объявила девочка, откидывая голову назад. — Так вы и знайте... Замуж за вас я не пойду!»

И не пошла. В романе.

Здесь можно было бы развить скользкую тему и порассуждать о том, что Леонид Леонов сознательно или бессознательно формировал в первой своей книге реальность так, чтобы его отцу в жёны не досталась его мать и тем самым избежала тягостей, выпавших на её долю по вине мужа.

Но мы не станем этого делать...

Однако есть смысл говорить о том, что неотступная леоновская мука богооставленности крепко рифмуется с тем фактом, что в детстве его оставил родной отец. До самой древней старости Леонов любовно вспоминал всех стариков, когда-либо оберегавших его и помогавших ему, а вот имя отца произносил редко.

И ещё всю свою жизнь с нескрываемым раздражением отзывался Леонов о том типе народовольца из интеллигенции, к которому, безусловно, относились и его отец, и многие знакомые отца.

Приведём в качестве примера пассаж из романа 1935 года «Дорога на Океан». Есть там такой герой Похвиснёв.

«Похвиснёв взволнованно запрещал ему (мужику. — *З. П.*) называть его баричем; точно стихи читая, он утверждал, что и он такой же, оттуда же, из народа, что и сам он ненавидит угнетателей (и украдкой оглянулся, произнеся это слово), что пока надо терпеть и острить топоры, что час мщенья близок... и ещё уйму таких же блудливых и неопределённых слов».

Иногда даже возникает недоказуемое, но имеющее основания ощущение, что Леонов, за невозможностью прямо высказать большевикам своё неудовольствие от многих их дел, сры-

вался на тех, кто призывал и заклинал их приход «блудливыми и неопределёнными словами».

Накликали потому что. Накликали!

С откровенной неприязнью напишет Леонов ещё одного, отчасти схожего с Похвиснёвым персонажа по фамилии Грацианский в «Русском лесе». Он — той же природы, но чуть более высокого происхождения и куда более сложен.

Вся эта вздорная и патетичная интеллигентская рать пришла к Леонову, как мы понимаем, из достоевских «Бесов».

«Дорогу на Океан» и «Русский лес» отец Леонида Леонова уже не прочтёт, а вот с «Барсуками» он скорее всего ознакомился: они вышли за пять лет до его смерти. И судя по тому, что отношения Леонида и Максима Леоновича в последние годы его жизни были не самыми лучшими (а вернее, не было никаких), есть смысл предположить, что отец себя узнал и в сердце оскорбился.

•

«Зимний шар»

Их было пятеро в семье: Леонид — в детстве его нежно звали Лёна, три его брата — Николай, Борис, Владимир и сестрёнка Лена. Леонид был самый старший.

Поначалу семья жила в Мокринском переулке. Отец, Леонов-Горемыка, ещё не открывший своего скандального издательства, не попавший в тюрьму, но уже ушедший от Леона Леоновича, работал кассиром московской конторы английского акционерного общества.

В 1904-м из Мокринского переулка семья переехала в Замоскворечье, на Пятницкую, 12, в квартиру на пятом этаже. Окна выходили на Кремль. Леониду Леонову тогда было пять лет.

Отец его не только много писал, но ещё и увлекался театром, даже мечтал стать актёром.

В его комнате висели портреты Шекспира, Шиллера, многих иных, поразивших маленького Лёну, как он сам потом шутил, «благообразным видом, размерами бород и содержательностью взглядов».

Одно из первых и ярких воспоминаний Леонова — 4 февраля 1905 года.

Прозрачный синий вечер — и вдруг громкий хлопок, «в стекло словно ударил зимний шар» — так записывали за Леоновым его слова много лет спустя. («Властный удар в раму», — говорил он же в другой раз.)

Ещё он запомнил путаные грозовые облака, словно на дворе апрель, а не начало февраля.

Весна подступила — такая метафора может напрашиваться, когда речь заходит о первой русской революции, поэтому и апрельские грозовые облака спустя годы помнились Леонову. 4 февраля как раз было одним из жутких знаков первой революции — именно тогда в Кремле произошло убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

Великий князь погиб в результате взрыва бомбы — этот разорвавшийся «зимний шар» и запомнился Леонову.

Террористический акт совершил переодевшийся в крестьянское платье член петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, член партии эсеров и её Боевой организации Иван Каляев. В том же году он был повешен в Шлиссельбургской крепости.

Убийство могло состояться двумя днями раньше, но Каляев тогда не бросил бомбу в карету, увидев, что рядом с великим князем сидят его жена и малолетние племянники.

Стоит напомнить, что незадолго до этого, 9 января, в Санкт-Петербурге случилось Кровавое воскресенье — массовый расстрел шествия рабочих, направлявшихся к государю с петицией о своих нуждах.

Об убийстве великого князя шестилетний Лёна услышал в тот же вечер, в доме у своего деда Леона Леоновича, куда его привезли испуганные родители.

Зарядье

О деде своём по отцовской линии писатель вспоминал чаще, чем об отце. И, несмотря на приведённые выше свидетельства отца о Леоне Леоновиче, «старике старого закала», державшего сына «в ежовых рукавицах» и сжигавшего в доме все книги, помимо духовных, симпатии внука Лёны очень часто — да, пожалуй, всегда — оказывались на стороне деда.

Колоритной фигурой был этот дед: «исключительной суровости и доброты», по словам Леонида Леонова. Как можно заметить, по сравнению с Горемыкой-отцом, сын его воспринимал деда несколько иначе: Максим Леонович никакой доброты в своём отце не ведал.

Позже, в 1930-е, Леонов писал, что у Леона Леоновича была «крохотная лавчонка» в Зарядье. Никакая не лавчонка, поправим мы, а нормальная бакалейная лавка с большой вывеской «Леоновъ» по адресу Зарядьевский переулок, 13.

В лавке торговали самым разным товаром: и съестное было там, и нитки, и керосин, и мыло, и табак.

Дед лавку надолго не оставлял, и даже родную деревню позабыл по той причине. Но жена его, бабушка Леонида Леонова Пелагея Антоновна, сельский дом свой не бросала и каждую весну уезжала в Полухино. Часто, в летнее время, ездил туда с братьями маленький Лёна — к дяде Ивану Леоновичу. Всю жизнь он помнил деревенские ярмарки, свадьбы и высокую рожь — по крайней мере, именно такой она казалась ребёнку: высоченной, шумящей по-над головой... Осенью дети возвращались в Зарядье.

О Зарядье надо говорить отдельно: это московские легендарные места; именно здесь будущий писатель получил свои первые впечатления.

В доме деда Леона всегда было обилие самых разных запахов. Порой очень вкусных: в бакалейной лавке жарили колбасу «рубец» в кипящем сале на газовой горелке и тут же продавали её. Дед сам делал горчицу в пачках, сам солил огурцы, и от самого деда шёл дух терпкий и аппетитный.

Самые разные запахи таили в себе дом и окрестности. Вот как это преподнесено в «Барсуках». (В очерке «Падение Зарядья» Леонов утверждал, что описания в романе документальны.)

«Утрами струится по полу душный запашок сопревающего картофеля и острым холодком перебегает дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого хлеба. А досидит пришелец до вечера, полоскает ему нос внезапный и непонятный аромат из-под хозяйской кровати, — целая кипа там цветных дешёвых мыл».

Выйдешь на улицу — там иное.

«То пальнёт в прохожего кожей из раскрытого склада — запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки. <...> А уже за углом сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше не ходить».

Сам дом, где располагалась лавка деда, принадлежал купцу Бергу, цвета был жёлто-розового, а выглядел крепко, «как старый николаевский солдат», писал Леонов.

В навесах дома ворковали голуби. Вечером слышен был благовест. Иных звуков — не очень много, в том числе и потому, что само помещение бакалейной лавки было низким, с нависшими потолками, а стены дома — каменные, толстые и никогда не просыхающие. От постоянной готовки и от близости Москвы-реки шла сырость, и даже лестницы были осклизлыми.

Если из дома выйти, то с одной стороны Кремль, золотые купола, а с другой — Китайские ворота. Каменная стена Китай-города отделяла Зарядье от реки.

Дед выходил по утрам из лавки, снимал картуз, крестился, кланяясь во все стороны.

Потом пили чай, дед в те минуты был неприступен, «как человек, поставленный к рулю, — цитируем мы Леонида Леонова. — Губы у него так же жёстко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел».

Само имя Зарядье родом из XVII века — назвали район так потому, что был он за торговыми рядами, примыкавшими к Красной площади. Поначалу здесь жили ремесленники. В XV веке начали селиться служилые люди и бояре. В XVI — иностранцы. Ну а к XIX веку Зарядье превратилось, по словам Леонова, «в задний двор парадной Москвы, обширной мастерской простонародного ширпотреба».

В Зарядье располагались, вспоминал Леонов, «москательные заведения последнего разряда, пирожные и обрезочные... <...> еврейские мясные лавки, казёнки... свечные фабрички, извозчичьи трактиры и постоялые дворы».

Московская мастеровщина, плотники, канатчики, скорники, торгаши с лотка, блинщики, картузники, пирожники, чистильщики с точилами... — вот те люди, среди которых Леонов проводил свои первые годы, кого видел, в чью речь вслушивался.

Мокринский переулок, где Леонов несколько лет жил с родителями, тоже находился в Зарядье: он проходил вдоль реки и соединял Кремль с пристанью, коей, по сути, сам переулок и являлся.

Стоявшая у пристани церковь, где часто бывал и Лёна, носила имя святого Николы Мокринского, покровителя плавающих и путешествующих.

На старых планах Москвы можно рассмотреть, как с холма к берегу Москвы-реки спускаются Москворецкая улица и Кривой, Псковский, Малый Знаменский, Зарядский переулки. Поперёк холма шли переулки Масляный, Большой Знаменский, Мытный, Мокринский и Ершов.

В названном выше Ершовом переулке жил другой дед Леонида Леонова — Пётр Васильевич Петров. От лавки одного деда, Леона Леонова, до лавки второго, Петра Петрова, — три минуты ходьбы.

Генетик Николай Кольцов, друживший с Леонидом Леоновым, при составлении его генеалогии для «Евгенического журнала» в 1925 году, писал про особую умственность среди Петровых, начиная от крепостного «грамотея» Петра Дорофеевича Петрова до его деревенских внуков и правнуков, среди которых были любопытные и образованные люди: «атеист, читающий Ренана», некая девушка, «на полевых работах» занимав-

шая «подростков, декламируя им на память лучшие произведения Пушкина», и так далее, вплоть до племянницы деда Петрова — Анны Евгеньевны Петровой, первой женщины, получившей золотую медаль в Московском университете и ставшей известным психологом.

У Петра Васильевича тоже было своё дело — магазин, который так и назывался — «Торговый дом Петрова». Занимался торговый дом сбором и продажей бумажного утиля. В отличие от Леона Леоновича, добившегося всего самолично, Петрову лавка досталась по наследству от отца, Василия Петровича. Домик свой он, впрочем, купил сам: накопил чуть ли не за всю жизнь пять тысяч рублей и приобрёл.

И наследство прирастил, и хозяйство держал крепко.

Зарабатывал тем, что скупал у нищебродов с Хитрова рынка бумагу и тряпьё и сдавал всё это потом на бумажную фабрику. Работа не самая чистая: купец всего лишь седьмой гильдии был Петров.

Дед запомнился внуку как мужчина высокий и обладающий удивительной силой — говорили, что он поднимал груз до двадцати пудов; Леонов помнил, как, будучи уже стариком, Петров ворочал тяжеленные бумажные мешки с макулатурой.

Сами Петровы были родом из деревни Ескино Любимского уезда Ярославской губернии.

Дед Петров читал газеты, следил за политикой, но едва ли и он мог разделять убеждения и одобрять деятельность своего зятя.

Потери

Максим Леонов-Горемыка почти не приходил в Зарядье из своего Замоскворечья. Для местного люда, ради которого он, по сути, и шёл на лишения, все его заботы были глубоко чуждыми.

«Тянет тебя в тюрьму... — говорит дед-купец своему непутёвому сыну в «Барсуках». — Жрать тебе, что ли, на свободе нечего?»

«Леоновский арестант» — такое имя прицепилось к Максиму Леоновичу, когда сын его Лёна был ещё мальчишкой.

Стихи Максим Леонов-Горемыка с каждым годом писал всё более революционные. В 1906-м, под явным влиянием друга Шкулёва, сочиняет «Песню кузнеца»: «Не взирай на мрак и голод, / Поднимай-ка выше молот, / Опускай и не робей / И по стали крепче бей / <...> Наряди в венец свободу / И пошли её к народу, / Что в неволе злой живёт / И к себе свободу ждёт».

Первая, всерьёз, разлука Лёны с отцом произошла в 1908-м, в январе.

Арест случился ночью; Лёна Леонов запомнил происходившее тогда на всю жизнь. Громкий стук, вошли жандармы. Устроили обыск. Мальчик проснулся от звука чужих голосов, громко передвигаемой мебели. Растерзанные книги и затоптанные вещи на полу. Напуганная мать так и стояла всё это время в одной сорочке, набросив на плечи платок. Нестарый ещё пристав повторял, проходя мимо матери: «Мадам, я не смотрю, я не смотрю».

Спустя 30 лет Леонид Леонов будет ждать такого же стука в свою дверь...

А тогда, наутро, сразу после ареста отца он пошёл по свежему снежку на учёбу в Петровско-Мясницкое городское училище, что в Кривом переулке.

В семье Леоновых говорили, что вскоре после ареста к матери Лёны забежал Филипп Шкулёв и попросил: «Мадам, не впутывайте меня в эту историю!»

Неизвестно, насколько это правда, но тюрьмы Шкулёв действительно избежал.

Леонов-Горемыка рассказывал о себе: «Судили несколько раз: по первому делу дали 1 год крепости. По второму — 1 год и 2 мес. И, наконец, 1 год и 8 мес.».

Всего отец Леонова просидел в Таганской тюрьме около двух лет — с января 1908-го до начала 1910 года.

«Вдвоём с бабушкой, первое время, отправлялись мы к отцу на свидание, — вспомнит Леонов в 1935-м. — Мы ехали туда на конке, — гремучее сооружение на колёсах, запряжённое, кажется, четвёркой унылых гробовых кляч. <...> Я помню бескозырки тюремных солдат, галдёж переклички с родными, двойную проволочную сетку и за ней какое-то пыльное, разлинованное лицо отца...»

Мария Петровна, у которой на руках остались дети, кинулась к мужу на одном из свиданий: что делать с нашими чадами?

Леонов-Горемыка предложил отправить всех пятерых в деревню в Полухино, к бабушке Пелагее Антоновне Леоновой.

Мать приняла другое решение. Оставив квартиру в Замоскворечье, она с детьми вернулась в Зарядье. Устроилась работать кассиршей в магазине.

Два брата Леонида Леонова, Николай и Борис, стали жить с одним дедом — Леоном. Другой брат — Володя, маленькая Леночка, сам Лёна и мать поселились у деда Петрова.

Пока отец сидел, Лёна училище закончил: в 1909-м, весной.

Возвращение отца из тюрьмы Лёна запомнил: оно было точь-в-точь как на картине Ильи Репина «Не ждали». Тёмный, похудевший, с воспалёнными глазами отец остановился в дверях. Все застыли, скорее в испуге, чем в радости... С тех пор Ле-

онову, когда он видел картину, казалось, что она написана «про них».

Вернувшись, Горемыка-Леонов принялся за старое. Став сотрудником московской газеты «Раннее утро», написал очерк о тюремной жизни и фельетон «Его превосходительство», где в качестве явного прототипа просматривался один статский генерал. На этот раз терпеть Леонова-Горемыку не стали, натерпелись с 1892 года, и вскоре предложили покинуть Москву.

В конце 1910-го Максим Леонович Леонов отправился в ссылку и с ним... новая гражданская жена: рабочая швея и поэтесса Мария Матвеевна Чернышёва.

Развалом семьи череда трагедий не закончилась. Самое страшное только начиналось.

Через год после отъезда отца, в промозглые дни поздней осени брат Володя, которому было всего десять лет, упал в реку. Его вытащили, но пока мальчик добирался до дедовского дома, сильно простыл. Заболел и простуды не выдержал — умер. Всё это происходило на глазах у Лёны. (Потом ребёнок, попадающий в прорубь, появится у Леонова в «Барсуках».)

Тяжёлая хворь напала на трёхлетнего Колю, жившего у другого деда, — что-то вроде хронического ларингита, есть такая болезнь горла. Сырость Зарядья, видимо, сказывалась на ребятах. Унесла и этого братика болезнь.

Потом заболела скарлатиной сестра Леночка — и погибла. Так остался Лёна единственным ребёнком в доме деда Петрова.

Помимо деда, его жены Марии Ивановны и матери Лёны в доме жили две её сестры — родные тётки Леонова: Надежда и Екатерина.

Катя была, что называется, со странностями. Кто-то считал её блаженной, кто-то сумасшедшей. Она жила в тёмной комнате, прорицала, порой мучила себя голодом, отдавая пищу мышам... И писала стихи про «бесчувственного папашеньку».

«Папашенька» — дед Петров — то ли в печали о непутёвой судьбе своих дочерей и смерти малых внуков, то ли ещё по какой причине начал выпивать. (Наделённый его чертами купец Секретов в «Барсуках» тоже пил запоями.) Дед Петров уходил в заднюю комнату без окна и лёжа отхлебывал из бутылей водку. Бутыли ему приносили всё новые и новые.

После многодневного запоя затворничество прекращалось, огромный и лохматый дед выходил из своей комнатки и твердил всем попавшимся: «Не обижайте Лёну! Не обижайте!..»

Рать бутылей потом долго стояла у кровати. И тяжёлый душный хмельной дух витал...

Впрочем, запивал не только дед — в Зарядье вообще много пили и часто дрались пьяные.

Чуть ли не единственной утехой зарядьевцев, как напишет Леонов позже, «было выпить в праздничный день “для забвения жизни”, — формула эта запомнилась мне с самой начальной поры моего милого детства. Казёнок в сей местности имелось достаточно, и пьянство процветало сверхъестественное, вплоть до появления зелёного змия и других клинических спутников белой горячки... И доселе помню, как двоюродный дядя, Сергей Андреич, сиживал, свесив ноги, на каменном подоконнике, призывая чертей, чтоб забрали его в свою дружную компанию».

Хотя были, казалось бы, и дни отдохновения и чистоты: когда в баню ходили.

«Тогда у москвичей был настоящий культ бани; бань в Москве имелось множество, — рассказывал годы спустя Леонов своим молодым товарищам и, ни с чем не сверяясь, по памяти называл: — Андроньевские, Дорбослободские, Елоховские, Замоскворецкие, Зачатьевские, Кожевнические, Крымские, Ново-Грузинские, Ново-Рогожские, Овчинниковские, Преображенские, Сибирские, Тихвинские, Центральные, Чернышёвские, Сандуновские, Шаболовские, и Бог ещё знает какие...

Ходили я, брат, приказчик. И там были керосиновые лампы со вторым стеклом, чтоб брызги не летели...»

Но и тут не обошлось без потусторонних сил, которые впоследствии увлекут Леонова на всю его писательскую жизнь — от первого серьёзного рассказа до последнего романа.

«— Однажды, — вспоминал как-то Леонов, — заперев лавку, дед отправился в Кадаши. Уже перед самым закрытием набрал воды, зашёл в парилку, влез на полок, хлещется веником. А в бане темновато, пар, туман. И смутно видит дед, что в самом углу какой-то старик тоже парится, плещется, хлещется. “Чего он так?” — думает дед. Нехорошо стало. Уж больно крепко хлещется. Вышел, спрашивает у банщика: “Кто это парится так крепко? Смотри, чтобы не запарился”. А тот отвечает: “Е т о т не запарится. Е т о т наш!”».

Так дед Леонова встретился с особой разновидностью нечисти, называемой обычно банником.

Лёна

Каким был маленький Лёна, разгадать трудно.

В прозе Леонова редко встречаются реальные приметы его детства. Есть лишь некие смутные ощущения, почти прозрачный вкус: недаром Леонов говорил позже, что «воздух детства пошёл на строительство моих первых вещей».

В отличие, скажем, от Пушкина, или Льва Толстого, или Горького, или Есенина — Леонова никак нельзя представить ребёнком. Будто он очень скоро повзрослел.

Детство помнилось в нескольких ярких деталях и воспринималось как «милое», но всё-таки для Леонова, как, например, для Владимира Набокова, ранние годы не были раем земным, куда так хочется вернуться. Какой уж тут рай, когда отец Леонова сидел в тюрьме, потом покинул семью, мать разрывалась в труде... умерли один за другим два брата и маленькая сестра... дед, с которым жил, пил запоями...

Впрочем, что важно, и острой тоски оттого, что на годы детства и юности пришлось столько лишений, у Леонова тоже не найти. Или, может быть, Леонов был вовсе не склонен обнаруживать пред людьми свою давнюю боль?

Мы уже упоминали выше, каким в «Барсуках» Леонова выведен отец. Мать Леонида Максимовича в прозе его вообще не угадываема. Не оставили и малых следов ни братья, ни сестра.

Зато есть деды, прописанные вдумчиво и с потаённым любованием, — и в этом, кстати, заложена очень важная леоновская черта: его неизменное стремление к седобородой зрелости.

Забавы детства не прошли мимо Лёны — но так мало сказались на его характере.

Ну, катался на коньках вдоль Кремлёвской стены. Дразнил извозчиков. Был хватким, цепким и не терялся, когда нужно было надерзить. Дрался на кулачках в Замоскворечье с местной ребятнёй — и в больших драках выступал задиралой. Выходил перед толпой подростков, подошедших с иной московской улочки, и доводил их до белого каления.

Какие-то чудачества зарядьевской детворы промелькнули в упомянутых «Барсуках». Вот скатывают снежных страшилищ: «...любопытно было наблюдать, как точит их, старит и к земле гнёт речной весенний ветер». Потом «придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажжённый фитилёк. <...> Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилёк».

Какие-то зарисовки прошлого иногда вспоминались и взрослому Леонову.

...вот он в Полухине на похоронах прабабушки — идёт один впереди траурной, медленной, тяжёлой процессии с иконой в руках, слыша за спиною дыхание и поступь мужчин, несущих гроб...

...вот он в Кремле — и видит юношу, бросившегося с памятника Александру II наземь. Изуродованный, но не мёртвый, лежит он, кровоточа, и поводит ничего не понимающим взо-

ром. Зачарованный Лёна заглядывает в глаза неудавшегося самоубийцы...

...вот он накопил денег на фонарик, который глянулся ему в магазине, купил, принёс домой, замирая сердцем. Но фонарик обнаружила мать, экономившая на каждой копейке после того, как распалась семья, — и вернула его в магазин, сдав детское счастье Лёны за полцены...

...или вот Лёна слушает орган в соседнем трактире купца Петра Сергеевича Кукуева. «Мальчишкой я бегал туда купить кипятку для чая; за чайник взимали семитку — две копейки, — расскажет в тридцатые годы Леонов. — Вход был из подворотни, газовый рожок полыхал там круглые сутки, задуваемый ледяным сквозняком, и на лицах загулявших мастеровых, спускавшихся мне навстречу, лежал мертвенный, голубоватый отсвет газового пламени. И всегда поражали мальчишечье воображение эти сводчатые потолки, орган с серебряными трубами, откуда почти круглосуточно неслась гортанная, задумчивая такая музыка...»

Ещё запомнилось, что в трактире были фальшивые пальмы, «обитые как бы войлоком», «грубые и сытные яства на буфетной стойке» и, «наконец, сами извозчики тех времён — как сидели они, молчаливые, с прямыми спинами, гоняли бесконечные чаи и прели в синих ватных полукафтанах».

...а вот он мальчиком, в пушистую зиму, выходит на улицу и видит замерзающего пьяницу. Тот сидит у титанической тумбы, «похожей на причал для морских кораблей», по словам Леонова. На губах пьяницы «синих и раскусанных в кровь, отвращение и горечь; в его тёмных глазницах ещё прячется хмельная, недобрая ночь... <...> И вот к нему приближается другой — благообразный, небольшого роста, бесстрашный. Посторонитесь, чтоб этот не задел вас своим колючим величием и бряцающей амуницией! На нём чёрная суконная шинель, препоясанная ремнём и шашкой; на нём шапка с плоским донцем и металлической лентой, а на ней Георгий, поражающий змея...».

Какая цепкая мальчишечья память! И какое пронзительное восхищение, видимо, вызывал у Лёны Леонова городовой Басов: именно так звали его, зарядьевского охранителя порядка.

«Следите внимательно за всей процедурой скорой помощи... — продолжает Леонов. — Басов нагибается, кряхтя от старости; он берёт горсть снега вязаной рукавичкой. Попеременно он трёт то правое, то левое ухо пропойцы... <...>

— Ничего, всё на свете поправимое! — учительно внушает Басов и заодно протирает снегом лицо, где придётся. — Вино не должно разума отшибать... <...>

Городовой бредёт дальше, к лавке деда, и на снегу остаётся глубокая колея от его шашки...»

Речь идёт о лавке деда Леона, к которому Лёна ходил в гости каждый день. И в цитируемом нами очерке «Падение Зарядья» Леонов даёт новый портрет этого деда, вовсе не схожий ни с воспоминаниями Максима Леонова-Горемыки, ни с образом сурового Быхалова в «Барсуках».

«Дед был чудак, — говорит Леонов, — о нём ходили анекдоты, ему по-своему отдавала дань почтенья и покровительствовала московская шпана. По утрам у его лавки собирались опойные, в опорках, юродивые фигуры с Хитрова рынка, обломки людей, вышвырнутых по ненадобности за борт жизни, на горьковское д н о, рваный человеческий утиль. Они тащились к нему просить на нездоровье, на семейное горе, на построение сгоревшей избы в несуществующем селенье, на стихийное бедствие, а самые откровенные — просто так, выпить огуречного рассольцу для опохмелки. Дед был слабый человек, он давал всем. Когда он умер в семнадцатом году, целая когорта этих свирепых горемык молчаливо провожала его на кладбище».

Думаем, здесь Леонов немного подправляет облик деда в соответствии с временами: «Падение Зарядья» было написано в 1935 году, и надо было доказать советским читателям, что дед Леон хоть и владел «крохотной лавчонкой», но был человеком широкой души и всегда радел за униженных и оскорблённых.

Едва ли дед Леон помогал всем подряд: так он в конце концов к 1917 году не накопил бы вполне приличный капитал, о котором мы чуть ниже ещё вспомним. Однако отрицать огульно эту человеколюбивую, жалостливую к сирым ипостась деда Леона мы не вправе. И в этой своей ипостаси дед Леон явно послужил прообразом другого лавочника — Пчхова из романа «Вор».

Так дед Леон распадается на двух героев, очень мало схожих друг с другом: Пчхова и Быхалова. Но кто говорит, что человек должен вмещаться в одно определение?

Неграмотному деду повзрослевший Лёна читал вслух жития святых, патерики, Четьи минеи. И чтение это — одно из важных его детских впечатлений, с протяжённостью и эхом во всю жизнь.

Поначалу Лёна скучал и позёвывал, читая. Но от раза к разу, неприметное, исподволь, возникло у него понимание и чудотворности жизни, и её странных и страшных глубин. Дед плакал, слушая, — и такого Леона Леоновича его сын Максим Горемыка не знал. Какие уж тут «ежовые рукавицы», когда человека так трогают жития святых.

Леонов потом подарит воспоминания о чтении вслух священных книг сразу двум героям, и каждого из них можно вос-

принимать как альтер эго писателя, — Глебу Протоклитову в «Дороге на Океан» и о. Матвею в «Пирамиде».

Вот так вспоминает своё детство о. Матвей: «В избе у шорника хранилась старопечатная, именуемая патерик, книга с жизнеописаниями отшельников, иерархов и священномучеников российских. В зимние вечера, при коптилке, ведя пальцем по строкам, питомец читал её слепнущему благодетелю, который немигающим взором смотрел в огонь, умилённый чужою судьбою, не доставшейся ему самому. Юного грамотея тоже манили необычайные приключения святых героев, в особенности их поединки с нечистой силой, как у Иона Многострадального, по шею закопавшего себя в землю, и дикая прелесть уединённого житья в таёжной землянке, куда слетаются окрестные птахи навестить праведника и охромевший зверь стучится в оконце на предмет удаления занозы».

Присутствие Бога в мире маленький Лёна почувствовал не в тот день, когда нёс икону на похоронах бабушки, не в те дни, когда отпевали его братьев и сестрёнку, ни тогда, когда читал Леону Леоновичу жития святых, и не в те воскресенья, когда вслед за дедом он ходил в Чудов монастырь, в Кремль.

Был другой, почти мифический эпизод, который возникает в прозе и в личных воспоминаниях Леонова несколько раз: гроза, которая застала его, ещё мальчика, в поле, одного — пред бушующим миром.

Неизвестно, где это было. Наверное, в Полухине, где Лёна проводил лето.

На дворе стояла жара Ильина дня — и тут неожиданно будто разорвалось небо.

«Молнии с огненным треском раздирали небо над головой, а ливневая влага, ручьём стекавшая под холстинковой рубахой, придавала душе и телу жуткий трепет посвящения в тайность, а всё вместе становилось восторженным чудом, облекавшим парнишку с головы до пят».

Это сбережённое с детства «восторженное чудо» — как обрушившееся с небес понимание присутствия в мире некоей великой силы, Леонов тоже отдал о. Матвею в итоговой своей «Пирамиде». Но сначала пережил сам.

Митрофан Платонович

Сверстников вокруг было полно, и с ними бойкий Лёна легко находил общий язык, а вот прикосновения к знаниям и мудрости ему, с вечно занятыми дедами, всё-таки не хватало.

Тем более что деды, безусловно, были малограмотными людьми. Леон Леоныч в буквальном смысле читать не умел; а дед Петров, хоть и проглядывал газеты, человеком высокой культуры никак не являлся: вся жизнь в работе прошла.

Но человек, столь нужный Леонову, нашёлся. Звали его Митрофан Платонович Кульков, он преподавал все известные в учебном мире науки и чистописание в придачу в Петровско-Мясницком городском училище в пору обучения там Лёны Леонова.

Там же работала жена Митрофана Платоновича — Евгения Александровна, относившаяся к Лёне прямо-таки с материнской нежностью.

Кульков — единственный человек, вошедший в прозу Леонова под своим именем. В повести «Взятие Великошумска», написанной в 1944-м, Митрофан Платонович Кульков — учитель главного героя, генерала Литовченко.

Реального Митрофана Платоновича в сорок четвёртом уже двадцать с лишним лет как не было в живых.

Так тёплым словом своим Леонов поставил свечку за упокой светлой души дорогого ему человека.

Никто уже не узнает в деталях и мелочах, чем именно Митрофан Платонович подкупил детское сердце, но Леонов всю жизнь был благодарен Кулькову, который — цитируем писателя — «с отеческим вниманием относился к восьмилетнему, довольно шумному, утомительному и чрезмерно изобретательному мальчику».

«Отеческое внимание» — главные здесь слова.

В повести Леонов описывает Митрофана Платоновича как «неказистого, без возраста» человека, «сеятеля народного знания», который «прежде чем бросить семя в почву... <...> прогревал его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступления бывали самой лакомой пищей для его птенцов».

Генерал Литовченко во «Взятии Великошумска» много позже школы начинает переписываться со своим учителем. И куда бы ни прибывал генерал по долгу службы, отовсюду слал подарки, всякую «местную диковинку» в адрес старика.

Видимо, о том же самом мечтал и Леонов всю жизнь: отблагодарить того, кто так много помог ему в детстве и, возможно, обронил ещё тогда несколько слов, которые стали камертоном в миропонимании взрослевшего Лёны.

Через всю повесть в грохоте Отечественной войны генерал Литовченко едет к своему учителю навестить старика. И наконец приехав, видит горящий дом учителя, а самого Митрофана Платоновича нет, и он не вернётся уже никогда.

Так, сквозь архангельскую оккупацию, смертельные опасности и фронты Гражданской и смутные времена нэпа шёл к своему учителю и сам Леонов.

И подобно прославленному генералу Литовченко, который не рассказывал в письмах старику Кулькову, кем он стал, какими регалиями облечён, как высоко вознёсся, но надеялся порадовать и удивить его при личной встрече, — так и сам Леонов хотел отблагодарить учителя, принеся с собой на встречу первый роман «Барсуки» и два его перевода: на итальянский и немецкий.

Было то в 1927 году.

Пришёл он, правда, не домой к Митрофану Платоновичу, а в то самое Петровско-Мясницкое городское училище.

Спешил по скрипучим половицам, почти не узнавая старых стен. Застал в кабинете нестареющего сторожа Максима, вытиравшего исписанные мелом доски.

Сторож увидел Леонова, совсем ему не удивился и, мало того, узнал — хоть прошло уже 15 лет.

— А Огарков где? — спросил сторож серьёзно.

И тут Леонов вспомнил, что с мальчишкой по фамилии Огарков сидел он за одной партой.

— Он умер, — сказал Леонов.

В свою очередь, спросил про Митрофана Платоновича: где он, как найти его.

— И он умер, — ответил сторож.

Учителя не стало в 1919 году.

— А жена? Евгения Александровна? Она?..

— Она тоже умерла, — сказал сторож.

* * *

Дочь Митрофана Платоновича уже после Отечественной войны нашла Леонида Максимовича Леонова. Сказала, что отец часто говорил о нём дома. Леонов, сам человек теперь немолодой, несказанно, предслёзно обрадовался её словам: «...значит, он замечал меня, мальца? Среди всех других разглядел меня? И вспоминал обо мне дома?.. Боже ты мой...»

Так спустя полвека выяснилось, что неразделённая сыновья любовь, оказывается, имела ответный сердечный отклик. Казалось бы, что в том — когда столько лет прошло! Но от запоздалого известия будто прибавилось в леоновской душе доброго тепла и радости.

Во всякое посещение церкви он ставил за упокой учителя свечу.

Увлечения

В августе 1910-го мама привезла Лёну Леонова и его единственного оставшегося в живых брата Борю из Полухина в Москву. В том же месяце Лёна поступает в 3-ю московскую гимназию на Большой Лубянке. Ходит он туда пешком, экономя гривенник.

Учится Лёна хорошо, поёт в гимназическом хоре; а внегимназические интересы, которые появляются у мужающего мальчика, учёбе его не вредят. Между тем появившиеся тогда увлечения пришли к нему на всю жизнь: литература, цирк, театр.

И кино.

В те дни кинематограф воспринимался как чудо. Накануне первой революции в Москве открываются первые стационарные «электротеатры», или, как их ещё называли, «иллюзионы».

В один из этих иллюзионов, под названием «Наполеон», на углу Гаврикова переулка и бегал подросток Лёна Леонов. Сеанс стоил 20 копеек.

Часто крутили тогда семиминутную «Понизовую вольницу» — первое наше кино, девятьсот восьмого года, снятое по мотивам песни «Из-за острова на стрежень».

Самым оригинальным образом экранизировалась тогда русская классика. Весь «Идиот» Достоевского был втиснут в пятнадцатиминутную картину, немногим длиннее были «Мёртвые души» Гоголя или «Крейцерова соната» Толстого.

Лёна наверняка видел первый русский полнометражный фильм, выпущенный в 1911-м Александром Ханжонковым — «Оборона Севастополя», с Иваном Мозжухиным в одной из главных ролей.

Много позже Леонов вспоминал картину под названием «Отец» и говорил, что потрясла она не только его юное воображение, но и «весь район моей юности от Каланчёвки до Матросской Тишины включительно». Судя по всему, это тридцатиминутный шведский фильм 1912 года выпуска, снятый по одноимённой, действительно весьма душещипательной пьесе Стриндберга.

Был случай из детства, который Леонов вспоминал с неизменным раскаянием, и связан он как раз с посещением иллюзионов.

Как-то в один из зимних дней всё того же 1912 года за обедом попросил Лёна у деда Петрова медную мелочь на кино — тот отказал.

В отместку Лёна положил в стакан чая две ложки сахара вместо положенной одной. Дед сделал замечание: возможно, даже и не грубым словом, а просто поднял в раздражении стро-

гую бровь. Однако внуку, уже тогда тонко чувствовавшему интонации и полутона, и этого было достаточно.

Он пошёл к деду Леону, у которого всегда можно было полакомиться простонародными сластями, а в сахаре не было недостатка — и взял у него пакет песка. Принёс и поставил деду Петрову на стол: на тебе, мол.

Позже, когда писателю было уже за восемьдесят, он всё горился и печалился: как мог он так обидеть старика?

То ли по причине этого детского греха, горько сыронизируем мы, а может, по какой иной причине, но крепких отношений с кино у Леонова почти не сложилось. Впоследствии он не стал большим поклонником кинематографа и, к слову сказать, недолюбливал экранизации своих произведений.

Уже в ранней юности театр оказался куда более важным для Леонова.

«Мальчишкой, забравшись на галёрку, смотрел я спектакли Художественного театра, — вспоминал он. — Помню, было великим праздником достать билет. Все мои сверстники по гимназии считали это редкой удачей.

Взволнованный, завороженный, я следил за происходившим на сцене и по окончании спектакля, пока сдвигался занавес, стремглав бежал вниз, чтобы горячо аплодировать у рампы, глядя в лицо людям, которых научился любить, которые были необычайно близки и дороги...»

На пору юности Леонида Леонова пришлись такие премьеры Московского художественного, как мольеровский «Мнимый больной» и пушкинский «Каменный гость». Он увидит легендарные постановки: «На дне» Горького, «Дядю Ваню» Чехова, «Детей Ванюшина» Найдёнова...

«Гимназистом как-то отстоял всю ночь за билетом на спектакль в Камергерском переулке, в Общедоступный Художественный», — вспоминал Леонов.

Ещё совсем молодым человеком он знал и боготворил золотой состав МХАТа: Качалова, Ивана Москвина, Леонида Леонидова... Любопытно представить, каковы были чувства Леонова, когда спустя десятилетие ему привелось работать с теми, в кого он был безоглядно влюблён.

Другой пожизненной страстью Леонова стал цирк — самый старый в Москве, тот, что на Цветном бульваре. Цирковые гимнасты, воздушные акробаты, жонглёры, фокусники, факиры, иллюзионисты — все они вызывали необыкновенное восхищение. Цирк был сложившийся, стройный, красивый, и в то же время опасный мир...

А ещё Лёна играл в шашки. Дед Петров научил: он был известным зарядьевским мастером в этом деле. Во время поедин-

ков деда Петрова с другими маститыми игроками ставки были по золотому. Дело происходило, как правило, в Кукуевском трактире. Ремесленники и купцы третьей гильдии обступали тогда стол, дыхание тая. Никто Петрова обыграть не мог.

Но однажды лежал он больной и предложил поиграть тринадцатилетнему внуку Лёне. Мальчик деда обыграл: и это было первое поражение Петра Васильевича за много лет.

Проигрыш ошарашил деда настолько, что он дрожащими руками потянулся за папиросой, торопясь прикурил и зажжённым концом сунул в рот.

«Значит, скоро помирать мне, внук!» — сказал дед и оставил ещё одну больную отметину в сердце Лёны. Стало понятно, что не нужно было ему деда обыгрывать.

В 1913 году семья Леоновых — мама, Лёна, Боря — переехала в Сокольники. Братья повзрослели, и мама уже могла содержать их без помощи зарядьевских стариков и тёток. Тем более что деда Петрова хватил удар — он еле оклемался и сам двигался с трудом.

Старел и дед Леон Леонович. Нет-нет да и начинал говорить о том, что пора ему уйти в монастырь.

А какие крепкие были совсем недавно эти старики! Как жизнь держали за грудки в цепких купеческих руках...

Тринадцатый год запомнился Лёне не только семейными печалями, но и большим событием: 21 февраля, в день избрания Земским собором 1613 года на русский престол Михаила Фёдоровича Романова, начались празднования трёхсотлетия Дома Романовых. Во время посещения Москвы Николаем II Лёне довелось увидеть государя: он проезжал мимо в карете, глядя на ликующие толпы.

Государю оставалось жить пять лет.

С тех пор Леонов видел всех правителей России своего века.

Первое печатное слово

С начала 1910-х годов Лёна переписывался с отцом, рассказывая ему последние московские новости. Едва добравшись до Архангельска, отец немедленно затеял издание газеты, на паях с печатником Алексиным и переплётчиком Юрцевым.

Характерно, что как неблагонадёжный он газету оформить на своё имя не смел, и в роли учредителя выступила жена — Мария Чернышёва. В архивах Архангельска хранится документ, где канцелярия архангельского губернатора запрашивает московского градоначальника о «нравственных качествах и политической благонадёжности» Чернышёвой, «предполага-

ющей с 1 декабря 1910 года выпускать газету "Северное утро"». На что Москва ответила, что «ни в чём предосудительном» она не замечена. Просмотрели, значит, с кем она сожительствовала.

Выдержки из очередного письма сына Максим Леонович использовал для создания двух кратких корреспонденций о забастовках и демонстрациях московских рабочих. Они вышли в двух номерах — от 25 и 26 сентября 1913 года.

Тогда же Лёна начинает писать первые стихи, которые не сохранились...

Девятнадцатого июля (1 августа по новому стилю) 1914 года началась Первая мировая война.

Много лет спустя Леонов однажды вспомнил, что осенью 1914 года выступал на сцене Большого театра — пел в Московском сводном гимназическом хоре; выступление посвящалось союзникам России в войне.

Похвальная грамота ученику 4-го класса Московской 3-й гимназии Леониду Леонову «в награду за отличное поведение и хорошие успехи в науках», вручённая ему 27 ноября 1914 года, косвенно отражала состояние России в те дни.

Ещё верилось, что война будет выиграна, а Российскую империю и Дом Романовых ждут долгие времена благоденствия. Посему наградной лист красив, богат, огромен, в многоцветном его орнаменте размещены фотографии, посвящённые празднованию трёхсотлетия Дома Романовых и столетию Отечественной войны 1812 года, на листе размещены портреты первого государя из Романовых Михаила Фёдоровича, императоров Александра I, Николая II, императрицы Александры Фёдоровны и царевича Алексея.

Похвальный лист следующего, 1915 года выглядит несколько скромнее. На нём начертаны суровые слова, которые позже возьмут на вооружение советские агитаторы: «Всё для войны» — слева, и «Всё для победы» — справа.

К пятнадцатому году Лёна Леонов всерьёз увлечён литературой. Посещает литературные кружки, пишет не только стихи, но и прозу. Друзья его старых детских забав — по кулачным боям и посещениям иллюзиона «Наполеон» — уходят в прошлое. Теперь у него новый товарищ — Наум Михайлович Белинкий. Прозвище друга — Немка. Кто-то назвал его так из гимназистов, и прижилось. Немка разделяет интерес Лёны к поэзии.

За год, вспоминал Наум Михайлович, они перечитали Бальмонта, Брюсова, Белого, Сологуба; кстати, мрачные стихи последнего Леонов будет любить всю жизнь...

Лёна посылает первые свои поэтические опыты отцу, и в том же 1915-м Максим Леонович отзывается трогательным и бесхитростным стихотворением «Заветы сыну»: «В своих сти-

хах будь чист, как светлая росинка, / Как гордого орла полёт, — высок душой, / Забитого нуждой и в жизни сиротинку / Благословляй в твоей поэзии святой. / Бичуй порок и зло, клейми неправду злую, / Обиженным судьбой защитой будь в стихах, / Не забывай вовек страну свою родную, / Неси свет знания туда, где правит мрак...»

Четвёртого июля 1915 года в газете «Северное утро» впервые опубликовано стихотворение Леонида — называется оно «Вечером». Леонов никогда не отсчитывал начало своей литературной деятельности с этого дня, что неудивительно: стихи его той поры были совершенно беспомощными: «Люблю я вечером смотреть, / Как солнце за гору уходит, / Как пташки песнь свою заводят, / И станет тёмный лес гореть / Светила яркого лучами... / Как тихо сделается вкруг, / Как станет пахнуть сразу, вдруг / Прекрасным воздухом, цветами...» и т. д.

Но даже в этом, совсем ещё детском, стихотворении неожиданно возникает та нота, что будет сопровождать прозу Леонову целую жизнь: «Вдруг скрылось солнце — с ним краса... / Пора домой, уже роса... / И на душе так грустно станет, / Как будто гневны небеса / И солнце снова не проглянет».

«Гневны небеса» — вот ведь что! «И солнце снова не проглянет...» Отсюда уже различим путь к финальным строкам «Пирамиды», где снопы искр летят к «отемневшему небу», то есть к тем самым гневным небесам без солнца.

В следующем номере «Северного утра», от 5 июля, вышло ещё одно стихотворение Леонова — «Родине». Оно о войне: «Ты не покинута в своих стремленьях славных. / Святая Русь! Ведь гордо, как всегда, / Восстали грозные спокойно-величавы / В защиту матери герои-сыновья...»

И здесь возникла вторая главная, пожизненная тема Леонова: светлая земля Русь, её печали и устремления, её красивые люди.

Черты родины, уже в первых стихах упомянутые юным Лёной, — и спокойствие её, и гордость, и величавость — проявятся в полную силу в его «Взятии Великошумска», в «Русском лесе»...

И, кажется, можно догадаться, когда впервые две эти главные, неразрывные темы болезненно сошлись для Лёны Леонова.

Это была осень 1914 года. В Москву пришли известия о катастрофе, случившейся со 2-й русской армией, возглавляемой генералом Александром Васильевичем Самсоновым. В течение всего пяти дней два корпуса армии понесли страшные потери: до тридцати тысяч убитых и раненых и девяноста двух тысяч пленных. Самсонов покончил жизнь самоубийством.

Вскоре начался призыв работников второго разряда на войну. «Пошли, — вспоминал Леонид Леонов, — мужики с могучими руками, громадные, русые, с голубыми глазами, с бородами... А я был мальчишкой пятнадцати лет, закрылся в уборной во дворе и плакал».

И больше почти ни одного известия о том, что Леонид Леонов плакал когда-либо, не сохранилось.

А слёзы его были от жуткого прозрения, что эти живые, высокие, сильные люди окажутся скоро кровавым мясом, а ещё точнее — «молодятиной», скормленной войне. Именно этим точным словом — «молодятина» — охарактеризует призывников Первой мировой Леонов в романе «Барсуки».

А от страшной этой «молодятины» совсем недалеко до ещё более жуткого определения Леонова, что он дал людям, — «человечина».

Человечина — то, что останется от венца творения, когда небеса окончательно прогневаются, и солнца больше не будет над теми, кто не хочет жить и сжигает свою землю.

Так два наивных, юных стихотворения Леонида Леонова вместили тайный знак всего его пути.

Глава вторая
ГИМНАЗИЯ. РЕВОЛЮЦИЯ. ОККУПАЦИЯ

«По шести стихотворений в день...»

С 1915 года шестнадцатилетний Леонид Леонов подрабатывает корректором в газете. Появляются деньги, чтобы съездить к отцу, — и с этого года он проводит каникулы в Архангельске. Заводит там новые знакомства, посещает местные театры, которых в городе было немало.

Газета, где редакторствует отец Лёны, выходит ежедневно, на четырёх полосах. «Северное утро» старается рассказать читателю сразу и обо всём: от последних событий в стране и ходе войны в Европе до местных, архангельских казусов.

С Максимом Леоновичем сотрудничает Филипп Шкулёв, которого в 1913 году тоже выслали в Архангельск. Он пишет иногда ура-патриотические стихи («А ведь русские идут стеной / и бряцают щетиной стальной»), иногда весьма энергичные фельетоны.

Одновременно Максим Леонов и Филипп Шкулёв выпускают сатирический журнал «Северное жало».

Существующий порядок вещей Максим Леонович не принимает, как и прежде, о чём можно судить по его новым стихам: «Верить можно и должно, / Но когда же это солнце / Нам свободой заблестит? / Иль уже не суждено / В наше тусклое оконце / Солнцу яркому светить».

Или ещё более радикальное в журнале «Северное жало»: «Задушена свобода, / Задушена печать. / Забитому народу / Приказано молчать. / Не пусты казематы, / И тюрьмы все полны. / Сидят, тоской объяты, / В них лучшие сыны. / Расстреляны герои, / Повешены борцы, / И властвуют повсюду / Шпики и подлецы!»

После публикации этого стихотворения журнал закрыли, а оставшиеся номера изъяли из продажи.

В пятнадцатом году Лёна ещё находится под поэтическим влиянием отца. Пишет очень много, «иногда — по шести стихотворений в день», как сам говорил.

«Мои первые стихотворения были очень плохи, — признавался позже Леонид Леонов, — но я хотел бы в своё оправдание сказать: большие деревья поздно приносят плоды».

Не оспаривая мнение Леонова, мы всё же считаем, что ранние поэтические опыты его могут быть полезными в попытке воссоздания портрета писателя в юности.

Максим Леонович воспринимал поэтические увлечения сына с удовольствием: печатал его часто и последовательно. После первых июльских публикаций 1915 года следуют новые.

Двадцать шестого июля на страницах «Северного утра» появляется лирическое стихотворение «Другу». 1 августа — «Песня», традиционное народническое стихотворение о тяжкой мужицкой доле. 14 августа — «Сон», опять же про мужика, которому снится, что он король.

Так получилось, что в течение полугода стихи, подписанные Леонидом Леоновым, вытеснили из постоянной поэтической рубрики «Северного утра» остальных авторов — и местных сочинителей, и Филиппа Шкулёва.

В номере от 19 августа публикуется леоновское стихотворение «Мысли» о приговорённом к казни: «Уже за мной идут... Прощай, жестокий мир!»

Двадцать шестого августа вновь появляется тема войны: «Ужели в грозный час войны / Страна не сдержит испытанья?»

Второго сентября выходит пасторальная «Осень»: «Я завтра не пойду к заглохшему пруду...»

Двадцать третьего сентября — «Ночь»: «За окном шум дождя. Я один». На следующий день, 24-го — не совсем внятный текст «Им», про «тёмные силы земли», которые юный поэт Леонов проклинает: «Лжи позорное иго и горе легли / В основанье законов несчастной земли».

В декабре появляется антивоенное сочинение в стихах: «У Вавилы / Сын Гаврила / На войне, / За горами, / За долами, / На Двине», с ожидаемым финалом, где Гаврила гибнет: «А Вавила / У могилы / Всё стоял, / И молился, / И крестился, / И рыдал...» Затем стихотворение «Рассвет» на северянинский мотив: «Голубеет... Розовеет... Тишина... / Спят весенние душистые цветы» (в то время как в первоисточнике: «Кружевеет, розовеет утром лес, / Паучок по паутинке вверх полез»). И ещё одно стихотворение про симптоматичную для Леонова ватагу чертей, резвящихся на берегу реки.

Отец, который совсем недавно порицал один московский журнал за пристрастие к «чертовщине» («...в редком номере вы не встретите что-нибудь о чертях, про чертей, у чертей», — писал он), с инфернальными фантазиями сына смиряется.

От месяца к месяцу поэтические вкусы молодого Леонова меняются. Отцовское влияние вытесняется влиянием символистов, в первую очередь Блока. «1916 год прошёл для нас под знаком его третьей книги, главным образом стихов о России...» — вспоминал Наум Белинкий.

Двадцать восьмого октября 1916-го «Северное утро» публикует характерное стихотворение Лёны Леонова «Осенние аккорды», о девушке в белом, которой «...в сказках вечерних, неясных, бурных / Верилось в призраки светлых минут, / Страстно хотелось закатов пурпурных, / Знала, что где-то кого-то ждут».

Все эти «где-то», «кого-то», безадресность, размытость и призрачность — влияние конечно же Блока.

В тексте «Орхидеи» просматривается бальмонтовская тематика: «Но по-прежнему жестоко, безотчётно бился разум, / Но опять тянулись к свету орхидейные цветки, / На экваторе, где солнце, издеваясь красным глазом, / Превращает океаны в перекатные пески».

Вновь на северянинский мотив написано стихотворение той поры «Это было...»: «Это вспомнилось в парке / У забытой веранды, / Где так долго прощается умирающий день, / Где так сочно и ярко / В бледно-синих гирляндах / Ароматным аккордом доцветала сирень». Северянин, напомним, шестью годами раньше написал своё классическое: «Это было у моря, где ажурная пена, / Где встречается редко городской экипаж... / Королева играла — в башне замка — Шопена, / И, внимая Шопену, полюбил её паж».

Следом опубликовано ещё одно насквозь северянинское стихотворение юного поэта: «Я люблю Карнавал! В карнавальных эксцессах / Обращается вдруг в короля Арлекин! / Арлекин превратит Коломбину в принцессу!..» и т. д. «Арлекин», естественно, рифмуется с «Коломбин».

Вряд ли отец Лёны, ещё совсем недавно призывавший сына «певцом народным быть», приходил в восторг от всех этих «эксцессов» и «Коломбин», но опыты сына публиковал неизменно.

Лёне уже не хватало авторитета отца для того, чтобы осознать, литератор он или нет; и он решает идти к кому-либо из «настоящих» поэтов.

Если бы Леонид оказался в Петербурге, он непременно пошёл бы к Блоку, но он жил в Москве — и тут более верного выбора, чем Валерий Яковлевич Брюсов, не представлялось.

Собрав свои публикации, юный поэт отправился к мэтру на суд.

Дальше существует несколько вариантов развития событий: Леонов отчего-то каждый раз пересказывал случившееся в тот день на новый лад.

По одной из версий, навстречу юному поэту вышла кухарка и огорошила его фразой: «Таких он принимает только по пятницам». Но недаром Леонов был купеческим внуком — он не растерялся и сунул ей рубль. Его впустили. Лёна вошёл в переднюю, увешанную картинами, и сразу же услышал, как наверху начала истошно кричать какая-то дама. Тут Лёна и сбежал.

По другой, менее вероятной версии, Брюсов всё-таки принял Леонова, но выслушал равнодушно, разговора не состоялось, рукописей мэтр не взял.

Наверное, и к лучшему, если так. У Брюсова, в отличие от Максима Леоновича, вкус к поэзии был безупречный, и неизвестно ещё, как бы сказалась на Лёне Леонове отповедь мэтра: тексты были, в сущности, совсем слабые.

Впрочем, возможно, что Леонов пришёл в тот день с поэмой «Земля» — это самая серьёзная его юношеская работа, в которой контуры будущего миропонимания писателя очерчены чуть более внятно, чем в самых первых поэтических, почти случайных проговорках.

Леонов шёл к Брюсову, чтобы поговорить на самую серьёзную уже в те годы для него тему — взаимоотношения Бога, дьявола и человека.

Поэма, которую Леонов завещал уничтожить, всё-таки уцелела, и мы, вопреки желанию писателя, можем в неё заглянуть.

Главный герой поэмы — дьявол. В первой строфе он не называется никак, но определяется как «хитрый», «бездомный», «тёмный», «безрассудный».

Во второй строфе он получает имя — «чёрный ангел».

Чёрный ангел решается на заговор против Саваофа и становится «великим чёрным Сатаной».

«И однажды из ночных пустынь / Он прокрался, притворяясь Белым, / Изгибаясь птицей / И, губами порыжелыми / Как собака на цепи скуля, / Он ударил Бога по деснице. / А в деснице была Земля!»

Бог выронил Землю, и «великий чёрный Сатана» украл её.

Здесь, в поэме, появляется ещё одно важное для Леонова слово — Вор, так будет называться один из самых известных его романов.

«Солнце настигало, / Жгло огнём расплавленных лучей / Удлинённый череп Вора. / Закрывая впадины очей, / Сатана свернул в концы простора».

Сатана пытается спрятаться от Бога и одновременно уговаривает украденную им Землю умереть вместе с ним.

«А вверху изстарелся Бог / Под напором изменных тревог, / Издеваясь улыбкою Божьей», — пишет Леонов, оставляя некое недоумение по поводу того, как же всё-таки завершится

человеческая история. Над чем издевается Бог? Над своей старостью? Над Вором? Над судьбой Земли?

«Это был первый заговор» — такой строчкой завершается поэма.

Логический конец у поэмы отсутствует, видны явные смысловые провалы, написана она не очень умело, но сама задача, поставленная перед собой шестнадцати- или семнадцатилетним подростком, — велика. Отец Леонида, всю жизнь что-то писавший, подобных задач в своём сочинительстве не ставил никогда.

Спустя всего пять лет, в 1922-м, Леонов вновь вернётся к теме кражи Земли и потерянности человечества в рассказе «Уход Хама». И впоследствии эта тема станет одной из главных для него ещё на полстолетия.

Однако уже на основании этой поэмы мы можем заключить, что семнадцатилетний Леонов, помимо Ветхого и Нового Заветов, слышал и так называемые славянские дуалистические легенды о сотворении мира, очевидно повлиявшие на сюжет «Земли», и так или иначе был знаком с Книгой Еноха — самым ранним из апокрифических апокалипсисов.

Возможно, Леонов знал Книгу Еноха в пересказе, данном в сочинении И. Я. Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях», вышедшем в 1873 году в Казани. Но учитывая то, что последние две части Книги Еноха сохранились на славянских языках и к началу века были достаточно широко распространены в России, допустимо, что Леонов частично ознакомился и с самой Книгой. Может, даже читал её фрагменты своему деду и ещё ребёнком был поражён теми откровениями, что были заложены в тексте.

Так, в Книге Еноха впервые озвучена мысль, что именно ангелы научили людей богоборчеству и греху. И, несмотря на то, что ангелы, совратившие мир, наказаны, последствия их деяний остались: значит, снедаемое грехами человечество неизбежно погибнет.

Февральское брожение

Состояние умов и общества в начале 1917 года очень хорошо просматривается, когда, к примеру, листаешь подшивку того самого «Северного утра», с которым напрямую связано очень важное время в жизни и самого Леонида Леонова, и его отца.

Первая и четвёртая полосы газеты были, как правило, переполнены разнообразной рекламой и любопытными анонсами. В январском выпуске (№ 1) за 1917 год на первой полосе можно

увидеть объявления о спектаклях Интимного театра, Электротеатра, а также о постановке «Мулен Руж». На последней полосе той же газеты неизменно продают свиней, ищут нянь, бонн и кухарок. Максим Леонов-Горемыка из номера в номер пишет о поэтах-самородках, крайне редко делая исключение то для местного художника, то для столичного певца, то для поборников трезвости.

Начиная с февраля и «Северное утро», и сотни других российских газет всё больше уделяют места новостям о брожениях в Государственной думе. К примеру, в номере «Северного утра» от 17 февраля публикуются шумные выступления ультраправого Владимира Пуришкевича и лидера кадетов Павла Милюкова; и здесь же новые стихи Леонида Леонова: «Нет времени. Есть только человек, / И жизнь его недлинна, как зарница, / Люди часто скопища калек, / Свободны мы? Калеки или птицы? / Вы грезите, пока суровый век / Не повернёт железные страницы».

Очень актуальные в те дни стихи, надо сказать.

В номере от 19 февраля Леонов признаётся, что «...сегодня напился / Раскалённого солнца, / Я поверил, свободный, / В предвесенние сны!» — и когда бы не наглядное эпигонство первых его опытов, вполне можно было бы говорить о поэтической прозорливости юноши.

Двадцать второго февраля появляется стихотворение о войне, с финалом: «Сергей убит. Так просто и жестоко. / Сергей убит и больше ничего».

Страна между тем вступала в новые, неповоротные времена. Леонид по-прежнему живёт в Москве с матерью и братом, следит за всеми новостями: в газетах читает о том, что происходит в Петрограде, своими глазами видит, как развиваются события в Белокаменной.

Двадцать третьего февраля 1917-го в Петрограде началась забастовка, к 27-му она стала всеобщей и войска Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших.

Московские власти пытались сдержать ситуацию. Было объявлено осадное положение: демонстрации запретили, на улицы выкатили пушки, газетам не дозволялось печатать новости о петроградских событиях.

Но ничего остановить уже было нельзя: 28 февраля начинаются стачки и в Москве.

Забавное совпадение: в тот же день, 28 февраля, «Северное утро» сообщает о юбилее творческой деятельности Максима Леоновича Леонова: первое своё стихотворение он напечатал 30 лет назад. Половину номера занимают здравицы и стихи в честь юбиляра, в том числе поздравления его новой жены —

Марии Чернышёвой. В номере объявляется, что юбилейного обеда в честь Максима Леоновича пока не будет, так как не удалось подыскать подходящего помещения: «...единственный в настоящее время в Архангельске ресторан “Баръ” не может вместить всех желающих». В итоге чествование перенесли на 5 марта.

Двадцать восьмого же февраля в приказе по Московскому гарнизону сообщалось, что 1 марта будет отслужена очередная панихида по в Бозе почившему в 1881 году императору Александру II, и посему в этот день предлагалось «в барабаны не бить и музыке не играть». Но всё получилось ровно наоборот: улицы заполонили тысячи людей, развевались красные флаги, было шумно, буйно, радостно. Леонов за всем этим наблюдал, разделяя общие чувства: нравилось, что праздник на дворе и «раскалённое солнце» катится в гости к нам.

Второго марта главные городские объекты Москвы были захвачены восставшими, а губернатор, градоначальник, командующий военным округом — арестованы.

В тот же день Николай II подписал отречение от престола. В гимназии Леонова вскоре объявят об этом, и Леонид от радости наклеит в учебной тетради карикатуру на царя — что наглядно характеризует его взгляды той поры.

Четвёртого марта «Северное утро» выходит с подзаголовком «Свободная Россия». От чтения газеты возникает ощущение весёлого, весеннего шума: каждый старается перекричать всякого. Тут и выступления Керенского и Милюкова, и срочная телеграмма великого князя Николая Николаевича, и очередное объявление, что «ввиду событий, переживаемых нашей Родиной», 5 марта юбилейный вечер Максима Леонова-Горемыки вновь не состоится. Не до юбилеев!

Восьмого марта отец Леонова публикует свои, преисполненные радости, стихи: «Мы себе свободу с бою взяли, / За свободу нашу золотую / Долго мы по тюрьмам голодали, / Проклиная долю горевую». В следующем номере Филипп Шкулёв пишет передовицу «Великие события», где объявляет «Великое русское спасибо всем спасителям нашей Родины, работающим в Государственной Думе и кующим счастье и благо исстрадавшемуся русскому народу».

Спустя неделю, 15 марта, Леонид Леонов даёт в газете новое своё стихотворение, полное тех же эмоций: «Вейтесь, / Вейтесь, красные флаги свободы, / Красные флаги, кровью залитые, / Кровью отчаянья, кровью народа, / Вейтесь!»

Под публикацией Леонида небольшое стихотворение Демьяна Бедного, где он восклицает: «Какое зрелище: повешен / Палач на собственной верёвке». Следует пояснить, что имеется в виду царизм.

Несмотря на радость Демьяна Бедного и обилие крови в стихах Леонида, Максим Леонович в том же номере, словно предчувствуя что-то, пишет целую передовицу под названием «Без Маратов»: «К свободе идём мы без гильотины», — то ли радуется он, то ли пытается заговорить будущее.

Второго апреля «Северное утро» выходит с подзаголовком «Христос Воскресе!». Номера, посвящённые святому празднику, были в газете традиционными, ежегодными.

В том, 1917 году Пасха как никогда пришлась вовремя, совпав с народным ликованием по поводу революционного обновления. И в Москве, и в Архангельске на улицы вышли десятки тысяч людей — все в красных бантах, все радостны.

Характерно, что Леонид Леонов, публиковавшийся в «Северном утре» постоянно, появился со своими стихами на пасхальную тематику только один раз — в том самом апреле семнадцатого. И в номере, полном благости и восхищения, его стихотворение смотрится несколько странно.

Называется оно «Монастырь». В нём, завидев весну, которая идёт «как прелестная девушка с золотыми кудрями», молодой инок сначала улыбается, а затем плачет. В конце концов, у него «на полночной молитве / Голубые, печальные умирают глаза».

Завершается стихотворение так: «Порыжелые / Мхи зацвели на заброшенной башне. / Золотые кресты заплелись в облаках без предела. / А черёмуха блёстки роняет. / На пашни. / Белые».

На фоне иных, благостно настроенных авторов («...летят, гудят стогласные / Могучие, привольные, / Звенящие, прекрасные / Напевы колокольные...») создаётся ощущение, что Леонов нечто иное, смутное, испытывает к святому празднику, что и сам сформулировать пока не в силах.

Можно попытаться разгадать смысл леоновских метафор, но, верно, этого не стоит делать: стихотворение явно выстроено не рассудком, а некими иррациональными, ещё невнятно артикулированными чувствами. Однако и здесь уже слышны определённые созвучия с будущей прозой Леонова, а именно с описанием безрадостной монастырской жизни в романе «Соть».

Гимназия

Несмотря на революцию, гимназия, где учился Леонид, продолжала свою работу.

«Обучение было поставлено превосходно, — вспоминал Леонов и много лет спустя. — До восьмого класса мы ходили в парах, волосы отращивать не разрешалось...»

«Сама гимназия, — говорил Леонов, — помещалась в бывшем доме князя Пожарского (его потом разрушили). <...> Требовали и добивались знаний. Приходит учитель истории Вячеслав Владимирович Смирнов. Статский советник. Тишина полная. Вызывает ученика: “Говорите о Шуйском...” Слушает ответ, не перебивая и не поправляя. Потом таким же ровным голосом: “Садитесь. Два...”»

Директором гимназии был действительный статский советник Николай Иванович Виноградов. «Лингвист в генеральском мундире» — так определил его Леонов позже.

В романе Леонова «Дорога на Океан» есть эпизодическое описание некоего директора гимназии, в котором угадывается и Николай Иванович: «Нельзя было забыть этого большелобого надменного человека, — только нимба не хватало вокруг его головы. Он носил синий диагоналевый форменный пиджак на красной генеральской подкладке и с гербовыми пуговицами. Воспитанники старших классов шутили, что, даже лаская жену, он не снимал с себя парадного мундира, чтоб не забывалась».

Господин Виноградов последовательно сдерживал вольный дух возбуждённых гимназистов, разве что портреты государя со стен гимназии поснимали. Однажды утром гимназисты пришли в школу и обнаружили огромные порыжелые квадраты на стенах: здесь был император.

Но порядок в гимназии по-прежнему царил идеальный. Требовали всё так же много, учащиеся до остервенения зубрили латынь. Однако уже в юности Леонов был усидчив и упрям, так что внешнее воздействие гимназической муштры никакого заметного влияния на него не оказывало. К тому же и к латыни он имел последовательный, врождённый интерес.

С 1917 года Леонов даёт частные уроки — кстати, тот рубль, что вручил он кухарке Брюсова, как раз уроками и был заработан.

Леонид посещает гимназический литературный кружок, состоявший из девятнадцати человек; заходит на воскресные классы живописи — здесь выяснилось, что и к рисованию мальчик имеет дар.

Отец его, Максим Леонович, упоминает в своих доныне неопубликованных воспоминаниях: «...был в Москве у сына. Рисует великолепно. Директор гимназии обратил на него серьёзное внимание».

Тут важна формулировка: «был у сына». Не у бывшей жены, заметьте; да и сын Леонид — не единственный. Но, видимо, именно с ним отец связывал самые большие свои надежды.

Вернувшись в Архангельск, Максим Леонович всё никак не может справить свой юбилей: в апреле его перенесли на май, в мае снова оказалось некогда.

Летние каникулы Лёна проводит у отца.

Между тем начинавшееся в стране как безусловный праздник понемногу превращалось в лихорадку. В июле большевики берут курс на вооружённое восстание. В Архангельске об этом, естественно, никто не знает, но в том же июле на страницах «Северного утра» впервые упоминается имя Владимира Ленина.

Юбилей Максима Леоновича, спустя полгода после первоначального объявления, всё-таки отмечают, как раз в ресторане «Баръ», от которого отказались поначалу. Лёна Леонов там присутствовал. Поздравляющие чествовали Максима Леоновича как второго после Спиридона Дрожжина поэта-самородка в России. Подарили ему столовые часы и «роскошный серебряный подстаканник» — так написали в газете на следующий день. Между прочим, деньги, собранные для подарка, Максим Леонович под аплодисменты собравшихся предложил передать «на образование фонда имени М. Леонова для оказания помощи престарелым деятелям печати».

Забегая вперёд скажем, что фонд создан был; но вовсе не для помощи газетчикам и журналистам.

В неспокойную осень 1917-го Леонид возвращается в Москву. Ему предстоит отучиться последний сезон в гимназии.

Он пишет работу по роману Достоевского «Идиот», проникается темой настолько, что в неврозе заболевает лихорадкой — к счастью, болезнь быстро проходит.

Той осенью неожиданно умирает гроза и надёжа Зарядья городовой Басов, словно предвещая своей смертью скорый разор и разлом этих мест.

В том же семнадцатом году, завершая своей жизнью эпоху, уходит в мир иной и дед Леон Леонович. Одним родным человеком на земле для Лёны Леонова становится меньше.

Незадолго до смерти собрался дед уйти в монастырь. Раздумывал даже все свои немалые накопления — 17 тысяч — передать церкви. В гости к деду то и дело ходили монахи.

Неизвестно, с натуры ли срисовал их внешний вид Леонов в «Барсуках» или позже наделил печальных гостей деда такими чертами: «...у всех равно были замедленные, осторожные движения и вкрадчивая, журчащая речь. Иные пахли ладаном, иные — мылом, иные — смесью меди и селёдки».

Так и не ушёл дед в монастырь.

Большевики пришли

Двадцать седьмого октября 1917 года «Северное утро» публикует историческую телеграмму: «Петроградское телеграфное агентство уведомляет, что будучи занято комиссаром военно-революционного комитета... <...> оно лишено возможности передавать сведения о происходящих событиях».

За два дня до этого, 25 октября по старому стилю, большевики взяли в Петрограде власть.

Москва ещё держалась. Здесь скопилось множество офицеров, юнкеров из Александровского и Алексеевского училищ и школ прапорщиков — до двадцати тысяч человек.

Московская городская дума создала Комитет общественной безопасности. Было объявлено военное положение. Власть потребовала разоружения революционных частей. На Красной площади произошло первое, с убитыми и ранеными, столкновение юнкеров и отряда революционных солдат-«двинцев».

Двадцать восьмого октября началась всеобщая забастовка. Леонов слышал, видел многое, потом дал в «Барсуках» несколько точных штрихов, описывая те дни:

«...В ту минуту над опустелыми улицами Зарядья грохнула первая шрапнель. <...>

Зарядье казалось совсем безлюдным. Воздух над ним трещал, как сухое бревно, ломаемое буйной силой пополам. <...>

Вшивая гора стреляла, как вулкан. Отдельные всплески пушечных выстрелов соединялись между собой, как цепочкой, нечастым постукиванием пулемётов».

Стрельба шла по всему городу, тут и там возникали стихийные бои.

Большевикам, которым поначалу не хватало оружия, явно и неспроста везло: история, с неясной целью, подыгрывала им. Некий рабочий находит на железнодорожных путях в Сокольниках несколько вагонов, в которых оказалось... 40 тысяч винтовок. Хитрая на выдумки голь с ходу создаёт «бронепоезда» из грузовых вагонов, обложенных листами железа и мешками с песком. В Москву прибывают подкрепления из Владимира, Иваново-Вознесенска, Шуи, Твери, Коврова.

Второго ноября Комитет общественной безопасности капитулирует. Ранним утром 3 ноября красногвардейцы вступают в Кремль.

...Гимназия, где учится Леонов, по-прежнему открыта. И живёт своей, даже не вчерашней, а позавчерашней уже жизнью.

В феврале 1918 года Леонид и Наум Белинкий делают на гектографе гимназический журнал «Девятнадцать». Помимо сочинений других восемнадцати гимназистов там опубликованы стихи Леонова и один из первых его прозаических опытов — сказка «Царь и Афоня»: о крестьянине, который, как водится, пленил царскую дочь красотой и игрой на гуслях, а царя — сообразительностью.

В предисловии к журналу сообщается, что на одном из собраний кружка Леонов читал свою прозу: пять своеобразных текстов, в числе которых оригинальное повествование «Мир», где «земная наша жизнь изображается как вечная пляска поколений».

«В отличие от этого сочинения, — написано в журнале, — четыре других, прочитанных им, отличаются комическим элементом и как своим сюжетом, так и формой и обстановкой действия напоминают народные сказки».

В том же месяце Леонид Леонов оканчивает гимназию с серебряной медалью (четвёрка по математике). Вскоре медаль окажется чуть ли не единственной ценностью семейства Леоновых.

В конце 1917-го отменяется частная собственность на недвижимость; вскоре начинается переселение рабочих из чердаков и подвалов в хорошее жильё, которое занято всевозможными «нетрудовыми элементами».

Десятого марта 1918 года ввиду германской угрозы съезд Советов принимает решение временно перенести столицу из Петрограда в Москву. На следующий день поезд с членами советского правительства прибывает на Николаевский вокзал. Ленин сначала поселяется в гостинице «Националь», а 19 марта переезжает в Кремль.

Семнадцать тысяч рублей, которые по малому грошику скопил дед Леон Леонович, были изъяты в пользу новой власти. Дед по матери никакого наследства не оставил.

Ещё 21 февраля 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет «Социалистическое отечество в опасности!», который постановлял, что «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Ранней весной по Москве распространяются страшные слухи, что новые власти будут расстреливать поголовно всех гимназистов.

Семья договаривается, что брат Боря отправится в Ярославскую область, в Ескино, а Лёна — переждать смуту к отцу. Мама Леонова, Мария Петровна, ещё надеется, что всё устроится и утрясётся. По уговору с матерью Леонид собирался вернуть-

ся назад осенью, чтобы поступить на медицинский факультет Московского университета.

Как мы видим, он ещё не думал связывать жизнь с искусством, будь то ремесло литератора или художника.

Леонид едет в Архангельск, но всерьёз вернуться в Москву ему удастся лишь через несколько лет, перед тем исколесив половину России от Белого до Чёрного моря.

Год поэтический

Жила новая семья Леонова-Горемыки в двухэтажном деревянном доме купца Тимофеева. Жена Максима Леоновича относилась к Лёне вполне приветливо.

На работу отец с сыном ходили пешком: до редакции было минут пять. Фасадную часть добротного каменного здания, выходившего на Соборную улицу, занимало отделение Русского банка внешней торговли, а в двухэтажной пристройке во дворе помещались редакция и типография газеты.

«Северное утро» в силу материальных причин закрылось, но Максим Леонович нашёл возможности для того, чтобы самому и в качестве издателя, и в качестве редактора незадолго до приезда сына начать выпуск другой газеты. Он называет её «Северный день», и 15 января 1918 года выходит первый номер издания.

Теперь настроение у Максима Леоновича совсем иное: и следа нет того ликования, что испытывали все год назад, когда произошедший в стране переворот на страницах его газеты именовали «чудом».

«При тяжёлых условиях современного нестроительства России приходится нам приступать к изданию нашего нового молодого органа. Вовлечённая в ужасную четырёхлетнюю, беспримерную в летописях человеческих бойню, наша исстрадавшаяся родина в конец разорена...» — так выглядело обращение к читателю в первом номере «Северного дня».

Добравшийся до Архангельска Леонид Леонов быстро освоил все смежные профессии в газетном деле: отныне он и корректор, и наборщик, и печатник, и журналист, и заведующий театральным отделом. (Исследователь творчества писателя Валентин Ковалёв сосчитал, что за год работы в газете Леонид, помимо стихов и прозы, опубликует 40 театральных рецензий, две рецензии на книги, две статьи о художниках, одну рецензию на симфонический концерт, одну рецензию на лекцию столичного лектора и два некролога.)

«Северный день» пишет об отделении Украины, о вооружённом подавлении забастовок в других городах страны — и вину за всё это возлагает, естественно, на новую власть.

В одном из мартовских номеров «Северный день» возмущённо сообщает: «Русско-финляндский договор характеризует ещё ярче, чем брестский, отношение Советской власти к русским интересам... <...> Согласно параграфу 15 финско-русского договора, подписанного 1 марта, "в полную собственность" Финляндии поступает территория на Севере, принадлежавшая до сих пор России».

Одновременно издатели газеты считают своим долгом сказать: «Переживая такое тяжёлое время — время смуты на Руси, нельзя не отметить одного факта. Кому мы, граждане гор. Архангельска, обязаны за наше городское спокойствие? <...> Чья сильная рука сумела удержать и удерживает толпу, готовую ежеминутно перевернуть всё вверх дном? <...> За всё это мы обязаны нашим товарищам и гражданам матросам».

Вместе с тем «Северный день» позволяет себе опубликовать и обращение патриарха Тихона «О событиях дня»: «Тяжёлое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви Христовой всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийства».

В мартовские дни в Архангельске проходит крестный ход. В газете напишут: «...многочисленный крестный ход показал, что православный народ любит свою веру и свято чтит свои обычаи».

Взгляды Лёны и его отца того времени можно определить как правоэсеровские: при том, что правые эсеры уже находились с большевиками в конфронтации, а летом 1918 года решением ВЦИКа представители этой организации будут исключены из Советов всех уровней.

Но не будем забывать, что в самом Архангельске всё это время сохранялась старая структура администрации. Действовала городская управа, и влияние правых эсеров и меньшевиков в местном совете было очень серьёзным, что до поры до времени сдерживало большевиков в их деяниях.

Однако сама жизнь в Архангельске день ото дня становилась всё труднее. Горожане начинают бедствовать и голодать. Воцарилась невнятица с деньгами. Леоновская газета сообщала, что архангельские торговцы не берут «керенки», крестьяне же просто гонят покупателей с «керенками» прочь.

Леоновым не без оснований казалось, что страна буквально разваливается и наступают мрачные времена.

Двадцать первого марта 1918 года на первой полосе «Северного дня» появляется стихотворение Леонида Леонова «Хоругви».

Хоругвь, как известно, — особый вид знамён с иконами, носимых на длинных шестах во время крестных ходов.

Начинается стихотворение на высокой ноте: «Да. Я знаю, / В твоих первых походах / Окровавлены будут хоругви твои / И от края до края без начальных исходов / Лебединая стая / Пронесётся вдали. / Но за первые стоны / Будет песен так много... / Будет первою правдою ложь. / И в пути твоём белом будут тоже уклоны...» Дальше стихотворение начинает путаться, сбиваться с ритма и заканчивается совершенно невнятно: «Будет новое нет. С вензелями твоими / Будет снова хоругвь моя. / Узорная. / Твоя».

Но если посмотреть, какое стихотворение напечатано над текстом Леонида Леонова, замысел публикации станет чуть яснее. Выше опубликован Фёдор Сологуб с откровенным плачем: «Умертвили Россию мою, / Схоронили в могиле немой! / Я глубоко печаль затаю, / Замолчу перед злою толпой: / Спи в могиле, Россия моя, / До желанной и светлой весны!»

Леонов нарочито заплетающимся слогом пишет о том же, что и Сологуб: об исходе лебединой России, о её нежданной смерти и о неизбежном воскрешении — в пору той самой желанной весны, когда можно будет вновь поднять узорные хоругви.

Пока же реальность за окном радужными надеждами не одаривала. Общая интонация газеты с каждым днём становится всё более подавленной. «Северный день» рассказывает о сумятице в городе и безработице, о том, что телят, привозимых из деревень, зверски забивают прямо в лавках... и постоянно чувствуется, что издатели газеты что-то недоговаривают и раздражение их ещё более сильно. Реклама постепенно исчезает из газеты, и с апреля из четырёхполосной она становится двухполосной: далее большой ежедневник делать невыгодно.

Однако стихов Леонид пишет всё больше: 1918 год в этом смысле наиболее «поэтический» в жизни Леонова. Тому благоприятствует и сама атмосфера вокруг, и возраст. Восемнадцатилетний юноша, переехавший из Москвы в сумрачный, снежный город, видит повсюду хаос и предчувствует новые беды... И вместе с тем в текстах его появляются любовные мотивы: в течение весны восемнадцатого года публикуются как минимум два лирических стихотворения Леонова с посвящениями: А. И. Кульчицкой (опять в северянинском духе: «...Прикатил с виолончелью на фиалковой коляске / В городскую суматоху златосотканный Апрель...») и некоей Лидии В-ой (романсовое, о том, что «...твоя душа опять сливается с моей / Как пламя и хрусталь, как яд и дно бокала»).

Помимо посвящений были и такие, в духе Блока, зарисовки: «В переулках, тоскою окрашенных, / Лишь заснёт утомлённая гладь, / Превращалась из белых монашенок / В полупьяных кокоток опять. / Уж не ты ли бродила бульварами, / Промокавшими в визге дождя, / С молодыми, безусыми, старыми / Бесшабашную жизнь проводя».

Бурные времена способствуют размышлениям на подобные темы. В одном из апрельских номеров «Северного дня» передовица на первой полосе называется «Безумное оскорбление женщины!». Речь идёт о том, что «саратовскими анархистами издан декрет об отмене права частного владения женщинами», — проще говоря, законодательно утверждена общая принадлежность слабого пола. «Проповедь поголовного разврата» — так характеризуют в газете происходящее.

В том же апреле в Архангельск приезжает с гастролями актриса Е. Т. Жигарева. Леонов посещает несколько спектаклей с её участием и в одной из рецензий, опубликованных в «Северном дне», пишет о постановке: «Магда» не отличается особенной глубиной мысли, но вследствие массы эффектных сцен и обилия затронутых в пьесе животрепещущих вопросов распада семьи до сих пор не сходит со сцены».

Из этого можно заключить, что распад леоновской семьи, случившийся почти восемь лет назад, оставался для Леонида темой важной и до сих пор болезненной.

Интервенция

Двадцатого апреля в «Северном дне» опубликована важная передовица: «Всецело подчинив своей суверенной воле новоявленную “независимую Финляндию”, Германия стремится охватить Россию не только с северо-запада, но и с крайнего Севера. С этой целью она посылает, согласно последним телеграфным сведениям, финско-германские отряды на наш Кольский полуостров, наперерез Мурманской железной дороге».

И далее: «Троцкий ответил приказом “принять всякое содействие со стороны союзников”. Во исполнение этого приказа между представителями мурманского совета и представителями англичан и французов состоялось соглашение, по которому последние признали совет высшею властью на Мурмане, обещали не вмешиваться во внутренние дела края и обеспечили нам существенную помощь людьми и “всем необходимым”. <...> Нужно ли прибавлять, что та помощь, которую наши союзники решили оказывать нам на нашем северном побережье, не имеет ничего общего ни с какой оккупацией?»

Именно так, при непродуманном пособничестве самих же большевиков, начиналась история пресловутого захвата интервентами Русского Севера, и в том числе Архангельского края.

Председателем Мурманского совета был Алексей Юрьев, прибывший на Север осенью 1917 года из Нью-Йорка. Во время Первой мировой он сотрудничал с Троцким в издаваемой в США русскоязычной газете «Новый мир», что обеспечило Юрьеву стремительную карьеру.

Ситуация и вправду была непростой: угроза со стороны финско-германских войск имела место, а Красная армия только-только создавалась. В итоге Троцкий, не согласовав своё решение с Лениным, действительно дал указание Юрьеву принять союзников. 9 марта на побережье был высажен первый десант.

Леоновых эта весть обрадовала.

В их понимании бывшие союзники (бывшие, потому что ранее советская власть разорвала все договоры с ними) не просто гарантировали безопасность от финско-германской агрессии: с ними связывали надежду на восстановление порядка в самой России.

Стихи, которые Леонид Леонов публикует теперь в каждом номере (по два стихотворения ежедневно), явно показывают его отношение к происходящему в стране.

Вот стихотворение, вышедшее в том же номере, где появилось известие о скором приходе союзников: «...но когда ты заклеишь плакатами / Потемневшие лики святых, / Приходи со цветами измятыми / В ореоле огней площадных — / Обовью тебя радостью братскою / И терновым венцом обовью... / И прикрою я гунькой кабацкою / Поседевшую душу твою».

Лирическая героиня стихотворения — падшая Россия-Дева, позволившая поверх ликов святых наклеить безбожные плакаты новой власти.

И на следующий же день: «...А ночь темна... Поля закрыты мутью... / И по полям, веригами гремя, / Бредёт страна к желанному распутью / На эшафот прославленного дня. / И вместе с ней, распятой и безвольной, / Иду и я в свинцовом клобуке. / И виден мне платочек богомольный / Да посошок в израненной руке».

В те же дни газета не без удовольствия рассказывала, как английское правительство собирается помогать Архангельскому краю: речь шла и о прямых поставках продуктов, и о поддержке развития рыбного промысла. «Англичане согласны прислать в наше распоряжение два трайлера», — сообщал «Северный день».

Может, англичане не дадут «распятой и безвольной» стране добрести до эшафота? — таков настрой Леоновых.

* * *

Леонид знакомится с местными молодыми литераторами и даёт им в «Северном дне» отповедь, рецензируя архангельский ежемесячник «Юность»: «Везде, во всех кружках, где мне приходилось бывать (“Самообразование”, “Пламя” в Москве, дом Юношества в Рязани), везде одно и то же. Безусые молодые люди с нахмуренными лицами до хрипоты кричат о каких-нибудь “пленарных” заседаниях художественной подсекции кружка. Зачем эта игра... Больше простоты! Я знаю единственный ученический журнал Москвы, избегнувший этой участи, — “Девятнадцать”. “Юность” не избегла общей участи».

В данной заметке Леонид лукаво забывает упомянуть о том, что журнал «Девятнадцать» в Москве именно он и делал с друзьями-гимназистами.

Тогда же происходит одно из самых важных для него знакомств той поры: с художником и сказочником Степаном Писаховым, оказавшим на раннюю прозу Леонова определяющее влияние. Та сказовая леоновская манера, которую некоторые исследователи ошибочно возводят к Ремизову, наследует конечно же живому языку Севера, впервые столь точно услышанному именно Писаховым.

Писахову в 1918-м было 39 лет. Сын Года Пейсаха, крестившегося и ставшего Григорием Писаховым, он родился в Архангельске, уехал сначала в Казань, а затем в Петербург учиться на художника, где в 1905 году за участие в революционных событиях был лишён права продолжить образование. Осенью того же года попал в Иерусалим, остался без гроша, служил писарем у архиерея в Вифлееме; получил разрешение у турецких властей на право рисовать во всех городах Турции и Сирии, оттуда уехал в Египет... Затем были Италия, Греция, Франция. В Париже почти целую зиму занимался в Свободной академии художеств.

Участвовал в войне, послужил ратником ополчения в Финляндии, в 1916-м был переведён в Кронштадт, где встретил Февральскую революцию и поработал в Кронштадтском совете рабочих и солдатских депутатов. Демобилизовался и в восемнадцатом году вернулся в Архангельск.

Писахов знался с Максимом Леоновичем (к последнему вообще в городе относились с уважением). В те годы Степан Григорьевич начал сочинять сказки, и две из них уже были опубликованы в «Северном утре».

Для Леонида знакомство с Писаховым было настоящей душевной радостью.

Третьего мая 1918-го с анонсом на первой полосе был опубликован очерк Леонида Леонова «Поэт Севера» с подзаголовком «У художника С. Г. Писахова».

«...Маленькая комната, на стенах и мольбертах небольшие холсты с широкими смелыми мазками, — так описывает Леонов увиденное. — Степан Григорьевич любезно показывает этюды... И тогда как-то незаметно чувствуешь, как идёшь по мутно-зелёному ковру тундр, по ледяному паркету новоземельских скал».

Писахов поделился с любопытствующим юношей рассказами о Новой Земле, показывал не только картины, но и фотографии: минареты Стамбула, римские соборы, Сахару...

Договорились о том, что Писахову необходимо устроить выставку в Архангельске. Леонид стал помогать своему новому другу, который, несмотря на молодой, в сущности, возраст, воспринимался как человек пожилой: с такой-то, вместившей десятки стран, встреч, биографией.

Сошлись они, кстати, и в политических взглядах: Писахов не скрывал, что с нетерпением ожидает союзников, в большевиках же видел он натуральных разбойников.

* * *

В начале мая Архангельск всем миром — помимо «товарищей матросов» — отмечает Пасху. Но в «Северном дне», где Леонид Леонов давно уже является ежедневным автором поэтической странички, впервые за долгое время не публикуются его стихотворения.

Зато в недавнем, от 1 мая, номере «Северного дня» опубликованы его «Сны» — стихи о дьяволе, под сутаной которого, по словам молодого поэта, спрятан Христос.

Другая жизнь

На председателя Мурманского совета Юрьева пытались давить из Москвы, ему лично звонил нарком по делам национальностей Иосиф Сталин: «Вы, кажется, немножко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры как основание для оккупации. Если вы добьётесь письменного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо вашей воли».

Но Юрьев то ли не смог совладать с ситуацией, то ли уже вступил в некие договорённости с бывшими союзниками Российской империи.

Почувствовав в среде горожан усиление просоюзнических настроений, 29 апреля 1918 года отдел Архангельского губисполкома по борьбе с контрреволюцией предложил владельцам типографий воздержаться от антисоветских воззваний и объявлений. Не то — конфискуем имущество, пообещал губисполком.

В «Северном дне» обращение губисполкома восприняли с точностью до наоборот. 12 мая в газете «Северное утро» была опубликована редакционная статья с прямым призывом к свержению советской власти.

В тот же день губисполком выпустил приказ о закрытии «буржуазной газеты» «Северный день» и аресте Максима Леоновича Леонова. Но на следующий день вопрос каким-то образом был разрешён, и ни закрытия газеты не произошло, ни ареста Максима Леоновича. По всей видимости, Архангельский губисполком чувствовал себя не настолько уверенно, чтобы идти на прямые репрессии.

Редакции «Северного дня» было сделано внушение. И действительно, антибольшевистские материалы со страниц газеты исчезли, зато стали появляться горячие депеши из Москвы.

Тридцатого мая 1918 года «Северный день» публикует «Приказ всем губернским уездным и волостным совдепам и крепдепам о создании крепкой и строго организованной Красной Армии». Приказ подписали председатель ЦИКа Свердлов, председатель Совнаркома Ленин, нарком по военным делам Троцкий.

Во второй половине июня в газете появляется приказ о введении в районе всего архангельского порта военного положения.

Город притом старается жить вполне себе светской жизнью. Леонид Леонов по-прежнему регулярно отчитывается о театральных постановках. В Театре Гагаринского сквера он смотрит комедию Шаха «Её первая любовь» и постановку по пьесе Андреева «Gaudeamus». «Холодная погода не повлияла на сборы», — замечает Леонов в рецензии. Затем посещает «Коварство и любовь» Шиллера («Театр полон», — вновь отчитывается он) и «Распятую» Лернера.

Только 3 июля «Северный день» публикует запоздалое «Оповещение»: «Председатель Мурманского Совдепа Юрьев, перешедший на сторону англо-французских империалистов и участвующий во враждебных действиях против Советской республики, объявляется врагом народа. Лев Троцкий».

В июле в Архангельске начинается хлебный кризис. Газета Леоновых сообщает, что «выдача муки населению прекращается, кроме детей до 5-летнего возраста». Горожане всё более

шумно винят в своих бедах большевистскую власть и уже с нескрываемым нетерпением ждут союзников, которые начали движение в сторону Архангельска.

Ни приближение чужеземных войск, ни перебои с хлебом не мешают не только новым театральным постановкам, но и выставке Степана Писахова, которая во многом стараниями Леоновых всё-таки состоялась 21 июля в зале Публичной библиотеки.

Степан Григорьевич и Леонид становятся до такой степени дружны, что вскоре после выставки решают вдвоём отправиться в Москву: устроить показ картин Писахова и в столице.

За пару дней до отъезда, 26 июля, «Северный день» сообщает о расстреле Николая II. «Новое место пребывания Александры Фёдоровны и дочерей держится в тайне», — сказано в той же новости... Пять лет назад Леонид видел государя императора своими глазами. Но в тот июль известие о смерти царя его не ошарашило: Леонов сам признался в этом спустя многие годы.

Пока Степан Григорьевич и Леонид двигались в сторону столицы, 31 июля союзники взяли Онегу, а 2 августа англо-франко-американская эскадра в составе семнадцати кораблей причалила к Архангельску и новые хозяева Русского Севера вошли в город.

Большевики оставили Архангельск заранее.

Официально союзники были приглашены в город антибольшевистскими силами. Британский консул в Архангельске Дуглас Янг вспоминал: «После того как большевики покинули Архангельск, был разыгран спектакль “приглашения” союзников вступить в город. Приглашение было послано от каждого из соперничающих претендентов на власть: одно — от Н. Чайковского, “народного социалиста”, другое — от банды офицеров из пресловутой “дикой дивизии”, которая сразу же после ухода большевиков быстро захватила сейф военного штаба и начала делить между собой несколько миллионов рублей».

Как бы то ни было, едва добравшись до Москвы, Леонов с Писаховым, так ничего и не сделав из задуманного, развернулись и тронулись обратно. К своим!

В биографиях Леонова факт его пребывания на оккупированной территории интерпретировался однозначно: в Архангельск пришли захватчики, и будущий писатель не смог вернуться в советскую Москву. Но всё обстояло как раз наоборот: он именно что бросил столицу и спешно отправился навстречу оккупантам.

Сразу по возвращении своё муторное путешествие Леонид описал в «Северном дне».

В Москве добыли билеты на поезд до самого дома. Но в Вологде состав остановился.

«...К вагону, — пишет Леонов, — подошёл человек в форменной фуражке и ласково сказал:

— Вагон дальше не пойдёт!

Мы посмотрели на него с недоумением.

— Позвольте! Если вагон не пойдёт — так поезд пойдёт?

— И поезд не пойдёт!

Человек в форменной фуражке любезно раскланялся, предупредив на прощание, что идут некоторые поезда, но поездка эта может кончиться тем, что многие из нас кончат своё бренное существование в рядах Красной Армии».

Каков леоновский тон, оцените! Что-де может быть гаже, чем очутиться среди красноармейцев, да ещё и подохнуть вместе с ними.

Пришлось плыть на пароходе, в третьем классе: билеты в первый и второй уже были распроданы. Сначала до Устюга, оттуда до Котласа.

«А в Котласе, — сообщает Леонов, — уже стояли "коммунистические" пароходы с некоторыми из социал-бегунов во главе. Некоторые из последних заглянули на наш пароход, подумали и решили — выгнать вон с парохода!..

И нас торжественно высадили».

«Социал-бегунами», поясним, Леонов называет большевиков.

В Котласе путешественники с горем пополам пересели на баржу.

«Степану Григорьевичу, — рассказывает Леонов, — пришлось спать на столе — привилегированное положение в некотором роде. Настроение у нашей компании было хорошее, и покуда мы не падали духом, на баржу бегали жители, кричали и охали бабы, не зная, куда деваться со своим скарбом, куда бежать от грядущих бедствий, щедро обещанных коммунистическими оракулами.

Легли спать. Кто где мог — там и устроился.

Один из соучастников по этому "путешествию", также принуждённый преклонить свою буйную главу на худой, ветхой барже в эту холодную, мокрую ночь, засмеялся, увидев художника Писахова на столе.

— Отпевать его, или он уже отпет?

Степан Григорьевич сквозь сон недовольно буркнул:

— "Отпетые" уезжают уже, и жаль, что не нам приходится хоронить их...»

Это он о большевиках так.

«...утром, — продолжает Леонов, — мы узнали, что коммунистические пароходы уже "снялись с якорей" и, может быть,

вследствие их счастливого отплытия к далёкой Белокаменной, оставшиеся власти милостиво выдали нам по 1/2 фунта хлеба на человека... <...>

Уже к прибытию нашему в Пучугу — одну из деревень, лежавших на пути нашего путешествия, — женщины продавали обручальные кольца, подушки и драгоценности, не зная, что будет дальше».

В Пучуге их высадили снова, они нашли другую баржу, а Писахов опять пристроился подремать на столе. «Второй стол в моей жизни!» — пошутил он.

К вечеру опять высадились и пересели на лошадей, добрались до деревни Березняки, где встретили красноармейскую заставу, которую Леонов за чрезмерную вооружённость иронично обозвал в своей статье «громовержцами». Из Березняков Писахов, Леонов и трое их попутчиков отправились на Пянду. Там начали искать лодчонку, чтобы доплыть до Архангельска.

На этом берегу Леонову впервые пришлось столкнуться со смертью лицом к лицу.

По реке шла моторная лодка с красноармейцами: они подплыли почти вплотную и неожиданно дали залп по безоружным людям. Один, раненный в ногу, упал, второй был сразу убит. «Пуля вошла в висок и вышла через затылок», — констатирует Леонов в своих невесёлых заметках.

Сам Леонид и Степан Григорьевич Писахов не были задеты первыми выстрелами и от греха подальше отбежали от берега.

Красноармейцы причаливать и ловить беглецов не стали, а сразу уплыли.

Писахов подхватил раненого, и они отправились в дом местного священника, о. Александра.

Тот, пишет Леонов, «очевидно привыкнув к подобным перепалкам, мягко и любезно принял пришедших, успокоил и видом своим, и своим радушным приёмом, и рассказал, что красноармейцы разгневаны на Пянду за то, что крестьяне, не будучи в состоянии дальше выдерживать реквизиции, грабежи и поборы, смешанные с хулиганскими выходками со стороны "рабоче-крестьянской" армии, несколько раз сами выступали против державных негодяев и вступали с ними в довольно решительные стычки на Березянке.

О. Александр предложил чай, но мы были принуждены отказаться за поздним временем и пошли обратно домой, в те крестьянские хаты, в которых мы разместились.

А к Пянде уже подходила красноармейская дружина, успевшая съездить за подкреплением в Березник».

«...Воинственно бряцая оружием», они, вспоминает Леонов, «опрашивали, где находятся недавно приехавшие люди».

Дом, где разместились путешественники, вскоре нашли и оцепили. И то были минуты, когда Леонов мог всерьёз прощаться с жизнью.

Но всё обошлось.

«...Широко размахивая красными руками, — пишет Леонов, — вошёл комиссар (фамилия его, как мы после узнали, — Виноградов, один из "Архангельских"), постоял в дверях, плюнул в угол».

Свернув цигарку, комиссар поинтересовался:

— Вы чего от берега убежали?

У путешественников, едва не перебитых несколько часов назад, от такого вопроса вовсе пропала речь, но, к счастью, за них вступилась хозяйка дома:

— Что ты, батюшка, окстись, в живых людей стреляешь, а ещё спрашиваешь?

«Комиссар самодовольно улыбнулся, плюнул ещё раз и двинул свою тушу к дверям, вероятно, "углублять революцию" в соседних деревнях... <...> Осада с дома была снята», — вспоминает Леонов.

Несчастные, испуганные и внутренне обозлённые, они двинулись дальше. «Двое, — замечает Леонов, — остались в Пянде. Один, "господин с пробитой головой", как назвал его социал-палач, остался навсегда в земле, другой в больнице».

«При выезде из деревни, — продолжает Леонов, — снова, как из земли, выросла новая красноармейская застава. Эти уже совсем похожи на разбойников. Звериные оклики, зверское перемигивание, разухабистые широкие жесты...»

Но и эта встреча для путешественников закончилась благополучно.

«...На всём пути от Москвы до Устюга общее настроение крестьян таково — ждут, когда придут союзники и освободят наконец их от большевиков. <...> Во всех деревнях нас засыпали вопросами: Скоро ли? Когда же!» — рассказывает Леонов.

Белогвардейцев в статье своей Леонов называет не иначе как «народные отряды», а десант, захвативший Архангельск, — исключительно «союзниками».

Вернувшись, наконец, домой, они застали Архангельск ликующим. Новые подкрепления «союзников» горожане встречали как освободителей: по крайней мере, те, кто выходил на парадную пристань Архангельского порта. Были среди них и Писахов с Леонидом Леоновым. Где ж ещё было находиться ему, сумевшему в пределах одной статьи назвать большевиков и «социал-палачами», и «социал-бегунами», и со зверями сравнить...

Любопытно, что при встрече «союзников» были подняты два флага: русский национальный и красный, что знаменовало верность не только родине, но и первой революции.

В кругу Леоновых тогда взахлёб говорили об объединении всех демократических сил, восстановлении порядка и возвращении тех земель, что стремительно растеряла заблудшая Россия.

Самый город обновился и ожил. Англичане завезли туда товары, обувь и ткани; французы — шелка и духи. Архангельские женщины вдохновенно скупали заморские товары. Настроения в среде интеллигенции были самые радужные. Всем казалось, что большевистская власть осыплется по всей Руси столь же скоро, как скоро сбежала она из Архангельска.

Поначалу «союзники» вели себя более чем благожелательно. 2 августа 1918 года новое правительство выступило с декларацией, в которой заявило о взятых на себя обязательствах восстановления демократических свобод, в том числе свободы слова, печати и собраний. Ещё через неделю торговые суда и прочее имущество судовладельцев, национализированное при советской власти, были возвращены прежним хозяевам. К власти пришла коалиция эсеров и кадетов, возглавляемая упомянутым выше народным социалистом Николаем Васильевичем Чайковским.

Правда, сразу вслед за декларацией о свободах главнокомандующий войсками «союзников» генерал Ф. К. Пуль «попросил» убрать с улиц красные флаги, что и было сделано, а затем издал приказ о запрещении митингов и сходок в Архангельске.

Военным губернатором Архангельска был назначен полковник французской армии Доноп, в его подчинение перешли все русские и союзнические офицеры в Архангельске. Доноп объявил Архангельск на военном положении и вскоре ввёл военную цензуру на все печатные издания.

Уже 25 августа 1918 года были одновременно оштрафованы редакторы сразу четырёх архангельских газет, в том числе и Максим Леонович Леонов «за помещение заметки в отделе хроники и объявление о собрании социал-демократов и строительных рабочих без разрешения союзного контрольного отдела».

Недееспособное правительство Чайковского быстро потеряло всякое своё влияние. «Союзники» неожиданно взяли курс на военную диктатуру.

Но всё это у Леоновых не вызывало отторжения: большевики им казались ещё более отвратительными.

В «Северном утре» 16 октября 1918 года в заметке «Чашка чаю у С. Г. Писахова» рассказывалось об аукционе, устроенном художником. Вырученные от продажи картин деньги Писахов

отдал в помощь «офицерам, прибывающим из местностей, занятых большевиками». «Чаепитие», где был и Леонид, сопровождалось произнесением тостов за здравие «союзников»...

Мало того, Максим Леонович, как человек деятельный, возглавил Общество помощи воинам Северного фронта, о чём было объявлено на страницах «Северного дня». Так семья Леоновых вступила в прямое пособничество «союзникам» и Белой армии.

Леоновы продолжали выпускать свою газету, в целом поддерживая новую власть. У архангельской интеллигенции даже появилась возможность выпускать антологии. Так, Леонов-старший, Писахов и новый знакомый Леоновых писатель Борис Шергин организовали выпуск литературного сборника «На Севере дальнем». В городе начинал действовать кружок «Северный Парнас», активным участником которого, естественно, стал Леонид.

* * *

На исходе 1918 года Леонид Леонов начинает всё чаще печатать в «Северном дне» свои прозаические вещи. Всего до декабря 1919 года он опубликует четыре сказки, в том числе написанную ранее «Царь и Афоня», три этюда и семь рассказов: «Епиха», «Телеграфист Опалимов», «Профессор Иван Платоныч», «Сонная явь», «Тоска», «Рыжебородый» и «Валина кукла» (последний будет позже переработан и войдёт в большинство собраний сочинений Леонова).

Началось всё с рассказа «Епиха», который Леонов написал по совету одного из сотрудников «Северного дня» Владимира Гадалина. Тот сказал, что Леониду стоит ещё раз попробовать себя в прозе, и был прав.

«Епиха» был прочитан в литературном кружке «Северный Парнас». Собравшаяся публика осталась крайне довольна.

Рассказ не обошёлся без нечисти: главным героем выведен угрюмый Епиха, молодой человек, который мало того что живёт с бабкой-колдуньей, но и сам всевозможными способами ловко расправляется с «лешаками». В «Епихе» Леонов впервые упоминает имя Еноха.

В рассказе «Профессор Иван Платоныч» главный герой, всю жизнь занимавшийся водорослями, до такой степени задумался о смысле жизни, что решил покончить жизнь самоубийством (впоследствии тем же способом завершит свои дни другой леоновский профессор — Грацианский). По вечерам Иван Платонович приглашал к себе пообщаться кучера Степана и однажды попросил его на своей книге о водорослях напи-

сать вместо «Проф. И. П. Вальков» — «Кучер Степан Семёнович». Кучер так и сделал, за что и был немедленно изгнан профессором. Сам профессор выпрыгнул в окно.

«Тоска» — зарисовка о несчастном и некрасивом «маленьком человечке» Зеленцове, который, находясь в пивной, представляет себя герцогом, а местных проституток называет маркизами. «Была темень, была ночь, в ночи — город, в городе улица, а на улице — я, господин Зеленцов. Да и интересно ли это кому-нибудь...» — так завершается зарисовка.

В рассказе «Сонная явь» некие любопытствующие господа устроили спиритический сеанс и общаются с духом Калигулы. Одновременно, под тем же спиритическим блюдечком, обнаруживается другой дух, рассказывающий историю об иконописце Григории, который, видя на иконах мучеников и страстотерпцев, мучительно стыдился своей молодости и силы. В итоге, когда участники сеанса засобирались домой, выяснилось, что в прихожей украли чью-то шубу. «...Сия история должна послужить нравоучительным уроком в будущем: появление покойного императора Калигулы в длинные вечера не предвещает ничего хорошего. Впрочем, Калигула тут ни при чём».

В большинстве рассказов, при всём их очевидном несовершенстве, угадывается будущее парадоксальное леоновское мышление, и более того, все его основные темы, и самая главная из них — человеческая богооставленность.

Мотивы будущей повести «Петушихинский пролом» слышны в этюде «Мальчик Коля». Герою снятся чудовищные, совсем недетские сны: «Будто подошёл он к краю, а за краем провал, ну, думает, может быть, есть там что, а может быть, и нет ничего. Только издали кажется. И хочет подойти — и страшно. А дай, думает, подойду. Подошёл — наклонился, увидел — упал. И так странно было, когда последние клочки земли ушли куда-то в сторону — а вдали бездна, внизу. И там... что было там, мальчик Коля не разглядел».

...Зато сам Лёна будет пытаться разглядеть всю жизнь. И именно эту бездну увидит ещё в детстве герой романа «Пирамида», священник и еретик о. Матвей.

Юнкер № 636

Двадцатого августа 1918 года в Архангельске был принят Закон о всеобщей воинской повинности. Постановление гласило: «Призвать на действительную военную службу в сроки, имеющие быть установленными Управляющим Военным Отделом Верховного Управления Северной Области, по соглаше-

нию с Управляющим Отделом Внутренних Дел, всех проживающих в пределах Северной Области граждан, родившихся в 1897, 1896, 1895, 1894 и 1898 годах».

Леонид Леонов под первый призыв не попадал: у него был ещё год в запасе.

В ноябре 1918 года в Архангельск прибыл Владимир Марушевский — последний начальник Генштаба армии при Временном правительстве. Вскоре после Октябрьской революции он был арестован большевиками, посажен в «Кресты», потом отпущен под «честное слово», которое, как видим, не сдержал.

Марушевский был назначен командующим ещё не созданной Северной Белой армии. «Союзники» оказывали ему всяческое содействие. В подразделениях спешно организуемого воинства были восстановлены устав, знаки отличия и награды старой армии. Была проведена регистрация офицеров, и начался призыв их на военную службу.

Однако быстро создать действенную Северную армию не получалось. Набор в армию происходил далеко не на добровольческой основе, людей не хватало, в итоге брали всех, пригодных по здоровью и возрасту.

Дело в том, что уже через несколько месяцев после прихода «союзников» настроение жителей Архангельска стало меняться на противоположное. Номинальный глава архангельского правительства Николай Чайковский докладывал в Омск Колчаку, что население живёт исключительно нищенским пайком союзников, рабочие отказываются работать, недовольных становится всё больше.

В такой обстановке мобилизацию проводить было крайне сложно. Архангельская газета «Возрождение Севера» осенью 1918 года писала: «Трудно передать настроение солдат. Тут и злоба на богачей, которые остаются в деревне, и зависть ко всякому, кто может спокойно сидеть дома, и над всем этим — упорное нежелание воевать. Жутко становится, когда послушаешь их речи. Одни ни за что не пойдут на войну, пусть лучше их убьют в деревне, другие пойдут, но при первом же случае перейдут к большевикам, чтобы опять восстановить "власть народа, власть бедноты"».

Двадцать шестого ноября 1918 года Леоновы присутствовали на военном параде, который Марушевский провёл, дабы поднять боевой дух столь трудно сбираемого белого воинства.

После молебна в кафедральном соборе парадом прошли роты, сформированные из георгиевских кавалеров, по взводу от английской и итальянской пехоты, от американского полка и от польского и русско-французского легионов. Что до архангельских призывников, допущенных показать свою выправку,

то выглядели они, как признал Марушевский в своих мемуарах, безобразно: «Лица солдат были озлоблены, болезненны и неопрятны. Длинные волосы, небрежно одетые головные уборы, не вычищенная обувь».

Видя такую армию, архангельское население впадало в апатию.

Один из мемуаристов, житель Архангельска В. Бартенев, так описывал быт города зимой 1918/19 года:

«Сказывалось истощение населения на почве недостаточного питания. Продовольственная норма по карточкам составляла: хлеба — по 3/4 ф. в день, сахару — по 1 ф. в месяц, солёной рыбы было довольно, около 1 р. 25 коп. — 1 р. 50 коп. за фунт трески, мяса иногда не хватало — 5—6 руб. за фунт. Многие питались кониной — по 3 р. 50 к. за фунт. Картофеля и других овощей вовсе не стало. Не было в продаже почти никаких круп. Масло было редко и доходило до 30—40 р. за фунт. Чувствовался недостаток в хорошем мыле. Его стали приготовлять здесь из тюленьей ворвани... В этом мыле недостатка не было, но качество его было невысокое. Очень сильно нуждались в табаке; в продаже его совсем не стало. Продажа его производилась из-под полы... Молока было достаточно, но оно было дорого: дешевле 1 р. 50 к. за бутылку достать его было трудно, на рынке оно доходило до трёх рублей за бутылку.

В конце 1918 года голодная, истощённая, во всём разуверившаяся толпа молча и вяло прочитывала транспаранты, выставленные на стёклах Информационного Бюро, и угрюмо расходилась по домам. Только кинематографы, да концерты, да разные танцульки были полны. Искали развлечений, хотели забыться. Собрания более серьёзные и деловые часто не могли состояться из-за отсутствия кворума».

Не прибавляла оптимизма и контрразведка «союзников», которая работала не столько хорошо, сколько огульно: загребая всех, кто попался под дурную руку. Арестовывали не только за принадлежность к большевикам, но и за то, что родственники находились в Красной армии, и даже за переходы и переезды из одного места в другое без разрешения новых властей. Тюрьмы открывались одна за другой и были переполнены.

В этой атмосфере подошёл срок призыва на воинскую службу и Леонида Леонова. Но бежать в Москву он вовсе не собирался.

Решением власти Северного края от 5 февраля 1919 года на действительную службу были призваны юноши, родившиеся в 1899 и 1900 годах. К тому времени уже были открыты Артиллерийская школа Северной области и Архангельская пулемётная школа. Незадолго до своего девятнадцатилетия, в марте

1919 года, Леонов был определён в первую из них — в Артиллерийскую.

До революции обучение в артиллерийских школах было трёхгодичным, но в условиях войны срок кардинально сократили.

Не выезжая из города и продолжая публиковаться в «Северном дне», Леонов получил начальные навыки артиллерийского дела. Преподавали в школе англичане и, как вспоминают современники, обращались с русским контингентом довольно грубо. Но опять же не настолько, чтобы Леонов бросил обучение и сломя голову пошёл через кордоны навстречу Красной армии.

Приказ по Управлению Архангельского уездного коменданта № 160 от 9 июня 1919 года гласил: «Юнкеров артиллерийской школы Северной области Бориса Благонадеждина, Дмитрия Васильева и Леонида Леонова, впредь до отбытия на фронт, зачислить на английский паёк при сборном пункте от 6 сего июня. Справка: Аттестат школы за №№ 611, 618, 636».

Так начинается история юнкера № 636, а затем прапорщика Леонида Леонова.

Жаль, что не сохранилось его фотографий той поры! Подтянутый молодой брюнет в белогвардейской форме английского образца. Этот снимок «украсил» бы любую советскую газету...

Как он выглядел, можно понять по сохранившемуся с той поры приказу о форме одежды по Артиллерийской школе. За неимением собственно русского обмундирования одеты юнкера были во всё британское; фуражка с кокардою; на погонах шифровка «А. Ш.», над ней — артиллерийский спецзнак, по краям погон — золотой галун.

Бывшие с Леоновым в одном призыве Борис Благонадеждин и Дмитрий Васильев затерялись в кровавой сутолоке и бездорожье Гражданской войны, а ведь оказались бы интересны их рассказы о том, каким был тогда Леонид, как учился, что говорил другим юнкерам...

Долго пользоваться английским пайком, а также положенным им денежным довольствием (из расчёта 100 рублей в месяц) Леонову и его товарищам по обучению в Артиллерийской школе не пришлось.

Уже 10 июня 1919 года был выпущен Приказ по Управлению Архангельского уездного коменданта № 161: «Убывших по месту службы юнкеров артиллерийской школы Северной области Бориса Благонадеждина, Дмитрия Васильева и Леонида Леонова исключить с английского пайка при сборном пункте с сего числа».

На фронт Леонова, судя по всему, пока не отправляют: он определён в Интендантский отдел Северного фронта. Но публиковаться как журналист Леонид больше не будет — теперь он офицер и у него полно иных забот; последняя его статья в «Северном дне» выходит 31 мая того года.

* * *

Двадцать седьмого мая, накануне девятнадцатилетия Леонова, а затем 10 июня, в день его убытия на службу, жители Архангельска встречали два больших отряда английских солдат и офицеров. Город украсили союзными флагами. На Соборной улице вблизи речного спуска, недалеко от памятника Петру Великому, воздвигли высокую арку с надписью «Welcome!». Собралось всё правительство, было если не радостно, то шумно. В который раз казалось, что не всё ещё потеряно...

В городе прошёл бал, и либо в этот раз, либо в следующий Леонид познакомился и танцевал с Ксенией Гемп, будущей создательницей словаря поморских слов. Она была старше Леонова на пять лет и, к слову сказать, ещё в 1912 году танцевала на балу с Георгием Седовым, чьё судно «Святой Фока» вышло в августе того года из Архангельска к Северному полюсу — откуда мужественный путешественник не вернулся.

Ни на какую романтическую историю намекать не будем — Ксения уже год как была замужем.

«Кто нас там ждёт?»

С начала 1919 года в городе была фактически установлена новая власть: генерал-губернатором Северной области стал генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. В июне того же года он был назначен главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами на Северном фронте.

Миллер спешно пытался пополнить и реорганизовать армию, но и ему мало что удавалось.

Когда спустя девять лет Леонов будет работать над повестью «Белая ночь», он нисколько не погрешит против истины, описывая разложение воинства Севера. Любопытно, что никто впоследствии не задался вопросом, откуда Леонов столь хорошо знал быт белого офицерства. Видимо, предполагалось и интуитивное, и на основании документов проникновение писателя в материал. Но всё объяснялось куда проще: произведённый в прапорщики Леонид Леонов наблюдал происходившее своими глазами.

С каждой неделей белое офицерство всё более впадало в со-

стояние будто бы лихорадки: проводило время в ресторанах и частных притонах, пило, играло в карты, большинство избегало отправки на фронт, и Леонид Леонов тут не был исключением. Возможно, сыграла свою роль некоторая близость к структурам власти его отца, не только редактора крупной архангельской газеты, но и главы Общества помощи воинам Северного фронта.

Генерал-губернатор Миллер один за другим выпускал приказы о необходимости «блюсти честь погон и бережно охранять их от малейшего пятна», в связи с тем что «случаи злоупотребления спиртным военными и появления их в нетрезвом виде на улице и в иных публичных местах» стали постоянными.

Еженедельно по нескольку офицеров разжаловали в рядовые, но атмосфера в армии оставалась никуда не годной. Удручали всё чаще распространявшиеся слухи о скором уходе «союзников». Становилось очевидным, что большинство населения в своих симпатиях вновь склоняется на сторону большевиков.

«Самой природе, видно, отныне вменялась в обязанность грусть, — так описывал позже Леонид Леонов некий, захваченный «союзниками» город Няндорск в повести «Белая ночь». — Зелень полиняла, светило затмилось, а ветер поволок с севера караваны облаков. В опустелых улицах стало тревожно и пыльно, собаки сидели на цепях, а дети точно вымерли».

Проанализировав состояние Белой армии, характеризовавшееся не только пьянством и разгулом, но и неустанным массовым дезертирством солдат и офицеров фронтовых частей, «союзники» принимают решение оставить Север и 18 сентября 1919 года начинают отводить свои отряды с передовых позиций.

Леонов в эти дни находится в Архангельске и даже посещает выставку литературно-художественного кружка «Парнас», о чём 14 сентября, после долгого перерыва в журналистской деятельности, публикует рецензию в эсеровской газете «Возрождение Севера», уже позволявшей себе, между прочим, жёсткую критику Белой армии.

В течение всего недели «союзники» собрались и загрузились.

Накануне отплытия на глазах у жителей города «союзниками» были затоплены оставшиеся аэропланы, автомобили, обмундирование и даже консервы — «чтоб не досталось большевикам». Кто после такого жеста мог поверить в жизнеспособность остающейся русской армии! Исход Белого дела на Севере был предрешён.

Британцы предложили место на пароходе и Максиму Леоновичу Леонову: он до последнего относился к «союзникам» более чем лояльно.

Предлагали, впрочем, уехать не только Леонову-старшему: весь город был увешан красочными объявлениями о возмож-

ности покинуть Россию. Кто-то действительно уезжал, но далеко не все.

«Пароходы уходили с большим количеством пустых мест, — вспоминали свидетели тех событий, — так как воспользоваться советом эвакуироваться могли только или люди со средствами, могущие рассчитывать устроиться за границей, или те, кто имел интересы на Юге и в новообразовавшихся окраинных государствах; средний же обыватель, связанный с Архангельском своей служебной или частной деятельностью, хотя и трепетал за свою судьбу, мог только с завистью смотреть на отъезд счастливчиков».

Двадцать седьмого сентября 1919 года корабли «союзников» ушли с рейда Архангельска. Всего в период с лета по осень 1919 года Архангельск покинули 39 285 иностранных солдат и 3047 офицеров. В это же время за границу уехали 6535 жителей Севера.

Тогда состоялся разговор Максима Леоновича с сыном.

Леонид Леонов много лет спустя пересказывал своей дочери Наталии смысл той печальной беседы.

— Как жить? Что делать? — спросил отец. — Поедем, сын?

— Кто нас там ждёт? — ответил Леонид. — Никто! А нищенствовать можно и здесь...

Мы позволим себе несколько усомниться в этой истории: осенью Леонов не мог уехать — он был кадровым военным.

Руководство Северной армии ещё надеялось на чудесное изменение ситуации, например, на соединение с частями Колчака.

В Архангельске вновь было объявлено военное положение. На перекрёстках города были установлены пулемёты, расчётам было приказано в случае выступления рабочих стрелять.

В городе теперь уже новая власть начала экспроприировать имущество провинившихся или неблагонадёжных лиц.

В преддверии готовящегося по всему фронту наступления проводятся новый срочный призыв и реорганизация частей.

Приказом № 462 от 27 декабря 1919 года прапорщик Леонид Леонов переведён в 4-й Северный полк.

Вскоре он в рядах только что сформированного пополнения отправляется в расположение полка.

Исход

Леонов никогда позже не проявлял признаков некой душевной экзальтации, и у нас нет оснований предполагать, что в те дни он, видя всё происходящее, мог верить в победу Белой армии.

Изголодавшийся, растерянный Север, каждый десятый житель которого за полтора года оккупации был пропущен «союзниками» и новой властью через концентрационные лагеря, находился словно в полубреду.

Антибольшевистская пропаганда выглядела топорно и грубо: «Взгляните на Россию в данный момент. Власть находится в руках небольшой кучки людей, по большей части евреев, которые довели страну до полного хаоса» — такие листовки распространялись среди белогвардейцев. В Красную гвардию забрасывалось почти то же самое: «Солдаты Бронштейна-Троцкого! Как кончить войну? Да очень просто: если каждые 333 человека не коммуниста пристукнут хоть одного из этой шайки убийц и преступников, то некому будет и братскую кровь проливать!»

Не располагала к новой власти и правоэсеровская ориентация Леоновых. Развеялись надежды леоновского круга на объединение всех разумных и деятельных сил новой России: на смену большевистской диктатуре пришла диктатура антибольшевистская.

Но деваться некуда: британский полушубок, на шапке Андреевский крест, сделанный из жести, между плечом и локтем углом вверх чёрная тесьма шириной ¼ вершка, обозначающая прапорщика, шашка на боку — вот вам Леонов в январе 1920 года.

Четвёртый Северный полк располагался на Северо-Двинском направлении, в районе реки Шипилиха.

Ни о каком наступлении белогвардейских частей конечно же и речи не шло. Связь между соседними полками была не отлажена, а настроения царили такие, что вообще было не ясно, чем держится фронт.

Как приговорённая к неведомому, Белая армия Севера дожидалась своей участи.

Четвёртому Северному полку, в составе которого находился Леонид Леонов, ждать долго не пришлось: 5 февраля началась массированная бомбардировка их месторасположения. Как гласят документы, полк отступил к деревне Звоз, а затем ещё на две версты к северу. В ходе отступления всякое управление полком было стремительно потеряно.

Подетально историю разгрома полка выяснить уже не удастся. В Российском государственном военном архиве сохранилась документация по всем четырнадцати стрелковым полкам Северной армии, кроме одного — 4-го! И есть основания предполагать, что эта случившаяся ещё в советские времена потеря не случайна.

Солдат и офицеров разбитых белогвардейских частей, 4-го полка и соседних с ним подразделений видели в деревне Емец-

кое, где располагался штаб командующего войсками Двинского района. Местные жители вспоминали, что в стане белых был полный переполох: зима — на пароходе не уедешь, только на лошадях или пешком, а красные неподалёку, наступают, они уже близко. Кто-то находил себе подводы, кто-то скрывался чуть ли не бегом.

К середине февраля весь Северный фронт был разорван и смят.

Когда до Архангельска Красной армии оставалось ещё более 100 километров пути, никакого фронта уже не было: в бывших белогвардейских частях шло братание с красными, повсюду бродили тысячи дезертиров — армия попросту развалилась, сама по себе.

Девятнадцатого февраля в Архангельске началась погрузка белогвардейских частей — на ледокол «Минин» и военную яхту «Ярославна». В очереди стояли штабные, судебные ведомства, лазареты, офицеры, солдаты, их несчастные семьи. Генерал Миллер чуть ли не в те же дни хотел ещё съездить на фронт, его еле отговорили, потому что ехать было воистину некуда. Миллер официально передал власть в городе рабочему исполкому.

Погрузка шла всю ночь 19-го. Несли раненых, офицеры озирались: по городу, и чуть ли не по пристани, бродили толпы рабочих и матросов с красными флагами, тут и там возникали митинги.

«...Но вот отдан приказ об отплытии, — вспоминает один из мемуаристов. — А к пристани всё шли и шли одиночные офицеры и чиновники, забытые штабом. Особенно много было среди этих позабытых офицеров фронтовиков, только что, ночью, прибывших с Двинского фронта. Они стоят на пристани, кричат, машут папахами и платками, но бесполезно. “Минин” уже на середине Двины...»

Двадцать первого февраля части Красной армии вступили в Архангельск. Леонид Леонов уже был в городе.

Ещё чуть-чуть, и судьба одного из самых главных советских писателей повернула бы в противоположную сторону, хотя «прапорщик 4-го Стрелкового полка Белой армии Севера Леонид Леонов» по-прежнему звучит столь же дико, как, к примеру, «комиссар N-ского полка Дмитрий Мережковский».

Ныне Леонида Леонова и представить невозможно в эмиграции, издающегося, скажем, в парижских «Современных записках» наряду с его ровесником Владимиром Набоковым. Но отделял Леонова от такого варианта судьбы один малый шаг: нужно было всего лишь ступить на трап.

Глава третья

ФРОНТ. КРАСНОАРМЕЙСКИЕ ГАЗЕТЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

«Едет-едет из Архангельска, едет смелый коммунар...»

Через три дня после взятия города, 23 февраля 1920 года, Леоновы, согласно приказу Временного комитета, явились на регистрацию бывших белых офицеров и военных чиновников. Девятнадцатилетнего Леонида отпустили, а Максим Леонов в тот же день был арестован комиссией при ВЧК под руководством некоего Кедрова. С вполне обоснованной формулировкой: за «контрреволюционную деятельность».

Однако новая власть на первых порах показалась куда более мягкой, чем предшествующая.

Когда Максима Леоновича забирали, Леонид попросил чекистов взять и его, чтобы не оставлять отца одного.

«Пожалуйста, пожалуйста!» — ответили Леониду благодушные чекисты.

Впрочем, в тот же вечер его отправили домой: чего место в камере занимать.

После того как рабочие типографии, где печатался «Северный день», пришли и устроили возле ЧК митинг не митинг, пикет не пикет, а скорее спонтанное волеизъявление на тему: «Освободите нашего дорогого Максима Леоновича, он очень добрый и отзывчивый человек!» — Леонова-старшего выпустили.

Газету тем не менее закрыли, и, помыкавшись месяц, отец и сын Леоновы с горем пополам стали выискивать новые возможности для выживания.

В то время в Архангельске как раз открылось губернское отделение РОСТА.

Руководил им, само собою, настоящий большевик Иван Боговой, а помогал ему журналист и литератор Александр Зуев, двадцати четырёх лет. Человек любопытной биографии: бывший прапорщик царской армии, в 1917 году на Западном фронте он был избран председателем полкового революционного комитета. В 1918-м вернулся в Архангельск и здесь стал секретарём «Известий Архангельского Совдепа». «Союзники»

Зуева задержали как явно неблагонадёжного и отправили на «остров смерти» Мудьюг в Белом море.

Чудом спасшись от гибели на острове, Зуев вернулся с Мудьюга в Архангельск. В феврале его назначили агитатором при Бюро печати, а как только появилось Архангельское отделение РОСТА, Зуев стал его секретарём.

С Леоновым Зуев познакомился уже после разгрома Северной армии, в начале весны 1920-го, на квартире у Бориса Шергина. Там происходило что-то вроде леоновского вечера: он уже тогда читал свои рассказы мастерски, вдохновенно, с замечательным чутьём к слову; тем и очаровал Зуева.

Не пытавшийся скрыться от большевиков и даже проводивший свои литературные вечера, Леонид был уверен в добротолюбии новой власти.

Подобное ощущение в городе испытывали многие, потому что наказывать пришлось бы каждого третьего. Тысячи людей с восторгом встречали «союзников», сотни работали при фактической оккупации во всевозможных учреждениях, так или иначе сотрудничая с режимом. Добрая дюжина газет, лояльно относившаяся к власти, выходила всё это время. Чуть ли не весь фронт дезертировал и вернулся по домам. В Артиллерийской и Пулемётной школах, как мы помним, прошли обучение более тысячи человек, — юнкер Леонов значился в приказе за номером 636. Никто не устроил резню в первые же дни после прихода Красной армии — и посему многие успокоились.

Наглядным подтверждением этого факта служат результаты первой советской переписи, проведённой летом 1920 года, под которую попали и Леоновы.

В числе вопросов, на которые пришлось отвечать Леониду, был такой: «Участвовал ли как военнослужащий в войнах: а) 1914—1917 гг.» — здесь он вписал от руки: «Нет». «Участвовал ли как военнослужащий в войнах: а) 1918—1920 гг.» — тут он честно пишет: «Офицер».

Секретарь отделения РОСТА Зуев предложил бывшему офицеру Леониду Леонову работать вместе с ним. Такие вот перепады в судьбе будущего писателя...

По утверждению Зуева, Леонид принял его предложение «без колебаний».

Так он стал секретарём печатной стенной газеты архангельского отделения РОСТА «Красная весть». Газета выходила тиражом то в 500, то в 200 экземпляров, зато на неё поначалу шла отличная норвежская бумага, предназначавшаяся для печатания денег белого правительства. Когда хорошая бумага подошла к концу, в хóд пошли обрывки, обрезки, канцелярские бланки.

Редакция из десяти человек размещалась в магазине суконщика Ведякина на Троицком проспекте. Важный факт: здесь же был читальный зал РОСТА, и заведовал им бывший священник Щипунов, отрёкшийся публично, на страницах «Известий» Архгубисполкома, от православной веры. Не он ли послужил прообразом дьякона Аблаева в леоновской «Пирамиде»?

Выходила «Красная весть» ежедневно и, вполне возможно, под влиянием Леонида Леонова стала сильно напоминать «Северный день», разве что без театрального отдела. В «Красной вести» тоже публиковались в первую очередь телеграммы из Москвы, потом архангельские новости, и всё это было обильно приправлено разнообразной стихотворной кустарщиной.

В «Красной вести» Леонид набил руку в написании всевозможных агиток, частушек, лозунгов и прочих идеологических погремушек.

В те дни Леонов признался Зуеву, что после оккупации его отношение к большевикам изменилось: приход Красной армии воспринялся им скорее как освобождение от власти чуждой. Обманывал Зуева, нет? Кажется, немного лукавил.

Тогда началась очередная мобилизация, теперь уже в Красную армию, на Западный и Южный фронты, и Леонов как-то сказал Зуеву, что, наверное, пойдёт воевать. Что здесь перевешивало: нежелание белогвардейского прапорщика оставаться в городе, где слишком многие знали о делах Леонида и его отца, или действительное стремление послужить Красной армии? Думаем, первое.

С 1 апреля по 31 мая проработал Леонов в «Красной вести». Может, остался бы там ещё, но 7 апреля отца, Максима Леоновича, опять забрали. Если по Леониду Леонову нужно ещё было собирать материалы (архивы Северной армии были сожжены незадолго до бегства генерал-лейтенанта Миллера сотоварищи), то редакторская, журналистская и общественная деятельность его отца была слишком очевидна: подшивки наглядно антисоветского «Северного дня» мог прочесть любой.

Максим Леонов был осуждён и подвергнут принудительным работам сроком на год. Посидел при старой власти, теперь попал под серьёзную руку новой.

В те дни ситуация в городе стала меняться: начались повальные аресты «бывших». По ночам на окраине города был слышен пулемёт. Две-три очереди, тишина. Две-три очереди, тишина. Жители Архангельска скоро узнали, что это — расстрелы.

Любопытно, что многих людей из леоновского круга так и не тронули. Будто ни при чём остался Писахов, передававший вырученные от продажи картин деньги в помощь белым офи-

церам и лично изготавливавший флаги для частей Северной армии. Более того, вскоре у него начали проходить выставки картин.

А вот Горемыке, да, — не везло.

Не повезло и матери леоновской знакомой Ксении Гемп — Надежде Михайловне Двойниковой. Она занималась примерно той же самой деятельностью, что и Максим Леонович: в частности, работала в Архангельском патриотическом женском союзе, помогавшем раненым белогвардейцам. Сначала её приговорили к расстрелу; затем приговор был изменён на десять лет принудительных работ. Так что Леонов-старший ещё не самым строгим образом был наказан.

В любом случае, без отца Леониду стало совсем худо: средств к проживанию не было почти никаких, хоть как-то выживали благодаря помощи брата Марии Матвеевны Чернышёвой, архангельского ювелира. Стенная газета РОСТА едва кормила, да и, скорее всего, нервно было там работать, когда отец в тюрьме.

Заступничество рабочих Горемыке уже не помогало, хлопотать начали другие люди, но пока безрезультатно.

И ещё эта стрельба ночами...

Леонов отправился то ли в губком, то ли в ревком и прямо спросил у кого-то из местного начальства: «Отца задержали, меня нет. Раз я на свободе — не дайте умереть с голода. Хочу работать».

А какая могла быть работа в Советской республике? Красная армия — вот самая главная работа.

«Ты у нас в Артиллерийской школе учился? — спросили у Леонова. — Нам артиллеристы нужны. Иди-ка ты повоюй».

Леонид оформляется как доброволец.

Тринадцатого июня «Известия» Архангельского губернского ревкома и губкома отчитались об отправке на фронт второй партии коммунистов и добровольцев — отчёт был в стихах: «Едет-едет из Архангельска, / Едет смелый коммунар, / И панам и гадам врангельским / Нанести лихой удар».

Леонова определяют в артиллерийский дивизион.

Дорога лежала на Южный фронт.

Уже вдали от Архангельска нагнала Леонова добрая весть: отца освободили, полный срок ему отбывать не пришлось. За Максима Леоновича заступился Даниил Крентюков, тоже «народный» поэт, с которым Леонов-старший столько возился. К счастью, Крентюков не только вирши слагал, но был ещё и партийным секретарём в уезде.

Для острастки Максима Леоновича лишили избирательных прав (и вернули их только в июне 1928 года, за год до смерти).

Попал Леонов в 15-ю Инзенскую стрелковую дивизию, стоявшую в районе Гуляйполя, на родине батьки Махно.

Артиллеристов вооружили рапирами — немецкими шпагами.

В довершение к этому Леонова обрядили в матросскую рубаху с отложным воротником и дали высокие, как у д'Артаньяна, сапоги. Иные обуты были и в лапти, и даже в разномастные женские ботинки (Леонов запомнил эти казусы, потом использовал в «Барсуках») — на этом фоне его дартаньяновские сапоги смотрелись вполне себе ничего.

Красноармейцы выглядели что твои махновцы.

А махновцы как раз были неподалёку.

Нестор Махно тогда привычно находился в бурных взаимоотношениях с советской властью.

Ещё в январе 1919-го он заключил с Советами договор: его повстанческие полки вошли в Красную армию. Спустя месяц он даже заявил о том, что завязал с анархизмом и все силы отныне отдаст делу укрепления на Украине советской власти. Нестора Ивановича назначили командиром 3-й Заднепровской бригады одноимённой стрелковой дивизии. Махновцы героически штурмовали Мариуполь, сам Махно получил орден Красного Знамени — в числе первых героических военачальников Красной армии.

К апрелю 1919-го Махно и Советы вновь охладели друг к другу: батьку не устраивали ни продразверстка, ни комбеды. Махно написал открытое письмо Ленину (с которым, к слову, встречался ещё в 1918 году) и ушёл на Херсонщину.

Некоторое время он воевал и против белых, и против красных, за что последние в январе 1920 года объявили его вне закона.

Дисциплина в 15-й Инзенской дивизии была не на самом высоком уровне: красноармейцы то переходили к махновцам, то возвращались обратно в Красную армию.

Влияние Махно на красноармейские умы было очень велико: к осени он восстановил свою Повстанческую армию и бывшие красноармейцы составляли в ней не менее трети, а то и половину личного состава.

Красной армии нужна была качественная пропаганда.

Как раз в середине августа, в те дни, когда Леонов только-только прибыл, дивизии отдали приказ «в кратчайший срок привести себя в порядок, залечить раны последней операции и уничтожить недочёты и недостатки».

Леонид быстро завязал дружбу с политработниками дивизии. Образованный парень, да ещё с отменным журналист-

ским, корректорским, редакторским опытом, глянулся им, и в августе его перевели в редакцию дивизионной газеты «На боевом посту» (10 октября ей дали имя попроще: «Бюллетень» политотдела 15-й дивизии).

Так и осталось неизвестным, успел ли артиллерист Леонов пострелять. Скорее всего нет. Сам он, по крайней мере, никогда об этом не вспоминал. Он вообще Гражданскую войну вспоминать не любил.

Политотделу было приказано «приложить весь максимум энергии в политработе в частях, обращая главное внимание на политическую подготовку красноармейского состава», а также «...обратить внимание на снабжение частей литературой и газетами».

В те дни познакомился Леонов с легендарной революционеркой, начальницей политотдела дивизии Александрой Янышевой, членом партии с 1910 года, подругой Коллонтай и Дыбенко, женой генерала Янышева, создавшего эту дивизию; с самой Янышевой писатель ещё увидится спустя полвека.

Эта, безупречного мужества и, кстати, красивая, женщина, водившая красноармейцев в атаку, запомнила Лёню таким: «Тоненький, стройный, толковый и расторопный, но очень скромный паренёк Леонов всем нам в политотделе пришёлся по душе. Быстрый и неутомимый, он всюду успевал».

В первую очередь Леонов успевал на позиции. Поначалу и политотдел, и редакция газеты размещались при административном штабе. Но потом был создан специальный полевой политотдел, чтобы его работники были ближе к народу. Там, среди красноармейцев, Леонов и очутился.

В начале сентября Инзенская дивизия заняла позицию на первой укреплённой линии Каховского плацдарма, по обе стороны большой дороги Каховка—Перекоп. Вскоре позиции были атакованы и смяты танковым ударом белых — в те времена бронированных уродцев красноармейцы называли «таньки» — «Таньки, таньки идут!»

В том же сентябре Москва снова озаботилась тем, как быть с Махно. Правитель Юга России и главнокомандующий Русской армией Врангель ещё был в силе, а уничтожить воинство Нестора Ивановича не получалось никак, и Ленин предложил пойти с ним на переговоры; так и сделали. 2 октября был заключен договор, согласно которому Повстанческая армия вошла в состав РККА в качестве самостоятельного «партизанского» соединения с подчинением высшему командованию Красной армии.

В определённый момент, вспоминал Леонов, в одной комнате делали газету «На боевом посту», а в соседнем помещении

верстали своё издание махновские пропагандисты. Они, естественно, были знакомы, общались. Но Леонов об этом впоследствии никогда подробно не распространялся.

Зато предводитель повстанцев-«барсуков» — Миша Жибанда в романе «Барсуки» унаследовал некоторые черты Махно. Вспомним хотя бы парафраз знаменитых махновских чудачеств — в том эпизоде, когда бандит Жибанда появляется у дома, где идёт совещание исполкома и, подойдя к раскрытому окошку, просит уполномоченного Половинкина дать прикурить:

«— Всё заседаете? — сочувственно усмехнулся он. — Ну, заседайте! — Потом свистнул, лихо козырнул, и сразу его не стало.

Половинкин собрался было продолжить свои рассуждения о необходимости обыска, но поперхнулся словом, пугаясь оцепенелого вида остальных; Чмелёв переглядывался с Лызловым, Муруков никак не мог вытащить ручку из чернильного пузырька, точно держал её пузырёк зубами. Прочие имели вид такой, словно собирались вспорхнуть и улететь».

Махно был фигурантом нескольких историй подобного толка, и ещё больше легенд вилось вкруг его имени, о чём Леонов ещё в бытность красноармейцем был наслышан.

Надо сказать, что и Жибанда в своё время воевал за красных и первую пулю свою получил от колчаковцев.

Осталось лишь добавить, что отрицательным героем леоновского Жибанду назвать трудно.

Красноармейскую газету до Леонова редактировал некто Вл. Ципоркис, но молодой и хваткий Лёня глянулся начальству куда больше, и вскоре его назначили редактором. Согласно документам, это случилось 5 октября 1920 года, когда наступление белогвардейцев выбило красных с их позиций; по версии самого Леонова (скорее всего ошибочной) — чуть позже, накануне легендарного штурма Перекопа.

«На восемь человек печатников и ездовых в моей крохотной походной типографии приходилось две тачанки, три шинели да кожаная куртка одна; остальные шли пешком, кутаясь во что придётся или даже накрывшись одеялом...» — так Леонов описывал быт тех времён.

«Печатники мои были настоящими революционерами, и их работа была им очень дорога, — в другой раз рассказывал Леонов. — Нашу типографскую машину “американку” мы берегли как зеницу ока».

«Бывший до Леонова редактором газеты Ципоркис и в частях не бывал, — говорила потом Янышева. — С приходом Леонова связи с частями укрепились, газета стала живее».

В селе Тягинка, куда в первой половине октября отошла 15-я Инзенская дивизия, Леонов стал свидетелем срочного прибытия Первой конной армии Будённого.

«В воздухе взметалась пыль, летели тачанки с пулемётчиками, мчались кони, гудела земля. У меня осталось впечатление буйного горячего ветра» — так говорил об этом Леонов годы спустя. Бог его знает, что думал он на самом деле и когда говорил, и когда видел всё это.

Писал в газету Леонов один: рассказы о боях, стихи, лозунги — всё было его работой, разве что врач из санотдела публиковал иногда медицинские заметки на тему «Как уберечься от переносчиков сыпного тифа» и т. п.

Во второй половине октября, когда врангелевское наступление захлебнулось и началось контрнаступление Южного фронта красных, Леонов вместе с дивизией двинулся на двух своих тачанках из Тягинки в Борислав, а оттуда путь лежал на Каховку.

Десятилетия спустя, по просьбе тех или иных собеседников, Леонов вспоминал всего несколько случаев из Гражданской войны, никогда, впрочем, не связанных с убийством или насилием.

«Какие бывали встречи! В небольшом городке делаю армейскую газету, — пересказывали речи Леонова мемуаристы. — Тут и редакционный стол, "верстаки" и прочее. Однажды вечером сижу, пишу фельетон. Вдруг входят будённовцы. И знаете, головы их где-то за притолокой, ну совсем как у Гоголя. Из "Вия". Впереди — богатырь с усами и в папахе — Шевченко. "Кто, — говорят, — тут начальство? Ага — ты? Мы у тэбэ ночевати будэмо". Вошли, поскидали бурки, оружие сняли и в хате сразу повернуться негде стало.

"Только прошу ничего не воровать, — говорю. — Знаете, казённое имущество".

Смеются, но обещают. "Старшой" долго беседовал со мной перед сном. Никогда не забуду неповторимость, мощь и силу и лаконизм его насмешливой речи. "Ворвались мы в город N. Пилсудчиков порубали. Водки выпили и вперёд! Сейчас идём на Врангеля!"».

Или иную картинку Леонов не раз вспоминал, будто камертон, по которому настраиваются события тех лет: «Ночь, горит костёр, и какие-то люди в бурках осатанело пляшут, а на них алые отблески огня».

Все эти воспоминания, между прочим, шли в печать, хотя хитрый Леонов наверняка с закавыкой прицеплял к своей зарисовке словцо «осатанело»...

Ну а про иные жуткие моменты он не говорил десятилетиями.

Хотя было что вспомнить.

Архангельские чекисты, разобравшиеся в документации, сохранившейся после ухода белых, нашли конкретные данные по Леонову и по нескольким иным бывшим офицерам, мобилизованным в Красную армию.

Ещё до штурма Перекопа в Инзенскую дивизию пришла соответствующая депеша. На леоновское счастье, проходила она, естественно, через политотдел, к которому он был причислен.

Инструктором политотдела служила, как ни странно, бывшая княжна Софья Александровна Аргутинская-Долгорукая, вступившая в коммунистическую партию и пришедшая к большевикам. Она сверяла списки бывших офицеров, по которым нужно было провести расследование, направив их в дивизионный трибунал, и обнаружила там фамилию редактора «Бюллетеня».

Наверное, они были дружны — Софья Александровна и Лёня; ничем иным её жест объяснить нельзя: она просто вычеркнула его фамилию, и всё. Чем сберегла ему жизнь.

Остальных, попавших в список, немедленно арестовали и увезли. Больше Леонов их не видел.

Тогда Леонов во всей полноте осознал ужас раз и навсегда приговорённого к смерти: он начал понимать, что это клеймо будет на нём всю жизнь. И ещё неизвестно, долгой ли она окажется...

«Ух, стра-а-ашно!»

«Генералов песня спета, / Бьём барона прямо в лоб, / Знамя Красное Советов / Понесём за Перекоп...» — такую передовицу сочинил Леонов накануне легендарного прорыва в Крым. Она, правда, так и не появилась в газете.

Инзенцы, в том числе и Леонов со своей боевой типографией, стояли в селе Строгановка возле Сиваша.

Главный удар Красной армии был намечен в тыл белогвардейцам: неожиданной атакой через ледяной Сиваш при отвлекающем прямом ударе на Перекоп. Прорыв был произведён силами именно 15-й Инзенской дивизии: леоновские однополчане, в числе которых была и упомянутая Александра Янышева, пошли ночью сквозь чёрные сивашские воды.

Но надо сказать, что не только они участвовали в том прорыве. В центре подразделений, совершивших одну из самых известных операций Красной армии, шла... ударная группа махновцев. Инзенская дивизия располагалась с одного фланга, Особая кавалерийская бригада Первой конной — с другого. А позади махновцев, для надёжности, разместили латышских стрелков. Мало ли что...

Первая попытка пройти через Сиваш была предпринята 4 ноября. Махновцы и 135-й полк 15-й Инзенской ушли в ночь по высокой воде. Но из-за прилива в Сиваше насквозь промёрзшие, заледеневшие бойцы вернулись назад.

Пятого ноября в Строгановку прибыла делегация: Сергей Каменев и Михаил Фрунзе, Будённый и Ворошилов; совещались. Леонов, работавший в политотделе, мог их видеть... Спустя десять лет он не раз будет сидеть с Ворошиловым за одним столом.

Седьмого ноября 1920 года до личного состава 15-й стрелковой Инзенской дивизии был доведён приказ, подписанный начдивом Раудмецом, военным комиссаром Бутковым и начальником штаба Ярчевским:

«Частям Южного фронта, и нашей дивизии в частности, к началу четвёртого года существования Республики Советов предстоит завершить победу над русской контрреволюцией, взять Крымский полуостров и навсегда покончить с врагами рабочих и крестьян.

Командирам, комиссарам и бойцам, учитывая всю важность момента и что борьба нашей республики решится за твердынями Крыма, напрячь все силы и всю волю к разрешению возложенных задач. Быть стойкими: помнить, что никакие жертвы не могут остановить бойцов Красной Армии в уничтожении её врагов...»

Приказ размножили через редактируемую Леоновым газету.

Следующую попытку штурма предприняли 8 ноября.

Первыми шли части 15-й Инзенской и 52-й дивизий — на этот раз они пересекли Сиваш и ошарашили ничего не ожидавших белых. 9 ноября их усилили подошедшие следом махновские части.

«Лавой хлынули через Сиваш, — так рассказывал Леонид Леонов о событиях тех лет в дни очередного советского юбилея. — Разве её остановишь, раскалённую человеческую лаву! Таких сил нет в природе. <...> Это был ветер. Ураган. Пёстрая лента. Стальная пружина крутилась, разворачивалась с гиком, в храпе коней и топоте копыт... Прокатилась мимо Джанкоя и... Ух, стра-а-ашно, ух, стра-а-ашно!»

Действительность конечно же была чуть сложнее: стальную пружину едва не скрутили обратно в первые же дни.

С 9 ноября Инзенская дивизия и кавалерия Махно штурмовали глубоко эшелонированные Юшуньские позиции — последнюю преграду на пути в Крым. Но 11 ноября белогвардейские части стремительно прорвали фронт Инзенской дивизии и стали заходить в тыл штурмовавшим Юшуньские позиции 51-й и Латышской дивизиям.

Появление белых частей в тылу предвещало почти неминуемое поражение, стихийное бегство через Сиваш и катастрофу всей военной операции. .

На ликвидацию прорыва были брошены части 2-й Конной армии под командованием Филиппа Миронова и, как уже можно догадаться, вновь Крымская группа махновцев. В жутком бою белогвардейский кавалерийский корпус был фактически уничтожен.

После штурма Сиваша полурастерзанная Инзенская дивизия с боями вошла в Джанкой. Леонов был в составе передовых частей и стал свидетелем погони за оторвавшимся от своих белогвардейцем на улицах города.

Именно из Джанкоя 16 ноября 1920 года Фрунзе отправил Ленину телеграмму: «Сегодня наша конница заняла Керчь. Южный фронт ликвидирован».

Инзенскую дивизию перебросили на Симферополь, а затем отвели в селение Алёшки — чтобы обновить, подлечить и отправить на Польский фронт.

Что касается воинства Махно, то в конце ноября Красная армия вероломно и последовательно начала уничтожать подразделения своих бывших союзников, и Инзенская дивизия, где служил Леонов, ещё успела приложить к этому руку. Леонова перевели в другое место в конце января — и как раз с января инзенцы начали гонять по Одесской и Херсонской губерниям тех, с кем недавно шли через Сиваш.

Когда Леонов говорил, что мировоззрение его сложилось в Гражданскую войну, он, видимо, нисколько не кривил против истины. Тогда уже словно врождённое разочарование его в человечестве получило жуткие и кровавые подтверждения.

«И когда умирал какой-нибудь, елозя пробитым животом по несжатому полю, копошилось в нём безответное рыдание и делалась суета души», — напишет Леонов спустя два года в повести «Петушихинский пролом» об убитом в бою. И слово «человек» даже не произнесёт, заменив на безличное «какой-нибудь». И рыдание умирающего — безответное, как в самых первых стихах.

...Разрозненные и растерзанные махновские части с боями уходили на Украину, чтобы рассеяться там и навек пропасть...

Миновало

«Бледный юноша в потёртой шинели» — таким запомнил молодого Леонова один из его сослуживцев, неожиданно написавший уже всемирно известному писателю 30 лет спустя.

Он действительно выглядел очень молодо тогда, почти юно.

В минуты межгазетной работы Леонов пишет и «для себя»: в эти дни делает он первый вариант рассказа «Бурыга», который потом открывал многие его собрания сочинений. В бесконечных переездах рассказ потерялся; спустя два года Леонов восстановит его по памяти.

На привалах и в пору недолгого отдыха молодой газетчик и политработник понемногу приобщает красноармейцев к искусству. В числе прочего участвует в постановках самодеятельных спектаклей — скажем, «Женитьбы» по Гоголю. Любопытно, что тем же самым занимался и Михаил Шолохов примерно в то же самое время. Можно добавить, что Инзенская дивизия проходила через станицу Вёшенскую, правда, Леонов тогда ещё был в Архангельске. А сложись иначе, могли бы два главных советских писателя перекрестить свои дорожки ещё в юности, коснуться друг друга плечами и пройти мимо, не узнав... Добавим, что в Инзенской дивизии служил и человек, ставший прообразом Григория Мелехова, — Харлампий Ермаков, но тоже до приезда артиллериста Леонова.

Красноармейцы Леонова любили: когда-то он уже успел научиться играть и на гитаре, и на мандолине — то ли ещё в Москве, то ли уже в Архангельске; в любом случае, умения эти пригодились, тем более что пел он отлично и даже, напомним, выступал в составе сводного гимназического хора.

Упомянутый выше инструктор политотдела Софья Аргутинская-Долгорукая вспоминала: «Вижу, как сейчас, Леонида Леонова в армейском клубе в кругу бойцов и девчат — молодого, красивого, с озорной, непокорной, сбитой на бок чёлкой светлых волос, с гитарой или мандолиной в руках, поющего задорную, весёлую песню. Он и сам был очень остроумен, писал сатирические стихи, которые в полках нередко заучивали наизусть. Меня (очевидно, как старшую по возрасту и недавнюю студентку Политехнического института) Леонид Леонов приглашал, в числе других немногих, к себе домой. Он, как и все мы, стоял на квартире у кого-нибудь из крестьян. Помню, читал он свои рассказы или что-то вроде сказок. Читал великолепно. К тому же любил и умел "подать текст": специально занавешивал окна, убавлял огонёк и без того еле мигавшей лампадки, словом, создавал настроение...»

Да и авторитет его в политотделе становился всё более высоким. Сохранился любопытный документ от 15 декабря 1920 года, выданный политотделом дивизии и заверенный подписью «начподива 15» Александры Янышевой.

«Сим удостоверяется, — сказано в документе, — что тов. Леонов Леонид действительно состоит на службе при Полит-

отделе 15-й стрелковой Инзенской ордена Красной Армии дивизии редактором “Бюллетеня” дивизии и по занимаемой должности имеет право пользоваться бесплатно телеграфом, телефоном и подводами от советов и комендантов при передвижении по служебным делам в районе расположения дивизии, а на основании приказа Народного Комиссариата по военным делам от 29 июля 1918 года за № 698 имеет право носить и хранить огнестрельное оружие».

Согласно документам, 24 января 1921 года Леонид Леонов — инструктор-организатор политотдела дивизии, уже переименованной из Инзенской в Сивашскую, был исключён из списков отдела и «провиантного, приварочного довольствия» и вместе со своим хорошим знакомым, начальником агитационно-пропагандистского отдела Александром Угаровым, отбыл в Одессу — в политотдел 51-й Перекопской ордена Боевого Красного Знамени стрелковой дивизии.

Спустя две недели после его отъезда типографию и редакцию «Бюллетеня», где отработал Леонов пять месяцев, во время очередного переезда окружила казачья часть. Заместитель начальника политотдела и экспедитор, с которыми Леонид напылил по украинским и крымским дорогам не одну версту, были сразу же убиты как большевистские агитаторы.

...А его, Леонова, судьба увела из-под удара.

Комплект дивизионной газеты, кстати, тогда же и пропал: пустили леоновские агитки казачки на самокрутки. Никогда нам не узнать доподлинно, что он сочинял всё это время, чем веселил и бодрил красноармейцев...

Красноармейские газеты

Двадцать девятого января Леонова назначили «сотрудником-литератором» газеты Одесского политотдела «Красный боец», поставили на все виды довольствия, но потом что-то передумали и переправили опытного газетчика на должность заведующего корреспондентским бюро дивизионной газеты «Красноармеец».

В Перекопской дивизии, занимавшейся одновременно и продразвёрсткой, и посевной, и охотой на местных «самостийных» бандитов, ухарей и гулёбщиков вроде Кошевого, Заболотного и Хмары, Леонов пробыл полтора месяца. Статьи свои подписывал псевдонимом Максим Лаптев.

Здесь он поднабрал материала для того, чтобы подступиться к тем самым «барсукам», которых опишет всего три года спустя в одноимённом романе.

И ещё в Одессе его ждёт очередная нервная встряска. В эти дни в город прибывают председатель Крымского ревкома Бела Кун и секретарь Крымского обкома РКП(б) Розалия Землячка. Они начнут массовые зачистки «белогвардейского элемента». В течение краткого времени тысячи бывших белых офицеров, воевавших на юге, были задержаны и тут же расстреляны...

Об этом, естественно, в политотделе знали.

Изрубленные белые на крымских дорогах, обочины, заваленные трупами, — всё это Леонову пришлось увидеть своими глазами.

«То была работа Землячки — страшная баба... подходишь — а у человека полголовы нет...» — рассказывал полвека спустя Леонид Леонов своему внуку Николаю.

В одном городе с вершителями «революционной законности» Леонов чувствовал себя крайне нервозно: никакой гарантии не было, что из Архангельска не придут теперь уже в Одессу новые списки с его фамилией.

Поседеть можно в таких ожиданиях...

К счастью, в марте Леонова снова переводят — в редакцию газеты, так же называющейся «Красный боец», но уже в Херсоне.

Двадцать первого марта Леонов был зачислен библиографом библиотечной секции политуправления 6-й армии «с исполнением обязанностей в лит.-издательск. отд.», как гласят архивные документы.

«Красный боец» выходил ежедневно, на двух, а иногда на четырёх полосах, тиражом от пяти до восьми тысяч.

Дебют Леонова в газете был в стихах — он отреагировал на подписание торгового договора с Англией (тема эта, после архангельских событий, была ему, надо понимать, близка). Стихотворение было обращено к возобновившим экономические отношения с Россией британцам и называлось «Поумнели»: «Верьте Лаптеву Максиму, / Не бывает, братцы, дыму / В нашем мире без огня...»

Следом были опубликованы обращение к врангелевцу («Твой чёрный герб — двухглавая ворона! / Но если ты, палач рабочих масс, / Способен к героизму хоть на час, — / Коль скорпион жалеет скорпиона, / Воткни свой штык поглубже в грудь барона, / Твой штык, который опозорил вас!»), социальные зарисовки («И всё как будто тряпкой вытер / Октябрь из памяти долой. / О где ты, грозный как Юпитер, / Властитель дум — городовой!») и прочие незатейливые сочинения сомнительной искренности.

Стихи перемежались фельетонами на ту или иную насущную тематику: поводы окружающая жизнь давала беспрестанно.

Война уже сошла на нет, красноармейский театр ставил шиллеровских «Разбойников», гарнизонный клуб объявлял вечер эсперанто; одновременно в городе свирепствовал такой сыпняк, что даже главный армейский доктор, комиссар местной санчасти, заболел и умер.

Дисциплина в частях тоже была не на самом лучшем уровне, о чём и начал писать Леонов на новом месте работы: то о красноармейцах, спекулирующих обмундированием, то о провинившихся коммунистах — последним посвящён памфлет «С камнем на шее (Заупокойная исключённым)».

Вообще сатирические вещи в красноармейской прессе Леонову удавались особенно хорошо: «выявить недостатки», дать кому-нибудь по шапке... Какая-то почти заинтересованность в этом чувствуется: особенно учитывая тот факт, что едва демобилизовавшись, Леонов очень долго не сможет (вернее, конечно же не пожелает) создать положительный образ коммуниста.

А вот от тех пассажей, где Леонов стремится писать высоким штилем, неизменно остаётся ощущение, что души туда не вложено вовсе:

«В яростном гудящем море — корабль. Кипящие волны подкрадываются к нему и вдруг бешено штурмуют его одетые в сталь борты. Сторожат его в зловещей тишине рифы, спрятавшись под водой. Но не гнётся сталь, не спят рулевые, и чем сильней ветер — тем быстрей ход корабля. Порой кренится он то вправо, то влево, но лишь на мгновенье: чтобы сильнее и удобнее прорезать опасную волну. Летит корабль. На мачте флаг. Красным шёлком шелестит он вверху, словно шепчет уставшей вахте: "Не спите, не устаньте".

На флаге три буквы: Р. К. П.».

Право слово, к тому времени Леонов уже умел писать лучше: вспомним хотя бы его очерки о путешествии с Писаховым в Москву и обратно, накануне вторжения «союзников»; однако к 1921 году он вполне обучился бодро имитировать барабанные дроби и краснознамённые воззвания, не считая, по всей видимости, свой труд зазорным; впрочем, и не подписывая пафмлетов, речовок и заметок собственной фамилией. Лаптев всё это писал.

Уже в старости Леонов вдруг начал говорить, что и Лаптевых-де было в той газете двое, и от авторства своих «краснобойцовых» текстов стал отказываться. Это уловка, конечно, — хотя и не исключающая появления редакционных материалов, подписанных псевдонимом Лаптев.

Но, с другой стороны, отчего быть зазорным такому его труду в 1920-м? Убеждённым сторонником Белой гвардии после Архангельска Леонов стать не мог: видел всё это вблизи и не

очаровался; красная идея явно оказалась жизнеспособнее, хотя и её победа принималась как свершившийся факт, а не как победа личная.

Да и что было, в конце концов, делать мобилизованному красноармейцу? Перебежать на сторону белых и отправиться на пароходе в Стамбул? У него возможность сбежать была ещё в Архангельске. Он и тогда не поехал: совершил выбор и теперь следовал ему...

В качестве библиографа Леонов разъезжал по частям, инспектируя библиотеки. В конце апреля того же года вышел приказ начальника политуправления армии: «Всю белогвардейскую и антисоветскую литературу, тем или иным путём попавшую или попадающую в части, немедленно из частей изъять и передать в информстатотдел Пуарма». В числе прочего исполнением и этого приказа занимался Леонов, в силу чего имел замечательный доступ к литературе антисоветской: именно в Крыму её было особенно много.

В июне 1921 года 6-я армия бывшего Южного фронта была расформирована. В том же месяце Леонид Леонов наконец-то возвращается в Москву. Его ещё не демобилизовали, пока он просто откомандирован.

Столица советская

Когда Леонов покидал Москву, стоял ещё иной город и родня леоновская на последнем дыхании крепилась в зарядьевских проулках.

Теперь столица была совсем другая: краснознамённая, сама себе удивляющаяся... и растерявшая близких Леонову людей. Деды умерли, мать уехала к родне в Ярославскую губернию, отец, ещё недавно успешный архангельский деятель, теперь торговал игрушками в крохотном магазинчике, подхватил туберкулёз, в столицу возвращаться не собирался...

Под Москвой Леонова ошарашил вид переселенцев, бредущих с тех концов страны, куда пришёл голод. Потом Леонов описывал это в очерке, в очередной красноармейской газете:

«Было небо тусклое, как размазанный свинец, трепались гульливо по ветру два куста да берёзка за оврагом, тащились неизвестно куда, неизвестно зачем телеги голодающих.

Раз, два... пять... восемь...

Много. По вечерам останавливаются где попало, под угревой случайных берёзок разводят костры, долго, вяло разжигают отсыревшее в изморози дерево, глядят равнодушно в плящущие языки огня — жалкие, бездомные. Ходит ветер, треплет

кусты, сквозь дырявые зипуны ощупывает худое тело, нагоняет свинцовый кисель на небесные тучи».

Леонов и сам, что твой беженец, толком не знал куда идти.

Ранним утром добрался до Большой Якиманки, 22 — там жил двоюродный брат матери, Алексей Андреевич Петров.

Чтобы семью, на чей приют надеялся, не будить и не раздражать в первую же встречу, Леонов присел на тумбу и так и ждал до восьми утра, пока в доме живая жизнь не даст о себе знать утренними голосами.

Но дождавшись нужного срока и постучавшись, обнаружил на пороге незнакомого человека.

Человек сказал, что Алексея Петрова нет в Москве: уехал и вернётся нескоро.

— А вы кто Петрову будете? — спросил новый жилец дядиного дома.

— Племянник, — ответил Леонид.

— Ну, проходите, — позвал хозяин растерявшегося молодого человека.

Так Леонову начало везти в Москве на хороших, добрых, гостеприимных людей, хотя времена, казалось бы, к тому вовсе не располагали.

Новый жилец звался Александр Васильевич Васильев: проживал он с женой и дочкой, владел своей слесарной мастерской: чинил примусы, лудил самовары.

Он Леонова накормил и даже оставил ночевать.

Леонид начинает искать работу.

Интересная деталь: 8 июля 1921 года I Коммунистическая агитационная база обратилась к военкому Москвы с просьбой «откомандировать в её распоряжение тов. Леонова Леонида, так как он является желательным работником для агитбазы». Причём на агитбазе были и паёк, и денежное содержание. Военком Леонова нашёл, но тот отказался идти на агитбазу.

Если журналистикой, прячась за псевдонимами, он ещё мог заниматься, то агитаторская работа, видимо, казалась Леонову совсем поперечной.

Первый месяц своей жизни в Москве он работает помощником у приютившего его Васильева. Благо, у Леонида с юности любая работа в руках ладилась — вот и слесарному мастерству он обучился скоро, хотя ранее никакого понятия о нём не имел.

Жил прямо в мастерской. В гости к нему заезжал Зуев — тот самый, из Архангельска, что сидел на «острове смерти» в Мудьюге и устроил Леонида в архангельское отделение РОСТА. Теперь Зуева перевели в «Правду». Он вспоминал потом, как они в мастерской жарили с Леоновым икру из воблы на листе железа — тем и были сыты.

Под матрацем у Леонова лежали, по выражению Зуева, «заветные тетради»: «...сидя на кровати, приспособив на коленях лист фанеры, он писал свои рассказы».

Однажды Леонова едва не замели как «дезертира труда»: пришли в мастерскую посреди ночи, всех подняли, потребовали документы, обязали явиться утром для дачи показаний. Он принёс на биржу свои ещё архангельские документы, залив давно просроченную дату выдачи чернилами. Подделку не распознали, а вот на отсутствие работы стали сетовать. Тут Леонов и устроил показательную истерику: «Я на фронте газету делал в одиночку! Тогда я нужен был! А сейчас меня в дезертиры решили записать? Да? Может, лучше помочь красноармейцу Леонову?»

Шум возымел последствия: от «дезертира» отстали, оставили его лудить самовары.

Тут наконец-то подвернулась и постоянная работа. Леонов случайно встретил Николая Юрцева, который одно время был совладельцем типографии отца в Архангельске. Юрцев предложил Леонову, пожаловавшемуся на безработную жизнь свою, место в одной газете.

Незадолго до приезда Леонова в столицу, 9 мая 1921 года в Московском военном округе вышел приказ о выпуске массового красноармейского издания, вещающего на 16 центральных губерний РСФСР.

Туда и попал Леонов. Он и ещё двое журналистов составили первую редакцию газеты. Как видно, у молодого красноармейца были все возможности для того, чтобы сделать самую замечательную журналистскую карьеру в Советской России.

Главным редактором газеты, получившей оригинальное название «Красный воин», стал Сергей Лопашов, сын московского ресторанщика, коммунист, театровед и журналист — в общем, личность самая разносторонняя.

Поначалу в газете не было ни пайка, ни денежного содержания, хотя всё это предполагалось. Начали работать за так.

Распорядок дня у Леонова был, мягко говоря, напряжённый: с девяти утра до пяти вечера в редакции, с пяти до одиннадцати вечера — в слесарной мастерской, а потом до четырёх утра рассказы писал на фанерке.

Зарплату и паёк начали выдавать только к началу сентября, и то через раз, но есть твёрдое ощущение, что в то лето Леонов был по-настоящему счастлив: он уже почти нашёл свою интонацию, свой голос, свою тропку. Большая литература была уже рядом — вот-вот и начнётся. Сдувал чуб с глаз — у него тогда буйные волосы цвели — и выводил в полутьме своим, как Горький потом говорил, микробьим почерком волшебные словеса.

А в восемь утра опять на работу.

Две маленькие комнатки редакции располагались на первом этаже углового двухэтажного дома по Хрущёвскому переулку, 14/1, возле Дома учёных. В соседней комнате находилась, между прочим, редакция газеты «Печать революции», где в числе иных трудился Дмитрий Фурманов, тридцатилетний, красивый, уже приступивший к написанию повести «Красный десант».

Фурманов часто заходил к соседям покурить-поговорить, рассказал как-то между прочим о том, что собирается писать «военно-исторический очерк» про Чапаева.

С журналистской своей работой Леонов расправлялся весело. Те, кто Леонида знал в те дни, отмечали, что улыбка не сходила с лица его и вообще он имел привычку во всём всегда находить «смешинку».

Леонов конечно же под дурашливым видом своим скрывал очень многое; это была удобная маска — компанейство и веселье; даже сохранившаяся манера подписывать статьи то псевдонимом Лаптев, а то и просто Лапоть, тоже о многом говорит.

Лучше всего, по сложившейся уже традиции, журналист Лаптев писал сатирические вещи, в них по-прежнему приметно некоторое злорадство.

В среде красноармейцев, впрочем, имя Лаптева приобрело известность: рассказывают случаи, когда Леонова пропускали, скажем, во всевозможные государственные учреждения, едва он называл свой псевдоним. Он сам описал подобный казус в своей заметке «Мимоходом»: пришёл Леонов на одну партийную конференцию, часовой его остановил. «— Мандат есть? — Мандата нет, а вот удостоверение от редакции есть. Лаптев я... Вот на — читай! — Ну, ежели Лаптев — проходи...»

Вскоре Леонов стал ответственным секретарём. Чтобы помочь толковому сотруднику, ему обеспечили бесплатный проезд на трамвае: сохранилось удостоверение от 13 октября 1921 года, согласно которому «секретарь газеты Леонид Максимович Леонов действительно имеет право пользоваться трамвайным билетом № 98229».

Основной заботой Леонова было полиграфическое оформление «Красного воина»; кроме того, занимался он разбором почты, встречался с читателями, о чём рассказывал потом: «Красноармейцы присылали в газету самый разнообразный материал — заметки, статьи, небольшие рассказы, стихи. Особенно много было стихов. Написанные на обрывках обоев, газет, на обёрточной бумаге, они пачками поступали в редакцию. Пришлось создать при редакции "Красного воина" нечто вро-

де консультации по стихам. <...> Авторы-красноармейцы, получая из частей увольнительные записки, приходили в редакцию со своими рукописями. Некоторых вызывала редакция. Бывало, беседуешь с одним автором, тут же вместе с ним вносишь в его стихи поправки, а два или три стихотворца, волнуясь, сидят и ждут своей очереди».

Начались ещё и выезды в воинские части Московского гарнизона по редакционным делам: брал интервью у командиров и комиссаров, общался с участниками литературных кружков (а такие стали появляться во всех частях), консультировал военкоров.

В общем, со слесарной работой пришлось закончить: времени уже не хватало.

Тут вернулся дядя, Алексей Андреевич Петров, и Леонид переехал к нему.

В «Красном воине» Леонов отработал восемь с половиной месяцев, и за это время в газете вышло около шестидесяти его публикаций: как минимум 15 фельетонов, 26 стихотворений, четыре обозрения, три зарисовки, статья, рецензия, репортаж, отчёт, путевые заметки и восемь ответов военкорам в разделе «Почтовый ящик».

Многие стихи, конечно, те ещё. Вот обращение «Мы — Девятому съезду»: «Веди, хозяин, будь спокоен! / Веди страну, Девятый съезд: / Пока на страже красный воин, / Антанта злобная не съест!»

Сам Леонов, надо сказать, на IX съезде Советов, коему посылал стихотворный привет, не был; хотя имел возможность заглянуть туда.

Безусловно, вирши свои он слагал уже не в юношеском неуменье и косноязычье, как то было в Архангельске. Тут история иная: Леонов откровенно лепил бодрую халтуру по пролеткультовским лекалам.

«Видно, впрямь остры у нас штыки, / Если враг вчерашний, враг отпетый, / Злобно сжав в карманах кулаки, / Собирается признать Советы!»

И далее: «От границ далёкой ДВР / До страны карельского народа — / Миллионы нас! Какой барьер / Мы не взяли за четыре года! / Мы ведём по миру борозду: / Нет преград для верящих и смелых!»

Если в архангельских своих сочинениях Леонов как умел наследовал декадентам, то здесь он понял, что опыты Филиппа Шкулёва как никогда востребованы. Отсюда такие строки: «Чёрному делу положен конец — / Ты победил, пролетарский кузнец. / Куй своё счастье / В грозу и ненастье, / Молотом бей / Смелей!»

Впрочем, в иных стихах чувствуется натуральное леоновское русофильство: «Мы нищи — да, но наш порыв велик, / Когда взрастают новые преграды, / Тогда не знает он в бою пощады — / Мужицкий наш, простой наш тульский штык. / Итак, иди! Готовь за ратью рать... / Забудь всё то, что было не забыто, / Но не забудь, что наш мужик Микита / Ещё не разучился побеждать!»

Как предвестие «Вора» читаются строки о «нэпманах»: «Вижу, вижу их, как сейчас: / Двое в шубах, и грузные оба... / Липким студнем глядела утроба / Из свиных и заплывших глаз... / Видно, утренний их пирог / Был вкуснее поволжской глины...»

Именно в те дни начался голод в Поволжье, посему леоновское раздражение по поводу странного кульбита, совершённого русской революцией, кажется куда более искренним, чем радость за победу «пролетарского кузнеца».

Однако говорить о том, что Леонов тотально разочаровался в произошедшем со страной, было бы неверно. Всё было несколько сложнее.

Здесь важно вспомнить стихотворение, опубликованное 20 ноября 1921 года и называющееся «Тебе, нашему (к 100-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского)»: «Ты не знал, да и знать откуда... <...>, / Что однажды над Русью сонной / Прогудит семнадцатый год, / Что “униженный и оскорблённый” / “Мёртвый дом” твой навек снесёт... / Если б жил ты, — ты был бы с нами».

Неизвестно, чего тут больше: попытки уверить себя в том, что обожаемый Леоновым Достоевский «был бы с нами» (что, само собой, откровенно сомнительно), или желания хоть както оправдать именем учителя свой собственный выбор. Однако сам Леонов, безусловно, был «с ними»: и по факту своей жизни здесь, в Советской России, и тем более в силу своей красноармейской службы и работы.

Но, как покажут ближайшие события, «лиру милую» Октябрю он отдавать вовсе не собирался. Посему даже упоминание светлого имени Фёдора Михайловича не стоит переоценивать. Тут, скорее, расчёт иной: напишу, чёрт с вами, что Достоевский был бы за вас, тьфу ты, за нас — лишь бы вы читали его! — и, может, толк с того будет.

* * *

В редакции «Красного воина» бывал художник Вадим Дмитриевич Фалилеев, ученик Василия Васильевича Матэ, золотой медалист Академии художеств, профессор Строгановского училища. Профессура, видимо, не была достаточно доходным

занятием, посему Вадим Дмитриевич вырезал на линолеуме для «Красного воина» рисунки, карикатуры, клишированные заголовки. Леонов тоже к нему заходил по редакционным делам, так и подружились; Леонов Фалилеева очаровал.

Ещё в Херсоне Леонов выбил себе в политуправлении 6-й армии направление на учёбу в Москве. Изначально он хотел направить стопы во ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские.

Леонов не только умел рисовать, он вырезал по дереву, увлекался лепкой — и, судя по работам его, до нас дошедшим, делал всё это с умом и с вдохновением. Фалилеев написал Леонову рекомендательное письмо. Однако во ВХУТЕМАС его не приняли. Владимир Андреевич Фаворский, книжный график, ксилограф, преподававший там, незадолго до экзаменов с Фалилеевым разругался. В итоге, как пришёл Леонов со своим письмом, так и ушёл: такие рекомендации Фаворскому были не нужны!

Отправился тогда Леонов в Московский университет на факультет филологии, и там случилась с ним другая, ставшая ныне классической история: он завалился на Достоевском, которого знал чуть ли не наизусть и любил несказанно. Так и неясно до сих пор, то ли доцент А. Д. Удальцов, принимавший у Леонова экзамены, Достоевского не признавал в принципе, то ли суждения Леонова о великом писателе показались ему никак не соответствующими действительности. (Однако позже Удальцов Леонова разыщет и извинится. «Бес попутал!» — скажет о себе.)

В общем, учиться Леонову так и не пришлось.

Возможно, Фалилеев чувствовал в том некоторую вину — за неудачное своё рекомендательное письмо.

Прознав о том, что жилищные условия у Лёни Леонова бедственные (дядя Алексей как раз жениться собрался), Фалилеевы — и сам художник, и его жена, тоже художница, Екатерина Николаевна Качура-Фалилеева — предложили Леонову переехать к ним. А у них ведь ещё и две дочери были, подросткового возраста.

Но Леонов конечно же согласился: куда ему ещё было идти. Так и появился он в доме художников, на Большой Якиманке, 54.

* * *

К февралю 1922 года газета «Красный воин» начала хиреть. С 23 февраля по 5 марта она вообще не выходила, потом тираж снизился с пятнадцати до десяти тысяч, и, в конце концов,

после первомайского выпуска увязшее в долгах издание работу свою прекратило. Начинался нэп и стремительно подъедал всё, что не окупалось.

Но в мае 1922-го, к искренней радости Леонова, его наконец-то демобилизовали.

Всё, война окончилась! Больше тебе ни «Красной вести», ни «Красноармейца», ни «Красного бойца», ни «Красного воина». В ближайшие семь лет Леонов не напишет ничего такого, что выдавало бы в нём бывшего журналиста и политработника. Скорее, напротив...

«Деяния Азлазивона»

Одну из первых своих серьёзных прозаических вещей — «Деяния Азлазивона» — Леонов написал в декабре 1921 года в самый разгар работы в «Красном воине».

«Деяния...» очевидно дают понять, насколько далека была журналистская подёнщина Леонова от потайного его дела.

Рассказ этот — уже настоящий Леонов, пошедший в путь свой и упрямо различающий ту дальнюю звезду, к которой влеком. Написаны «Деяния...» крепко, мастерски, в 21 год такие вещи получаться ещё не должны; но, видимо, что-то сдвинулось тогда во временах, что позволило совсем ещё юным людям формулировать и седым мудрецам малодоступное.

Сюжет рассказа «Деяния Азлазивона» таков: кочует по лесам ватага разбойников во главе с неким Ипатом; всего их 26.

(Заметим, что в мифологии цифра 26 не встречается вообще — а вот расстрел 26 бакинских комиссаров в сентябре 1918 года стал одним из первых официальных советских мифов; слишком большого значения этому совпадению придавать не нужно, но определённые ассоциации имеют смысл.)

Долгое время разбойники «...вышагивали с кистенями да с песнями столбовые дороги, обдирали проезжих, вычёсывали подчистую случайных незадачных людей, обрабатывали купцов на скорую, немилостивую руку».

«С ними тогда случай случился. О неверную рассветную пору вытряхнули из возка богатого купца, полоснули без писку, заглянули, а в возке баба барахтается, купцова жена. Светало, спешили, а баба окричала попусту душегубами Ипатовых робят.

А был во хмелю Ипат. Шибануло ему винным паром в голову, надвинулся на бабу растопыркой, гаркнул по всю грудь:

— А ты, непутная, встречного молодца не отведав, не хули!

Вдарил её наотмашь ножом, глухим концом, сердце вон вышиб.

Тут робята розняли на ней кохту, — бабы-де, золото на грудях прячут, а там, увидели, образок небольшой расколот разбойным ножом. Новгородский Нифонт, попалитель смущающих, на нём. Распался его взгляд надвои, и обе закосившие половинки того взгляда нелюбно в Ипата глянули».

Ночью к Ипату в «сонном явлении» трижды является святой Нифонт Новгородский, и разбойник решает прекратить дурные дела навсегда, уйти в скит.

Для поддержания своего ослабшего духа разбойники воруют из одной деревни попа Игната. Деревни наименование — Конокса; заметим, что в леоновские времена действительно существовало селение с подобным названием в Архангельской области.

Поп Игнат, как все священнослужители в прозе Леонова, мягко говоря, своеобычный. Молился, к примеру, о таком:

«— Да-ай, Осподи, чтоб дочка у Васьки Гузова рабёночка б от заезжева молодца понесла...

— По-одай ты мне, Осподи, приход вроде Коноксы, только побогаче. Да чтоб протопопица-т как кулебячка была!..

— Пода-ай, Осподи, отцу Кондрату сломление ноги...»

Получив себе такого знатного попа, ушли разбойники в «тёмную непроходимую дебрь».

«День-другой, кельи рядками повыросли. Третий-четвёртый — частокол, а за ним ровик, защита от блудящего зверя. И в конец второй недели, нежданная, как цветок на болоте, маленькая церквушка зелёной маковкой зацвела во имя новгородского Нифонта.

В исходе той недели опять пришёл Нифонт к Ипату:

— Отступаюсь от тебя на десять годов. Безустанным моленьем да зорким глазом сам себя все десять лет храни. Приступит к тебе Азлазивон, бес. Сам Велиар посетит тебя в месте твоём. Будь крепок. Сустоишь — приду, превознесу имена ваши».

Ипат принимает новое имя — Сысой; и скит его с той поры называется Сысоевым.

Нифонт Сысоя не обманывает: разбойников начинает донимать нечистая сила в самом разном обличье.

Корчевали как-то всей ватагою пни, в числе прочих бывших разбойников был мужик Никифор.

«Взмахнул Никифор над пнём, а пень-то поднатужился да и плюнул ему в рожу самую. У того и топор из рук повалился и сам пластом рухнул. А из пня выпорскнул чёрный мыш. <...>

Стал с той поры Никифор как бы порченым. Стал на карачках ползать. Заросла щека его синим бородатым узором, как текла по ней пнёвая слюна...»

За первые шесть лет бывшие разбойники от бесовских проделок потеряли троих человек.

Наслали бесы белогривую собаку, питающуюся землёй, но Сысой подкараулил её в воротах, «окатил суку ведром священой воды. С грохотом провалилась в дыру собака, а из дыры пламень. Лизнул пламень в самое лицо Сысою, выел ему разом и брови и бороду. Был и без того ряб, а тут стал и с бритобрадцем схож, даже неприятен глазу».

Потом́ пришла в скит Рогатица, бесова сестра, но отслужили молебен, и та пропала.

Затем налетело стадо песьих мух и Зосиму-инока укусили насмерть.

Не стерпевший непрестанного бесовского разгула поп Игнат задумал сбежать, но в дороге умер.

И здесь важная цитата:

«...не скорбел в скиту Сысой по Игнатовой пропаже, говоря так:

— Ушёл от нас Игнат. Ино так лучше. Не хочу, чтоб даже малая скважня была в корабле моём. Впредь сам буду службу править. Мирской поп — адов поводырь».

На седьмом году приходит в скит бес в обличье юноши-богописца и, поселившись, пишет икону Нифонта. Но когда собираются иноки кропить водой икону, случается «лютое чудо»:

«Прыснули бесы с иконы врассыпную, кто куда, скрипя жестоко зубами. Понесло легонько палёной псиной. Поднял беспамятно архиерейские ризы свои Нифонт и, за голову схватясь, ринулся в дверь стремглав. Копытами простучал, пхнул Сысоя плечом, Мелетия рогом хватил наотмашь... И нет никого, — и пусто, и голо, и лукаво».

Вводят несчастных в искус и женщинами, и яствами, а потом главный бес Азлазивон приходит самочинно, и тут Леонов наделяет свой, с апокрифическими интонациями, сказ иронией:

«В пятницу о Духовом дне вошёл Пётр на пекарню, а из квашни здоровущий хвост торчит, и на конце его рыжий волдырь. Обиделся Пётр, подскакнул к кади да и зачал крестить. До поту Пётр несчастную кадушку аминил, запыхался весь. Заглянул в кадь, а там чёрный ком. Пыхтит и топорщится вкруг него посиневшее тесто.

Злость Петра взяла, кадь запоганил, щенятина. Повернулся Пётр к Сысою бежать, а из кади хрипучий глас к нему:

— Петру-ух!..

— Ну?

— Разбей кадь-от, выпусти...

— А ты пошто лез? тебя кто пяхал?..»

Пойманного Азлазивона загоняют в могилу, ставят сверху крест и затем приходят туда всем скитом мочиться.

Не стерпев такого унижения, пошли бесы к самому Велиару (Велиар, Белиал или Велиал, заметим в скобках, — дух зла, в Средние века считавшийся антагонистом Христа) с жалобой на Сысоя и тех его сотоварищей, что ещё остались живы.

Раздосадованный Велиар поднимает огненный смерч и сжигает скит.

«К робятам, лицом обернясь, страшно в дымной душной мгле кричать хотел о чём-то Ипат, но рухнули брёвна, расчерчивая багровые мраки ада, и пуще разметалось пламя алыми языками во все концы.

На то место наступил пятой Велиар и раздавил прах и пепел и прошёл дальше, как идёт сторож дозором, а буря полем...»

Своим сказом Леонов недвусмысленно даёт понять, что согрешившему человеку нигде не найти мира и прощения. Не сломив человека ни страхом, ни искусом, зло всё равно победит.

Характерно, что подобная трактовка имеет отношение к не раз упомянутой уже Книге Еноха, где человеческая история разделена на десять «седмин» (Сысой десять лет живёт в скиту), а конец земной истории известен заранее: прощения падших не случится, злые ветры — силы тьмы лишь будут крепнуть, и Страшный суд неизбежно уничтожит всех нечестивых. Апокалиптическое злорадство Книги Еноха весьма ощутимо проявляется под пером Леонова. Он утверждает, что не спасёт ни покаяние, ни подвижничество, ни, тем более, Церковь — с мирским попом, всегда открытым к соблазну!

В первом варианте у рассказа был иной финал, мы процитируем его:

«Так спасал душу свою разбойник Ипат, ныне преподобный отец наш Сысой с двадцатью попалёнными бесовским пламенем.

Нифонтова пустынь в округу — верста. Нифонтова пустынь у Бога на золоту скрижаль списана, Нифонтова пустынь — верным Спасенье, нечистым — страх. Аминь».

Но это окончание Леонов вырезает. Не оттого ли, что посчитал такой финал ложным? — и лишил в итоге и Сысоевых сотоварищей, и само грешное человечество надежды на спасение.

Заметим, что и само имя Еноха в повести упоминается. В одном из эпизодов иноку Никифору слышится голос: «Встань. Грядет к тебе Спас. Даруется тебе благость. Ты будешь лику светлых сопричислен, сподоблен судьбы Еноховой...»

(Надо пояснить, что Енох был первым среди сынов человеческих, кто обучился письму, мудрости и не увидел смерти: Бог взял его «во плоти и в костях» на небо.)

Никифор восстаёт, видит вроде бы Иисуса, от переусердия кланяется ему многажды. Но то не Иисус был, а бесы соблазнили и обманули инока: им и кланялся Никифор.

Впрочем, не только на скорбную судьбу человечества намекает в своём рассказе Леонов, но и на куда более близкие события.

Нарисовав огненный смерч, который сметает место обитания бывших разбойников и душегубов, Леонов пишет последнюю фразу рассказа: «...Ноне-то по тем местам уж пятый молодняк сустарился».

Если под молодняком понимать природный цикл, когда неизбежный холод уносит состарившуюся зелень, то видится смысл совсем прозрачный. Рассказ написан в декабре 1921 года, когда только что «пятый молодняк» был разнесён стужею. Четвёртый исчез в 1920-м. Третий — в 1919-м. Второй — в 1918 году.

А бесовской смерч пришёлся на осень 1917-го.

Едва ли советская цензура могла разгадать этот рассказ во всех его внутренних каверзах, однако, когда в 1923 году было решено издать «Деяния Азлазивона», — книжку запретили.

При жизни Леонова «Деяния...» так и не были опубликованы.

У Фалилеевых

Всё имущество Леонова было: рукописи, вещевой мешок и лист фанеры, на котором писал.

С этим скарбом на трамвае переехал он к Фалилеевым, а лист фанеры приспособил на маленький столик, чтобы писания продолжить.

Благодетель отгородил Леонову угол в мастерской (ограждением служил огромный холст работы Екатерины Николаевны Качуры-Фалилеевой) и выдал молодому своему другу листы ватмана. В любую свободную минуту Леонов занимался сочинительством.

Поначалу в комнате не было ни кровати, ни стола; потом какая-никакая мебель появилась; например, кровать Фалилеев смастерил гостю собственноручно.

Немного позже Качура-Фалилеева сделала акварельный портрет Леонова в обставленной уже комнатке, и обстановку, в которой он жил, можно рассмотреть на сохранившейся картине.

Сам Леонов — худой, тонкошеий, в рубашечке.

За спиной, над окошком, портрет Достоевского.

Возле заправленной лежанки — лукошко, полное бумаг: рукописи.

Над спонтанным столиком — икона, несколько книг. Лежат краски и мел. Первые свои рассказы, в числе прочих и «Деяния Азлазивона», Леонов украсил собственными рисунками, выполненными акварелью и цветной тушью под лаком.

«С буржуйки стекал чёрный сок, вроде туши, — дополнял рассмотренный нами рисунок сам Леонов в своих устных рассказах. — Я сцеживал этот сок и переписывал им свои вещи».

Как-то в гости к художнику Фалилееву заглянул Фурманов, приметил знакомого человека в мастерской:

— О!.. Лаптев, да? Ты ведь Лаптев? Васька Лапоть, помню. Что пишешь?

— Да пишу вот...

— Ага, ну, бывай...

И ушёл.

В другой раз, весной 1922 года, не выдержала жена Фалилеева и спросила, любопытствуя:

— Лёнечка, хоть бы почитали нам, что тут сочиняете?

Лёнечка долго уговаривать себя не заставил.

Собралась московская интеллигенция, истерзанная революцией, издёрганная начавшимся нэпом, уставшая и печальная.

А после чтений сидели гости не в силах что-либо молвить и смотрели округ себя сияющими глазами: «Вот так да... Милый мальчик, откуда ты взялся?»

Глава четвёртая

НАЧИНАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА. САБАШНИКОВЫ. ПЕРВЫЕ КНИГИ

«Явление нежданное, невероятное...»

После первых же чтений к Леонову подошёл издатель легендарного альманаха «Шиповник» Соломон Копельман и предложил опубликовать у него «Бурыгу». Необыкновенное везение по тем временам: литературные журналы в разрушенной Советской России фактически исчезли.

А «Шиповник» к 1922 году имел славную, с перерывом на Гражданскую войну, шестнадцатилетнюю историю. Ведущими авторами издания были в своё время Леонид Андреев и Фёдор Сологуб; в «Шиповнике» начинали Борис Зайцев и Алексей Ремизов, публиковались Бальмонт, Блок, Брюсов, Белый, Бунин. Почти все номера «Шиповника» состояли из безусловных шедевров или очень качественных вещей.

В том номере, где дебютировал Леонов, компания к молодому автору подобралась вполне маститая: Николай Бердяев, Борис Зайцев, Сологуб со стихами; из молодых — Николай Никитин с хорошим рассказом «Барка».

С 1922 года берёт начало серьёзный литературный путь Леонова, тем более что и сам он вёл отсчёт именно с рассказа «Бурыга», открывавшего и первое, и последнее прижизненное собрание сочинений писателя.

Посвящён «Бурыга» Вадиму Дмитриевичу Фалилееву, в мастерской которого, за холстом, рассказ и был восстановлен по памяти.

Сразу вслед за первыми чтениями прошли новые; Фалилеев без устали нахваливал Леонова всем своим знакомым: «Талантливо пишет! талантливо рассказывает сказки! рисует! играет на гитаре!»

Юношу увидели и услышали художник Алексей Кравченко, с которым Леонов очень сдружился, график Иван Павлов, писатель Александр Яковлев, семейство издателя Михаила Васильевича Сабашникова — сам он появился чуть позже, когда его чуть ли не за руку привели старшая дочь Нина и двоюродная племянница, художница Маргарита Васильевна Са-

башникова (кстати, бывшая жена поэта Максимилиана Волошина).

После нескольких «сред» у Фалилеевых Леонов пошёл «гастролировать» по всей Москве.

Издатель Сабашников впервые увидел и услышал Леонова у своих знакомых Григоровых (глава семейства был юрист и теософ) на Садовой-Кудринской, в большом и просторном доме.

«Читал Леонид Максимович хорошо, очень своеобразно, чрезвычайно быстро, иногда как бы выкрикивая отдельные слова, — вспоминал Сабашников. — Молодой гибкий голос и приятное, выразительное лицо содействовали, в свою очередь, общему впечатлению».

На вечере у Григоровых Сабашников пригласил Леонова выступить и у него в гостях с рассказом «Туатамур» — историческим повествованием от лица военачальника Чингизова воинства (оригинальная вещь, которая вскоре вызовет бурное приятие Горького; впрочем, далеко не его одного).

В свою очередь, у Сабашникова появился художник Илья Семёнович Остроухов и вскоре устроил вечер Леонова в своём доме, что в Трубниковском переулке.

Так вот и передавали его из одних радостных рук в другие.

Если говорить о появлении Леонова в большой литературе, без эпитетов в превосходной степени обойтись трудно.

Многим тогда нравилось думать, что этот замечательно красивый, большеглазый, белокожий юноша возник буквально из ниоткуда, был вылеплен из воздуха и света как торжество долгих читательских ожиданий и хоть какая-то, но расплата за неустанное унижение великороссов и печальное расставание с отчалившей невесть куда Россией.

Унижали-унижали — отчаливала-отчаливала — и тут такой дар! Такой несоизмеримый — с юностью, кротостью автора — писательский талант.

Даже Сергея Есенина почти десятью годами раньше так не встречали: тогда ещё циничнее были, развращённее, снисходительнее.

Сегодня же всякий ценитель русской литературы готов был обнять этого юношу как родного.

Леонов тогда уже научился особенно не раскрываться при расспросах: мало ли где был я да кого повидал, вот лучше послушайте сказ.

Илья Остроухов писал в те дни Фёдору Шаляпину: «Послал мне Бог икону... <...> Это икона совершенно сохранная величайшего и талантливейшего нашего мастера XIV века Андрея Рублёва... <...> Второе явление ещё более нежданное, невероятное».

Что же может быть невероятнее обнаруженной иконы Андрея Рублёва? Вот ответ:

«И вспоминаю я Вас с этим явлением на каждом шагу, при ежедневной почти встрече с ним... Ух, как жалко, что Вы не с нами!.. Как радостно Вы поняли бы его. Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему — Леонов. Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Одни говорят "предвидение", другие "подсознание". Ну там "пред" или "под", а дело в том, что это диво дивное за год 16 таких шедевров наворотило, что только Бога славь, да Русь матушку!»

На самом деле, даже не 16, а 18 — и далеко не все из них Леонов опубликовал. Но работоспособность у него накануне и сразу после демобилизации была поразительная.

В марте 1922-го он пишет «Бубновый валет», первую редакцию «Гибели Егорушки», и доныне неопубликованное «Повествование о великой тоске». В мае перерабатывает написанную, напомним, ещё в Архангельске в 1919-м «Валину куклу» и создаёт «Туатамур».

В июне — «Случай с Яковом Пигунком», в июле — «Уход Хама», к августу — «Деревянную королеву», в сентябре — «Халиль», в октябре — повесть «Петушихинский пролом», а к декабрю завершает ещё одну повесть — «Конец мелкого человека».

В те же сроки появляются «Бурыга» и «Притча о Калафате», которая войдёт отдельной главой в «Барсуки».

Кроме того, на исходе 1921-го и на исходе 1922 года он пишет ещё две, не публиковавшиеся при его жизни, вещи с характерными наименованиями — упомянутое «Деяние Азлазивона беса» (именно так она называлась в первом варианте) и «История беса Василья Петровича» (доделана в 1923-м, подарена Фалилееву, утеряна и не найдена до сих пор).

Ощущение от всей этой щедрости очевидное: Леонов обнаружил некие свои потайные родники. Оставалось лишь щедро черпать — а там всё не кончалось и не кончалось.

Может показаться, что этот плотный, цветной, ароматный язык, эта щемящая, безысходная и безответная тоска, кочующая из рассказа в рассказ, эта мелодия его, уникальная и очаровывающая по сей день, зародились словно бы сами по себе; но это безусловно не так.

Зарядьевские типы, мудрые деды, материнские печали, отцовские мытарства, поморский говорок, сказки Писахова, долгие дороги от Белого до Чёрного моря, белогвардейщина, красногвардейщина, костры и тачанки, и махновщина, и сотни разных людей, и многие смерти, и несколько раз совсем рядом прошедшая смерть собственная, и, наконец, предощущение огромной жизни — всё это сложилось в юной голове в

замечательный, а если всмотреться — жуткий в своей красоте узор, который оставалось лишь передать бережно и честно.

Были конечно же у первых почитателей Леонова и споры, и опасения. Остроухов и Сабашников много говорили на эти темы, и Остроухову хотелось верить, что Леонов — обожаемый его Лёня — не пойдёт служить, в его понимании, бесам, взявшим власть над Россией. Мудрый Сабашников был куда более реалистичен.

— Биться будут за него, тянуть к себе, рвать на части... — говорил он.

Но пока Леонова «рвали на части» лишь желающие послушать его.

Издатель Сабашников

В радостной и лёгкой на подъём семье Фалилеевых Леонов прижился легко — он и сам был неизменно остроумен и прост в общении. Конечно же помогал им, чем мог: ходил в ГУМ за пайком художника, привозил его домой на салазках, иногда по дому что-нибудь мастерил, чинил поломки в хозяйстве.

Ну и круг общения, благодаря Фалилеевым, у него расширялся всё более.

Леонов стал часто посещать и Остроуховых, и Сабашниковых — небольшая квартира последних была одним из центров культурной жизни в Москве. К ним часто заходили литературовед Мстислав Цявловский, историк Сергей Бахрушин, писатель Георгий Чулков, славист, византолог, этнограф Михаил Сперанский — самые разные и замечательно интересные люди, относившиеся к Леонову с любопытством, а то и с восторгом. К примеру, Цявловский так страстно хвалил Леонова, что маститые гости волновались, как бы нескрываемое восхищение не вскружило голову юноше.

Для некоторого головокружения были и другие причины.

Во-первых, Леонов, пожалуй, впервые очутился в кругу блестящих интеллектуалов европейского уровня. Сабашников рассказывал, что Леонид Максимович бывал у них в дни научных докладов: к примеру, когда Абрам Иоффе «делал сообщение о новейших воззрениях в физике». Помимо того, выступали там и Максимилиан Волошин со стихами, и старый знакомый Леонова Борис Шергин с новыми архангельскими сказками.

А во-вторых, здесь и познакомился Леонов с Таней Сабашниковой, младшей дочкой издателя.

Сабашниковы были и замечательно известной, и достаточно обеспеченной семьёй. Издательство своё на паях с младшим

братом Сергеем Михаил Васильевич открыл ещё в 1891 году, когда ему было всего 20 лет. Издавали Сабашниковы как художественную, так и естественно-научную литературу.

Об отношении Сабашникова к советской власти гадать не приходится, достаточно вспомнить, что к 1917 году он был человеком и успешным, и, прямо скажем, состоятельным: владел не только книжным делом, но и сахарным заводом на Украине. Думал о расширении издательства, но «мечтам не было суждено сбыться, — писал сам Сабашников. — Произошла Октябрьская революция. <...> Мы начисто погорели: личная квартира, контора, издательство. <...> Личных средств у меня не оставалось после пожара и произошедшей за ним национализации завода и имений и реквизиции текущих счетов в банках».

Как ни странно, Сабашников быстро выправил своё безысходное, казалось бы, положение: к осени 1918 года издательство «встало на ноги, возобновив свою работу во всех направлениях», — вспоминал он.

Имеет смысл говорить и о достаточной независимости Михаила Васильевича, и — одновременно — о хороших связях с некоторыми представителями новой власти (несмотря на то, что он долгое время был заметной фигурой в кадетской партии). Например, само издательство Сабашникова не было национализировано. Известна фраза Владимира Ленина, брошенная им Луначарскому во время разговора о старых книгоиздателях: «Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока не будем в силах их заменить полностью».

Михаил Васильевич, дабы продолжить самое главное дело своё — книгоиздание, вовсе отошёл от политики, но принимал участие в общественной жизни: выпустил несколько книг в фонд помощи беспризорным детям, передал крупные средства голодающим Поволжья, в 1921 году крупную сумму перечислил Всероссийскому союзу поэтов...

Это, впрочем, не спасло Сабашникова от того, что к 1921 году он был уже четырежды арестован. Его брали под стражу, допрашивали и отпускали, как сам позже добродушно отмечал Сабашников, «безо всяких последствий». Но сам факт постоянных арестов и увиденное им в тюрьме благодушия ему явно не прибавляли.

«...Увели отсюда на казнь гимназистика, — писал Сабашников жене из тюрьмы, — у бедного руки тряслись, и он не мог застегнуть ремня у штанов. Пришлось беднягу снаряжать. Как назло, озорной анархист стал громко, во всех подробностях, описывать процедуру казни теперь и при царях».

Иногда Сабашникову помогали старые знакомства; вот что он, к примеру, вспоминал: «Было уже очень поздно, когда в ко-

ридоре послышались шаги. В скважину нашей двери просунули ключ. Мгновенно в камере все притаились. Ключ лязгнул. Дверь отворилась. В коридоре стояли три надзирателя и при свете ручного фонарика разбирались в списке. Послышалось по складам: "...аба... Саба... Сабашников — есть такой?" Я вскочил как встрёпанный. «Это вы? — Я. — Михаил Васильевич? — Да. — Свердлова знаете? — Знаю. — Распишитесь!" — сказал мне надзиратель, передавая плитку шоколада... Очевидно, меня этим хотели поставить в известность, что обо мне не забудут.

Это было очень трогательно. Плитка, конечно, сразу пошла в раздел по камере, и все тотчас же заснули без просыпу до утра».

Сабашников был, что называется, человеком большой души, истинным русским просветителем, истово преданным своему делу, и главные черты свои — последовательность, жертвенность, любовь к искусству передал и дочери Тане: именно она станет главным помощником Леонида Максимовича Леонова на долгие годы.

Дары

Симпатию молодых людей друг к другу заметил Вадим Дмитриевич Фалилеев, он и переговорил сначала с молодыми, а потом с Сабашниковым.

Молодые люди, как и следовало ожидать, желали связать свои судьбы, а Михаил Васильевич Сабашников оказался вовсе не против. Есть основания думать, что он никогда не пожалел об этом впоследствии: отношения с Леоновым у легендарного издателя были самыми тёплыми. Мы ещё вернёмся к истории общения Леонова с семейством Сабашниковых: там до сих пор таится одна, дурного толка, легенда, которую нам предстоит развенчать.

Получив «добро», молодые — теперь уже на полных основаниях — в ожидании свадьбы общались постоянно, гуляли по Москве, посещали выставки и музеи. Таня неизменно присутствовала на новых чтениях Леонида у Фалилеевых.

Свадьба случилась 25 июля 1923 года, отвечал за её устройство Михаил Васильевич. Молодой писатель ещё не имел серьёзных средств: даже на собственную свадьбу он пришёл не в пиджаке, а в суконной куртке. Оба родителя его были небогаты; более того — ни отца, ни матери на свадьбе не было. Почему так получилось, семейная легенда умалчивает. Может быть, Леонид решил не приглашать родителей — отца из Архангель-

ска, а мать из деревни. Возможно, сами родители не смогли приехать, скажем, по материальным причинам. Хотя не станем исключать и возможность самого факта внутрисемейного раздора: о сложных отношениях Леонида и его отца мы уже упоминали; признаем, что и с матерью у него никогда не было душевной близости...

Леонид и Татьяна обвенчались в церкви села Абрамцева. По тем полуголодным временам свадьба скромной не была: даже на сохранившейся с того памятного дня свадебной фотографии видны не менее тридцати приглашённых: Михаил Васильевич со строгим лицом, Григоровы, профессор Рачинский, Фалилеев с дочерью Катюшей и другие.

Посажёным отцом на свадьбе был не кто иной, как Александр Дмитриевич Самарин, бывший камергер двора его императорского величества, московский губернский предводитель дворянства, какое-то время занимавший должность обер-прокурора Святейшего синода.

Кроме того, он был главуполномоченным Российского отделения Красного Креста, — и скорее всего, именно на этой почве ещё до революции состоялось их знакомство с Сабашниковым: Михаил Васильевич в своё время организовал бурятский отряд Красного Креста.

Самарин был к тому времени уже дважды арестован: сначала в Брянске весной 1918-го, а затем в Москве летом 1919-го. После двух с половиной лет в Таганской тюрьме (а дали ему поначалу 25!), как раз весной 1922 года он оказался на свободе.

В течение трёх лет они периодически общались: Самарин и Леонов, иногда приезжавший в Абрамцево отдыхать.

Наряду с несколькими стариками, о которых мы уже говорили и ещё поговорим, Александр Дмитриевич стал одним из самых важных людей в жизни Леонова.

И здесь важно понять, какое, по сути, малое значение имела в том 1922 году для совсем ещё молодого Леонида его недавняя красноармейская история. Какая, Бог ты мой, Красная армия, какая ценность в стихотворных леоновских агитках, когда посажёный отец на свадьбе молодого литератора — недавний московский губернский предводитель дворянства и бывший обер-прокурор Святейшего синода! Когда вся атмосфера вокруг Леонова, всё его окружение всего лишь смирилось с приходом большевиков, но относилось к ним либо как к заслуженному наказанию, либо как к незаслуженному недоразумению. Да и разве могло быть иначе, со всеми этими бесконечными арестами и Самарина, и Сабашникова, и многих других людей того круга?

...Осенью 1925 года Самарина опять арестуют и приговорят к трём годам ссылки за участие в черносотенно-монархической группировке «Даниловский синод». С сентября 1926-го Самарин — в якутской ссылке. После ссылки переедет в Кострому, где и умрёт в 1932-м.

С Леоновым они больше не увидятся.

* * *

Поселились молодые у тестя, в его квартире на Новодевичьем Поле, 8-А. Там у них была своя маленькая комнатка с балкончиком.

Заметим, что впоследствии, несколько лукавя, Леонов рассказывал при случае: «Когда я сватал Татьяну Михайловну, у неё не было ничего, а я был завидным женихом, ибо ходил в рубахе ниже колен, так что о качестве штанов думать не надо было, имел печатную машинку “ремингтон” (потом продал за 18 рублей) и лохматый ковёр».

Завидный жених, что и говорить!

Леонов тут, понятно, иронизирует над собою. Татьяна Михайловна была куда более завидной невестой, чем он женихом. Но в любом случае отношения их определило глубокое и пожизненное чувство: десятилетия их светлой совместной жизни тому порукой.

Лучшим свадебным подарком для Леонида Леонова стали издания двух его книг в издательстве Сабашникова: повести «Петушихинский пролом» и сборника из трёх рассказов — «Деревянная королева. Бубновый валет. Валина кукла». Трёхтысячным тиражом каждая!

Надо помнить, в какое время издавались книги Леонова: публиковаться тогда удавалось единицам, три четверти печатных станков в России не действовали, а оплата за печатание выросла на 120 процентов.

«Петушихинский пролом» — самая, пожалуй, сильная вещь в ранней прозе Леонова, безусловный шедевр. С этой повестью Леонов перешагнул из квартирных посиделок в натуральный литературный быт: он читал её ещё до свадьбы, в апреле 1923 года на заседании общества «Никитинские субботники».

Реакция и там была крайне удивлённая, если не сказать ошарашенная.

Критик Василий Львов-Рогачевский, бывший на чтениях, вспоминал: «Об этом петушихинском проломе рассказано с изумительным мастерством. Так и пахнуло деревней, дремучей Русью с её былинными и житийными людьми, с её дивным, узорно изукрашенным языком».

* * *

Пишет в «Петушихинском проломе» Леонов всё о том же, к чему подступался уже не раз.

Рассказ начинается с того, как старичок Пафнутий, собрав голубику, возвращался домой, случайно рассыпал туесок и в огорчении расплакался. Пролетали мимо пчёлы, пожалели его и голубику собрали.

«И захотелось ему радость этому месту луговому приустроить. Хотел сперва церкву. "Нет, — говорит, — от церкви земле тяжело". Хотел потом дом постоялый или колодец, да порешил вот:

Пускай на сём месте люди будут жить. А обок деревне — пчельник где-нибудь возле ручья. Вот и ладно будет.

А не знал Пафнутий, что на месте слёз его случится великий пролом в одном человеческом сердце».

Деревню назвали Петушиха — и не потому, что первым жителем её был Абрам Петухов, а потому, что «пели в тот день за линючей неба облачной занавеской знойного лета голубые петухи».

Петушихинские жители олицетворяют человеческую породу вообще. И, надо сказать, порода эта дурна изначально: «...заплелось в пёстрый жгут племя человека Петухова, смешались кумовья с деверьями, золовки с невестками, добрый всё народ — а попроси под окошком водицы умирающий, скажет Аннушка та же:

— Не знаем мы ничево. Пил один надысь, да ковш стянул.

Скажет Талаган:

— Эк ты, человек, несообразительный! Я сплю, а ты мене понапрас тревожишь!..

Выглянет из окошка Пелагея заспанным, свиным глазом, Лукичова жена:

— Подь на колодец, да и лакай!»

Никакой радости ни самый вид человеческий, ни его святыни у рассказчика не вызывают.

«Ненароком», по выражению Леонова, образовался в Петушихе «монастырёк».

«А игумен здесь податливый, именем Мельхиседек».

Как и в «Деяниях Азлазивона», Леонов поднимает тему изначальной греховности настоятеля монастыря: «Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и похабник был», а прозванье было игумену в прошлой жизни Митроха Лысый.

Однажды страстно возжелал пошатнувшийся в вере своей Мельхиседек «сверкающего чуда». Молился и плакал всю ночь и весь день, взирая на раку с мощами покойного Пафнутия, но небо не подало ему знака. «А зорко глядело из Мельхиседеко-

вой груди озорное сердце Митрохи Лысого. И когда не стало чуда, сделалась заместо сердца коряга, и коряга та свиной щетиной поросла».

Не у него одного приключилась такая беда с сердцем. Пономарь из подмонастырской округи, «плюгавый, но старательный в битье человек», с удовольствием участвует в смертном избиении конокрада Талагана, пойманного на ярмарке.

Так и добил бы пономарь человека, но конокрада спас жуткий крик мальчика Алёши, у которого при виде избиения случился припадок. Следом началась страшная гроза, когда «молнии прошли скрозь, осенили синим, и ливень ильинский хлынул ручьями вниз».

(Образ мальчика Алёши естественно восходит к образу Алёши Карамазова; а сцена избиения конокрада ассоциируется со сценой избиения лошади в «Преступлении и наказании», которое видит Родион Раскольников.)

Вскоре после того случая пришла война, и длилась она долго, болезненно и мутно:

«Была зима первого года, но ушла зима и стало лето. Лето было как зима, а цветы в полях были без запаха. Был второй год, был третий. <...>

А однажды крякнуло и надломилось. <...>

Открылось, что царь больше не царь, а заместо царя — епутаты. Говорили, будто попов больше не надо и бога не надо, так как на поверку оказалось, что бога нет, а заместо бога просто дыра в никуда. <...>

Вскорости после того, — тогда подходила крайних стуж унылая пора, — сказывали приезжие, что епутатов всех выгнали помелом взашей, а заместо епутатов незнамые ныне люди, большаки...

Хмурился Мельхиседек, чувствовал с тревогой, что нет в нём теперь, когда нужней всего, ни веры, ни надежды, ни любви ни к чему».

Была тогда малая вероятность, пишет Леонов, что «глина произрастит яблоню», но того не случилось. Заметим, что, согласно Книге Еноха, глина и есть человеческая сущность, в которую вдохнули дух. Мог бы этот дух яблонево расцвести после революционной грозы, но никак не хватало для того глине сил.

В итоге всё спуталось вконец, «дни пошли тревожные и непонятные, чёрные и белые, как зубы собаки гнилой», недобитый конокрад оказался средь большаков, и вместо разбойного имени Талаган прозвание ему стало твёрдое и волевое — Устин.

Первым делом большаки отвезли епископа «в комиссию», откуда его уже никто не ждал, а следом сами явились в монастырь: вскрыть мощи Пафнутия и посмотреть, что там внутри.

Внутри оказались кости и голый череп.

Ужаснувшись виду мощей, игумен Мельхиседек разбил икону, а сам повесился.

Тем не завершилась дурнина в головах: Талаган, тот, что Устином теперь стал, вернулся домой, к собаке своей, которая одна его и любила на земле, «запер дверь на крючок и бил растерянную, визжащую, плачущую по-собачьи, голым дрожащим кулаком».

После всех этих событий начался, как и следовало ожидать, страшный голод, и тут вновь вспоминают о глине. Петушихинские прохожие меж собой рассуждают:

«— Будто, говорили, уж где-бысь за глину мужики принялись.

— Неуж за глину?

— За глину».

То ли людоедство, то ли самоедство в этом слышится.

«И тишина стала, словно покойник в доме».

Пчельник, завещанный Пафнутием, вымер. А сам Пафнутий сбежал с иконки, оставив пустую доску.

«И грянул мор и мёрли ж! — продолжает бесстрастный рассказчик «Петушихинского пролома». — В Петушихе по пятеро в день, а всего-то в ней домов, в Петушихе: семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идёт, — земля мёрла!»

«...над проклятыми, обеспложенными полями звенело тёмное солнце, как навозная жёлтая муха в цепкой паутине беды».

«...воздвигалась перед взором слабеющим облачная церква, а креста-то на ней и нет».

И в предсмертном бреду, пишет Леонов, вошёл человек в церковь. «И когда вошёл, всё кончилось». Настала полная смерть.

Жуткое повествование это окольцовывают два сна мальчика Алёши, с истошного крика которого во время избиения будущего большевика Талагана и начался пролом в Петушихе.

В первом сне Алёша видит сундук, охраняемый то ли бесами, то ли вертопрахами. Они и говорят Алёше, что в сундуке том — человечья Радость.

Во втором сне, приснившемся после вскрытия мощей, приходит Алёша к тому сундуку, открывает и видит там — «тёмное, холодное, пустое место, и не было дна той нехорошей пустоте». Как и во гробе с мощами.

Вот, по Леонову, и вся человеческая Радость — одна холодная пустота, бездна... Радуйся, человек!

А тем временем вокруг, пишет Леонов, «всё красным залито, и трепещет красное и горит нескончаемо».

С 1922 года своё издательство организует кружок «Никитинские субботники», где Леонов становится завсегдатаем.

После «Петушихинского пролома» он читает на заседаниях кружка в два захода — 27 октября и 3 ноября 1923 года — «Конец мелкого человека», достоевскую свою, не менее безысходную, чем «...пролом», повесть.

Двенадцатого января 1924 года состоялись чтения «Туатамура». 2 февраля Леонов представляет рассказ «Гибель Егорушки», 20 апреля — «Случай с Яковом Пигунком».

Под занавес 1923 года Леонов отправляет новую повесть «Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным» в журнал «Русский современник», и она выходит в первом и втором номерах за 1924 год. Вскоре в петроградском журнале «Литературная мысль» публикуют «Случай с Яковом Пигунком».

В начале 1924 года у Леонова уже просят автобиографию для книжки «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков». Его имя на слуху, сам он, какие бы печальные строчки ни выводила его рука, — в ударе. Это видят многие.

Юрий Тынянов пишет о Леонове в обзоре «Литературное сегодня» (Русский современник. 1924. 16 мая): «...молодой писатель с очень свежим языком», и не без приятного удивления разбирая его первые вещи, предполагает, что Леонов будет «бабьим летом» стиховой прозы.

Уехавший в эмиграцию писатель и критик Михаил Осоргин в обзоре того же года под названием «Российские журналы» из нового литературного поколения выделяет Бабеля и Леонова, но последнего — особо, более веско. «Несомненно одно: Леонов в нынешней российской литературе единственный типолог, — пишет Осоргин. — Как бы ни относиться к ещё немногому, написанному Леоновым, но, кажется, лишь на него можно указать как на наметившуюся надежду русской литературы, не сегодняшней, а большой, настоящей».

В течение года издательство Сабашникова выпускает ещё две книжки Леонова — «Туатамур» и «Конец мелкого человека».

Заметим, что в то же время Михаил Сабашников в письме именитому Максимилиану Волошину жалуется: «Мы, производители книг, издатели тоже переживаем трудные времена: налоги здесь, налоги там, квартирные платы, исключение из состава жилтовариществ — всё это как из рога изобилия вылилось внезапно на нас, т. к. мы попали в группу нэпманов, конечно, по недоразумению, но когда то всё это разберётся. Пишу всё это не для бесплодных жалоб — у всякого своё, надо

свои невзгоды про себя оставлять, а чтобы объяснить Вам, почему я ещё не приступил к набору Вашей книжки».

Тексты Леонова прославленный издатель публикует куда более охотно.

Из упомянутой выше повести «Записи Ковякина...» постепенно начинает у Леонова вырисовываться первый его роман «Барсуки».

Как всё начиналось: вскоре после свадьбы молодые вернулись отдохнуть в Абрамцево. Там, гуляя по лесу, набрёл Леонов на песчаные бугры с тёмными дырами в них — то были норы барсуков. «Это запомнилось, — рассказывал Леонов, — барсучьи норы в тёмном царстве громадного леса. И родилось название романа — "Барсуки". Мужики, бежавшие от революции, вот так же глубоко забились в лес, вырыли землянки...»

К тому же у Леонова появляется новый друг — муж Нины Сабашниковой, родной сестры его жены Татьяны. Звали мужа Григорий Артюхов, и работал он в то время агрономом во Владимирской губернии, в селении Бутылицы. Узнав о замысле книги, Артюхов пригласил Леонова к себе. Зимой, в самые холода, посетили они местные владимирские сёла. Бродили меж чёрных дворов по белым снегам, заходили в гости к селянам. Леонов вслушивался в недоверчивую, скупую речь, заглядывал в сумрачные лица. Мелодия романа стала понемногу проясняться и еле слышно зазвучала внутри. Подобным образом впоследствии начиналась каждая леоновская книга: возникала какая-то важная, верная нота, и он понимал: вот так должен звучать роман.

Почти на весь 1924 год Леонов заканчивает с рассказами и повестями и делает большую вещь, чувствует в себе силы для этого.

Всю зиму, не отрываясь от стола, пишет «Барсуков», весной вновь дважды посещает Владимирскую губернию.

«В одном селе, — много позже рассказывал Леонов литературоведу Валентину Ковалёву, — километров сорок от железной дороги, мы попали на грандиозную пьянку по случаю какого-то праздника. Пили всем селом, собравшись в большом двухэтажном деревянном доме. Нас сразу же усадили за стол, и пиршество продолжалось. Здесь я много наслушался и насмотрелся — "деловыми" писательскими глазами...»

Там были братья Гуреевы, вспоминал Леонов: «...трое здоровенных, богатырских мужиков: старший, бывший фельдфебель царской армии, суровый, жёсткий мужик консервативного склада; младший — большевик, член уисполкома; средний, по-видимому, был эсером и играл какую-то роль в восстании, которое произошло в селе года за полтора-два до этого. По-

следний меня заинтересовал, я попробовал расспросить его о восстании, но он, боясь, не отвечал на мои вопросы: "Ничего не знаю. Меня тут и не было вовсе". Но мне всё же удалось кое-что выудить у него. В то время я сильно увлекался атомной энергией и рассказал ему о ней. Мой рассказ его заинтересовал, увлёк. "Это что же, — спрашивал он размягчённо, мечтательно, вертя коробок спичек в руках, — тогда я этой вот спичкой смогу целое поле вспахать?!" На несколько минут он стал "мой", поддался мне, и в этот момент я задал ему несколько вопросов, на которые он ответил; потом замкнулся снова».

Чуть подробнее о той же встрече рассказывал Леонов литературоведу Александру Овчаренко. «Спорят они, — говорил Леонов, — такими яркими, крупными, неповторимыми словами. Лежит на полу перебравший заместитель предисполкома. А вот такого роста мужик — кулак, пихает его слегка ногой и цедит сквозь зубы: "Когда уж мы вас резать будем?" А тот ему: "Руки коротки, сукин ты сын"».

Летом набравшийся впечатлений Леонов доводит роман до ума и в октябре ставит последнюю точку. Книга, которая принесёт 25-летнему писателю славу и всероссийскую, и мировую, завершена.

Рискнём сказать, что «Барсуки» не самый сильный роман Леонида Леонова. В нём нет той геометрической, замечательно выверенной и мало кем досягаемой точности конструкции, что характеризует последующие его крупные вещи.

Тем не менее в «Барсуках», возможно, к удивлению самого Леонова, зазвучал истинный эпос, и не оценить это звучание в раздрызганной, полурастерзанной России было нельзя.

В советской литературе, на новой, ещё дышащей, ещё горячей почве, впервые появилась настоящая книга: не крупная повесть, а большой роман с десятками героев; пути некоторых из них мы попробуем проследить.

Но сначала несколько слов о «Записях Ковякина...».

Ковякин и его записи

Повесть, предшествовавшая «Барсукам», начинается так: «Мы город степной. Мы город тихий, заштатный, обделённый. От нас на север простирается степь, а к востоку — татаре вперемежку с лесом и мордва. На юг же — я и сам не знаю что. Вообще же очень много кругом нас голого места».

Ирония как приём присутствует в прозе Леонова неизменно, однако «Записи Ковякина...» написаны с умышленным, нарочитым юродством: подобных вещей он не писал ранее и

не напишет впоследствии. Одновременно с Леоновым в родственной эстетике начинает работать Михаил Зощенко.

Советская критика восприняла повесть почти благожелательно: «сатира на дореволюционную Россию» и т. п. и т. д. Всё это, конечно, совсем не так.

Главный герой повести, маленький человек Ковякин, записывающий в стихах и в прозе гогулёвские (почти что гоголевские) происшествия, в наивности и глупости своей проговаривает вещи вполне внятные, которые Леонов, отныне и надолго, будет вкладывать в уста героев неоднозначных, а то и отрицательных.

Ковякин пишет, что в «наше время» не отличить сумасшедших от вменяемых. Что народ «удивляться перестал. Хоть небо на землю упади, а мы скажем "будьте здоровы"». И даже «болезни у нас пошли новые, мы таких не знали в своё время».

Важный и неизменный леоновский мотив — описание случившегося разлада с Богом. Ещё до революции решили в Гогулёве повесить к Богоявлению новый колокол на местную церковь. «Раньше там колокол в 150 пудов висел, но на Пасху треснул».

Отлили новый, в 227 пудов, но когда его поднимали, он оборвался и упал, передавив ноги ямщику Степану Синеву. «Несмотря на скорую помощь, которую оказал ему наш врач С. Б. Зенит, ноги Синеву пришлось потом отнять, — сообщает Ковякин в своих записях. — Упомяну, что удавился Степан через пять после того месяцев, хотя, в сущности говоря, ямщику ноги и не нужны».

Подобный приём будет применён Леоновым ещё раз в романе «Соть», где первой жертвой большого советского производства станет маленькая девочка, погибшая при аварии.

Леонов подкладывает человеческую трагедию под начало большого дела, хоть социального, хоть религиозного, тем самым обрекая дело это на провал.

Некрасовская позиция, утверждающая, что «...дело прочно, когда под ним струится кровь», Леонову явно не близка. Что подтверждают последующие события в повести.

«В январе 1917 года произошло нашествие тараканов на наш дом», — юродствует Ковякин.

«Потом было у нас убийство: брат брата убил, и даже не в пьяном виде, а затрезво. Пошёл кругооборот!..»

Так начиналась революция, и комментировать тут что-либо бессмысленно: всё прозрачно.

«Матросы потом какие-то приезжали производить муть. Хрыщ, как начальник гогулёвской милиции, ходил к ним ночью и пробовал уговаривать чуть не на коленях, чтоб без греха уезжали. Но они его вышибли...»

«...Полагаю, однако, что когда Помпея и Геркулес погибали в извержениях Везувия, была у них на улицах такая же муть, а в квартирах ровным счётом недоразумение», — размышляет Ковякин.

«...Чёртогон начался какой-то», — пишет Ковякин, и не ясно до конца, — то ли старых чертей разгоняют, то ли новые пришли и устроили переполох в человечестве.

Предчувствуя ещё больший мрак и ужас, Ковякин в начале ноября 1917 года, за несколько дней до революционного переворота, пишет письмо губернатору, в юродстве своём неожиданно произнося вещи самые важные: «...И вообще не смейтесь над Гогулёвым, ваше превосходительство: смехи слезами запиваются, а слезинки заедаются человечинкой. Петля выходит. Но вы не обижайтесь и не отчаивайтесь: всякое дело поправимо, окромя крови. Пролитой крови, уж извините, в жилы не вернуть».

Это и есть завещание маленького человека большим временам.

Убегая от подступающей нови, Ковякин идёт за правдой к монаху Феофану. Но монах теперь обитает на дереве и кукарекает в ответ на человеческую речь.

«Феофан... просвет где?!» — кричит ему Ковякин несколько раз, но монах молчит и дрожит всем телом.

«И не понимая Феофанова молчанья, — пишет Ковякин, — сажусь я на пенёк, гляжу в землю и начинаю плакать. Не могу удержаться, льюсь слезами без истока. И сладки мне были горшие полыни глупые слёзы мои по уходящей гогулёвской старине!..»

Плачет Ковякин не только по разрушенной вдребезги старине Гогулёва, но и по судьбе человека вообще.

Собравшись, Ковякин неожиданно покидает Гогулёв, и по первоначальному замыслу Леонова он и должен был объявиться в «Барсуках» в качестве предводителя восставшего мужичья. Но Ковякин к такому делу, после всех его прозрений, был явно непригоден.

Да и сама интонация «Записей...» роману никак не подходила. Тут нужны были другое дыхание, иная тональность.

Леонов это вскоре понял.

Воры и гусаки

Читая «Барсуков», порой не можешь избавиться от ощущения, что не молодой Леонов вытягивает этот роман, а сама тема, сдвинутая крепким, дерзким писателем с места, понемно-

гу повлекла, потащила его за собой. Так случается, если первое усилие было приложено верно: дальше тебе диктуют и надо лишь поспевать за голосом.

Повествование начинается с приезда торгаша Егора Брыкина из Москвы в родную деревню — он собрался жениться.

Брыкин поначалу заявлен как один из центральных героев, и, насколько известно, это отвечало первоначальному замыслу книги. Но потом, оттеснённый другими, куда более важными лицами́, Брыкин из вида пропадает на добрую половину повествования.

В центр романа выводятся два малолетних брата, которых Брыкин, после состоявшейся свадьбы, привёз из деревни в Москву на заработки.

Пышнотелая Москва позволяет эпическому дару Леонова развернуться: он селит молодых братьев в Зарядье, где вырос сам и которое нежно любил.

Братья работают в доме лавочника на побегушках; одного брата зовут Семёном, другого — Павлом.

Семён — чувствительный, немного по-деревенски неловкий, но внимательный к миру, постепенно, понемногу набирающий древнюю, непокорную, мужицкую силу. Он станет бунтарём, выберет путь, поперечный новой власти.

Павел — нелюдимый, тяжёлый или, как Леонов говорит, — «камнеобразный». Людям он не очень нравится. «Пашка глядел на мир исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему». Ему впоследствии и выпадет стать большевиком, к финалу книги.

Ещё в деревне, когда он не углядел за коровами и скотина потравилась, Пашку начали бить сельчане смертным боем, но мальчик «молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду». С самого детства, заметим, складывается у Павла отсутствие взаимного понимания с природой: и дурной травы он не видит, и животину не бережёт.

Разругавшись с хозяином зарядьевской лавки, озлобленный, уходит Пашка из дома и пропадает чуть ли не до последних страниц романа.

Первую часть книги «везёт» на себе Семён. Леонов подмечает, что Семён «не особенно огорчился безвестным отсутствием брата. Павел служил Сене постоянным напоминанием о некоей скорбной посюсторонней черте человеческого существования: одна земная юдоль безо всяких небес. Крутая, всегда напряжённая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, — жизнь без Павла стала ему легче».

Мы цитируем этот отрывок по одному из первых изданий «Барсуков». Впоследствии Леонид Леонов вырежет второе

предложение в приведённом выше абзаце: исчезнет важная фраза о земной Павловой юдоли, лишённой небес. Предположение о том, что Леонов пошёл на эту поправку, смягчая безбожный образ Павла, скорее всего, неверно. Дело в том, что и Семён живёт земной суетной жизнью, не особо оглядываясь на небеса, посему и огорчить этой своей чертой Павел брата не мог.

Зато в новом варианте романа Леонов делает важное исправление: вместо «крутой, всегда напряжённой воли» он пишет: «крутая, всегда подчиняющая». Именно что подчиняющая, стремящаяся задавить любым способом.

Павел, к слову, с детства хромой, и это ещё одна классическая леоновская каверза: стремление всегда наделить большевика и физическим недостатком, и неким душевным разладом.

Незадолго до революции братья встретятся, и безо всяких на то причин полувраждебно настроенный к младшему брату Павел произнесёт несколько важных вещей.

Выяснится, что работает он теперь на заводе.

«Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был!» — так рассказывает Павел; Леонов замечает, что голос Павла дрожит «от гордости своим заводом и всем, что в нём: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы».

«Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат, — говорит Павел. — Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно... Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал как-то, не мог отойти».

И здесь становится понятно, что в жутком визге стачиваемое железо — это и есть метафора не только характера Павла, но и всей грядущей революции.

Незадолго до начала Первой мировой выросший в знатного парня Семён влюбляется в дочку местного лавочника Секретова; звать дочку Настей. Но отец попытается выдать её за другого, и любовь Сёмы и Насти разладится.

В первые месяцы войны Семёна призывают на службу, и больше ни герои, ни автор в Москву не вернутся. Финальная глава первой части романа провидчески названа «Конец Зарядья»: действительно, тот мир, в котором Леонов возрос и где возмужали его герои, ожидал скорый распад, и в течение первого послереволюционного десятилетия он будет стёрт с лица Москвы. По сути, деды Леонова и их прототипы в «Барсуках» были последними жителями Зарядья: все они умерли, и Зарядье умерло вместе с ними.

Действие романа перебирается в чернозёмную русскую губернию, в две деревни: одной название Гусаки, другой — Во-

ры. В названиях этих таится очередная, недобрая леоновская закавыка.

В упомянутых деревнях и будут происходить и революция, и контрреволюция, и партизанщина, и подавление бунтовщиков. В каком-то смысле деревушки эти олицетворяют и саму чёрную тягловую Россию, и самый русский народ.

Что характерно: два враждующих этих селения образовались в своё время из одного, называлось которое — внимание! — Архангел.

Вот так вот наивысший ангел раскололся на вора и самодовольного гусака. Есть тут очевидная, жестокая ирония по отношению к народу-богоносцу, и эту иронию вскоре очень оценит Горький, который мало кого так не любил, как русского мужика да и всю русскую деревню.

«Тёмные мы, ровно под землёй живём!» — говорит деревенский человек в самом начале «Барсуков», задавая печальную и тяжёлую ноту всему роману.

Но в своей несусветной и дерзкой иронии Леонов идёт ещё дальше: у него и революция начинается с того, как Воры с Гусаками начинают делить спорную территорию — Зинкин луг: «...а был обширен и обилен Зинкин луг, четыреста пятьдесят десятин, на все четыре стороны вид — небо».

«...Закашивали Гусаки воровские покосы и напускали на них скотину. Воры ловили скотину, приводили во дворы, требовали выкупа за потравы. Один раз тридцать голов изловили Воры и постановили взять по рублю с головы.

А те говорят:

— Мы на рубль-те пуд хлеба купим.

А Воры говорят:

— А мы продадим скотину вашу, гуси адовы.

А Гусаки:

— А мы вас пожгём, блохастых. И рожь вам сожгём.

А Воры:

— А мы вас кровью зальём...»

Ну чем не звери. Замечательный народ, только революции ему и не хватало.

Тут она как раз и подоспела.

Новая власть долго думать не стала и росчерком пера разрешила спор: «Отдать весь Зинкин луг Гусакам. У Воров и своего добра с излишком».

Так мужики-гусаки стали сторонниками новой власти, а мужики-воры, в свою очередь, власть невзлюбили люто и горько.

«Отсюда, — пишет Леонов, — идёт последняя распря. Одно село горой стояло за новую власть, другое выжидало любого случая отомстить за отнятые покосы».

Саркастичный и, пожалуй, даже злой, 25-летний Леонов свёл зачин мужицкой драмы, классовой борьбы и назревающей Гражданской войны, по сути, к анекдотцу.

И положительные, милые сердцу писателя герои никак не просматриваются в этой дурацкой суматохе.

В первых строках второй главы появляется представитель новой власти, уполномоченный по хлебным делам четырёх волостей, неприятный и скользкий, имеющий жадную охоту до баб и до винишка, человек по фамилии Половинкин. Едет на телеге в деревню, в компании жены того самого Брыкина, с которого начинался роман. Сам Брыкин на войне, «затерялся в смертоносных полях».

Пока добирались, Половинкин женщину соблазнил, и она вскорости забеременела. Вскоре и муж объявился, дезертировавший с фронта.

Вот характерный, ёрнически поданный диалог совращённой женщины, третируемой нежданно вернувшимся мужем, и советского уполномоченного.

Половинкин говорит:

«— Допускаю, я всем люб, потому что всем нужен. Я обчественный человек, служу обчеству. Меня и то уж товарищи в уезде попрекают, — бабник, мол. Могут, конечно, и накостылять. А какой я бабник. Конечно, есть у меня любопытство к женщине, какая она, одним словом. — Сергей Остифеич в раздражении потёр себе нос. — ...А на вашем месте, Анна Григорьевна, плюнул бы я на себя, то есть на меня. Гоняйся, мол, хахаль, за своими любами, а я, мол, выше тебя стою... у меня, мол, муж!

— Сам с ним спи, коли нравится, — гадливо засмеялась Анна. — А дитё своё куда я дену? В исполком отнесу? — и качала головой осатаневшая и опасная. — Ах ты дрянь-дрянь!»

В итоге женщина потравила себя льняными лепёшками, и восьмимесячный ребёнок советского уполномоченного родился мёртвым.

Брыкин, так и не узнавший, кто обрюхатил его жену, однажды добирается до председательской конторы и там видит Половинкина в своём пиджаке — в том самом, в котором Брыкин венчался когда-то.

«— Пиджачок-то... — не своим голосом прохрипел Егор Брыкин в самый раскрытый рот уполномоченного, приседая в согнутых коленях, — перешивали пиджачок-то?.. Аль и так подошёл?!»

Половинкин отругивается, Брыкин наседает:

«— Погоди! Трепчаком заставим вас ходить, животишко мне лизать станешь... Гусак жирный!»

Слово «гусак» тут, как мы видим, не случайно.

«— Не доберёшься, пожалуй!» — отмахивается Половинкин.

«— Что ж, петушиное слово знаешь, что ли... что и не доберусь до тебя?.. — ярым шёпотом издевался Брыкин. — Хлопушек твоих, думаешь, побоимся? — кивнул он на наган и ручную гранату, подвешенную на ремешке к половинкинскому поясу.

— Не в хлопушках, братец, дело, а высоко, братец ты мой, поставлены! — затеребил усы Половинкин, признак того, что гневался.

— Кем же ты, батюшка, поставлен? — прикинувшись старухой, прошамкал Брыкин. — Богом, что ли?..

— Чёртом! — гаркнул, окончательно озлясь, Половинкин».

И чёрт этот, если помнить прежние раздумья Леонова о Боге, дьяволе и человеке, — конечно же тоже не случаен.

Мужицкий бунт начался в Ворах: здешние мужики и так были сердиты на новую власть, а тут ещё подоспела продовольственная развёрстка — изъятие хлеба гусаковским исполкомом. Характерно, что жители деревни Воры сами друг на друга показывали, шепча исполкомовским, где у соседа хлеб припрятан. Вот она, русская соборность и всечеловечность.

После выемки хлеба воры убивают одного из исполкомовских, и тут уж, как пишет Леонов, «быстрей пошло колесо».

«Осью было то, о чём неумолчно болели воровские сердца: Зинкин луг, а вокруг оси вертелись все малые и немалые колёса — ненасытный город, и прежний опыт, и грядущая расправа за убитого гусака».

Вину за убийство берёт на себя вернувшийся на родину Семён, хотя не он убийца: но именно в нём саднит и мучится жилка бунтовщика, гулёбщика, зачинщика новой пугачёвщины, жаждущего смертной мужицкой правды.

Вслед за Ворами взметнулся и заполыхал весь уезд. Воры и присоединившееся к ним мужичьё уходят в леса и становятся теми самыми барсуками, забравшимися в норы и выбирающимися оттуда для очередного набега и разбоя.

Накануне исхода «воров» в деревне появляется та самая Настя, с которой у Семёна не сложилась любовь в Москве. Отца её, купца Секретова, разорили, и он умер; семья распалась; Зарядье изменилось раз и навсегда, посему идти ей было некуда уже, только вот к Сёме. Он ей как-то написал из деревни письмо, вот и адрес был у Насти. Оставаться в одном городе с большевиками для неё оказалось совершенно немыслимым.

Тут наличествует, пожалуй, самый неудачный сюжетный ход в романе: Семён переодевает Настю в мужскую одежду и коротко стрижёт её — ну, натуральная сцена из стародавнего приключенческого повествования.

Вообще вся третья часть романа полна мелодраматических коллизий. Складывается любовный треугольник — третьим в нём становится главарь барсуков Мишка Жибанда, и Настя мечется меж ним и Семёном, пока мужики воюют и жаждут гибели новой власти.

Затаённое своё понимание происходящего на Русской земле Леонов приберёг до последних страниц романа, где наконец-то появляется брат барсука Семёна — большевик Павел.

Кровные связи вообще сильно волновали зарождавшуюся советскую литературу: отец против сына, брат против брата и растерявшиеся в хаосе сёстры — кто не помнит этих сюжетов у Алексея Толстого, Шолохова, Федина и многих иных.

Приехавший Павел узнаёт, что бедокурит в уезде его кровная родня, пересылает брату записку и назначает ему встречу в лесу.

Беседовать братьям поначалу сложно: говорят, как камни ворочают.

Большевик Павел, не вставая с места, всё ищет грибы, принюхивается, приглядывается — ему кажется, что они есть где-то неподалёку, ими пахнет, и в поиске этом проглядывается интерес к живой жизни, к миру, во внутренности которому так любопытно забраться.

«— Не хочешь, значит, о домашних-то спросить?» — удивляется тем временем барсук Семён.

«— А что... умерли?» — откликается большевик Павел, и тут только слепой не разглядит, что для этого человека кровные связи уже нисколько не важны. Зато крайне любопытен человек как таковой — как бы так его вывернуть наизнанку, чтобы он соответствовал своей великой роли и текущей задаче по переустройству мира.

В поздних, изданных после смерти Сталина, редакциях романа появляется важное рассуждение Павла.

«Мне вот третьего дня в голову пришло: может, и совсем не следует быть человеку? — делится раздумьями большевик с барсуком. — Ведь раз образец негоден, значит — насмарку его? Ан нет: чуточку подправить — отличный получается образец!»

Тут, по Леонову, вся большевистская философия заключена: человек негоден, но мы с ним справимся, резать будем по живому, и получится то, что нужно.

Совершенно очевидно, что постаревший Леонид Леонов относится к этому несколько скептически.

Но и в первой же редакции «Барсуков» он не скрывает свой скепсис, вкладывая в уста большевика Павла упрёки буйному брату: «Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь!»

Долгое время слова эти трактовались исследователями Леонова как авторская и, по сути, просоветская позиция. Но смотрим на следующую же фразу, произнесённую Павлом:

«— А вот и грибы!» — восклицает он радостно: недаром строитель «процесса природы» так долго чувствовал их запах.

«— Это — поганки... — вскользь заметил Семён и встряхнулся».

Вот тебе и переустройство мира! Вот тебе и строители его, лишённые всякого чувства природы и почвы!

Легко трактовать этот роман как по сути антисоветский. Сегодняшнее прочтение его вообще оставляет в недоумении: как же честная и злая эта вещь входила в святцы советской литературы — что она там делала вообще?

Позже, уже в 1994 году, Леонов неожиданно допишет к «Барсукам» путаное, заговаривающееся послесловие, где постарается ещё больше акцентировать чёрную и безысходную суть Павла, но ведь и в 1924 году всё было сказано предельно ясно.

Хотя и определённые шифры и авторские зарубки тоже имели место.

В роман вошла глава «Про неистового Калафата». Стихотворение с таким названием Леонов написал ещё в 1916 году, до, подчеркнём, революции. В 1924 году из стихотворения родился рассказ. Сабашников даже хотел его, в числе пяти рассказов, выпустить книжкой, но притча о Калафате не прошла цензуру.

Суть её в следующем: у одного восточного царя был сын Калафат. Взойдя на трон, решил Калафат удивить мир и построить башню до неба. Закрыл он все капища местных богов, чтобы не мешали его великой идее, и приступил к работе, согнав тысячи и тысячи рабов. Когда башня была готова, ринулся Калафат в небо, бежал, бежал, глянул, наконец, сверху — а стоит он попрежнему на земле.

Для «Барсуков» Леонов притчу переписал заново — и если в первой своей, доныне не опубликованной редакции написана она была сказовым, пышным языком, то в романном варианте происходит снижение лексики и рассказывает притчу один из барсуков у вечернего костра.

Суть истории, впрочем, остаётся всё той же.

Калафат решает покорить мир и небеса небывалой стройкой. Когда башня готова, берёт он с собой семь спутников и отправляется в путь. Пять лет шёл — и с каждым шагом башня, не выносившая его тяжести, уходила в землю. Но Калафат того не ведал. А когда увидел, что так и стоит на земле, — завыл дико, «ни одна собака травленая так не выла, как царь этот выл».

В притче о Калафате есть два прямых отсыла к леоновским образам большевиков.

Сначала Калафат произносит ту же фразу, что произносил уполномоченный Сергей Остифеич Половинкин. Мы процитируем фрагмент, ему посвящённый: «Да и сознание необыкновенной своей должности кружит голову: ходить среди согнутых баб, неуклонно блюсти равномерное производство травяного жнитва, покрикивать время от времени: “Каждой травине счёт! Каждой травине...” Да будто и нет никого в белом свете, кроме как Сергей Остифеич... Он, Половинкин, и есть ось мира, а вокруг него ходит кругом благодарная баба-земля».

Позже, вослед за уполномоченным и Калафат призывает отца поставить номер «на каждую травину, холостую и цветущую», и на рыбину, и на звезду.

Другой отсыл — прямиком к большевику Павлу.

По окончании рассказа о Калафате один из барсуков говорит про неистового покорителя неба: «А старичок-те любопытен... <...> Добра желал!»

Спустя полста страниц Павел тоже будет рассказывать, как он любопытен, и смысл его деяний очевиден: он, безусловно, жаждет добра, порядка и справедливости.

Ну и само строительство Калафатовой башни безусловно есть пародия на политико-социальный эксперимент, происходящий в России.

Другую каверзу можно обнаружить в той главе, где случился знаковый разговор братьев. Называется она «Встреча в можжевеле». У Леонова случайных названий не бывает, и здесь придётся вспомнить, что под можжевеловым кустом просил ветхозаветный пророк Илия смерти у Господа. Тогда ангел коснулся его и сказал, что ждёт Илию долгая дорога. Подкрепившись чудесно посланной ему пищей, Илия встал и в продолжение сорока дней шёл по пустыне Синайского полуострова до горы Хорив. Здесь он нашёл себе убежище в пещере и провёл там ночь. На горе услышал он голос Господа.

«Что ты здесь, Илия?» — спросили его.

«Возревновал я о Господе Боге Саваофе, — отвечал Илия, — ибо все сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её».

Господь повелел ему выйти из пещеры и стать на гору в ожидании откровения Божия. И начались страшные знамения. Сначала разразилась ужасная буря с грозным вихрем, раздирающим горы и сокрушающим скалы; за бурей последовало землетрясение, потом пронёсся огнь.

Подробно трактовать эту аллюзию, думаем, не стоит: смысл здесь не в побуквенном совпадении ситуаций, а в общих предзнаменованиях для братьев, каждого из которых ждёт своя долгая дорога.

Важно добавить, что пророк Илия будет взят живым на небо и, согласно верованию Православной церкви, он вместе с Енохом вернётся на землю перед вторым пришествием Господа.

Судя 'по роману «Барсуки», человека в философской концепции Леонова пока ничего, кроме страшных знамений, не ждёт. Можжевеловый куст не наделяет прозрением ни одного брата, ни другого. Ангел не коснулся их и не дал им разума.

Литературный быт

Когда роман был закончен, у Леонова отнялись кисти рук, пальцы едва шевелились. Несколько дней и сам он, и жена пребывали в ужасе: как быть, чем лечиться?

Но понемногу руки ожили...

Только что написанный роман Леонид Леонов читает редактору журнала «Красная новь» Александру Воронскому. Тот жил в двойном номере в гостинице «Националь».

Дело происходило на исходе лета 1924-го. Воронский сразу понимает, что ему попало в руки, и «Барсуки» вскорости идут в печать: роман открывает шестой номер журнала, в седьмом — продолжение, в восьмом — окончание публикации.

«Красная новь» в те годы была изданием, что называется, культовым. У истоков создания журнала стояли Ленин, Крупская и Горький: первое организационное собрание редакции «Красной нови» прошло в Кремле, и четвёртым на том собрании был Воронский.

Поначалу «Красная новь» выходила тиражом в 15 тысяч экземпляров, но вскоре популярность журнала начала расти — заинтересованность в новом издании оказалась неожиданно большой. Журнал фактически с нуля создавал новую, советскую литературу.

«Весь писательский мир "Красной нови", — вспоминала впоследствии писатель Лидия Сейфуллина, — действительно, без ложного пафоса, казался тогда особым, священным миром».

Хотя к 1924 году общественное положение Воронского становилось всё более сложным. Ещё в 1922 году была создана литературная группа «Октябрь», годом позже появился журнал «На посту», где «октябристы» заняли ведущие позиции и немедленно начали шельмовать и травить «попутчиков», и в пер-

вую очередь Воронского. Достаточно сказать, что первые два номера журнала «На посту» были целиком посвящены «Красной нови».

В итоге сложилась ситуация, прямо скажем, удивительная: всего два года назад Воронский был референтом Ленина по белоэмигрантской литературе, заведовал литературным отделом в «Правде», имел огромное влияние — и вот он уже не в состоянии справиться с «октябристской» напастью, наматывающей его редакторские нервы на «пролетарский» кулак.

Летом того самого 1924-го, когда Леонов заканчивал «Барсуков», Воронский узнал, что его положение в журнале находится под большим вопросом: двух его прежних замов убрали и поставили новых, поддерживающих «октябристов».

Происходящее в те дни в литературном мире имело высочайший градус накала, взаимного раздражения, переходящего в ненависть.

Для иллюстрации упомянем появившееся в 1924 году коллективное письмо советских «попутчиков», где говорилось: «Мы считаем, что пути современной русской литературы, — а стало быть, и наши, — связаны с путями Советской пооктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отразителем той новой жизни, которая окружает нас, — в которой мы живём и работаем, — а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основные ценности писателя... Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас... Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд и нужен и полезен для неё».

Письмо подписали Алексей Толстой, Пришвин, Шишков, Есенин, Пильняк, Бабель, Вс. Иванов... Леонова среди них ещё нет: он к тому времени не набрал достаточного литературного веса. Но появись письмо даже не спустя год, а сразу после публикации «Барсуков», он бы там был. Позицию своих собратьев по перу Леонов разделял всецело.

И вступая в литературу, Леонов одновременно попадал в атмосферу безжалостной литературной борьбы.

Здесь, к слову, надо сказать и о сложившихся литературных градациях, в которые ему так или иначе пришлось встраиваться. К середине 1920-х наиболее значимыми среди относительно молодых имён были, безусловно, три автора: Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Исаак Бабель.

Алексей Толстой, Сергеев-Ценский, Чапыгин, Пришвин и даже начавший почти одновременно с Пильняком Вячеслав

Шишков шли уже, что называется, по другому ведомству: как писатели старшего поколения.

Вскоре после «Барсуков» Леонов попадает, хоть и с бесконечными оговорками, в новые советские, а вернее сказать, попутнические «святцы». Теперь всех четверых — Пильняк, Иванов, Бабель, Леонов — пишут через запятую. Иногда прибавляя Федина, Никитина, куда реже — Катаева, Слонимского...

В ближайшие годы, когда Пильняк и Иванов начнут сдавать позиции, а Бабель станет появляться в печати и писать всё реже, Леонов на некоторое время займёт если не первую, то одну из первых позиций в советской литературе. А в «Красной нови» после «Барсуков» и затем «Вора» он станет безусловным фаворитом.

Но очевидным это будет чуть позже.

Пока критика неустанно треплет Иванова за то, что герои его слишком движимы бессознательными, иррациональными побуждениями, — и великолепно начавший писатель ломается, смиряет себя, разоружает свой дивный дар. Писательская походка его становится слишком прямолинейна, голос — дидактичен, а мир, описываемый им, — скуп, скучен, сух.

Вскоре начнётся жёсткая атака на Бабеля за якобы очернение Первой конной в «Конармии», и скрытный, тайно переживающий обиду Бабель воспримет это крайне тяжело.

Пильняка растопчут после публикации «Повести непогашенной луны»; впрочем, и сам его рваный, заговаривающийся стиль потеряет ту актуальность, что вскружила многим литераторам и почитателям Пильняка головы в первые послереволюционные годы.

Леонов в числе немногих пойдёт по избранному им пути последовательно и упрямо, хотя и пользуясь порой приёмами осмысленного почти уже косноязычия.

Пока же он переживает первый и уже не местечковый, квартирный, московский, а общенациональный успех. За три года «Барсуков» переиздадут четырежды, и отклики на роман, и обсуждения его как начнутся в 1925-м, так и не стихнут ещё многие годы.

Несмотря на то, что в «Красной нови» «Барсуки» названы «повестью», сам же Воронский вскоре признаёт в издании «Прожектор»: «“Барсуки” — настоящий роман. Прошлое в нём органически переплетается с настоящим. Настоящее, уходящее в нашу революционную действительность, не кажется свалившимся неизвестно зачем и откуда. Современное не тонет, не расплывается в мелочах сегодняшнего быта, в газетном и злободневном. Дана перспектива; вещи, люди, сцены удалены на нужное расстояние, чтобы можно было их схватить в их це-

локупности. Быт густо окрашивает произведение, но не загромождает его, не душит читателя... Есть то широкое полотно, о котором у нас многие тоскуют».

Были, конечно, и другие отзывы, Леонову попадало не больше иных, но и не меньше. Пожалуй, вот эта цитата из Алексея Кручёных вполне адекватно иллюстрирует тональность критики тех дней: «Помесь водяночной тургеневской усадьбы с дизелем, попытка подогреть вчерашнее жаркое Л. Толстого и Боборыкина в раскалённой домне, в результате — ожоги, гарь и смрад: Вс. Иванов, Леонов, К. Федин, А. Толстой. Вообще в длиннозевотные повествования современная мировая напряжённость не укладывается. В такт грохочущей эпохе попадают только барабан и трещотка немногих речетворцев Лефа».

Ещё жёстче в «Красной газете» от 1 июля 1925 года выступает один из самых злобных, поминавшихся ещё Маяковским, критиков той поры, П. С. Коган:

«Печально, если расцветает леоновщина.

Она, леоновщина, это — страшное мироощущение, неумолимо надвигающееся, обволакивающее всё кругом. Леонов — это бессознательно “мужиковствующий”... <...>

Перед этой пассивной и косной мощью какими-то фальшивыми, наносными и непрочными кажутся и продкомиссии, и губернские власти, и карательные отряды».

Понимали, что говорили, советские критики.

Глава пятая

СОВРЕМЕННИКИ. «ВОР»: ДВЕ РЕДАКЦИИ

Фининспекция и «Унтиловск»

По сей день сохранилась повестка Мосфинотдела от 4 января 1924 года, подписанная агентом по взысканию недоимок М. Филимоновым. Повестка обязывала Леонида Леонова немедленно уплатить 56 рублей 25 копеек за патент на право заниматься писательским ремеслом.

Филимонов тогда немало нервов попортил Леонову: всерьёз шла речь о полной описи имущества писателя, отказывающегося оплачивать государству своё, по мнению агента, безделье.

Из имущества было: кресло, полученное Татьяной Михайловной в качестве приданого, и упомянутые уже леоновский ковёр и печатная машинка «Ундервуд». Какой-либо собственной мебели, даже письменного стола, не было — выпросили что-то у соседей, на время, тем и пользовались. Зато были резные фигурки, собственноручно выточенные Леоновым: их фининспектор тоже описал, наряду с ковром, креслом и печатной машинкой.

Леонов вспоминал, как стоял у перебирающего фигурки фининспектора за спиной, смотрел ему в рыжий затылок и мечтал воткнуть туда стамеску.

Филимонов преследовал Леоновых чуть ли не целый год: заходил то в шесть утра, то в три ночи — всё, видимо, желал обнаружить пьяные оргии, на которые писатель спускал свои «невиданные» доходы. Но заставал только спящих хозяев — молодых супругов. Что, впрочем, вовсе не остужало его преследовательский пыл.

На оборотной стороне выписанной рыжим Филимоновым повестки рукой Леонова написано: «Вот с чего начался Чикилёв в “Воре”».

Действительно, вскоре у Леонова появится герой по фамилии Чикилёв — управдом, «человечек с подлецой». Мало того, в романе «Вор» упоминается и сам Филимонов. Одной из героинь Чикилёв сообщает, что умер его сослуживец «товарищ Филимонов... тот самый, рыжеватый такой, с которым мы ещё у

сочинителя Фирсова имущество описывали. Характерно, на собственных на именинах белужки поел и помер...».

Вот до какой степени разозлил фининспектор писателя! Если помнить к тому же, что Филимонов ещё раз будет выведен в образе фининспектора Гаврилова в романе «Пирамида».

От описания имущества Леонова спасли хорошие знакомые: художники Евгений Кацман и Павел Радимов (последний известен и как поэт).

Кацман к тому времени уже зарекомендовал себя как художник, приближённый к власти. В 1923-м он рисует известный портрет Феликса Дзержинского, в 1924-м — запечатлевает Михаила Калинина, и т. д. Совместно с Радимовым Кацман создаёт Ассоциацию художников революционной России: поддерживаемую государством, многочисленную и мощную творческую группировку. Радимов какое-то время тоже был не последним человеком в Советской России, работал в Кремле, был дружен с Луначарским.

Они и свели Леонова с Григорием Моисеевичем Леплевским, занимавшим в ту пору должность председателя Малого совета народных комиссаров РСФСР. Леплевский назначил Леонову аудиенцию у себя дома.

«Я назавтра пришёл, — рассказывал много позже Леонов писателю и литературоведу Олегу Михайлову. — Громадная квартира. Горничная в наколке. Провела в большую спальню. Необъятная кровать с ореховым балдахином. И лежит маленький еврей с бородкой, накрывшись одеялом. И под одеялом возит руками.

— Я литератор Леонов.

— Да, мне звонили. Идите спокойно домой...»

На другой день Леонову звонит, как сам писатель иронично заметил, «человек с перекошенным голосом»:

— Это квартира профессора Леонова?

— Гм... Ну да... Да! Профессор Леонов слушает вас!

— К вам больше нет претензий, товарищ профессор.

С тех пор фининспекторы Леонова не трогали. Разве что о помощи Леплевского Леонов вспомнил, когда сам был глубоким стариком. Дело в том, что Григория Моисеевича репрессировали в 1939 году. К тому моменту Леплевский был заместителем прокурора СССР — Андрея Януарьевича Вышинского.

* * *

Однако ж финансовые проблемы в том 1924 году, даже без «опеки» фининспекции, перед Леоновым по-прежнему стояли остро. Чтобы элементарно прокормиться, нужно было много, неустанно работать.

В середине ноября 1924 года, не отдохнув и пару недель после того, как поставлена последняя точка в «Барсуках», Леонов начнёт писать повесть «Унтиловск».

Повесть создаётся трудно и медленно. Что-то явно не получается; тем более если помнить о том, как Леонов совсем недавно за год выдавал по десятку новых вещей.

«Унтиловск» Леонов завершит в марте 1925 года, чуть ли не через пять месяцев после начала работы, и сразу понесёт повесть на суд своему старшему товарищу, художнику Илье Семёновичу Остроухову — тому самому, что организовывал одни из первых леоновских чтений.

Внимательные и чуть уставшие глаза, взглядывающие поверх пенсне; неизменные галстук, пиджак, манжеты — вот он, Остроухов. Леонов относился к нему с сыновней привязанностью и очень ценил внимание старика.

Ещё бы: Илья Семёнович — автор нескольких шедевров, уж Леонов-то, умевший держать кисть в руках, понимал в этом толк. В недавнем прошлом Остроухов был одним из попечителей Третьяковской галереи, он собрал уникальную коллекцию древнерусской живописи. После революции коллекцию национализировали, но Остроухова назначили пожизненным хранителем.

Созданный на основе собрания Остроухова и открытый в 1920 году Музей иконописи и живописи Леонов посещал не раз и не два. И домой к Остроухову наведывался часто.

Спустя несколько лет Леонов напишет в письме Горькому: «Мне всегда был необходим человек, которого я бы очень любил и которому беспредельно верил (а прямо сказать — отец. — *З. П.*). Долгое время таким был, между нами говоря, И. С. Остроухов, человек грубый и великого чутья».

И далее: «...бывало, приходил к И<лье> С<емёновичу>, садился, наливал рюмку-две (не больше) водки, ему и себе, и этак просиживал вечер с ним, молча. Он очень здорово умел молчать, но обоим слышно было, как внутрях, так сказать, работают машины».

Впрочем, не только молчали, но и разговаривали, конечно; и удивлять старик ой как умел.

Случай был: вытаскивает как-то Остроухов из стола толстую тетрадь, показывает своему гостю — любимцу Лёне.

— Что это? — спрашивает Леонов, разглядывая заметки, строки стихов, зарисовки лошадей и горцев, пейзажи.

— Это дневник Лермонтова, — отвечает Остроухов.

Он его купил у какой-то старухи и в подлинности дневника ни секунды не сомневался.

Можно представить себе трепет и удивление Леонова...

(После смерти Остроухова дневник исчез и не найден до сих пор.)

Всевозможных раритетов и редкостей собрал Илья Семёнович великое количество, но, главное, — он сам был большой человеческой редкостью.

Вот к нему, замирая сердцем, пришёл Леонов с «Унтиловском».

— Это нельзя печатать, — ответил Остроухов, выслушав чтение.

О сюжете «Унтиловска» мы поговорим позже, когда речь пойдёт о пьесе, сделанной по мотивам повести; однако с Остроуховым согласимся: переход от первоначальной сказовой манеры в реалистическую, с элементами сатиры, прозу Леонову дался не сразу; повесть рассыпается, она лишена внутреннего костяка.

Но в тот день Леонов ожидал никак не критической реакции. И не только потому, что едва изготовленный, сырой ещё труд был ему самому по нраву.

Финансовые проблемы в связи с фининспекцией возникли тогда не у него одного. Тестя, Михаила Васильевича, тоже всю осень и начало зимы, вплоть до конца декабря, терзала фининспекция, не позволяя издательству выпустить ни одной книги. Только к концу 1924 года Сабашникову посчастливилось выиграть суд по поводу чрезмерного налогового обложения.

При таких обстоятельствах Леонову, хоть волком вой, необходимо было самому отвечать за себя и свою молодую семью.

— Не могу не публиковать. Деньги нужны, — сказал он Илье Семёновичу. — И «Красная новь» ждёт повесть.

Остроухов всё равно был непреклонен.

— Денег нет? — возмутился старик. — Идите на вокзал и разгружайте уголь... Чем угодно занимайтесь, но «Унтиловск» не публикуйте. Это ниже ваших возможностей.

Леонову верили, на Леонова ставила почти вся московская интеллигенция, не покинувшая Россию после 1917-го.

И он послушался. Рассказывал потом многажды, как шёл домой от Остроухова и, в злости и обиде, плакал. Так был уязвлён!

После несколько раз перерабатывал и сокращал «Унтиловск»... В конце концов, убрал в папку, задвинул в стол и завещал никогда не публиковать.

Взялся на другую повесть: в центре повествования — дом престарелых, немощные люди с их немощными заботами... И тут в дом престарелых приходит весть о революции.

Очень леоновский сюжетец!

Но эту повесть тоже бросил.

Тогда понемногу начал формироваться прообраз романа «Вор», одного из главных сочинений Леонова. Поначалу роман назывался «Возвращение Мити».

Чикилёва, упомянутого выше, он уже высмотрел для того, чтобы использовать в новой книге. В пивнушке у Триумфальной арки попался другой герой — старик, рассказывающий за мелочь завиральные истории из дореволюционного быта: с него Леонов срисует своего Манюкина. А вскоре состоится знакомство Леонова с Сергеем Есениным, тоже для романа крайне важное.

Но по дороге к Есенину мы заглянем ненадолго в Коктебель.

Леонов и Булгаков

Близилось лето 1925 года, и чета Леоновых начала строить планы: куда им выбраться из душной Москвы, чтобы у них была возможность отдохнуть, а Леонид смог поработать над начатым романом.

В разгаре весны очень кстати пришло главе семейства Михаилу Васильевичу Сабашникову приглашение от Максимилиана Волошина навестить его «Дом поэта» в Коктебеле.

По собственному плану возведённый поэтом дом на берегу Чёрного моря с 1923 года стал обителью литераторов, учёных и всевозможных зачарованных бродяг.

Рискнём предположить, что, приглашая Сабашникова в гости, Волошин желал ещё раз попробовать положительно разрешить вопрос о публикации своих книг в издательстве Михаила Васильевича.

Но Сабашников в ответном письме предложил иной вариант. «Я очень признателен за приглашение Ваше в Коктебель, — написал он. — Воспользоваться сим не смогу — после неудач и аварий прошлого года в нынешнем будет не до отдыха: надо восстановить работу издательства, расширить его и дать ему размах. Но Леоновы, Таня и Лёня, загорелись желанием съездить к вам на побывку».

Благо, Леонид знал Волошина ещё по Москве. Ну и Танечку поэт, само собою, видел — когда выступал у Сабашниковых. Тем более что Волошин пребывал ещё и в некотором родстве с Сабашниковыми: в 1906 году, напомним, женился он на двоюродной племяннице Михаила Васильевича; правда, в 1925 году жил он уже с другой женщиной, Марией Заболоцкой.

Вместе с письмом Сабашникова и Леонов отправляет Волошину благодарное послание, где сообщает, что ему и Тане «хо-

телось бы использовать разрешение Ваше — если, конечно, это возможно! — с 1-го приблизительно мая до 1-го хотя бы июня».

«Я совершенно не знаю условий жизни в Крыму, ибо никогда не был там, — не знаю — удобно ли это время в смысле погоды и проч., — продолжает Леонов. — Если это время удобно для Вас, я очень прошу Вас черкнуть мне самую коротенькую записку, что, де, мол, возможно, а маршрут, мол, такой-то и такой, а захватить с собой нужно то-то и то-то и т. д.».

Волошин дал Леоновым положительный ответ, и 10 мая молодые супруги выехали в Коктебель: из Москвы прямым поездом на Феодосию, и оттуда на линейке почти до места назначения.

* * *

Волошину шёл сорок восьмой год; в 1925-м он праздновал тридцатилетие творческой деятельности. Впрочем, в пострееволюционную литературную ситуацию встроиться ему никак не удавалось. Достаточно сказать, что по поводу его юбилея появилась лишь скромная заметка в «Известиях».

Однако сам Волошин — человек, влюблённый в жизнь, в людей, в искусство, — ещё бодрился, ещё был, как ему самому казалось, полон сил.

О волошинском «Доме поэта» ходили забавные слухи: будто у хозяина есть «право первой ночи» с приезжающими гостьями, будто он голый ходит с венком на голове, будто гости одеваются в «полпижамы»: одному, значит, рубашка без штанов, другому — наоборот.

Всё это, конечно, оказалось сущими выдумками. Волошин вёл себя более чем достойно, был замечательно вежлив со всеми гостями, хотя слухи о себе выслушивал заинтересованно: вся эта мифология ему, очевидно, нравилась.

Леоновых разместили в отдельном, вроде татарской сакли, домике. В том вновь проявилось уважительное отношение к семейству Сабашниковых; тем более что издатель ещё в письме просил Волошина подобрать комнату солнечную и сухую, не на северной стороне — «у Тани слабы верхушки лёгких», пояснял Михаил Васильевич. Жена Сабашникова, Софья Яковлевна, отдельно сетовала Волошину: «Леонов, по молодости, не придаёт значения многому, а Таня сама не решится, может быть, спросить Вас». Просматривается в этих строчках известное отношение к Леонову: тёща всё ж таки.

В тот месяц в Коктебеле гостили самые разнообразные люди: историк искусства, философ, переводчик Александр Габричевский, писательница Софья Фёдорченко и её муж Николай

Ракицкий, пианистка Пазухина с двумя детьми, знакомые супруги Волошина самых разных, вовсе не творческих профессий.

Чуть позже появится поэт Георгий Шенгели с женой; несколько раз заглянет писатель Александр Грин, живший неподалёку. В общем, компания любопытная, особенно если разглядывать её три четверти века спустя.

Однако леоновский, спустя всего десятилетие, взгляд на коктебельское общество в его романе «Дорога на Океан» будет лишён и восхищения, и благости, а пронизан скорее печалью.

Вот хозяин дома в описании Леонова:

«...тучный, рано одряхлевший человек в поношенных штанах, вправленных в трикотажные гетры, и в просторной, как море, серого тканья рубахе. Дымилась на ветру его седая грива, стянутая по лбу узким ременным пояском... <...>

Отличный мастер приподнятого поэтического слова, он угасал здесь без славы и литературного потомства. Время было такое, когда пророки нарождаются в народе, — поэт мнил себя одним из них, но и отлично сложенные пророчества его не сбывались. Порою гости бывали единственными потребителями его творений, равно величественных, неискренних и умных. То были художники и профессора средней руки, состарившиеся поклонники и просто милые и болезненные люди, которым врачи прописали умирать на южном побережье. За комнату и близость к музам они платили беззаветным восхищением перед меркнущей звездой поэта. Со скуки здесь любили чудаков.

Утром хозяин повёл гостя смотреть Карадагские ущелья, а вечером — древнее Киммерийское плоскогорье: полынь хороша на закате. Он знал здесь каждый уголок и самоё море считал своим произведением...

Постоянное поэтическое возбуждение поддерживалось в этом доме. Каждый сочинял что-нибудь в меру сил...»

Детали, надо сказать, Леонов указал все документально точно: он, в числе иных гостей, действительно ходил с Волошиным и в Карадагские ущелья, и на Киммерийское плоскогорье; и общее «поэтическое возбуждение» тоже имело место. Веселились, как умели: ставили бесконечные шарады, разыгрывали друг друга, наряжались самым немыслимым образом, опустошая хозяйские гардеробы.

Леоновы поначалу пытались соответствовать настрою, но вообще участие в массовых мероприятиях было не в их характере.

Леонид с куда большим любопытством изучал местную фауну. Имея дельную привычку что-то всегда создавать собственными руками из подсобных материалов, вырезал себе краси-

вую трость из местных древесных пород и потом увёз её в Москву.

Уже со второй недели Леоновы всё больше держались особняком, гуляли вдвоём, тем более что затеряться среди не менее чем сотни гостей было просто.

Не посещали они, впрочем, и те мероприятия, куда сходить стоило: например, игнорировали авторские вечера Максимилиана Волошина. Хотя и приехавший вскоре в Коктебель Михаил Булгаков чтения Волошина тоже неизменно пропускал.

Михаил Афанасьевич, вместе со второй своей женой Любовью Белозерской, прибудет 12 июня. Их поселят на первом этаже двухэтажного каменного флигеля, носившего название «дома Юнге».

По итогам поездки Булгаков сразу же выскажется: с 27 июля по 31 августа того же 1925 года будет опубликован цикл его ироничных очерков «Путешествие по Крыму» с отдельной главой о Коктебеле. С неизменной своей иронией Булгаков опишет некоторые привычки отдыхающих: к примеру, общую страсть к поиску редких камней на побережье — «каменную болезнь». Леонов ею, кстати, тоже переболеет и наберёт с собой всевозможной необычных форм гальки.

К моменту встречи в Коктебеле Булгаков и Леонов были немного знакомы: виделись на «Никитинских субботниках», где оба выступали с чтением своих произведений, причём Леонов смотрелся там более успешно. Известно разочарование Булгакова после собственных выступлений, отразившееся в желчной дневниковой записи: «Эти “Никитинские субботники” — затхлая, советская рабская рвань, с густой примесью евреев».

Булгаков даже как-то бывал у Леонова в гостях, на Новодевичьем — например, на чтениях «Записей Ковякина...».

Но никаких внятных взаимоотношений между Булгаковым и Леоновым не сложилось ни до Коктебеля, ни после. Пожалуй, они и не могли сложиться.

Булгаков был на восемь лет старше Леонова; однако если объём написанного ими к 1925 году был уже примерно равноценен, то литературный статус последнего выглядел куда серьёзнее.

У Булгакова уже готов первый роман — «Белая гвардия», но опубликован он только частично, в журнале «Россия». В эмигрантской газете «Накануне», издающейся на деньги коммунистов, публикуются его «Записки на манжетах»; и относится к тому Булгаков двойственно: с одной стороны, хоть какие-то публикации, с другой — газета пользуется откровенно дурной славой. Вместе с Бабелем, Олешей, Катаевым, Ильфом и Пет-

ровым Булгаков работает в популярнейшей газете «Гудок», печатает там свои фельетоны и испытывает к этой подёнщине натуральное презрение, переходящее в ненависть.

Булгакова многие заметили, в том числе и Волошин, писавший о «Белой гвардии» как о вещи «очень крупной и оригинальной». «...Как дебют начинающего писателя, — утверждал Волошин, — её можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».

Но кроме Волошина так почти никто не думал, и критика отзывается о Булгакове в основном неприязненно.

О Леонове пишут куда больше, и совершенно роскошные книжки его выходят в серьёзном издательстве, и «Красная новь» опять же публикует его, а не Михаила Афанасьевича.

Предположим, что Булгакова отчасти раздражал ранний и шумный успех Леонова; да и сама эстетика леоновской прозы была Михаилу Афанасьевичу несколько чужда. Спустя год Булгаков на допросе в ОГПУ признается: «На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю». Надо понимать, что и читать «про деревню» в ранних сказах Леонова и в тех же «Барсуках» Булгаков несколько брезговал.

В Коктебеле Булгаков читает публике «Роковые яйца», а Леонов как раз отрывки из «Барсуков». Чтение происходило в мастерской Волошина. Александр Габричевский вспоминал потом, как в то время, когда Леонов читал, Булгаков сидел на антресолях и дремал, всем своим видом выражая полнейшее равнодушие к чтецу. Но едва чтение прерывались, Булгаков вскакивал, демонстративно перевешивался через перила и начинал бурно аплодировать. Юродствовал, в общем.

Супруга Габричевского — Н. А. Габричевская (Северцева) кратко сообщила потом, что Леонов с Булгаковым «не сдружились». Ещё бы.

Правда, на фотографии, сделанной кем-то в Коктебеле, все они запечатлены вместе: Волошин, Фёдорченко и Леонов с Булгаковым, плечом к плечу. Снимок, кажется, зафиксировал очередную коктебельскую шараду — потому что Волошин вещает о чём-то, а молодые писатели слушают его с покорным и наигранно удручённым видом.

Леонов и Булгаков уедут из Коктебеля вместе, 7 июля. Доберутся вчетвером до Феодосии и расстанутся: Леоновы неожиданно раздумают плыть по морю.

В Коктебеле обе писательские семьи, несмотря на некоторую свою мизантропию, оставили о себе хорошее впечатление. Пианистка Пазухина, к примеру, среди нескольких десятков гостей именно их, Леоновых и Булгаковых, назвала «лучшими» для себя, самыми задушевными и добродушными.

Потом многие годы Леонов и Булгаков будут внимательно друг за другом наблюдать, почти никогда вслух своё отношение не озвучивая.

Булгаков явно прочтёт роман «Вор» и, несомненно, попадёт под его влияние, о чём мы ещё скажем подробнее.

Леонов появится у него в романе «Записки покойника» под видом молодого литератора, «с необыкновенной ловкостью» сочинявшего свои рассказы. Лирический герой «Записок...» испытывает к ловкому молодому литератору некоторую ревность.

Зато Леонов, многие десятилетия спустя, в который раз переписывая «Пирамиду», будет упрямо повторять, что роман «Мастер и Маргарита» он не читал. Но это не так, конечно.

Сложные отношения.

* * *

Поработать в Коктебеле Леонову не удалось: в том же году он заметит мимолётом, что сочинительство у него получается «только в тишине и на ровном месте», а этого как раз недоставало все полтора месяца отдыха.

«Неспокойная природа», так определит Леонов Коктебель, «буйно очень».

Думается, что природу в данном случае затворник Леонов понимал очень широко: имея в виду не только ветер и море, но и людское поведение в тех местах.

Летом 1925-го Леонов отправится в свою ярославскую деревеньку, там ему писалось куда спокойнее.

А в Коктебель Леоновы, как и Булгаковы, больше не поедут никогда и от «коктебельского кружка», самоорганизовавшегося в Москве вокруг упомянутой выше писательницы Софьи Фёдорченко, будут держаться на дистанции.

На исходе 1925 года Леонов напишет-таки Волошину письмо: тот, страстно влюблённый в русскую литературу, спрашивал у московских знакомых, как там Булгаков и Леонов, — и последний, прознав о волошинском интересе, ненадолго застыдился, что не отблагодарил устроителя своих коктебельских каникул: «Нет, кроме шуток, — не сердитесь, что не писал. Впредь перестану жить свиньёй и буду аккуратен». Хотя, собственно, так и не стал аккуратен и Волошину писем больше не отправлял.

Зато Леонов делится-таки с ним московскими новостями в единственном своём послании и, к слову, вспоминает о Булгакове: Мишу, мол, встречаю редко, оказиями.

Оказии были связаны вот с чем.

В те годы работал в Москве литератор Пётр Зайцев. Служил Зайцев в издательстве «Недра», где выходили в числе прочих и

булгаковские книги. Зайцеву пришла идея создания двух литературных кружков: поэтического и прозаического. Прозаический кружок окрестили «писателями-фантазёрами» и вписали туда как раз Булгакова, Леонова и несколько персон рангом пониже. Так что, на небезосновательный взгляд ценителей, у прозы обоих были в те годы общие признаки. Это, додумаем мы, склонность к фантасмагориям, это — едкий иронизм и ещё, пожалуй, скептическое отношение к произошедшему в стране социальному перелому.

По замыслу Зайцева, группа должна была в чём-то наследовать «Серапионовым братьям», уже распавшимся к тому времени. И, стоит заметить, и Леонова, и Булгакова «фантазийная» идеология нового объединения поначалу вполне устраивала.

Был у Леонова с Булгаковым, в связи с организацией кружка, ещё один шанс сойтись — они периодически встречались на чтениях; но опять не сложилось.

Кружок распался: в Советской России вообще все литературные внегосударственные объединения начали сходить на нет.

Вскоре и у Леонова, и у Булгакова начнётся работа со МХАТом, что станет великой радостью для обоих. Ведь избрав совсем ещё молодых людей своими авторами, легендарный театр фактически признавал их наследниками Чехова и Горького. Это было немыслимой честью в те времена. И предметом огромной зависти коллег.

Два года спустя, в 1927-м, пути Леонова и Булгакова даже пересекутся: МХАТ тогда соберёт замечательно сильную команду для создания юбилейного — к десятилетию революции — спектакля: Бабель, Замятин, Пильняк, Вс. Иванов — и Михаил Афанасьевич с Леонидом Максимовичем. Но из затеи ничего не выйдет, да и вряд ли могло случиться иначе: как было запрячь этих шестерых разом?..

«Он часто в таинственности пребывает», — добавляет в 1925 году в упомянутом письме Волошину Леонов о Булгакове, видимо, имея в виду осмысленную отстранённость последнего.

Зато у Леонова в 1925 году сложились с виду дружеские, но внутренне не всегда внятные взаимоотношения с Сергеем Есениным.

Леонов и Есенин

Когда Леонов прочитал Есенина впервые, точно неизвестно, но 20 марта 1918 года в «Северном дне», где работал Леонов, было опубликовано стихотворение Есенина «Пушистый звон, и руга...». Это была перепечатка из одного столичного издания.

Скорее всего, стихотворение в печать отобрал сам Леонид: он выполнял в газете функции и редакторские тоже.

Лично с Есениным они познакомились в начале 1924 года, в Гнездниковском переулке, на квартире Анны Абрамовны Берзинь. К тому времени у Леонова вышли две книжки, и одна из них — повесть «Петушихинский пролом» — Сергею Есенину очень понравилась.

В тот момент есенинские разногласия с имажинистами уже достигли точки, близкой к критической, но неизменным оставалось желание поэта собрать вокруг себя людей, близких по духу, буйных, даровитых. Леонов — подходил.

«Аннушка Берзинь была своеобразной дамой, — рассказывал Леонов литературоведу Александру Лысову о той встрече. — Крупная женщина, с вызывающим характером. Одевалась пышно: немыслимая какая-то шляпка, боа из перьев. Роскошная, по тем временам, дама. Первый облик Есенина тоже обескураживал. Роскошная шуба, надменные бачки, шапка уж не помню какая».

Есенинскую шубу Леонов надолго запомнил — и припрятал в памяти; скоро она ему пригодится.

Они, пожалуй, не сдружились накрепко. Есенин, при всей его в метафизическом смысле человеческой, поэтической чистоте, не очень любил общаться с равносильными себе литераторами и зачастую тянулся к людям отчасти с подпольным, отчасти с сектантским мышлением. Леонов, безусловно, не относился ни к первому, ни ко второму типу; и вообще с младых лет шумными и пьяными компаниями тяготился, предпочитая общество вдумчивых и неспешных стариков.

Однако близкий Есенину человек — поэт Николай Наседкин, муж родной сестры Сергея Александровича, всё-таки позже называл Леонова в числе близких есенинских приятелей той поры, 1924—1925 годов. Внешне так оно и было, хотя заметим, что на свадьбу свою с Софьей Толстой Есенин Леонова не позвал, а, например, Всеволода Иванова и Пильняка пригласил.

Но это всё детали.

Года с 1919-го Есениным владела идея создать журнал «Вольнодумец» — название говорит само за себя.

Поэт присматривался и к поэтам, и к прозаикам, мысленно отбирая лучших.

Леонов был одним из немногих, кто глянулся сразу.

Когда в очередной раз зашла речь о «Вольнодумце», Есенин рассказал имажинисту Матвею Ройзману, что печатать в журнале он будет прозу и поэзию «самого высокого мастерства, чтобы журнал поднялся на три головы выше “Красной нови” и стал образцом для толстых журналов».

«По его планам, — писал Ройзман о Есенине, — в “Вольнодумце” будут участвовать не связанные ни с какими группами литераторы. Они должны свободно мыслить! <...> Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита: Иванов, Пильняк, Леонов».

Леонов, в свою очередь, цену себе быстро понял; и ощущения, что смотрел он на Есенина в годы их знакомства снизу вверх, — его нет вовсе.

Сохранились две фотографии, где Есенин и Леонов — вместе, вдвоём.

Первый снимок сделан в том же 1924 году, в редакции журнала «Прожектор», по просьбе Александра Воронского. Критик и сам понимал, кого он ставит рядом, к тому же Воронский как раз тогда писал статью о Есенине и Леонове.

Кажется, что ни с кем у Есенина из современных ему писателей и не могло быть большего сближения, чем с Леоновым.

Оба, по крови, чернозёмные простолюдины, лишённые наследственного аристократизма.

Корни у обоих деревенские, и в конечном счёте Есенин провёл в сельской местности времени немногим больше, чем Леонов. Детство оба провели в домах своих дедов по материнской линии.

Оба наделены были даром удивительным, прирождённым, глубоко русским. При этом очень важная деталь — Есенин конечно же никакой не «крестьянский сын», как сам любил говорить, а почти подобно Леонову — сын плохо закрепившегося в Москве приказчика, работавшего в купеческой лавке. И отношения с отцами у обоих были не самые внятные. Зато с дедами, напротив, куда более крепкие и терпкие. Немаловажная деталь: и дед Леон Леонович Леонов и дед Есенина по материнской линии Фёдор Титов любили церковную литературу.

Наследство оба — и Леонов, и Есенин — впитали из окружавшей их среды очень схожее: очевидное русофильство, в чём-то языческий взгляд на мир... «Язычество — это как молодость матери», — замечательно точно сказал как-то Леонов. Ранний Есенин это очень остро чувствовал и понимал. Созвучны приступы богоборчества, одолевавшие то первого, то второго, притом что у обоих присутствовало неистребимое, кровное и костное ощущение, что Бог — есть.

Они и вели себя поначалу отчасти схоже: играли в прозрачных нестеровских мальчиков, то тишайших и нежнейших, то способных спеть зазорную частушку. Только Леонов этот путь прошёл чуть быстрее, в два года: времена уже были другие, и качества ценились не те.

Наконец, и революцию два эти «попутчика» восприняли вполне себе схожим образом: «с большим крестьянским уклоном», по Есенину (интерес к «барсукам» у них был в то время обоюдный и острый), или, если угодно, по национал-большевистски, в терминологии Николая Устрялова или Михаила Агурского, первых русских идеологов этого течения. Только Есенин, пожалуй, в революцию даже был поначалу влюблён; чего о Леонове сказать нельзя никак.

На той, первой фотографии писателя и поэта они замечательно похожи: смотрятся как два брата, один — золотой, второй — чёрный, и даже не очень заметно, что Леонов моложе. Есенин присел на край стола, галстук поверх пиджака случайно выпростался, в руке папироска. Леонов рядом стоит, в блузе, и тоже в галстучке. Оба — чубатые, красивые, лица по-хорошему круглые, никаких декадентских впалых щёк, «деревенские ребята», на сметане вскормленные. И Есенин смотрит на Леонова внимательно. А Леонов — прямо, мимо Есенина.

Очень правильная фотография, повторимся. Не смотрел он на Есенина подобострастно.

Фотографию ту проявили сразу же, пока Есенин и Леонов сидели в «Прожекторе» и общались с коллективом. Обоим снимок понравился, и никто не захотел с ним расставаться. Спорили-спорили, в итоге фотографию разрезали: Есенин забрал своё изображение, а Леонов — своё.

И ещё один снимок есть; судя по всему, он сделан тогда же, хотя его часто датируют мартом 1925 года. Они на диване сидят, но лица уже другие: Есенин вроде как даже поддатый чуть-чуть, а Леонов — трезвый, хотя в те годы ещё выпивал порой, позволял себе. У Есенина выражение лица такое, словно он Леонову что-то говорит, а тот слушает, но отвечать не торопится.

Существует свидетельство об одной из встреч поэта и писателя. Рассказывал эту историю уже упоминавшийся нами поэт и художник Павел Радимов. Встреча случилась в квартире давней и преданной есенинской знакомой Галины Бениславской: на улице Станкевича, за Моссоветом. Время действия — начало 1925 года, зима.

В квартире собралось множество народу: Всеволод Иванов, критик Зелинский, поэты Кириллов, Орешин, Казин, сам Радимов; и Леонов пришёл.

Все выпивают, хлеба на столе нет, но нажарена сковородка картошки с печёнкой. Настроение у собравшихся, видимо, не самое лучшее: Есенин всё время на взводе, ежесекундно ожидается скандал. Леонов решает разрядить обстановку: берёт гитару в руки и поёт. Поёт красиво, играет замечательно, все довольны. Даже Есенин подходит к Леонову, вроде как растро-

ганный и хочет обнять — Леонов кладёт гитару на диван, Есенин легко подхватывает его, прижимает к себе и вдруг неожиданно отталкивает. Леонов не удерживается на ногах, садится на диван и гитару ломает.

Дурацкую ситуацию свели к шутке: возможно, Есенин и не собирался обижать недавнего своего знакомого. В любом случае, они не поругались.

Тем более к 1925 году у Леонова возник свой интерес к Есенину: ему нужна была живая плоть и кровь для «Вора», который он замыслил. Именно взгальная есенинская судьба послужила разгоном для создания главного героя романа — Дмитрия Векшина.

Для начала Векшина оденут в есенинскую шубу, а потом ещё Леонов пририсует Мите есенинские бачки.

При появлении Векшина на страницах «Вора» Есенин угадывается несомненно и даже как-то болезненно. Для начала скажем, что первый выход его происходит в кабаке. Векшин — «...молодой и в чём-то даже подкупающе скромный, если бы не эта неуместная для ночного кабака енотовая шуба и такая же дорогая шляпа, — на них ещё сверкали мельчайшие бриллиантики измороси. Крохотными вызывающими бачками на щеках, не менее, чем шубой, дразнил он... <...> а по высокому лбу, ранняя, похожая на шрам, бежала морщина».

Прямым прототипом поэта Векшина никак не назовёшь, но первый рисунок понятно с чьей натуры сделан.

Впрочем, здесь стоит на минуту остановиться и сказать несколько слов о леоновском методе создания персонажей.

Как правило, Леонов сначала рисовал некую сложносочинённую схему и потом уже под эту схему подбирал состовляющие. Векшин к моменту знакомства с Есениным у него уже был в голове, а тут вдруг такая удача: у него и бачки выросли, именно такие, какие надо, и шуба образовалась енотовая. И пресловутая есенинская скромность пригодилась, и разрез морщины. То есть в конечном итоге Леонов не Векшина с Есенина делал, а Есенин на Векшина поработал, сам того не зная.

И с выдуманным Векшиным, и с реальным Есениным у Леонова отношения сложатся на всю жизнь. Судьбу первого Леонов будет переписывать трижды и, в конце концов, Митю безжалостно и мстительно убьёт; ко второму станет возвращаться в своих трудных, неоднозначных размышлениях.

Описав своих «барсуков» (Леонов в одноимённом романе, Есенин — в «Стране негодяев»), они оба, и вновь синхронно, заинтересуются московским «дном».

Есенин после «Москвы кабацкой» заходил на очередной, ниже кабацкого, круг ада — в поисках последних озарений и

последней нежности. А ещё ему нужны были читатели с судьбой страшной, как освежёванный труп. Только такие, казалось Есенину, и могут его услышать по-настоящему, только таким и стоит читать стихи вслух.

«Когда “Вор” только начинался, — рассказывал о том же времени Леонов, — я нашёл одного парнишку, который был связан с бандой “ткачей”, что орудовала под Харьковом. Он, что называется, “завязал” и стал агентом уголовного розыска. С ним я побывал в некоторых злачных местах. Но по ходу дела хотелось вглядеться во всё подобное попристальнее, лицом к лицу. Здесь-то и потребовался Вергилий этих мест, более, так сказать, знакомый с обстановкой».

В этой точке совпали совместные интересы Есенина и Леонова. Последнему важно было воочию увидеть, как Векшин смотрится на самом дне. Леонов, можно сказать, работал на живца, и ничего циничного в этом нет: раз Есенин сам отправляется в ночлежку, чего ж не пойти с ним вместе.

В Ермаковском ночлежном доме, располагавшемся у Лондонского переулка, Есенин уже бывал. В августе 1925-го заглядывал туда с молодым поэтом Василием Казиным. Пока Есенин читал стихи, у одной женщины кошелёк украли — так заслушалась. В другой раз Есенин стал свидетелем, как одна из его слушательниц разрыдалась. Поэт был и растроган, и ошарашен, и польщён, а женщина оказалась глухой.

В любом случае, многие обитатели ночлежек Есенина уже знали и относились к нему уважительно.

С Леоновым они оказались там поздней осенью 1925-го. Сопровождала литераторов Анна Берзинь.

«Туда местная шпана объявлялась на ночь спать, — рассказывал потом Леонов. — Идти надо было часам к 10 вечера; в такую пору весь их “свет” предполагался в сборе. Посреди ночлежки стоял громадный стол на низких ножках, такой, как у портных, на котором тачают пиджаки. Запомнилось — был какой-то неправильной формы. Зашли. Сели. Окружающая публика, как по приказу, придвинулась к нам плотным кольцом. Всё больше молодёжь — с быстрыми глазами, движениями, с острой переглядкой. Посматривали на нас, будто что-то выщупывали. А затем принялись за нас на соответствующем их представлениям о вежливости лексиконе. Анна Берзинь тут же решительно отреагировала на жаргон: “Перестать! Вам приятно будет, если мы о вас на французском заговорим?”».

Обитатели ночлежки Берзинь не послушались, обстановка накалялась, все уже были на нервах, но тут кто-то, наконец, узнал Есенина, и вокруг поэта уважительно засуетились. Начался разговор: не очень внятный, путающийся и сбивающийся поминутно.

Есенин вскоре вышел куда-то. Леонов отправился вослед за своим товарищем. Нашёл его в соседнем отделении ночлежки.

«Там кругом нары стояли, грубые, двухэтажные, — вспоминал Леонов. — И на них, наверху, царили “мегеры” из тех, что прошли, как говорится, весь тлен земной “наскрозь”. И им, седым и заброшенным, Есенин читал стихи “Москвы кабацкой”. Был он какой-то неуместный в небрежно-щёгольской своей одежде посреди этого гноища жизни. Но тёмные души вокруг по-своему чувствовали только одно: что он делает своё последнее в жизни пике в землю. Слушали его... Плакали...»

* * *

...Дальше события развиваются стремительно.

Леонов и Есенин несколько раз мельком встречаются. Сохранилась записка Есенина, адресованная писателю Ивану Касаткину: «Если ты свободен сегодня, то заходи вечером. Посидим, побалакаем. Будет Леонов. Приходи с женой. Соня оч. просит». Соня — это последняя жена Есенина, внучка Льва Толстого, Софья Андреевна, которую поэт «увёл» у Пильняка.

Творческая жизнь Леонова в ту пору складывается замечательно: в ноябре 1925-го он по просьбе Станиславского переделал неопубликованный «Унтиловск» в пьесу. Станиславский очарован Леоновым и в сочинение его, как вспоминают современники, «влюблён», хотя и заставлял перерабатывать «Унтиловск».

— В Леонове что-то есть такое... леоновское! — произносит тогда именитый режиссёр запомнившуюся многим колоритную фразу.

Позже для постановки «Унтиловска» был приглашён режиссёр Василий Сахновский. В пьесе задействовали театральных звёзд первой величины: Москвина, Добронравова, Ливанова. На начальном этапе репетиций одну из главных ролей играл друг Есенина — Василий Качалов, тот самый, чьей собаке посвящено гениальное «Дай, Джим, на счастье лапу мне...».

В декабре Леонов начинает перерабатывать в пьесу своих «Барсуков» — для театра имени Вахтангова. В том же месяце он устраивается на работу в литературно-художественный совет Госкино.

У Есенина, напротив, дела безрадостны: 26 ноября он ложится на лечение в психиатрическую клинику 1-го Московского государственного университета, 21 декабря сбегает из неё и спешно собирается в Ленинград.

Леонов случайно встречается с Есениным за пять дней до смерти поэта. Это снова было на квартире Галины Бенислав-

ской, и в этой истории вновь фигурирует несчастная гитара. Есть основания предполагать, что две эти истории, рассказанные несколькими мемуаристами и крайне скупо самим Леоновым, являются на самом деле одной, за давностью лет распавшейся в сознании современников.

Итак, Леонова ждали, ему открыла Бениславская.

Сам Леонов рассказывал, что в момент его прихода Есенин был вдвоём с писателем Иваном Вольновым в комнате. Было слышно, как Есенин рыдает и клянёт жизнь, жалуясь Вольнову.

Заслышав голос Леонова, Есенин вышел из комнаты, внутренне расхристанный, взбудораженный, с мокрым лицом.

— Как он себя чувствует? — спросил Леонов у Бениславской в то мгновение, когда Есенин выходил.

— А вы, а вы как меня чувствуете?! — закричал Есенин.

В руке его был гриф разломанной гитары, и, размахивая им как кнутом — струны со свистом носились перед лицами стоявших в коридоре, — Есенин начал стегать пространство вокруг себя.

По другой версии, они были с Леоновым в комнате вдвоём, и там Есенин вдрызг разбил гитару об пол, а потом размахивал остатками грифа, выкрикивая исступлённо:

— Ничего ты, Лёня, не знаешь!

Что это было? Безадресная истерика стоящего на грани, измученного, исстрадавшегося поэта? Или это напрямую касалось Леонова: Есенин, видя пред собой человека родственного, схожего, близкого во многом, вдруг болезненно остро понял, что тому ещё жить и жить, и цвести, а ему — уже нет?

...Леонов никогда не сомневался в самоубийстве Есенина. У него были для этого основания: он его видел.

Малоизвестный факт: на следующий день после самоубийства Есенина вместе с писателем Владимиром Лидиным Леонов отправляется к члену политбюро ВКП(б) Троцкому. Писатели просят Льва Давыдовича выступить на похоронах Есенина. Троцкий отказал, но вежливо — и даже сам проводил гостей на улицу.

В 1927 году Троцкого сняли со всех постов, в 1929-м отправили в ссылку, и Леонов, естественно, о том своём визите напрочь «забыл».

Следующая встреча Леонова с Есениным состоялась уже во время прощания. Гроб с телом Есенина стоял в Доме печати, у гроба оказались втроём Леонов, Всеволод Иванов и Сергей Буданцев, известный в те времена литератор.

«Спрашивали друг у друга глазами: “Кто это?”», — рассказывал Леонов. Есенин был неузнаваем.

Буданцев наклонился к Леонову и спросил: «Кто следующий?» — неожиданно кивнув на Иванова.

Леонов такую страшную шутку не поддержал, смолчал.

Первым, впрочем, оказался сам Буданцев: в апреле 1938 года он был арестован и спустя два года умер на Колыме. Иванов пережил и 1937-й, и Отечественную войну. А Леонов пережил всех.

В 1985 году, спустя 60 лет после смерти Есенина, он вспомнит в разговоре, как в те зимние дни они втроём разглядывали посмертную фотографию поэта, только вынутого из петли: «Лицо красивое, удивлённое, с трагическими бровями. Каждый понимал, что на это нельзя смотреть, но невозможно было отвести глаз от этого страшного откровения».

«Всё это припомнилось мне позднее, при вести о гибели Павла Васильева, — продолжит Леонов. — Он также был поэтом непростой русской судьбы, также безоглядно шёл навстречу гибели, правда, уже на "огонёк" тогдашнего российского "аутодафе". И позже, такое же впечатление, как от есенинской фотографии, я вынес от посмертного снимка Зои Космодемьянской, напечатанного в "Правде". С тех пор они как-то связаны у меня внутри, как будто вместе брошены на разъезженный снег газетной полосы...»

О Есенине в феврале 1926 года Леонов опубликует в журнале «30 дней» статью «Умер поэт». Статья, признаться, в некоторых местах несколько патетичная, недаром Леонов больше никогда её не публиковал:

«У нас любят писать некрологи, пишут их всласть, умело и смачно, с видом нравственного превосходства, не щадя чернильных сил своих. О мёртвых можно... А Сергей Есенин мёртв: он уже больше не придёт и не пошумит, Есенин...

Страшно больно писать даже вот эти короткие строки о нежданной гибели твоей, Серёжа. Милый... что можно сказать о милом, только что умершем?

Так живы ещё в памяти последние встречи!»

И далее: «...глубоко верю, что много ещё мог сделать... ещё не иссякли его творческие соки... как по весне проступает светлый и сладкий сок на берёзовом надрезе...»

Всё он знал, Леонов, и не верил ни в какие «творческие соки». Но что ещё он мог написать в журнале «30 дней»? Как за пять дней до смерти увидел самоубийцу, размахивающего собственными оборванными жилами на гитарном грифе?

Рассказывать о Есенине Леонов не любил, хотя спрашивали о поэте часто.

Однажды, уже будучи стариком, Леонов огрызнулся на очередную просьбу: «О Есенине? Может, вам ещё о любовницах рассказать?»

Гитару он ему всё-таки не простил...

«Вор»: две редакции

«Вор» был завершён 18 октября 1926 года и с января по май 1927-го публиковался в «Красной нови».

Роман прозвучал; удачно найденная Леоновым интонация оказалась заразительной для очень многих литераторов, от тандема Ильф — Петров до упомянутого Булгакова.

Вот, к примеру, начала двух известных книг. Сначала «Вор»:

«Гражданин в клетчатом демисезоне сошёл с опустелого трамвая, закурил папиросу и неторопливо огляделся поверх крупных очков, куда занесли его четырнадцатый номер и беспокойная его профессия. Но и зоркий полицейский глаз не усмотрел бы в том подозрительной бездельности: круглые очки придавали ему вид неоспоримой учёности, а, совокупно с пальто, вдобавок и заграничный вид, и, может быть, даже вид чрезвычайный. <...>

А на боковой пустоватой улочке увидел путешествующий в демисезоне полупочтенного гражданина в парусиновом картузе и зелёных обмотках. Сидя на ступеньках съестной лавки, он с сонливым удивлением взирал на это клетчатое событие. <...>

— Проветриться вышли? — спросил демисезон, пряча умные глаза за безличным блеском очков и присаживаясь. — Наблюдаете течение времени, отдыхая от тяжких трудов?..

— Водку обещали привезть, дожидаю, — сипло и не словоохотливо ответствовал тот».

И второй роман, начатый, между прочим, спустя два года после журнальной публикации «Вора» и спустя год после выхода романа Леонова отдельной книгой:

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нёс в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в чёрной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жёваных белых брюках и в чёрных тапочках. <...>

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пёстро раскрашенной будочке с надписью “Пиво и воды”.

— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный.

— Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.

— А что есть? — спросил Берлиоз.

— Абрикосовая, только тёплая, — сказала женщина.

— Ну, давайте, давайте, давайте!..

<...> Абрикосовая дала обильную жёлтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нём. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: "Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился. Пожалуй, пора бросить всё к чёрту и в Кисловодск..."

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок...»

Это конечно же «Мастер и Маргарита».

Если, закрыв глаза, вслушаться в звучание двух приведённых отрывков, можно обнаружить не только явную схожесть словесной походки, но и повторение одних и тех же деталей: Москва, первый же встречный герой — писатель в необычайно крупных очках, и клетчатые одежды эти, и желание что-нибудь выпить, и разговор на скамеечке, и какая-то общая замороченность пространства. И у Булгакова, как все помнят, вот-вот появится в романе ещё один герой, похожий на иностранца; а у Леонова — уже появился. И у Булгакова роман начинается с вид́ения, обернувшегося, впрочем, явью, — но и у Леонова спустя две страницы герою тоже предстаёт вид́ение — и тоже вскорости обернётся явью самой неприглядной.

И у Булгакова в десятой строке замечено, что «следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека».

И у Леонова, в той же десятой строке, сказано: «Москва тишала тут, смиренно загибаясь у двух линялых столбов Семёновской заставы».

То есть оба автора словно бы заглушают все звуки большого города, чтобы в создавшемся звуковом вакууме вступили в мир их герои.

И трамвай конечно же. Неслучайный трамвай сначала прозвенел у Леонова и сделал следующую остановку в первой же главе «Мастера и Маргариты».

Едва ли Булгаков сам всё это заметил; но сегодня оба романа стоит прочесть одновременно или один за другим. И юмором своим, и стилистикой, и общей атмосферой книги Леонова и Булгакова часто схожи настолько, что хоть абзацы переставляй: хотя, безусловно, леоновский язык и плотнее, и вязче, а булгаковский — легче, стремительнее.

Стоит добавить, что книга «Мастер и Маргарита» была окончена в 1940-м, и в том же году Леонов начал писать давно задуманный роман, где в сталинской Москве, так же как и у Булгакова, действует дьявол. Но в данном случае писатели были независимы друг от друга.

* * *

С романом «Вор» связан странный, малообъяснимый миф: будто создав его в 1926 году, Леонов заново переписал на потребу советской власти книгу в 1959-м, чем безвозвратно испортил хороший текст.

Предлагалось даже публиковать оба варианта под одной обложкой, дабы доказать, что творила эпоха с талантливыми людьми, как гнула и ломала их.

Миф этот крайне устойчивый, озвучивали его самые разные люди; достаточно назвать одно имя — Александр Солженицын.

В опубликованной «Новым миром» в 1993 году статье о Леонове Солженицын пишет, что к 1950-м годам роман «Вор» «...изрядно забылся, и, видимо, автор захотел дать ему новую жизнь, но уже приемлемую в советском русле. (Этой редакции я вовсе не смотрел.) Судя по году, выскажу догадку, что уступки могли быть значительны и досадны для автора».

А вот не судили бы по году, Александр Исаевич, судили бы по тексту.

В словах Солженицына можно почувствовать потайную авторскую уверенность в том, что в 1959 году никто б не решился писать безоглядно и как душа велит...

В послесталинские годы, в 1968 году, «Вор» был издан в США — так и американцы взяли для перевода первый вариант романа, будучи истово уверены, что тот, 1920-х годов вариант более радикален.

Но всё ровным счётом наоборот.

После первого отдельного издания в 1928-м «Вор» вышел в том же году в третьем томе собрания сочинений Леонова. За-

тем его переиздавали в 1932, 1934 и 1936 годах; а после «Вор» попал под негласный запрет, его изъяли из библиотек, почти четверть века не издавали и упоминали крайне редко. Поэтому и «подзабыли» к пятидесятым, как подметил Солженицын. Но к тому времени и Платонова «подзабыли», и Булгакова.

Леонов переписал роман в 1957—1959 годах, предельно акцентировав все самые сложные моменты в книге. В том же 1959-м вышла новая редакция «Вора». Потом Леонов ещё три раза вскользь прошёлся по тексту — в 1982-м, в 1990-м, в 1993-м.

Отличаются, впрочем, два варианта романа не глубинным смещением сюжетных пластов, но как раз детальной проработкой наиболее сложных и труднодоступных тем.

Мы приведём всего лишь несколько примеров отличий двух вариантов романа.

Вот в первой главе приезжает в Москву из деревни один из главных героев повествования — Николка Заварихин. Едет он с небольшим капитальцем и с желанием покорить столицу. На вокзале он встречается с одной из главных героинь книги — Манькой Вьюгой, которая обворовывает его, и исчезает, и вместе с тем очаровывает обворованного надолго.

«Менялось Николкино чувство по мере его роста, — пишет Леонов в первом варианте романа о влюблённости Николки. — Сперва, в молодости, думал о ней с неутолённой яростью и жаждал настигнуть. Когда же вырос и прадедовскую бороду обстриг, навсегда уйдя из деревни, когда пенькой и льном даже и за границей прославил свой безвестный мужицкий род, вспоминал видение младости с тихой грустью. Уже не накатывала горячая, оплодотворящая туманность; отускневшая от опыта и знания, душа давно растратила жар свой по пустякам. Тогда закрывал глаза и вытягивался в кресле, глава фирмы и хозяин льна, и сидел в неподвижности трупа, бережно блюдя час горького своего молчания».

И вот какое будущее Николке рисует Леонов во втором варианте:

«История иначе вмешалась в Николкину судьбу и, свалив его в самом начале пути, в различных положениях повлекла его тело по своему порожистому руслу. Но и тогда, из всего отускневшего к старости опыта жизни, пожалуй, единственное такое по силе своей сохранилось в нём виденье младости... После тяжкого лагерного дня накатывала на него иногда как бы знойная, всезавихряющая туманность. Тогда, закрывая глаза, и вытягивался под потолком на нарах несостоявшийся глава фирмы и хозяин российского льна, и подолгу лежал в неподвижности трупа старый Заварихин Николай Павлович».

Мы, наверное, даже не станем комментировать эти фрагменты. Другой пример возьмём.

Напомним, что в романе есть удачно найденное действующее лицо — писатель Фирсов, который, как и Леонов, сочиняет книгу о тех же самых событиях, что происходят в «Воре»: и герои у него те же самые, и коллизии. Только, в отличие от Леонова, Фирсов лично общается с персонажами.

Эта сложная конструкция «романа в романе» поразила в своё время и Горького, и многих европейских литераторов, ознакомившихся с книгой Леонова в многочисленных переводах.

Однажды заходит Фирсов в гости к одному из героев — Манюкину, из «бывших», напрашивается у него посидеть, а Манюкин вяло отказывается.

В первом варианте романа попытка отказа сформулирована так:

«— Сожитель у меня... — еле слышно сдавался Манюкин. — Этакий, знаете, обозлённый плеватель на мир. Очень, знаете, мышцы плеветальныя у него развиты! — и барин выжидательно посмеялся, но Фирсов неделикатно промолчал, упорствуя в своём. — Они и не плохой человечек, а, как бы это сказать... с подлецой человечек».

В новом варианте незваный гость Фирсов всё-таки вступает в диалог с Манюкиным и спрашивает о соседе:

«— А что, больной нервный или, скажем, из блюстителей?»

«— Куда там... — отмахнулся Манюкин, — просто выдающийся нашего времени негодяй. Управдом, но числит себя в борцах за всемирную справедливость и страсть любит, чтобы его называли другом человечества... между прочим, если т а к о й анекдотец услышит, то в уборную ходит смеяться... воду спускает при этом, чтоб никто не слыхал, не застал его на запретном, на человеческом».

(Надо сказать, что управдом этот, Пётр Горбидонович Чикилёв, несколько рифмуется со Швондером из «Собачьего сердца». Но и тут о заимствовании речи нет. Писались эти книги почти одновременно, однако повесть Булгакова вышла в свет много лет спустя, ей повезло гораздо меньше «Вора».)

Примеров, подобных приведённым выше, в романе десятки, на каждой странице; и всякий любопытствующий может сравнить обе редакции.

В «Воре» 1959 года буквально нагнетается атмосфера осклизлой мерзости наступившего времени со всеми его пакостными приметами от неустанного доносительства до нового социального расслоения и разделения совграждан на «чистых» и «нечистых». Так, подруга одного из персонажей оказывается из «подшибленного сословия» — подобно, кстати, жене Лео-

нова, изгнанной в год, когда писался «Вор», со второго курса университета: за «буржуйское происхождение».

Но знакомство и с первой редакцией «Вора» тоже может озадачить: в советские времена подобную книгу публиковать бы вроде и не должны были.

Центральная фигура романа Митя Векшин — бывший красный офицер, разочаровавшийся в революции и ушедший в «медвежатники». Он и есть тот самый вор, закавыченный в заглавии книги.

Ещё в пору своего комиссарства Векшин был человеком с жестокой придурью. Однажды в бою белый офицер убил комиссарского коня. За то обозлившийся Векшин после боя отрубил пленному офицерику, совсем ещё мальчику, руку. Причём ни в первом варианте романа, ни во втором комиссара Векшина за содеянное безобразие не отдали под трибунал и даже вскорости представили к награде.

Москва постреволюционная описана Леоновым как скопище мрачных личностей: всевозможного жулья, полунищих циркачей, ночных певичек; ну и про управдома Чикилёва не забудем: он является своеобразным коммунальным олицетворением нового советского человека.

Александр Солженицын сетует в своей статье, что Леонову, по-видимому, настолько сильно досталось от критики за показанное в «Воре», что он в поздних редакциях выбросил из текста довольно-таки невинные фрагменты:

«Например:

— одно высокое лицо сказало: писать непременно полезное в общем смысле;

— жизнь приходит в стройный порядок: пропойца пьёт, поп молится, нищий просит, жена дипломата чистит ногти;

— за человеком следить надо, человека нельзя без присмотра оставлять. В будущем государстве каждый может прийти ко всякому и наблюдать его жизнь. Тогда все поневоле честными будут».

Фрагменты действительно невинные, хотя справедливости ради заметим, что вторая из приведённых цитат в романе в чуть изменённом виде присутствует: «Уже теперь всё устанавливается по будничному ранжиру, — посбавил Фирсов голосу, глядясь в чёрную густоту вина. — Пошатнувшаяся было жизнь возвращается в положенный для цивилизации порядок: чиновник скребёт пером, водопроводчик свинчивает и развинчивает, жена дипломата чистит ногти...»

Но главный смысл романа вовсе не в этих частностях, а в том, как последовательно и упрямо Леонов уничтожил бывшего красного комиссара Митьку Векшина.

В первой редакции романа он ещё оставляет опустившемуся Митьке надежду на «переплавку» и возвращение человеческого облика. На последней странице «Вора», рассмотрев героев во всей душевной наготе, Леонов скорописью, в соответствии с духом времени, пишет: «Остальное — как Митька попал к лесорубам и был бит сперва, а потом обласкан; как работал в их артели и пьянел от еды, заработанной тяжким трудом шпалотёса; как огрубел, поступил на завод, учился (великая пора учёбы наступала в стране); как приобрёл своё утерянное имя — всё это остаётся за пределами сего повествования».

Финал кажется несколько вымученным — несмотря на то, что правда жизни была и в нём, и нелепо отрицать и «великую пору учёбы», и небывалые — в том числе и положительные — трансформации, что происходили с человеком в те времена.

Беда лишь в том, что подобный финал изначальной леоновской задаче никак не отвечал. В конце концов писатель разбирался с человеком вообще, а не с советским человеком — тут разница принципиальная.

И вот в поздних редакциях то тут, то там появляются в отношении к Митьке знаковые ремарки.

Векшин всё больше теряет первоначальное своё обаяние, человеческую красоту и достоинство. Леонов безжалостно подчёркивает, что родная сестра Векшина спустя многие годы видит его «суетливым, услужливым и мелким».

Знаковый пример: в обоих вариантах романа выпровоженный отцом в люди юный Митька уходит из дома. «Нательный крест, надетый матерью, он потерял три года спустя», — замечает Леонов, глядя в спину уходящему герою в 1926 году.

В поздней редакции написано иначе, жёстче: «Нательный крест, надетый ещё покойной матерью, он самовольно снял с себя пять лет спустя».

То есть Леонов даёт подростку Митьке повзрослеть, а потом делает его жест осознанным: Векшин самочинно уходит от Бога.

Соответственно и финал романа в поздней редакции становится иным: окончание романа с перековкой героя Леонов сваливает на своего двойника. Всю эту историю с зимним станом лесорубов, приютивших Векшина, «...следует оставить на совести всеведущего сочинителя Фирсова», пишет Леонов.

По болевым точкам второй редакции видно, что Леонов готовит Векшина к иному финалу, которого ему не избежать.

В 1990 году по приглашению президиума Российской академии наук в качестве помощника с Леоновым работал серьёзный учёный, профессор Виктор Иванович Хрулёв. Ему Леонов и надиктовал новый эпилог романа, в котором конечно же нет и в помине никаких лесорубов — но, напротив, Векшин опус-

кается на самое дно, в позорную хазу, где его, ничтожного старика, едва не зарезали молодые урки.

Профессор Хрулёв взбунтовался было, пытаясь убедить Леонова, что не стоит так поступать с героем, но писателя было не переубедить.

Леонов понимал, что делал: он многие годы вёл Векшина к полному человеческому падению.

Они ругались с Хрулёвым, даже расходились в разные комнаты — и отсиживались там, успокаиваясь.

Потом Леонов объяснил профессору:

«“Вор” был задуман как постепенная расшифровка героя. Первая редакция — это начальная расшифровка. Уже во второй редакции содержалась окончательная расшифровка Векшина.

Хамское отношение с Санькой Велосипедом — своим бывшем ординарцем... с его женой, с Балуевой — он живёт за её счет и называет её хлеб “пищей, бывшей в употреблении”...

Векшин испортил жизнь Маше Доломановой; по его вине она заболела дурной болезнью... Всё это есть уже в первой редакции».

Леонов просто замкнул разомкнутый доселе круг, завершил замысел, который был ясен с самого начала.

Солженицын и Хрулёв, пожалуй, стояли на двух разных социальных позициях и именно с этих позиций оценивали «Вора».

Солженицын находил в романе уступки «советской традиции», Хрулёв — «антисоветской».

А Леонова градации «советское—антисоветское» не волновали вовсе. У него была другая забота.

И забава.

И загадка, и западня.

«К чёрту героев...»

Ещё создавая первую редакцию, Леонов догадывался, что многие советские критики воспримут роман раздражённо. В финале «Вора» сочинитель Фирсов свою книгу о тех же событиях успевает опубликовать, и за то ему ещё на страницах романа крепко попадает от литературных «плевателей».

Так и получилось в реальности: Леонова поругивали, хотя и не так остервенело, как будут ругать в 1930-е.

Доныне особенно хлёстким ударом кажется статья «Советский Чуркин» близкого к Владимиру Маяковскому поэта и публициста Петра Незнамова. Незнамовский труд был опубликован в сборнике материалов работников ЛЕФа «Литература факта».

Статья эта производит впечатление убедительной, написана она умнó и оттого, видимо, особенно остро задела Леонова.

«Что, — вопрошает Незнамов, — делает Митька в романе, после того как он порубил пленного капитана и был исключён из партии? Он совершает налёты. Но получается дико и комично. Походит-походит Митька около своей возлюбленной, поболеет о судьбах революции и опять кого-нибудь обворует».

Иногда замечания критика хоть и ехидны, но отчасти верны: «В леоновском произведении нет реальных вещей, одни условности и поэтические предметы, вроде той “испепеляющей любви”, которою любят в этом романе, или вроде ресниц Маши Доломановой — “таких длинных, что мерещился Митьке слабый холодок, когда она ими взмахивала”.

“Взмахивала!” — ну разве реально такое лицо? Это “вамп”, “женщина горных вершин”. Это не роман, а “вечер старой фильмы на М. Дмитровке”».

Критик, конечно, разошёлся не на шутку, но «взмахивающие ресницы» Леонов действительно убрал из романа во втором варианте.

«Роман написан в порядке паники — и уж тут было не до пригонки. В невыносимое позёрство Митьки не верит, вероятно, и сам Леонов. Когда он рисует Митьку на фронте, он его даёт в откровенно олеографическом, еруслано-лазаревическом облике: “Одарённый как бы десятками жизней, он водил свой полк в самые опасные места и рубился так, как будто не один, а десять Векшиных рубилось. Порой окружала его гибель, но неизменно выносил его из всякого места конь”...

Чем это не разбойник Чуркин из лубочного пастуховского романа? Причём Чуркин ведь тоже был симпатичный разбойник: он не трогал бедных...»

Этот отрывок Леонов тоже немного поправит: «Санька рассказывал, что в дивизии к Векшину относились с той особой, железною любовью, какой бывают связаны бойцы за одно и то же великое и справедливое дело. Одарённый словно десятком жизней, человек этот водил полк в самые опасные переделки и рубился — будто не один, а десять Векшиных рубились. И когда наваливалась на него белая гибель, неизменно выносил комиссара из любого огня конь, широкогрудый иноходец в яблоках. Ординарец Митькин, Санька Бабкин, впоследствии по кличке Велосипед, говорил про Сулима, что тот имел человецкую душу и ходил ровно как вода».

Однако про обидное сравнение Векшина с Чуркиным Леонов не забудет и много лет спустя. Во втором варианте романа писатель Фирсов, знакомящийся с Митькой, говорит ему:

«— Уж больно пёстрая молва идёт о Векшине: одни чуть ли не в былинные Кудеяры вас зачислили, с последующим переводом разбойника в монахи, другие же русским Рокамболем величают! А один намедни даже советским Чуркиным на людях вас обзывал...

— Кто таков? — угрожающе пошевелился Векшин.

— Да так один тут, при вдове живёт... бог с ним! — уклонился Фирсов».

Леоновская — ответная! — ирония понятна, он имел на неё право. Разве что к 1959 году критик Незнамов уже не мог жить ни при какой вдове — он погиб в 1941-м.

Но по поводу его, на наш взгляд, ошибочного восприятия творческого метода Леонида Леонова стоит сказать отдельно.

Во многих своих текстах Леонов словно бы нарочито стремится избежать и точного бытоописательства, и наглядной прототипизации, и даже того, что именуется «правдой характеров».

Фурманов ещё после «Барсуков» сетовал, что Леонов-то и не очень знает революцию — хотя кто-кто, а как раз Леонов представление о ней имел вполне наглядное, да ещё и с разных сторон. Подобный опыт мало у кого имелся.

Но Леонов осмысленно выбрал свою собственную манеру письма. Его, в конечном итоге, не очень интересовал суетный людской мир со всеми его приметами. Леонова увлекал человек или, если угодно, Человек с прописной буквы; хотя в понимании писателя он звучал вовсе не гордо.

«Нет занятия горче, чем в упор разглядывать человека», — мимоходом бросит Леонов в первом варианте «Вора».

Но именно этим Леонов и занимался, осознанно создавая в известном смысле умозрительные схемы или, как сам писатель любил говорить, соотношения многих и многих координат, меж которых человек проявлялся со всей своей сутью.

«Можно предмет воссоздать через описание его физических качеств, а можно — через вычисление пространства» — вот кредо Леонова. Куда больше реальности его интересовали «логарифмирование», «обобщённая алгебраичность», «плазматическое состояние вещества» — это всё леоновские выраженьица.

В этом смысле художественные миры Леонова самоценны, потому что выстроены согласно тем законам, которые поставил пред собой сам автор, и только он.

Отвечая в 1920-е годы на вопрос очередной литературной анкеты: «Ваш любимый герой в романе?» — Леонов ожидаемо отвечает так: «К чёрту героев, мне автор нужен».

В этом смысле работа над «Вором» — идеальный случай демонстрации авторской воли, для которой всякий герой является лишь функцией.

В завершении темы не мешало бы понять, в какой атмосфере писался этот роман и кому отвечал Леонов в интервью.

На тот момент существовали как минимум две опасности для самого понятия «автор»: с одной стороны — формалистический подход, отрицавший писателя как носителя собственной культурной, и тем более идеологической самоценности; с другой — теория факта низводила статус писателя до собирателя и монтажёра материалов, предоставляемых самой действительностью.

Ни первый, ни второй варианты Леонова радикально не устраивали.

С небом и на земле

В 1926 году в Москву ненадолго приезжает из Архангельска Максим Леонович. Леонов сделал тогда фотографию отца: его жуткие, чёрные, опустошённые глаза видны на снимке. Отцу пришлось в тюрьме разгребать братские могилы с расстрелянными — и это надломило его психику и здоровье.

Больше они не увидятся.

Ясно, на чём была замешана детская обида Леонова на отца: да, оставил Лёню, братьев его и сестру ещё детьми. Но остаётся загадкой, почему Леонов так, кажется, и не простил отца даже после совместных архангельских мытарств.

Может быть, на всю жизнь оглушённый ужасом возможного ареста и развенчания, Леонов втайне решил, что отец приносит только несчастье всем своим детям, трое из которых уже умерли? Известно ведь, что единственный оставшийся в живых брат Леонова, Борис Максимович, человек светлой и доброй души, тоже никогда не ездил в Архангельск. И он тоже не простил отцу заброшенности своей!

* * *

В том же 1926 году Леонов последний раз обращается к поэзии и создаёт маленькую поэму «Запись на бересте»: о трёх товарищах, ушедших в леса из трудного и грешного мира и перессорившихся там из-за женщины. Поэма будет опубликована в журнале «30 дней».

Одновременно в издательстве «Никитинские субботники» выходит первая книга, посвящённая Леониду Леонову. Потом их будут десятки, но началось всё со сборничка со статьями А. Воронского, Г. Горбачёва, Д. Горбова, вышедшего пятитысячным тиражом.

Это было наглядным признаком успеха молодого литератора, хотя в середине двадцатых назвать Леонова писателем, лояльным власти, было почти невозможно. В текстах его «советское» надо было выискивать и просеивать самым мелким решетом.

Главный редактор «Красной нови» Александр Воронский отдавал себе в этом отчёт, но был, как и многие, очарован неожиданным и молодым дарованием, мечтая, что славно было бы посеять на этом чернозёме иные семена.

Воронский писал тогда: «Творчество Леонова реалистично... <...> но его едва ли можно назвать попутчиком революции. Тем более он чужд коммунизму» (*Воронский А.* Литературные типы. Круг. М., 1926).

Притом что самого Воронского деятели РАППа считали буржуазным перерожденцем. Так, И. Вардин говорил в те годы: «Наш главный критик, как известно, — тов. Воронский. Но заявляю категорически, что Воронский — критик не большевистский. У него нет марксистского подхода к разбираемому произведению...»

И вот для такого, самых широких взглядов критика, как Воронский, Леонов даже не попутчик.

Схожий взгляд был и у наркома просвещения Анатолия Луначарского. «Леонов, — писал он, — несмотря на свои молодые годы, конечно, крупнейший писатель современной России. За таких людей придётся выдержать немалую борьбу. Две души живут в их груди».

Какие именно «две души», Луначарский не поясняет, но догадаться можно. Одна — приемлет революцию, вторая — явно реакционна.

Леонова ещё надо учить, уверен Луначарский, потому что это молодое дарование явно не может «быть квалифицированным как зачинатель коммунистической литературы» (*Луначарский А. В.* Тезисы о политике РКП в области литературы. 1925).

В эмиграции, напротив, ненавидя всё большевистское, многие считают Леонова почти за «своего». К тому же само существование Леонова — знак для них, что «там», за красным кордоном, ещё есть литература.

Первое критическое перо эмиграции Георгий Адамович уверенно пишет в статье «Оправдаются ли надежды?»: «Конечно, ни Бабель, ни Всев. Иванов, ни Булгаков или Федин не могли бы написать "Вора", — или подняться до художественного уровня этого романа. Среди "молодых" у Леонова сейчас соперников нет».

Забавно, что в этом сходятся и Луначарский, и Адамович.

В Советском Союзе об отношении эмигрантов к Леонову знают. «"Петушихинский пролом" не случайно был перепеча-

тан в эмигрантской прессе (“Воля России”, 1925, № 1—2)», — ставил на вид официальный критик Нусинов.

Однако очевидный талант перемалывает пока все упрёки.

Даже на роман «Вор» некоторые рапповские критики отреагировали благосклонно. Заместитель ответственного редактора журнала «На литературном посту» Владимир Ермилов, высказываясь о социальном заказе и о том, что он «правильнее всего формулируется сейчас властным, раздельным требованием: че-ло-ве-ка!..» — неожиданно вспоминает о Леонове. «Молодой и едва ли не самый глубокий писатель из попутчиков — Леонид Леонов — взял на себя задачу показать человека, — утверждает Ермилов. — Если у других писателей эта задача выступала как побочная (человек — придаток мебели у Пильняка), то для Леонова именно человек и есть главное, основное, единственно ценное...»

Отзыв, как видим, и положительный, и весьма неожиданный, учитывая отношение «напостовцев» и рапповцев к «попутчикам». Далеко не все разделили мнение Ермилова, но Леонову очевидно везло: за такие тексты, что он создавал, иному литератору голову бы с плеч сняли, а его всё ещё, хоть и через раз, хвалили.

Работал тогда Леонов фанатично. «Чувствовал, что разговариваю с небом» — так объяснит он своё состояние позже. Настолько велика была нагрузка и настолько сильна душевная зацепка за главную его пожизненную тему, что после завершения «Вора» у Леонова снова приключилась беда с руками. Если после «Барсуков» онемели кисти, то после «Вора» на несколько недель отнялись руки по локоть.

Пережив жуткое недомогание, Леонов снова принялся за писательство.

Но при этом догадывался, к т о ему отвечает и наказывает его за кромешное сомнение в человеческой породе.

«В середине двадцатых годов я раза четыре подряд заладил ездить по весне в Загорскую лавру, — запишет Леонов в дневнике спустя годы, — всё хотелось наглядеться на рублёвскую Троицу. Знаменитая святыня помещалась в маленькой, дальней, Троицкой — кажется, церкви, совсем близко от раки преп. Сергия, справа от царских дверей. В храм доступа посторонним не было, только по с л у ж е б н ы м делам. Останки Сергия, несколько тёмных костей, беспорядочно валялись на лиловом выцветшем атласе, под стеклом, как их оставили после просветительно-милицейского обследования, надо полагать».

Но, находясь в святых (и осквернённых!) местах, Леонов убеждался лишний раз в том, насколько слаб и никчёмен человек.

Однажды он особенно долго пробыл в лавре, застоялся там, задумался.

«Когда ноги порядком подзастыли, — записывал Леонов, — мы пошли вон из каменного колодца, погреться на воздухе. Водил меня по ризницам и тайникам старик Олсуфьев, тогдашний заведующий Лаврой — из прежних, судя по глазам — познавший юдоль жизни: не помню уж, кто познакомил меня с ним.

Там, снаружи, справа от алтаря, у южной, видимо, стороны мы застали сценку, — она запомнилась мне на всю жизнь. Острый запах подсказал заранее, что здесь мочились прохожие, — судя по верхним зеленоватым потёкам, иные достигали рекордной высоты. (В Загорске живут всё больше русские.) Как раз по ту сторону запоганенной стенки находилась рака Сергия. В натёкшей луже, коленями в самую талую смердь, молилась рослая, очень строгая, не иначе как мать детей, женщина как из посторонних; она вовсе не заметила нас, мы тоже понеслышней скользнули мимо, не обмолвившись ни словом».

Кажется, что пафос этих горестных замет заключается не столько в ужасе от безбожных последствий социального поворота, сколько в печали об исходе русского национального характера. Ведь это русские так делают, русские!

Как же поправлять это всё?

В 1927-м Леонов только-только начал писать «Соть», ещё не зная, каким будет роман. Скажем точнее: менее всего он собирался писать книгу советскую. Скорее, он намеревался вбить хоть одну скрепу в своё миропонимание, чтобы было за что удержаться. «Вор» такой скрепой, даже с первым отчасти лубочным и поспешным финалом, конечно, не был. Новый роман — с коллективным героем, с картинами гигантского человеческого переплава — мог убедить в первую очередь самого автора в осмысленности и человеческой истории как таковой, и русской судьбы.

* * *

Леонов обрастает новыми знакомствами, становится писателем не только обсуждаемым, но и, прямо скажем, популярным. Книги его переиздаются ежегодно и раскупаются легко. Многие коллеги на Леонова смотрят и с завистью, и с раздражением.

Двадцать первого февраля 1927 года Леонов в числе немногих гостей приглашён на юбилей «Красной нови».

Празднование пятилетия журнала было актом политическим: Воронский должен быть утвердить свои позиции. Не ска-

зать, что это у него получалось в последнее время. Фраза Иллариона Вардина, влиятельнейшего литературного политика, секретаря РАППа, редактора журнала «На литературном посту», вынесенная в заголовок его очередной журнальной статьи «Воронщину необходимо ликвидировать», в сущности, всё объясняет.

Действие происходило вечером в Доме Герцена, из партийного руководства был Карл Радек, из числа литераторов Вересаев, Гладков, Пильняк, Бабель...

Редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский писал в дневнике, что на банкете Леонов опьянел сразу, «бурно и размашисто».

Видимо, зная о своей пагубной привычке пьянеть глубоко и шумно, Леонов со временем вообще перестанет «злоупотреблять».

Тем более что взаимоотношения в литературном мире скоро достигнут накала необыкновенного, и Леонову придётся во всём этом некоторое время участвовать на первых ролях.

Глава шестая

ТЕПЛОПОЖАТИЕ: ЛЕОНОВ И ГОРЬКИЙ

Прибытие

Леонов говорил: «Горький жал руку Толстому, Толстой — Тургеневу, Тургенев — Гоголю, Гоголь — Пушкину... Так и шло в русской литературе это теплопожатие. Мне Горький жал руку, и я ценил это».

Впервые Горький пожал руку Леонову в июле 1927 года.

Леонов недавно из России, ехал через Германию и Австрию, с молодой женой, красивый, стройный, кареглазый, 28-летний.

Визы на выезд получили очень быстро, просто пришли в итальянское посольство и сказали: «У нас приглашение от Горького». В ответ им: «Хорошо, посидите». И вскоре вынесли необходимые документы.

Дорога до Сорренто, конечно, утомила.

Сначала грохочущий и гулкий Римский вокзал. Потом допотопный, медленный, ночной поезд до Неаполя, спали с женой друг у друга на коленях, по очереди. В пять утра в окне показался Везувий. Леонов «почтительно догадался» (его формулировка) об этом по облачку над горой.

Куда опаснее Везувия оказался сосед в чёрной рубашке. В Италии уже Муссолини, и чёрные рубашки в моде. Молодой фашист заинтересовался, куда едет Леонов.

— В Сицилию? — почему-то настаивал он.

— В Неаполь, — отвечал Леонов, пытаясь на доступном ему французском объяснить, зачем вообще он оказался в Италии.

Выяснилось, что в Сицилии находился лагерь интернированных антифашистов, и чернорубашечник был уверен, что чете Леоновых надо именно туда. Даже вызвал полицейского.

Разобравшись в ситуации, офицер полиции на всякий случай проводил Леоновых от Неаполя до Кастелламаре: а то вдруг большевистской пропагандой займутся гости. Но при этом тащил на себе вещи Леоновых — такая вот трогательная полиция.

Из Кастелламаре на неспешном трамвайчике до Сорренто. И дальше, мимо маслин, агав и виноградников, пешком — минут пятнадцать ходьбы.

Несносная жара и белая пыль. Пыль напомнила Леонову Гражданскую войну, 1920 год, дорогу из Тяганки в Берислав. Он к тому же был в плотном шерстяном костюме, а поверх него добротный макинтош на подкладке. Всё это можно было конечно же снять, но положить некуда — в чемодан не умещалось. Пришлось нести на себе, изнемогая. (В чемодане, надо сказать, лежал клетчатый демисезон — тот самый, из романа «Вор». Леонов его купил в подражание Фирсову, своему двойнику; так вот герои действуют на их создателей.)

После грохота Римского вокзала, поезда до Неаполя, грохота трамвая, полное безмолвие отеля «Минерва», где поселилась чета Леоновых, было поразительно.

Потом догадались, что близкое море глушит почти все звуки, кроме недалёкого ослиного крика.

А поначалу подумали, что они тут единственные постояльцы. От удивления разговаривали шёпотом. Постояльцев действительно не было. Только Валентин Катаев с женой: все они приехали вместе.

Отель стоял ворота в ворота — через дорогу — с виллой Горького. В «Минерве» постоянно останавливались его гости.

Первым делом Леонов кинулся умываться, мыть свои замечательные волосы: все фото тех лет запечатлели его густой чуб.

Стоит над тазом с водой, мылит голову, и тут голос:

— Посмотрим, что такое за Леонов. Давайте знакомиться.

Высокий, чуть сутулый, рыжеватые усы, две внятные морщины у бровей, неизменная слеза в глазу — это Горький. В рубашке, которая ещё будет упомянута. На ногах мягкие туфли.

Наверное, Леонов спешно вытер руку о полотенце — подал Горькому. По лицу — с чёрных вьющихся волос текут капли.

У Леонова крепкая ладонь мастера, чуть, от воды, влажная. У Горького цепкие сухие пальцы. Вот вам теплопожатие... Донесли от Пушкина.

* * *

Мы сказали: был Катаев. Остановимся здесь на минуту.

Хотя они приехали вместе, близки Леонов с Катаевым не были. Ни в 1927-м, ни позже.

Быть может, поначалу их ничего не сближало как писателей.

В 1927 году Катаев ещё не стал автором великолепных своих «мовистических» повестей, навеки поместивших его в пантеон русской литературы. Пока он автор нашумевших в 1926-м «Растратчиков» и юмористического романа «Остров Эрендорф». Леонову такая проза кажется чуждой.

И всё-таки: два больших писателя. Катаев, как и Леонов, почти ровесник века, — он прожил без малого 90 лет, родившись в 1897-м. Пересекались сотни раз. Ещё до Сорренто виделись в редакции «Красной нови». Встречались в 1925-м на квартире у писателя Всеволода Иванова, с которым оба были дружны: там часто собирались Бабель, Пильняк, Мариенгоф с женой, актрисой Никритиной, Буданцев; заходил, нежданный, подурневший Есенин.

Потом была эта совместная поездка за границу, и так далее: встречались позже у Горького; часто сидели вместе в президиумах писательских съездов. Есть даже совместная фотография Леонида Леонова с Всеволодом Вишневским, Борисом Горбатовым и Валентином Катаевым в президиуме на собрании писателей в Доме учёных в 1946-м.

Но вообще они, как правило, делали вид, что друг друга не замечают.

Леонов, к примеру, ни слова не сказал про Катаева, уже когда набрасывал несколько заметок о Горьком в том же 1927 году.

Что-то сразу у них не заладилось.

А потом выливалось в какие-то нелепые, а то и подлые истории.

К примеру, в 1938-м Леонов пережил один из моментов наивысшего своего успеха. В один день, 6 мая, состоялись премьеры его пьес сразу в двух театрах: во МХАТе — «Половчанские сады», в Малом театре — «Волк». Такое случается крайне редко: Леонов знал только один подобный пример — с Оскаром Уайльдом. Но вскоре после премьер появляется разгромная, унизительная статья Катаева.

Другой случай. В марте 1962 года Корней Чуковский записал в дневнике, что Катаев встретил его сына Колю «и сказал ему, будто найдено письмо Леонида Леонова к Сталину, где Леонов, хлопоча о своей пьесе “Нашествие”, заявляет, что он чистокровный русский, между тем как у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан...».

Вообще, это всё в духе склонного к нехорошим мистификациям Катаева (он, кстати, по крови русский). Во-первых, письма такого просто нет. Во-вторых, история, выдуманная Катаевым, нелепа не только потому, что Леонов был крайне щепетилен в национальных вопросах, но и по той причине, что судьба «Нашествия» и так сложилась крайне удачно. (Кстати, подобное письмо — о «южанах» — существовало, но написали его Фадеев, Сурков и Симонов в 1949-м, а затем, второе, в 1953-м.)

«Этот тип выжал из знакомства с Горьким всё возможное», — мимоходом брезгливо бросит Леонов о Катаеве много лет спустя.

Как начиналось

Впервые имя Леонова Горький услышал, вернее прочёл, в письме писателя Вениамина Каверина в 1923 году. Каверин тогда поставил Леонова в странный ряд — Лунц, Антокольский — и сказал, что эти люди станут «почвой» для новой литературы.

В июле 1924 года Горький в письме Константину Федину спрашивает о Леонове: «Кто такой?»

«Я не знаю его, — отвечает Федин, — Всеволод (Иванов. — *З. П.*) говорил, что он — славный парень. Вышло три его книжки — “Петушихинский пролом”, “Туатамур” и “Деревянная королева”. Первая сказ. Вторая повесть о Чингис-хане, сделана очень хорошо: рассказ о России, какой её нашёл азиатский победитель, — его словами, сквозь его глаза. Третья — в духе Гофмана, но слабо. Знаю ещё о Леонове, что он — зять Сабашникова и что — поэтому — все его книжечки роскошно изданы».

В 1924-м у Горького отношение к Леонову двойственное. То, что он к тому времени прочёл у Леонова, слишком напоминало Замятина (в котором Горький уже разочаровался) и Достоевского (с которым Горький всю жизнь внутренне спорил).

«Леонова я читал две вещи, — пишет он Федину в том же июле, — Ковякина и “Конец лишнего человека”».

На самом деле повесть называется «Конец мелкого человека», — но оговорочка Горького важная: так сказать, в память о русской литературе XIX века, которая извелась по «лишним людям». Другой вопрос, что для Леонова нет никаких «лишних» людей, по крайней мере, в классическом русском понимании, — его куда больше занимает «лишнее» человечество; но Горький пока об этом не догадывается.

«Ковякин — это всё ещё “Уездное”, — пишет Горький дальше. — “Конец” — это очень Достоевский». И тем не менее добавляет: «Написал, чтоб мне прислали его книги».

Чутьё на дар у Горького было отменное. И в случае с Леоновым он тоже знал, что здесь надо копать ещё.

«Обратите внимание — это талант», — рекомендует Горький Леонова литератору Далмату Лутохину уже в августе 1924-го.

В ноябре 1924-го Горький посылает Леонову первое письмо, предлагая сотрудничество в журнале «Беседа» и желая «свободного роста» его таланту.

Леонов отвечает наивно, юношески:

«...получил письмо ваше и немедля сажусь отвечать...»;

«...благодарю за добрые пожелания ваши: грешен человек, люблю хорошие вещи слышать, а тем более от вас...»;

«...ужасно трудно говорить об этом, и слова выходят какие-то неловкие...»;

«...искреннее и большое желание поскорее увидеть вас в России, в Москве. Это всё так, конечно, но только вряд ли московский климат заменит вам Сорренто: вчера выпал снег, дни стали острые, вся Москва хрипит...»;

«...ещё раз благодарю вас за письмо ваше, а самому вам от всего сердца желаю много-много здоровья...»

И всё это, запинающееся и неловкое, пишет великолепный прозаик, которого ценители всерьёз и не без оснований уже именуют великим.

В финале письма своего, уже расписавшись («...Весь ваш Леонид...»), Леонов неожиданно дописывает: «Очень охотно буду отвечать на письма ваши». Мол, пишите, Алексей Максимович.

Но Горький к тому времени был умудрённым человеком, с колоссальным опытом переписки, посему некоторую трогательную неловкость обескураженных его вниманием авторов легко прощал.

Быстро перечитав почти всё опубликованное Леоновым, Горький меняет к нему отношение на противоположное. Никаких «всё ещё Замятин» и «очень Достоевский». Полный, не без горьковской слезы, восторг от самобытности.

Рассказы? Прекрасные! «Юноша оригинального таланта и серьёзных тем», — говорит Горький о Леонове в одной из своих статей в том же 1924 году.

В начале 1925 года, прочитав «Барсуков», Горький пишет Леонову письмо: «Сердечно благодарю Вас за “Барсуков”. Это очень хорошая книга. Она глубоко волнует. Ни на одной из 300 её страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой “выдумки”, с которой у нас издавна принято писать о деревне, о мужиках».

К слову сказать, отношение к деревне — ещё одна суровая ниточка, что поначалу привязала Горького к Леонову: старику, прочитавшему о звериных нравах мужичья в «Барсуках», показалось, что Леонов так же, как он, недолюбливает русское дикое крестьянство (и пометки Горького, сделанные на полях «Барсуков», подтверждают это).

«Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне почти первобытном... — так, в пересказе Федина, говорил Горький. — Иной мир, иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдёт вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом,

глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой... обедняют душу. Посмотрит, посмотрит — и назад, к себе, на полати».

Федину явно запали слова учителя в душу, потому что в статье Горького «О русском крестьянстве», опубликованной в Берлине в 1922 году (и никогда после не переиздававшейся), говорится почти дословно то же самое: «Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него, и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но их мало, и в них живут враги. Города? Но они — далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг — бескрайняя равнина, а в центре её — ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда».

Более того:

«Жестокость форм революции, — пишет Горький, — я объясняю исключительной жестокостью русского народа.

Когда в "зверствах" обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции, — я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий, или — у людей честных — как добросовестное заблуждение».

И «Несвоевременные мысли» Горького, в сущности, только о том и написаны — о зверстве народа.

«Каторжный мужицкий труд... не способен развить вкус к "праведному" упорному и честному труду...» — пишет Горький.

«Крестьянские дети зимою, по вечерам, когда скучно, а спать ещё не хочется, ловят тараканов и отрывают им ножки. <...> Милая забава...»

Надо ведь! А пролетарские дети ножки у тараканов не отрывали. Не говоря уж о барчуках.

«Тяжело жить на святой Руси!

Тяжело.

Грешат в ней — скверно, каются в грехах — того хуже», — печалится Горький.

А Леонов, повторим, безо всякой «красивенькой выдумки» повествует о деревне. Близкая душа.

В том же письме Горький продолжает: «Вы сумели насытить жуткую, горестную повесть Вашу тою подлинной выдумкой художника, которая позволяет читателю вникнуть в самую суть стихии, Вами изображённой. Эта книга — надолго».

Отметим одно интересное совпадение. В 1925 году Горький заканчивает «Дело Артамоновых», где есть такое место: «Бар-

ская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краёв полную мудрости». Это, безусловно, навеяно одним пассажем из рассказа Леонова «Халиль» 1922 года: «А старики ехали, блестя глазами, как сосуды с драгоценным римским вином, надменные и недвижные, потому что боялись расплескать мудрость».

О Леонове с добром Горький упоминает в письмах той поры писателям Ивану Касаткину и Михаилу Слонимскому.

Летом 1925-го у Горького гостит Павел Марков, завлит МХАТа, уже познакомившийся с Леоновым. Так Горький его буквально заваливает вопросами: откуда Леонов, что у него за биография, быт, привычки — как истинный почитатель интересуется. Марков отмечал, что ни к одному из молодых советских писателей (а была уже целая плеяда!) не было у Горького такого интереса.

«Что делает Леонов? — спрашивает Горький и у Всеволода Иванова в сентябре 1926-го. — Слышу, что всё собирается писать огромнейшие романы, это — знаменательно, значит, люди чувствуют себя в силе».

Из Сорренто, а слышит. Прислушивается.

В марте 1927-го, уже незадолго до приезда Леонова, Горький пишет критику Илье Груздеву, что в Леонове предчувствуется «большой русский писатель».

В гости к Горькому «большой русский писатель» буквально напросился: он хоть и был приглашён, но ещё в 1925 году.

Двенадцатого июня 1927-го, выехав уже в Европу, Леонов писал: «Сидим сейчас в Рапалло, дорогой Алексей Максимович, и собираемся посетить Вас».

Горький отвечает радостно, не без стариковского кокетства: «Писано было мне... <...> что имеете вы великодушное намерение заглянуть ко мне, старику, и был я этим весьма обрадован, но — усумнился.

Теперь же, получив письмецо ваше, того более обрадовался и — нетерпеливо жду вас с жёнами и детями».

Детей, кстати, за их отсутствием, никто не обещал везти, но Горький и на детей был согласен.

«Поселитесь же вы через дорогу от меня в месте тихом и красивом...

И — выпьем.

<...> День приезда — телеграфьте».

И теперь Леонов здесь, в Сорренто, в отеле, только что с дороги. Смотрит внимательно, мягкая улыбка. Мыльная вода в тазу покачивается.

— Ну, собирайтесь, и — жду вас, — говорит Горький.

Вилла Горького стоит почти у края обрыва, над морем. Двухэтажное здание арендуется у некоего дюка Сера-Каприола, живущего в Неаполе.

У дома постоянно стоит, как напишет после Леонов, «синьор в богатых усах, с зонтиком и в лихо приспущенной до бровей борсалине». Шпик. Мало того что шпик — он к тому же одноглазый.

Ещё проходя мимо виллы Горького, Леонов заметил колючие и пыльные опунции на каменной ограде. Это — род кактусов с плоскими сочными членистыми ветвями. Леонов тогда уже в них разбирался и остался верен своему увлечению всю жизнь.

Кто только не побывал в Сорренто, но никто эти опунции не заметил, а если и видел, то название не знал. Даже Горький скорее всего ничего в них не понимал. Он вообще кактусы терпеть не мог.

Зато любил сад: он большой, и в нём апельсины. Соломенные щиты защищают от солнца. Под щитами прячутся домашние, потягиваясь на складных парусиновых креслах.

Горький приветлив, куцая собачка Кузя реагирует на голос Горького: крутит хвостом, хотя приветствует он чету Леоновых. Знакомит со своими. А это: любимая женщина Мария Игнатьевна Будберг, Иван Николаевич Ракицкий — художник, друг Горького, живущий в его доме постоянно, сын — Максим Пешков с чадами и женой, Надеждой Алексеевной Пешковой, которую в семье ласково зовут «Тимоша», о чём Леонов немедленно узнаёт...

Горький в тот же день ненадолго увёл молодого писателя от родных и близких, «определив» супругу Леонида Максимовича к «домашним», чтобы не скучала.

Проходят в кабинет. На столе, заметил Леонов, множество журналов с разрезанными страницами, то есть прочитанных или как минимум пролистанных. Среди них — дом родной для Леонова — «Красная новь» и многие иные, о которых, живя в России, Леонов не слышал. И десятки, если не сотни писем.

— Хорошую литературу пишете, сударь! — говорит Горький Леонову.

Рассказывает что-то, чтобы раскрепостить, а может быть — очаровать Леонова. Горький это умеет. Сам себя обрывает и задаёт вопрос о Москве, о её людях, о стране.

— Замечательные дела делаются! — то ли спрашивает, то ли утверждает. Или спрашивает так, чтобы услышать желанный ответ. Сам при этом смотрит чуть искоса, заметит Леонов.

Рассказать можно разное. Прошлым летом Леонов с женой и его брат, Борис Максимович Леонов, ездили в Ярославскую область, в деревню Ескино, на родину матери. Леонид взял с собой фотоаппарат. Много снимал и по этой причине нехорошо поругался с мужиками на деревенской свадьбе.

Запомнил это настолько, что спустя год напишет заметку: «Я вознамерился было снять одну презанятную, в повойнике, старуху, но, значит, чрезвычайным городским видом своим с аппара́том на штативе слишком нарушил старинное благолепие праздника. Все, хозяева и гости, обступили меня, недобро загалдели, и была острая минута, когда я опасался за целостность своего Тессара... — Вот сымешь нас, а потом в газетке пропечатаешь: как замечательно, дескать, живут мужички, — лучше нельзя! Видали в газетках. А ты и дырявые крыши наши сымай, чтобы все видели...»

(Потом Леонов спародирует самого себя в «Соти», изобразив там чуждого народу немца с фотоаппаратом.)

Сказать про дырявые крыши и злых мужиков? Горький всё поймёт по-своему.

Тем более что было и другое.

Мимо деревни матери, по Любимскому округу, протекает река Соть, та самая, что потом даст название роману. На Соти уже начинается новая бурная жизнь: весной 1926-го в четырёх километрах от Балахны запустили строительство крупнейшего в Европе предприятия по производству газетной бумаги. Так что не одни дырявые крыши на всю погоревшую Россию.

В зиму с 1926 на 1927 год Леонов впервые побывал на Сясьстрое.

И они говорят обо всём.

Леонова тоже, наверное, интересует мнение Горького о происходящем в Стране Советов. Не меньше, чем Горького, мнение Леонова. Но напрямую Леонов, конечно, не спросит: «Не считаете, что этот перекувырк был слишком болезненным для самочувствия человека и для России?»

Совсем недавно Леонов написал в «Воре»: «...и душу отменили, и собственность: до последнего срама раздели человека...» — с традиционной леоновской хитрецой наделив этими словами непутёвого героя Манюкина.

Не спросишь ведь у Алексея Максимовича: «До последнего срама или нет, как думаете? Есть чем срам прикрыть?»

Поэтому — много рассказывает сам, следит за реакцией.

Горький слушает, щурит глаза. Улыбка его, запомнит Леонов, «испытующая, с лукавой приглядкой, бесконечно дружественная».

Насчёт испытующей и лукавой Леонов угадал. По поводу дружественной, тут сложнее. Нет, дружественная, конечно, но не всё принимающая, не всепрощающая.

* * *

Внешне за три чудесные недели пребывания Леоновых в Сорренто всё было замечательно. Леонид был несказанно счастлив и помнил свои впечатления долгие годы. Он — в начале жизни. И он — признан Горьким. Это многого стоило!

Гуляли, дышали густым ароматным воздухом. К пыли привыкли — зато есть море, прозрачное и голубое, паруса, ветры, чайки... Гудят жуки, дымит жуткий Везувий. Художник Юрий Анненков, гостивший чуть ранее у Горького, говорил, что цвет Везувия — лиловый. И любимое ругательство у Горького было «черти лиловые», вспомним некстати.

Впрочем, Леонов увидел цвета иными: «...весь голубой, как юноша только что получивший тогу, дремлет Везувий... постоянное облачко над ним, как сновидение, то розовое на заре, то голубое в полдень».

На заре Леонов вставал; шли купаться с женой на пляж — в маленькую бухту Regina Giovanna; шпик провожал их одним глазом и снова разворачивался к вилле Горького. Почтальон как раз нёс корреспонденцию: едва ли не половину его сумки занимали письма и пакеты из Советской России.

До полудня Горький работал, читал газеты, отвечал на письма и потом выходил к семье, к гостям.

Хорошо, сытно, красиво обедали (Леонов впервые, чуть озадаченный, попробовал варёного осьминога). Владелец отеля «Минерва» Джованни Кокачио заходил в гости с женой.

В первый же общий обед Горький сам налил Леонову рюмку водки. Про отношения Леонова со спиртным мы уже говорили. Он сострил тогда: вот, мол, не горьким опытом наученный он, а Горьким опыту наученный.

Леонов вспомнил, когда был сильно пьяным в последний (или, если верить Полонскому, в предпоследний) раз. Приехал в деревню, зашёл к соседу и угодил в самый эпицентр тяжёлого мужицкого разговора.

Объяснялся народ колоритно и витиевато. Леонов не стерпел и решил записать несколько слов, выражений. Прямо на колене.

— Ну-ка! — остановили его. — Чего ты там пишешь, голубчик?

Леонов объяснил, что он писатель. Это не успокоило.

— И чего он о нас напишет, этот писатель? — спросил кто-то раздражённо.

Повисла пауза.

— Да вот Горький же писал, — ответил другой.

— А ну-ка, налей ему, — приказал тот, кого принимали за старшего.

Мадеркой называли самогон с мёдом.

«Мне налили её в миску, густую, так что ложка качалась в ней, как маятник», — рассказал Леонов.

Выпил и упал.

А утром мужичьё ушло в леса, подальше от советской власти.

Алексея Максимовича история позабавила...

Леонов с интересом наблюдал за отношениями Горького и его возлюбленной Марии Будберг. Тридцатипятилетняя, вовсе не красивая, но чем-то пленяющая и даже таинственная Будберг вела себя за обедом как хозяйка. Алексей Максимович обращался к Будберг на «вы».

(Только потом Леонов прочитал письмо Горького Будберг, поразившее его: «Вы относитесь ко мне, как "барыня" к "плебею", позволяете покрикивать на меня, а ведь вы — единственная женщина, которую я люблю...»)

Горький с доброй наивностью хвалился Леонову, что Будберг ведёт свою родословную от Петра Великого. «Мария, пожалуйста, продемонстрируйте!»

«Она сбросила юбку и вышла в розовеньких рейтузах, — говорил потом Леонов. — Поставила одну руку на бедро, другую отвела в сторону, откинула голову назад — и мы увидели Петра».

Незадолго до смерти Леонов неожиданно признается одному из своих гостей, что в тот приезд Будберг хотела его... соблазнить.

— Но зачем мне это надо было? — усмехнулся старик Леонов. — Молодая жена... Горького бы обидел... Увильнул.

Все вместе посещали траттории, ели персики и виноград. Огромной, весёлой, шумной компанией ходили на местные базары «Forcella» и «Ducesca». Видели восхитительный неаполитанский аквариум. Были на спектаклях известного оперного театра «San Carlo».

Горький платил за всех. Он даже не позволил Леонову расплатиться за отель — расходы за проживание взял на себя. Был заботлив в каждой мелочи.

Выезжали на машине: Леонов, Горький и Максим Пешков за рулём. Катались по полуострову. Объезжали окрестности Неаполя от Сорренто до Мизенского мыса. Поднимались на Везувий, спускались в пещеру Кумской сивиллы.

Возвратившись, разжигали костёр: Горький страстно любил огонь. В «Русском лесе» один из героев вспомнит, как в

гостях у Алексея Максимовича разожгли в ложбинке, под цветущими агавами такой костёр, что приехали местные пожарные. Неизвестно, случалось ли это в действительности, но такие шутки вполне были в духе Горького.

Весёлой пиротехникой радовали порой и сами итальянцы — Муссолини ценил праздники. Вечерами Горький созывал всех на балкон смотреть, как вокруг залива взлетают ракеты и римские свечи.

— Это в Торе Аннунциата! — радовался Горький и руки потирал. — А это в Неаполе! Ух, как зажаривают!

Так жили.

Леонов привёз и сюда свой «Тессар». Умело пользовался им. Остались снимки того лета.

На одном — Горький, одна из лучших его фотографий.

Есть совместная фотография в кабинете Горького, где запечатлены он сам, Будберг, приехавший в гости к Горькому биолог Николай Кольцов и Леонид Максимович.

На третьем снимке Леонов и Горький вдвоём, на балконе дома. Леонов — молодой, крепкий, красивый, что называется, кровь с молоком. Тяжёлые, явно не летние ботинки, тёмные брюки. Рубашка с засученными рукавами и на груди расстёгнута: молодость. Улыбается хорошо и Горького приобнял.

Ни по одной леоновской фотографии тех лет не скажешь, о чём думает этот, в сущности, юноша, какие непомерные глыбы ворочает в голове. Но есть и другое ощущение: всмотревшись, понимаешь, что этого полного жизни, очаровательного человека ничего кроме литературы не интересует.

Горький на том же фото строг, рубашка застёгнута, руки сложены крест-накрест на колене.

* * *

Горький расспрашивал, какими Леонов видит своих героев. Скажем, самого первого — сказочного Бурыгу, вот какой он? Алексей Максимович, как известно, описал своих «личных» чертей — а тут леоновской выделки невидаль, тоже любопытно. Или, скажем, Яков Пигунок из одноимённого рассказа — в нём свой интерес.

Леонов описывал их. Он умел рассмешить, рассказывал прекрасно, темпераментно, богато. Пообещал к тому же вырезать для наглядности нескольких своих героев из дерева.

К тому в добавление удивил Горького и певческими своими талантами. Леоновский бас-профундо, низкий, грудной, объёмнейший голос довёл старика до его классической слезы.

Горький вообще часто спрашивал у писателей об их отношении к музыке, к песне; немного позже ругал Всеволода Иванова, что тот не знает, не понимает песенного искусства.

Леонов — иной случай. Он пел в числе иных разбойные песни, которые помнил после работы над «Вором»: «Среди лесов дремучих / Разбойнички идут. / А на плечах могучих / Товарища несут...»

Рассказывал Горькому, как собирал материал к ещё не прочитанному им «Вору»: посещал суды, часто присутствовал на допросах убийц, грабителей.

Между прочим, поведал Горькому несколько случаев.

Жил тогда такой бандит — Жорж Матрос, харьковский. Его поймали, приговорили к расстрелу: было за что. Когда пришла его любовница к тюрьме, он крикнул из-за решётки: «Подними юбку!» Она подняла. Жорж Матрос смотрел, вцепившись в прутья. Потом махнул рукой и отошёл от окна.

Горький записал в дневнике:

«Вчера Леонид Леонов рассказал, что бандит, приговорённый к расстрелу, увидав свою жену в тюремное окно... <...> предложил ей поднять подол, и нагота её даже на расстоянии успокоила его возбуждённую чувственность.

Леонов... не понял трагического смысла в жесте старика, не понял последней вспышки в человеке слепой воли к жизни».

Леонов позже отмахивался, когда ему говорили об этой записи Горького, — мол, сам он не понял. «Это было прощание с жизнью, — такие слова запишут за Леоновым, вспомнившим случай с бандитом. — Это было не просто половое переживание. Для него закончилась вся радость жизни. Это было как затухание на кресте».

Горький внимательно слушал Леонова, щурился, вертел какие-то вещички в руках, карандаш, спички, сигарету — он много курил. Конечно же Леонов был интересен ему. Но нечто не совсем понятное иногда раздражало Горького в Леонове, в его суждениях, в поведении его.

Сильнее всего Леонов разозлил Горького, когда они посещали вместе Помпейский зал Неаполитанского музея.

Горький бывал там десятки раз, в музее его знали и уважали настолько, что специально для него открывали недоступные залы.

Горький запишет:

«Леонов ходил в Помпейском зале Неаполитанского музея, и, глядя на фрески, бормотал: "Не понимаю, не понимаю". Должно быть, заметив, что его нежелание понимать несколько огорчает меня, он продолжал уже более задорно и как бы с целью посмотреть: а что дальше?

— Не понимаю, — повторял он настойчиво. Раз двадцать слышал я это слово, печальное и неуместное, в устах талантливого художника. За обедом я сказал ему:

— Леонид Леонов интересен и значителен не тем, что отказывается что-то понимать, а тем, как он понимает и почему не понимает.

Мальчик обиделся на меня. Самолюбив он не очень умно. Невежественен — очень.

Но — талантлив...»

Горький, наверное, был в чём-то прав. Ну да, Леонов оказался самолюбив. И, кажется, действительно желал позлить, и даже провоцировал осмысленно. Зачем только?

Потом, многие годы спустя, Леонов утверждал, что никого он и не собирался злить. «Вся живопись Помпейского зала мне не нравится, — сказал он литературоведу Александру Овчаренко. — Я не люблю эти сухие тона. Я считаю великолепным Неаполитанский музей. Там стоит Праксителева Психея. Это усечённый торс... и эти девственные ключицы... изумительно! А Помпейский зал... Да, я говорил: "Не понимаю, не понимаю", но говорил так мягко только из уважения к Горькому. Фрески мне просто не нравились».

Ох, лукавит старик Леонов! Надо же какое уважение: двадцать раз подряд сказать «Не понимаю!», искоса поглядывая на Горького... Мог бы ведь и смолчать.

«В Помпейском зале чувствуется какая-то сухость, от температуры, может быть... — пояснит своё неприятие Леонов позже. — Но, правда сказать, всё ведь сделано графически плохо, сделано примитивно».

А по поводу своего «невежества» Леонов заметил, что есть запись Горького, где он назвал серым и невежественным человеком Чехова.

* * *

Но расстались они не без нежности и долгих рукопожатий.

— А когда же вы к нам, на родину? — спросит Леонов.

— Пожалуй, на следующую весну. Охота повидать друзей, по Волге проехать хочется... И вообще... очень многого хочется, — ответит Горький.

И не обманет — приедет.

«Поездка в Сорренто оправдалась, — напишет Леонов в том же году, — в Сорренто я познакомился с ч е л о в е к о м Алексеем Максимовичем Пешковым».

В устах Леонова слово «человек», да ещё с разбивкой — значит много. Человека он ищет постоянно.

«Поездка оправдалась» — не менее важное замечание. Как будто ехал услышать какие-то важные слова: и услышал их. Если ещё раз вернуться к разбивке, то можно и так сказать: ехал, чтобы найти человека и опору себе отыскать — в человеке. И, кажется, нашёл её.

«Я возвратился буквально влюблённым в Горького», — будет ещё долго повторять Леонов, рассказывая о своих ощущениях августа 1927 года.

Старик немного раздосадован

А сам Горький ещё долго не успокоится. Словно заранее какую-то опасность чувствует в Леонове. Так и живут в нём два чувства сразу: откровенный восторг и слабое, глубинное раздражение.

Вот для сравнения несколько писем.

Первого августа 1927-го Горький пишет литератору Александру Тихонову: «Леонов — замечательно и весьма по-русски талантлив; он, несомненно, способен написать потрясающие вещи, и вообще он “страшно русский” художник».

И в сентябре того же года совсем другое говорит Горький писателю Сергееву-Ценскому, которому по душевной близости может открыть и другие стороны своего отношения к Леонову: «Был у меня Леонов, очень напомнил мне Леонида Андреева в 903—904 годах, — годы его наивысшего успеха. Знает — мало, о себе — художнике — заботится плохо».

(Горький добавит в письме: «Был Катаев, этот ещё — вопрос». То есть Леонов, какой бы он ни был, — уже не вопрос.)

Сравнение с Андреевым достаточно сложное, неповерхностное и скорее подчёркивающее всю серьёзность отношения Горького к Леонову. Долгое время Леонид Андреев был самым близким другом Горького. Они рассорились во время Первой мировой (Андреев занял чрезмерно, на вкус Горького, патриотическую позицию); но такие дружбы не забываются, какой бы разлом ни случился.

Андреев к тому же в начале века был наряду с Горьким самым популярным русским писателем.

Так что ассоциация с Андреевым, при всей внешне негативной окраске, имеет и другое значение: Горький ставит Леонова предельно высоко, и спрос с него — максимально серьёзный.

Важный разговор на ту же самую тему записал знакомый Горького В. А. Десницкий.

Сначала Горький сожалеет о том, что Леонида Андреева забыли, и потом вдруг говорит:

— Многие не любят по-настоящему своего дела, не учатся, от жизни прячутся... Знаешь, кому в первую очередь может грозить та же участь, что и Леониду?

Десницкий спрашивает: Леонову?

— Да, да, ты угадал. Что-то в нём есть от Андреевской обособленности, — отвечает Горький и затем сетует на то, что Леонов не прислушается к его «стариковским» советам — потому что «признан», а значит — сам себе на уме.

И раздражение Горького, причём по любым пустякам, — не угасает.

В октябре того же 1927-го в письме Груздеву Алексей Максимович откровенно брюзжит: «В “Днях” — газете, которая по возобновлении её стала ещё бездарнее и скучнее, — в “Днях” читаю: “Писатели Лидин и Леонов рассказали о своих встречах с Горьким”. Он — “ввалился в матросской рубахе с голубым воротником”. Опровергаю: рубаха — обыкновенная, ничего матросского в ней — нет; она — голубая, а воротник у неё — белый, от другой рубахи. Таких рубах — голубых, с белыми воротниками — у меня три. И всё время, пока Леонов жил в Сорренто, я щеголял в этих рубахах. Мелочь? Нет. Художник должен уметь видеть действительность точно такой, какова она есть...»

Надо заметить, что начиная ругать Леонова и Лидина, Горький заканчивает одним Леоновым и лично ему выговаривает за невнимательность, про Лидина забыв вовсе.

Дались ему эти рубашки! Дело ведь не в них вовсе... Дело в том, что он никак не поймёт толком, за что обозлён на Леонова. Не только в образовании дело. Горький к тому времени общался со многими молодыми советскими писателями и прекрасно понимал, что у них, проведших годы своей молодости на фронтах Гражданской и в борьбе за выживание и пропитание, уровень образования — невысокий. Некогда было...

Тем более что Леонов явно не был самый «тёмный». Едва ли посещавшие Алексея Максимовича Катаев, Лидин, Иванов или Лев Никулин были образованнее.

...И в то же время Горький чувствует некую близость с Леоновым: бóльшую, чем с кем бы то ни было из молодых писателей «призыва» Гражданской войны.

Дела эпистолярные, театральные, прочие

По возвращении из Европы в августе 1927-го Леонов успевает побывать на вечере «Красной нови» в Доме учёных, где журнал привычно атакуют как прибежище «попутчиков», а затем уезжает от шума подальше с женой в Переславль-Залес-

ский, по приглашению художника Дмитрия Николаевича Кардовского (позже тот будет иллюстрировать «Соть»). Жена Кардовского, носившая замечательное имя Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская, тоже была художницей. Она напишет портреты Леонова и его жены.

В Переславле Леонов работает над повестью «Провинциальная история». Несколько впечатлений от жизни в Переславле перекочевали в текст: услышанная как-то фамилия Пустынов, меткая кличка одной из лошадей — Арлекинка.

Повесть тяжёлая по восприятию, притом искусно сделанная, но Леонов ею не был до конца доволен.

В Переславле, кстати, от одного мужика услышал Леонов интересное присловье, которое потом будет часто поминать:

— Делов у меня, как у Максима Горького!

То есть — много забот, очень много.

Отдыхая от писательского труда, Леонов занимается фотографией.

Татьяна Михайловна Леонова так описывала страсть мужа в письме знакомым: «Заманиваем к себе в комнату ни в чём не повинных людей, мучаем их, усаживаем в течение часа, вертим им головы, руки, ноги... Снимаем бедных страдальцев с выдержкой в две-три минуты, при них же проявляем, и их же ругаем, если плохо выходит».

В сентябре Леоновы возвращаются в Москву, и Леонид, наконец, оторвавшись от дел своих, пишет Горькому. Интонация всё такая же радостная и неуклюжая:

«От души спасибо за всё то хорошее, что мы с женой получили у вас в Сорренто...»

«...Замечательный вы человек, Алексей Максимович, — не обижайтесь, что так неприлично в лицо выражаюсь. Я счастлив, что был у вас и говорил с вами. И почему-то всё время такое чувство, словно совершил какую-то нечестность в отношении вас. Это, пожалуй, и хорошо. Должен всякий человек иметь в мире человека, перед которым бы он чувствовал такое.

Это будит в нём хорошее, живое, шевелящееся в горле и сердце. Ещё раз извините меня великодушно за словеса, которые я всё равно должен был сказать вам, чтоб не лопнуть от них».

И тут же прибавляет весьма сомнительный пассаж:

«Холодает у нас, хотя лист ещё держится. Совершенно невообразим сейчас российский пейзаж. Берёзовую рощу на бугре, осеннюю, пёструю, представляете? А какие горизонты в Переславльском округе! Великое дело горизонт, — у нас он тянет на великие дела, право, а у вас там теснота душе и плюнуть некуда. Мудрости у нас больше...»

Не за Помпейский ли музей отомстил здесь Леонов?

В финале благоразумно добавляет: «А писем-то я всё-таки писать не умею».

Леонов вообще обладал редким даром проникнуть через самый малый человеческий атом, через блестинку в человечьем глазу в запредельное пространство; и в то же время был, наверное, лишён той, к примеру, есенинского извода душевности. В самой пронзительной леоновской лирике всегда есть ощущение некоей отстранённости. Будто перед нами не вид изнутри, — например, изнутри сердца, — но вид сверху. Вид, пронзённый ясным, почти всевидящим леоновским зрачком. Может, потому живому, человеческому сердцу Леонова был отпущен столь долгий срок, длиной чуть ли не в целый век? Сердце его умело держать дистанцию с миром.

В том числе и об этом помнит Горький, говоря о леоновской «обособленности», предугадывая в нём великолепного затворника, общающегося куда радостнее со своими цветами и кактусами, чем с людьми...

* * *

В упомянутом письме Леонов хвалится Горькому скорой премьерой переделанных в пьесу «Барсуков» в театре имени Вахтангова. «Жена волнуется (или только делает вид?), — пишет Леонов, — а мне нипочём».

Между тем, пока готовили спектакль, было много споров и нервотрёпки. Режиссёр, Борис Евгеньевич Захава, атаковал, Леонов защищался.

В театре только что с успехом у публики и сопровождаемая руганью критики прошла «Зойкина квартира» Булгакова. Следом — выверенная идеологически инсценировка повести Лидии Сейфуллиной «Виринея». На обоих спектаклях побывал Иосиф Сталин и по поводу Сейфуллиной оставил в книге отзывов запись: «По-моему, пьеса — выхваченный из жизни кусок жизни. Артисты, видимо, способные люди, может быть, не так много у них искусства, как у артистов МХАТ, но жизненности, кипучей жизненности, — по-моему, больше. В общем, хорошо, даже великолепно. И. Сталин. 16. IV. 26 г.».

Теперь вахтанговцы не хотели терять завоёванных позиций.

К Леонову приставили, как он сам потом писал, «комиссара» в лице вахтанговского артиста В. В. Куза, и за полтора месяца они изготовили постановку по мотивам романа. Надо сказать, что до этого роман в ожидании постановки пролежал в театре два года.

Сам Леонов хотел делать пьесу, взяв лишь одну сюжетную линию — связанную с Егором Брыкиным.

Театру же, естественно, хотелось революции и прочих извержений социального вулкана, поэтому для инсценировки взяли линию, связанную с братьями Рахлеевыми — «барсуком» Семёном и большевиком Павлом.

Был у постановщиков спор с Леоновым: выводить или нет огромную толпу восставших мужиков на сцену. Леонов говорил: «Я вам восстание дам в отражении... вот этой бутылки!»

«Нет, — отвечали, — нужна массовка!» Уговорили.

Павла Рахлеева играл Борис Щукин, тот самый, что сыграет позже Ленина в легендарных фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».

«...Помню громовую негромкость его голоса, человек говорит тише всех, а его слышнее всех», — запишет Леонов позже.

В спектакле были заняты и настоящие, и будущие театральные звёзды, в том числе основатели новых актёрских династий: Москвин, Державин, Рапопорт, Миронов.

«Барсуки», из которых при постановке извлечены все леоновские сомнения в человеке, вся мужицкая жуть, идут не без успеха. Но даже «зачищенный» текст инсценировки позволял рапповским критикам заметить, что в спектакле акцентирована не «победа над барсуковщиной», а «тяжесть личных переживаний братьев».

Театралы к тому же замечали, что многие достоинства спектакля повторяют «Виринею», что было вполне объяснимым после похвалы Сталина.

Однако ж адекватно вместить в постановку целый роман всё-таки не получилось. Газета «Правда» от 30 сентября 1927-го сетовала устами ведущего театральной рубрики Петра Маркова — того самого, что гостил в своё время у Горького: «Беспощадно отрезая отдельные сцены, меняя положение, сращивая отдельные образы (Петру Грохотову приданы черты Половинкина), Леонов оставил большие промежутки между отдельными сценами, заполненные в романе и незаполненные в пьесе».

Свои претензии выскажет тогда же критик Александр Гидони в журнале «Современный театр»: «Не плохо первое действие: трактир-чайная... Очень хорошо заседание сельсовета. Удались режиссёру массовые сцены во втором и третьем действиях, но следует отметить, что гулы толпы нельзя заменить случайными шумами, а бунт не передаётся одной толкотнёй на сцене».

В том же номере журнала на труд вахтанговцев размещена характерная рецензия в стихах: «Тяжка писателя стезя / И логика вещей упряма: / Роман увесистый нельзя / Легко и просто сделать драмой».

Впрочем, чуть ниже авторы журнала не без приязни острят о спектакле:

«— Акушерская пьеса.

— Как?

— Впервые подлинный живой большевик на сцене родился».

Отвечая на всевозможные упрёки, Леонов напишет, что пьесу-де стоит рассматривать не как произведение самостоятельное, но как «коллективное», и не как пьесу вовсе, а как инсценировку романа... Но в любом случае Леонов на подъёме, радостен: отныне он принят в театр.

Во МХАТе тем временем продолжают раздумывать о постановке «Унтиловска». В том самом Московском художественном, где в 1910-е годы Леонов, совершенно потрясённый, совсем ещё мальчик, сидел на галёрке.

При подготовке «Унтиловска» тоже были свои неизбежные сложности.

«Помню, — рассказывал Леонов, — как после неоднократных переделок пьесы я подошёл однажды к Константину Сергеевичу на премьере Свадьбы Фигаро и спросил его мнение о последнем варианте моего рукоделия. Он постучал длинными мускулистыми пальцами о спинку кресла — режиссёрского кресла в восьмом ряду — и сказал в своей характерной манере, запинаясь и нажимая на каждое слово:

— Это... это... отличный, — он сделал ударение на этом слове: — эскиз пьесы...»

Леонов старательно превращает эскиз в картину.

* * *

В октябре писатель выступает в Доме печати с рассказом о поездке за границу. О Горьком — в самых тёплых тонах.

Но внутри всё-таки чувствует какую-то недоговоренность в общении с Горьким, его строгий, молчаливый присмотр к себе. Ему кажется, что нечто важное ускользнуло, не было проговорено, и Леонов хочет написать об этом Алексею Максимовичу.

Только к зиме, когда наконец-то начались репетиции «Унтиловска» во МХАТе, Леонов отправляет второе письмо: кому же, как не Горькому, похвастаться скорой постановкой первой своей настоящей пьесы. Да ещё в театре, с которым Горького столько связывало!

Репетиции «Унтиловска» проходят небезболезненно для Леонова.

Исполнители ролей в «Унтиловске» изводят Леонова расспросами обо всей подноготной героев, просят едва ли не родословную их предоставить. «Это не актёры! Это следователи какие-то!» — восклицает Леонов.

Иногда собирается вся труппа, строго обсуждают текст: «как консилиум врачей», по выражению Леонова.

Но если слово берёт Леонов, Станиславский говорит актёрам: «Внимание! Прислушайтесь».

Прислушиваются и делают по-своему.

Сохранились репетиционные экземпляры «Унтиловска» — все в пометках актёров и режиссёра Василия Сахновского, «для себя»: по сюжету, по реквизиту, по декорациям.

Дочь Леонова, Наталия Леонидовна, рассказывает о забавном курьёзе, случившемся во время репетиций: «Согласно велению времени, контролировать искусство должен был рабочий класс, а потому на обсуждении присутствовал “Совет представителей трудовых коллективов”, состоявший из работников разных контор, бань и т. п.».

Один из членов этого совета стал рекомендовать работникам театра превратить главного героя — попа-расстригу — в учителя или студента, сосланного в город Унтиловск за революционную деятельность и защиту интересов рабочего класса.

Станиславский ответил:

— Видите ли, товарищ, мы находимся в театре, во МХАТе, у нас актёр капризный, строгий, всякую дрянь играть не будет!

Актёр, впрочем, действительно водился и капризный, и строгий.

Леонов то спорит, даже дерзит, то идёт на уступки, понимая, насколько велик опыт у актёров Художественного театра.

В любом случае, поддержка Горького ему важна.

Приходится, правда, в письме извиниться, что не поздравил Алексея Максимовича с шумно отмечавшимся 35-летием литературной деятельности, назвав собственное поведение «свинством»: «Я слышал, что вы серьёзно больны? Искренно надеюсь, что это так, мимоходом, а вообще всё благополучно? И даже тогда, в такую минуту, я не сумел написать вам».

«Дорогой мой Леонид Максимович, что это Вы себя ругаете за то, что не писали мне? — отвечает ему Горький в последний день 1927 года, 31 декабря (не желает год закончить, Леонову не ответив). — Не писалось, — не было времени, охоты, явилось свободное время или охота — написали. И — всё в порядке».

«Когда пройдёт “Унтиловск”, вероятно, актёры снимутся в костюмах и гриме, не пришлёте ли мне? — просит Горький. — “Героев” я хорошо помню, интересно бы взглянуть, как их изобразили артисты».

Леонов пишет Горькому, что работал над повестью, написал несколько рассказов («Тёмная вода», «Возвращение Копылева» и «Приключение с Иваном» из цикла «Необыкновенные рассказы о мужиках»).

«Очень рад, что Вы так много работали и над небольшими вещами, — отвечает Горький, — “Вор”, наверное, утомил Вас. Пожалуйста, когда напечатаете новые вещи — пришлите мне оттиски, — ладно? Буду благодарен. А — деревяшка?»

«Деревяшка» — это Горький вспомнил про фигурки из дерева, которые Леонов обещал ему вырезать. Леонов уже сделал ему Пигунка, героя своего рассказа («Всё дело у Якова Пигунка было в бороде. Была она спутанная и чёрная от дыма и копоти и свисала низко, на манер мочалки, которой печные горшки греют. <...> Яков есть сонный старичище. Жил он много лет. Дни текли своим чередом, а он своим. И боялся господь вынуть из него душу, потому что вся она пропиталась дёгтем насквозь» — такого вот вырезал).

Под конец письма Горький добавляет: «Спасибо за обещание прислать “Вора”. Хорошая книга».

Сказав весьма скупое: «хорошая книга», Горький, безусловно, пожадничал. Внутренне он сразу понял, что имеет дело с одной из самых важных книг и того времени, и русской литературы вообще.

Но не хочет Леонова в глаза нахваливать. Вернее — пока не хочет.

Спустя три недели Горький откажет Леонову в написании предисловия к собранию сочинений (у Леонова, в 29 лет, напомним, начало выходить первое собрание в пяти томах!). Впрочем, причины для отказа Горький называет понятные: «Писать о Вас нужно немало и очень хорошо, очень подробно... на эту работу нужно много дней, нужно всё Ваше перечитать и — внимательно».

Леонов не сдержится и скажет Горькому в письме: «О самом главном не переговорили мы». И, кажется, так и не переговорят.

Горький, впрочем, отвечает: «...самое главное — почувствовать друг друга, а это, на мой взгляд, было».

Тут Алексей Максимович имеет в виду и Леонида Андреева, и «мало заботится о себе», и всё иное, но Леонову, конечно, не сообщает, как именно он его «почувствовал».

Хотя, может, это и не столь важно. Зато Горький пишет о Леонове Ромену Роллану, выражая свой восторг «Вором». Просит, чтобы «Вора» издали во Франции, наряду с Михаилом Пришвиным (которого Горький ставил выше себя, как писателя).

«“Вор”, — сообщает Горький Роллану, — оригинально построенный роман, где люди даны хотя в освещении Достоевского, но поразительно живо и в отношениях крайне сложных». И справедливо добавляет: «В России книга эта не понята и недостаточно оценена».

Чуть позже Горький во всеуслышание расскажет, насколько высоко он ценит Леонова.

«Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов — лексиконы — Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова, — напишет Горький в 1928-м. — В романе “Вор” он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он дал уже целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией».

Ещё раз уясним смысл сказанного Горьким: словарь Леонова не то что равен словарю классиков — он в чём-то даже больше. Не говоря о конструкции текста Леонова, чему Горький, писавший вещи в архитектурном смысле линейные, не мог не поражаться.

В одном из писем в начале 1929 года Горький фактически повторяет точку зрения и антисоветского Георгия Адамовича, и советского Луначарского, утверждая, что из «молодых» писателей Леонов — первый.

О Никитине Горький пишет: «...заболтался, изнебрежничался». О Слонимском: «...сухо и тускло». О Федине: «...преждевременно солидно». Начинает разочаровываться в Каверине, которого поначалу ставил очень высоко. «Зощенко способен на многое, — утверждает Горький и тут же уточняет: — Но ему следовало бы не забывать, что лучшее, сказанное им, “старушка, божий одуванчик”, а не “собачка, системы пудель”». Пильняк ему давно был неприятен и поперечен.

«Делу правильного развития языка служит, из молодых, один Леонов» — таково мнение Горького.

Не только «Вор», но и начавшийся вскоре «советский период» Леонова вызовет у Горького восторг.

Единственное, что до поры до времени Горький не замечает леоновских «закавык», смысловых его каверз. Не хочет он обращать внимание на то, что пока ему кажется в Леонове неглавным: быть может, наносным от Достоевского, быть может, просто случайным.

«Революцийка трахнула»

Семнадцатого февраля 1928 года состоялась долгожданная премьера «Унтиловска» во МХАТе.

Режиссура Василия Сахновского была отменной: тем более что ему все без малого два года репетиций помогал Станиславский. Леонов, пьесы которого впоследствии ставили сот-

ни раз на многих площадках мира, об «Унтиловске» всегда вспоминал особо.

«Отлично понял замысел Станиславского художник Крымов, — говорил Леонов, — очень умело, соблюдая границы допустимой условности, сделал павильон. Вы помните, как начинается пьеса. Черваков обыгрывает Буслова в шашки, "припирает его в уголок". И вот в спектакле Черваков и Буслов играли, сидя в тупике, в своеобразном геометрическом углу».

Станиславский после спектакля поднимается на сцену, обнимает и целует Леонова. Зал аплодирует стоя.

Леонов переживает настоящий театральный успех.

Но на девятнадцатом спектакле постановка была закрыта. Одним звонком из Кремля, безо всяких постановлений. Ходили слухи, что к запрету был лично причастен Иосиф Сталин, но документальных подтверждений тому нет.

Это был шок для всех. Для Леонова, для Станиславского, для Сахновского — ведь это был его режиссёрский дебют во МХАТе...

Но причины для закрытия вполне могли найтись. В самом тексте пьесы.

Унтиловск — это жуткое, застойное болото, и от случившегося в России сюда даже малые волны не доходят.

«Унтиловск проспал всё это буйное и героическое время», — говорит один из героев, «бывшая личность» Манюкин — тот самый, что сначала перекочевал из повести «Унтиловск» в роман «Вор», а оттуда снова вернулся в пьесу «Унтиловск». «Хоть и существую, но после революции напоминаю решето» — так он саморекомендуется в пьесе.

«Но и в Унтиловске выдвинулись замечательные личности, — продолжает Манюкин. — Я имею в виду жену погибшего героя, а именно вот её, Ваську».

Погибший герой — видимо, красноармеец. А «замечательная личность», «жена героя» Васка, замечательна поначалу лишь тем, что варит самогон.

«Вино и елей были запрещены во всероссийском масштабе, — говорит Манюкин, — и тогда Васка пошла на помощь тоскующим единоплеменникам. Прадедовское уменье умудрилось опытом последних лет! Уж теперь никакие гобарзаки и рейнвейны не сравнятся с Васкиными изделиями. А в случае вторичного напора густая унтиловская бражка бурно, как полноводная река, выйдет из берегов, заливая города и веси обширной нашей страны».

Такая экспозиция. Есть в пьесе другие действующие лица.

Павел Черваков, одна из центральных фигур пьесы, — «злейшая эпиграмма на человека».

Аполлос, который представляет себя так: «Служил, но вышибли за несознательность».

Илья Редкозубов: «Хотел принять участие в революции, выпалил два раза на площади из ружья... <...> Но затвор замёрз! Жестокий климат препятствует порывам».

О. Иона, говорящий своей дочери: «Матушка-то говорит, как венчаться будешь, не забыть церкву-то красными флагами убрать. А то, не ровен час, со службы сгонят. Доказывай потом, что в бо́га не веруешь».

Знаменательно, что герой по имени Александр Гугович (в обиходе — Гуга) представлен как «опальный интеллигент в очках», причём первый раз он был сослан в Унтиловск до революции, а второй раз — после.

Вот как о Гуге говорит главный герой пьесы, едва ли не единственный, кто ещё не окончательно потерял в себе человека, Буслов: «Я дрова ходил колоть, пока он ей (жене Буслова. — *З. П.*) ходил расписывать, каким манером должен мир процвесть. Чудак, сам даже угля тлеющего не имея, пытался весь мир зажечь! Жук, ублюдок жука, такие в мебели живут, с усами!!!»

Гуга, как выясняется из контекста пьесы, по взглядам скорее всего левый эсер, но куда разумнее брать шире — он перманентный революционер. «Ублюдок жука...»

Сам Гуга ругается на большевиков. «Гуга-то мне всё жаловался!.. — говорит Илья Редкозубов. — Сколько, говорит, я времени потратил на тюрьмы, и опять теперь в исходное положение. Этот, говорит, народ, которого мы величали богоносцем... разрешился от бремени: большевика родил».

О большевиках же говорит и Манюкин, сетующий на то, что непомерная доверчивость всегда была напрасным украшением славян: «Сколько раз мы открывались всякому, кто только не признался нам сразу, что он прохвост».

Сами большевики не появляются — руки их не доходят до Унтиловска.

О. Иона спрашивает у служащего во храме, читавшего газету: «Какие там новости есть?»

Ответ: «Да всё одно и то же. Они ровно бы против нас стараются, а мы не желаем. Они всё под корень, а мы наискосок».

Унтиловск, по мысли Леонова, способен сделать такой кульбит «наискосок», что переживёт не только эту революцию, но и множество последующих.

Черваков, главный унтиловский мыслитель, говорит: «Умерщвлённый до срока Унтиловск возникнет, как феникс... Мы за мир, но если воевать — у нас слюны на триста лет хватит!»

И потом рассказывает такую историю: «В тихой щели, под этим старым-престарым солнышком жил один учёный дуралей!.. И скучно стало дуралею, и взбунтовался дуралей... И смастерил себе бесконечный салон-вагон, в котором по временам ездит — как по земле. Не понравилось сегодня — можно во вчера, в завтра, в века, по ту и эту сторону, к чёрту на рога! Давнишняя мечта крутолобых человеков!.. А тут революцийка трахнула, большевички и всякие ныряющие фигуры с наганами... У старичка рояль отняли, сынишку расстреляли. И он задумался удрать... <...> из своей великой и утруднительной эпохи. <...> Но в машинке сломался рычажок, и бесколёсный вагон перемахнул на миллион лет вперёд, через века, людские жизни, сотни революций, из двадцатого века в век десятитысячный. <...> И когда выглянул дуралей из окошка, то земли-то и не нашёл. <...> Голый, потухший самоголейший пшик... великая дырка. <...> Один сплошной Унтиловск».

На этом безысходном фоне кажется весьма сомнительной последняя фраза пьесы. Буслов, единственный из героев, который, напомним, хоть как-то претендует на звание положительного, изгоняет из своего дома идеолога «унтиловщины» Червакова: «Вон иди, Пашка, вон!» Буслова упрекают, что он гонит человека в холод — на улице метель.

«Ничего, весна всегда с метелями», — отвечает Буслов. Всё, финал.

(Заметим, что запрещённая пьеса Леонова 1940 года как раз этим метелям 1930-х годов посвящена, да и называется она — «Метель».)

Советская критика пьесу поняла и восприняла по сути адекватно — никак иначе она и не могла отреагировать.

«Комсомольская правда» от 26 февраля 1928-го пишет:

«Советская общественность борется со всеми отрицательными явлениями унтиловщины, которые, как будто, пытается осмеять и автор. Но если именно это задумал автор и хотел показать театр, то результаты получились совершенно обратные. <...> Жизнь настоящая, сегодняшняя, идёт где-то за кулисами и на сцене никак не показана. <...>

...пьеса скучна, несмотря на свой прекрасный, острый язык, несмотря на отдельные, превосходные характеристики типов. Она не может быть не скучна, потому что она лишена какой бы то ни было динамики, какой бы то ни было борьбы сторон.

Против “унтиловщины” автор ничего не выдвигает, кроме бледных монологов Буслова и комсомольских голосов за сценой».

Отсутствие «борьбы сторон» — тут ключевая претензия. Её действительно нет.

Обозреватели «Нового мира» были настроены чуть более благодушно и, говоря о том же самом, что и предыдущие критики, фактические додумали за Леонова «веру в будущее»: «Создавая галерею исключительно отрицательных, уродливых или искалеченных "Унтиловском" людей, Леонов — так может показаться на первый взгляд — создал вещь, проникнутую безысходным отчаяньем и тоской. Но чем больше отходишь от первоначальных впечатлений, чем больше вдумываешься в содержание "Унтиловска", тем яснее осознаёшь, что пессимизм автора, пожалуй, мнимый...»

Пожалуй, да... Особенно, «чем дальше отходишь».

1928-й

Год 1928-й — переломный и один из самых важных в литературной жизни Леонова.

Именно в этом году, шаг за шагом, происходит трансформация прозаика Леонова. В течение относительно небольшого отрезка времени из писателя, согласно понятиям тех лет, реакционного, зачастую, вопреки вкусу времени, мрачного и откровенно находящегося вне идеологий, тем более вне идеологии коммунистической, он становится писателем социальным и даже отчасти близким большевизму.

Период веры (со многими скидками) продлится десять лет.

Одну из важнейших ролей, быть может, даже главную роль в произошедшем с Леоновым сыграл Горький.

Под занавес 1927 года, в декабре, Леонов впервые разоткровенничался в письме Горькому. Начал со слов о здоровье Алексея Максимовича, но быстро перешёл к своей пожизненной теме. Процитируем: «Моё запоздалое, но сердечнейшее пожелание здоровья и всего прочего, что зависит в конечном счёте от здоровья же, примите безгневно, хотя бы и теперь, так поздно. В те сроки без отрыву сидел за столом, по-азиатски, по 12 часов в день — работал. Я свиреп в такие сроки и жесток к ближним: кроме листа бумаги перед собой, я не вижу ничего. Я заболеваю темой и, пока не отшелушусь от неё, не имею воли побороть себя и угрызения совести моей. Может быть, в наше время это и правильно. Я всё больше (хотя и с запозданием!) прихожу к мысли, что теперь время работы с большой буквы. Работать надо, делать вещи, пирамиды, мосты и всё прочее, что может поглотить у человечества скопившуюся силу. России пора перестать страдать и ныть, а нужно жить, дышать и работать много и метко. И это неспроста, что история выставила на арену людей грубых, трезвых, сильных, разбивших вдрызг вековую

нашу дребедень (я говорю о мятущейся от века русской душе) и вколотивших в неё толстую сваю...»

Едва ли Леонов смог побороть в себе изначальное и, наверное, врождённое осознание тщетности человеческих попыток победить в себе слабое, обречённое, глиняное. Но в непомерной и жуткой красоте коммунистического эксперимента он убеждался всё более. «Хоть и с запозданием».

Возможно, не выйдет ничего — почти наверняка ничего не выйдет, Леонов это предсказывает неустанно, но — оцените масштабы! Ведь действительно пирамиды возводят! Уже идёт закладка фундамента. И руководят этим «грубые, трезвые и сильные» люди. Какие, не в бровь, а в глаз эпитеты и в нужной последовательности. Грубые, да! Трезвые: ясномыслящие, прямые, упрямые на пути к своей цели. И сильные. Кто поспорит... Ещё и вдрызг расколовшие мятущуюся русскую душу. Каковы.

Именно осознание всего этого, а не расходящаяся понемногу критическая нервотрёпка, в том числе по поводу «Унтиловска», стало первейшей причиной личного леоновского «перекувырка».

Заметим, к слову, что, хотя постановку «Унтиловска» запретили, в печати пьеса переиздавалась: сначала в марте 1928-го в «Новом мире», потом в четвёртом томе собрания сочинений в 1930-м и в 1935 году в сборнике «Пьесы».

Об «Унтиловске», да, и в дальнейшем писали порой злобно, но, в сущности, справедливо: «...У Леонова “Унтиловск” — ультрареакционное произведение, ибо, если расшифровать его социальный смысл, “Унтиловск” является выражением неверия в Октябрьскую революцию. Леонов задаётся вопросом, не слишком ли рано началась Октябрьская революция? Ответ получается, конечно, положительный, ибо крестьянин у Леонова — беспощадный зверь, а город — это не рабочий класс (для Леонова его не существует) и не коммунисты (Леонов их не знает), а сплошное мещанство, у которого слюны хватит на триста лет».

И ещё: «Леонов организует настроения, чуждые социалистическому строительству... <...> начав с рассказов о конце мелкого человека... Леонов закончил идеологическим наступлением этого “мелкого” человека против диктатуры пролетариата».

Поправка здесь может быть одна: это вовсе не наступление против какой угодно революции и тем более против диктатуры пролетариата. Это наступление глины против глины.

Но вдруг пирамиды действительно возможны? — вот о чём задумывается Леонов. Да и что жалеть там, в тошнотворном всепоглощающем Унтиловске, чего беречь там?

...Поэтапно с Леоновым всё происходит так.

В первой половине 1928 года, после «Унтиловска», Леонов пишет два восхитительных, но по-прежнему жутких и суровых рассказа: «Бродяга» (март—апрель) и «Месть» (апрель—май). Рассказ «Месть» станет последним текстом Леонова «старого», «реакционного» (вплоть до начала работы над «Пирамидой» в 1940-м).

Затем приезжает Горький, и всё: пошёл новый отсчёт.

Горький прибывает в Москву 28 мая 1928 года. Немедленно приглашает Леонида Леонова, в числе самых близких людей, на первый, званый, обед в Машков переулок (Алексей Максимович остановился у первой жены, Екатерины Пешковой).

От Советского Союза Горький в полном восторге.

Неизвестно, смогли они или нет толком, вдвоём поговорить о происходящем в стране, но потрясённый наглядными изменениями на родине Горький радовался всему искренне и заразительно. И тем самым оказывал на Леонова, по-прежнему влюблённого в старика и почитающего его единственным своим критиком, огромное влияние. Горькому хотелось доверять, когда он говорил, что происходящее здесь, в Советской России, замечательно, вдохновенно, мощно. Тем более что очарование наступившей новью, как ясно уже из писем Леонова Горькому, он и сам уже испытывал всё острее.

До того как в июле Горький отправился в длительную поездку по Союзу, они встречались несколько раз. В том числе в «Доме Герцена»: сохранилось фото, где по одну сторону от Горького — Катаев и Эфрос, а по другую — Леонов и Лидин.

О содержании их встреч можно гадать, но фактически можно отметить следующее.

В июне, всего за месяц, Леонов пишет пьесу «Усмирение Бададошкина». 13 июля начинает «Белую ночь».

Через два дня, 15 июля, у него рождается первая дочь, Лена, но Леонов, признаться, поначалу не очень большое значение придаёт этому событию. Молодая жена порой даже сердилась на Лёню своего: к дочери почти не подходил. Работал одержимо.

Однажды Татьяна Михайловна не выдержала, схватила его за плечо, закричала в слезах:

— Да отец ты или не отец, Лёня! Что же ты не смотришь на неё совсем!..

В октябре Леонов снова едет на Сясьстрой и на Балахнинский бумажный комбинат.

Там посещает с главным инженером Иваном Колотиловым один из цехов, где стоял рубильный патрон: колесо с четырьмя, под углом поставленными ножами, которое даёт полторы тысячи оборотов в минуту. Бревно, попавшее туда, в мгновение превращается в щепки. Мужики, приметил Леонов, как

зачарованные смотрели в бездну, где размельчалась древесина... В тот день Колотилову доложили, что кто-то кинул в машину лом. Официальная версия: вредительство. Но Леонов внутренне рассудил иначе: «Это была любознательность, недоверие к невиденному и непонятому. Проба нового бога, его могущества: “Сожрёт или нет?”».

И сам Леонов этого бога будет пробовать и проверять. И восхищаться им, и дразнить его, порой рискуя остаться без головы.

В декабре он публикует «Белую ночь» и вплотную приступает к «Соти».

Все три названных произведения — пьеса, повесть, роман — могут рассматриваться (и рассматривались) в контексте литературы советской, как имеющие её видимые, порой поверхностные, не глубинные, но всё же реальные признаки.

Вот она, сила теплопожатия! Горький зарядил Леонова верой в советский проект: самому Леонову до приезда учителя этой веры всё-таки не хватало.

«Усмирение Бададошкина»

Советский критик Нусинов напишет, что уже с середины 1920-х Леонов осознаёт «всю подлость, мерзость и ничтожество бывшей своей социальной “духовной отчизны”».

Под прежней отчизной подразумеваются и беспросветный Унтиловск из одноимённой пьесы, и умирающее Зарядье из «Барсуков».

«Но покуда, — говорит Нусинов о Леонове, — он не видит силы, способной раз навсегда отправить все “Унтиловски” на живодёрню истории, покуда он верит в их “изначальность” и непреодолимость, до тех пор он своим творчеством объективно затрудняет борьбу революции с Зарядьем. Но пролетариат идёт от победы к победе. Всероссийское “Зарядье”, конечно, не сдается, и его уничтожают. И в трагикомедии “Усмирение Бададошкина” (журнал “Красная новь”, 1929, книга 3) мы впервые находим у Леонова ощущение неизбежной гибели Зарядья. Но пока это ещё только ощущение, пока ещё Леонову кажется, что Зарядье умирает само под бременем своих грехов. Пока ещё Леонов дает только этическое толкование факта и не видит ещё той реальной силы, которая действительно уничтожает Зарядье. И тем не менее трагикомедия эта является уже шагом вперёд от “Унтиловска”. Людям Зарядья казалось, что нэп — начало конца революции, что его поражение 1919—1920 <годов> было временным. Образами “мелкого человека” Зарядье мстило революции за своё поражение и затрудняло ей даль-

нейшие победы. Леонов однако уже тогда выражал сознание той группы советской интеллигенции, которая видела гнилостный характер Зарядья, страшилась его унтиловской слюны, но не знала силы, способной преодолеть Зарядье и Унтиловск, и потому была склонна приписывать им общечеловеческую значимость. Отсюда — те глубоко пессимистические тона, которые прорывались тогда в творчестве Леонова. <...>

Решающие победы социалистической революции открыли выход Леонову из его зарядьевского плена, поставили его на путь преодоления философии "мелкого человека", на путь активного творческого участия в разрушении Унтиловска. В развитии Леонова начинается новый период — происходит переход его на позиции литературного союзника пролетарской революции».

Если не реагировать возбуждённо на большевистскую риторику, то можно лишь подивиться, насколько точно разгадал Нусинов суть Леонова. И непреодолимость «унтиловщины» у него заметил, и даже её, «унтиловщины», от сотворения человека изначальность. И неверие в силу, способную преодолеть то, что присутствует в человечестве как родовая мета, прознал в Леонове.

Впрочем, и не заметить этого было сложно.

В «Унтиловске» на страшную леоновскую тему высказывается сначала о. Иона: «...на жизнь-то не унывайте. Она, как бы сказать, ровно пряник, да приправлен-то он конским волосом. Жуёшь, так и сладко, а потом... По секрету уж вам скажу: я так думаю, когда господь землю сотворял, это он пошутить хотел. О-он нашутил, насыпал конского волосу в пряники!..»

Потом Черваков: «Ой, всякая человечинка с калечинкой. <...> Так не пинайте калечинку эту ногой, чтоб не зверела безмолвствующая...»

Та же тема проявляется и в «Усмирении Бададошкина»: «Где, где человечество? — вопрошает один из героев, явно обыгрывая известную сцену в гончаровском «Обломове». — Я вижу только виляющее чрево, вооружённое парой жадных рук. Где же люди-то, торгаш?»

Но сама фактура «Усмирения Бададошкина» уже перевешивала возможные претензии Леонову в реакционности и прочих грехах.

«Усмирение...» — злобная сатира, почти лишённая героев положительных, но дающая ясно понять, что исчезновение постнэповской мерзости неизбежно — эта мерзость поест сама себя, безо всякого, к слову, пролетариата, тут Нусинов выдал желаемое за действительное.

В пьесе описывается семья торговца рыбой Семёна Егоровича Бададошкина. Сюжет пьесы не слишком затейлив. Сна-

чала Бададошкина и его знакомых торгашей пытается обмануть некто, именуемый «Барин» — небезынтересный тип жулика, в котором просматриваются черты Остапа Бендера.

Любопытно, что леоновская сцена сбора Барином с торгашей, жаждущих социального реванша, денег под туманный антибольшевистский проект разительно похожа на подобную же сцену в романе «Двенадцать стульев». В обеих сценах создана схожая атмосфера пошлого абсурда происходящего; у Леонова к тому же появляется некий бестолковый старик, помогающий Барину и фактически идентичный Кисе, изображавшему «отца русской демократии». Но ввиду того, что и пьеса Леонова и роман Ильфа и Петрова создавались одновременно, возможность заимствований, скорее всего, исключена.

В итоге и Бададошкина, и Барина, и всю торгашескую братию обманывает сын Бададошкина — Никитай, после чего бежит прочь из дома с его богатствами. «Ныряй, ныряй, Никитайка!.. Где-нибудь и тебя додушат!» — предвещает ему обворованный отец.

Пьеса не до конца продумана. Ничем не объяснимо присутствие жильца в доме Бададошкина — Сергея Коротнёва, который претендует на пустующее место положительного героя, но так и пропадает из пьесы ни с чем. Не состоялась юмористическая коллизия вокруг престарелой матери Бададошкина, которая все четыре действия пьесы была глухонемой, но потом оказывается наделённой и слухом, и речью. Непонятно только, зачем это было нужно автору: под занавес ему совершенно нечего делать со старушкой, которая всё слышала и знала.

«Усмирение Бададошкина» никогда не ставили в театрах, и пьеса эта, безусловно, не самая удачная в леоновской драматургии.

Однако нужный идеологический крен в «Усмирении...» уже заметен, Нусинов прав.

Но не без леоновского потайного лукавства, конечно, сделана и эта пьеса.

Леонов и здесь использует становящийся в его сочинениях привычным приём: наделять сомнительными мыслями героев отрицательных.

«Осподи, да у нас все великие дела с жульства начинались. Рассея-то, ведь она что: кто сгрёб, с тем и поехала», — говорит в «Усмирении Бададошкина» главный и, несомненно, отрицательный герой: ему простительно.

Бададошкин же, скупая разные вещи, кричит на генерала, принёсшего ему вазу: «Рассею проюродили, а вазоны к нам принесли?.. А петухом вы ещё не пели, ваше превосходительство?»

Тот же приём используется в «Белой ночи», давая совершенно иное звучание повести, чей основной смысл, казалось бы, заключён уже в её названии. «Белая ночь» — повествование о затмении Белого дела, разложении Белой армии.

Именно с этой повести начинается Леонов, признанный официально, можно сказать: ортодоксальный советский Леонов. В 1930-е годы, по инерции, всё написанное Леоновым до «Белой ночи» ещё публиковалось. Но с середины тридцатых и на четверть века вперёд Леонов как автор первых своих рассказов, «Петушихинского пролома», «Провинциальной истории», «Вора» и «Унтиловска», существовать не будет. Ничего из вышеназванного не переиздавалось.

Появится несколько поколений людей, уверенных в том, что до 1928 года Леонов ничего, кроме «Барсуков», не написал. В сознании массового читателя намертво войдёт, что Леонов — это «Соть» и «Нашествие», а не «Конец маленького человека» и «Вор».

Советская критика начиная с 1940-х годов будет культивировать именно такой образ Леонова, удивительно сумев превратить самого откровенного пессимиста русской литературы в прогрессиста и оптимиста. Всё, не вмещающееся в этот образ, останется за пределами внимания исследователей.

И восприятие повести «Белая ночь» критикой наглядно доказывает это.

«Белая ночь» — вещь филигранная, сделанная безупречно. В русской литературе такого уровня повестей — сосчитать на пальцах.

Действие происходит в городе Няндорске. Это последний северный оплот Белой армии, пытающейся удержаться при помощи англичан. «Значение Няндорска возрастало по мере приближения фронта: белые отступали, открывая подход к морю. Англичане сердились, грозились уйти, но не уставали давать мундиры, галеты, какие-то нелепые пушки, почти единорогов, оставшихся от бурской войны, а на духовную потребу — ром».

Главный герой — поручик Пальчиков, «новый господин Няндорска», начальник контрразведки.

В городе недавно застрелен английский полковник.

Поручика Пальчикова вызывает высокое белогвардейское начальство:

«— Да, кстати... мы имеем секретное предписание от английского командования насчёт сугубых репрессий. Это по поводу убитого полковника... Вы уж распорядитесь там, голубчик!

— На какое количество вы рассчитывали, ваше превосходительство?.. — сухо осведомился поручик.

— Ну, десяток там, два десятка... я не знаю, — с видимой досадой нахмурилось начальство.

— Я не располагаю таким количеством арестованных, — двигая затёкшими пальцами в сапоге, сообщил поручик.

Начальство явно сердилось.

— Надо найти... Что-о? Надо найти, говорю. Разве в России люди перевелись, чёрт возьми! <...>

— Трупы прикажете доставить в английское посольство? — спросил он наконец, с лицом, серым, как обёрточная бумага.

Начальство дрогнуло и опустило глаза.

— Взашей мне вас, что ли, гнать, поручик?..»

Пальчиков, как долгое время объяснялось критикой, — продукт распада Белого движения, символ его агонии.

Между тем герой этот, при спокойном рассмотрении, вызывает скорее симпатию, раздражая, разве что, своей нарочитой фамилией, но на том — всё. Это человек гумилёвского склада, сын империи, профессиональный солдат, участвовавший в Первой мировой и, как и Гумилёв, служивший в конной разведке, умница и эстет, бесконечно, смертельно уставший и растоптанный всем тем, что случилось в его стране.

«Всё чаще нападала хандра на поручика, всё неотвязней давил незримый перст в затылок, всё настойчивей мытарил призрак великой России, которую, как печаль и бремя, положил в сердце своём».

«В этом тошном месиве вина и скуки он один из немногих вёл трезвую и размеренную жизнь; приятели бежали его подчеркнутого аскетизма, а он любил жизнь больше и с большими основаниями, чем любой из них. Он и недуг-то свой принял как издёвку той самой жизни, которую боготворил.

То случилось в великую войну, — Пальчиков был юнцом, носил на груди иконку — благословение матери. Тогда ещё кипели патриотические страсти, не разбавленные покуда ни предательством, ни разочарованием, и ему тоже захотелось стать героем. На зыбком влечении этом он вырастил юношеское своё миросозерцание; покинув политехникум, он на войне искал встреч с гибелью, чтоб, насмеявшись над ней, её позором укрепить свою собственную волю. Судьба подарила ему эту возможность: конная разведка, в которой участвовал и прапорщик, наткнулась на газовую волну. Отряд ускакал, а кобыла Пальчикова застряла копытом в мостовине. В лихую эту минуту, когда уже гаснул мир, Пальчиков и открыл под мостом неприятельского телефониста; тот пристально наблюдал прапорщикову суматоху, прикрытый резиновой харей со слюдя-

ными глазками — противогазом. Произошла беззвучная и беспримерная схватка. <...>

В тишине смерти плёлся он домой, и музыка переутомления сладостно гремела в его ушах. Мир разверзся перед ним, обнажая свои красоты, именно тем и обольстительные, что были им собственноручно вырваны у смерти. А через установленные сроки на его растрескавшихся губах явились первые язвы».

Жизнелюбец Пальчиков «отяжелел и на ноги, и на любовный порыв»; что, кстати, происходит со всеми жизнелюбцами в сочинениях Леонова.

Остаётся у поручика только одно — та самая печаль, то самое русское бремя, что «положил в сердце своём». Но финальная издёвка судьбы — оказаться на том месте, из которого в русские герои уже не попадают, а только во «всероссийские коменданты».

«Он ездил отказываться от назначения, ссылаясь на неопытность в делах секретной психологии и на недобрую боль в затылке; просил о переводе на фронт, но высокое начальство посмеялось его доводам».

В минуту ссоры у Пальчикова спрашивают:

«— За что ратует начальник няндорской контрразведки?»

«— Имя России вас удовлетворит, ротмистр?» — отвечает Пальчиков, сам уже понимая, что Россия на каком-то перепутье потеряна им и неизвестно кем подобрана.

«— Я имею в виду Россию не для вас, а для народа», — добавляет поручик чуть ниже.

«— Да в народе смеются про это, поручик!» — отвечают ему. — «Я двадцать три года в армии, и я ни разу не слышал, чтобы солдаты говорили между собой о России... Россию чёрт сочинил, когда он служил в херувимах, вот что-с!»

О России и о народе в повести отдельный разговор.

Повесть начинается почти гоголевскою фразою: «Огромная розовая лужа стоит на въезде в Няндорск».

Народ да и саму Россию в повести символизирует мужик с говорящей фамилией Кручинкин (думается, она имеет прямое отношение к той вечно больной русской душе, о чём Леонов писал Горькому), который направляется в Няндорск продавать молоко.

«Кручинкину кажется, что утро серо. <...> Он снова едет, усыпляемый поплёскиванием молока в бидоне; он дремлет и улыбается... Должно быть, так улыбается большая глупая рыба, идя в вершу».

Верши ему случайно поставил Пальчиков.

И вот герои встречаются: Пальчиков и Кручинкин.

«Трепеща, он (Кручинкин. — *З. П.*) просунул голову в щель портьерки и, памятуя, что начальство любит весёлых, улыб-

нулся проникновенно и сладостно, ото всей души и во всю рожу».

И ещё одна зарисовка «героя из народа», теперь уже взором поручика Пальчикова: «На лавке, возле изразцовой печки, в которой малиново пылал вечер, он увидел Кручинкина. Та самая Россия, комендантом которой собирался быть, сидела перед ним, моля нищими, бестолковыми глазами».

Следом несколько картин Няндорска, где происходят все события. «Начинался рассвет... <...> Из окон заспанные выглядывали хари». «Крупный белый петух пел у калитки, но, как ни вытягивал он шею, его не было слышно: всё покрывал густой вечерний благовест. Теперь он уже устрашал, этот поповский грохот, как бы чугунным одеялом накрывая Няндорск, — оно дрожало и всё дрожало под ним».

Пальчиков в повести (а на самом деле сам Леонов) вспоминает, что местные жители встречали крестным ходом Белую армию, «...они англичанам вопили “Welcome!”, они и красных встретят красными флагами... Вот она широта души...».

«Любой из горожан мог служить примером благонадёжности при всякой власти; все владели собственностью, но малюсенькой, все ходили в храм, но лишь потому, что театров в городе не имелось, и пока дело не касалось медяков в кармане, все единодушно поддерживали любую власть».

Всё это, безусловно, не что иное, как прежний леоновский безысходный и непобедимый Унтиловск, а никакой не Няндорск. Хотя и названия-то городам Леонов подобрал посозвучнее, чтобы никто не перепутал. Если в Унтиловске спрятан «утиль», то в Няндорске слышится «дурь». Но никто этого не замечал.

Критика в первую очередь обратила внимание на портреты иных белогвардейцев, ошалевших от кокаина и разврата. Вот Пальчиков размышляет о них: «...он взглянул в тусклые глаза тучного Мишки, в квадратное сердитое лицо Краге, на парикмахерский завиток Ситникова и понял, что поражение этих людей принесёт стране меньший вред, чем их победа».

Сколько в этом понимании офицерского, высокого, аристократического достоинства!

Гнилые, но ещё не мертвые: так оценил своих соратников по Белому делу Пальчиков.

Этого критике показалось достаточным.

Тем временем Пальчиков прощался с той Россией, что была в его сердце: «Кончалась белая ночь; неистовые розовые светопады за окном слепили. Поручик закрыл глаза и мысленно проследил свою жизнь... <...> Как на параде, истекая вышнею благодатью, перед ним проходила империя, и впереди её

почему-то шли мохнатоголовые гренадёры, которых в солнечный день однажды Пальчиков ребёнком видел из окна; потом двигались металлической лентой кирасиры, и медные орлы их готовы были лететь и когтить врагов династии и самодержавия... Потом краски посерели, и в серое вмешалась кровь...»

Это звучит как гимн. Как трагедия. Гибель империи, звук бронзы, распад, серость, красное подступает.

Империя и Няндорск-Унтиловск — это два измерения родной страны, по Леонову. Империя — величественная надстройка, унтиловщина — вязкое дно. Первое измерение, имперское, уже рассыпалось, распалось, завязло. Второе — почти вечно. Империю не вернуть, унтиловщину надо преодолеть.

В первую же встречу Пальчиков, не разобравший кто такой этот Кручинкин, откуда взялся в доме допрашиваемого, пинает его ногой, офицерским сапогом в грудь. Кручинкин валится, вращая бестолковыми глазами; льётся молоко из опрокинутого бидона.

Такая Россия Пальчикову не нужна, он не знает, что с ней делать. Её можно, например, расстрелять.

В няндорской тюрьме томятся несколько, числом пять, приговорённых к расстрелу: их должны принести в жертву во имя погибшего английского полковника. В числе пяти оказывается тот самый Кручинкин, с бестолковыми и нищими глазами всей России, угодивший в тюрьму по нелепой случайности. С ним сидит глупый гимназист, застреливший того самого англичанина, но вовсе не по политическим мотивам, а на любовной почве: они оба имели виды на поповскую дочку. А ещё «красный матрос, осуждённый скорее за дерзость, чем за преступное своё звание», «необъяснимый хлюст в технической фуражке, — причём, когда распахивалось пальто, на нём оказывались длинные дамские панталоны», «Стенька с Вилёмы, утерявший тут свою грозную репутацию неуловимого».

Проще говоря, в камере собрались все изводы русской реальности: помимо кручинистой, извечной России, наличествовала новь большевистская, дерзкая, элемент маргинально-декадентский и буйное, разинское начало — недаром бывшего гуляку зовут Стенькой.

Красного матроса, со всем его самурайским кодексом, пока они вместе сидят в тюрьме, Кручинкин сторонится. Да и матрос к нему нежен не был: «Кончай свой храп, оглушил совсем! Нашёл время для сна, моржовина!» — так большевик будит Кручинкина. И тот «уразумел, что моряк этот человек опасный и на его корабле из тюрьмы не уплывёшь. Быстрёхонько схватив сермягу с полу, он отошёл от зла в сторонку». Как же всего этого не видел никто!

Именно в «Белой ночи» Леонов описывает тот реальный случай прощания вора с подругой, что пересказывал годом раньше Горькому. Но не говорит прямо, что она подняла юбку, лишь намекает на это.

«...По улице неспешно, как в прогулке, прошла женщина, повязанная платком; на щеку из-под платка выбивался клин тёмных волос. Она возвратилась, прошла ещё раз и остановилась у окна, где ждал её Стенька.

Должно быть, заранее на этот час была условлена у них разлука. Стенька сопел, а та не плакала, знающая всё наперёд, привыкшая к мысли о расплате. Она стояла с покорными руками, и вдовий её облик был неотделим от образа белой ночи, проходящей по няндорским пространствам. Вдруг багровая волна, подымаясь снизу, залила Стенькино лицо; оно распухло, исказилось, и рот его, развороченный страданием, мучительно метался в нём. Он крепко держался за решётку, точно какой-то вихрь, набежав сзади, мог продавить его сквозь лилейные эти шипы; так прошла минута. Стенька прощался с миром и со всем, что было ему дорого в нём. Потом багровость отлила, и краска, серая, как небелёный саван, одела безразличное лицо. Он махнул рукой и отвернулся. Прощание кончилось».

Но утром в камере появляется Пальчиков и отпускает на волю матроса, Стеньку, гимназиста, Кручинкина.

Иными словами: Пальчиков отпускает от себя Россию, уже ненужную ему.

Освободив этих арестованных, поручик стреляет себе в голову, «...и наступило одно мгновенье, когда он совсем походил на пикового туза», — на которого Пальчикову гадали в эту ночь... А походил на туза он разорвавшимся своим затылком.

Россия, в лице Кручинкина, снова спешит домой, в свою непролазную глухомань.

«И опять пошла дорога, а при дороге мох-деряба, да брусника, да сиха голубая, да клюква, да редкая подорожная сосна. Здесь он чуял себя хозяином, и никакая сила, кроме сна, не настигла бы его тут. Так он и ехал по пылям большой дороги, дремля и улыбаясь; должно быть, так же улыбается большая глупая рыба, уходя из верши».

Такая вот Россия на пылях большой дороги. «Никакая сила» её не берёт — «кроме сна». Красный матрос попытался, да Кручинкин — в сторонку.

За Россию в те времена истовой борьбы с «великорусским шовинизмом» критика и не подумала бы обижаться. Зато можно было бы обидеться за большевиков, идущих к Кручинкину, надо понимать, с новой вершой.

* * *

«Огнедышащая новь», грозящая «уничтожением и мукой», — так подступающих большевиков воспринимал поручик Пальчиков. Но это он о своём уничтожении думал, о своей муке. Может быть, для народа «огнедышащая новь» несла иное?

«Да, сперва Радищевы, Новиковы, Чаадаевы... — размышлял Пальчиков, — эти домодельные свободоискатели и подстрекалы, эти проклятые жернова на шее русской интеллигенции. <...> Ха, они взошли теперь, багровые дрожжи девятнадцатого века, она пришла, эта свобода, самовластная хозяйка, беспощадная, как хлеб. Радуйтесь, дьяволы...»

Пальчиков мог бы вместо «дьяволы» сказать «бесы», но тут уж больно очевидный обозначился бы мосток.

Воспринимал или нет Леонов в 1928-м Горького (наряду с собственным отцом) как «подстрекалу»? Думается, тогда уже отношение Леонова к Горькому было, при всей человеческой влюблённости, не самым простым.

Окончательный и самый жестокий диагноз в «Белой ночи» большевикам поставил оккупант, англичанин. В переводе на русский его слова звучат так: «Русские всегда старались поджечь мир во имя какой-нибудь высшей цели. А впрочем, все эти ребята, пророки и реформаторы, что бы они ни болтали о счастье человечества, в конечном счёте им на него наплевать».

Был в повести ещё один важный разговор об «устройстве человеков на земле». Ротмистр Краге говорит, что «стоит только переделать тюрьмы в театры, и сразу расцветёт благодарное человечество, как подсолнечник в огороде. А так как полны тюрьмы, то полезно истребить сперва заключённых во имя всемирного счастья, а там уже и переделывать, декорируя освобождающиеся помещения зеленью и флагами».

«— Я всегда подозревал у тебя красные мысли», — отвечает ротмистру Пальчиков.

Какая всё-таки наглая сатира, а? Перестрелять лишних «во имя всемирного счастья» и флаги развесить потом...

Повесть-то, как мы видим, жуткая, за Няндорск Леонова надо было бить в три раза злее, чем за Унтиловск, но ничего подобного не случилось.

Может, оттого, что Леонов честно признал устами своего обречённого на смерть поручика, что «с падением Няндорска начинается новая эра в существовании страны».

Эту эру Леонов, уставший от безысходной унтиловщины, призывал и заклинал. Принимал ответственность за приближение новых времён. В конце концов, даже подстрекал их приход. Правда, в отличие от Горького, делал это тогда уже, когда главный выбор в стране свершился и пути назад не было.

* * *

«Белая ночь» выйдет в декабрьском номере «Нового мира», а спустя три месяца, 1 марта 1929 года, не станет Максима Леоновича Леонова.

На его похороны сын не попадёт. Причину мы не знаем: мог элементарно не успеть. Но, надо сказать, в Архангельске Леонов не появится больше никогда. Причина очевидна: в злобно спародированном под видом Няндорска городе его слишком многие помнили, могли бывшего господина прапорщика ухватить за лацкан.

Но не явиться на похороны отца или на могилу его, какой бы он ни был, этот отец, — наверное, грех.

Впрочем, не нам судить, не нам. Не в наши времена.

Вперёд и вверх

В 1929-м Леонов делает ещё несколько уверенных, продуманных шагов, чтобы окончательно вывести себя из-под рапповской критики.

В течение года Леонов участвует в литературных собраниях при журнале «Новый мир».

«Красная новь» под рапповскими ударами несколько сдала; вскоре из книжек Леонова начнут вырезать предисловия «троцкиста» Воронского, а самого Воронского арестуют (потом отпустят до 1937-го). Не покидая «Красной нови», с 1928 года Леонов становится одним из главных авторов теперь уже другого центрального советского журнала — «Новый мир».

В январе Леонов отвечает на анкету «О теории социального заказа» (Печать и революция. 1928. № 1). Социальный заказ он не отрицает. Но при этом по-леоновски огрызается на самых ретивых: «Следует разумно использовать литературу для построения нового общества, следует всячески способствовать расцвету её живых и здоровых сил, а не стандартизировать циркулярами художественную мысль».

В марте 1929 года в «Красной нови» публикуется «Усмирение Бададошкина». А с июля Леонов начинает выдавать кусками «Соть»: первый свой роман о социалистическом строительстве. Сначала в шестом номере популярного иллюстрированного журнала «30 дней» идёт отрывок «Проект». Потом в сорок седьмом номере адресованной крестьянской аудитории «Красной ниве» — «Начало стройки».

На лето Леонов уезжает в Барвиху вместе с дочкой Леной. С этого года он постоянно проводит летние месяцы за городом.

Живёт, впрочем, в обычной крестьянской хате, которую снимает. Окно на Москву-реку выходит, берег, леса...

В Барвихе продолжал работать над «Сотью». Вспоминал потом один красивый день: июль, полдень, работается хорошо. Писал, между прочим, характерную сцену романа: как напала на деревню засуха и крестьяне упросили батюшку отслужить молебен о дожде. Батюшка всё сделал, как просили, и дождь пришёл — огромный, злой, нескончаемый. Всё начало гнить и преть.

Вполне в духе Леонова история, очередная его каверза внешне почти атеистическая, но внутри с очевидной заковыкою: Бог, по Леонову, есть — да у него непростые отношения с человеком.

Доделал эту сцену и, как сам вспоминал, задумался: что скажет о написанном Илья Семёнович Остроухов? Наверное, предполагал Леонов, разругает опять: «Зачем всё это? Нехорошо!»

Тут шум — мама приехала, Мария Петровна, с печальной вестью: Остроухов умер.

Леонов ушёл куда-то подальше от людей, в прибрежные заросли забрался, плакал: «Как хорошо было жить... мальчишкой. Я мальчишка был и все мне были рады... А что теперь? Всё?»

Девятого июля Леонов едет в столицу на похороны Ильи Семёновича Остроухова.

Потом в августе он ещё раз окажется в столице, чтобы встретиться с Горьким: Алексей Максимович спустя год снова наведался в Советскую Россию.

После смерти Остроухова Горький ему почти как отец, он верит ему и прислушивается к нему, надеется на него всем сердцем.

Куда без Горького теперь — без него теперь никак.

Горькому Советская Россия по-прежнему по нраву. В прессе идёт публикация его очерков «По Стране Советов». Леонов их конечно же читает.

Осенью, окончательно вернувшись из Барвихи, Леонов интенсивную свою работу по внедрению в административные писательские элиты возобновляет. Публикуется его ответ на анкету «Как реорганизовать Союз писателей» в «Литературной газете» за 30 сентября. Затем — идеологически выверенное интервью «Союз писателей на новых путях» 26 октября в «Вечерней Москве».

В «Литературной газете» за 9 ноября идёт новый отрывок из «Соти» — «Перед прорывом», и в этом же номере — мысли Леонова об отношении писателя к социалистическому строительству.

В начале декабря в журнале «30 дней» (№ 12) публикуется глава из «Соти» «Возвращение Сузанны». И, наконец, в «Известиях» от 20 декабря — ещё один, знаковый, отрывок романа, называющийся «Вредитель».

Леонов будто набирает высоту — в течение года. Итог: 30 декабря он избран председателем правления ВССП — Всероссийского союза советских писателей.

Вполне возможно, что произошло это не без рекомендаций Горького, авторитет которого в Советской России уже начал превращаться в культ.

Хотя для РАППа, пока ещё почти всесильного, всё это не кажется достаточной причиной, чтобы прекратить критику Леонова. Его по-прежнему держат за литератора, которому ещё перековываться и перековываться.

Но тональность высказываний всё-таки на некоторое время изменится («В результате побед социалистического строительства Леонов увидел способность Октября уничтожить моральное подполье "Зарядья", преодолеть "Унтиловск" и переродить "мелкого человека" из "подпольного" и "лишнего" человека в участника великой стройки...» и проч., и проч.», — пишут рапповцы о начавшейся публиковаться «Соти»).

Зато после «Соти» в Леонове разочаруется значительная часть эмиграции: он им больше не «свой», почувствуют там. Хотя, признаем, «своим» для эмигрантов Леонов и не был никогда.

«Роман написан если и не на заказ, то всё же под давлением тех лиц и настроений, сил и веяний, которые ныне литературой в России управляют», — утверждал Георгий Адамович. Даже он готов был согласиться, что «не на заказ», но поверить в то, что такое может писаться по собственному почину, в силу удивления и потрясения пред происходящим в стране, в эмиграции уже не умеют.

«Леонов спустился с тех "вершин", на которых... он держался в "Воре", на гладкие полянки "производственной беллетристики", где героем является не столько человеческая душа, сколько какой-нибудь турбогенератор», — продолжает Адамович (сквозь зубы признавая, правда, при этом, что «Соть» — книга вовсе не разубеждающая в том, что у Леонова «среди молодых русских романистов почти нет соперников»).

На самом деле в полной мере не были правы ни совкритики, ни Адамович. И первые, и второй в равной степени оказались ангажированными. Одни — глобальной насущной задачей, перед которой меркли любые метафизические метания. Другие: пожизненным унижением и изгнанием, отравившим навек вкус ко всему, что им недоступно даже для лицезрения.

К тому же ещё задолго до романа-наваждения «Пирамида» Леонов обладал умением создавать при помощи текста ощущение некоего окутывающего марева. «Ожившие клочья тумана» — так он определял своих героев. Посему тексты Леонова, несущие самые разные смыслы, почти как в «Белой ночи», не скрытые и даже зачастую очевидные, трактовались на удивление просто, если не сказать наивно.

Влияло на восприятие книг Леонова и время, которое не очень ценило полутона (по обе стороны советской границы, повторимся), предпочитая ясные и простые цветовые решения: красный, белый, чёрный, свой, чужой.

Хотя и в «Соти» смысловые каверзы, авторскую упрямую иронию и привычные леоновские зарубки по пути к извечной теме можно было бы разглядеть уже тогда.

* * *

В центре повествования несколько большевиков: Потёмкин, Жеглов, Увадьев. Последний — главный герой.

Потёмкин — инициатор строительства комбината на Соти, пробивающийся со своим проектом через всевозможные препоны: «сановитые бюрократы», пишет Леонов, «твердя о социализме, все называли этим словом что-то расплывчатое и как будто удалённое на века».

Слабый, в сущности, человек, измотанный и работой, и временем, и невниманием, Потёмкин едва дотягивает до запуска своего детища, заболевает и начинает умирать, медленно и тяжело.

Фамилия его не только напоминает о потёмках как таковых, но к тому ж вызывает нехорошие ассоциации с потёмкинскими деревнями.

В имени Жеглова нарочито слышен глагол «жечь», и, конечно, недаром, словно мимоходом, брошено в романе о нём: «...прежнюю незлобливость посмыло с него...» — злобный стал, злой. Близкие, впрочем, называют его по-доброму, без унижения, Щегол. С близкими он добр. И жжёт, возможно, его же самого, изнутри.

Но самые тяжёлые смыслы уже в самом имени своём несёт Увадьев, Иван Абрамыч. В фамилии его отчётливо слышны «наваждение», или, вернее, «навада»: слово, означающее дурной соблазн. Он будто детище того самого призрака, что бродил по Европе, навьи планы свои вынашивая.

Посконное имя Увадьева «Иван» подчёркивает близость к народу, а редкое на Руси отчество «Абрамыч» намекает усомниться в этом и подчёркивает некоторую чужеродность героя.

Первое же появление Увадьева в романе является ключом к его образу. Пробираясь на телеге сквозь лесные дебри к месту будущего строительства, Увадьев на минуту останавливается возле муравейника и протыкает его пальцем.

«Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок, — напрасно они тащили её на расправу к своему нещадному судье» — так описывает Леонов произошедшее в муравейнике.

«Лишь забава двигала рукой человека», — пишет Леонов, употребляя очень важное своё слово «забава» (позже оно станет названием одной из трёх частей «Пирамиды»).

Растревоженные и раздавленные муравьи «угомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло». Отметим определение «недоброе».

«Увадьев вынул палец из муравейника и понюхал: он пахнул терпким муравьиным потом».

«Он шёл, — пишет Леонов об Увадьеве, — и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна».

«Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы», — говорят Увадьеву свои же, соратники по строительству, во время важной беседы. Леонов слова эти, обращённые к Увадьеву, трактует как «непонятную» шутку, хотя сам всё прекрасно понимает: Увадьев выпивает содержимое, оставляя внутри пустоту.

А если содержимое не поддаётся... Монахи, чей тихий и бесполезный век в скиту с приходом строительства окончен, догадываются об Увадьеве: «...царь-де ременной плёткой стегал, а этот поди железную привёз».

Растревоженный приездом большевистских активистов, кричит игумен: «В Соловецки-те времена, бывало, наедут, башку отмахнут, да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смертного закрутят. А в конечный день, как тряхнётся земля и колыхнётся небо, утерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться начнут... заревёт труба, на гору положена... тоды я тебя вопрошу... хде был? <...> Эх, метла-метёлка; балы, машкарады, смрад их тебя прельстил?»

Смрад — это адский запах, запах бесов.

Монаший скит, впрочем, и сам уже превращается в наваждение, и есть такое чувство, что встречаются две навады: новая советская и отжившая допетровская.

О том, как на пути Увадьева сотоварищи встретился скит, написано так: «В недолгом свете спичек, негаданный, как наважденье, рождается косой деревянный крест. На карте... нигде не помечен этот тайный скиток».

Вообще у Леонова, при всей внешней ясности, если долго

вглядываться, начинает проявляться очень невнятная, плывущая реальность, как будто времена и сроки наплывают друг на друга.

«— Что, что в миру-то? — с томлением, как бы издалека вопрошал Евсевий.

— А дым, дым в миру идёт, ничего не видать за дымом!»

От империи остался только прах, советское твёрдолобо и грубо, а допетровское, проявляясь нежданно в лесных дебрях, пугает пустыми глазницами.

Мы уже заметили, что в «Соти», как ранее в «Белой ночи», вновь возникает мотив бесовщины, точнее сказать — чертовщины, причём мотив неотвязный и навязчивый.

Слово «чёрт» вообще одно из самых упоминаемых в тексте.

Потёмкина, пытающегося пробить начало строительства, именуют не только энтузиастом, но и чёртом, и ещё, кстати, Хеопсом, и тут вновь возникает мотив «Пирамиды» и вспоминается печальная судьба самого Хеопса.

Мать говорит Увадьеву: «Жги, да пали, да секи, да руби единородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете?»

Сам Увадьев такие приказы отдаёт рабочим: «Работайте, как черти! Про вас песни сложат».

Да и говоря о себе, чёрта поминает он как присказку: «Но, чёрт, я одет в мясо...»

Не удивительно, что само понятие «душа» кажется Увадьеву насмешкой и пустотой: «Душа, ещё одно чудно́е слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... я делал их, ел или держал в руках... я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа».

На ту же тему, но в противоположном смысле, рассуждает другой персонаж, из мужиков, в силу неумолимой леоновской иронии строящий нужники: «У вас в городе поди и древо-те камнем пахнет, а в камне сердца нет. Душа не может в камне жить, нет ей там прислонища. И как мне досталось понять ноне, душа, милый, навсегда уходит из мира, а ейное место заступает разум».

Когда на Соти свершается крестьянами крестный ход, в воду погружают крест и поп говорит: «Гарь идёт!» Как будто пропиталась чертовщиной земля в тех местах.

«Держите тишину, дьяволы!» — так обращаются к строителям на собрании.

И тому подобное: «...вывози своих чертей...»; или: «Черти вы, черти... обеднили нас до лоскутка!»

Один из героев «Соти», Лука, накануне начала строительства своими глазами видит нечисть: зайца с красной головою, выскочившего из трухлявой сосны.

Всё это напоминает нашествие бесов на скит в уже рассмотренных нами «Деяниях Азлазивона».

«...пошли косноязычные всякие толки, — пишет Леонов, — будто на опушку близ местности Тепаки выходил корявенький старичок, луня седей и рыся звероватей, нюхал весёлый щепяной воздух, хмурился... И тут будто встретился ему московский комиссар Увадьев, которому щёку чирьем разнесло. И якобы, пробуя напугать власть, сказал старичок: “Я тебя, дескать, и не так ещё тяпну, во всю харю прыщ насажу: топором не вырубить!”».

Но молодые, злые, сильные и бодрые черти всё равно выдавливают старых изо всех их щелей: «Миллионы существ, если считать всю домовую насекомую нечисть, потеряли в те дни покой и жилище. По дорогам сломя голову бежали тараканы, скулили домовые по ночам; Фаддей Акишин, всеплотницкий староста, даже помолодел от весёлого разгула ломки».

Монахи в ужасе: «В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоуменьям, но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово: антихрист. И верно: две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой».

«И верно» — антихристы! — вот что утверждает прямым текстом Леонов, совершенно не прячась.

Сам Увадьев едва появляется в скиту, в темноте мнится монахам как бес.

«— Трудишься, отец? — полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. — Видно, и вас-то даром не кормят!

— Ямы вот чищу, — охрипло отвечал казначей.

— Чего же присматриваешься, аль признал?

— Ты бес...»

И далее: «...туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды». Как будто начинается новое мироздание — такое вот ощущение от этой туманной мокрой мути.

Поначалу Увадьев вроде бы кажется героем положительным. Но для приметливого читателя, изучающего образ Увадьева, автор тут и там оставляет знаки, метки.

Во время Первой мировой, попав на фронт, Увадьев, в отличие от Пальчикова, не воевал, но мешал воевать. «Его не убили, даже не подранили, а разрушительная работа, которую он продолжил вести в армии, благополучно сходила ему с рук. <...> Гибель империи освободила его от военного суда и кары».

Леонов не даёт никаких оценок, он констатирует факт: так было. Разрушительная работа, должны были расстрелять, но погибла империя.

«Его мало кто любил, но уважали все», — пишет Леонов про Увадьева. Жене этого человека «бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки».

В отношении к женщине Увадьев перекликается с Пальчиковым.

«— Молодая-т — жёнка, что ль твоя?» — спрашивают Увадьева о спутнице.

«— Не, жёнка у меня там, далеко... — неопределённо махнул он, и все поняли, что разлуку с ней он переносит без особого вреда для здоровья».

Сравните с диалогом Пальчикова и англичанина из числа «союзников».

«— Вы тож имеете одна? — почему-то приспичило ему (англичанину, только что хваставшемуся фотографией своей невесты. — *З. П.*) спросить по-русски.

— Нет, я не имею ни одной... — сухо поклонился Пальчиков».

Увадьеву, как и Пальчикову, детей Бог не дал. Леонов волей своей вообще не даёт права на продление рода сильным, встающим в полный рост, упрямым, волевым.

Жена Увадьева, возвращаясь из церкви, поскользнулась в гололедицу, и случился выкидыш. И то, что она именно из церкви возвращалась, совсем не случайно. У Леонова вообще нет никаких случайных деталей, но, напротив, именно из них и формируется реальная картина мира.

«Одна горсть сохранённых подробностей даст оправдание книге» — так он говорил.

Второго ребёнка задушила пуповина, а что муж? Увадьев, забыв о жене, «которая десять лет проторчала под рукой как походная чернильница», пошёл к иным женщинам. «В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения».

А потом Увадьев, «не страшась причинить горе», угощал жену шоколадом, «который оставался у него в кармане от другой».

Начиная строительство, Увадьев мечтает о том, что все нынешние трудные свершения — они делаются во имя некоей будущей девочки. В мечтах Увадьев дал ей имя Катя.

И здесь очень важный момент: первой случайной жертвой стройки становится именно маленькая девочка — её убивает вырвавшимся из земли саженным брусом.

Постепенно вытравив всё человеческое из Увадьева, в середине повествования Леонов пишет о своём герое, что он вылит из красного чугуна. Увадьев ещё видит сны, но и во сне ему снится «красный шар, громоздко катившийся с востока на запад». Подминая всё под себя, надо понимать.

Портрет героя довершается так:

«В привычках Увадьева было рубить с маху там, где и без того было тонко:

— Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне!»

Вот они — новые люди, строящие новый мир.

Леонов смотрит на них честно и безжалостно.

Такой Увадьев просто не мог не завершить стройки.

Возможно, никто иной и не смог бы. Этот чугунный чёрт, сломав по пути несколько судеб, сделал своё дело, вопреки бунту природы и темноте мужичья.

«Я не боюсь моих ошибок, им со временем найдут громовое оправданье» — такова позиция Увадьева.

Философия самого Леонова, несомненно, иная. И её, как нам кажется, формулирует в одном из диалогов книги инженер Бураго: «Я строю заводы, Увадьев, и мне не важно, как вам необходимо назвать это. Я буду с вами до конца, но не требуйте от меня большего, чем я могу. Социализм... да... не знаю. Но в этой стране возможно всё, вплоть до воскрешения мёртвых! Приходит новый Адам и раздаёт имена тварям, существовавшим и до него. И радуется... <...> Нет, я уже старый: я помню и французскую революцию, и несчастие с Икаром, и библейскую башню, и позвонок неандертальского человека в каком-то французском музее. Вы много моложе меня, Увадьев».

Увадьев отвечает:

«— Бураго, есть вопрос. Река пойдёт в трубы?

— Непременно.

— Целлюлоза будет?

— Твёрдо».

Леонов знает, что река смирится и будет целлюлоза. И радуется вместе со всеми новому Адаму, новым именам, иным свершениям. Но Икар упал и башня разрушилась: об этом он тоже знал. Потому что нет ничего превыше Бога.

Леонов ничего не скрывал!

Но Горький ничего этого вовсе не заметил или заметить не захотел.

«...прочитал "Соть", — писал он Леонову, — очень обрадован — превосходная книга! Такой широкий, смелый шаг вперёд и — очень далеко от "Вора", книги, кою тоже весьма высоко ценю... Имею право думать и утверждать, что "Соть" — самое удачное вторжение подлинного искусства в подлинную действительность и что, если талантливая молодёжь прочитает эту книгу, она — молодёжь — должна будет понять, как надобно пользоваться материалом текущего дня, для того чтоб созидать из этого материала монумент текущему дню...»

Жуть. «Монумент...»

Редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский сделал в те дни такую дневниковую запись по поводу Леонова: «Его “Соть” не нравится писателям. Бабель говорит: не могу же я писать “Соть”. Но Леонов знает, что когда ко времени. Искренен ли? Вряд ли. Не думаю».

Не важно, что Полонский несколько преувеличивает по поводу «не нравится писателям»: Зощенко, к примеру, назвал «Соть» «отличной книгой».

Куда важнее, что никто по большому счёту ничего тогда не понял в романе. Ни Горький, ни Полонский, ни Бабель.

Десант в Азию

Наркомпрос Туркменистана возжелал ознакомить литераторов с жизнью южной советской республики — и Наркомпросу не отказали. 22 марта 1930 года отправилась в путешествие бригада в составе трёх поэтов — Тихонова, Луговского, Санникова, и трёх прозаиков — Леонова, Всеволода Иванова и Павленко (последний был инициатором поездки).

Просто так выгуливать бригаду эту никто не собирался: поездка была социальным заказом, который предстояло выполнить. И Леонов идёт на это: он желает утвердить свои позиции, дабы чувствовать себя уверенно и спокойно.

Бригада проследовала по маршруту Ашхабад — Кушка — Мерв — Байрам-Али — Бухара — Керки — Чарджуй.

«Был дождь при свежем ветре и плескалась грязь на лагерно-чётких улицах, когда мы приехали в Ашхабад, — вспоминал потом Пётр Павленко. — Каменные тучи копет-дагских отрогов кружились за городом.

Есть города, уютные даже в дождь. Ашхабад не похож на них — тучи, падая с гор и вися над нами синими валунами, подчёркивают низкорослость города и превращают всего его в одноэтажный пригород какого-то другого центра, грязь и переполненные водой канавы коверкают улицы, и белые стены домов покрываются мокрыми пятнами, похожими на застарелые пролежни».

В общем, вдохновиться поначалу было крайне сложно: муторная поездка, маркость, сырость — притом что воды в достаточном количестве нету...

Недаром Леонов в очерке, написанном по итогам поездки, в числе прочего не забывает сказать доброе слово о благах цивилизации: «Всё это надменное глиняное величие... вряд ли обольстит трезвого нынешнего человека, а поэт не расщедрит-

ся даже на “раскулаченное” от всяких рифм и размеров стихотворение. Мы уже познали железо и бетон, мы ценим мудрую прелесть канализации, словом вода мы привыкли определять не стоячий студень грязного арыка, а то текучее и жизнетворное благо, одна мысль о котором даёт прохладу».

Случались, впрочем, и любопытные наблюдения. Улицы Ашхабада 1930 года были переполнены велосипедистами: писатели стали свидетелями похорон, когда покойника провожали люди в папахах, строгих халатах и на велосипедах.

Точные зарисовки восточного быта есть в написанной Леоновым по итогам поездки повести «Саранча». Вот так герой видит местный базар: «...все старались точно заводные. Гражданин скоблил ножиком голову другого гражданина: подобная дёгтю, кровь текла по лезвию, и оба в увлечении не примечали... <...> Под деревом, в кругу редких зрителей, пел бахши, и лоснящееся дерево дутара невпопад вторило ему. Он пел, всяко качая свою кудлатую папаху, то закидывая голову так, что через горло его можно было бы увидеть самое сердце, откуда исходил стонущий звук, то совсем наклоняясь к пыли, словно и муравья призывал в свидетели искренности своей и знания».

В Ашхабаде писателей поселили в общежитии ЦИКа. «...он построен в манере небольшого алжирского форта, замкнутым четырёхугольником, с целой серией внутренних дворов, — описывал писательское жильё Павленко. — По ночам с плоских крыш его свисали собаки и лаяли вниз».

«...Шестеро, бригадой, мы ходили в ЦК ВКП(б), в Совнарком, в управления наркоматов, чтобы ознакомиться с арифметикой страны, — продолжал Павленко. — Встречаясь с людьми, мы сразу запросто ловили их в блокноты со всеми их рассказами, ещё не зная, что нам пригодится из услышанного, но ничего не желая упускать. Нас закружил шторм разнообразнейших впечатлений. Ночью, сходясь в своих комнатах, мы обменивались пережитым».

«Туркмения в борьбе за новый свой быт, — пишет Леонов в своём очерке по итогам поездки, — прежде всего должна будет скинуть с себя нарядные лохмотья среднеазиатской экзотики, под которыми искусно прячутся нищета, высокая заболеваемость, невежество. По своему опыту мы знаем, что это трудно... и возможно. Мне пришлось говорить об этом в Ашхабаде на одном людном вечере; мне возражал там человек в пышной белой папахе: ему непременно хотелось думать, что под экзотикой я разумею национальную туркменскую культуру. Немыслимо, чтобы этот патриот протестовал против электрической лампочки в кибитке, против лечебниц в ауле, против стоячих

ковродельческих станков; вечер был шумный, вероятно, мы взаимно не поняли друг друга».

Леонову было отчего раздражаться: в Туркмении на всю огромную страну было 48 врачей, да и те сидели в городах; в кишлаке Ших в Чарджуйском округе писатели видели дерево, стоящее над могилой праведника, — в дупле его якобы хранилась святая вода; больные макали в неё палец и обмазывали поражённые веки, но результатом подобного лечения была повальная трахома.

Нужна была какая-то тема, позволяющая обобщить все впечатления. И Леонов быстро, уже в Ашхабаде, обнаружил эту тему: его очень заинтересовали истории о нашествиях саранчи, нежданно опадавшей с неба на несчастный Туркменистан и из раза в раз пожирающей всё на своём пути.

Но и эта тема была ой с какой потаённой каверзой.

* * *

Ашхабад, где пришлось в общей сложности провести восемь дней, писательской бригаде дружно не понравился, показался скучным, и они двинулись вглубь Туркмении. На девятый день загрузились в поезд и поехали в сторону Мерва.

Организовывал встречи и поездки бригадир из «Туркменской газеты» по фамилии Брагинский, большевик, в прошлом каторжанин, всей бригаде показавшийся человеком вдумчивым и симпатичным.

Леонов не расставался с фотоаппаратом; был бодр, весел, фотоаппарат его, как сам он выразился, «жадничал и торопился» — писателю хотелось запечатлеть эту невероятную смесь древности и еле слышной нови. «Сегодня ещё во многом похоже на вчера, но завтра вряд ли станет походить на сегодня» — так писал он спустя месяц.

«...Когда я, — продолжал Леонов, — профессионального опыта ради и любопытства, спросил у купца на Мервском базаре о Тулуе, Чингисовом сыне, который семь веков назад растоптал Мерв, стены его и сады, библиотеки его и знаменитую Султан-Бентскую плотину, а заодно и полтора миллиона жителей его — и город болел два с половиной века! — купец ответил через переводчика:

— Не знаю... Тулуй? наверно, он торгует на другом базаре!

Это был занятой человек; он торговал насом, порошкообразным, зловещего зелёного цвета табаком, который насыпают под язык и сосут до отвращения; у его мешков стояла очередь, ему было некогда, и я не торопился отягощать его своими бесполезными сведениями».

С Мервом связан другой анекдот той поездки. Гуляющую по городу писательскую делегацию разыскал милиционер и поинтересовался, кто тут Леонов.

Леонид Максимович отозвался.

— Пройдёмте, — сказал милиционер. — Необходимо снять ваши отпечатки пальцев.

— В чём дело? — всполошились все.

Выяснилось, что незадолго до приезда делегации в Мерв туда пришла телеграмма, где сообщалось, что в город прибывает некий Леонов, и в скобках: «бродяга, барсук, вор».

(Это названия одного рассказа и двух романов Леонова.)

Брагинский милиционера прогнал, обозвав «дураком».

Из Мерва литераторы отправились в Старый Мерв: десять километров верхом, среди живописных развалин.

«Так вот он Мерв, Марг, Маргиан, Моуру, — писал Леонов, — вот он пуп земной на Мургабе, центр исламистских праведников и ереси несторианской, ночлег каракумских ветров и могильник уснувших народов! Я ждал почему-то тесноты, причудливых нагромождений камня, таких же как на кладбище в Бухаре, когда становится душно от многих тонн человеческих эмоций, незримо слежавшихся тут и приобретших цементную плотность. Я зря готовился сопротивляться очарованью экзотики, мёртвой и живой; тут было привольно, солнце проникало всюду, и нигде не было преграды моему красноармейскому коню. <...>

Бывают города-вдовы; есть в мире Генуя, такая могучая, пёстрая, рыбацкая вдова, ещё могущая соблазнить изголодавшегося моряка; я видел Вену, грустную, неутешную и с заплаканными глазами вдову присяжного поверенного; тут перед нами лежал скелет вдовы, столько любимой и столько топтаной — легионы мужей побывали в её обширной постели!..»

К финалу путешествия писатели уже немного подустали друг от друга; намёки на это есть в воспоминаниях Павленко: «Ездить коллективом всё-таки трудно, хотя и полезно. Трудно тем, что толкаешься между разных приёмов работы и разных установок на вещи, теснишься или теснишь соседа... <...> В коллективе заостряются точки, заостряются зрения на вещи и происходит обмен писательским опытом, которого иначе нигде и никак не поставишь — ни в клубах, ни в кабинетах по изучению творчества, ни тем паче дома за чашкою чая. Нужно неделями есть из одной миски, спать, укрывшись одним одеялом, неделями видеть одно и то же, но воспринимать каждому по-разному».

В общем, и встретились с интересом, и расстались с облегчением. Леонов потом ещё долго вспоминал это путешествие.

Всеволод Иванов, который вроде бы считался его другом, в 1932 году не без раздражения отметил в дневнике: «Леонов всё ещё рассказывает о Туркменистане».

Там, впрочем, произошло несколько случаев, которые действительно сложно было забыть. Уже после Мерва ехали в город Керки на обитом фанерой грузовике, который отчего-то называли автобусом. Грузовик въехал на мост, под которым раскинулся пятидесятиметровый овраг. Брёвна моста покатились, грузовик перевернулся и упал вниз. За несколько мгновений литераторы успели попрощаться с жизнью. Советский литературный иконостас явно обеднел бы, если бы автобус, вернее, грузовик не упал ровно в крону огромного дерева...

И вот они лежат, со всех сторон в разломанную фанеру лезут ветви, и всё вокруг скрипит и кренится — удержать целый грузовик крона явно не в состоянии.

Самым спокойным оказался Николай Тихонов, действительно мужественный человек, участник и Первой мировой, и Гражданской...

Хотя и остальные не запаниковали и виду не подали.

Тихонов попросил всех выбираться по одному, а не разом; и сам выбрался последним.

Опустевший грузовик ещё поскрипел немного и рухнул вниз, где от удара буквально рассыпался. А писатели двинулись дальше: они торопились на митинг... Выступали в тот раз как никогда возбуждённо.

* * *

По итогам поездки Павленко напишет целую книгу (15 очерков!) «Путешествие в Туркменистан» и повесть «Пустыня». Поэты отзовутся циклами стихов. Леонов вскоре опубликует в «Литературной газете» статью «Путь бригады» и вышецитируемый очерк «Поездка в Маргиан» в одном из майских номеров «Известий». О случае с грузовиком, кстати, все умолчат.

С 8 июня по 7 июля 1930 года, за месяц, Леонов напишет замечательную повесть, которая поначалу называлась «Саранча», потом — «Саранчуки», а затем вновь была переименована в «Саранчу» (дело в том, что у писателя Сергея Буданцева уже была написана повесть «Саранча», в 1928 году).

Повесть опубликовал в восьмом, девятом и одиннадцатом номерах за 1930 год ашхабадский журнал «Туркменоведение», почти одновременно — «Красная новь», и в 1931 году повесть вышла отдельным изданием.

«Саранча» — ещё одна вещь Леонова, которую прочли невнимательно и потому сразу расхвалили в советской прессе.

Сюжет таков: в Туркменистан, после трёхлетней зимовки на Шпицбергене, прибывает Пётр Маронов — романтик (и не член партии, кстати), не успевший поучаствовать в Гражданской и стремительно навёрстывающий упущенное.

Природа идёт навстречу его желаниям проявить себя: вскоре после приезда Маронова на Туркменистан обрушивается саранчовая напасть, миллиарды особей этой прожорливой твари уничтожают поля и сады республики.

Наличествует в повести мелодраматический конфликт: на Шпицбергене погиб брат Петра Маронова, а в Туркменистане живёт бросившая погибшего брата и вышедшая замуж за другого женщина. Маронову хочется увидеть её.

В «Саранче» появляется тема воды, которая в полной мере проявится вскоре в эпохальной вещи «Дорога на Океан».

Один из героев повести говорит: «Взгляни на эту величественную громаду и сообрази, на какую мелочь разменяла бы её прежняя история, кабы не мы... — и обводил рукой пространства пустыни, подступившей к самому каналу. — Но пробуждение это требует умного хирургического вмешательства. И пусть это будет Транскаракумский канал. И пусть здесь будут ловить рыбу, в этих песках. И пусть здесь родится необыкновенная прохлада. Это будет тоже часть прямой, ведущей к социализму. А что — ты слышишь? — водой уже пахнет!»

Против величественных большевистских замыслов по неведомым причинам восстаёт сама природа. И вопрос в том, является ли природная напасть попущением Божиим или наказанием Божиим за то, что люди, вознамерившиеся перестроить мир, недостойны того, потому что руки их окровавлены недавней войной?

Об этом кричат муллы по аулам.

«— Вот летит саранча. Что написано у неё на крыле?

Они отвечали сами, ибо никто, кроме них, не понимал небесного писанья:

Гостья бога и — смерть за смерть».

И далее муллы цитируют Коран:

«— Дом насилия будет разрушен, хотя бы он был домом Милосердного; кровь злодея будет испита, хотя бы она текла из сердца Милосердного».

Несмотря на то, что муллы (как, впрочем, и православные священники) в леоновской прозе никогда не являются носителями истины, в «Саранче» Леонов спокойно замечает по поводу пророчества о разрушении дома насилия: «Никто не разумел, кощунство ли отчаянья или мудрость злобы копошится в их расслабленных устах».

И что мы будем делать, если это всё-таки мудрость — хоть и злобы? — таким бы вопросом должны были задаться читатели этой цепкой и стремительной повести.

Большевики справляются с саранчовой напастью, что, собственно, отвечает не только художественному замыслу, но и исторической правде события.

Однако удивительно, что почти никто из читателей повести ни тогда, ни потом не вспомнил несколько строк из главы девятой Апокалипсиса:

«И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.

И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих».

Как горько и жестоко забавлялся советский писатель Леонов! Он-то, в отличие от своих современников, Апокалипсис читал.

* * *

В «Саранче» есть мимолётный «привет» Горькому: употреблённое писателем словечко «телеграфьте» из давнего горьковского письма Леонову. Подаренное одному эпизодическому герою повести словообразование Леонов оценивает неприязненно: «...в суматохе тревожного того дня родилось это куцее, непростительное слово...» — так вот пишет.

Горький того не заметил или заметить не захотел и о повести отозвался кратко и ясно в письме Леонову: «“Саранчуки” — превосходно!»

Великий писатель и просто литератор

Год 1930-й и начало 1931-го — пик взаимоотношений Горького и Леонова.

«Дорогой Алексей Максимович, — пишет Леонов в одном из писем, — всегда как-то робею, правду (заочно) говоря, когда пишу вам. Боюсь употребить какое-то не то слово, которое надо, а слово — формула, и в делах психологической химии спутать формулу — конец, конец всему. Поймите меня правильно».

Далее Леонов вспоминает про обожаемого им художника Остроухова, умершего год назад, и признаётся Алексею Максимовичу: «С самого начала деятельности моей... вы стали для меня таким же».

Горький, чтобы немного подсбить пафос леоновских писем (хотя в душе-то ему, конечно, было приятно), сетует на ужасный почерк своего молодого друга:

«...письмо Ваше было всё-таки прочитано, затем воспроизведено на машинке “Корона”, и только после этого я мог ознакомиться с его содержанием.

Но — работа расшифровки письма заняла 2 часа. Средняя суточная зарплата здесь 12 лир за восьмичасовой день. 12:2 = 6, работало 3 человека, 3 умножить на 6 = 18, т. е. рупь восемь гривен. Амортизация машинки — 16 к., лупы — 3 к., бумага на копии — 1 к. Итого имею получить с Вас два целковых золотом».

Помимо признания в сыновних чувствах, в качестве подарка переслал Леонов Алексею Максимовичу несколько изготовленных им деревянных фигурок, в коллекцию к Пигунку, которого подарил раньше.

На что Горький ответил: «Если кактусы отвлекли Вас от резьбы из дерева — да будут прокляты и сгниют! Дрянь — кактусы... <...> Искренно желаю Вам несколько шипов в пальцы левой руки, дабы Вы почувствовали пагубность этой страсти к неприятному растению».

Горький снова приглашает Леонова в гости, встреча намечена на весну 1931 года.

Кстати сказать, в январе тридцать первого Леонов совместно с другими писателями подписывает протест против травли Горького западной печатью, что действительно имело место.

* * *

В литературном советском мире позиции Леонова сильны как никогда.

«Вор» и «Соть» выходят в Англии, «Барсуки» — в Польше, Югославии и Франции, «Соть» — в Германии, «Конец мелкого человека», «Барсуки» и «Вор» уже вышли в Чехословакии, готовится к выходу «Соть» в США. В свои 30 лет Леонов — писатель с мировым именем.

По инициативе Горького начинается работа по изданию «Истории гражданской войны в СССР», и Алексей Максимович из своего соррентийского далёка собирает мощный коллектив: А. Толстой, Шолохов, Федин, Фадеев, Леонов... Трагикомично, что Леонову намеревались поручить раздел истории Гражданской войны на севере России. Мол, опишите нам, прапорщик, как там дело было. Леонова наверняка иногда мучила внутренняя нервическая щекотка по этому поводу. К счастью для Леонида Максимовича, задумка Горького так и не воплотилась в жизнь.

Зато крепкая купеческая жилка нет-нет, да и просыпалась тогда в Леонове: тем более что советская власть не только позволяла своим ретивым пока ещё сторонникам бить писателей в открытые места, но и давала возможность последним постепенно становиться настоящей элитой нового государства.

В марте 1931-го проходит финансовая проверка Государственного издательства художественной литературы и выясняется, что Леонов, который был там членом правления, успел заключить договор на переиздание всех своих книг — по 300 рублей за лист — всего на 40 тысяч рублей, притом что при переиздании обычная цена была 150 рублей за лист.

Руководство ГИХЛа договор поначалу заключать опасалось, но Леонов повысил голос — и всё решилось. В общем, на дорогу к Горькому у него деньги появились; да и вообще, в кои-то веки, после «Соти» и «Саранчи» он начал матереть.

Леоновы уже приобрели машину и хорошую квартиру в Большом Кисловском переулке. Среди их соседей — видный большевик, после смерти Ленина занявшийся наукой и литературой, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой, до недавнего времени нарком здравоохранения РСФСР, председатель Высшего совета по делам физической культуры и спорта и член президиума ВЦИКа Николай Александрович Семашко...

«Был Леонов с женой, — записывал как-то в дневнике саркастичный Полонский. — Жена — Сабашникова — старозаветная купеческая дочка, тихая, скромная, под башмаком у мужа — но "хозяйка". Вместе с мужем "гонят" монету, собирают "имущество", строят жильё».

Здесь, конечно, стоит пояснить, что такое положение Леонова было как раз не исключением, а правилом в среде известных литераторов той поры. Никак не беднее его были и Фадеев, и Федин, и Пастернак, и Иванов, и Гладков, и Павленко, и Булгаков в лучшие его годы... не говоря об Алексее Толстом и не поминая о том положении, которое займёт вскоре Горький.

На этот раз за границу Леонов отправлялся без коллег по писательскому ремеслу. Учитывая то, насколько внимательно и вдумчиво выпускали тогда литераторов за кордон, можно сделать вывод, что ему пока доверяли.

Жены с ним не было.

Полонский в связи с этим и Татьяну Сабашникову помянул в своих записях:

«Леонов едет за границу один. Ей очень хочется. Когда зашёл разговор, что муж-то будет в Италии веселиться, — она с женским кокетством стала игриво намекать, что и она тоже здесь будет веселиться.

Леонов изменился в лице, — и, грубовато и даже угрожающе глядя на неё, сказал мне:

— Вы не думайте, Вячеслав Павлович, что <раз> она говорит "такие" вещи, то она такая...

Словом, — чуть что не процитировал из Домостроя. Она смутилась. Купчина».

Впрочем, переоценивать характеристики Полонского тоже не стоит, у него вообще был глаз раздражительный, и почти ни о ком он хорошо не отзывался. Вот навскидку несколько цитат из его дневников: «Подвыпив, Есенин мне жаловался... <...> Жалкое зрелище»; «Артём Весёлый — дрянь, реакционер»; «Лиса Бабель внимательно вынюхивал что-то»; «Сергеев-Ценский... <...> провинциал. Семнадцать лет жил на своей горе — и сейчас вроде дикаря»; «Заходил Мандельштам. Постарел, лысеет, седеет, небрит. <...> Самомнение — необычайное».

Да и в купеческих задатках он далеко не одного Леонова обвинял.

«Отвратительная публика — писатели, — так писал Полонский. — Рваческие, мещанские настроения преобладают. <...> Они вовсе не заражены соцстроительством, как хотят показать на словах. Они заражены рвачеством. Они одержимы мещанским духом приобретательства. Краснодеревцы не только Пильняк. То же делает и Лидин, и Леонов, и Никифоров, и Гладков. Все они собирают вещи, лазят по антикварным магазинам, "вкладывают" червонцы в "ценности"».

И дальше снова о Леонове: «Малышкин рассказывал: иду, говорит, вижу — Леонов шагает по улице. Сбоку, по дороге, на саночках два человека везут красного дерева шифоньерку. На углу Леонов глазами и головой, чтобы не заметили, делает им знаки: свернуть. Заметив, что они поняли, как будто он ни при чём, пошёл дальше, поглядывая по сторонам. "Волок" шифоньерку в гнездо. При этом торгуется из-за десятирублёвки: взвинчивает себе гонорар по-купечески».

Написано, конечно, злобно и даже, на первый вкус, убедительно: но, Боже мой, что ж плохого в шифоньерке — тем более если она нужна в доме?

Заметим, что Леонов сам первый спародировал и «собирателей имущества», и «накопителей монеты».

Так, описания профессора Скутаревского в одноимённом романе Леонов делает будто бы с себя, отчасти даже пророчествуя о своём будущем: «Деньги ворвались в квартиру Скутаревских в виде мебели, картин, нарядной одежды; деньги становились бедствием, которое следовало преодолевать. <...> О Скутаревском стали писать в большой технической печати. К нему приезжали с визитами именитые иностранные коллеги.

<...> Ходили слухи о его кандидатуре на Нобелевскую премию. Его знали министры, боялись студенты и уважали дворники... <...> Лихая эта метелица... слепила и мешала работе, которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путём к самоутверждению».

Если поменять фамилию Скутаревского на фамилию Леонова, в процитированном фрагменте всё правда. И обеспеченность, и имеющие веские основания слухи о его выдвижении на Нобелевскую премию, и страх, наводимый на студентов с той поры, когда Леонов начнёт преподавать. Но главное — работа его была воистину и целью, и схимой, и главным путём к самоутверждению. За то его Горький и ценил, это в нём он и чувствовал прежде всего.

* * *

Восемнадцатого марта 1931 года Горький напишет Леонову ещё одно письмо, где подтвердит своё приглашение:

«Многоуважаемый молодой человек!

Осведомясь из письма Вашего о благосклонном намерении Вашем заехать в Италию, — искренно и дико обрадовался, ближайшие родственники мои — тоже, ибо они единодушно согласны в том, что Вы — симпатиконе, сиречь — симпатяга».

В качестве казуса отметим, что Горький в финале письма подшучивает над Леоновым, который, несмотря на убеждения учителя, от своих любезных кактусов не отказался. «До радостного свидания, почтеннейший Кактус!» — так вот Горький с ним простится. Много позже писатель Борис Лавренёв придумает Леонову прозвище «Кактус», не зная о горьковских шутках.

По дороге к Горькому, в апреле месяце, Леонов ненадолго заглянет к другому любимому старику — Вадиму Дмитриевичу Фалилееву, который приютил его десять лет назад в своём доме. Фалилеев эмигрировал, теперь жил в Берлине, мечтал вернуться в СССР и сохранял для этого советское подданство.

Леонов застал старика в бедности. Фалилеев жаловался, что до сих пор так и не научился продавать свои картины. Из Берлина Леонов уехал опечаленный.

Горький немного успокоил его — настолько радостна и тепла была встреча.

«В тот мой приезд он был как-то по-особенному мил, заботлив, предельно внимателен», — расскажет потом Леонов.

В качестве сюрприза Горький специально для гостя раздобудет портрет леоновского, как выразился Алексей Максимович, «одноимёнца и однофамильца» — скульптора Леона Лео-

ни. Разыскивал он этот портрет по всем антикварным лавочкам в Риме и Флоренции, и нашёл-таки.

Писатели много гуляли вдвоём, восхитительная весенняя погода благоприятствовала: буйно цвели глицинии, азалии, но жары ещё не было.

Ездили на машине Максима Пешкова в Неаполь — там была премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города» (Леонов наверняка вспомнил, но никому не сказал про другого Чаплина — Георгия Ермолаевича, который был одним из командующих войсками Белой гвардии в Архангельске; в том числе командовал 4-м Стрелковым полком, но до перевода туда Леонова).

Когда возвращались, уже вечерело, фары сверлили потемневшую дорогу. И Леонов неожиданно сказал: «Как мы мало задумываемся над всем, что происходит. Вот, например, на четырёх колёсах радиатор, сиденья с подушками. Поршень носится туда-сюда в цилиндре, бензин сгорает, машина стреляет выхлопными газами, колёса крутятся, рессоры скрипят, мы покачиваемся взад-вперёд. А всё вместе называется: “Мы едем спать”».

Максим только в зеркало заднего вида покосился, а Горький удивлённо посмотрел на Леонова и сказал: «Какой вы анафемски талантливый!»

Как-то идя с Леоновым по берегу моря, Горький, кивнув вперёд и вверх, вдруг спросил:

— Чего вы туда всё время заглядываете?

— Но если не заглядывать, человек вряд ли будет звучать гордо, — умело ответил Леонов.

Горькому, мечтавшему о новом человеке, влюблённому в нового человека, пожалуй, именно этого и хотелось от Леонова.

Наверное, после «Саранчи», где зарисовка этого нового человека, Петра Маронова, уже состоялась, Горький ждал новой большой книги от Леонова — такой, за которую он сам бы уже не взялся. Где будет во всей полноте и наготе выведен новый человеческий тип, советской выделки, с которого и начнётся обновлённое человечество.

Об этом сам Леонов Горькому писал ещё в октябре: «Мы в очень трудное время живём. Перестройка идёт такая, каких с самого Иеремии не бывало. (Иеремия тут со смыслом!) Всё вокруг трещит, в ушах гул стоит, и немудрено, что в Вольском уезде, говорят, 65% мужиков страдают сердечными болезнями. Нам уж теперь отступления нет... и вот в этом пункте — о литературе. Время опасное, и о многом нельзя, а хотят — чтоб о соцсоревновании, о встречном промфинплане и т. д. Ведь все эти вещи — только маневрирование большого корабля. Не то

нужно в нашей литературе. Есть особая (тут я очень неточно, ибо ещё не продумал) литературная философия людей, явлений, событий. В некоем величественном ряду стоят — Дант, Атилла, Робеспьер, Наполеон (я о типах!), теперь сюда встал исторически — новый человек, пролетарий ли? не знаю, — новый, это главное. <...> Вот и требуется отыскать формулу его, найти ту философическую подоплёку, благодаря которой он встал так твёрдо и, разумеется, победит. Все смыслы мира нынешнего, скрещиваясь в каком-то фокусе, обусловливают его победу. Вот о чём надо писать — о том, чего ещё нет».

Прежние типажи — и горьковские, и леоновские — для такой роли не годились.

Они, кстати, говорили и о типажах; один из самых важных разговоров произошёл как-то в пивной.

В том или ином варианте, с незначительными разночтениями, Леонов многим своим знакомым пересказывал эту беседу.

— Мы разговорились с Горьким о судьбах героев своих произведений. Горький сказал мне: «Представьте такую ситуацию: много лет спустя после опубликования одного из произведений прогуливается писатель по городу. И вдруг видит, навстречу идёт главный герой книги. Обрадовались, обнялись. По старой русской привычке пошли в пивную — например, в ту, где мы сейчас сидим. Сели, заказали пива, стали предаваться воспоминаниям. Вначале всё шло мирно и хорошо. Но под утро, как это иногда бывает, вдруг возник спор. Он, конечно, не вдруг возник, весь разговор вёл к нему, только незаметно. Писатель рассердился на персонажа: "Э, батенька, да ты мне совсем не тем прикинулся!" — после чего вскочил, схватил кружку, бросился на героя и убил его наповал. Так и кончилась встреча!» — завершил Горький.

Леонов это запомнил; и таки убил Митьку Векшина, как мы знаем. Но в душу его эти слова Горького запали оттого, что убить его сразу хотел, да рука не поднималась.

Однако Горький, рассказывая свою замечательную историю, никак не знал, что одним Митькой делу тут не завершиться. Митька-то ладно, Митьку-то он, может, и не пожалел бы. А вот «Нового Человека»!..

Другой, в тот заезд, разговор с Горьким Леонов — редчайший случай — описал сам в одной из своих поздних статей. Они тогда прогуливались из Сорренто в направлении к Амальфи, Горький был в тот день «в канонической широкополой шляпе, борсалине... с асимметричными, едва ли не под прямым углом, шадровскими усами, в неизменной — с просторным воротом и цвета блеклой полуденной синевы — рубашке под ловко схваченным в талии светло-серым пиджаком».

«Начало беседы, — пишет Леонов, — не сохранилось в моей памяти, но по ходу её Горький напомнил, что именно в Сорренто родился Торквато Тассо... И тогда почему-то потребовалось взглянуть поближе, с обрыва, на Тирренское море, на которое любовался в юности знаменитый итальянский поэт. Там имеется один скалистый выступ с площадкой, как нельзя лучше подходящей для обозрения пейзажных тамошних очарований. Тотчас за каменной балюстрадой, где-то далеко внизу, леностно рябилась, струилась никуда полуденная зеленовато-призрачная бездна. И едва вышли из машины... Горький заговорил о разновидностях гуманистического оружия, только изготовляемого не из металла, а из невещественного, через предварительную огневую закалку прошедшего человеческого слова. Почему-то, вспоминается мне, никогда в моём присутствии и позже не говорил он жёстче, непримиримей, с такой живописной наглядностью».

Этого самого слова, из которого «можно выковать былинный меч-кладенец на любое чудище поганое», ждал Горький от Леонова, и слово своё передавал по наследству.

Леонов однажды скажет Горькому о начале повести «Детство» (любимой его вещи у Горького), что она является образцом работы для всякого писателя. Алексей Максимович перебьёт своего молодого друга и скажет грустно:

— Вам, Леонид Максимович... нечему у меня учиться...

В один из последних вечеров, на прогулке в лимонной роще, Горький, окончательно определившийся со своим отношением к Леонову, скажет ему:

— Вы — великий писатель... а я только интересный литератор.

Леонов был ошеломлён, не нашёлся, что ответить. А надо было бы, наверное. Надо было поспорить.

Первая размолвка

Первая, всерьёз, размолвка случилась тогда же.

Горький сказал как-то своему гостю:

— Я вот тут пьесу соорудил. Не угодно ли вечером послушать? — И, обращаясь к жене сына Максима, с кивком на Леонова: — Тимоша, поставьте вечером шерри-бренди. Он любит, а я почитаю.

Пьеса та называлась «Сомов и другие».

Горький решил обратиться к теме, всерьёз его взволновавшей: действия вредителей в Советском Союзе.

Первая «крупная вредительская организация буржуазных

специалистов» в Шахтинском районе Донбасса была раскрыта в 1928 году.

По версии суда, шахтинские вредители были тесно связаны с иностранной военной разведкой и с бывшими собственниками предприятий — русскими и иностранными капиталистами. Они ставили целью сорвать рост социалистической промышленности и тем самым облегчить восстановление капитализма в СССР. В итоге неправильно велась разработка шахт: чтобы уменьшить добычу угля. Портились машины и вентиляция. В шахтах устраивались обвалы, на заводах и электростанциях взрывы и поджоги. В общем, развлекались вредители, как могли.

Следом пошёл вал вскрытия вредительских организаций в оборонной, текстильной, судостроительной, химической, золотоплатиновой, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности.

Если и были случаи вредительства в те времена — а они действительно были, — о таких масштабах, безусловно, речь не шла. Однако власти нужно было максимально сфокусировать внимание на «внутренних врагах», дабы отвлечь от неудач социалистической промышленности и мобилизовать население на новые трудовые победы.

И действительно — мобилизовали. В том числе даже Горького.

Ещё в декабре 1930-го он писал Леонову: «...отчёты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства». Горький имел в виду только что завершившийся процесс Промпартии — громкое дело, где фигурировали высокопоставленные «вредители» в промышленности и на транспорте. Центр руководства и финансирования Промышленной партии якобы находился в Париже и состоял из бывших русских капиталистов (Нобеля, Манташева, Третьякова, Рябушинского и др.). В числе прочего обвинение утверждало, что Промпартия планировала поставить на пост министра промышленности и торговли Рябушинского, с которым обвиняемые вели переговоры. Но лишь после публикации обвинительного заключения выяснилось, что Рябушинский умер до указанного времени, посему вести переговоры никак не мог. На суде обвиняемые признались во всех преступлениях, которые им были предъявлены. Вплоть до связи с французским премьером Пуанкаре.

Важно заметить, что, когда Леонов получил это горьковское письмо, у него в очередной раз арестовали тестя — издателя Михаила Васильевича Сабашникова. Правда, быстро отпустили — и в семье Леоновых принято считать, что здесь сказались хлопоты самого Леонида Максимовича. Но издательство Са-

башникова власть всё-таки ликвидировала, и, вполне возможно, привкус нездоровой, натужной истерии в борьбе с внутренними врагами Леонов чувствовал уже на примере своих близких.

Пьесу свою Горький закончил 1 марта 1931 года, за несколько дней до приезда Леонова в Сорренто.

«Вечером я сознательно сел за лампу, за торшер, — рассказывал Леонов; помимо него сочинение собралось слушать всё горьковское окружение, жившее в Сорренто. — Прочёл Горький пьесу. Пауза. Потом одобрительные высказывания. "А вы что скажете?" — обращение ко мне. "Алексей Максимович, если я буду говорить неправду, вы всё равно это обнаружите. Я живу среди этих людей. И не могу поверить, что человек, построивший мост, может взорвать создание своих рук. Для меня это недостижимо"».

Для Горького слова Леонова были ударом.

Он выдержал его достойно и вида не показал.

Прошептал: «Понятно... Понятно».

«А через несколько дней он сказал, что хочет послушать мой рассказ, которого он не читал», — вспоминал Леонов.

И тут, конечно, есть некоторое лукавство со стороны Горького. Потому что последние вещи в малой форме, которые Леонов к тому времени написал, — это цикл «Необыкновенные рассказы о мужиках», целиком опубликованный в 1927—1928 годах в толстых советских журналах. Поверить в то, что Горький их не читал, трудно, потому что он, во-первых, выписывал все эти журналы, а во-вторых, мы знаем, как он к Леонову относился. Неужели же Горький не нашёл бы времени для прочтения нескольких страниц Леонида Максимовича — когда первые его книжки он находил через пятые руки, а иные романы ещё в рукописи прочитывал с жадностью?

Но заход у Горького был именно такой: я пьесу обнародовал, вот и вы теперь нас ознакомьте со своими писаниями. И даже рассказец назвал, какой именно нужен.

Это было «Возвращение Копылёва», вещь, выполненная с завидным, чеховского уровня, мастерством; опубликованная сначала в газете «Руль», а потом в журнале «Звезда». По сюжету рассказа, в свою деревню возвращается Мишка Копылёв, бывший советский уполномоченный, обтрёпанный жизнью в лохмотья. В Гражданскую он усмирял взбунтовавшихся односельчан, пожёг их избы, отрубил старшине деревни при допросе два пальца.

Мужики в отместку устраивают вернувшемуся Копылёву смертельную порку... Но Мишка выживает и понемногу возвращается в мрачную — а никакой иной и нет в природе! — деревенскую жизнь.

Уж что-что, а эта картина Горькому должна была понравиться; и не за то ли хвалил он в своё время роман «Барсуки», как за отсутствие «красивенькой выдумки» о мужиках.

Но здесь реакция была иная.

На стол снова выставили шерри-бренди.

«После чтения, — говорит Леонов, — он, пробарабанив пальцами по столу, сказал: “Что же, Леонид Максимович, хотите сказать, что русский народ жесток?”».

Вот ведь как! А Горький всю жизнь, вестимо, говорил, что народ ласков.

У Леонова хватило такта не сказать в ответ правду — оттого что она прозвучала бы грубостью.

«Я был поражён, смят», — признаётся Леонов.

А каково было старику, столь многого ожидавшему от своей пьесы?

Спустя какое-то время, уже после возвращения в СССР, старый знакомый и Алексея Максимовича, и Леонова — Пётр Марков, завлит МХАТа, заглянул к Горькому. Попросил почитать новую пьесу — видимо, слышал о ней.

Алексей Максимович опять побарабанил пальцами по столу и сообщил мрачно: «Вот тут она лежит. В столе. Но я вам её не дам. Её Леонов обругал».

И не дал. И никогда не публиковал. И в собрания сочинений она не входила.

Однако что любопытно: вредители появляются у самого Леонова в романе «Скутаревский», который он как раз в это время пишет.

То есть замечание он сделал Горькому, но спорил, по большому счёту, не с ним, а с самим собой. Может, в том и была судьбоносная ошибка Леонова: пожалуй, впервые при сочинении «Скутаревского» он пошёл поперёк своей совести, поселив в сложный и неоднозначный роман вредителей, в которых не совсем верил сам. Предположим, что Леонов надеялся на дальнейшее укрепление своих позиций в литературе за счёт нового романа, на успех, в конце концов, но эффект получился противоположный: «Скутаревского» разгромили в печати. И это было первое серьёзное поражение писателя Леонова.

О «Скутаревском» мы поговорим подробнее чуть позже.

Чуждый?

...Возвращаются они, впрочем, вместе, внешне довольные друг другом.

В Мюнхене заезжают по случайности именно в ту пивную, где позже Гитлер начнёт свой пивной путч.

Кстати, их возвращение было ещё одним проявлением доверия к Леонову со стороны власти — не кто иной, а именно он вёз Горького в Страну Советов.

А чтобы Леонову доверяла не только власть, но и родная жена, ещё в Сорренто Горький специально для Татьяны Михайловны написал шутливое «удостоверение»:

«Канцелярия Его Католического Святейшества и властителя града Ватикана папы Пия XI по наблюдениям за благонравным поведением литераторов Союза Советов сим удостоверяются, что литератор Союза Советов Леонид Леонов, пребывая в Италии, вёл себя примерно, благонравно, на особ женского пола внимания не обращал и греховного желания исследовать оных не обнаруживал, пил умеренно».

Полонский видел Леонова и по возвращении, на одной из литературных встреч, в мае 1931-го, и записал в дневнике:

«Леонов приехал из Италии с Горьким. Новый мешковатый костюм, франтовские ботинки, заграничные чулки. Но из-под этой "шкурки" глядит милый русский купчик, с почти что детским пухлым лицом, с умными тёмными глазами, развёрнутыми чёрными бровями.

Он слушает внимательно, но сам не выступает. Вдруг, придвинувшись ко мне, спрашивает: "Скажите, это плохо, что я не умею говорить?"

Он не может выступать публично: речь его клочковатая, он волнуется, начинает кусать губы, морщить лоб, — того и гляди, расплачется. Все его публичные выступления одинаковы: он говорит что-то о "неблагополучии", о "трагедии" писательского существования и т. п.

И сегодня он ввернул как-то мне на ухо: "Вот, говорят о 'попутничестве', о 'союзничестве', а мне 'сумно' — ничего не понимаю. Как быть 'союзником'?"».

Леонов, думается, подзадоривал ортодоксального большевика Полонского. Парой месяцев раньше в дневнике Полонский вдруг догадался (а потом забыл, наверное), что Леонов — «симулирует волнение». Он симулировал, и если бы боялся — книг своих жутких, о которых мы ещё много чего скажем, ни за что не стал бы писать. И это леоновское умышленное косноязычие всегда служило ему защитой.

А вопрос его, на ухо Полонскому произнесённый, можно переложить на другие слова.

Например, такие: «Союзничество, попутничество — это всё понятия знакомые; но кому я могу быть союзником и попутчиком здесь, когда я пишу — туда?»

И — указательный палец вверх.

Леонов же, мы помним, признавался, что в те годы за рабочим столом неизменно чувствовал, как разговаривает с небом.

Конечно, ему «сумно» было: новой власти многое возможно было отдать, но не душу же, не Божий свой дар.

Тем более после того, что Горький ему сказал.

* * *

Есть ещё одна любопытная запись в дневнике Полонского: он рассказывает, как был в гостях у художника Алексея Ильича Кравченко. Были другие художники, был Леонов с женой.

«Разговор не клеится, ужин, вино, — потом фокстрот под патефон, — как всегда брезгливо, вспоминает Полонский. — Фокстрот уже надоел, сегодня так же, как год назад, — но это единственное удовольствие. Пляшет и Леонов, развязничая, полагая, что ему можно дурачиться. Упоён своей всемирной славой. Так, между прочим, рассказывает, что получил сводку английских статей о его романе.

С Горьким запанибрата. Но всё это с сознанием достоинства, как будто так и быть всё должно. Мимоходом издевается над своими официальными друзьями, над надгробными речами, над "выдержанностью" товарищей и т. д. Внутренне — насквозь чужой революции, занятый своей литературной карьерой, своей личной судьбой и своим будущим. Во время танца подсел, и мы обменялись несколькими фразами о литературном положении. Его мысль: "Мы (то есть он, да, может быть, Иванов) выдержим, у нас спина крепка, наш хребет не перешибёшь". Это значит, они пройдут сквозь строй всяких требований... у них хребет крепкий. Какая-то новая формация исконно-расейского: "ён выдержит". Представление Леонова о литературном положении таково: "попутчикам — крышка", напосты их задавят, оттеснят, — всё попутничество подохнет, а он да, может быть, Иванов — "выдержат". Странное понимание. Все россказни о "перестройке", выходит, чепуха».

Полонский конечно же вновь упрощает. Отношение Леонова к революции было сложнее: и приведённые письма Леонова Горькому, и собственно сами леоновские книги — тому главное доказательство.

Просто когда Полонский пишет о Леонове «чуждый революции», он не понимает, что именно в это время Леонов приблизился к революции настолько близко, насколько мог. Мало того, он намеревался и далее идти с нею «по пути», но талант не разменивая свой.

Весёлое мужество демонстрировал Леонов, Полонскому вовсе не ясное. Он-то желал от него стопроцентного большевизма.

В сентябре 1932 года советская пресса масштабно праздновала сорокалетие творческой деятельности Максима Горького: 12 сентября 1892 года в тифлисской газете «Кавказ» был напечатан его рассказ «Макар Чудра».

На заседании юбилейной комиссии Иосиф Сталин выступил с предложением присвоить Нижнему Новгороду, Тверской улице в Москве и Художественному театру имя Горького, а также наградить писателя орденом Ленина. Так всё и сделали.

У Леонова появляется возможность ещё раз выказать учителю своё почитание. «Известия» публикуют на две трети полосы материал Леонова «О Горьком».

«Буревестнику и не было иного пути, — пишет Леонов. — Революция — вот тот огненный воздух, о который опираются его крылья. Немудрено, что это один из немногих старых писателей и во всяком случае единственный такого масштаба мастер, оставшийся вместе с нами».

В последнем утверждении, признаем, таится некая крамола: даже в самые свои лучшие годы советское литературоведение предпочитало говорить, что литература в 1917 году распалась как минимум на две равные части; Леонов же прямо утверждает, что «такого масштаба» мастера — отбыли из страны поголовно.

«Литературная молодёжь умело восприняла у Горького значительную часть его изобразительного инструментария, — продолжает Леонов. — Я имею в виду необычайную по художественной точности выразительность горьковского образа, точно вырезанного из меди, внутреннюю мелодию чистой горьковской фразы, как способ дополнительного, вторичного воздействия на читателя, монументальность и вытекающее отсюда афористическое свойство его персонажей...»

«За немногими исключениями, — говорит Леонов, — у нас не было критики: у нас был один критик — наш современник, наш старший товарищ, Максим Горький».

Леонов словно бы подаёт искренний знак Горькому: не оставляйте нас, меня... Без вас сложно. Спустя годы маститый Леонов вспоминал не раз, что пока был Горький — легче жилось и писалось, было у кого искать заступничества.

Горький простил Леонова, но взамен потребовал ответной истовой веры в то, во что верил он сам. В нового Человека, который создаётся у всех на глазах.

Окончательно Горький вернулся в Советский Союз 17 мая 1933 года.

Для встречи специально созданный оргкомитет отправил на границу делегацию из четырёх писателей: Леонов, Всеволод

Иванов, Павленко, Фёдор Панфёров (первые трое недавно вместе путешествовали по Средней Азии).

Вместе с Горьким бодрая компания добиралась из Конотопа в Москву, наперебой обсуждая дела писательские и бурную жизнь Советской России.

По приезде Алексей Максимович немедленно включился в общественную жизнь, и от его задумок Леонову было уже не отвертеться.

В итóге, 17 августа 1933 года Леонов в составе большой группы писателей отправился на Беломорканал.

Никто ещё не знал толком, чем чреват процесс «перековки», и многие всерьёз верили в возможность исправления человека механическим, если не сказать насильственным, способом.

Что до Горького, то он верил в это безусловно. Вера не покачнулась даже после посещения Соловецких лагерей. И теперь своей убеждённостью он желал заразить и других. Ему смертельно важно было убедиться, что новый человек — будет. В конце концов, Горький положил на алтарь этой веры всю свою жизнь.

Леонов рассказывал, как однажды с Горьким смотрел концерт малолетних преступников, подростков. Они исполняли песню «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Позади всех стояли два тенора и старательно выводили: «Наша сила, наша власть!» Леонов, которому и в этом случае было «сумно», поинтересовался у организаторов концерта, кто такие эти теноры. «Фальшивомонетчики!» — бодро ответили Леонову. Горький тем временем разглаживал усы, смахивал слёзы и всё повторял: «Здорово! Здорово!»

А что: делают из уголовников новых, прекрасных людей. Этим своим «Здорово!» он страстно хотел поделиться с литераторами.

В составе писательской группы, отправившейся на Беломорканал, были Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Борис Пильняк, Валентин Катаев, Виктор Шкловский, Мариэтта Шагинян, Вера Инбер, Ильф и Петров, Симонов и многие, многие иные.

Выезжали из Ленинграда. В гостинице «Астория» был накрыт небывалого по тем временам богатства стол: рыба, мясо, яства... И это в 1933 году, голодном и страшном.

«Помню пароход, роскошный буфет, оркестр, непрерывно играющий вальсы, — рассказывал позже Леонов писателю и литературоведу Олегу Михайлову. — Дирижёр — румяный толстяк, у которого от упитанности фалды пиджака не сходятся сзади. Я спросил: "Кто это?" — "Видный румынский шпион!"

А по берегам стояли, беспрерывно кланяясь, мужики, с зелёными бородами, худые, руки ниже колен...»

Актриса Тамара Иванова, сопровождавшая своего мужа Всеволода Иванова во время путешествия на Беломорканал, вспоминала в 1989 году: «Показывали для меня лично и тогда явные “потёмкинские деревни”. Я не могла удержаться и спрашивала и Всеволода, и Михала Михалыча Зощенко: неужели вы не видите, что выступления перед вами “перековавшихся” уголовников — театральное представление, а коттеджи в палисадниках, с посыпанными чистым песком дорожками, с цветами на клумбах, лишь театральные декорации? Они мне искренне отвечали (оба верили в возможность так называемой “перековки”), что для перевоспитания человека его прежде всего надо поместить в очень хорошую обстановку, совсем не похожую на ту, из которой он попал в преступный мир. А среди уголовников были, несомненно, талантливейшие актёры. Они такие пламенные речи перед нами произносили, такими настоящими, по системе Станиславского, слезами заливались! И пусть это покажется невероятным, но и Всеволод и Михал Михалыч им верили. А самое главное, хотели верить!»

О том же самом напишет и Константин Симонов в своих мемуарах: что, да, он лично, своими глазами видел «перековавшихся», исправившихся, изменившихся...

Случались в поездке небольшие эксцессы, но и они в конечном итоге играли на «правильное» восприятие происходящего. Так, кто-то из писателей узнал среди заключённых своего знакомого — поэта Сергея Алымова. Подошли поговорить с ним, он поначалу крепился, спокойно отвечал на вопросы, но потом не выдержал и зарыдал. Тут же подоспел начальник лагеря:

— А это кто у нас плачет? Алымов? Так это он от радости! Знаете, ему сократили срок! Ему скоро на свободу!

Быстро составили необходимые документы и действительно выпустили Алымова. Он даже успел поучаствовать в создании книги о Беломорканале.

На обратном пути с Беломорканала общее настроение явно не было упадочническим: выпивали, песни распевали, выпускали юмористическую газету.

Книга о Беломорканале появилась быстро: уже через полгода богато оформленное издание, украшенное тиснёным медальоном с профилем Сталина, можно было держать в руках.

В написании труда принял участие коллектив из тридцати шести писателей. Тексты предоставили и Алексей Толстой, и Всеволод Иванов, и Михаил Зощенко, и Валентин Катаев (которого настолько заинтересовала стройка, что он остался там ещё, проводив своих коллег). Одни воссоздавали героические биографии работников ОГПУ, другие знакомили читателей с экзотическими биографиями заключённых, третьи дали увле-

кательное изображение стройки. В проекте участвовал ранний конструктивист Александр Родченко; он пробыл на канале несколько месяцев и сделал множество фотографий. Заключительную главу книги написал сам Горький.

Над книгой поработали на совесть, она смотрелась монолитно, твёрдо, даже убедительно. Её появление активно освещалось в прессе и преподносилось как прижизненный «памятник» великим переменам. Пресса особенно нажимала на коллективную солидарность, сплотившую писателей, работавших над этой книгой.

Но чувство солидарности было не всеобъемлющим.

По возвращении с Беломорканала делегацию писателей собрали в «Метрополе» — Леонов туда не пошёл.

Следом были два организационных собрания, их Леонид Максимович тоже пропустил.

Тогда позвонил ему взбешённый Леопольд Авербах, маститый критик, рапповец, один из редакторов сборника, и наорал:

— Это что, саботаж?! А?! Какого чёрта! Немедленно приступайте к работе!

Леонов отмолчался.

Притом он знал, что курировал путешествие на Беломорканал председатель ОГПУ Генрих Ягода лично.

Леонову ещё несколько раз звонили и с увещеваниями, и с угрозами, но Татьяна Михайловна неизменно отвечала: «Даже не может к телефону подойти... Так ему дурно».

У Леонова могли быть и личные причины отказаться: его тогда рвали в пух и прах за новый роман «Скутаревский», что несколько отбило настроение потакать власти в том, в чём ей совестно потакать. С другой стороны, очерком о Беломорканале он имел шанс выправить ситуацию, а он не стал.

Горькому о леоновском отказе донесли, и вряд ли старика порадовала самостийность любимейшего его ученика.

* * *

Только к концу осени 1933 года, когда от него окончательно отстали с написанием главы для книги о Беломорканале, Леонов появился на людях: выступил с приветствием на встрече писателей с экипажем стратостата «СССР» и после этого отправился в самочинную поездку, безо всяких там делегаций, по депо и станциям Казанской железной дороги, выбрав Нижегородскую ветку.

Он собирал материал для новой книги — «Дорога на Океан». Скоро Леонов покажет Алексею Максимовичу, что он думает о новых людях, да и о человеке вообще.

Разрыв

Долгое время Леонов обиняками намекал, что с Горьким его рассорила жена Всеволода Иванова — Тамара, которая что-то ненужное и некрасивое поведала Алексею Максимовичу.

Скорее всего, то были превратно истолкованные слова Леонова, сказанные Иванову, о том, что «пока жив Горький — мы все маленькие вокруг него». Иванов пересказал жене этот разговор в том смысле, что Леонов хочет смерти Горького, чтобы самому выглядеть масштабнее. А Тамара, не сдержавшись, передала в том же виде эту ересь Алексею Максимовичу.

Горький спустя несколько дней спросил у Леонова: правда ли это? Смерти моей хотите?

Леонов был настолько удивлён и ошарашен, что пожал плечами и ничего не ответил.

Подобная ситуация, признаем мы, могла быть в реальности. Конечно же так пересказать слова Леонова надоумил Тамару не сам Иванов. Но безусловный факт и то, что Леонов Иванова раздражал, о чём он сам писал в дневниках, и это его раздражение, как часто водится в жизни, честно разделяла и «вторая половина».

В 1934 году Борис Пильняк в одном из разговоров мимолётом бросил: «Всеволод Иванов никого не любит. Он сделал ставку на Алексея Максимовича и думает стать его преемником, но этого никогда не случится». Фразу эту подслушали и переписали в доносе на Пильняка; но он, возможно, был прав.

Иванов, по-видимому, ревновал Леонова: во многих своих выступления и речах, не говоря о каких-то междусобойчиках и посиделках, Горький неизменно ставил Леонова выше всех. В том числе выше Иванова.

Но в последние годы жизни Горького получилось так, что с Ивановым Алексей Максимович встречался всё чаще, а с Леоновым всё реже.

И до ссоры, и тем более после.

Сам Горький нигде и ничего по поводу размолвки с Леоновым не сказал и не написал, у Иванова в дневниках тоже ничего об этом нет, а Леонид Максимович рассказывал о произошедшем настолько путано, что мы, пожалуй, выведем причину разрыва между ними из сферы межчеловеческого общения в несколько иную сферу.

Слишком это мелко для Горького: рассердиться на превратно истолкованную фразу молодого ещё, в сущности, писателя.

Горький, думается нам, обиделся на Леонова совсем за другое.

За то, что он предал их религию. Религию веры в Нового Человека — о которой они так много и писали, и говорили вдвоём.

Первый звоночек был в случае с Беломорканалом, когда Леонов, в отличие от почти всей писательской компании, явно продемонстрировал неприятие горьковской задумки с книгой.

Но окончательно всё разрешилось в августе 1935 года, когда Леонов закончил четвёртую свою большую вещь — роман «Дорога на Океан» — внешне очень просторный, воздушный, энергичный, стремительный, и внутренне — нестерпимо леденящий.

В романе этом есть множество шифров, разбираться с которыми — задача увлекательнейшая. Об одном из шифров пойдёт речь в следующей главе, здесь же попытаемся разобраться, что именно так разозлило Горького — а роман этот, надо сказать, Алексея Максимовича ввёл в натуральное раздражение. Столь злобных писем, какое Горький написал своему любимцу после прочтения «Дороги...», не писал он больше никому.

Главные герои романа этого происходят из местечка Пороженск (он же, надо понимать, Унтиловск, он же Няндорск), что уже симптоматично. История этого городка, как зачастую бывает у Леонова, символизирует историю человечества. Причём историю неудавшуюся — что, собственно, в самом названии городка уже ясно отражено.

Тем более что метафору свою Леонов сам же и раскрывает. В середине книги один из героев — повествователь, альтер эго Леонова — отправляется к пороженскому «краевому патриоту» Волчихину — поговорить за историю их мест.

Волчихин рад:

«— Опиши нас, деточка. Опиши древность нашу. Покажь учёным людям пороженское человечество, как боролось оно, и как росло, и как не удалась ему жизнь».

И перед началом рассказа — типичная леоновская деталь — придвигает расспрашивающему яблоко. Говорит: «Кушай, деточка, горькое наше яблоко». Горькое яблоко познания.

Пред повествователем проходит история Пороженска — города, славившегося многими ремёслами, но неизбежно влекомого к распаду и поражению.

Сама действительность в этом городе выглядит по-унтиловски беспросветно. «Чего только не насовал старинный русский чёрт в эту подлую копилку!» — восклицает жившая там героиня по имени Лиза. И перечисляет: старуха убила сына за вступление в комсомол; купец, что торговал басоном в галантерейном ряду, сошёлся с молоденькой монашкой, бросив семью; милицейская корова принесла в приплод пятиногую тёлку; соборного протоиерея, пьяного, в полном облачении, застали в алтаре с извещением о закрытии собора («А вокруг всё клочки от Евангелия валялись...»).

За описание греховного пороженского бытия Горький не обиделся бы — сам он немало подобных пороженсков описал, хотя и не в Советской России.

Но тут важен главный герой — большевик, начподор Волго-Ревизанской железной дороги Алексей Курилов, родившийся в Пороженске, и, по совести говоря, должный дурную пороженскую судьбу переломить.

Горький именно того ждал и о том, пером подрагивая, Леонову писал 4 октября 1935 года, сразу по прочтении рукописи: «...в начале романа выдвинута фигура Курилова. По первым его шагам в романе он показался мне "чекистом". Я, читатель, имею право ожидать, что мне будет показан на деле реорганизации ж.-д. транспорта человек исключительно интересный, один из наиболее крупных и скромных "героев нашего времени". Людей этого типа у нас ещё не изображали так, как они того заслуживают...»

Ну вот Леонов изобразил — как, на его взгляд, они того заслуживали, не без некоторого, признаем, садизма.

Начнём с того, что Курилов, выписанный подробно и даже с авторским любованием, как всякий леоновский большевик, — бездетен. То есть не имеет будущего. Но так как он, наверное, самый главный большевик во всей леоновской прозе — бездетность его подчёркивается особенно остро.

Курилов в этом смысле нормален, он интересуется женщинами, и с одной из героинь у него даже случается роман. Но писатель не дремлет: он ловит Курилова буквально в момент наивысшего сближения с подругой: именно тогда у большевика случается дикий приступ болезни. Впоследствии оказывается, что у него рак почки.

Но этого Леонову мало.

В то время когда Курилов лежал в санатории, к нему приблудился беспризорник Гаврила. Его в соответствии с запросами времени стоило бы в романе перевоспитать, перековать.

Но как раз когда у Курилова не получается любовный акт и он, испытывая приступы ужаса и боли, возвращается в свою комнату, выясняется, что его маленький друг сбежал. «...бродяжий инстинкт оказался сильнее куриловской ласки и страха перед метелью, — сообщает Леонов. — Перевёрнутый чемодан валялся в углу. Видимо, этот человеческий зверёк шарил там что-то, потребное для большого путешествия».

Другой ребёнок — племянник Курилова, сын растоптанного советской властью купца Омеличева — живёт в доме у начподора. Мальчик глухонемой. Мать его, родная сестра Курилова, говорит, что вот-де, предки грешили, а малец расплачивается. И не до конца ясно: то ли она только купцов Омеличевых имеет в виду, то ли и Курилова тоже.

В конце концов сестра Курилова с несчастным мальцом уезжает из дома советского начальника в дальние дали.

«Мир — двигатель, работающий на молодости», — говорит Леонов в «Дороге на Океан». Но что мы видим — какую молодость? Какой будет двигатель у мира, оставляемого Куриловым?

В самом начале романа есть неслучайная деталь: Курилов смотрит в окно и видит двух чумазых детей. Отворачивается, ещё раз смотрит: и они кажутся ему чертями. Что-то во всём этом нездоровое есть, дурное.

Наконец, есть третий ребёнок, присутствующий в книге. Зовут Зямкой, он сын сотрудницы в конторе Курилова, с которой у него тоже едва не сложились любовные отношения. С Зямкой связан один из ключевых моментов романа — рассказанная ему Куриловым сказка о слоне.

Зямка навещает Курилова в больнице, накануне операции, которую большевику не пережить. Характерно, что перед началом сказки вновь появляется яблоко: Зямку угощает Курилов — уже предсмертный, на пороге ухода, и будто бы прозревший оттого.

Ехал по Азии один бродячий немец со зверинцем, — таков зачин сказки, — и был у немца белый слон с чёрной кляксой на лбу. Дела у хозяина зверинца шли плохо, и решил он слона продать одному «жулику в котелке». Слона увели на верёвочке в направлении неизвестных гор, где находилось некое королевство, и жил в том королевстве голодный и нищий народ.

«Когда нечем стало его околпачивать, — рассказывает о том народе Курилов, — выдумали попы легенду, — будто придёт избавитель в виде белого слона с пятном на лбу, и начнётся столетняя сытость. Легенда — это нарядная неправда!.. Понимаешь теперь, зачем приезжал жулик в котелке?»

Прознав о приходе белого слона, собрался народ на встречу долгожданного своего бога. Но «как ударили в барабаны, заиграли на длинных трубах, бог испугался. Оборвал поводья и бросился напрямки, всё сокрушая на пути. Да, Зямка, бивнями!.. Тогда его загнали в большой сарай и долго убивали стрелами».

Убитого слона захотели починить, нашли механика, он «выгреб из слона лопатой, растянул на подпорках, вставил механизм, отрегулировал и живот на случай поломки сделал на застёжке м о л н и я».

Вот такой бог и стал жить в неведомом королевстве — на несмазанных колёсиках.

Смысл сказки кажется очевидным: настоящего Бога убили, а вместо него представили муляж с м о л н и е й.

Диагноз по этому поводу ставит сосед Курилова, лежащий с ним в одной палате: «А вы вовсе не атеист, Курилов! <...> Я по

поводу вашего слона. Атеизм — это неведение бога. А вы отрицаете, дерётесь с ним, совсем непочтительно отнимаете у него вселенную».

И вселенная не даётся таким, как Курилов!

Если деяния большевика Увадьева из романа «Соть» начинаются со случайной гибели ребёнка на стройке, то от Курилова просто уходят, разбегаются все окружающие его дети. И единственному, кто остаётся при нём, он, так и не преодолевший пороженское своё наследие, рассказывает сказку о народе, поверившем в пустого бога.

Осталось лишь добавить, что имя Еноха — как чёрная метка — поминается и в этой книге Леонова.

Прочитавший роман Горький в сердцах обвиняет Леонова в чём попало. Сетует ему на то, что он слишком начитан, слишком много знает: «Формула Эйлера, Ирод Антипа, Сеннахериб, Вергилий, Кана Галилейская, Сенека, базилевс и т. д., и т. п. почти на каждой странице!»

Это предъявляет Леонову тот самый человек, что так долго огорчался из-за необразованности молодого писателя всего несколько лет назад.

Нет, не в том, не в том суть претензий Алексея Максимовича!

«Вы показали, как умирает Курилов, — пишет Леонову взбешённый Горький, — а не как работает он. Его заболевание и смерть недостаточно оправданны. Читателю кажется, что Курилов умер потому, что автор не знал, что с ним делать».

Горькому стоило бы проще написать: «Зачем ты убил Человека, Леонид?! Мы же о другом с тобой договаривались! Мы договаривались, что мы Его создадим — Человека! А ты убил! Ты бога моего убил! Ты! — на кого я больше всего надеялся».

Причём убил его Леонов по Дороге на Океан, то есть по дороге к мечте. Это воплощённая антигорьковская позиция, это воплощённая антигорьковская религия. Человек не звучит гордо, вот что! Человек вообще не звучит. Человек — навеки на дне (будучи иезуитски въедливым, в аббревиатуре названия леоновского романа про Океан вполне можно увидеть просто «ДнО»).

Быть может, Горький не понял этого в полной мере, но почувствовал наверняка. Так же, как Курилов почувствовал, что бывают пустые внутри боги (и привозят его «жулики в котелках» — как марксизм из Европы, а? Ведь и так можно препарировать сказку).

Горький сделал множество замечаний по книжке, но Леонову не пришлось ничего исправлять. Просто потому, что письмо своё Горький не отправил. Наверное, не увидел в том смысла. Зачем отправлять, если дело уже сделано.

Послесловие к теплопожатию

Завершая эту непростую тему, нам хотелось бы вспомнить речь Леонида Леонова, произнесённую им 28 марта 1968 года на торжественном заседании в Кремлёвском дворце съездов в честь столетия со дня рождения Горького и опубликованную в газетах.

Речь называлась «Венок А. М. Горькому» и при всей своей, как часто у Леонова случается, внешней благопристойности содержала очевидную переоценку личности великого пролетарского писателя.

Начинается речь с утверждения, что Горький — «крупнейший на обозреваемом историческом отрезке властитель дум и деятель культуры в нашей стране». Тут очень важно отсутствие слова «писатель». Да, думами властвовал, деятелем культуры, редактором, издателем, организатором был — ну а что всё-таки с писательством?

И далее Леонов позволяет себе прямые сомнения в долгожительстве прозы того, кому он якобы свил свой венок: «...ещё и не приспела пора для окончательной оценки Горького, но видно уже теперь, что из тройки замечательных русских писателей, вместе с ним перешагнувших рубеж века, этот мастер слова и жизни если не сильнее, то шире других повлиял на общественное мнение своего поколения. Почти равные по заданной потенциальной мощности, они крайне разнятся по характеру своих литературных судеб. Время покажет, насколько отразится, и отразится ли, почти молниеносный подъём горьковской славы на длительности её последующего бега».

В этом есть даже некоторая наглость: Кремлёвский дворец всё-таки не место для вполне прозрачной крамолы.

Леонов поясняет: «Большая и круглая дата, ради которой мы собрались, обязывает нас к искренности».

Во всём своём выступлении Леонов эту линию выдерживает. Соглашается с тем, что Горький «признанный арбитр основных человеческих достоинств», «вожак двух сряду штурмующих поколений», «учитель, предназначенный формулировать гражданские заповеди века»... Но вот о писателе Горьком Леонов будто бы и не помнил в первой части своей речи.

Леонов поминает «драгоценное мускульное ощущенье его властного, как пароль, рукопожатья», и, думается, мало кто в зале понимал, что имеет в виду Леонов, какой ещё пароль. А Леонид Максимович спокойно назначал себя наследником того тепла, что принёс Горький от Льва Толстого, Гоголя, Пушкина... И это, по мысли Леонова, тоже важное горьковское дело: тепло это донести, раз уж было больше некому.

Но когда, наконец, речь заходит о писательстве, то Леонов причисляет Горького «к той особой в нашей литературе полу-

подвижнической линии просветителей, где отвергается не только развлекательно-беллетристический сервис, но и отвлечённая созерцательность в отношении пускай высочайших тайн бытия, если не работают на реальное злободневное задание...»

Проще говоря, Леонов ставит Горького в тот ряд, по поводу которого, напомним, матерился в «Белой ночи» белогвардеец Пальчиков: «Да, сперва Радищевы, Новиковы, Чаадаевы... <...> эти домодельные свободоискатели и подстрекалы, эти проклятые жернова на шее русской интеллигенции. <...> Они взошли теперь, багровые дрожжи девятнадцатого века. Радуйтесь, дьяволы...»

Развивая мысль свою о просветительской линии, Леонов заявляет уже прямым текстом о «непрочности» и «недальнобойности» произведений, написанных её приверженцами. И чуть ниже добавляет, что «саморасточительная щедрость неминуемо должна была к концу жизни привести Горького — нет, не к отчаянью, а к позднему размышлению, что растраченные калории могли бы пригодиться ему для переплава всего сделанного в какие-то высшие, более долговечные ценности».

Даже непонятно, как всё это пропустили и проглотили тогда! Видимо, просто ничего не поняли, зачарованные медленным и туманным течением леоновской фразы.

И чтобы всё стало совсем ясно, Леонов — в противовес горьковской линии — ничтоже сумняшеся выводит, с явным предпочтением, свою, состоящую «в отражении события не в документе, а в самой человеческой душе, с приматом художественной личности над материалом, потому что только таким способом, представляется мне, и возможно выделять дальнейшее множество ещё неведомых, неповторимых существований из окружающей нас бездушной, математической пустоты, в которой всего так много, что почти нет ничего».

Далее в докладе Леонов умудряется комплиментарно высказаться о Церкви, обмолвиться о масонах (самоё слово это было в те времена запрещено и ассоциировалось известно с каким заговором), но это уже не столь важно для поднятой нами темы.

В том мире, который Леонов выстроил для себя, в той, как он любил говорить, системе координат Горький оказался в итоге персонажем скорее чуждым. И по причине затаённого леоновского неверия в горьковского бога — Человека. И по причине того, что на Горького в числе прочих всё чаще и суровее с годами возлагал Леонов ответственность за грядущую погибель России, в которой уверялся всё более и более.

Особенно жёстко про это Леонов напишет в «Пирамиде», где присутствует откровенно неприязненное упоминание о двух литераторах, которые пилят двуручной пилой тело родины.

Имя одного литератора — Чернышевский. А второго, да, Горький.

Глава седьмая
ЛЕОНОВ И СТАЛИН

«Леонов может отвечать...»

Они познакомились в 1932 году у Горького.

Леонов хотел встретиться со Сталиным чуть раньше и даже написал совместно с Всеволодом Ивановым в начале 1931 года письмо вождю: «Нам очень хотелось бы получить возможность повидать Вас и поговорить по поводу современной советской литературы. Ваши высказывания по целому ряду вопросов, связанных с экономикой промышленности, сельского хозяйства и пр., внесли огромную ясность в разрешение многих сложнейших проблем нашего строительства. Отсутствие такой же чёткой партийной установки в делах литературы вообще заставляет нас очень просить Вас уделить нам хотя бы самое краткое время для такой беседы, тем более что нам хорошо известно Ваше постоянное внимание к этой области искусства».

Два весьма маститых «попутчика» из числа молодого поколения явно хотели разобраться в вопросах дальнейших взаимоотношений со своими недругами из РАППа, но тогда вождь не откликнулся. Выдержал паузу.

А тут Алексей Максимович позвонил и сказал Леонову:

— Тебя хочет видеть Сталин.

Леонов к 1932 году — глава правления Всероссийского союза писателей (послужившего прообразом Союза советских писателей, который ещё не создан), член редколлегии журнала «Красная новь» (с февраля по сентябрь 1932-го) и ещё и «Нового мира» (наряду с Фадеевым и упомянутым Ивановым). Вячеслав Полонский бросает вскользь о Леонове в своём дневнике по этому поводу: «Очень он доволен: в некотором роде власть. Тихонько, смирненько — он двигается и преуспевает».

«Соть» воспринимается как один из самых актуальных романов современности и тиражируется постоянно: только в 1931 году вышли сразу три издания романа.

Леонов — твёрдо в первой пятёрке советских писателей, наряду с Фадеевым, Шолоховым, Всеволодом Ивановым и Алексеем Толстым. И над ними — Алексей Максимович.

И вот он у Горького.

— Ступайте в библиотеку, посмотрите новые приобретения, — посоветовал Горький Леониду Максимовичу.

Минут двадцать пробыл Леонов в библиотеке и вышел, услышав оживлённые голоса Горького и Сталина.

«Знакомьтесь», — говорит Горький.

Сталин невысокий, в военном френче. Черноволосый. Леонов потом удивится по поводу того, что у Солженицына — Сталин рыжий. «Всё правдоподобно о неизвестном», — мягко и точно поиронизирует Леонов по этому поводу.

Прошли за стол.

На первой же встрече Леонов сказал то, что считал сказать обязательным.

На вопрос Сталина: «Что нового в литературе?» — ответил:

— Товарищ Сталин... Если вам когда-нибудь потребуется кричать на нас и топать ногами, делайте это сами. А не поручайте злым людям, которые совершают это с двойным умыслом.

— Зачем кричать? — ответил Сталин с характерным акцентом. — Зачем топать?

Леонов конечно же имел в виду РАПП.

И РАПП действительно скоро разгонят, в апреле того же года. Леонов многие годы верил, что его разговор в первую встречу со Сталиным повлиял на ликвидацию ассоциации пролетарских писателей, так много попортивших крови «попутчикам». Едва ли Сталин сделал это по просьбе Леонова. Но услышал и его; и его тоже.

Впоследствии Леонов ещё трижды попадал на встречи со Сталиным у Горького.

Однажды, за обедом, вождь заметил вслух:

— А Леонов хитрит?

— Как хитрит, товарищ Сталин? — спросил Леонов.

— А водку не пьёт.

Леонов никогда не отличался ни любовью к алкоголю, ни выносливостью в его употреблении; а тут ещё и Сталин напротив — как вообще возможно пить!

В те дни Леонов работал над романом «Скутаревский», на то и сослался:

— Книгу пишу. Завтра буду делать трудную главу.

(Он писал сцену охоты на лису в «Скутаревском».)

— Понимаю, понимаю, — сказал Сталин; выдержал паузу и добавил: — «Унтиловск»?

Леонов не сразу понял, о чём идёт речь. Позже вспомнилась ему частушка из «Унтиловска»: «Во рту сухо, в теле дрожь». Над леоновским волнением иронизировал Сталин. Косвенно,

кстати, подтверждая, что спектакль он всё-таки видел и запрещён «Унтиловск» был не без его участия.

Окончание частушки, к слову, было такое: «Где же правда? Всюду ложь!»

Леонов пожал плечами, надеясь, что сейчас внимание переключится на иную тему, но тут вдруг встал в полный рост присутствовавший на обеде зампредседателя ОГПУ Генрих Ягода и поинтересовался:

— Скажите, Леонов, зачем вам нужна гегемония в литературе?

Было отчего похолодеть. Ягода приходился шурином — братом жены — Авербаху, и отношения меж бывшим рапповским деятелем и видным «попутчиком» Леоновым были соответствующие.

Леонов нашёлся тогда: взъерошил волосы и сыграл под дурака:

— Какая гегемония? Я хочу, чтоб мне на голову не срали. А то сползает на глаза, я бумаги не вижу...

Ягода захохотал, довольный ответом.

К вечеру развеселились настолько, что стали петь. Горький похвалил музыкальные таланты Леонова — гости, естественно, сразу затребовали от него исполнить песню. Тот отнекивался как мог, сослался на отсутствие музыкального инструмента. Дело дошло до того, что кого-то из охраны послали к Леонову домой, в Большой Кисловский. Дверь человеку в форме открыла напугавшаяся Татьяна Михайловна — она к тому же была беременна вторым ребёнком; у неё попросили мандолину для Леонида Максимовича.

Исполнение песен — к сожалению, не знаем каких, — прошло успешно; и вообще, тогда всё закончилось хорошо.

* * *

Одна из самых важных их встреч случится в том же 1932-м. О ней Леонов будет вспоминать часто, всю жизнь.

Вновь обед у Горького, за столом — сам Алексей Максимович, Сталин, Ворошилов, Бухарин...

По обыкновению Леонов садится подальше от больших людей; слушает, сам говорит мало.

Все, кроме Леонова, выпивают, шумят.

Ворошилов вовлекает писателя в разговор, шёпотом спрашивает, что нового в литературе.

Леонов называет недавно вышедшую книгу Всеволода Иванова «Путешествие в страну, которой нет».

Сталин, неожиданно прекратив ту беседу, что вёл на другом конце стола, вдруг громко спрашивает:

— А что, Иванов совсем исписался?

Леонов попал в затруднительное положение — оттого что ответ был заключён в самой формулировке вопроса: что-что, а формулировать, замешивая иронию с провокацией, Сталин хорошо умел.

Леонов стал защищать Иванова. Чтобы поддержать адвокатство Леонова, в разговор вмешался Горький.

Обращаясь к Сталину, он сказал, указав на Леонова:

— Этот человек может отвечать за всю русскую литературу.

В присутствии первых лиц государства Горький назначил Леонова одновременно и наследником — не только своим, но русской классической литературы вообще, — и первым писателем Страны Советов.

Сталин замолчал и в течение доброй минуты, в полной тишине, смотрел Леонову в глаза. Леонов взгляд выдержал, но «тигрово-полосатые» глаза вождя запомнил навсегда.

Наконец, Сталин сказал, переведя глаза на Горького:

— Я понимаю. Я вам верю, Алексей Максимович.

И все вновь заговорили, задвигали посудой.

Потом Леонов скажет, что и слова Горького, и эта минута, когда вождь и писатель неотрывно смотрели друг на друга, спасли ему жизнь.

Леонид Максимович, пожалуй, делал допущение: никакой гарантии сохранения жизни не давали ни веские слова «буревестника», ни отчасти дерзкий поступок молодого писателя, не стушевавшегося под немигающим взглядом диктатора.

Рискнём предположить, что именно думал Сталин в те долгие мгновения, пока смотрел на Леонова. Возможно, он всё-таки ждал, что писатель дрогнет: на то были причины.

Леоновская манера не вспоминать о своих архангельских приключениях, сказать по чести, достаточно наивна. В те годы жили десятки и сотни людей, помнивших о том, как отец Леонова возглавлял Общество помощи воинам Северного фронта, и наверняка видели юного стихотворца, молодого офицерика в белогвардейской форме. И газеты всего-то десятилетней давности, где отец и сын костерят большевиков, истлеть ещё не успели, и целые подшивки «Северного утра» в центральной библиотеке Архангельска наверняка были.

Даже по сей день сохранился десяток документов, прямо говорящих об участии Леоновых в контрреволюционной деятельности; а в те времена подобных документов могло быть ещё больше.

Леонов прожил целую жизнь, чувствуя затылком мрачное дыхание своего прошлого, которое в любое мгновение могло настигнуть и спихнуть в небытие.

Не в силах избавиться от этого непреходящего страха, Леонов начинает жуткую, почти самоубийственную игру со смертью: из романа в роман у него появляется один и тот же герой — бывший белый офицер, живущий в Стране Советов: злой, сильный, упрямый волк, иногда обряжающийся в одежды смирения и послушания, и делающий это даже искренне.

Впервые офицерик, именно что прапорщик, как и Леонов, и тоже совсем мальчик, появится, как мы помним, в «Воре» — ему Векшин руку отрубит. В том числе и потому Леонов нёс тихий и мстительный огонёк ненависти к Векшину через всю жизнь, и потом-таки неотрубленной писательской рукою Митю своего умертвит.

А дальше возникает целая галерея белогвардейских мальчиков, возмужавших в чуждой им и ненавидящей их стране. Виссарион в «Соти». Глеб Протоклитов в «Дороге на Океан». Стратонов в повести «Evgenia Ivanovna». Порфирий в пьесе «Метель». Отчасти к тому же типу можно отнести «волков» — предателей, «окопавшихся» в Советской стране и разоблачённых: младшего Скутаревского, тоже, кстати, участника Гражданской войны — в «Скутаревском», Пыляева — в пьесе «Половчанские сады», Луку Сундукова — в пьесе «Волк».

Сей объёмный, охватывающий едва ли не весь свод созданного Леоновым, список героев продолжает бывший провокатор Грацианский в романе «Русский лес». В последнем случае конечно же о прямой автобиографичности речи и идти не может, но этот неистребимый, тайный ужас Грацианского, видного, между прочим, общественного деятеля сталинских времён, Леонову был хорошо знаком.

Грацианский однажды описан за концептуальным занятием: он работает в архивах, где, по всей видимости, тайно вырезает из них «лишние» документы.

Доныне в архангельских архивах хранятся подшивки «Северного утра» с аккуратно вырезанными антисоветскими статьями обоих Леоновых, отца и сына, и порезаны газеты были ещё в советские годы. Вряд ли Леонов сам занимался этим; но отношение иметь мог.

Скрытность Леонова в этом вопросе была просто маниакальна: о белогвардейском прошлом писателя не знали его самые близкие люди — к примеру, дочери. Обнаруженные не так давно архивные документы были неожиданностью для всех. Вместе с тем внимательное прочтение произведений Леонова даёт понять, с каким самозабвенным и жутким наслаждением он дёргал судьбу свою за ус.

И вот для Сталина всё это тайной могло и не быть.

Имя Леонова он знал давно.

Ещё в 1925 году в присутствии Сталина председатель РВС СССР и нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе делал доклад на политбюро о литературе. О Леонове он отозвался восторженно и провидчески: «Это будет крупная литературная величина». Надо сказать, у военного наркома и, кстати, заступника Сергея Есенина был отменный литературный вкус.

В том же 1925 году докладывал на политбюро и сам Сталин: его выступление было посвящено журналу «Красная новь», где Леонов уже опубликовал своих «Барсуков».

Леонов говорил, что в сталинской личной библиотеке кто-то видел чёрканный-перечёрканный экземпляр «Вора». В наши дни книжку со сталинскими пометками обнаружить не удалось; однако доподлинно известно то, что Сталин Леонова читал.

К 1932 году в голове Сталина сложилась новая и неожиданная для многих картина литературного процесса. Началось всё с постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», когда был распущен РАПП — организация, пытавшаяся в ультимативной форме единолично руководить литературой и по своим лекалам править «попутчиков».

В этой ситуации Сталин начинает присматриваться к самым важным из них: насколько крепки они, насколько преданы делу большевизма, насколько полезны могут быть — Алексей Толстой, Булгаков, Пастернак, Всеволод Иванов, Леонов...

Найти среди них людей с идеальным прошлым было непросто, а возможно, и ненужно. Куда важнее и нужнее чистопородного догматика — талантливый «попутчик» с червоточинкой. Потому что сам он про эту червоточинку помнит, вину свою знает и всегда может быть уверен, что ему есть за что снять голову с плеч.

Именно такие литераторы и стали костяком встречи у Горького, состоявшейся 26 октября 1932 года на Малой Никитской. Пообщаться со Сталиным и несколькими членами политбюро были приглашены 43 литератора.

* * *

Встрече с «попутчиками» предшествовало общение с писателями-коммунистами, где Сталин подверг жёсткой критике за самоуправство и зазнайство распущенный уже РАПП и, кстати, помянул имя Леонова: «Ваши неправильные установки в этих вопросах вы так вдолбили в головы писателей, что буквально сбиваете их с толку. Леонов, например, просил меня

сказать: нет ли, не знаю ли я такой книги о диалектическом методе, по прочтении которой сразу можно было бы овладеть этим методом. Вот до чего вы забили головы писателям вашим неправильным схоластическим толкованием применения законов диалектики к творчеству писателя. Вы забыли, что знание этих законов даётся не сразу, и в применении к творчеству художественных произведений не всегда было обязательно».

И вот — «сбитые с толку» собрались отдельно. Критик Корнелий Зелинский оставил записки об этой встрече.

«На диване в библиотеке Алексея Максимовича сидели и беседовали Вс. Иванов, Вал. Катаев, Л. Леонов. Они говорили и спорили о широко известном коринском портрете Алексея Максимовича, изображённого во весь рост, в пальто, с палкой, на фоне соррентских гор. Портрет висел тут же».

Вышел Горький, со всеми поздоровался «довольно холодновато». Леонов его останавливает, о чём-то говорит с ним: может себе позволить запросто общаться с классиком.

Появляются Сталин, Ворошилов, Молотов, Каганович, Постышев. Зелинский отметил, что все усталые и явно недосыпающие ночами.

Горький выступает с приветственным словом. Следом берёт слово Авербах, «говорит как всегда резким, отчётливым голосом. Гладкие, быстрые формулировки. Признание за РАПП ошибок, которые поправила партия».

Сталин над Авербахом откровенно подшучивает.

Поднимается Лидия Сейфуллина и начинает ругать рапповцев, обвиняя их, что они по сей день травят писателей. Вот, к примеру, Тынянова затравили до такой степени, что он начал слепнуть.

Вступает Вс. Иванов:

«— Меня вот огорчила Лидия Николаевна Сейфуллина. <...> РАПП и раньше, несмотря на свои ошибки, принёс нам всем пользу. Вот меня, например, РАПП бил два года, и ничего, кроме пользы, от этого не вышло. Я человек крепкий».

Здесь Сталин засмеялся и сказал через стол Леонову, что Иванов себе цену набивает.

Леонов выступал следом, говорил в своей манере: неопределённо и словно бы нарочито неопределённо. Сказал, что «трудно и ответственно быть писателем, не обладая информацией о жизни страны». По мнению Зелинского, «Леонов намекал на осведомительные сводки, которыми пользуются члены Политбюро».

После официальной части все выходят покурить, пообщаться. Зелинский опять замечает, что Сталин разговаривает с Леоновым.

Заходит речь «о материальной базе, — вспоминает Зелинский, — Леонов рассказывает, с каким трудом писателям приходится получать дачи».

«Сталин дачи и вообще "базу обещает" и, между делом, говорит Леонову: а вот дача Каменева освободилась, "можете занять"».

Зелинский утверждает, что «зловещий смысл этих слов» до слушателей не дошёл.

Позже на эту историю с каменевской дачей много ссылались, иногда с недоброй усмешкой: вот-де Леонов едва не перебрался в дом смертника.

Но в те дни, заметим мы, всё ещё не было столь трагично. Да, Каменев был в 1927 году исключён из партии, затем восстановлен и вновь исключён. В 1932-м его отправили в ссылку в Минусинск, но убивать Каменева пока никто не собирался, и до начала большого террора было ещё несколько лет. А ссылка — ну что, в России этим мало кого можно было напугать. Не такой уж зловещий смысл, в общем.

Леонов ответил, что не хочет быть связан с именем Каменева.

— Я тоже так думаю, — ответил Сталин.

На дачу Каменева в итоге въехал Исаак Бабель. Леонов же получил спустя три года самый захудалый участок в Переделкине: едва ли не на болоте...

Закончился перекур, начался обед. Леонова усаживают ровно напротив Сталина, рядом с Фадеевым. Все выпивают, немного поют, читают стихи.

Потом выступает Сталин и в числе прочего говорит о том, что и стихи хороши, и романы, но лучше всё-таки — пьесы: «...пьесы сейчас — тот вид искусства, который нам нужнее всего. Пьесу рабочий легко просмотрит. И через пьесы можно сделать наши идеи народными, пустить их в народ».

Несмотря на несколько небольших эксцессов, вечер закончился весело и дружественно; Зелинский вновь отметил, что под конец встречи Сталин много общался с Леоновым и Авербахом.

Леонов, как мы видим, тоже испытывал человеческий интерес к общению с вождём. В отличие от, скажем, Шолохова, который, напротив, по воспоминаниям Зелинского, на той встрече держался особняком. А когда Сталин заговаривал о Шолохове, тот всё время будто бы норовил избежать этого внимания. Но, к чести Леонова, ни тостов, ни славословий в честь вождя он не произносил ни в тот день, ни во время других встреч.

Стоит добавить, что впоследствии был расстрелян каждый четвёртый участник этого знаменательного события. Оставшиеся в живых вспоминали потом, что убили и всех тех, кто поднимал за вождя бокал, и тех, кто пытался спорить с ним.

* * *

В том 1932-м Леонов переживает очередной подъём: он избран в состав секретариата МОРП (Международного объединения революционных писателей), у него за год выходит девять книг, в том числе два издания «Соти», два издания «Саранчуков», «Барсуки», «Вор», «Белая ночь», «Избранные произведения»...

Но этот подъём — накануне большого обвала.

Незадолго до писательской встречи со Сталиным, в сентябре 1932-го, «Новый мир» закончил публикацию романа «Скутаревский».

Леонов многого ждёт от этой книги, внешне апеллирующей к насущной повестке дня, а именно — к прошедшему в 1930 году процессу Промпартии, уже упомянутому нами.

В романе Леонова действует учёный — интеллигент старой закалки, принявший советскую власть; и вредители, напомним, тоже появляются.

О сомнениях Леонова в массовости вредительства мы уже писали; но по сути это не столь важно. Важно то, что в случае с романом «Скутаревский» Леонов переиграл самого себя. Скорее всего, он втайне надеялся, что у него пройдёт тот же финт, что и в случае с «Сотью», с «Белой ночью» и «Саранчой»: он вновь напишет всё, что ему нужно, отчасти одев свои апокалипсические видения в весьма условные соцреалистические одеяния; но вот не получилось.

Начала складываться парадоксальная ситуация: если за «Барсуков», за «Вора», с их порой нарочитой антисоветчиной, его и хвалили, и ругали примерно в равной степени, то за самые — по крайней мере внешне — советские вещи его начнут терзать и рвать на части.

Финал 1932 года и наступивший 1933-й принесли писателю немало огорчений. И не только ему. Юрий Олеша отметит в дневнике: «Литература кончилась в 1931 году. Я пристрастился к алкоголю...» Леонов вытянул ещё год, до 1932-го, но далее ему предстояло перенести такие удары, которых он избежал бы, если б просто замолчал. Но ему не молчалось.

Его начнут хлестать критической розгой незадолго до нового, 1933 года. Близкие писателя помнят, что новогодняя ночь в том году была и печальна, и томительна.

«...Страна ждёт сверкающих и высоких произведений»

Застрельщиком выступил академик Алексей Николаевич Бах, биохимик, народоволец, затем эсер, достаточно быстро пришедший к большевикам, ещё в 1920-м создавший Биохи-

мический институт Наркомздрава, с 1928-го возглавляющий Всесоюзную ассоциацию работников науки и техники, с 1929-го являющийся академиком АН СССР. В общем, весомая фигура — и едва ли с этой стороны ждал удара Леонов.

Тем не менее «Литературная газета» 29 октября 1932 года (то есть всего через три дня после встречи писателей со Сталиным у Горького) вышла со статьёй Баха на первой полосе — «Наше слово о литературе». Журнальная публикация романа на тот момент ещё не завершилась — но критикам уже не терпелось.

«...Произведение растянуто, — пишет Бах. — Мы, люди науки, привыкли мыслить более конкретно и чётко, поэтому требуем от литературы такой же ясности.

Как мне кажется, Леонов в “Скутаревском” неясно отметил те этапы, которые характеризуют историю нашей интеллигенции. <...>

С одной стороны, успех пятилетки, яркая насыщенность многих лет социалистического строительства, с другой — мировой кризис на Западе, который даже у сторонников западной буржуазии поколебал веру в целесообразность и жизненность капиталистического строительства, — всё это привело к большим сдвигам, заставило интеллигенцию многое пересмотреть, многое отбросить, многое принять.

Вот эти две основные причины... Леонов не отобразил с достаточной яркостью в своём “Скутаревском”».

В том же номере продолжает тему критик Иван Анисимов. Из приличия приподняв на мгновение шляпу перед автором обсуждаемого романа («...крупная вещь большого советского художника сосредоточит на себе пристальное внимание...»), Анисимов сразу приступает к делу: «Первое, что бросается в глаза, требует своего объяснения, — это достаточно резкая диспропорция между масштабами замысла, между темой, которую берёт роман, и тем, что представляет собой целое “Скутаревского”. Леонов написал роман мрачного колорита, с придавленной перспективой...»

И ведь правду пишет! Едва ли Леонов хотел подобное читать о себе, но колорит-то, да, мрачный.

«Как же получилось, — всплёскивает руками Анисимов, — что художник, искреннейшим намерением которого было дать правдивую картину нашей действительности, пришёл к итогам “Скутаревского”?»

Ответ тут конечно же сформулирован в самом вопросе: у Леонова действительно было «искреннейшее намерение дать правдивую картину» действительности — так он и приходил к итогам почти всех своих текстов.

«Перед автором Скутаревского, — продолжает Анисимов, — был замечательный путь, продиктованный действительностью. Но он не вступил на него. <...> Его Скутаревский гораздо более походит на чудаковатых, взлохмаченных и тёмных профессоров старой Москвы, столь беспощадно изображённых в воспоминаниях Белого, чем на учёного, строящего социализм. <...>

Он погрузил Скутаревского в мещанское болото. После этого становится естественным, что роман не показывает настоящей перестройки интеллигента, а, значит, и не решает своей основной задачи. Фигура Скутаревского оказывается однобокой, искривлённой, приплюснутой».

Особенно красочно смотрится определение «приплюснутая фигура». Не берёмся судить о стиле совкритиков, но вот с классовым чутьём у них точно было всё в порядке.

«Мы с удивлением наблюдаем, — восклицает Анисимов о Леонове, — как он занимается довольно злым развенчанием Скутаревского именно за смелость его мысли. Его изобретение оказывается "фокусом, который стоил громадных денег", "решением несбыточной темы". После неудачи своего первого опыта Скутаревский начинает сомневаться в правильности "тех путей, по которым доныне деспотически вёл свою науку". Неудача опыта изображена Леоновым как разгром Скутаревского. Там, где было естественно ожидать нового прилива "искательской ярости" и нового творческого энтузиазма и новой поддержки советской страны, автор романа видит лишь паническое отступление».

И даже то, чем Леонов, возможно, хотел спасти свою книгу — появлением в романе вредителя, — тоже ставится ему в вину.

«"...В судорожной истерике последних дней" сына Скутаревского Арсения, ставшего вредителем, Леонов "возобновляет" своё старое знакомство с Достоевским. "Психологические пейзажи", нарисованные здесь автором "Скутаревского", полны надрыва, мрака, безысходности и во многом определяют основной тон книги».

«От Леонова страна ждёт сверкающих и высоких произведений...» — так завершает свою статью Анисимов. В том смысле, что это вот у вас не сверкает, посему — заберите обратно.

И дальше покатился каток по Леонову.

Г. Мунблит в той же «Литературке», как и предыдущий оратор, начинает за здравие и спустя две строки в изящном кульбите переходит к заупокойным рассуждениям: «Основное качество романа, не вызывающее сомнений, — его правдоподобие. <...> И вместе с тем отдельные образы, да и весь роман в целом оставляет впечатление фальши».

О, как читал всё это Леонов, за голову хватаясь, само имя, скажем, Мунблита повторяя как ругательство. Надо осознавать к тому же, какое значение имело тогда печатное слово: люди истово верили ему, зачастую оно звучало как резолюция высших инстанций, как диагноз и даже как приговор: «В газете пропечатано, смотри!»

«Образ Скутаревского, — сообщает Мунблит, — двойственен и двойственен противоречиво.

С одной стороны — это специалист, большой мастер своего дела, знающий себе цену, сознательный строитель социализма. <...> С другой — это колеблющийся интеллигент, без места в жизни, без сознания верности избранного им пути. <...>

В Скутаревском, — заключает Мунблит, — воплощены две основные тенденции, под влиянием которых происходит в наши дни расслоение интеллигенции. Тенденции эти противоположны, несовместимы. В романе же Леонова грань, проходящая через расслаивающуюся социальную категорию, резко отделяющая одну её часть от другой, стёрта. Ибо здесь один человек совмещает в себе полярные эти тенденции».

Неизвестно, догадывался ли Мунблит о том, что человеческая душа, характер человеческий вообще не являются некоей цельной и одномерной субстанцией; равно как и о том, что достаточно точно подмеченная противоречивость Скутаревского являлась отражением внутренних сомнений самого Леонова.

Скорее всего, ни о чём таком Мунблит не думал, посему самоуверенно утверждал, имея в виду советских учёных, да и просвещённую советскую интеллигенцию вообще: «Люди этого типа попросту умнее Скутаревского. И писать о них — дело более тонкое и сложное, чем представляет себе Леонов. <...>

Образ Скутаревского не продуман, не раскрыт и не показан читателю. Он ложен и мёртв в романе Леонова, этот образ, или, вернее, его попросту нет здесь, ибо традиционная фигура мятущегося интеллигента с мочальной бородой и в запотевшем пенсне, наделённая здесь внешними атрибутами великого учёного, не воспринимается как реальность, как правда, как образец подлинного писательского проникновения в суть вещей. Она здесь самозванна, эта фигура.

И печальнее всего, что в самозванности своей она в романе не одинока.

Самозванцев в романе несколько, и нужно сказать, что играют они свои роли далеко не блестяще.

Помощник Скутаревского — коммунист Черимов, коему надлежит представлять в романе возникающую пролетарскую интеллигенцию, — стоит в первом ряду.

Характеризуется он следующим образом. По поводу сделанного им изобретения газеты... "приводят краткую, но поучительную биографию молодого учёного, украшенную, правда, не перечислением научных работ, а указанием на количество его общественных нагрузок".

В суждениях и взглядах своих Черимов предельно "ортодоксален". Так, "он повсюду отстаивает взгляд, что под всяким изобретением должна подписываться вся масса сотрудников, а не один только его вдохновитель", не только пропагандируя этим систему обезлички, но и обнаруживая трогательную неосведомлённость в технике изобретения, где в его представлении действует какой-то "вдохновитель". О нём сообщается также, что "всякую истину он принимал в строгой зависимости от её резонанса во мнении масс", что ему "никогда не удавалось больше получаса в месяц выкроить на любовь" и что в науке он всегда отдавал предпочтение насущному перед грядущим. Словом, характеристика ему дана всесторонняя и исчерпывающая. Перед нами законченный тип скучного, неумного "человека в футляре", возведённого в идеал и представляющего в романе Леонова новые кадры пролетарской интеллигенции — весёлых, умных, работоспособных людей.

Рядом с Черимовым, но в ином плане, чем он, подана в романе комсомолка Женя — предмет запоздалой страсти профессора Скутаревского. Девушка эта (тип подруги художников с Монпарнаса) лишена каких бы то ни было стремлений, побуждений, замыслов».

И так на целую полосу. «Надуманный, ложный роман» — вот резюме Мунблита.

Справедливости ради надо сказать, что рядом со статьёй Мунблита есть отзыв упоминаемого нами в прежних главах критика Нусинова — вполне сдержанный и скорее приветствующий новый роман Леонова. Мало того, здесь же опубликован отрывок из пьесы «Скутаревский», которую Леонов начал готовить для Малого театра сразу по окончании романа.

Однако главная тональность уже была задана и пошла кочевать по страницам едва ли не всех крупнейших изданий страны. Хлестали с оттягом: одни работали за идею и кожей чувствовали чужака, иные мстили Леонову за ранний успех, за десятки отлично раскупавшихся переизданий, за многочисленные к тому времени переводы на иностранные языки, за любовь Горького, за внимание Сталина, за ту сложнообъяснимую степень свободы, которую позволял себе в своих текстах Леонов.

Критика была непрестанной.

Вероятно, в те дни Леонову впервые пришла в голову мысль написать Сталину. Уже тогда писатели начали понемногу при-

менять этот действенный способ спасения: кто, если не вождь, услышит, кто, если не вождь, поймёт. Не так давно, 28 марта 1930 года, Михаил Булгаков обратился с письмом «Правительству СССР», и Сталин перезвонил литератору 18 апреля того же года. Случай Булгакова, известный в писательской среде, был далеко не единственным.

Но тут в семье Сталина случилась трагедия, которая отмела любые мысли о возможности послания. В ночь на 9 ноября 1932 года жена генсека, Надежда Сергеевна Аллилуева, покончила с собой. Ей было всего 30 лет.

Причина её смерти конечно же не называлась, хотя слухи о самоубийстве ходили.

Сталин действительно переживал гибель жены и до конца своих дней держал на видном месте её фотографии: и в кремлёвской квартире, и на даче. По ночам иногда просил шофёра без лишнего шума отвезти его на Новодевичье кладбище к её могиле и сидел там подолгу.

Спустя неделю после смерти Аллилуевой, 17 ноября, «Литературная газета» публикует письмо следующего содержания:

«Дорогой т. Сталин!

Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты.

Примите нашу скорбь о смерти Н. С. Аллилуевой, отдавшей все силы делу освобождения миллионов угнетённого человечества, тому делу, которое вы возглавляете и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела».

И подписи: Леонид Леонов, Инбер, Никулин, Никифоров, Шкловский, Олеша, Вс. Иванов, Лидин, Пильняк, Фадеев.

Под общим посланием — отдельное соболезнование от Бориса Пастернака: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочёл известье. Потрясён так, точно был рядом, жил и видел».

(Как пример нездорового казуса отметим, что в том же номере, на той же странице, но чуть ниже опубликован шарж на Михаила Зощенко, украшенный хохочущими и умильными рожами его героев.)

Есть некоторые основания предположить, что инициатором написания общего соболезнования (и автором текста — по крайней мере первоначального его варианта) выступил именно Леонов: иначе с чего бы его фамилии стоять первой. Тем более что и по статусу он и Фадеев в числе подписавших были на тот момент самыми весомыми фигурами. Впрочем, никаких документальных подтверждений нашему предположению нет.

Восемнадцатого ноября «Правда» публикует письмо И. В. Сталина в газету: «Приношу сердечную благодарность организациям, учреждениям, товарищам и отдельным лицам, выразившим своё соболезнование по поводу кончины моего близкого друга и товарища Надежды Сергеевны Аллилуевой-Сталиной».

«Окурочки» и «комсомолочки» Леонова

В одном из опросов того времени на тему «Существует ли в СССР литературная критика?» Леонов с понятным озлоблением отвечает:

«За немногими исключениями у нас имеются пока лишь рецензенты на выходящие книги. Иные из этих рецензий бесполезны как для художника, так и для писателя (ибо всем известна стандартная рецептура таких статей), иные вредны... Критики же, как это принято понимать, у нас пока нет. О несуществующем говорить трудно, можно высказывать лишь пожелания на будущее время... <...>

Нужно, чтобы и на критиков были критики... Дегустаторы же, комедианты и суетливые острословы от критики нам давно, и заслуженно, надоели».

Ещё бы ему не разозлиться... Ощущения свои тех лет он запомнит надолго.

Выступая 21 июня 1974 года в Московском университете, Леонов сказал: «Каждая моя новая книга, в особенности после тридцать первого года, встречалась ужасными такими, неприятными аплодисментами по телу... <...> Самая большая трудность была в том, что, во-первых, это был обычный послеродовый период. Я, так сказать, выходил раскорякой и с ребёнком на руках, а эти удары в нижнюю часть живота бывали обычно очень болезненными».

Несмотря на то, что, как нам кажется сегодня, идеологически леоновские противники весьма обоснованно ощущали в нём человека по сути своей чуждого советскому строю (как, впрочем, и любому другому, добавим мы), с точки зрения собственно литературной его книги вообще мало кто оценивал.

В то время как «Скутаревский» — вещь, сделанная, быть может, без того снизошедшего свыше вдохновения, как «Петушихинский пролом» или «Вор», но безусловно на редчайшем уровне литературного мастерства. «Роман очень неровный, очень спорный, талантливый, как всё, что Леонов пишет», — отзовётся в те же дни за границей Георгий Адамович.

Процитируем навскидку один отрывок из «Скутаревского»: так легко, иронично и полнокровно в Советской России не писал тогда никто. Речь идёт о женитьбе молодого учёного Скутаревского, эдакий флеш-бек в романе:

«Тем же летом к Петрыгину приехала сестра, курсистка Аня. Она была чернявая, вроде жужелицы; некоторое неблагополучие с ушами она искусно драпировала блестящими, точно лакированными волосами. Стояла затянувшаяся весна; лёгкий зной перемежался с дождичками; ежевечерне влажная дымка стлалась над полями внизу. Всё цвело — кусты, лужи, дворник Ефим, небеса, жирная остролистая, как бы нафабренная трава вокруг крокетной площадки, деревья цвели, птицы... казалось, ещё ночь — и зацветут вовсе неодушевлённые предметы. А едва по небу глубокие, с грустинкой, проступали ночные взмывы облаков, начинался звонкий, как бы с арфы, ветерок, — Скутаревский балдел от такого изобилия красот... В такую-то ночь Аня пришла к нему в беседку.

Она считала себя передовой девушкой, мораль она сводила чисто к физиологической гигиене. Она сказала, что молодость длится до поры, пока не чувствуешь бремени материи, из которой сделан; Скутаревский удивился, про это он нигде не читал, ему понравилось. Она запутанно выразилась, что мещанство — непременное качество каждого индивида на одной из Гераклитовых ступеней; Скутаревский смолчал, потому что, кроме электронов, он не интересовался ничем, и все греки представлялись ему одинаковыми гипсовыми лицами. Она спросила, нравится ли она ему; он признался сконфуженно, что в общем она довольно благоприятно действует ему на сетчатую оболочку... В полночь началась гроза; беседка не протекала только в одном месте, над кушеткой, где спал молодой человек. Аня задержалась. Она ушла на рассвете, босая... прыгая через лужи. Сергей Андреич стоял на пороге, смотрел, как мелькают её твёрдые жёлтые пятки, и смятённо теребил какие-то цветы, высокие и мерзкие, точно сделанные из ломтиков сёмги. В кустах шумели дрозды... И ему очень хотелось догнать Аню и извиниться; он ещё не верил, что это уже навсегда. За утренним чаем все переговаривались; челядь подносила ему первому. Тётка, которой Сергей Андреич и раньше желал тихого конца, посреди бела дня завела аристон. Петрыгинская собака до непотребства семейственно лизала ему руки; он отдёргивал их, она рычала. Сергей Андреич со страхом ждал, что сейчас ему вынесут пахучий, в копну размером, фиолетовый букет».

Как этой замечательной писательской походки было не заметить — совершенно неясно!

Но не замечали и продолжали о своём.

И не только критики, но и братья-писатели.

В. Каверин, будущий автор «Двух капитанов», в числе иных обозначивший свою критическую по отношению к Леонову позицию, сетовал: «Он подошёл с готовыми представлениями к изображению людей науки. <...> Несмотря на внешнюю точность, научный материал романа лишён той своеобразной конкретности, которая могла бы заинтересовать читателя и которая составляет всю силу этого материала. Мне кажется, что некоторое равнодушие автора к тому, чем занят его главный герой, передаётся в этой книге и читателю».

Характерно, что читателей тоже спросили, как, мол, им книжка Леонова. В те месяцы рабочим одного из заводов раздали несколько книг: «Мои университеты» Горького, «Поднятую целину» Шолохова, «Скутаревского» Леонова, «Железный поток» Серафимовича и ещё несколько менее знаменитых сочинений...

Как ни удивительно, рабочие книгу Леонова восприняли с интересом: по крайней мере по числу благоприятных отзывов Леонов, наряду с Горьким и Шолоховым, лидировал.

«Читатели отмечают “трудность” книги, хотя *чувствуют* её значительность», — отчитывались по этому поводу в прессе.

Были, конечно, и такие отзывы рабочих: «Книга написана похвально, но я просил бы автора писать попроще, иногда бывает непонятно, что он хотел сказать, а гадать не охота (например: фагот, скерцо, космос, антреприза)».

Или: «...книга мне понравилась своею правдивостью, но много я над нею попотел!»

Или: «Сначала читать трудно, но, как привыкнешь к *авторским штукам*, — ничего, нравится».

А вот отзыв квалифицированного рабочего: «Книга значительна тем, что она заставляет думать о многом, не имеющем прямой связи с темой книги. Книга рождает бодрые мысли. Достоинство книги в том, что она *ставит проблему*, недостаток её — в том, что она ставит *слишком много проблем*».

Сдаётся, что в конечном итоге Леонов предпочёл бы квалифицированного рабочего читателя читателю нерабочему и политически ангажированному до изжоги.

Любопытно опять же, что в одной их первых английских рецензий на перевод «Скутаревского» рецензент Артур Руль говорит словно бы образованный рабочий с московского завода: «Леонов сложен; его довольно трудно читать, как мне кажется, местами он раздражает своим “натур-лиризмом”, своей настойчивостью, с которой он одушевляет неодушевлённые предметы, своим слишком тщательным антропоморфизмом.

Но в этой книге есть красота и сила и, если у вас есть терпение для того, чтобы пробраться чрез эту серую тундру слов, то вы почувствуете здесь волнующий дух революции».

В российской же прессе критический шум продолжался с переменными обострениями почти весь 1933 год.

На тему «Скутаревского» прошли два диспута, созванные оргкомитетом Союза советских писателей.

Упомянутый Исаак Нусинов сделал специальный доклад, попытавшись неустанно втаптываемого в грязь Леонова защитить.

Первый диспут состоялся 28 декабря 1933 года. После Нусинова появился поэт Семён Кирсанов, который был бурен, но краток. В частности, он сообщил, что в произведении «не нащупывается ни тема, ни проблема, ни замысел».

Кирсанова сменил уже известный нам Мунблит и с выражением пересказал свою статью в «Литературке».

Отчитываясь о диспуте, «Литературная газета» от 11 января 1934 года сообщает о дальнейшем его ходе:

«По мнению выступавшего затем т. Коваленко, основной типаж и образы, выведенные в “Скутаревском”, автору не удались. <...>

Тов. Шкловский заявил, что он не чувствует в романе органического дыхания. Произведение сделано из кусков, искусственно соединённых. <...>

Тов. Кирпотин считает, что неудача “Скутаревского” вызвана, прежде всего, запоздалым его появлением».

Заметим, что, помимо Кирсанова, в дискуссии приняли участие либо те, кто уже отписался (лучше сказать — оттоптался) по Леонову, либо те, кто собирался это сделать.

Так, критик Борис Коваленко печатно, в одном из журналов, скажет следующее: «От романа “Скутаревский” мы должны требовать больше, чем от “Соти” и “Саранчуков”».

Автор «Скутаревского», по мнению Коваленко, «выявил необычайно низкий и примитивный уровень в трактовке соотношения искусства и интересов социалистического строительства... <...> Леонов идёт по линии искусственного усложнения типа (типа советского учёного. — *З. П.*) привычным методом внесения элементов странного, необычайного, фантастического, полубредового; он реставрирует своего мелкого человека и скатывается к дешёвому психологизму и авантюризму. Кончается по-своему высококультурный, учёный Скутаревский, и начинается мелкий бес, мистифицированный мещанин. Он неумно чудит в опере и выливает “лирическую неудовлетворённость жизнью” игрой на “драндулете”, он юродствует при встрече с руководящими работниками (“на-

чальством") и сыплет пошлыми, обывательскими сентенциями на политические темы...»

Надо сказать, в последнем утверждении Коваленко прав: с советскими реалиями Леонов по-прежнему едко забавляется.

Приведём несколько примеров.

В самом начале книги прямо в бане происходит убийство калеки-полковника (попался, белогвардеище поганое!). Коваленко задаётся вопросом: что это — «естественность и необходимость, соответствие революции природе вещей или, наоборот, бессмысленная жестокость»? Да уж, редкая необходимость: убить в бане калеку...

В четвёртой главе романа появляется слухач и стукач — сидит опять же в бане и ко всем прислушивается.

После выступления Скутаревского на одном из заседаний в президиум присылают записку, где просят напомнить, в каком сочинении Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. (Разумеется, у Бебеля подобного высказывания нет.) В той стране, где происходит действие романа, в хлебе всё чаще попадаются окурки («этим "окурочкам" в романе придаётся особый глубокий смысл», — цепко подметит Коваленко), «теперешний табак, по-видимому, ради экономии мешают с крапивой», продолжит в книге Леонов; и даже вода кажется героям какой-то шероховатой...

А образы большевиков, коммунистов, комсомольцев! «Примитивность посредственности, — пишет Коваленко, — вот основная черта Черимова, Кунаева, Жени, которая ещё более отчётливо выступает в сравнении со "сложной" натурой Скутаревского. У них нет никаких психологических сдвигов и колебаний, они прямолинейны и грубоваты, ограничены рамками своего непосредственного дела и вульгарно "революционной" фразеологии».

Зато отрицательным героям позволяется произносить любые колкости, вроде вот этой, крайне насущной на те времена: «...у нас в случае катастрофы всегда привыкли искать виновников, а не спрашивать почему это произошло». И далее, о соцстроительстве: «Торфяную станцию приказывали проектировать на парафинистом мазуте. Я сделал четыре проекта и до последнего момента не знал, будет ли станция разрешена. С оборудованием четыре месяца крутили — заказывать здесь или импортное. Турбину, как невесту, выбирали... и это называется плановостью? Энтузиастическая истерика...»

Сама атмосфера в романе какая-то липкая и тошная: Леонов это умел сделать, почти не обозначая собственных чувств и не называя вещи прямым текстом. Коваленко вполне резон-

но заметит, что многомудрый Леонов неприметными мазками показал советскую действительность прямо-таки «убогой»!

Но вместе с тем в атмосфере романа разлито другое важное ощущение от реальности, которое Леонов определяет так: «жутко и весело».

Жутко и весело! — это очень точно, и это ощущение самого Леонова просто завораживало; и вот он выворачивал реальность наизнанку, пробовал на прочность, требовал от этой реальности многого, спрашивал по самой высокой шкале — а своим критикам ответил в самом романе устами брата главного героя — художника Скутаревского. Тот, в частности, говорит, что, если ему нужно изобразить пустое поле, — он его изобразит, а не станет размещать там, скажем, комбайн, иначе: «...я обману тебя же, мой зритель. Моя картина состарится прежде, чем высохнут её краски. Тогда ты будешь глядеть на свой вчерашний день и вопить об отсталости искусства. Я даю тебе золотую монету, эталон, человеческое ощущение, а ты хочешь иметь купон от облигации внутреннего займа!.. прости, я не умею иначе».

Этого, конечно, никто не слышал. Да и кого это могло волновать: умеешь — не умеешь. Делай.

Происходящее в России вокруг Леонова достаточно верно оценил из своего далёка упомянутый выше Георгий Адамович: «Насколько можно судить по советским отчётам о диспутах и дискуссиях, многие литераторы пользуются тем, что положение Леонова “пошатнулось”, и сводят с ним старые счёты. Иначе трудно объяснить ту настойчивость и даже явную радость, с которой они говорят о “неудаче”, о “срыве” или “необходимости чёткой перестройки”».

Вслед за первым прошёл ещё один диспут, такой же злобный и хамоватый по отношению к Леонову.

Но в итоге «Литературная газета», первой выступившая в этом многоголосье, вынуждена была опубликовать 5 февраля 1933 года статью «Об одной дискуссии», где писала: «...слишком явно несоответствие между резкостью тона и неразборчивостью в выражениях у многих критиков, нападавших на “Скутаревского”, и благополучным, елейно-клейким тоном критических статей о других писателях».

Как мы понимаем, автор статьи в «Литературке», редактор газеты А. Селивановский, использовал имя Леонова, чтобы ответить «лефовцам» и «формалистам», обрушившимся на роман.

Скорее всего это была спланированная свыше акция. Быть может, кто-то вспомнил, что письмо с соболезнованием вождю по поводу утраты жены инициировал всё-таки Леонов? И его решили немного прикрыть от ударов?

«Как симптоматично, — писал Селивановский о критике «Скутаревского», — что совпали критические голоса Катаняна и Виктора Шкловского!»

Партийный аппарат, уничтожив РАПП, уже начинал давить на любых крайне ретивых ревнителей «левого» искусства. У власти имелись некоторые основания самых резвых критиков от Леонова отогнать, чтобы не попортили шкуру тому зверю, который ещё может пригодиться самим.

Спланированность акции подтверждает и тот факт, что позицию Селивановского спустя пару недель частично поддержал критик Владимир Ермилов в «Правде»: в этой газете точно публиковались материалы, выверенные до буквы т а м.

Ермилов отвадил критиков ругать Леонова с крайне левых позиций, хотя сам ещё раз роман поковырял брезгливым пальцем.

В те дни Леонову позвонил Иван Гронский — ближайшее доверенное лицо Сталина, редактор газеты «Известия» и журнала «Новый мир», председатель оргкомитета Союза советских писателей. Он зазвал Леонида Максимовича в гости — к Гронскому как раз приехала делегация грузинских писателей.

Когда Леонов пришёл, дом уже был полон, сидел в числе прочих приглашённых и Карл Радек. В своё время он был секретарём Коминтерна, потом попал под чистку как троцкист, в 1930-м его простили и восстановили в партии. Он много писал и в «Правду», и в «Известия» и по-прежнему обладал реальным политическим весом.

Леонов слышал от знакомых, что Радек готовит разгромную статью о «Скутаревском», и, само собой, этого удара опасался более всего.

Сели, выпили, вскоре явился ещё один гость — глава секретариата Сталина Александр Поскрёбышев: лысый, приветливый, курносый.

— Радек! — вдруг так, по фамилии, окликнул Карла Поскрёбышев. — Ты роман «Скутаревский» читал?

— Читал, — ответил Радек, который напоминал бы профессора Паганеля, когда б не безжалостные и ледяные глаза, — ...и у меня есть критические замечания.

— Ничего ты в нём не понял, — отрезал Поскрёбышев, который, казалось, ответ Радека знал заранее. — Отличный роман.

Так, предположим мы, от Леонова отвели удар.

Зато он нажил себе в лице Радека врага. Другое дело, что Радеку жить оставалось совсем немного, но кто об этом знал в 1933 году?

Тем более, даже это заступничество сверху не означало, что от «правильной» партийной критики Леонов будет теперь из-

бавлен раз и навсегда. Его поминали то так, то сяк ещё полгода. Апофеозом критики стало письмо, опубликованное в «Комсомольской правде» 15 июня 1933 года. Автором письма якобы являлась «комсомолка Женя», которой не понравилось, как её, среднестатистическую советскую девушку, описал Леонов:

«Вот сшибли вы меня на дороге, опрокинули в канаву, подобрали и втащили-таки в свой роман! Вы бросили меня под ноги Скутаревскому, на порог его нового рождения, чтоб, блуждая по роману, спотыкались о меня все ваши герои, от неуклюжего Черимова до склизкого Штруфа. <...>

И знаете, тов. Леонов, я не была бы в обиде на вас, я радовалась бы нашей встрече, встрече писателя с комсомолкой, если бы... если бы вы узнали меня. Но, встретив меня на 146-й стр. своего романа и простившись со мной на 458-й, на протяжении 300 страниц и 19 глав бередя мною душевные раны и царапины всех обитателей вашей книги, окружив меня их косыми и подозрительными взглядами, оберегая даже меня от мелкой и жиденькой грязи их сплетен и подозрений, вы сами не дали себе труда приглядеться ко мне, узнать меня...»

И дальше она рассказывает, какая она.

О, она необычайная.

Скутаревский спрашивал её в романе, что она умеет в жизни, «кроме бегать сто метров».

«А вы поглядите, — отвечает «комсомолка Женя» в письме Леонову, — что МЫ умеем делать в нашей стране, в колхозе и Магнитогорске, в вузе и бараке, на стройке и за книгой, за чертежом и у станка...

Ефим — вот второй комсомолец, которого видите вы. Мы с ним одни в вашем романе представляем всё новое, молодое поколение. Нас только двое, и из нас: 1) я, Женя, только призрак, ограбленный во всём своём молодом богатстве, в своих решающих конкретных чертах, микроб, биологический возбудитель молодости, человек, сведённый до степени какого-то «кокка», и 2) Ефим, фальшивый дипломат, карикатурный комсомолец и глупый пошляк.

Стыдитесь, Леонид Максимович! Вы написали неправду. Вы придумали к нам рифму, взятую у какого-то старого, древнего поэта вроде Пастернака. Она так же уместна, как церковнославянский язык».

Подобным безапелляционным образом учили Леонова и готовили его к новому роману. Чтобы, значит, понимал, что тут у нас уместно, а что — совсем нет.

И он начал писать этот роман, в сентябре 1933-го.

Георгий Адамович, по другую сторону советской границы, пишет в те дни о Леонове, ставя планку ему максимально вы-

сокую: «...Леонов, мне кажется, всё-таки крупнее и значительнее, как художник, чем Шолохов. В нём есть беспокойство, которое рождается только присутствием мысли. В нём есть “дрожжи”... <...> Леонов способен написать сто или двести плохих и лживых страниц, но вдруг “взлетит” и в нескольких строках искупит все свои грехи».

Ну, для кого искупит, а для кого — новые обретёт.

1934 год

Впрочем, до выхода «Дороги на Океан», о которой мы с новой стороны поговорим ещё раз, успеют пройти как минимум два важных события.

Одно — в творческой жизни Леонова.

Второе событие касалось всей писательской братии.

Многоруко и зло оттрепав Леонова, ему дали разрешение на постановку пьесы по роману «Скутаревский» в Малом театре.

После шестилетнего перерыва (то есть после закрытия и снятия с репертуара «Унтиловска») у Леонова появилась возможность вернуться в театр.

Пьесу он, к счастью, написал чуть ли не за неделю, сразу после окончания романа, когда критика ещё не разрослась волнообразно. Когда вся эта бурная шумиха началась, Леонову уже не работалось: за 11 месяцев — сразу вслед за окончанием романа и пьесы по роману, Леонов, вплоть до сентября 1933-го, не напишет почти ничего — одна заметная статья выйдет в журнале «Советское искусство», и всё.

Болезненно переживая происходящее, он лечится своими увлечениями: выращивает кактусы, возится в переделкинском саду, ну и баньку посещает — до этого дела Леонов был большой охотник... Да и работа над постановкой в Малом театре хоть как-то обнадёживала.

Премьера состоялась 11 мая 1934 года. Автоинсценировка в отличие от романа была сделана куда более сухо и жёстко. Это её, с одной стороны, отчасти избавило от критики. С другой, автоинсценировку Леонов никогда не помещал в собрания сочинений: она, безусловно, была слишком прямолинейна, немногослойна.

Почти одновременно спектакль по «Скутаревскому» начали готовить в Государственном русском театре Белорусской ССР, располагавшемся в Бобруйске. Спектакль поставил главный режиссёр театра Владимир Кумельский, где сам и сыграл главную роль.

Следом «Скутаревский» пошёл в московском Театре Красной армии.

То есть жизнь понемногу налаживалась: три премьеры за год; пресса иногда сквозь зубы, иногда благодушно отзывалась о всех постановках.

Другое событие — Первый Всесоюзный съезд писателей.

Леонов активно участвовал в процессе объединения советских писателей с конца 1920-х годов, и, похоже, этот вопрос его серьёзно волновал. Он надеялся обезопасить и себя, и своих собратьев от «пролетарских» ортодоксов и большие надежды возлагал в числе прочего и на государство, и на Сталина лично.

Несмотря на огульную критику, позиции Леонова в литературном мире пока были достаточно сильны.

Ещё в мае 1932-го (после постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-художественных организаций», которое ликвидировало РАПП и предписало объединить литераторов в единый Союз советских писателей) был создан оргкомитет для руководства литорганизациями РСФСР и подготовки съезда писателей. В него вошли Горький в качестве почетного председателя, Иван Гронский — председатель, Валерий Кирпотин — секретарь, писатели Фадеев, Леонов, Всеволод Иванов, Серафимович, Панфёров, Киршон, Сейфуллина, поэт Безыменский... Всего 23 человека.

Сталин хотел разнородные писательские группы собрать воедино, чтобы, скажем прямо, их было проще контролировать.

И главный вопрос — для Леонова, по крайней мере, — заключался в том, кто отныне будет главенствовать в литературе — «попутчики» или их противники.

Первый Всесоюзный писательский съезд проходил с 17 августа по 1 сентября 1934 года в Колонном зале Дома союзов.

На съезде присутствовало 597 человек. В президиум избрали 52 человека, в том числе опять же Леонова, а также Алексея Толстого, Демьяна Бедного, Шолохова, Пастернака, Тихонова, Эренбурга...

Надо сказать, что многим видным литераторам в президиуме места не досталось: на невнимание к себе сетовал, к примеру, Михаил Пришвин.

Сталина на съезде не было, но о нём вспоминали в своих выступлениях очень многие.

Открывал съезд Горький, зачитавший огромный доклад, в котором, как ни удивительно, не назвал имени ни одного советского писателя, кроме мельком упомянутых поэтесс Шкапской и Марии Левберг, старательно работающих над горьковским проектом «История фабрик и заводов», от которого литературные мастера, в их числе и Леонов, всячески открещивались.

Горький корил литераторов за невнимательность ко многим деталям советской действительности и, отдельно, за «вождизм».

Леонов тоже выступил с речью, сказал про «счастье жить в самый героический период мировой истории» и согласился с тем, что «упреки Горького, брошенные нам с этой трибуны, справедливы и своевременны». Уж с сентенцией о «вождизме» — он точно был согласен.

Вообще леоновское выступление было достаточно выхолощенным: иногда он умел напустить тумана, чтобы сказать что-нибудь важное под его завесами; здесь же ничего важного он говорить и не собирался. Но и ничего эдакого, чтобы собрать лёгкие аплодисменты, он тоже не произнёс.

В отличие, например, от Бабеля («...посмотрите, как Сталин куёт свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры: я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин, над словом нам надо...»), и от Николая Тихонова («Та страна, которую прежние поэты называли “любезным отечеством” или, как Лермонтов, “немытой Россией”, — эта страна исчезла, Советский Союз возник на её месте»), и от многих других.

Леонову на съезде пришлось несколько раз внутренне поёжиться: когда, к примеру, недобрым словом вспоминали Достоевского. Критик Виктор Шкловский объявил: «Спор о гуманизме кончается на этой трибуне, и мы остаёмся, мы стали — единственными гуманистами мира, пролетарскими гуманистами, — а затем продолжил: — Если бы сюда пришёл Фёдор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника...»

Однако в целом атмосфера была настолько благообразная, что многие втайне раздражались. Лидер украинского футуризма поэт Михаил Семенко ругался: «Всё идёт настолько гладко, что меня одолевает просто маниакальное желание взять кусок говна или дохлой рыбы и бросить в президиум съезда...»

Самым большим событием съезда стала, наверное, речь Николая Бухарина.

Бухарин уже был в некоторой опале — ещё в 1929 году его вывели из политбюро ЦК, — но он оставался редактором «Известий», академиком АН СССР, членом коллегии Наркомата тяжёлой промышленности СССР и имел несколько иных увесистых регалий. Его слушали очень внимательно, тем более что говорил он совершенно неожиданные вещи.

Выступал Бухарин около трёх часов, многих в зале реально огорошив, а Леонова, напротив, обрадовав.

Хотя формально доклад Бухарина был о поэзии, произнёс он несколько важных вещей, в том числе и направленных против бывшей пролеткультовской и рапповской компании.

Отдав дань уважения Блоку, восхвалив Брюсова, помянув даже расстрелянного Гумилёва, Бухарин перешёл к современникам из числа стихотворцев, в первую очередь к так называемым комсомольским поэтам, и весьма грубо охарактеризовал их как «сопливеньких, но своих». Безыменский, по мнению Бухарина, «лёгкая кавалерия», и «он стал сдавать, когда понадобилась уже тяжёлая артиллерия литературного фронта». «Жаров и Уткин, — по словам докладчика, — к сожалению, страдают огромной самовлюблённостью и чрезмерным поэтическим легкомыслием». В том же духе Бухарин высказался о Светлове.

Зато, посетовав на мистицизм Есенина, докладчик всё-таки назвал его «талантливым лирическим поэтом», вознёс Бориса Пастернака и комплиментарно помянул злобно критикуемого тогда в прессе Павла Васильева (которого Леонов горячо любил и ставил даже выше Есенина).

Следом, отдав дань Маяковскому и Бедному, Бухарин сказал, что на сегодняшний день их поэтические агитки подустарели.

Доклад Николая Бухарина закончился овацией, весь зал встал. Но недовольные конечно же остались.

В последующие дни съезда Бухарину немало досталось от его противников «слева»: за честь Маяковского, Бедного и молодой «комсомольской» поросли вступились многие. Трудно не оценить такой, например, пассаж одного из выступавших: «К розовому, молодому, упругому телу нашей поэзии Бухарин подошёл для того, чтобы, бегло пошарив по этому телу, умилиться его интимно-лирическими местами. А от упругих мускулов, от твёрдых костей он старчески отшатнулся». Каков, согласитесь, стиль! То есть, Бедный, Безыменский и Жаров — это мускулы, а Пастернак, Есенин и Васильев — интимные места...

Критики не знали, что Бухарину позвонил Сталин и поздравил с успешным выступлением, отдельно поблагодарив за шпильки в адрес Демьяна Бедного, активно раздражавшего вождя.

Не знал об этом и Леонов, который, согласно донесениям сексотов, в разговоре после съезда сетовал: «Ничего нового не дал съезд кроме доклада Бухарина, который всколыхнул болото и вызвал со стороны Фадеевых-Безыменских такое ожесточённое сопротивление».

Сравним с реакцией хорошего леоновского знакомого — писателя Буданцева: «Единственное, чем замечателен съезд, — доклад Бухарина: великолепная ясность и смелость. После его доклада можно было ждать каких-то действительных пере-

мен... но, увы, засилье Панфёровых и Безыменских, очевидно, настолько сильно, что все, даже решительные попытки к курсу на подлинно художественную литературу, а не на её суррогат оказываются “пресечёнными в зародыше”».

Писатели оказались правы: в целом на литературную ситуацию доклад Бухарина никак не повлиял.

Главным итогом съезда должно было стать понимание, кто теперь отвечает за литпроцесс: вчерашние литературные костоло́мы или всё-таки нет.

И вот что вышло.

В правление Союза советских писателей по итогам съезда был избран 101 человек. Асеев, Демьян Бедный, Вересаев, Зощенко, Вс. Иванов, Леонов, Малышкин, Маршак, Новиков-Прибой, Панфёров, Пастернак, Пильняк, Погодин, Пришвин, Сейфуллина, Серафимович, Слонимский, Тихонов, Толстой, Фадеев, Федин, Шагинян, Шолохов, Эренбург, Юдин, Бруно Ясенский, Паоло Яшвили и др.

Горький возглавил союз. Александр Щербаков, партийный деятель с 1932 года, работающий в аппарате ЦК ВКП(б), стал первым секретарём правления. В правление вошёл также видный литературный деятель Владимир Ставский, бывший в 1928—1932 годах секретарём РАПП.

Стало ясно, что правление, хоть и содержало много «попутчиков», в целом не будет способным противостоять «аппаратчикам». Леонова это просто возмутило, но ничего поделать было уже нельзя.

«Все мы слишком опытны и искушены для того, чтобы можно было ждать каких-то неожиданных поворотов в литературе, надо жить и действовать в пределах сущего, — так сексот записывал леоновскую реакцию на итоги писательского съезда. — Ничего особенного не приходится ждать от нового руководства, в котором будут задавать тон два премированных аппаратчика Щербаков и Ставский (Ставский ведь тоже официальное лицо). Поскольку Щербаков — человек не искушённый в литературе, инструктировать будет Ставский, а литературная политика Ставского нам хорошо известна. Следовательно, в союзе, — типично чиновничьем департаменте, — всё остаётся в порядке».

Ситуация, описанная Леоновым, огорошила и Горького. Ему удалось провести в правление и Всеволода Иванова, и Пастернака, и Леонова. Однако Горький понял, что далеко не вышеназванные будут играть первые роли. В последний день съезда он направил в ЦК ВКП(б) письмо, в котором отказывался работать в правлении Союза писателей вместе со Ставским, Панфёровым, Фадеевым...

«Люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они» — так написал Горький, попросив освободить его «от обязанности председателя Правления Союза литераторов».

Но Горькому ЦК даже не ответил.

Сами писатели о съезде стремительно забыли. Что вспоминать, когда ждали столь многого, а получили так мало.

В архивах секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР хранится справка «Об отношении писателей к прошедшему съезду писателей и к новому руководству Союза советских писателей», которая гласит: «5 сентября состоялся в Доме сов. писателя небольшой вечер, на котором встретились грузинские и русские писатели. Присутствовавшие Т. Табидзе, К. Лордкипанидзе, Г. Леонидзе, Б. Буачидзе, Т. Гейшвили и Леонов, Вс. Иванов, С. Третьяков, П. Павленко, П. Антокольский, Ш. Сослани и другие ни в разговорах до начала этого небольшого банкета, ни во время его о съезде ничего не говорили».

Почти наверняка размышления Леонова были созвучны тому, что ненароком высказал в те дни вслух в писательском кругу упомянутый Буданцев:

«Литературная атмосфера удушливая. Утешает только то, что подобно тому, как пришло в свой срок 23 апреля 1932 года, когда за решение литературных вопросов впервые взялся лично Сталин, придёт опять момент, когда литература потребует авторитетного вмешательства... <...> Сталин пока воздерживается от коренного вмешательства в литературу, допуская там дискуссию, и, в результате, в литературе всё время идёт борьба двух линий — Фадеева и Ставского и Горького, который как раз их не переваривает.

Триумвират Щербаков — Иванов — Ставский и является, очевидно, компромиссом между этими двумя линиями. Но, поскольку Горький только "икона", а Иванов человек в организационном отношении бездарный, мы опять-таки остаёмся под "эгидой" Ставского, худшего из всех рапповцев».

«Что ж, будем жить, как прежде. Если не вступятся за нас сверху. Не — свыше, а — сверху» — примерно таков был леоновский настрой. И новый его роман будет в том числе об этом.

* * *

После съезда, в конце сентября—октябре 1934-го, Леонов с женой съездит в Грузию, повстречается с поэтом Тицианом Табидзе. Они познакомились чуть раньше, в Москве, в Союзе писателей: Табидзе поднимался по лестнице, Леонов быстро спускался — и буквально столкнулись. Леонов тогда выразил

восхищение стихами поэта, опубликованными в «Известиях» в переводе Бориса Пастернака: «Не я пишу стихи...», «Иду со стороны Черкесской:..».

Чета Леоновых будет какое-то время жить в доме Табидзе. Потом они по маршруту, придуманному Табидзе, отправятся в путешествие по Грузии. На автомобиле через перевал Телави в Цинандали. Затем Алаверди — престольный праздник Воздвижения Креста Господня, ночная служба в соборе...

Леонов наберётся впечатлений для новой повести — «Evgenia Ivanovna». Вернётся и начнёт её писать... но отвлечёт большой роман.

Леонов пишет Табидзе 22 января 1935 года: «Сейчас я ездил за город, смотрел, как выглядит снег. Выглядит он хорошо. И мне всё стало нравиться...»

Снег этот — тоже из нового романа. Леонов окончательно успокоился и задумал новую забаву.

«Игра его была огромна»

«Дорога на Океан» — один из самых замечательных примеров разветвлённых леоновских шифров.

Задуматься о них посоветовал нам, по сути, сам Леонид Максимович, в одном интервью сказавший: «А что, было бы крайне занятно составить экспериментальное жизнеописание романиста с н е м о й биографией единственно на основании его произведений, памятуя, что для такого автора книг с героями без прототипов, и пользовавшегося всегда как бы слепками с самого себя, описанные там эпизоды должны быть отражениями каких-то лично с ним происшедших событий».

В романе, напомним, помимо череды отлично скроенных персонажей, два главных героя — член армейского Реввоенсовета, назначенный н а ч п о д о р о м Волго-Ревизанской железной дороги, Алексей Курилов и начальник депо на этой дороге — бывший белый офицер, естественно, скрывающий своё прошлое, Глеб Протоклитов. Судьба его отягощена ещё и тем, что отец Протоклитова был до революции судьёй и сурово карал революционеров всех мастей.

Курилов с самого начала повествования подозревает Протоклитова; они несколько раз общаются, но самый их поединок происходит даже не во время кратких встреч, а в преодолении каждым тех или иных жизненных обстоятельств. Леонов неустанно выясняет меру мужества обоих.

Противостояние в романе Протоклитова и Курилова, безусловно, является аллюзией на отношения Леонова и Сталина

и отчасти даже посланием писателя к вождю. Леонов мог быть уверен, что в Кремле его прочитают внимательно.

«Игра его была огромна», — пишет Леонов о Глебе Протоклитове в самом начале романа, имея в виду, насколько продуманно и точно строит бывший белогвардеец, а по сути смертник, новую свою биографию.

Но насколько огромна была игра самого Леонова!

Он неоднократно говорил, лишь давая наживку торопливым своим исследователям, что «Дорога на Океан» — наивысшая точка его веры в социалистический эксперимент.

Всё, конечно, стократ сложнее и любопытнее, как, впрочем, почти всегда у Леонова.

Основным носителем социалистической идеологии, как мы понимаем, является в романе упомянутый Курилов.

Был человек, знакомство с которым послужило первым импульсом для создания образа Курилова, — начальник политотдела одной из железных дорог Иван Кучмин: они с Леоновым много общались и даже были совместными свидетелями железнодорожной катастрофы (она отозвалась в первой главе романа).

Но если воспринимать возглавляемую Куриловым железную дорогу как символ Великой Советской Дороги на Океан, а значит, и самого социалистического строительства, — то прототипизация Курилова становится другой и совсем прозрачной: он на этом железном, грохочущем, трудном, полном сложностей пути — главный.

Сходство Курилова со Сталиным очевидное и в некоторых деталях даже дерзкое.

Начнём с того, что Курилов обильно усат. Неустанно курит трубку.

Леонов несколько раз общался со Сталиным, наблюдал его и ненавязчиво наделил Курилова его приметами, его повадками, разве что не сделав осетином — но это уж было бы слишком. (Тем более, какой Сталин осетин?)

Леонов вспоминал, как однажды участвовал в сталинском застолье; вождь выпил много и чуть охмелел, тогда Николай Бухарин заботливо посетовал: «Может, хватит, Коба?» — кивнув на бокал. И тут, вспоминает Леонов, за внешним спокойствием Сталина он почувствовал такое огромное бешенство, что оторопел.

И та сцена, в которой появляется Курилов в начале книги, — она словно бы со Сталина списана, с натуры.

Курилов, вышедший на новую работу, впервые собрал подчинённых: «Совещание превратилось в беглый перекрёстный опрос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на

всех страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро, а он один, но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его — от бешенства».

О пресловутой сталинской простоте, к слову сказать, не писал в те годы только ленивый.

При описании взаимоотношений Курилова и служащих дороги Леонов подмечает замечательно точные детали: так, во время обхода места крушения поезда идущий рядом с начподором старается «даже не наступить на тень Курилова». Несколько лет спустя эту деталь у Леонова позаимствует Алексей Николаевич Толстой для своего Петра — тоже, к слову, откровенно срифмованного со Сталиным.

«Большие, в жилах, руки» Курилова — сталинские. Ну и рябоватым сталинским лицом наделил Курилова Леонов.

Воевал Курилов под Царицыном — и тут уже намёк совсем явственный: там же, напомним, Сталин воевал в Гражданскую; и именно в начале 1930-х царицынским событиям 1918 года стали придавать основополагающее значение.

Но и этого Леонову показалось недостаточным, и в самом начале романа у Курилова умирает жена. «Дорогу на Океан» Леонов начал писать в 1933-м, а жена Сталина Надежда Аллилуева погибла в 1932-м. Вот это уже дерзость со стороны Леонова — тем более что большевик Курилов, персонаж, вроде бы обязанный быть едва ли не идеальным, лишь отойдя от постели умирающей жены, тут же как бы ненароком начинает строить известные отношения с подвернувшимися женщинами.

Не менее самоубийственно было бы срисовать Протоклитова с себя — это уже в известном смысле явка с повинной. Но внимательное, с прищуром, рассмотрение этого героя сомнений не оставляет: Леонов знал, что делал, и делал это умышленно. Это было его и забавой, и аккуратно расставленной самому себе западнёй.

В фамилии антагониста Курилова скрыт корень «прото» — первооснова, прототип; впрочем, элементарная перестановка букв в фамилии составляет нечто созвучное слову «проклятый». Протоклитов — проклятый прототип его самого, Леонова, тоже своего рода большого мастера на той самой Дороге на Океан.

Одновременно, если помнить о греческом корне «клит», расшифровка фамилии может иметь и другое значение: званый. Проклятый, но званый, а вернее, призванный! — не так ли воспринимал Леонов своё предназначение в литературе?

Протоклитов и Леонов почти ровесники (как, кстати, Курилов и Сталин). Точный возраст Протоклитова не называется, но ему «вряд ли было больше тридцати девяти» — ко времени выхода романа Леонову — тридцать шесть.

«Спокойная, расчётливая воля светилась в его глазах, — не без любования пишет Леонов портрет своего героя. — Этот человек был бы хорошим лётчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С таким не бывает случайностей в жизни».

Создаётся ощущение, что Леонов произносит это, спокойно глядя в зеркало.

Сам писатель, безусловно, был собеседником отменным и, да, недурным шахматистом, и техникой интересовался серьёзно и вдумчиво. В середине 1930-х Дом советских писателей организовывал обучение дисциплинам, нужным литераторам в творческой работе, некоторые из них занимались на дому историей и общественными науками, а Леонов — физикой, химией и математикой.

Леонов пишет, что у Протоклитова «египетские» глаза — то есть отражающие древность, скрывающие некую тайну. Посмотрите в леоновские глаза: не то же самое увидите вы и там? Заметьте, что почти на всех ранних фотографиях Леонов смотрит твёрдо, но не прямо, всегда как-то искоса...

Дальше — больше. Леонов дарит Протоклитову одно из самых важных своих детских воспоминаний. Помните, как он деду читал церковную литературу? С этих чтений и начался писатель. Вот и Протоклитов ребёнком читает вслух, но только матери, а не деду «всякие патерики, сказания о святых отцах и прочие церковные выдумки».

Точнее сказать, деталь эту из своего детства Протоклитов выдумывает специально для Курилова, но это мало что меняет.

Собственно, Протоклитов вешки биографии писателя Леонова и черты его характера выдаёт за свои, словно бы отражаясь в нём, как в кривом зеркале. Протоклитов — бывший гимназист, самоучка, высшего образования не получил, но «книги всегда у меня были основной статьёй расхода», — признаётся он; выпивал, но бросил — и «теперь ни капли не беру» (во второй половине тридцатых Леонов вовсе перестал прикасаться к спиртному — в отличие от многих своих коллег, не вынесших страшных температур времени и пристрастившихся к алкоголю).

Далее Леонов пишет: «Конечно, то была случайность, что однажды Глеб приехал на каникулы к отцу, а городок был отрезан белыми и студента путейского института мобилизовали на восстановление государственного порядка, растоптанного большевиками».

Тут уже прямой отсыл к архангельской истории Леонова, единственное отличие которого от Протоклитова в данном случае лишь в том, что он не успел поступить в институт.

У Протоклитова, уже весьма прочно вписавшегося в советскую жизнь, неожиданно объявляется прежний, с белогвардейских времён сослуживец — Кормилицын. Он присылает Протоклитову письмо, «шесть убористых страниц, начинённых благодарностью, пересыпанных множеством интимных признаний, почти улик, и украшенных восклицаниями вроде: “Молодец ты, Глебушка, наши нигде не пропадут!”, или: “Мы на тебя издали смотрим, любуемся украдкой и гордимся тобою...”, или: “Уверены, что дойдёшь до высоких степеней; но зная твой темперамент, просим — не торопись!”».

Это как будто письмо самому Леонову пришло из далёкого прошлого. Знаменитый литератор, постоянно мелькавший на страницах советских газет, секретарь Союза писателей, вполне мог получить подобное послание. Например, если бы его признал однополчанин из 4-го Северного стрелкового полка. А может быть, Леонов даже получал такие весточки?

Кормилицын вскоре приезжает к Протоклитову и селится у него. Тут и узнаёт от бывшего товарища, что он принял новую власть и хочет строить свою жизнь в соответствии с новой реальностью. Ну, почти как Леонов.

Не до конца понятно, насколько искренен Протоклитов, но он явно не собирается идти поперёк 15 лет назад обрушившейся на Россию и устоявшейся уже нови. Опять же, как Леонов.

Тем более что сама фигура Сталина, его нечеловеческий эксперимент над человеческим веществом куда больше волновали Леонова, чем социализм как таковой.

Безо всякой иронии Глеб Протоклитов говорит однажды о Курилове:

«— Этот человек играет большую роль в моей судьбе. Он как громадная планета, и я — её ничтожный спутник. Пятнадцать лет я вращаюсь в её орбите и всё не могу вырваться».

В другой раз Протоклитов думает о Курилове так: «...искатель человеческого счастья, человекогора, с вершины которой видно будущее».

«Дорога на Океан» появилась в четырёх последних номерах «Нового мира» за 1935 год, а в начале 1936 года в «Известиях» публикуются стихи Бориса Пастернака о Сталине: «А в те же дни на расстояньи / За древней каменной стеной / Живёт не человек — деянье, / Поступок ростом в шар земной».

Процитированное очень созвучно тому, что пишет Леонов или, точнее сказать, что Протоклитов говорит и думает о Курилове.

Создание этого стихотворения сам Пастернак называл «искренней, одной из сильнейших (последней в тот период) попыткой жить думами времени и ему в тон». Напомним о словах Леонова, что время написания «Дороги на Океан», 1935 год — наивысшая точка его веры в социализм, и добавим, что в том же 1935 году Булгаков начинает всерьёз обдумывать пьесу о батумской молодости вождя. Что-то в воздухе было разлито тогда, охватившее таких разных и таких честных людей...

В ответ на слова Протоклитова о планете и «ничтожном спутнике», не умеющем вырваться, собеседник сочувствует ему, говоря, что это, верно, «паршивое ощущение».

«— Нет... если быть справедливым. Я лучше стал из страха, что он увидит меня дурным», — отвечает Протоклитов. Едва ли бы от этих слов отказался и сам Леонов.

Скажем больше, это — его слова и его признание в верности, хоть и не столь откровенное, как у Пастернака. Сталин, прочтя про трубку, Царицын, рябоватое лицо и набредя на множество иных вешек, расставленных по тексту, должен был всё услышать и понять.

Притом что сама картина окружающего в «Дороге на Океан», привычно вытканная Леоновым из мельчайших деталей, как всегда, малоприглядна.

«Все соревновались на показатели лучшей работы, все состояли членами всяких добровольных обществ, все до изнеможенья выступали на совещаньях, все повторяли то же самое, что говорил и он (Курилов. — *З. П.*). Здания станций, столовых, управлений, даже диспетчерских кабинетов были утеплены стенгазетами, профсоюзными объявлениями, лозунгами, плакатами и ещё множеством серого цвета бумажек, на которых было написано что-то мелко, торопливо и плохим карандашом. Но качество перевозок оставалось прежним, и катастрофы время от времени напоминали массовые древние жертвоприношения».

Собственно, с описания крушения поезда и начинается роман, и гибелью паровоза, ведомого молодым машинистом-комсомольцем, завершится.

Помимо прямой авторской речи Леонов применяет иной проверенный способ общения с разумным читателем, доверяя свои самые злые и сокровенные мысли героям вроде бы отрицательным.

Вот они и говорят на страницах романа: «Жизнь ноне производится не в пример слабже супротив прежних времён, а только суеты гораздо больше».

«Ну, а всё-таки грузооборот на Каме выше довоенного?» —

спорит Курилов с бывшим купцом и пароходчиком Омеличевым.

Курилову отвечают:

«Э, ты ловок... с довоенным-то себя сравнивать. А?.. я спать бы стал эти шестнадцать годов? Думаешь, расти — это только тебе дадено?»

Однажды Омеличев проговаривается о сокровенном своём, купеческом: «Ты возьми у меня всё, но дай мне аршин, один аршин земли... и я выращу на нём чудо. Ты увидишь дерево, и птицы на нём гнезда станут вить посреди золотых яблок. Но чтобы аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего...»

Ой, как слышен тут сам Леонид Максимович, внук ухватистых и домовитых лавочников.

Курилов не унимается и не без усмешки теребит Омеличева: «Что, легче жизнь стала на Каме?»

«У кого мозги попроще, тем легше», — отвечают ему.

«Сейчас никто уже не помнит о халдеях. Теперь всё больше насчёт повидла и штанов. Верхнюю часть тулова не утруждают работой, пики-козыри», — сетует другой осколок прежней жизни и, словно бы юродивый, позволяет себе всё больше: — «Ботанических садов в России не осталось: повырубили. Да и что от неё осталось, от матушки! Василь Блаженный на площади, да я вот, срамной...»

Впрочем, и сами большевики о своей работе не самого высокого мнения.

«Мы не успели сделать всё, что хотелось...» — говорит один из них. — «Многое нами сделано начерно и наспех».

Но это ещё настоящие большевики так рассуждают, есть и другие представители новой власти. Словно бы между делом описывается один «ответственный работник», который отказывается дать денег на врачей, когда у него умирает сын. «Не могу, я себе пальто шью!» — объясняет он бывшей жене.

Машинист на дороге, молодой татарин, недавно получивший работу, боится, что к нему приедет из деревни первая деревенская его любовь, Марьям, и вернёт ему любовные письма со словами: «Возьми, это написано тобою; не стыдись. Ут алсын аларнэ, — пусть их съест огонь! А то кто-нибудь прочтёт и донесёт, что ты любил дочку кулака, и тебя прогонят отсюда старой метлой».

Мать этой девушки умерла с горя после раскулачивания.

Такие вот приметы советского бытия.

Машинист возвращается в свою деревню после того, как стал виновником аварии на дороге, запивает, его должны вскоре забрать и судить. Мать суетится возле спящего сына. «Время от времени она безмолвно и строго глядела на портрет Ста-

лина, и с той же пристальностью Сталин всматривался в неё со стены».

Это тоже писательский знак вождю, просьба о милости к людям.

В своих спорах с Куриловым о будущем Леонов, самолично несколько раз появляющийся в романе в качества повествователя, просит оставить в будущем живого человека — со всеми его слабостями, а не пытаться населить новь тяжёлыми статуями и херувимами.

Курилов не соглашается.

Есть своя теория будущего и у Протоклитова, в которую, согласно авторской ремарке, бывший белогвардеец «пытался верить»:

«— Новый человек создаст себе железных рабов по образу своему и подобию. Словом, он станет богом. Он будет душою громадных механизмов, заготовляющих пищу, одежду и удовольствия. Эти железные суставчатые балбесы будут трудиться, петь песни, пахать землю, плясать по праздникам на манер Саломеи, даже делать самих себя. Человеку не потребуется изнемогать от работы, он должен будет только знать...»

Как мы видим, подобно Леонову, Протоклитов не только искренне желает уверовать в будущее, но и пытается лично его конструировать, тем самым усиливая свою веру.

Курилову, впрочем, до этого нет никакого дела.

Шаг за шагом, проявляя железную большевистскую выдержку, Курилов как зверя загоняет Протоклитова, интуитивно чувствуя в нём чужого.

Протоклитов мысленно репетирует диалоги с Куриловым: бывшему белому офицеру тоже хочется жить.

«Мне противна эта слежка, пойми меня, — такие слова хочет сказать раскаявшийся белогвардеец человекогоре. — За один квартал меня посетили шесть всяких бригад. Обследуют все, кому не лень. Последняя интересовалась, правда ли, будто я ежедневно съедаю два казённых обеда. Пойми, что это дискредитирует меня как начальника. Дешевле и проще было бы снять меня вовсе с работы!»

В этом протоклитовском монологе вновь проявляется сам Леонов — писатель, постоянно находящийся на подозрении, периодически терзаемый критикой, проходящий унизительные фининспекторские проверки.

Там ещё будет характерный эпизод с появлением гадких карикатур, изображающих Протоклитова, в железнодорожных газетках: о, как это близко Леонову! Сколько он перевидал в прессе таких карикатурок на себя!

«Мне противна эта слежка, пойми меня», — отчаявшись,

кричит Протоклитов Курилову, а вернее, Леонов — Сталину. На «ты»!

Сослуживец Протоклитова Кормилицын спрашивает у него однажды: «Ты предан этой, н о в о й власти?»

И здесь из уст Протоклитова звучит ещё один воистину леоновский ответ: «Я сам эта власть. И я делаю своё дело честно и искренне».

Но, видимо, ещё не наступил тот момент, когда честность и искренность будут способны перевесить груз прошлых грехов.

В романе Глебу Протоклитову сначала устраивают чистку — снова очень похожую на многочисленные и упоминавшиеся нами выше диспуты по поводу романов Леонова; и в финале этой чистки бывшего белого офицера неожиданно разоблачают. Теперь гибель его неизбежна.

Понимая это, Леонов идёт на последнюю дерзость.

Как известно, на последних страницах романа писатель безжалостно убьёт Курилова.

Леонов словно бы говорит этим: да, ты ч е л о в е к о г о р а, и моя жизнь в твоих руках, но ты не ценишь и не щадишь меня, и, значит, покажу тебе, на что я способен: я тоже демиург. И я тоже убью тебя, если твои подручные несут мне смерть.

Огромна была игра Леонова. Едва ли не больше жизни...

* * *

Сталин в случае с Леоновым проявит себя сдержанно.

Едва ли он понял и вообще мог поверить, что с ним могут так безответственно играть, даже если и увидел какие-то намёки на себя.

Прочитав роман, Сталин сделает единственное замечание: попросит Леонова перенести обильные и сложные комментарии, расположенные под чертой едва ли не на каждой странице фантастических глав, в основной текст. С этой просьбой к Леонову специально приедет в Переделкино секретарь правления Союза писателей Александр Щербаков.

А Леонов откажется, упрямец.

Можно представить их диалог.

— Леонид Максимович, у вас всё в порядке? Я говорю: вас Иосиф Виссарионович попросил.

— Я всё понял. Я не могу исправить. Не буду.

И тут Сталин несколько оскорбится. Он не о многом просил ведь. Так, по крайней мере, ему казалось.

Но в понимании Леонова вождь зашёл на ту территорию, где его власть не распространяется. Он просил его сделать хуже. А зачем делать хуже? Не стал.

В сентябре 1935 года начнётся публикация романа «Дорога на Океан» в журнале «Новый мир».

Любопытная деталь: когда в сентябре 1935 года постановлением ЦК ВКП(б) утверждался список советских литераторов, направляющихся в Чехословакию, то из списка (Алексей Толстой, Михаил Кольцов, Фадеев, Янка Купала и прочие) фамилию Леонова лично вычёркивает член политбюро и оргбюро ЦК, ещё недавно второй человек в партии после Сталина — Лазарь Каганович.

И ещё один факт: чуть позже, в том же году, заведующий отделом печати ЦК Лев Мехлис сказал заведующему отделом критики газеты «Правда», что Леонов производит на него «омерзительное впечатление».

Спустя два года, в 1937-м, Мехлис станет заместителем наркома обороны и начальником Главного политуправления Красной армии. Ах, каких серьёзных недоброжелателей наживал себе Леонов!

Будто добрая к писателю звезда вдруг затуманилась, а взошла над его головой звезда нехорошая и холодная.

После выхода «Дороги на Океан» на Леонова вновь, удивительно дружно, навалятся критики. Роман разнесут в пух и прах — грамотные большевистские агитаторы тоже иногда умели читать между строк, и с чем имеют дело, чувствовали кожей.

Первые критические статьи вообще были выдержаны в хамском стиле; чуть позже тон сменился и появились публикации хоть не менее жёсткие, зато более вдумчивые.

Самую главную заковыку романа никто конечно же и не рискнул разгадать, а побочные, на вторых и третьих планах каверзы разглядели.

В большой работе А. Селивановского, открывшего серьёзное обсуждение романа в третьем номере журнала «Литературный критик» за 1936 год, сразу обещается, что в романе «наш слух резанут фальшивые ноты, мы с удивлением разглядим ситуации надуманные и ложные». И вот что за ситуации имеет в виду критик. Возьмём, к примеру, сестру Курилова — Клавдию, старую коммунистку.

«Клавдия распространяет вокруг себя атмосферу страха, — удивляется Селивановский. — Все, кто встречаются с ней, испытывают чувство стеснённости, робости, боязни. Она всё время суха и подтянута. Только о д и н раз — после смерти Курилова — показывает Леонов действительную человечность, скрытую за бесстрастной маской этого человека. Потрясённая известием о смерти брата, Клавдия открывает один из плену-

мов словами: "Мы призваны работать в радостное и прекрасное время, дорогие товарищи мои..."

"В её фигуре, наклонённой вперёд, — пишет Л. Леонов, — читалась непреклонная воля к полёту. Запомнилась спокойная жёсткость её гипсового, бесстрастного лица"...

Только подлинная человечность может продиктовать в такой ситуации искренние слова о радостном времени. Но даже здесь Леонов подчеркнул гипсовое бесстрастие лица».

«...откуда же в Клавдии такая потушенность всех интересов, откуда у неё такая нелюбовь к людям?» — вопрошает критик.

«На Клавдию очень похож, — показанный лишь в несколько смягчённых тонах, — Курилов до болезни», — констатирует критик. То есть такой же он, этот Курилов: наводящий жуть на людей и не любящий их.

Не менее точно пишет критик о Глебе Протоклитове, который, по его словам, «обрёл не только рабочее обличие и рабочие манеры, но бесстрашие взгляда и обезоруживающую грубоватую прямоту. Мимикрия стала его существом. Сложная, подробно разработанная система действий превратилась как бы в органический рефлекс его поведения. Он стал художником своей выдуманной биографии».

Это же Леонов, чёрт подери вас, дорогой критик! Но хорошо, что вы этого не знали.

Обсуждение книги состоялось на президиуме Союза писателей 5 мая 1936 года. Присутствовали сам Леонов, первый секретарь Союза писателей Александр Щербаков, друг Леонова Бруно Ясенский, критики Нусинов, Серебрянский и др.

Частично итоги обсуждения были, как и в случае со «Скутаревским», опубликованы на страницах «Литературной газеты». Три литературных спеца высказываются в «Литературке» (№ 27): Лежнев, Шкловский, Левидов.

Все именитые, и все во первых строках вяло похваливают роман, но к финалу идут на попятную.

Лежневу не нравится, что Леонов так и не освободился от влияния Достоевского: например, разговоры Курилова с Протоклитовым «напоминают разговор Раскольникова со следователем».

Шкловский сетует, что роман «...слишком благоразумно построен. В нём настоящее взято, как прошлое». У Леонова.

Левидов спорит со Шкловским и говорит, что Леонов вовсе не благоразумен, но, напротив, он «самый взволнованный романтик эпохи», но эта взволнованность ему как раз и вредит.

В общем, кто в лес, кто по дрова, но все настроены раздражённо и брезгливо.

Немного исправляет ситуацию лишь опубликованная в этом же номере статья, вернее, стенограмма выступления Ясенского под названием «Идейный рост художника»: друг Бруно одной рукой ограждает Леонова от ударов, другой сам его пихает в бок; но в общем статья куда более доброжелательнее многих и многих других: «...когда советский автор в своём новом романе идейно вырастает на целую голову, простительны и ошибки. Это накладные расходы всякого большого начинания».

Жаль только, что Ясенский тоже ничего не понял в романе.

Партия и лично товарищ Сталин всё это время не высказывают никакой определённой позиции, хотя Леонов этого, кажется, ждал.

В иные времена ожидание литератора, чтобы именно власть его спасла от нападок, могло бы показаться диким, но тогда, в тридцатые, советские годы это как раз было в порядке вещей. Просто потому, что вся пресса так или иначе была советской прессой — и, значит, выражала точку зрения советской власти. И если в советской прессе шельмуют каждый новый роман Леонова — значит, он не нужен власти, равно как и стране. И иного понимания этой ситуации не было.

Леонов снова переживёт период и душевного раздражения, и сердечной растерянности: да, он сомневался во многом — как живой и мыслящий человек, да, он не являлся ортодоксом социалистической доктрины — но он действительно уже был готов поверить в неё. И тут — такие нежданные и злые удары; не того ждал писатель.

В марте 1936-го состоялось собрание московских писателей — в связи со статьями в «Правде» о формализме в искусстве. Неизвестный информатор докладывал в НКВД по этому поводу, что собрание «прошло вяло... было плохо подготовлено». Зато он записал слова Леонида Леонова, неожиданно резко высказавшегося о судьбе литератора в Советской России и упоминавшего очередную рецензию на «Дорогу...» некоего Зелика Штейнмана, появившуюся в ленинградской «Красной газете».

«И это, как и все другие широкие собрания, ничего не дадут ни писателю, ни партии, — повысил голос Леонов. — Надо же понять, что когда писатель говорит перед широкой аудиторией, он не может забыть о том, что он является общественным деятелем, не может забыть, что его слова имеют политический резонанс. А, следовательно, писатель о своём не заговорит, по-настоящему не скажет. Как бы ни говорил докладчик, а всё-таки каждый, идя на это собрание, думал о том, будут или не будут его бить.

Да и как не думать, когда какой-нибудь Зелик Штейнман может одной рецензией поставить под вопрос смысл более чем двухлетней работы. Конечно, боишься, что могут бить, и, конечно, предпочитаешь молчать, отсиживаться и ничего не печатать.

Бабелевская тактика умна: переиздавай одну и ту же апробированную вещь, а новое в печать не давай. Если появится ещё такая рецензия, как рецензия Штейнмана, я закрою лавочку, перестану писать. Пусть партия решает, кто ей нужней, я — художник, или критик Штейнман».

Но партия по-прежнему молчала.

«И как быть теперь? И что ждать теперь? Правильно ли поняли его? Может быть, не поняли вообще? А может, оно и к лучшему?» — нечто подобное мог думать Леонов, и терзаться, и сомневаться, и порой приходить в ужас: время за окном вполне этому способствовало.

Ладно, если сомнения о содеянном мучают человека день, другой или третий: поседеешь на полголовы, но выживешь всё равно. Однако Сталин не отвечал Леонову несколько лет. Не было вообще никакой реакции. И назывались эти годы: 1936-й, 1937-й, 1938-й.

Не в самое доброе время затеял Леонов свою большую игру.

В 1936-м, за целый год, Леонов, отличавшийся в двадцатые замечательной работоспособностью, напишет несколько статей — о Валерии Чкалове для «Комсомольской правды», памяти Николая Островского для «Рабочей Москвы» и ещё очерк «...И пусть это будет Рязань!» — и то сделанный по настоятельной просьбе редактора «Известий» Николая Бухарина. Вообще, это неделя работы, ну, две.

Его, правда, ненадолго выпустили в Париж в конце года, и он даже выступил с речью на семидесятилетии Ромена Роллана (самого Роллана в Париже не было); и ещё опубликовали «Дорогу на Океан» отдельным изданием, и даже «Вор» переиздали. Но и переиздание «Вора» не ко времени получилось — роман ещё раз внимательно перечитали те из борзописцев, что специализировались на поиске крамолы, и к Леонову впервые печатно было применено в одной из рецензий жуткое клеймо «троцкист». Оно ещё не грозило смертью, но уже обещало натуральные, с привкусом настоящего горя, неприятности.

Прорабатывали и пропесочивали конечно же не его одного. Ещё в марте в «Правде» порицали «формалистов» и вслед за Леоновым перечисляли Ивана Катаева, Бориса Пильняка, Владимира Киршона. Все, между прочим, — смертники. Каждому осталось год или около того. Кроме Леонова.

К началу 1937-го Леонов немного придёт в себя и за два месяца, очень быстро, напишет пьесу «Половчанские сады». Ста-

лин же просил писателей о пьесах, на той встрече у Горького, в 1932 году. Ну вот, пожалуйста, — ещё одна пьеса, после «Скутаревского».

В феврале он уже будет её читать коллективу МХАТа. И её примут. Удача!

Но больших романов от Леонова не появится ещё пятнадцать лет. Пятнадцать! Это очень много. Вот какова была степень леоновской обиды...

Впрочем, и государство продемонстрирует очевидную неприязнь к его прозаическим сочинениям. В 1937-м, по инерции, ещё выйдут «Барсуки», а потом прозу Леонова не будут издавать почти семь лет подряд. Да, половина этого срока придётся на Великую войну — но и в те годы советская власть будет активно печатать нужную ей литературу. Вот только не романы Леонова. «Дорогу на Океан», после сразу трёх изданий в 1936-м, переиздадут только в 1949 году; «Скутаревского» — ещё позже. Не говоря уже про наглухо закрытую раннюю прозу и ставшего откровенно крамольным «Вора».

Чистки и процессы

Первый московский процесс по делу «Троцкистско-зиновьевского объединённого центра» прошёл 19—24 августа 1936 года. В качестве обвиняемых предстали 16 человек: Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Григорий Евдокимов, другие видные советские деятели (некоторые из них в 1923—1927 годах входили в так называемую «внутрипартийную левую оппозицию», возглавляемую Троцким), в их числе несколько членов Союза писателей, заподозренных (иные не без оснований) в связи с троцкистами. Обвиняли подсудимых и в других грехах, в том числе, например, в организации убийства Сергея Кирова (что до сих пор не раскрыто), и не только его.

Здесь впервые и были использованы услуги литераторов, в основном — «попутчиков».

Всё-таки освободили их от опеки РАППА? Освободили-освободили. Пора вернуть должок.

Возвращают.

Двадцатого августа 1936 года «Литературная газета» выходит с редакционной статьёй «Раздавить гадину!». Под гадиной, естественно, имеется в виду весь «Троцкистско-зиновьевский объединённый центр».

В поддержку передовицы идут отдельные статьи Анны Караваевой («Очистить советскую землю от шайки подлых убийц и изменников»), Ивана Катаева («Пусть же гнев народа истре-

бит гнездо убийц и поджигателей»), Артёма Весёлого, Виктора Финка...

Причём Ивану Катаеву самому осталось жить менее трёх лет — до мая 1939-го; Артём Весёлый будет расстрелян в конце 1939-го.

Двадцать первого августа в газете «Правда» выходит первое из коллективных писательских писем, что впоследствии получат название «расстрельных».

Называется послание «Стереть с лица земли!».

«Гнев нашего народа поднялся шквалом. Страна полна презрения к подлецам, — пишут советские писатели. — Мы обращаемся с требованием к суду во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социальной справедливости».

Письмо подписывают 16 человек, в следующей последовательности: Ставский, Федин, Павленко, Вишневский, Киршон, Афиногенов, Пастернак, Сейфуллина, Жига, Кирпотин, Зазубрин, Погодин, Бахметьев, Караваева, Панфёров, Леонов.

Двадцать пятого августа состоится заседание президиума Союза писателей, где писателям придётся обсуждать недостаточную свою бдительность: как же так, просмотрели врагов в своих собственных рядах?

Владимир Ставский вспоминает арестованного в рамках процесса литератора Рихарда Пикеля. Он в своё время заведовал секретариатом Зиновьева, был членом Союза писателей, театральным деятелем и вошёл в историю как один из самых злобных хулителей Михаила Булгакова.

Но вспоминают его, конечно, не по этому поводу, а как «негодяя», «террориста» и «подлого двурушника».

Вслед за Ставским выступают прозаики Бруно Ясенский, Юрий Олеша, поэты Владимир Луговской, Вера Инбер, драматурги Афиногенов, Погодин, Тренёв, Вишневский... И Леонов.

Леонов сетовал на то, что «руководство слишком поспешно принимает в свою семью новых членов. Это даёт проникнуть в наши ряды проходимцам, ничего общего с литературой не имеющим».

«У нас часто бывает так, — цитировала «Литературная газета» речь Леонова, — санкционируют приём писателя, а потом выйдут за дверь и смеются: “какой, мол, он писатель”. Достойное ли это дело?»

Впрочем, беда Леонова вовсе не в том, что присутствовал он на собрании президиума; в конце концов, судя по отчёту, ничего зубодробительного он там не говорил.

Беда, что в том же, от 27 августа 1936 года, номере «Литературной газеты», где был опубликован отчёт о заседании президиума, публикуются ещё два «расстрельных» письма.

И вновь под обоими стоит подпись Леонова.

Одно называется «Защитникам агентов гестапо» и адресовано деятелям Второго интернационала, которые «нашли возможным выступить в защиту агентов фашистского гестапо, троцкистско-зиновьевских убийц». Между тем, по мнению авторов письма, «Верховный суд, разоблачивший эту шайку заклятых врагов международного пролетариата и вынесший смертный приговор убийцам, осуществил волю миллионов, волю всех честных людей во всём мире».

Под письмом 20 подписей, в том числе, естественно, Ставский, а также Бруно Ясенский, Юрий Олеша, Павленко... Последней в списке, как и в «Правде», стоит фамилия Леонова.

Другое письмо написано по поручению президиума Союза писателей.

«Да здравствует революционная бдительность НКВД и твёрдость пролетарского суда!» — гласит оно. И подписи, на сей раз всего пять: Ставский, Лахути, Погодин, Леонов, Тренёв.

Отдельно поддержку президиуму высказывают Агния Барто, та самая, что сочинит чуть позже: «Уронили мишку на пол...» — но пока она выступает как автор публикации «Гады растоптаны», писательница Лидия Сейфуллина — со статьёй «Чёрные люди» и драматург Всеволод Вишневский, автор заметки «Глас народа».

Что значили те шаги для Леонова, не ответит уже никто. Хотел продемонстрировать свою лояльность — после непрестанных четырёхлетних разносов? Решил, что в компании с хорошими знакомыми Фединым и Ясенским, а ещё и с Пастернаком, и с Олешей, и с Павленко подобное возможно сделать — ведь не могли же ошибаться все разом?

Додумать можно всё, что угодно. Но, безусловно, в те дни — при всех огромных и очевидных оговорках — присутствовал и у него колоссальный заряд веры в советскую власть, пришедшую разобраться с «человечиной», которая, как неудавшийся божественный эксперимент, быть может, и не столь дорога, чтобы о ней печалиться.

И ещё, скажем мы, несмотря на произошедшую после смерти Сталина реабилитацию большинства репрессированных, никто до сих пор всерьёз не озаботился достоверно разобраться не только в том, насколько процессы были сфальсифицированы, но и в том, что послужило реальной подоплёкой для их начала. Слишком просто объяснять всё «паранойей»

Сталина в стране, окружённой кольцом внешних врагов, уж никак не лишавших себя возможности иметь агентов влияния в стане очевидного противника.

И ответственность за эту власть и её деяния — она тоже имела место: Леонов был сыном своего века и даже впоследствии не отказался от него.

Не помешает заметить, что, если и лживы были эти процессы, на совести многих персоналий из числа подсудимых было огромное количество и жертв, и крови, и убийств: и для осведомлённых людей не было секретом, что, например, Григорий Зиновьев — организатор «красного террора» в Петрограде в 1918 году. Леонов-то видел и знал, что такое «красный террор» — сам едва ускользнул из-под его маховиков в Одессе, когда туда прибыл Бела Кун в 1920-м.

К тому же Леонов и предположить не мог, что процесс этот будет не единственным, но, напротив, откроет целую, почти на пять лет, череду подобных процессов, и призывы «Убить! Расстрелять! Раздавить!» станут привычным аккомпанементом времени.

* * *

Следующий, 1937 год начинался просто благостно.

Под занавес 1936-го устроили разнос откровенно русофобского сочинения Демьяна Бедного «Богатыри» и одноимённой театральной постановки, что стало одним из первых сигналов смены интернационального курса на курс правый, национальный, патриотический.

Каждое утро Леонов, как всякий человек, внимательно всматривающийся в жизнь советскую, листал «Правду».

В стране началась перепись населения, и на страницах главной советской газеты Михаил Зощенко увлекательно рассказывал, сколь велика разница между дореволюционной переписью и нынешней: нету безработных, нету нищих.

Понемногу начинается подготовка к ознаменованию столетней годовщины со дня смерти Пушкина.

Пятнадцатого января «Правда» выходит с передовицей под названием «Великий Русский народ». А ведь ещё два года назад, сочиняя «Дорогу на Океан», Леонов, решившийся было написать в тексте «русский», отложил перо и сидел несколько минут, сжимая виски тяжёлыми своими руками: ведь вцепятся опять в самую глотку только за одно слово это. (Слово «русский» в тексте всё-таки появляется.)

Но уже через неделю всякая благость вновь начнёт рассеиваться.

С 24 января «Правда» публикует новые протоколы допросов в рамках расследования троцкистско-зиновьевского заговора. Пятаков, Радек и прочие подробно рассказывают о том, какие они негодяи.

«Правде» помогают все крупные издания, включая «Литературную газету».

И тут конечно же опять потребовалось деятельное участие «инженеров человеческих душ».

Открытое письмо с требованием «беспощадного наказания для торгующих Родиной изменников, шпионов и убийц» подписывают в «Правде» Фадеев, Алексей Толстой, Павленко, Бруно Ясенский, Лев Никулин.

Здесь же, в рифму, вторит прозаикам поэт Михаил Голодный: «И в гневных выкриках народа, / Как буря будет голос мой: / — К стене, к стене иезуитов!»

На следующий день, 25 января, — множество сольных выступлений, в стихах и в прозе. «Отщепенцы» от Фадеева. «Смерть подлецам» от Алексея Суркова. «К стенке подлецов!» от Владимира Луговского. «Изменники» от Безыменского.

Удивительное время: стихотворные призывы к немедленному убийству с завидной регулярностью публикуются в главной государственной газете.

В тот же день в «Известиях» с отдельной статьёй «Профессоры двурушничества» вновь появляется Бруно Ясенский.

На другой день в «Известиях» же разгромная статья Алексея Толстого и стихи Александра Жарова «Грозный гнев».

Ещё более весомый подбор авторов представлен 26 января в профильной «Литературной газете».

Алексей Толстой: «Сорванный план мировой войны». Николай Тихонов: «Ослеплённые злобой». Константин Федин: «Агенты международной контрразведки». Юрий Олеша: «Фашисты перед судом народа». Новиков-Прибой: «Презрение наёмникам фашизма». Всеволод Вишневский: «К стенке!» Исаак Бабель: «Ложь, предательство, смердяковщина».

Критик Виктор Шкловский пишет: «Эти люди хотели отнять от нас больше чем жизнь: они хотели отнять у мира будущее».

«Отнять от нас...», да-с.

Здесь же совместный текст на ту же тему Самуила Маршака и его двоюродного брата — Ильи Яковлевича Маршака, взявшего псевдоним Ильин. Статья писателя Льва Славина именуется «Выродки». Писатель Александр Малышкин призывает «Покарать беспощадно». И Рувим Фраерман здесь, тот самый, что через два года напишет «Дикую собаку Динго». И даже Андрей Платонов, правда, не столь жадный до крови в своих высказываниях, как иные его коллеги. Борис Лавренёв, к

примеру, в том же номере открыто заявляет: «Во имя великого гуманизма... я голосую за смерть!»

Ну и так далее: Сергеев-Ценский, Безыменский, Долматовский, всего 34 литератора, треть которых по сей день носят статус «классиков». Такие времена были.

В числе других появляется и Леонов с памфлетом «Террарий». Леонов, подобно Платонову, не кровожаден, и явно отделывается общей риторикой.

По-видимому, как раз тогда, в начале 1937 года в нём происходит некий слом, и с этого момента он начнёт всячески избегать участия в подобных жутких мероприятиях. Леонов понимает, что эту машину нельзя накормить один раз — её всё время придётся кормить самим собою, своей душою.

Двадцать седьмого января «Известия» публикуют очередной памфлет Бруно Ясенского «Бонопартийцы». Там же «Чудовища» Всеволода Иванова и стихи Николая Заболоцкого: «Мы пронесли великую науку... <...> Уменье заклеймить и уничтожить гада». Самого Заболоцкого арестуют и попытаются заклеймить и уничтожить год спустя; от смертной казни спасёт его лишь то, что он так и не признает обвинения в создании контрреволюционной организации.

Первого февраля в «Литературной газете» выделяется огромный заголовок «Советские писатели приветствуют приговор суда, покаравшего подлую троцкистско-зиновьевскую нечисть» — и на другой странице разворота передаётся «Привет славным работникам НКВД и их руководителю Н. И. Ежову».

Под этими приветствиями соответствующий доклад Фадеева, речь Федина, выступления Новикова-Прибоя и Льва Никулина (последний вообще будет появляться чаще всех иных на этом «пиру», иногда по несколько раз в неделю с публицистическими призывами «карать»).

Генеральную линию в газете продолжают драматург Киршон, поэтесса Вера Инбер, писатели Лев Соболев и Юрий Тынянов: последний заявляет, что «Приговор суда — приговор страны». Молодой Михаил Исаковский вслед за Тыняновым пишет стихотворение «Приговор народа»: «За нашу кровь, за мерзость чёрных дел / Своё взяла и эта вражья свора. / Народ сказал: "Предателям — расстрел!" / И нет для них иного приговора». Видимо, им обоим звонил один и тот же человек, объяснявший смысл и суть события. И человеком этим, скорее всего, был секретарь Союза писателей СССР, уже не раз упоминавшийся нами Владимир Ставский.

Леонов в те дни трубку телефона вообще не берёт, за него мается жена, которая то о болезнях мужа рассказывает, то о неожиданных отлучках.

В мартовской «Правде» публикуется доклад Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». И в апреле доходят руки до двурушников из числа литераторов — ими станут вчерашние истовые ревнители чистоты литературных рядов, гроза «попутчиков» — РАПП.

Двадцать третьего апреля в «Правде» выходит статья П. Юдина «Почему РАПП надо было ликвидировать?».

«Вся окололитературная суетня и шумиха, которую развивали Авербах и компания, имела в своей основе троцкистские взгляды», — пишет Юдин.

Для поддержки позиции Юдина привлекают на соседней полосе писателей.

Печатаются фотографии Шолохова, Фадеева и Алексея Толстого, которые, судя по всему, одним своим видом подчёркивают правоту Юдина; никто из них при этом ничего не комментирует, а высказываются здесь же, под чужими снимками, Паустовский («...освободить Союз от всей окололитературной накипи»), Валентин Катаев («...всем известно, что рапповские пережитки ещё довольно сильны»), опять же Лев Никулин, Михаил Слонимский и Самуил Маршак.

Характерно, что в эти дни и «Правда», и «Известия», и «Литературная газета», перечисляя в литературных обзорах поимённо весь советский писательский иконостас, начали раз за разом Леонова игнорировать. Если и упоминают, то в негативном контексте: как, например, двумя неделями раньше, когда в той же «Литературной газете» говорилось: «Нужно также сказать правду Леонову, Вс.Иванову, Бабелю. Эти писатели оторвались от жизни, отяжелели, стали наблюдателями».

К 1 мая круги над Леоновым сужаются: он чувствует это физически. В «Литературной газете» пишут: «У троцкиста Авербаха была свита верных холопов — одним из вернейших проводников этой политики был Бруно Ясенский».

А ведь Леонов дружил с Бруно. Сосед по Переделкину, с которым много о чём говорили, именно Ясенский не так давно был первым слушателем «Дороги на Океан». Мало того, он оказался одним из немногих литераторов, что за этот роман заступались.

(Тот же Бруно, напомним, поспешил расписаться почти под всеми «расстрельными» письмами и отдельно написать дюжину кровожадных статей. Но это его, как выясняется, ни от чего не застраховало.)

В те дни Леонид Максимович и Татьяна Михайловна соберутся и пойдут к Ясенскому в гости: поддержать его, помочь как-то. Ясенский заметит их издалека и отправит навстречу

Леоновым посыльного: «Возвращайтесь к себе домой, за домом установлена слежка».

Партгруппа в правлении Союза писателей России проведёт специальное заседание, где помимо упомянутого выше Юдина выступят Ставский, драматург Всеволод Вишневский, писатели Панфёров и Березовский. Отчёт о заседании, опубликованный в «Литературной газете», гласил: «...Ясенский проводил типичную для РАПП линию нигилистического отрицания прошлого. <...> Из данных, приведённых всеми выступавшими на партийной группе, вытекает также необходимость подробно, всесторонне обследовать подозрительную практику и ряда других авербаховских приспешников, сохранявших до самого последнего времени тесную связь со своим "другом" и "покровителем". В первую очередь, конечно, должна идти речь о таких "китах", как Киршон и Афиногенов».

Вот ведь как дело поворачивалось! Это не абы кто были, Киршон и Афиногенов, — а два насквозь советских драматурга, чьи пьесы буквально навязывались всей стране и шли по всем городам и весям.

Происходящее не то чтобы повергало в смятение — оно подрывало всякие представления о реальности.

Дочь Леонова, Наталия Леонидовна, рассказывала, что в те дни заглянул к отцу писатель Александр Хамадан, — мужественный, по-видимому, человек.

Хамадан только что был у Ставского и случайно увидел на его рабочем столе донос на Леонова.

— Что ты делаешь? — спросил Хамадан у Ставского. — Зачем?

«Ставский, — пишет дочь в воспоминаниях, — ответил замечательной фразой:

— Ты думаешь, не надо?

Хамадан разорвал эту бумагу, спас отца».

История эта может быть и неправдой — хотя зачем, с другой стороны, выдумывать Леонову о себе такие сложносочинённые небылицы. Вся его без малого столетняя жизнь доказала, что ко лжи этот человек был не расположен.

К тому же именно Ставский в первых числах мая 1937-го писал в ЦК и лично Сталину:

«Обращает самое серьёзное внимание на себя состав авербаховской группы:

— Иван Макарьев, бывший секретарь Рабочей ассоциации пролетарских писателей — троцкист-террорист, ныне арестован НКВД;

— Д. Мазнин, приближённый критик Авербаха — троцкист, ныне арестован НКВД;

— Пикель — расстрелян в 1936 году;

— Бруно Ясенский — рекомендован в партию шпионом Домбалем, разъезжал с ним по Таджикистану, сам дал рекомендацию на въезд в СССР шпионам Шимкевичам, предоставил свою квартиру в Москве на долгое время расстрелянному провокатору и шпиону Вандурскому — и так далее;

— Киршон — будучи связан с Ягодой и Авербахом самым тесным образом, оторвался от партийной организации, от рабочих, развалил работу драмсекции Союза писателей, допустил ряд уголовных преступлений в ведении денежных дел драматургов и так далее».

Это был не столько донос, сколько отчёт о заседании писательской партгруппы, но именно Ясенского и Киршона, упомянутых в письме, ожидает скорая смерть.

* * *

Пятого мая «Литературная газета» публикует огромный шарж на самых видных советских писателей, которые дружно плывут на пароходе.

На верхней палубе — Алексей Толстой, Ставский, Шолохов, Николай Тихонов, Демьян Бедный, Павленко...

На второй палубе — Бабель, Лебедев-Кумач, Фадеев, Федин, Панфёров, Михаил Голодный...

На третьей палубе — Паустовский, Катаев, Леонов, Тынянов, Соболев, Сейфуллина, Сельвинский, Вишневский, Шкловский...

Писатель Новиков-Прибой отдельно ныряет в водолазном костюме. Всеволод Иванов тонет в воде, но его пытаются спасти. Поэт Борис Пастернак плывёт на утлой лодке, которая привязана к пароходу готовой разорваться верёвкой. Журналист Михаил Кольцов, находившийся тогда почти безвылазно за границей, пролетает мимо на самолёте.

Под шаржем — поэтическое послесловие, где говорится по поводу литературного парохода следующее: «Какая смесь одежд и лиц... / Но тех, кто повернули круто, / Но тех, кто вышел из границ, / Нет ни у борта, ни в каютах. / Развенчанные “литвожди” / Хотели править на Парнасе, / Хотели б ехать впереди / В самостоятельном баркасе, / Чтоб реял флаг у них другой, / РАПП-авербаховского толка, / Чтоб вёл Киршон своей рукой / Своё судёнышко на Волгу.../ А вплавь за другом несомненно / Пустился бы Афиногенов...»

Драматург Афиногенов, как ни странно, репрессии переживёт и погибнет в самом начале Отечественной. Со всего парохода будет репрессирован один писатель — Бабель. И пролетавший мимо на самолёте журналист Кольцов.

Но тогда своей судьбы никто не знал, и ожидать можно было с каждым днём всё больших неприятностей.

Леонов, после разгрома «Скутаревского» и «Дороги на Океан», уже по этому шаржу мог понять, насколько он потерял в литературном авторитете. Позиции литераторов, размещённых на трёх палубах, были чётко продуманы, и всех расставили по ранжиру.

Десять лет назад была совсем иная ситуация. К примеру, в последнем, двенадцатом номере за 1926 год главный журнал Советской России — «Красная новь», чётко соблюдавший табели о рангах и даже создававший их, отдельно и выше всех анонсирует пять авторов, чьи произведения издание намерено публиковать: Горький, Алексей Толстой, Бабель, Всеволод Иванов, Леонов.

Спустя несколько лет, в 1931-м, 32-летний Леонов, вместе с Фадеевым и Ивановым, журнал этот возглавил, и Горький ему посылал письма с просьбой опубликовать любезных его сердцу поэтов.

А уж о словах, сказанных Горьким Сталину — «Этот человек может отвечать за всю русскую литературу!» — и вообще не стоило в 1937 году вспоминать; они как будто в другой жизни были произнесены.

И вот Горький умер, Алексей Толстой только укрепил свои позиции, зато Бабеля, Иванова и Леонова опередили (а то и откровенно оттёрли) иные их собратья. Шолохов — безусловно по праву таланта, чего не скажешь о Павленко или Панфёрове. И даже, пожалуй, о Фадееве с Фединым.

Леонов видел, что его хоть и не выбросили ещё за борт, но вполне могут это сделать в ближайшее время.

Мясорубка продолжается

Летом репрессивная машина, развернувшись, с воем, закладывающим уши, делает новый заход.

В номере от 15 июня 1937 года «Литературная газета» публикует самое массовое письмо «инженеров человеческих душ», под которым нанизано 46 писательских фамилий: «И вот страна знает о поимке 8 шпионов: Тухачевского, Якира, Уборевича, Эйдемана, Примакова, Путна, Корка, Фельдмана... <...> Мы требуем расстрела шпионов!»

Среди подписавшихся первым заявлен Владимир Ставский, следом идут Вс. Иванов, Вс. Вишневский, Фадеев, Федин, Алексей Толстой, Павленко, Новиков-Прибой, Тихонов...

(Рядом с этим посланием, для пущей надёжности, размещены отдельные зубодробящие статьи Вирты, Лавренёва и Льва Никулина; отдельное письмо от ленинградских писателей и поэтов — Тихонова, Слонимского, Прокофьева, Зощенко; отдельное письмо от журнала «Знамя», подписанное поэтами Семёном Кирсановым, Павлом Антокольским, писателем Василием Гроссманом, да-да, будущим автором книги «Жизнь и судьба», и многими иными.)

Но для нас важно, что под письмом сорока шести неожиданно появляются как минимум три фамилии литераторов, которые именно это письмо не подписывали. Это Шолохов, это Пастернак, и это Леонов. Мало того, никто из них не давал согласия и на публикацию подписи под этим письмом. Ставскому была нужна массовость, весомые имена. И тут не только без Шолохова, который безусловно был в фаворе, но даже и без Пастернака и Леонова, переживавших не самые лучшие времена, было сложно. И потому, что оба находились в президиуме Союза советских писателей, и потому что у обоих, как ни крути, уже сложился огромный авторитет в среде читателей, и сбрасывать этот авторитет со счетов не получалось, даже если с официальным их признанием уже были проблемы.

За день до выхода газеты в Переделкино приехала машина, и некий чиновник, переезжая от одного писательского двора к другому, едва ли не в приказном порядке настаивал на необходимости письмо подписать.

Пастернак отказался. Леонов, обо всём догадавшись, вообще не открыл дверь.

Но это никого из них не спасло.

У Пастернака на другое утро после выхода газеты случилась истерика, он всё повторял о Ставском: «Он убил меня!» — и только мольба жены остановила поэта в желании написать протестное письмо с требованием снять подпись.

Шолохову в те дни мотал нервы не только Ставский — у него «заметали» на Дону близких друзей из числа коммунистов; похоже, в дни выхода газеты ему вообще было не до Ставского. События в Вёшенской будут развиваться так трудно, что Шолохова вскоре едва не доведут до самоубийства.

Каким был Леонов в те дни, многие годы спустя вспоминали близкие: мрачный и замкнутый, он не общался ни с кем, к телефону не подходил неделями.

Восемнадцатого июня 1937 года «Правда» публикует ряд материалов в связи с годовщиной смерти Горького. И здесь, против обыкновения, Леонова нет. О Горьком пишут Фадеев, Федин, Вс. Иванов и Бабель.

В августе в писательских кругах пойдут слухи об арестах:

Сергей Клычков, Иван Катаев. Чуть ли не на глазах Леоновых возьмут Ясенского. И ещё Киршона, и ещё Пильняка...

В конце года станет известно об аресте Тициана Табидзе — а Леонов гостил у него в Грузии, а они переписывались!

Как тут было не сойти с ума. Легче всего было не думать вообще.

О Леонове мало что слышно в течение всего 1937-го: ни одной серьёзной публикации в прессе. Да, переиздадут роман «Барсу́ки», да, выйдет отдельным изданием прошлогодний очерк «И пусть это будет Рязань!..» — но это всё без леоновского участия происходило. Ни поездок, ни присутствия на встречах и семинарах, на бесконечных совместных проработках тех писателей, которым грозила расправа.

Ещё раз загнали лису

И всё-таки надо было как-то возвращаться в жизнь. Если выбрал жить — значит, надо возвращаться. Так или иначе пытались вернуться в те годы или чуть раньше, или чуть позже все: и Булгаков, и Пастернак, и Ахматова, и Шолохов, и Платонов... Вернуться — через работу. Любую.

Иного пути, видимо, просто не было, и, пожалуй, нелепо и не к месту даже пытаться осуждать за это Леонова. Он, к слову сказать, в отличие от многих и многих, в том числе и вышеназванных, не допустил в те годы в свою прозу ни самого имени Сталина, ни славословий ему: а ведь мог бы. Тем более что его отношение к вождю было и сложным, и — не побоимся этого слова — искренним.

...Но как было уберечь эту искренность на ледяных и обжигающих сквозняках...

На исходе 1937-го, ещё не зная об аресте Табидзе, Леонов был избран — наберём воздуха в лёгкие, чтобы дочитать, — в деловой президиум Юбилейного пленума правления Союза советских писателей, посвящённого 750-летию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Пленум правления прошёл в Тбилиси 25—29 декабря. Леонову хотелось, наверное, поближе к Новому году сбежать из Переделкина, по которому нет-нет да проезжала ночью машина, и все сидели, затаясь: к нам? не к нам?..

...Нет, не к нам. Не к нам, Боже мой...

Леонов немного отдохнул в компании поэтов Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Ираклия Абашидзе.

Вернувшись из гостеприимной, бурной Грузии домой, в феврале 1938 года он посетил одну из артиллерийских частей

и написал к 23 февраля для «Правды» вполне милитаристский текст про военные учения.

В статье, опубликованной в главном печатном органе Советской России, Леонов вновь безрассудно позволяет себе предаться воспоминаниям о поре своего учения в артиллерийской школе — не говоря, естественно, напрямую, что пишет о себе:

«...совсем недавно, двадцать лет назад (на самом деле — 22, но Леонов всё равно отсылает читателя именно к Гражданской войне, к 1918 году, а не к царским временам. — *З. П.*) этих самых отличных русских парней, “некрутами”, совсем молоденьких сразу отдавали в муштру, в шагистику, в словесность, пока бессмысленный автоматизм не притуплял человеческого сознания.

Кроме умения лихо раздраконить любой титул, сообщали им также кое-что и о материальной части, нечто о снаряде и ещё заставляли заучивать, как молитву, что угломер, к примеру, следует повернуть именно на два деления, если скомандовано “левее ноль два”. И получалось, что замковой знал только, “что есть замок”, разведчик умел глядеть в артиллерийский бинокль и сообщать на батарею зрительные впечатления, а куда снаряд ложится при стрельбе, — это было высокое дело офицеров.

Как всё это непохоже на нынешнее, когда наводчик в случае нужды сможет заменить любой номер, когда разведчик сумеет подготовить данные для командира батареи...»

Ну, как всё обстоит сегодня, в благословенное советское время, Леонов видел своими глазами, о чём и писал; но вот отчего же никто не задался вопросом: откуда вы, Леонид Максимович, знаете детали обучения явно не красноармейских артиллеристов в 1918 году?

При всей своей внешней нарочитой серьёзности — Леонов любил, так сказать, позабавиться, подразнить смерть. В «Правде» всё-таки публикуется писание его. 1938 год на дворе, а не, скажем, 1928-й. Зачем это ему было нужно, а?

Тремя днями позже, 26 февраля, Леонов появляется в «Литературной газете».

Здесь стоит вспомнить, что редколлегию газеты возглавлял вездесущий и авторитетный Владимир Ставский, — которого, как мы писали выше, Леонов, подслушиваемый сексотом, презрительно называл «премированным аппаратчиком». Ох, напрасно он это делал! Недаром «Литературная газета», даже изображая стремление к объективности в оценке романов Леонова, одной рукой поддерживала его под локоток, а другой с остервенением била под рёбра, под рёбра...

Ставский или знал, или догадывался о неприязни Леонова, и платил ему тем же — хотя и не напрямую, опосредованно.

«Премированный аппаратчик», говоришь? Ну, держи тогда.

«Литературная газета» — одно из самых главных изданий в стране, которое выстраивало в эти годы литературные иерархии, и Леонов с каждым годом занимал в этих иерархиях, как мы помним, всё более дальние от вершины места.

В течение целых месяцев в «Литературной газете» само имя Леонова лишь изредка перечислялось через запятую — в то время как многие иные имена его собратьев по перу просто не сходили со страниц.

Раздражения Ставскому прибавляло нежелание Леонова участвовать в новых кампаниях против «врагов народа». Вот Алексей Толстой подписывает каждое «расстрельное письмо», и ничего. И Лавренёв старается, и Зощенко не открещивается, и Всеволод Иванов может. А этот, после одной статьи, написанной больше года назад, неведомо где отсиживается.

Но словно что-то поменялось для Леонова, и вослед за публикацией в «Правде» — на первой полосе «Литературной газеты» (с переносом на четвёртую полосу) идёт отрывок из пьесы «Половчанские сады» — написанной, между прочим, год назад. И саму пьесу уже репетирует МХАТ, и ставит её сам Владимир Иванович Немирович-Данченко.

«Быть может, наконец, позади самое страшное? Быть может, всё теперь будет иначе?» — так мог думать Леонов.

В «Новом мире» «Половчанские сады» уже свёрстаны, вот-вот выйдет журнальная книжка, хрусткая и ароматная. В том же феврале Леонов начинает писать ещё одну пьесу «Волк (Бегство Сандукова)».

С этими пьесами Леонов связывает своё возвращение в литературу: он безусловно желает туда вернуться в силе и в славе.

Леонов, да, хочет соответствовать своему времени, и в обеих пьесах действуют... завербованные немцами шпионы на благословенной советской земле. Враги народа. Которых конечно же разоблачают.

Пьесы эти, надо признать, сделаны замечательно хорошо, — даром, что внутренняя мучительная брезгливость Леонова и к описываемым им коллизиям, и к человечеству вообще чудесным образом передаётся любому вдумчивому читателю. Быть может, Леонов и хотел дать оптимистичные картины — ну, хоть отчасти оптимистичные, — но у него вновь получился «унтиловск» пополам с «пороженском», и ещё со шпионами в придачу.

Впрочем, касательно первой из этих двух пьес — «Половчанских садов» — ситуация была чуть сложнее. Поначалу отрицательный герой этой вещи шпионом не был, но ознакомившийся с пьесой председатель Комитета по делам искусств

при СНК СССР Платон Керженцев запротестовал: как так, надо идти в ногу со временем, подайте сюда шпиона. Леонов так и сделал. А к моменту начала работы над «Волком» (спустя целый 1937 год) и сам уже сработал на опережение и поселил в пьесе даже не одного врага, а целых двух, коварных и злобных.

«Врагов страны Советской описывать — это не к их убийству прямым текстом призывать, пусть даже убиваемые и виновны», — подобным образом мог рассуждать Леонов, желая этими пьесами сторговаться со властью, с той жуткой государственной машиной, которая хотела именно что личного участия, личного мышечного усилия всякого именитого литератора при необходимости нового проворота мясорубки.

Но сторговаться не удалось.

* * *

Двадцать седьмого февраля 1938 года был арестован Николай Бухарин.

В первых числах марта начался новый призыв литераторов на борьбу с «врагами народа».

Пятого марта в «Литературной газете» публикуется обвинительное заключение по делу Бухарина (чьим докладом Леонов восхищался четыре года назад), а ещё — Рыкова, Ягоды, Крестинского, и далее, и далее...

В редакционной колонке под предсказуемым названием «Смерть врагам народа!» сообщается: «Процесс над участниками “право-троцкистского блока” раскрыл всему миру картину неслыханных злодеяний, предательства и измены своей родине. Банда профессиональных шпионов, провокаторов и убийц по прямому заданию иностранных разведок вела подрывную работу в нашей стране».

И вот чего добивался «право-троцкистский блок»: «Украину они охотно уступали немецким фашистским собакам. Белоруссию они собирались отдать польским панам. Приморье — фашиствующим японским самураям».

Выяснилось, что ещё «злодейское покушение на Ленина» произошло согласно «прямым директивам Троцкого и Бухарина». Потом они «по прямым заданиям фашистской разведки» заразили советский скот рожей и чумой, а советские хлеба — клещом.

Следом врагами был убит Максим Горький.

К редакционной колонке присоединяются писатели. Открытое письмо «Их судит весь Советский народ» («Вместе со всем народом мы требуем от Верховного суда смертного приговора преступникам») подписывают Алексей Толстой, Борис

Лавренёв, Михаил Слонимский, Александр Прокофьев, Евгений Шварц (драматург, будущий автор «Тени» и «Дракона», к слову, тоже белогвардейский прапорщик в прошлом, и даже участник Ледяного похода Корнилова).

В центре полосы — статья Всеволода Иванова «Сердце-изобличитель»: «Ужасны эти слова — “умертвить Горького”! Умертвить это чудесное сердце величайшего художника, необычайно чуткого и нежного человека... <...>

Он убит в разгаре своей замечательной работы. Он убит, когда писал последнюю главу “Клима Самгина”, описывающую приезд Ленина в Петербург. Эту главу предатели не дали ему закончить... <...>

Максим Горький убит! Но сердце-изобличитель, огромное сердце величайшего художника стучит из могилы, сотрясая землю, взывая к мщению, к ненависти, к уничтожению врагов социализма».

Далее идёт Леонид Соболев: «Море не задохнётся, народ не заблудится». Юрий Тынянов: «Не может быть пощады!» Якуб Колас: «Смерть убийцам!» Борис Лавренев: «Последняя карта бита». Илья Сельвинский: «Виртуозы». И конечно же Лев Никулин, с номером «Иудин грех».

На шестой полосе ещё одно письмо: «Требуем беспощадного приговора», сразу и от Союза художников, и от Союза скульпторов, и от композиторов, и от Театрального общества, и от Союза советских писателей (Л. Соболев, Ф. Панфёров, Вс. Иванов, В. Ставский, А. Новиков-Прибой, А. Фадеев, Г. Лахути, Н. Вирта, П. Павленко, И. Сельвинский, Д. Бергельсон, В. Вишневский, В. Кирпотин).

Леонова снова не было, он снова таился и чувствовал себя, как и предсказал несколько лет ранее в «Скутаревском», подобно той самой, окружённой и подготавливаемой к смерти лисе.

Вот и вас загнали, Леонид Максимович; и красные флажки повсюду. Сами ж описали это.

На этот раз его всё-таки вызвонили, и скорее всего то был Владимир Ставский.

Подобные разговоры тех лет никто, или почти никто, не записывал, но они смутно слышны по сей день, подобно эху, годами не пропадающему внутри человека, — стоит только прислушаться.

— Леонид Максимович, что же вы? Неужели вы не с народом? Неужели вы, как художник, не можете волю народа поддержать? Алексей Максимович, помнится, ценил вас. Ценил! А теперь вы ничего не имеете против его убийц? А?! Такова ваша благодарность! Леонид Максимович, чёрт вас побери, может, вы определитесь с позицией: с нами вы — или с врагами?

«С каким народом? С какими врагами? — мог думать в ужасе Леонов, недавно узнавший об аресте журналиста и писателя Александра Зуева — того самого, что устроил его, бывшего офицера, в архангельское отделение РОСТА, с которым ел жареную воблу в Москве, в голодном 1922-м... Зуев ведь дорос до главы издательства “Федерация”, был в дружбе с Марией Ильиничной Ульяновой. И он враг?»

Голос в телефонной трубке выдерживает паузу. И уже другим, более мягким тоном собеседник увещевает:

— В конце концов, вы сами писали о врагах народа. Мы же читали «Скутаревского»... И новую вашу вещь, «Половчанские сады», тоже читали... Пора бы вам увидеть этих врагов своими глазами.

Так Леонид Леонов, вместе с соавтором романа «12 стульев» Евгением Петровым, вездесущим Львом Никулиным и ещё несколькими коллегами попал на процесс «право-троцкистского блока».

Это хоть и не призыв к убийству — но фактическое наблюдение за ним.

Пятнадцатого марта «Литературная газета» выходит с передовицей «Воля народа выполнена».

«Выполнена воля народа. Военная Коллегия Верховного Суда СССР вынесла приговор по делу антисоветского “право-троцкистского блока”. Подсудимые Бухарин, Рыков, Ягода, Крестинский, Розенгольц, Иванов, Чернов, Гринько, Зеленский, Икрамов, Ходжаев, Шарангович, Зубарев, Буланов, Левин, Казаков, Максимов-Диковский, Крючков приговорены к высшей мере наказания — к расстрелу».

Слово «расстрел» набрано жирным шрифтом.

Справа от передовицы — отчёт о том, как прошло общемосковское собрание писателей, «Священный гнев».

На этом собрании Леонова заставили рассказывать о том, какими он увидел иуд и убийц на скамье подсудимых.

Какими он на самом деле их увидел, что думал в те минуты — мы не знаем. Но на писательском собрании Леонову пришлось высказаться.

«Зал был полон, — сообщает газета, — иным не хватало мест — они стояли в проходах».

«Собрание открыл тов. Ставский. Он говорил о том, что приговор над троцкистско-бухаринской бандой был вынесен всем народом, что теперь, когда разоблачены небывалые преступления этих агентов фашизма, к которым нельзя даже применить радостное и гордое слово — человек, задача писателей ещё теснее сплотиться...»

«— Рыков рассказал, что об убийстве Горького с ним в 1928—1930 гг. говорил не только Енукидзе, но и Авербах. А эта ехидна жила среди нас. Мы должны каждый день вспоминать об этом. Мы должны помнить, как хорошо авербаховцы маскировались, и обязаны разоблачить тех, кто, может быть, притаился в нашей среде, — говорил тов. Никулин».

«— У меня такое ощущение, как будто я был тяжело болен, как будто я встал с постели после тифа, — говорил Евгений Петров. — Я видел лица, покрытые смертельной бледностью; слышал слова, жалкие слова, которые, кстати сказать, даже в этот последний час вызывали у публики иронический смех. Настолько чудовищными и кощунственными казались просьбы Ягоды о помиловании или клятвы старых провокаторов, шпионов и диверсантов в верности социализму, или страшные, леденящие слова мерзкого отравителя Левина: "Я любил Алексея Максимовича"... Какое счастье, что этот тяжёлый кошмар, наконец, кончился...»

Леонова газета почти не цитирует, сказано лишь, что его речь была «яркой, взволнованной». Последнее слово особенно важно.

Приведены две фразы Леонова: «На скамье подсудимых был представлен целый спектр подлости — воры, убийцы, отравители, шпионы, вредители, шпики. И действительно, это были мастера своего дела — мастера смерти, измены, кражи».

Далее редакция считает нужным самочинно пересказать речь писателя: «С ненавистью и презрением набрасывал Леонид Леонов портреты подсудимых. Лица, не озарившиеся ни на минуту, даже в предсмертные часы, светом человеческих чувств. Холодные, не стыдящиеся глаза. Искусственные движения, фальшивые жесты — мрачное позёрство висельников».

Под публикацией — фото Леонова на трибуне.

Эта самая жуткая его, самая безжалостная к нему фотография.

Сначала — руки. Руки он держит перед собой, сплетя ладонь с ладонью накрепко, словно смертельно боится их разорвать. Кажется, даже видны побагровевшие пальцы: он их сдавил.

Дальше — лицо. Лицо — будто напуганное, и глаза полны страха. Словно висельников, реальных, с вываленными жуткими языками видит он пред собой в эти мгновения. Видит, и произносит со сведёнными скулами какие-то слова, которых не слышит сам.

И одновременно — ощущение растерянности, отчаяния и безвольности во всём облике.

Как будто душа его раздавлена.

Несмотря на вопиющий абсурд обвинений, предъявлявшихся врагам народа, процессы эти — в первую очередь упомянутое выше дело антисоветского «право-троцкистского блока» — оставляли, как это ни дико звучит, ощущение подлинности.

Процесс был открытый, в зале присутствовали иностранные журналисты — и мало у кого возникла даже толика сомнений в происходящем. Об этом говорил, например, писатель Лион Фейхтвангер, который присутствовал на одном из подобных процессов. Подсудимые явно не выглядели людьми, истощёнными голодом и тем более изуродованными пытками. Они подробно отвечали на все вопросы, и никто из них ни разу даже не попытался дать понять залу, что пред ними происходит жуткая и лживая пьеса.

Если верить пересказу «Литературной газеты», Леонов увидел их «искусственные движения, фальшивые жесты», — но никто не написал о фальши в их словах, об искусственности их признаний.

Приведём часть стенограммы, подлинность которой могли засвидетельствовать сотни свидетелей. Мы пойдём на длинную цитату, потому что приведённый ниже опрос подсудимых — тоже часть биографии Леонова: он всё это смотрел и слушал, и мы можем попытаться вместе с ним, его глазами это увидеть сейчас.

«*Председательствующий*. Первый вопрос к подсудимому Бухарину: подтверждаете ли вы ваше показание на предварительном следствии об антисоветской деятельности?

Бухарин. Я своё показание подтверждаю полностью и целиком.

Председательствующий. Что вы желаете сказать об антисоветской деятельности? А товарищ прокурор имеет право задавать вопросы.

Вышинский. Позвольте начать допрос обвиняемого Бухарина. Сформулируйте коротко, в чём именно вы признаёте себя виновным.

Бухарин. Во-первых, в принадлежности к контрреволюционному “право-троцкистскому блоку”.

Вышинский. С какого года?

Бухарин. С момента образования блока, ещё до этого я признаю себя виновным в принадлежности к контрреволюционной организации правых.

Вышинский. С какого года?

Бухарин. Примерно, с 1928 года. Я признаю себя виновным в том, что я был одним из крупнейших лидеров этого “право-

троцкистского блока". Я признаю себя, следовательно, виновным в том, что вытекает непосредственно отсюда, виновным за всю совокупность преступлений, совершённых этой контрреволюционной организацией независимо от того, знал ли я или не знал, принимал или не принимал прямое участие в том или ином акте, потому что я отвечаю, как один из лидеров, а не стрелочник контрреволюционной организации.

Вышинский. Какие цели преследовала эта контрреволюционная организация?

Бухарин. Эта контрреволюционная организация, если сформулировать коротко...

Вышинский. Да, пока коротко.

Бухарин. Она преследовала, по существу говоря, — хотя, так сказать, может быть, недостаточно сознавала и не ставила все точки над "i", — своей основной целью реставрацию капиталистических отношений в СССР.

Вышинский. Свержение Советской власти?

Бухарин. Свержение Советской власти — это было средством для реализации этой цели.

Вышинский. Путём?

Бухарин. Как известно...

Вышинский. Путём насильственного ниспровержения?

Бухарин. Да, путём насильственного ниспровержения этой власти.

Вышинский. При помощи?

Бухарин. При помощи использования всех трудностей, которые встречаются на пути Советской власти, в частности, при помощи использования войны, которая прогностически стояла в перспективе».

И далее:

«*Бухарин*. С вредительством дело обстояло так, что в конце концов, в особенности под нажимом троцкистской части, так называемого контактного центра, который возник, примерно, в 1933 году, несмотря на целый ряд внутренних разногласий и манипулярную политическую механику, что не представляет интереса для следствия, — после различных перипетий, споров и прочего, была принята ориентация на вредительство.

Вышинский. Это ослабляло обороноспособность нашей страны?

Бухарин. Разумеется.

Вышинский. Следовательно, была ориентация на ослабление, на подрыв обороноспособности?

Бухарин. Этого не было формально, но по сути дела это так.

Вышинский. Но действия и деятельность в этом направлении были ясны?

Бухарин. Да.

Вышинский. О диверсионных актах вы то же самое можете сказать?

Бухарин. О диверсионных актах, — в силу разделения труда и определённых своих функций, которые вам известны, я, главным образом, занимался проблематикой общего руководства и идеологической стороной, что, конечно, не исключало ни моей осведомлённости относительно практической стороны дела, ни принятия целого ряда с моей стороны практических шагов.

Вышинский. Я понимаю, что у вас было разделение труда.

Бухарин. Но я, гражданин Прокурор, говорю, что я несу ответственность за блок.

Вышинский. Но блок, во главе которого вы стояли, ставил задачей организацию диверсионных актов?

Бухарин. Насколько я могу судить по отдельным различным, всплывающим у меня в памяти вещам, это — в зависимости от конкретной обстановки и конкретных условий.

Вышинский. Как вы видите из процесса, обстановка была достаточно конкретной. Вы с Ходжаевым разговаривали о том, что мало вредят, что плохо вредят?

Бухарин. Насчёт того, чтобы форсировать вредительство, разговоров не было.

Вышинский. Позвольте спросить подсудимого Ходжаева.

Председательствующий. Пожалуйста.

Вышинский. Подсудимый Ходжаев, был у вас разговор с Бухариным о том, чтобы форсировать вредительство?

Ходжаев. В августе 1936 года у меня на даче, когда я разговаривал с Бухариным, он указывал на то, что вредительская работа слабо поставлена в нашей националистической организации.

Вышинский. И что же нужно сделать?

Ходжаев. Усилить и не только усилить вредительство, но надо перейти к организации повстанчества, террора и тому подобного.

Вышинский. Подсудимый Бухарин, правильно говорит Ходжаев?

Бухарин. Нет.

Вышинский. У вас ставилась задача организовать повстанческое движение?

Бухарин. Повстанческая ориентация была.

Вышинский. Ориентация была? Вы на Северный Кавказ посылали Слепкова для организации этого дела? Посылали вы в Бийск Яковенко для той же цели?

Бухарин. Да.

Вышинский. А это не есть то, что говорит Ходжаев, применительно к Средней Азии?

Бухарин. Я думал, что когда вы спрашиваете о Средней Азии, то речь должна идти в моём ответе только о Средней Азии».

Леонов вглядывался в лицо Бухарина, в лица всех остальных... И что, зададимся мы вопросом, произносимое подсудимыми сильно похоже на ложь? Если слушать это из 1938 года?

Разыграть такое — тут нужна воистину дьявольская воля! И разыграли...

Теперь уже можно говорить и о том, что жёсткая оппозиция Сталину действительно имела место, равно как реально допустима возможность заговора в высших партийных элитах. И о том, что вся страна впала в психоз, и запущенные репрессии было почти невозможно остановить, потому что тысячи и тысячи людей безо всякого принуждения охотно оговаривали друг друга. И о том, что так или иначе внутрипартийная борьба в СССР 1920—1940-х годов в значительной мере отражала манёвры западных спецслужб.

Но и не забывать при этом, что всё вышеперечисленное никак не отрицает кровавого абсурда чисток, нечеловеческих, иезуитских методов ведения фальсифицированных следствий и прочих жутких признаков эпохи.

Но тогда — какой был выбор тогда? Не верить глазам? Зажмуриться, накрыть руками голову и бежать? Куда? От кого?

Никто никуда не убежал, ни один. Все остались жить, потому что это снова была — жизнь. И никакой другой не предполагалось.

И если горло сдавило и разучился разговаривать — то нужно учиться заново. И если черепная коробка раскалывается — то это пройдёт, и способность мыслить, реагировать и даже верить вернётся.

В марте 1938-го страна празднует 70-летие со дня рождения убитого врагами рода человеческого Горького. Статьи о нём пишут все кто ни попадя — но опять же не Леонов.

Двадцать восьмого марта в Москве проходит литературный вечер, посвящённый Горькому. Вступительное слово предоставляют Всеволоду Иванову, далее — Фадеев, Павленко, Макаренко... Леонова снова нет. У него пока нет сил стоять на трибуне, жутко пальцы переплетя и страдая всем существом. Снова ведь придётся... о предателях... о висельниках...

* * *

Но в апреле 1938-го Леонов появляется в миру.

Сначала даёт интервью «Вечерней Москве» о пьесе «Половчанские сады». Затем выступает на совещании по вопросам театра и драматургии: произносит речь «Создать театр, достойный эпохи». А какой же ещё! «Недостойный», что ли?

Период работы над художественной прозой в биографии Леонова сменил период театральный. Подобным образом в своё время ушёл от прозы в театр Михаил Булгаков, чтобы потом вернуться для окончания последнего своего романа.

Но, однако ж, если продолжать аналогии, надо сказать, что вопреки расхожему мнению леоновские спектакли будут запрещать с не меньшим остервенением, чем булгаковские. И нервов ему попортят в связи с этим тоже не меньше — разве что нервная система купеческого сына, не имевшего своего романа ни с морфием, ни с алкоголем, ни с никотином, оказалась покрепче.

Седьмого августа умирает Константин Сергеевич Станиславский, и уже 8 августа в издании «Советское искусство» выходит статья Леонова памяти режиссёра. Писатель вспоминает о знакомстве с ним. Потом присутствует на похоронах его: ушёл ещё один старик, с которым связаны и важные дни жизни, и театральные надежды — пусть и несбывшиеся пока в полной мере.

Десятого сентября «Литературная газета» публикует анонс на первой странице:

«Писатель Леонид Леонов закончил новую пьесу “Волк (Бегство Сандукова)”. Тема её — бдительность советского народа и неизбежная обречённость его классовых врагов.

— Пьеса эта была мной задумана давно, — рассказал Леонид Леонов в беседе с сотрудником ТАСС. — Меня, как писателя, давно волновала тема мужества и героизма советских патриотов, тема бдительности нашего народа. В пьесе нет одного, главного героя. Главные — все действующие лица.

Пьеса принята Государственным академическим Малым театром. Постановку намечено осуществить в декабре—январе».

Ещё одна творческая победа! Леонов вновь ощущает себя востребованным, нужным хотя бы театру.

В октябре, к 40-летию МХАТа, выходят статьи Леонова в «Литературной газете» и в «Правде».

Следующее радостное событие: в Днепропетровске, в Русском драматическом театре имени М. Горького проходит премьера спектакля «Волк».

Под конец 1938 года сразу тремя изданиями выходят «Половчанские сады» и упомянутый «Волк» — двумя изданиями.

Леонов, наверное, вновь верит, что кошмар закончился: и понемногу принимается за прозу. Он дописывает первый вариант повести «Evgenia Ivanovna» — о судьбе девушки, эмигрировавшей в Гражданскую. Перечитывает и понимает: публиковать это нельзя. Какие ещё трудные судьбы людей, оставшихся без Родины, — к чему это сейчас?

Тем более что в первых критических откликах о новых пьесах Леонову хоть и не стремятся сразу ударить под дых, но вновь ставят на вид старые грехи уныния и тайного неверия в благость наступившего дня.

Сюжет пьесы «Половчанские сады» вкратце таков.

Середина 1930-х. Центральный герой — директор совхоза, садовник Адриан Маккавеев. У него семь детей: пять от первой жены и двое от второй — дочка Маша и самый младший — Исай, калека. В ходе пьесы выясняется, что Исай сын не Маккавеева, а некоего Пыляева (в пьесе он неизменно называет себя Пылаев), с которым сошлась нынешняя жена директора совхоза, когда муж в 1918 году был на фронте, сражаясь, естественно, за красных.

Пыляев в 1918 году находился на подпольной работе, потом попал в плен к немцам, в то время оккупировавшим территорию, где проживали Маккавеевы. В плену он, как выясняется к финалу пьесы, был завербован.

Как же Исаю не быть калекой с таким отцом и с изменившей мужу матерью!

Действие пьесы происходит в те дни, когда переживший сердечный приступ Маккавеев созывает всех своих сыновей — проститься с ними. Одновременно и неожиданно в доме Маккавеевых появляется давно уже забытый всеми Пыляев.

Критик Михаил Левидов в журнале «Литературный критик» (№ 3 за 1938 год) писал о «Половчанских садах»: «Болезнь "достоевщинки" Леонов преодолел. В существе её. Но инерция болезни ещё осталась и даёт себя знать. Исай — он и есть порождение или проявление инерции болезни».

Не очень устраивает критика и образ шпиона Пыляева, слишком символичный, слишком усложнённый, на взгляд Левидова.

Однако критик находит в себе силы написать, что старик Маккавеев в подаче Леонова — человек, утверждающий «жизнь с её тревогами, борьбой и победой, основанной на чувстве социального оптимизма».

И далее, всё о том же: «Леонову удалось здесь разрешить трудную задачу: драматург сумел художественно показать, как внедряется в нашу жизнь чувство социального оптимизма, и заново решает её конфликты и проблемы...»

Левидов словно сам себя уговаривает.

Социальный оптимизм пьесы на первый взгляд заключается собственно в том, что шпион пойман и разоблачён, а один из сыновей Маккавеева, не добравшийся до отчего дома, но погибший в те же дни при выполнении важного партийного задания, был фактически заменён новым членом семьи — во-

енным офицером Отшельниковым, женихом маккавеевской дочери Маши.

Левидов словно не замечает последней фразы в пьесе Леонова, которую произносит Маша, когда все её братья и её жених, бравый Отшельников, разъезжаются.

А Маша вот что говорит: «Тума-ан какой!.. Что же вы все замолкли? Я хочу, чтоб было весело сегодня. Мой день, мой день. Мальчики... где же ваша музыка, мальчики?!»

Такой вот «социальный оптимизм» в квадрате. Туман. «Тума-ан...»

В этом смысле не менее любопытна рецензия, опубликованная в том же 1938 году в двенадцатом номере журнала «Звезда».

«Леонову безусловно удалось победить унтиловщину, — считает критик Левин. — Ядовитый туман, в котором происходило действие Унтиловска, рассеялся. Люди Унтиловска потеряли для Леонова прежний интерес. На первый план выступили совсем иные люди — герои, большевики, строители социализма.

Но вот странная вещь — почему пьеса Леонова, посвящённая героике и оптимизму советских людей, производит всё же довольно мрачное впечатление?»

И дальше критик отвечает на свой вопрос:

«Леонов до сих пор не очень умеет писать о счастливых людях. Для того чтобы человек стал понятен и близок Леонову, он должен быть не совсем безоблачно счастлив.

Имея дело с вполне счастливым человеком, Леонов испытывает как бы некоторую растерянность».

И, по сути, оправдывая Леонова пред будущими критиками, Левин пишет: «...приверженность Леонова к людям, имеющим некий сердечный недуг, выразилась в том, что образы людей иного типа явственно не удались драматургу. Это, несомненно, свидетельствует о том, что прошлое ещё имеет над Леоновым известную силу. Бледными и бесплотными схемами оказались именно те персонажи пьесы, которые должны были нести на себе всю её жизнеутверждающую, оптимистическую нагрузку».

Справедливости ради заметим, что отчасти критик Левин прав: образы большевиков, причём образы положительные, полные жизни и творчества, не удавались не только Леонову. Таковых нет ни в «Жизни Клима Самгина» Горького, ни у Пильняка, ни, тем более, у Булгакова, ни у многих иных «попутчиков». А вспомните Рассветова в «Стране негодяев» Сергея Есенина? Разве он сравнится с Замарашкиным или Номахом (Махно) из той же поэмы?

«Речь идёт о том, — завершает критик, — что Леонов очень приблизительно и поверхностно знает настоящих советских людей».

Ну, не знаем, как «советских», а людей Леонов знал в достаточной степени и имел о них своё мнение. Не то чтобы невысокое — но печальное. Печальное.

* * *

Помимо вполне себе прозорливых критиков, были и ещё и высокие государственные чиновники, которые тотального леоновского пессимизма решили не замечать и к исходу 1938 года задумались о том, как им успокоить и пригреть измученных долгой нервотрёпкой работников культуры.

Леонова к тому моменту ещё немного «подогрели» добрыми новостями.

Тридцать первого декабря 1938 года «Литературная газета» выходит с очередным шаржем на писателей. Леонов размещён среди них хоть и спиной к зрителям, но в центре картины.

Писатели восседают за столами, пьют, некоторые из них пляшут, отдельно от стола стоит Борис Пастернак с лютней.

Леонов сидит напротив Алексея Толстого и Владимира Ставского; в руке у него вместо стакана с шампанским — маленький горшок с кактусом. Шутка такая. Писатели-то уже знают, чему Леонов посвящает свой досуг.

Двадцать шестого января 1939 года «Литературная газета» вновь на первой полосе публикует Леонова — на это раз отрывок из пьесы «Волк».

А 1 февраля Леонов читает в «Правде» Указ Президиума Верховного Совета о награждении советских писателей и в числе награждённых находит свою фамилию. Он представлен к ордену Трудового Красного Знамени.

Всего тогда были осчастливлены 172 литератора. Добавим, что два дня спустя были награждены 182 работника кинематографии. Следом пришла очередь театральных деятелей, художников, архитекторов и прочих, прочих, прочих... Литературу, заметим, власть ставила превыше всех искусств — потому что начинала именно с неё.

Таким образом, после двух лет непрерывного кошмара и ежеминутного ожидания ночных арестов, власть продемонстрировала культурной общественности, что она ценит её и прощаёт её за всё, в чём та наверняка была пред властью виновата: «...и не сердитесь, товарищи писатели, художники и артисты, что не добрались до вас. Зато теперь любить партию будете ещё больше».

Первая радость Леонова от награждения (а думаете, Булгаков не обрадовался бы? Пастернак бы огорчился?), быть может, была несколько омрачена, когда он ревнивым взглядом осмотрел весь список награждённых. Дело в том, что 172 литератора были представлены не к одной награде, а к разным. Их всех, как водилось при советской власти, вновь разделили по ранжиру.

Самых достойных представили к ордену Ленина, чуть менее достойных, как Леонова, — к ордену Трудового Красного Знамени, третью же категорию составили награждённые орденом «Знак Почёта».

И тут у Леонова конечно же могли возникнуть вопросы. Потому что более значимыми, чем он, для советской власти были признаны не только поэты Николай Асеев, Самуил Маршак, Николай Тихонов, Сергей Михалков (уже написавший первую часть «Дяди Стёпы»), но и прозаики Фёдор Гладков (который — «Цемент»), Валентин Катаев (с кем Леонов ездил к Горькому), Пётр Павленко (с кем ездил в Среднюю Азию), Александр Фадеев, Михаил Шолохов и Евгений Петров (Ильф к тому времени умер)... Всего 21 человек. Все вышеназванные удостоились ордена Ленина!

Зато в компании с Леоновым оказались писатели Викентий Вересаев (кстати, автор антисоветского романа «В тупике», неоднократно переиздававшегося при советской власти), Юрий Герман, Михаил Зощенко, Всеволод Иванов, Константин Паустовский, Алексей Новиков-Прибой, Юрий Тынянов, Ольга Форш, неоднократно упомянутый нами критик Виктор Шкловский, поэт Семён Кирсанов... И многие иные.

Третьей по статусу награды — ордена «Знак Почёта» — были удостоены поэты Павел Антокольский (который впоследствии напишет великую поэму «Сын»), Евгений Долматовский (который чуть позже сочинит «Любимый город может спать спокойно...»), Вера Инбер (чей отец, между прочим, был двоюродным братом Льва Троцкого), один из первых футуристов (и русских лётчиков к тому же) Василий Каменский, писатели Михаил Пришвин, Александр Серафимович, Сергей Сергеев-Ценский, Константин (на самом деле — Кирилл, как и было указано в «Правде») Симонов, Вячеслав Шишков, ну и конечно же Лев Никулин — зря ли он так старался и призывал погибель на головы врагов два года подряд. Кроме того, орден «Знак Почёта» вручили Алексею Толстому — но дело в том, что он ранее уже получил орден Ленина.

Примерно такой была литературная иерархия в 1939 году. Ещё год или два назад такая расстановка оказалась бы для Леонова, который и выжить не всегда чаял, огромной неожи-

данностью. Но после принятия сразу двух пьес к постановке в крупнейших советских театрах, да ещё и многократном переиздании их, он вполне мог рассчитывать на большее.

В любом случае, Леонов, да и не он один, наверняка посчитал, что отныне он обладает некоей «охранной грамотой». Ведь его наградила партия Ленина и Сталина! Неужели после такой награды об него вновь посмеют вытирать ноги?

Седьмого февраля 1939 года в 12 часов дня более полутора сотен литераторов собрались у пропускной будки, что слева от ворот Спасской башни. Стояли посередь площади, кто — похохатывая, кто не веря счастью своему, кто напряжённо, кто взволнованно. Толстой, Серафимович, Шишков, Пришвин... Фадеев, Паустовский, Катаев, Зощенко, Леонов... Сергей Михалков, Барто, Маршак... Каменский, Кирсанов, Тихонов, Алигер, Антокольский... Лев Кассиль ещё был, который всё это описал чуть позже.

Потолкаться б в той толпе.

Тут же неподалёку — группы лётчиков и пограничников — их будут награждать вместе с писателями. А что, неплохой ход.

И ещё стахановцы, горняки, изобретатели, инженеры.

В общем, здравствуй, страна советская: вот твои создатели и встретились.

«Никогда с таким нетерпением не поглядывали мы на большие золочёные стрелки часов Спасской башни», — написал тогда Лев Кассиль.

Собравшихся потомили немного и запустили в Кремль.

Ещё добрый час пришлось подождать в зале — до тех пор, пока не вошёл председатель Президиума Верховного Совета СССР дедушка Калинин.

Первыми награждали военных — тогда как раз прошли бои у острова Хасан.

Затем работников завода № 8 имени М. И. Калинина и Горловской станции, разработавшей методы подземной газификации.

Писатели немного заволновались — может быть, их передумали награждать, а?..

Но нет, всё в порядке.

Первым вызывают для получения ордена Ленина поэта Николая Асеева.

«— А Шолохова тут нет сегодня, среди вас? — спрашивает, перегибаясь к нам через проход один из награждённых слесарей завода № 8» — так запомнил происходящее в зале Лев Кассиль.

«— А вон Чуковский... Это я знаю: мои ребята его наизусть помнят, — говорит кто-то сбоку».

Ответное слово за всех литераторов говорит, естественно, Алексей Толстой: «...это и награда, это также и вера в творческие силы советской литературы, вера в её развитие, в тесную связь её со всем советским народом, строящим счастье человечества...»

Награждение продолжалось несколько часов, затем был банкет.

Ближе к вечеру, натостовавшись во славу Советской Родины, лётчики, писатели и рабочие пожали друг другу руки и разошлись, довольные, от Кремля в разные стороны.

* * *

Судьба ещё некоторое время благоприятствовала Леонову.

Первого апреля он отправился в Тулу, ознакомиться, как там прошла постановка пьесы «Волк». Причём едет Леонов не один, а с целой группой московских драматургов.

«В этот вечер зал театра был полон, — отчитывалась «Литературная газета». — Артисты играли с особенным волнением и подъёмом. Спектакль прошёл с большим успехом. Зрители, узнав, что среди них находится автор пьесы, горячо приветствовали Л. Леонова».

После спектакля Леонов просидел с артистами до трёх часов ночи; общались.

«Есть два рода пьес, — в числе прочего говорил Леонов. — В одних — автор, а вслед за ним и театр с первых явлений всё раскрывают зрителю. Ему сразу ясно — какой персонаж отрицательный, какой — положительный, кто кого должен разоблачить и что должно произойти к концу спектакля. И есть пьесы, авторы которых как бы говорят зрителю: мы покажем вам кусок жизни, покажем людей таких, какими они бывают в действительности, а вы сидите тихо в ваших креслах, следите за тем, как шаг за шагом раскрываются перед вами на сцене характеры людей и смысл их поступков, и судите сами, кто из них положительный, а кто отрицательный. Такую задачу ставил я себе, работая над "Волком", и театр эту задачу понял. Основной рисунок вашего спектакля выполнен правильно».

По возвращении в Москву, 16 апреля, Леонов, наряду с другими литераторами, принял участие в очередном общемосковском собрании писателей, на этот раз посвящённом итогам XVIII съезда ВКП(б).

То есть наградили вас — теперь рассказывайте, что вы думаете о партии.

Известно что. Всякий старался собрата по литературному ремеслу перепеть, и Леонид Леонов был не хуже иных. Вот несколько цитат из его выступления.

«Мы уже привыкли громадными шагами одолевать пространство, отделяющее нас от коммунизма: за сравнительно небольшой срок была обнародована великая Сталинская Конституция, произошли выборы Верховного Совета СССР, вышел в свет “Краткий курс ВКП(б)” — книга героического опыта рабочего класса, история борьбы за счастье трудящихся земли...»

«Союз Советских Социалистических республик — единственная страна, над которой светит отличное солнце, — прекрасная страна, о которой грезили утописты...»

«Бывают ранним летом такие благодатные утра, когда прозрачен какой-то горною прозрачностью воздух, и голос человека идёт далеко-далеко, и все духовные способности обострены невероятно, и глазу внятна каждая подробность, и радостно внутри, а уму просторно, и громадное спокойствие наполняет мир. Это чувство я испытал по прочтении отчётного доклада вождя.

Вместе с моими товарищами, присутствовавшими на съезде, я смеялся, когда вождь говорил о козявке, к которой собирались присватать слона, и с гордостью радовался, когда в докладе раскрывалась настоящая книга судеб, книга большевистских чисел, чисел роста нашего, славы нашей...»

«Я с волнением произношу имя Сталина, в котором объединено всё лучшее, всё самое честное, все мысли и чувства великих стариков о правде народной. После слова — Ленин — не было ещё на языке человечества такого ёмкого по идейному содержанию, такого большого и громового слова».

Читать это сегодня несколько странно; но не покидает ощущение, что Леонов пишет в те дни о Сталине продуманно и прочувствованно. Он действительно готов верить в большое будущее для всей страны.

И в своё будущее тоже.

* * *

Впрочем, настроения тогда менялись как в калейдоскопе — жизнь то несла стремительно, то с размаха била о твердь.

Дочь писателя Наталия Леонидовна вспоминала:

«6 мая 1939 года в доме царило радостное оживление — в этот день должны были состояться премьеры двух папиных пьес: “Волка” в Малом театре и “Половчанских садов” в МХАТе. Сразу две премьеры в один вечер!

Нас с сестрой взяли вечером в Малый театр».

Сам Леонов едет во МХАТ.

В Малом театре по завершении спектакля — овации, люди кричат: «Автора!»

Выходит главный режиссёр Илья Судаков и объявляет: «Леонид Максимович не может выйти, так как находится на своей премьере во МХАТе!»

Во МХАТе тоже овации.

Прошло всего три месяца после награждения, Леонов и подумать не мог, что советская критика встретит его новые сочинения хорошо поставленным лаем.

Но именно так всё произошло и на этот раз. После первых отзывов, которые дали, что называется, свои же — в газете «Малый театр» от 9 мая («После “Любови Яровой” в советской тематике пьеса “Волк” — самое большое событие в театре») — началась форменная облава.

Публикация шла за публикацией, и одна другой отвратнее. Тон задал старый знакомый, Валентин Катаев, издевательской статьёй в журнале «Крокодил». С катаевского голоса подхватили и дополнили иные.

Песня исполнялась уже знакомая, не раз пропетая: влияние Достоевского, «унтиловщина», а ещё: авантюрность, пустота, надуманность пьес, и в каждой из них явно ощущается червоточинка с антисоветчинкой.

Самой, наверное, обидной была рецензия на спектакль «Половчанские сады» некоего Б. Розенцвейга в «Комсомольской правде» от 18 мая 1939 года. Называлась она «О “райских садах” Леонида Леонова»: «Нищета и бесцветность положительных образов, отсутствие сильных характеров, двухмерность и плакатность положительных героев приводят к тому, что пьеса Леонида Леонова лишается внутреннего психологического конфликта».

Заодно громит автор и сам театр: «Режиссура и актёры МХАТ им. Горького, как об этом свидетельствует спектакль, не слишком взволнованны и захвачены пьесой Леонида Леонова. Несмотря на весьма добросовестно — с точки зрения звуковых и световых эффектов — переданный гром военных маневров, в самом исполнении не чувствуется того “грозового электричества”, которое пронизывает и покоряет зрительный зал».

И резюме: «В таком театре, как МХАТ им. Горького, не хочешь видеть тусклых спектаклей, в которых огонёк вдохновения подёрнут пеплом большого и сложного, но в то же время рутинного, штампованного мастерства».

В тот же день, 18 мая, вконец озлившись, Леонов решается написать Сталину.

Осталось меньше двух недель до сорокалетия писателя: не таких приветов ждал он к своему юбилею.

И вот он пишет:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

После романа "Дорога на Океан", побитого и уже не издаваемого, я пробовал свои силы в театре. Две мои пьесы "Половчанские сады" и "Волк", отлично принятые театрами и т. Немировичем-Данченко, а после постановки в Художественном и Малом театрах — и советским зрителем, и Комитетом по делам Искусств, сейчас безоговорочно разгромлены в прессе. Повторяется история 1933 г., в тот раз организованная, как это выяснилось, плохими людьми. На глазах у молчащих организаций осмеивается и грязнится вся моя работа последних лет.

Тон статей бранный и издевательский. Не соблюдено даже элементарное уважение к чужому труду. Взгляните хотя бы на заголовок рецензии Б. Розенцвейга в "Комсомольской правде". ("Дорога" писалась 3 года, пьесы — 2). Уже 18 лет я отдаю все свои силы советской литературе. В Германии сожжены 4 мои книги. А. М. Горький хорошо отзывался о моих работах ("Беседа с рабкорами", "Предисловие к французскому изданию 'Барсуков'" и т. д.). Я выбит из колеи, вынужден оставить новую начатую работу. В эту крайнюю минуту у меня нет иного выхода, кроме обращения к Вам.

Если это отношение ко мне заслужено мною, не лучше ли мне оставить мою профессию и искать других путей быть полезным моему народу. Я представляю на Ваш суд мою писательскую судьбу.

Краткость этого письма диктуется опасением занять Ваше время».

Отправленное в тот же день, оно вскоре ляжет к Сталину на стол.

В самом начале романа «Дорога на Океан» Протоклитов просит Курилова уволить его с дороги и не мучить больше. Так Леонов фактически предсказывает скорое своё будущее.

Процитированное выше письмо можно пересказать в двух фразах: я не могу больше работать мастером на этой Дороге! Отпустите меня на волю, душу уже вымотали!

Курилов Протоклитова не отпустил. И Леонова тоже не отпустят. Прямого ответа от Сталина не будет, но будет ответ опосредованный.

Две недели пройдут в мучительном ожидании.

Под конец месяца, как и в случае с наголову разбитыми «Скутаревским» и «Дорогой на Океан», по поводу двух леоновских пьес проведут диспут — на сей раз устроенный в Клубе писателей секцией драматургов.

Но диспут лишь добавит печали и раздражения оплёванному писателю, которому к тому же не дали стать драматургом.

Почти все ругали «Половчанские сады» — и в первую очередь за то, как ни странно, что Леонов сделал из мятущегося неудачника Пыляева шпиона, на которого он никак не тянул. (Так Леонов наказал сам себя, пойдя на поводу у времени.)

«Мир мнимый, — говорил о пьесе М. Гус, — мир людей всё совершивших, не мучимых никакими проблемами — всё скучно, неподвижно и безжизненно».

Завлит МХАТа Пётр Марков пытается Леонова защитить — что вполне объяснимо, ведь в его театре идёт одна из пьес Леонова; но Марков оказался явно в меньшинстве.

Примерно так же реагировали собравшиеся и на пьесу «Волк».

«В пьесе “Волк” А. Гурвич, как и выступавший на диспуте Я. Эйдельман, не чувствует дыхания нашей жизни — как будто пьеса о советских людях написана в XIX веке, — сообщает «Литературная газета» за 30 мая. — Мир героев пьесы замкнут в себе, оторван от окружающей действительности, не потому, что он показан в обстановке частной квартиры, а потому, что в этой частной квартире не бьётся пульс советской жизни».

Под отчётом о диспуте, чтоб окончательно испортить настроение Леонову, была опубликована отдельная статья М. Бурского на ту же тему. В статье автор сетует, что в «Волке» слишком «...скучно трещат на сцене советские скворцы» — в том смысле, что если б шпион Лука Сандуков в пьесе был чуть поразговорчивее, то симпатии зрителей вообще оказались бы на его стороне: как тут не стать волком, когда такая тоска вокруг.

«Половчанские сады» бьёт критик другой картой, обвинив весь ход пьесы в ходульности и фальшивости. «В чеховских спектаклях то, что за сценой, — пишет критик, — всегда встречалось с тем, что на сцене, образуя художественное единство. В половчанском саду эта встреча не состоялась. Сад этот — не вишнёвый».

Критик, к слову, показал здесь идеальный способ унизить вообще любое сочинение. С тем же успехом можно написать о чём угодно, утверждая, что ваша Анна — не Каренина, ваша дочка — не капитанская, а ваши души — не мёртвые. И попробуй поспорь!

Неизвестно, как отпраздновал Леонов своё сорокалетие: семье явно было не до веселья. Ни одна советская газета никак не откликнулась на юбилей писателя. Полная тишина, как и не было никакого Леонова в литературе.

В мае избирают новый президиум Союза советских писателей — и Леонов даже туда не попадает. Там: Алексей Толстой, Фадеев, Федин, Шолохов, Катаев, Асеев, Вишневский, Герасимова, Корнейчук, Купала, Лебедев-Кумач, Мамашвили, Павленко, Соболев...

В июне, после тридцать шестого показа, «Половчанские сады» снимают из репертуара МХАТа. Немирович-Данченко разводит руками: «А что мы можем сделать?»

Всё идёт к тому, что и пьесу «Волк» ожидает та же участь.

Ни одна книга Леонова не готовится к печати в этом году (и не выйдет). Притом что большинство коллег Леонова по писательскому ремеслу издаются и переиздаются много и активно. Достаточно сказать, что за вторую пятилетку по сравнению с 1933 годом в Советском Союзе выросли тиражи книг на 37 процентов.

Но великое счастье Леонова и его близких в том, что они ещё не знали всего, происходящего вокруг Леонида Максимовича, иначе было бы отчего сойти с ума.

Незадолго до награждения писателей председатель комиссии политбюро по расследованию деятельности НКВД Андрей Андреевич Андреев направил Сталину письмо, в котором по результатам совместной работы с Лаврентием Берией были названы писатели, на которых в НКВД имелись «компрометирующие в той или иной степени материалы». Это — Алексей Толстой, Леонов, Катаев, Федин, Шкловский...

Сталин не дал хода этим компрометирующим материалам.

Но совсем недавно, 15 мая 1939 года, был арестован Исаак Бабель, и в последние майские дни, как раз в сорокалетие Леонова, он даёт показания (или за него дают, а ему представляют на подпись готовый протокол) о существовании группы террористов-троцкистов, в которую помимо самого Бабеля входили Леонов, Катаев, Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Владимир Лидин...

Один малый, на волосок, поворот истории, и не было бы никакого Леонова в том же мае (и не только его, да).

В Переделкине пятнадцать владельцев писательских дач уже арестованы, и Бабель — последний из них. Понятно, как чувствовали себя оставшиеся: Пастернак, Чуковский, Всеволод Иванов, ещё недавно проработанный и чудом миновавший ареста Афиногенов...

Леонов, естественно, не мог знать всего происходившего, но не почувствовать вновь сгущавшуюся тьму над головой было трудно.

И в это же, напомним, время находившийся вдалеке от Советской России Владимир Набоков едко завидовал Леонову, у которого поставили сразу две пьесы два крупнейших театра страны. Знал бы он, кому завидовал...

Не выдержав, 3 июля Леонов просит жену, Татьяну Михайловну, сходить к Александру Фадееву, спросить у него: чего ждать, как быть? Фадеев, занимавший должность секретаря

Союза писателей и в 1939 году введённый в ЦК КПСС, безусловно был тогда самым влиятельным человеком в советской литературе. Дача его в Переделкине была неподалёку от леоновской, и до какого-то времени они поддерживали дружеские отношения, захаживали друг к другу в гости.

Почему пошла именно жена, понятно: Леонид Максимович никак не хотел компрометировать Фадеева своим приходом — всё-таки Леонова прорабатывали на каждом углу.

Татьяна Михайловна вернулась огорошенная:

— Лёня... Дело плохо. Он даже меня не принял. Посмотрел со второго этажа и не спустился...

У Фадеева были гости. Непременный участник всех «проработочных кампаний» критик Владимир Ермилов выглянул из-за плеча Фадеева, увидел супругу Леонова и сразу исчез.

Этому Ермилову, к слову сказать, приписывают авторство фразы «маразм крепчал».

Крепчал, да.

* * *

Спасение снисходит неожиданно. 4 июля 1939 года одна из главных государственных газет — «Известия» (в её издателях значился Президиум Верховного Совета СССР) публикует чуть ли не на половину полосы статью критика Марка Серебрянского «Леонид Леонов». Фактически — это запоздалое поздравление с юбилеем.

Недооценить факт публикации невозможно: достаточно сказать, что в «Известиях» в том году ни одной подобной статьи ни о ком из писателей не появилось.

Так товарищ Сталин передал дружеский привет Леонову. Ты вот, товарищ Леонов, убил Курилова, а мы тебя, товарищ Леонов, пока ещё нет.

«Крупный советский писатель, автор “Барсуков”, “Соти”, “Скутаревского”, “Волка”, Л. Леонов хорошо известен читательским кругам советской интеллигенции...» — поставленным поздравительным голосом выводит Серебрянский.

Характерен отбор произведений: «Необыкновенных рассказов о мужиках», «Вора», «Дорогу на Океан» и «Половчанских садов» Леонов, видимо, никогда не писал.

Далее Серебрянский описывает, чем так дорог Леонов советской власти.

«Его первый большой реалистический роман “Барсуки”, выдвинувший тогда совсем молодого писателя, почти юношу, в первые ряды советской литературы, был значительным произведением на тему о классовой борьбе в деревне в годы граж-

данской войны, на тему о победе большевистских идей и практики над силами, враждебными революции...»

Вообще, мягко говоря, это не совсем так, но Серебрянский свершает тут благое дело: человека спасает, так что пусть говорит дальше.

«“Соть” — другая талантливая книга Леонова — была в числе первых произведений советской литературы, отобразившей тот решительный перелом в настроениях интеллигенции и окончательный переход её на сторону рабочего класса и партии...»

Кажется, тут Серебрянский несколько путает «Соть» и «Скутаревского», но это детали.

Далее Серебрянский совершает аккуратный прыжок через головы большинства написанных Леоновым романов и пьес: «Творческий путь от “Барсуков” к “Соти” и “Волку” был сложным и противоречивым. Талант и пытливость честного художника вели суровую борьбу с ошибками и ложными представлениями о действительности...»

Но «талант и пытливость», конечно, победили, иначе кто бы его поздравлял в «Известиях».

Правда, победили с трудом, потому что даже в «Барсуках» уже некоторые сюжетные линии, по мнению Серебрянского, «шли в сторону от метода социалистического реализма».

Однако даже полемика вокруг «Волка», уверен Серебрянский, ещё раз доказала, что Леонов всё-таки на верном пути, а его критики — нет.

«Сколько было наговорено чепухи, способной дезориентировать драматургов! — сетует Серебрянский. — Сколько было нагромождено вокруг “Волка”! Один из критиков, не обременяя себя сложными размышлениями, объявил Леонова “основоположенником детективного жанра”, поскольку в пьесе выведен шпион, другой увидел в пьесе всяческие страсти, ужасти и пугало биологизма, третий договорился до нелепого утверждения, что Лука Сандуков больше молчит, чем говорит, и что, заговори он полным голосом, он мог бы оказаться на рощинском бесптичье очень голосистым соловьём».

«Все эти, с позволения сказать, аргументы никакого отношения к пьесе Леонова не имеют и не могут иметь», — резюмирует Серебрянский.

И завершает свою статью так: «Как художник, Леонов молод, ему исполнилось в этом году сорок лет, это пора мужественной зрелости писателя, которую он встречает в расцвете своего дарования».

В тот же день, едва прочитав статью, Леонов — тяжкий груз с плеч! — выходит из дома, а навстречу ему Александр Фадеев,

лично. Дошёл до соседа своими ногами, не поленился. (По другой версии — всё-таки позвонил.)

— Лёня! — говорит. — Сколько лет, сколько зим! Что не заходишь ко мне? У тебя и юбилей был, а ты не пригласил! Нехорошо так с товарищами, нехорошо... Ах, Лёня, Лёня, дорогой человек...

«Метель»

Возвращённый к жизни, Леонов тут же приступает к работе. «Половчанские сады» сняты, но хоть «Волк» легализован: значит, надо делать ещё одну пьесу, и, быть может, на схожую тему.

В том же июле Леонов начинает писать «Метель».

Символичное название выбрал он для новой пьесы, особенно если помнить эпиграф из Жуковского к пушкинской «Метели»: «Вдруг метелица кругом; / Снег валит клоками; / Чёрный вран, свистя крылом, / Вьётся над санями; / Вещий стон гласит печаль! / Кони торопливы / Чутко смотрят в тёмну даль, / Воздымая гривы...»

Стоит обратить внимание собственно и на пушкинский текст: «...едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землёю. <...> Наконец он увидел, что едет не в ту сторону».

Странный, кстати, момент: Леонов начинает жуткую, зимнюю, метельную пьесу в самый жаркий месяц года. Это, наверное, говорит о том, чтó всё-таки чувствовал он в душе — несмотря на недавнее чудесное спасение после статьи в «Известиях». Непреходящий холод он чувствовал. И это чувство понятно: если на него спустили собак вскоре после получения государственной награды — разве может гарантировать долгосрочное спокойствие какая-то статья.

Вон Михаил Кольцов, был самым публикуемым журналистом в «Правде», все знали Кольцова... И где теперь он?

* * *

Первого сентября 1939 года вооружённые силы Германии вторгаются в Польшу. Началась Вторая мировая война.

Всеволод Иванов записал в дневнике, кто принёс известие об этом: «В войну никто не верил, все думали, что идёт огром-

ная провокация. <...> О войне сообщила В. Инбер. Был дождичек, и Леонов приехал на автомобиле, чтобы спросить, поедем ли мы в Тифлис... <...> Жена Леонова всё время старалась пройти к радио... <...> Леонов принял сообщение о войне необычайно спокойно...»

Иванова леоновское спокойствие, видимо, раздражало: но это вообще в духе Леонова — сохранять спокойствие всегда, ну, или почти всегда, и никогда не выказывать своего волнения.

На Кавказ Леонов едет один: там проходят празднества в связи с юбилеем армянского эпоса «Давид Сасунский».

Возвращается в Москву и к ноябрю доделывает «Метель».

В декабре он читает пьесу труппе Малого театра, где попрежнему и с успехом идёт «Волк» (к пьесе, сразу после статьи Серебрянского, проявили интерес несколько провинциальных театров, и вскоре появятся новые постановки).

Режиссёр Илья Судаков, актёры, уже играющие в «Волке», — все в восторге, и называют «Метель» лучшей пьесой Леонова.

Цензура, не раз уже обжёгшаяся на сочинениях Леонова, разумно настроена «Метель» отклонить. Но судьбу пьесы, по запросу Малого театра, лично решает председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР Михаил Храпченко. Он слушает «Метель» в исполнении самого Леонова и даёт добро на постановку.

Новый, 1940 год семья Леоновых встречает если не в благих ожиданиях, то хотя бы не в состоянии сердечной жути: в кои-то веки Леонова не бьют в прессе полгода подряд! Полузабытое ощущение.

Восьмого января Леонов читает пьесу в редакции журнала «Советское искусство». 14 января в том же издании публикуется отрывок из «Метели».

Вскоре пьеса обсуждается в кабинете советской драматургии Всесоюзного театрального общества.

Достигается договорённость о постановке пьесы в Днепропетровске, в Русском драматическом театре имени М. Горького, где с прошлого года идёт с успехом «Волк».

Постановку готовят достаточно быстро. 11 апреля Леонов выезжает в Днепропетровск, 12-го с оглушительным успехом проходит первая премьера спектакля.

Следом — премьера в Казани.

В апреле «Метель» выходит отдельной книгой, правда, маленьким тиражом в полторы тысячи экземпляров.

Зато в течение полугода «Метель» станет одной из самых популярных постановок в театрах всего Советского Союза. Слава её неожиданно окажется обвальной. «Метель» стремительно поставят сразу в тринадцати городах: среди них Архан-

гельск, Куйбышев, Ленинград, Симферополь, Смоленск, Ярославль.

Вдохновлённый происходящим, Леонов в августе садится за новую пьесу — «Обыкновенный человек».

Тем временем ещё 16 театров, в том числе Ленинабадский, Ростовский, Харьковский, Фрунзенский, Челябинский включают «Метель» в свой репертуар.

Десятки провинциальных изданий посвящают пьесе добрую сотню восторженных статей. В статьях тех писалось всё что угодно, в основном по готовым лекалам: о советском человеке, о его чести и честности, о прозорливости художника и драматурга, но дело было, конечно, не в этом.

Дело в том, что страна, ой как задолго до пресловутой оттепели и многочисленных оттепельных сочинений, — та страна, что жила и брела сквозь метель, вдруг узнала себя, увидела себя и вздрогнула от этой правды.

Действие пьесы вновь происходит в семье, как почти всегда бывает у Леонова, непростой, с червоточинкой (см. «Скутаревский», где профессор говорил, что дети — это его «ошибка»; недавние «Половчанские сады» с сыном-инвалидом, рождённым изменившей мужу женщиной; «Волк», где семья — при внешнем благополучии — давно развалена... ну и так далее).

В «Метели» глава семьи Степан Сыроваров обозначен как «директор чего-то». У него есть жена Катерина. У Катерины дочь от первого брака — Зоя. Отец Зои — как наш внимательный читатель уже мог догадаться — белогвардеец. Эмигрировавший в Гражданскую и собирающийся возвращаться домой.

У Владимира Набокова в романе «Подвиг», написанном в начале 1930-х, герой и отчасти альтер эго автора возвращается из эмиграции в Советскую Россию нелегально. У Леонова его тайный прототип делает ещё более длинный круг: сначала уезжает от советской власти за рубеж, чего не сделал Леонов в 1920-м, в Архангельске, а потом ещё и решается вернуться на родину.

Зоя спрашивает у матери, каким был отец: «Красивый, наглый, хлюст такой, наверно?» Так советская девушка озвучивает типизированные советские представления о белогвардейце.

Катерина описывает его с нежностью: «Он был длиннорукий, неуклюжий, но добрый. Сильный очень».

Сам Леонов, если верить современникам, был немного похож на оба варианта: красивый, но не наглый, конечно. Безусловно не хлюст, хотя на фотографиях 1930-х есть некоторое внешнее эстетство; при всём том, если не неуклюжесть, то некоторое, быть может, купеческое, немного медвежье, вразва-

лочку передвижение в пространстве было ему свойственно. Руки, да, не то чтобы длинные, но такие... развитые. И очень сильные, действительно.

Забавляется, в общем, Леонов, как и прежде.

Отец белогвардейца, что характерно, был купцом. Сам из деревни, приезжал в Москву торговать. В Зарядье наверняка, — но хоть об этом Леонов не пишет.

Отдельно стоит здесь вспомнить, как Пушкин в своей «Метели» описывает боевую славу русского офицерства: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю!»

Вообще аллюзии с Пушкиным в леоновской пьесе вполне очевидны. Как и у Пушкина сквозь метель добирается к главной героине истинный её муж — так и у Леонова.

Но не эти леоновские забавы важнее всего в пьесе. Та атмосфера, которую Леонов создаёт уже не отдельными ёмкими деталями и общей, «оцепенелой», по выражению Георгия Адамовича, интонацией, а нарочитыми, откровенными мазками.

Действие происходит на периферии Страны Советов в конце тридцатых.

В первом же авторском вступлении сообщается, что собравшиеся в доме «слушают разгул русской зимы». «Какая-то вьюга поднялась над нами...» — говорит чуть позже одна из главных героинь.

Ключевая интрига первого действия — нежелание Зои скрывать больше от людей правду об отце.

«Снова раздали анкету, — сообщает она матери. — Кто, что, когда и почему. Спрашивают про отца».

«Он умер», — отстранённо повторяет мать.

«Я не могу больше лгать, мамочка, — отвечает дочь. — Столько раз, столько раз... Через это я поступила в институт, стипендию получила, овладела дружбой товарищей. Ведь это всё кража, мамочка...»

«Нынче все не без пятнышка, Зоя, — мрачно отвечает мать. — Только одни таскают на плечах, другие прячут за пазухой...»

Зоя показывает матери письмо от отца, невскрытое. (Это Леонов шлёт своим героям письма от себя, уехавшего в 1920-м.)

«Спрячем его в огонь, дочка», — советует мать. И они сжигают письмо.

Таковы реалии жизни в Советской России. Дальше — гуще.

Появляется Степан Сыроваров, тот самый отец семейства и «директор чего-то».

Коллизия усложняется очередной излюбленной леоновской (изначально — библейской) темой — Степан и эмигрировавший Порфирий — родные братья (это у Леонова ещё с «Барсуков» пошло, когда страна раскололась ровно пополам, прямо через семью братьев Рахлеевых). То есть Степан Сыроваров живёт с женой родного брата и со своей племянницей.

Этот Сыроваров наперебой с женой начинает буквально сыпать перчёной антисоветчиной.

«Благополучие страны измеряется количеством проливаемых там женских слёз», — говорит Степан.

«Сверхпартийные доклады читаете, а дома говорите такие скользкие вещи», — отвечает Катерина.

«...ты стал совершать уйму подозрительных телодвижений, — продолжает она, — рвёшь какие-то бумаги по ночам, ведёшь телефонные разговоры на ужасно благонамеренные темы, явно в расчёте на третье лицо...»

«Ходят слухи, что научились подслушивать через электрическую лампочку, а ты...» — сквозь зубы отвечает муж.

Вскоре появляется подруга Зои Валька, тоже сообщает много интересных вещей: «А у нас сосед — жуткий доносчик». Произносится как «а у нас в квартире газ» (к Сергею Михалкову мы, кстати, чуть ниже вернёмся).

«Жильцы даже отравить его собирались коллективно, — продолжает Валька, — только боятся. Он сядет в коридоре на табуретку и всё слушает, слушает с блокнотиком».

Такой вот чудесный мир вокруг.

Далее, конечно, выясняется, что Сыроваров — герой отрицательный: положительным его Леонов сделать не мог никак, с такими-то речами.

Однако у зрителей уже было достаточно времени узнать, услышать, увидеть самих себя.

На том предприятии, что возглавляет Сыроваров, начинается проверка, и к ней имеет отношение некая Карякина. Сыроваров придумывает хитрый, вполне в духе времени, ход, чтобы избавиться от проверки: пишет её сыну липовое анонимное письмо самого крамольного содержания — с явной надеждой, что письмо прочтут. Его, естественно, прочитывают «кому надо», и к Карякиным приходят с обыском. Забирают сына, а Карякина вешается.

Степан Сыроваров тем временем уже собирается бежать за границу — он перевёз туда в своё время крупную сумму денег, передав её брату Порфирию, бывшему белогвардейцу.

Остаются последние дни до отъезда, и Степан Сыроваров весь на нервах.

Катерина тоже заражается неврозом своего мужа.

«...почему вон там, в подъезде, стоит человек и не отрываясь смотрит на твои окна, почему? — спрашивает она мужа. — Вторые сутки. И у него чёрная повязка через глаз».

«Прогресс, гримироваться научились...» — говорит Сыроваров.

Натуральное издевательство над Советской Россией, иначе не назовёшь происходящее в пьесе.

Муж просит Катерину подойти к окну, незаметно ещё раз показать, где стоит незнакомец. И лучше не в полный рост, просит он. «Лучше пригнись и ползи на коленях...»

«Не хочу, я не хочу на коленях!» — взрывается жена, и это один из самых пронзительных и страшных моментов в пьесе.

«Люди не должны ползать, не должны! — кричит женщина. — Они тогда как грязь делаются, как грязь...»

И дальше демонстрируется, как именно люди, причём молодые, делаются «как грязь».

К дочке Зое приходят товарищи по институту — скоро Новый год, и ребята наряжают ёлку (по велению Сталина в 1936-м вновь разрешили ранее запрещённые ёлки).

Зоя решает признаться своим друзьям и жениху, кто её настоящий и вовсе не умерший, как она до сих пор писала в анкетах, отец.

Признаётся — и все в ужасе уходят, включая жениха.

«С каким злым восторгом иные сдёргивают с себя личину притворного приятельства», — делает здесь ремарку Леонов, и тут он имеет в виду не только друзей Зои, конечно, но и сотоварищей по литературе.

Тут уже степень безобразия, которое описывает Леонов, достигает наивысшей точки, поэтому приходится понемногу всё исправлять.

Чуть раньше в семье Сыроваровых появляется родня из деревни — председатель колхоза Лизавета, недавно получившая орден. В чём, кстати, никакой неправды нет, потому что председателей колхозов награждали тогда чуть ли не еженедельно, о чём «Правда» неизменно отчитывалась, публикуя портреты ударников труда.

Вместе с Лизаветой — два забавных мужика из деревни.

Лизавета, правда, тоже будто ненароком спрашивает у Катерины: «Не посадили пока Стёпку-то? У нас по району ровно ветровал прошёл. На каланче один уж сколько годов стоял, старичок, а на деле открылося, всё объекты высматривал. Шпиён турецкий оказался».

«Мамань, это который из райфо — турецкий, а тот, с каланчи, африканский», — правит её приехавший с нею мужик.

Следом появляется ещё один положительный герой — старый большевик Поташов, и понемногу необходимый баланс восстанавливается. Шаг за шагом выясняется, что добро в мире не окончательно поругано и даже есть в нём и справедливость, и милосердие.

И главной приметой этого милосердия является легальное возвращение в Советский Союз белогвардейца Порфирия. Он вернул в Страну Советов деньги, вывезенные его братом. И, надо сказать, таким образом сдал своего брата. Как сдал в своё время Глеба Протоклитова его брат в «Дороге на Океан»; но там ситуация была несколько иная — ведь советский гражданин сдавал белогвардейца, а не наоборот, как в «Метели».

Кроме того, Порфирий искупил вину пред родиной, участвуя в боях с фашистами в Испании.

Финал пьесы, естественно, вполне радужный: зло наказано, Степана Сыроварова где-то за сценой арестуют, и поделом... Но каков заход: сначала показать мутный ужас повседневности, а потом вывести на сцену бывшего белогвардейца, вполне себе симпатичного, хотя и молчаливого (у него прострелено горло) — который, собственно, и выправляет сложившуюся ситуацию.

В 1962 году Леонов ещё раз злым и даже мстительным пером пройдётся по пьесе, сделает ещё более акцентированными все скользкие моменты: появятся совсем непристойные даже в 1962 году фразы о том, что если и похож царь Иосиф на Иоанна Грозного и Петра, есть у него одно отличие от предшественников: при них не заставляли кричать «ура!» на дыбе.

Однако и в варианте 1939 года этого перца было предостаточно, чтоб посмотреть на всё это и прямо-таки обомлеть.

Так всё и происходило.

Может показаться неясным только одно: как Храпченко, председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР, пропустил всё это? С его же решения всё началось!

Но тут придётся немного прояснить сложившуюся к сороковому году ситуацию.

Начиная с 1936 года страна стала совершать очевидный поворот, во-первых, в сторону ценностей национальных, а во-вторых, наметился некоторый крен в сторону, не побоимся этого слова, либерализации сферы культуры.

По поводу неожиданно возросшего в те годы приоритета национального известно многое. Лично мы считаем показательным тот, например, факт, что 7 ноября 1938 года «Литературная газета», вместе со всей страной празднующая очередную годовщину Великой Октябрьской революции, пустила по

всем полосам газеты колонки с цитатами из русских классиков о любви к родине, к России, ко всему русскому. Ломоносов, Карамзин, Пушкин, Некрасов — все они говорят там в стихах и в прозе про обожание милого Отечества. Список классиков завершается Маяковским, у которого подыскали необходимую патриотическую цитату. То есть Революцию начали активно венчать с Россией, а не противопоставлять ей. На исходе тридцатых появился заказ на киноленты о национальных героях — попеременно с фильмами о героях революции; а чуть раньше — и на историческую литературу.

Что до либерализации, то именно в 1940 году был издан сборник Анны Ахматовой «Из шести книг», в том же году Гослитиздат начал подготовку к печати книгу стихов Марины Цветаевой, и тогда же началась реабилитация Булгакова — МХАТ принимает к постановке его пьесу «Александр Пушкин» (но было уже поздно — жить ему оставалось недолго).

Михаил Храпченко, который вовсе не был матёрым зубром от политики — напротив, интеллигентным и достаточно молодым, тридцати пяти лет, человеком, — должно быть, не совсем рассчитал пределы допустимого в описанных выше процессах. Но ему явно показалось, что замечательно написанная, злободневно реалистичная, с правильным финалом пьеса очень русского писателя Леонида Леонова придётся весьма кстати.

Что до зрителей, то, как мы помним, с позицией Храпченко они согласились — овации «Метели» звучали по всей стране.

Но вот когда пьесу прочёл Сталин...

По справедливости говоря, это не на полях сочинений Андрея Платонова, а на полях сочинений Леонова Сталин мог бы написать: «Сволочь!»

Мы уже приводили в своё время разговор поэта Сергея Михалкова и его сына, режиссёра Никиты Сергеевича. Помните, когда сын спрашивал: «А жив ли Леонов?» — «Жив», — отвечает отец. «И все ещё соображает?» — спрашивает сын. «Соображает, но боится», — отвечает отец. «Чего боится?» — интересуется Никита Сергеевич. «Соображать», — подводит черту Михалков-старший.

Ситуация как раз обратная. Достаточно почитать, что писали в те 1930-е годы и Сергей Михалков, и почти все их с Леоновым современники, чтобы понять, кто тут у нас — боялся, а кто — соображал.

Критик Георгий Адамович, поначалу просто влюбившийся в героя нашего повествования, а затем заметно разочаровавшийся в нём, однажды сказал, что Леонов, цитируем, «малодушный». Уж очень Адамовичу было обидно читать некоторые

просоветские страницы леоновских романов и тем более его публицистику.

Адамовичу, как и многим эмигрантам, легко было судить. Они не жили здесь. Только в России, на жутких температурах, можно было оценить степень писательского мужества.

Сказать, что Леонов прошёл через все метели безупречно чистым, — значит, солгать. Но и мы не вспомним ни одного — понимаете, ни единого человека, — на чьё безупречное поведение стоило бы равняться.

Однако и неправота Адамовича очевидна: Леонов был замечательного и редкого мужества человек. «Игра его была огромна».

И отвечал за свою игру он тоже по серьёзным счетам.

Девятого сентября 1940 года состоялась встреча Иосифа Сталина с несколькими приближёнными литераторами, в число которых Леонов не входил с начала тридцатых, зато входили, как известно, Фадеев и Асеев. Они и были в числе собеседников вождя.

Сталин сказал, что нужно бороться с авторами, которые не без яркой красочности описывают людей из числа «бывших», но куда менее любовно рисуют «новых» людей.

То есть вождь ввёл литераторов в курс предстоящего разгрома. И они, по всей видимости, начали к нему понемногу готовиться.

Шестнадцатого сентября 1940 года состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросам искусства. Помимо Сталина присутствовали Андрей Андреев, Андрей Жданов, Лазарь Каганович, Георгий Маленков, Лев Мехлис, Александр Щербаков.

Сам состав Оргбюро уже ничего хорошего для судьбы Леонова не сулил: Каганович и Мехлис Леонова давно, мягко говоря, недолюбливали — мы о том уже писали выше.

Результат был предсказуем: Леонова решено было осудить на государственном уровне.

Восемнадцатого сентября 1940 года решение Оргбюро дублирует ещё и Политбюро, так всё серьёзно было.

Вот результат:

«Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б).

Строго секретно.

О пьесе “Метель” (ОБ от 16.IX.40 г., пр. № 52, п. 83-гс).

1. Запретить к постановке в театрах пьесу Леонова “Метель” как идеологически враждебную, являющуюся злостной клеветой на советскую действительность.

2. Указать председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР т. Храпченко, что он допустил грубую политическую ошибку, разрешив к постановке пьесу “Метель”.

Предупредить т. Храпченко, что при повторении подобных ошибок он будет смещён с должности».

Двадцать второго сентября газета «Советское искусство», где не так давно Леонов, к удовольствию всей редакции, читал свою пьесу, начнёт новую кампанию против Леонова, подобной которой ещё не было. Статья о Леонове будет называться просто и внятно: «Клеветническая пьеса».

Леонов, да и не только он, прекрасно помнил, чем и в 1937-м, и в 1938-м, и в 1939-м заканчивались для большинства критикуемых литераторов публичные обвинения в клевете. Так начинали убивать Киршона, так начинали убивать Ясенского, так начинали убивать Бабеля.

«Перед нами новая пьеса Л. Леонов "Метель", — писала газета в редакционной, не подписанной никем, статье. — Она была разрешена Комитетом по делам искусств и включена в репертуар ряда театров (в том числе Малого театра в Москве), критика встретила её благожелательно, в отдельных случаях даже восторженно.

Расточая бесчисленные комплименты по адресу автора пьесы т. Леонова, критик В. Залесский писал в газете "Советское искусство" (18 мая 1940 г.): "В 'Метели' лирические тона драматического повествования перемежаются с почти эпической ясностью утверждения этического начала... Эта пьеса отмечена поисками эпического обобщения каких-то основных, главных, определяющих начал человеческой жизни".

Сказанное Залесским не имеет к пьесе Леонова никакого отношения. Если уж говорить о "главных, определяющих началах", то начала эти в пьесе Леонов не только чужды, но и прямо враждебны нам».

Можно представить, как падало сердце Леонова при чтении этой статьи: на каждом абзаце, на каждой строке. И стояла позади Татьяна Михайловна в ужасе, а две дочки играли в комнатах, ни о чём не подозревая.

«Это произведение фальшиво с начала до конца, — утверждало «Советское искусство». — Лживы и надуманны его ситуации, нравственно и умственно уродливы его образы. Где и когда видел драматург Леонов людей, подобных персонажам его пьесы? Они целиком вымышлены автором и представляют собой злостную карикатуру на советских людей».

Надо было ещё добавить, что и тысячи зрителей по всей стране, аплодировавшие этой пьесе стоя, тоже являют собой «злостную карикатуру» на советских людей.

«Насквозь порочна житейская "философия" людей, выведенных в произведении Леонова. Один из центральных персонажей "Метели" Катерина говорит: "Все не без пятнышка!..

Только одни таскают его на плечах, а другие прячут за пазуху...” Почти все персонажи произведения испещрены этими пятнышками. Речь большинства персонажей сдобрена обывательскими пошло-двусмысленными сентенциями. <...> Мы даже не станем приводить их здесь, потому что они оскорбительны для советского читателя. Но они вовсе не случайны в устах леоновских персонажей».

Именно что не случайны! И настолько оскорбительны, что газета даже не решается их цитировать. Бумага под ними может загореться потому что.

И попробуйте ещё раз доказать, что советская критика была не умна.

Далее в газете текст набран жирным шрифтом, чтоб было видно издалека даже полуслепому: «Пьеса Леонова — произведение идеологически враждебное нам, представляющее злостную клевету на советскую действительность».

Это уже был конец. Били Леонова много — но политбюро взялось за него впервые.

«Именно советскую действительность, нашу жизнь автор клеветнически изображает в виде бушующей метели. Странные, небывалые события происходят в этой пьесе. Опрокинуты вверх ногами все представления о честности, мужестве, правде жизни. <...> Бывшему белогвардейцу Порфирию Сыроварову автор старается придать черты некоего “благородства”, именно он противопоставляется в пьесе подлецу, врагу народа Степану Сыроварову».

«Нельзя без гнева и возмущения представить себе, как из-под пера советского писателя вышла эта зловещая коллекция уродов».

«Правдивая Зоя мелко и трусливо лжёт в пьесе. Она отлично знает, от кого прибывают к ней письма из-за границы, но скрывает это и сжигает письма, не распечатывая.

Молодёжь, окружающая Зою, не лучше. Влюблённый в неё Серёжа, молодой, но многообещающий карьерист, дрянной себялюбец, о котором Л. Леонов загадочно сообщает, что “лет через десять это будет беспощадный человек”».

«История с пьесой “Метель” Л. Леонова служит чрезвычайно серьёзным сигналом. Драматург, далёкий от жизни и интересов советского общества, не знающий истинного облика советских людей, не может создавать произведения художественные и правдивые. Его творчество мертво, образы фальшивы и надуманны. Неизбежно такой драматург становится проводником чуждых и враждебных нам влияний».

Проще говоря: шпион он. И если творчество его мертво, то и самому ему, надо понимать, делать средь нас нечего...

После такой статьи можно было уверенно застрелиться. Только после одной этой статьи. Но всё лишь начиналось. По сложившейся традиции пред закланием предлагалось жертву обнажить и рассмотреть во всей неприглядности.

На другой же день после выхода цитируемого выше материала, 23 сентября Леонова приглашают на расширенное заседания президиума Союза советских писателей. 160 с лишним писателей и критиков явилось туда, и добрая половина из них — послужить иллюстрацией к ремарке из «Метели» о том, «с каким злым восторгом иные сдёргивают с себя личину притворного приятельства».

Что ж, будем честными и признаем: он это издевательство и даже само ожидание смерти заслужил тоже.

Девяносто девять раз избегавший проработок своих коллег, коллективных сборников во славу рабского труда и совместных расстрельных писем — он не избежал этого в первый и в сто первый раз, и в итоге тоже оказался грешен. Теперь грех оборачивался наказанием.

Быть может, если б он был грешен чуть больше — он бы не пережил этот год.

Но ему сохранили жизнь. В обмен пошли намотанные на злые кулаки леоновские нервы.

Загонщиком выступал Фадеев, от читательского взгляда которого, судя по выступлению, не ушли детали, вроде вопроса Лизаветы, входящей в дом Сыроварова: «Степашку-то не посадили?»

«Это пьеса о неверии в социализм», — заключил Фадеев.

Следом шёл драматург Всеволод Вишневский. Он заметил в пьесе и, как сам выразился, «намёки», и «символическое построение сюжета», которое, впрочем, легко вскрылось и свелось к одной фразе, сказанной Вишневским о содержании «Метели»: «Гнилое советское общество, гнилые коммунисты, а среди них такие, которые мечтают удрать».

Леонов сидел и слушал всё это.

Писатель Константин Финн сказал: «Я ненавижу стиль Леонова». Не больше и не меньше.

Критик Абрам Гурвич удивился: «Необычайно пристрастие к мрачному миру». Когда вокруг столько света...

Заключал всё поэт Николай Асеев, который исхлестал пьесу как мог и вдруг дал Леонову один малый шанс: «Для того, чтобы так писать, надо, может быть, не любить народ... однако я знаю, что Леонов любит народ».

(Леонов это запомнит, и они вскоре даже подружатся ненадолго.)

Предоставили слово и самому Леонову. У него хватило сил говорить. Он многое признал, конечно: таковы были правила, так завоёвывалось право на жизнь.

«Пьеса получилась у меня плохая и вредная идеологически», — сказал Леонов.

А что, надо было сказать, что она идеологически полезная? Как будто он сам не знал, что написал.

Спустя двадцать лет, общаясь с сербским писателем Добрицей Чосичем, Леонов неожиданно вспомнит, как его прорабатывали, и — что бывало с ним крайне редко — неожиданно раскроется. Он расскажет: «Все эти критические выступления напоминали вот что: "Уаа, Леонов украл три рубля!" А я сам про себя смеялся: "Дураки, я украл двадцать пять рублей!"».

Всё он знал, что сделал. И продолжал, притворно потупившись: «Да, гнилая концепция — два брата. Гурвич говорил об этом умные вещи».

Ещё бы он сказал, что Гурвич идиот.

Однако при всём этом Леонов стоял на своём. Что написал пьесу — не больше и не меньше — «о праве на Родину». Мог бы добавить, что и сам имел шанс родную землю потерять — и так же, как Порфирий, рвался бы сюда обратно.

Ещё сказал, что любит своих героев — и то также было его несомненной правдой.

Фадеева оправдания Леонова откровенно не устроили, он, должно быть, ждал куда более страстного самобичевания.

«Я думаю, Леонов не сразу сможет понять размеры того, что он сделал, — сказал Фадеев. — Писатель смотрит глазами не тех людей, которые социализм делают, а глазами тех, кого социализм вышибает».

Леонову ещё раз дали слово, и он выступил веско и спокойно, и завершил речь свою простыми и честными словами: «Надо быть умным. Надо быть гражданином».

Это было так неожиданно, что половина зала зааплодировала.

Фадеев ушёл раздражённым. Но последнее слово всё равно оставалось за ним.

Леонов стал готовиться к тому, что его «вышибут». По всей видимости, из жизни.

В семье Леоновых спали не раздеваясь. Подготовили котомку со всем необходимым в дальний путь. Леонов написал завещание и перенёс рукописи к одному из друзей; но к кому именно — осталось неизвестным.

Татьяна Михайловна прятала от мужа статьи, которые выходили ежедневно, агрессивные и крикливые, словно их авторов ошпарили.

Постановку «Метели» конечно же прикрыли везде и всюду.

С теми душными и печальными днями связана история ещё одного обращения Леонова к Сталину. Оно было совсем коротким и пронизано почти античным чувством достоинства.

«Признаюсь, что написал плохую пьесу, но с тех пор прошло уже несколько постановок в театрах, — писал вождю Леонов. — По-видимому, было проявлено передоверие к моему литературному имени. Прошу взыскать с меня одного».

Ждал ответа. Ему, как и прежде, не отвечали.

Тогда Леонов перезвонил секретарю Сталина Поскрёбышеву.

Поскрёбышев ничего не ответил, попросил подождать, потом перезвонил сам: «Обращайтесь к Жданову».

Андрей Жданов был в ту пору членом политбюро и ведал в числе прочего культурными вопросами.

Леонов отправился на приём к Жданову. Его немедленно вызвали в кабинет. Георгий Маленков, член Оргбюро ЦК ВКП(б), сидел там же.

Жданов, как и следовало ожидать, ничего Леонову не сообщил: что он мог решить без Сталина? Он просто орал на писателя: «Это что такое? — и размахивал экземпляром "Метели". — Что такое?! Вы в своём уме?»

Леонов вышел из кабинета ни жив ни мёртв. Неожиданно секретарь Жданова сказал: «Сядьте. Вот, выпейте воды».

Выпил и ушёл. В полном неведении.

Несколько недель он вообще не садился за стол — писать не мог и смысла в этом не видел.

Но именно в те дни Леониду Леонову пришла мысль об ангеле, прилетевшем на землю.

И вдруг он начал свою, тогда ещё не имевшую названия, «Пирамиду», зацепившись за какое-то точное, слепительное слово. И писал её быстро и свободно, главу за главой. Он как будто уже расстался с жизнью.

Начинается эта непомерная, величественная книга мужественно и красиво, с тихой, пасторальной зарисовки осенних печалей и неурядиц того, 1940 года.

«Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетья, — пишет Леонов, — сидел в своём карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб наудачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости.

Стояла туманная погода с таинственно призывающей миражностью. Потрамвайно, с пересадками ехал до последней остановки и потом вдоль высоких новостроек, обречённой на снос деревенской ветоши и зелёных заборов птицефабрики,

мимо пустыря с голыми бараками; и, помнится, сквозь знобящий зуд, смрад и лязг дорожных машин выходил наконец в моросящий загородный простор. Для надёжности чуток тащился по раздолбанному грузовиками просёлку, чтобы у своротa на Старо-Федосеево подняться на высокую насыпь древнего, царской булыгой крытого тракта, уводившего во глубину сибирских руд и дальше — ещё страшнее. Отсюда полчаса ходьбы до облюбованного мною уголка на земле.

Так, к сумеркам, добирался я до старинного, в черте окружной железной дороги Старо-Федосеевского некрополя».

Там повествователь романа встречает ангела. Может, так оно и было?..

«Идейно паршивый...»

...И вот смотрите, другой вариант судьбы Леонова: его всё-таки убили тогда.

Представим себе такой, вполне возможный исход.

И что предшествовало гибели? Из пяти написанных пьес — одна вообще не пошла, четыре сняты с репертуара: «Унтиловск» — молча, «Половчанские сады» — со скандалом, а последняя, «Метель» — с разносом государственного уровня.

Романы мягко прикрыты, и в «последние годы» жизни Леонова их переизданий не было, не говоря о ранних рассказах, которые последний раз выходили в 1932-м.

На каждые десять критических рецензий, посвящённых Леонову, приходилось девять разгромных. Во второй половине 1940-го его просто целенаправленно били по голове.

Лауреатом Сталинской премии стать не успел, а то, что однажды получил орден Трудового Красного Знамени — так его получил не он один, но и Зощенко, и Тынянов, и Юрий Герман, и десятки, а то и сотни иных...

Общей истерии во время борьбы с врагами народа пытался избежать, и если и замарался, то, конечно, меньше Алексея Толстого, Фадеева и Всеволода Иванова, и не больше, чем Олеша, Новиков-Прибой или тот же Тынянов. Тем более что, как мы видели, к проворотам маховика приложили руку и Заболоцкий, и Платонов, и Зощенко, и Пастернак, и многие другие, внесённые ныне в литературные святцы.

Плюс ко всему прочему Леонов никогда не водил дружбы с чекистами, и од во славу вождя ещё не написал, и нечто подобное булгаковскому «Батуму» даже не думал сочинять.

Зато теперь становится ясно, что именно по книгам Леонова, прочитанным спокойно, внимательно и беспристрастно,

можно изучать то бешеное, трагичное, порой жуткое, порой величественное время. Он равно умел оценить и размах в реализации величественной коммунистической утопии, и слабость суетливой и жестокой человеческой породы, эту утопию реализующей. Книги Леонова равно далеки как от прямолинейной антисоветчины, так и от ортодоксальных соцреалистических полотен.

А если б ещё жена Леонова сберегла от обысков архивы и годы спустя читателям бы достались первая редакция повести «Evgenia Ivanovna» и несколько глав тогда ещё называвшейся по-другому «Пирамиды», — тут уже совсем понятный коленкор получился бы: затравили большевики великого писателя. И разместилось бы имя Леонова где-нибудь меж Бабелем с Булгаковым и Пильняком с Платоновым.

Но Леонов выжил и пережил всё. И только в том, по большому счёту, оказался для кого-то не прав. Всё остальное — детали.

Вообще же восприятие судьбы писателя исключительно через политическую призму кажется нам вопиюще абсурдным и даже стыдным. Выстроена некая оптика, где грех (грех ли?) принятия власти (именно советской власти) является фактором, определяющим отношение к писателю; причём зачастую — фактором вообще единственным. Вот так мы, значит, воспринимаем немыслимо разнообразный божественный мир. Ты получал советские ордена и был признан и издаваем — выходит, ты безусловно грешен, и, значит — изыди из литературы! Освободи место для узников совести и невольников чести.

А, скажем, быть в жизни дурным и безжалостным человеком и раз за разом совершать человеческие подлости — это куда меньший грех? Получается, что это вроде как даже понятно и объяснимо: писатель всё-таки, творческая личность...

Не хотелось бы впадать в морализаторство, но кто объяснит, отчего, скажем, в контексте литературоведения не считается грехом неоднократное принуждение писателем собственной женщины к убийству зачатого ребёнка, — а, к примеру, депутатство в Верховном Совете СССР по некоему тайному соглашению воспринимается как сделка чуть ли не со дьяволом, служащая причиной изгнания всякого писателя из пантеона русской классики?

Или вы скажете, что мы говорим о разных вещах?

Мы можем и согласиться. Да, о разных. Но согласиться только с одним условием. Если мы вместе признаем, что не мы, поминая о личной жизни литераторов, не вы, поминая о их деятельности политической, не говорим о литературе как таковой.

* * *

«В ожидании чего-то страшного, неотвратимого папа воспользовался возможностью уехать на месяц в Среднюю Азию», — вспоминала дочь писателя, Наталия Леонидовна.

То было в середине декабря 1940-го.

Наверное, отъезд Леонова был извечным бегством русского литератора куда-нибудь в сторону юга, пустынь или гор.

Если не за стеной Кавказа — так хотя бы за далью любой другой голубой и далёкой земли «сокроюсь от твоих пашей... от их всевидящего глаза... от их всеслышащих... ушей».

Леонов едет в Самарканд, оттуда в Ташкент, в Ангрен, в Катта-Курган.

«Новый год мы встречаем втроем — мама, Лена, я, — рассказывала Наталия Леонидовна. — Мы с сестрой больны, у нас температура, лежим в постелях. Перед кроватями мама поставила табуретки, покрытые белыми салфетками, на тарелках какое-то угощение. Сама села рядом на наш маленький детский стульчик. Нам в первый раз разрешили не спать в новогоднюю ночь, но радости это не доставило. Мама подавленна, молчалива, боится завтрашнего дня, и, как бы она ни старалась скрыть от детей свои опасения, её тревога и печаль передавались и нам.

Так пришёл в наш дом 1941 год».

В пути Леонова нагоняет номер «Литературной газеты» от 31 декабря 1940-го.

В передовице цитируются слова председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова о литературе: «Вместе с подъёмом культуры выросли вкусы советского читателя и зрителя... <...> Он принял “Тихий Дон” и “Севастопольскую страду” и забраковал идейно паршивую стряпню, появившуюся в драматургии».

В середине января 1941 года Леонов возвращается в Москву, «идейно паршивый».

Не он один, впрочем, был таким. В те же печальные времена был изъят из продажи сборник Ахматовой «Из шести книг», был рассыпан сборник стихов Марины Цветаевой, который, возможно, изменил бы её злую судьбу; отменно потрепали Валентина Катаева за новую его пьесу «Домик» — хотя далеко не так жёстко, как Леонова.

Леоновы живут в пустоте и в тишине.

Весьма обеспеченный в начале тридцатых, Леонов неожиданно обеднел — прекратились все поступления от спектаклей, которые сняли, и от книг, которых уже не было в магазинах. Почти весь февраль бедовали впроголодь.

Незадолго до 23 февраля неожиданный звонок: Леонова приглашают на писательскую встречу в Кремле по случаю предстоящего праздника.

Он идёт туда, не зная чего ожидать.

Всё как обычно: богато накрытые столы, много вина.

Леонов себя ведёт уже далеко не столь задорно и весело, как в былые времена, когда он так раздражал своим победительным видом желчного Полонского.

Многие литераторы чураются его.

И вдруг Леонов слышит своё имя. Не верит ушам своим.

Заведующий секретариатом ЦК Александр Поскрёбышев произносит тост за видного советского писателя и драматурга Леонида Максимовича Леонова.

Естественно, Поскрёбышеву, — чья жена, вспомним мы, была репрессирована в марте 1939 года и всё ещё находилась в тюрьме по обвинению в связях с Троцким, — самому Поскрёбышеву не взбрело бы в голову такое говорить.

Ему мог посоветовать произнести тост только один человек. Наверное, Сталин посчитал, что если он сам произнесёт подобный тост, — это будет неверно с точки зрения политической. Посему: пусть секретарь, пусть он.

К Леонову бросились чокаться. Все отлично осознавали, что произошло: Леонов спасён.

Глава восьмая

НАШЕСТВИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ

Мастер

Зачем Сталин несколько раз принял участие в судьбе Леонова, никто теперь не расскажет. Равно как почему репрессии — не без воли верховного — не коснулись самых крупных художников эпохи: Алексея Толстого, Булгакова, Шолохова, Платонова и Пастернака («оставьте этого небожителя в покое» — говорят, так высказался однажды Сталин по поводу поэта).

Поверхностное, но имеющее право на существование, объяснение таково: Сталин ценил мастерство. Никто не оспаривает, что он был преисполнен всевозможными маниями — от преследования и до величия, — но никто и не сможет отрицать, что литературе он придавал значение огромное. Посему слово «мастер», возникшее одновременно у Булгакова, у Леонова в «Дороге на Океан», напрямую рифмуется с вопросом Сталина, который он задал Пастернаку по телефону, когда решалась судьба Мандельштама.

«Но он ведь мастер? Мастер?» — спросил Сталин у Пастернака, два раза повторив это слово.

Потому что если — воистину Мастер, тогда мы ещё подумаем. Тогда мы его не тронем.

Позиция чудовищная — но логика в ней есть.

Пастернак не ответил сразу же утвердительно: «Да, Мастер», перевёл разговор на другую тему, он тогда хотел серьёзного, личного общения с вождём, не по телефону. Сталин раздражённо бросил трубку.

Что до Леонова — то в его мастерстве сомнений у Сталина, кажется, не было. Сомнения, серьёзные и обоснованные, были в лояльности Леонова, в его вере в социализм.

И то, что Леонова не тронули, вовсе не давало ему права отвечать «за всю русскую литературу», как Горький завещал. К 1941 году такие притязания Леонова были бы попросту смешны. Леонов уже не был не то что литературным генералом, — он не был даже, пожалуй, и литературным офицером: ни должностей, ни портретов в газетах — в отличие от, скажем, Толсто-

го с Шолоховым, которых повсеместно культивировали как главных писателей Советской России.

Пятнадцатого марта 1941 года Совет народных комиссаров СССР принимает постановление о первом присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы.

В прозе первую премию получают Алексей Толстой (за роман «Петр Первый»), Шолохов (роман «Тихий Дон») и Сергеев-Ценский (роман «Севастопольская страда»), а вторую — Николай Вирта (роман «Одиночество»), Лео Киачели (роман «Гвади Бигва»), Новиков-Прибой (за вторую часть романа «Цусима»). В драматургии первая премия достаётся Тренёву (пьеса «Любовь Яровая»), Корнейчуку (пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий») и Погодину («Человек с ружьём»), вторая — Самеду Вургуну (пьеса «Вагиф»), Кондрату Крапиве (пьеса «Кто смеётся последним») и Владимиру Соловьёву (пьеса «Фельдмаршал Кутузов»).

(Отметьте, что половина награждённых произведений исторической тематики — страна явно готовилась к неизбежной войне.)

Леонов таких даров и не ожидал. Не до жиру, быть бы живу.

Чуть ли не на другой день после тоста Поскрёбышева Леонов понемногу начинает писать. Ещё не прозу — а путевые очерки о путешествии в Среднюю Азию. Их берут в «Новый мир». Следом сочиняет очерк о новом, перестраивающемся Зарядье. Его публикует газета «Московский большевик».

С февраля до середины июня делает очередной вариант комедии «Обыкновенный человек». Поставит последнюю точку то ли 20-го, то ли 21 июня 1941 года.

Ночью с 21 на 22 июня ему снится сон: выходит он из подъезда и видит, как от Кремля на задних ногах идёт на него призрачно-белый конь, из ноздрей огненная пена. Тверская пуста, как при бомбёжке. Он прижимается к стене. Конь подходит в упор, и сквозь глазницы его видны дома с выжженными окнами.

Проснулся в ужасе, весь мокрый. Жена говорит: «Война началась...»

Хула

Леонов сразу включается в работу.

Каждый раз, когда он чувствовал, что может вернуться к своему писательскому ремеслу, и особенно когда слово его необходимо — он немедля садился за стол.

После начала войны — тем более. Никаких раздумий, ни дня малодушия.

Сначала публицистика: «Вставайте, народы!», «Что ты сделал для победы», «Наша борьба священна», «22 июня 1941 года».

Затем Леонов принимается за ещё незнакомое ему дело: пишет сценарии для агитационных короткометражных фильмов. «Боевой киносборник № 1» (всего их будет 13) вышел на экраны уже 2 августа 1941 года, и там есть короткометражка по сценарию Леонова. Потом их будет ещё несколько.

Вот «Трое в воронке». Раненый красноармеец дополз до воронки, где медсестра смогла оказать ему первую помощь. Тут появляется раненый немец, русская сестра милосердия оказывает помощь и ему. Однако эта неблагодарная гадина пытается застрелить девушку.

Вот «Пир в Жирмунке», поставленный, кстати, легендарным режиссёром Всеволодом Пудовкиным. Описанный Леоновым случай был извлечён из газетной хроники: старая крестьянка накормила немцев отравленной пищей и сама погибла вместе с ними.

Следом появятся короткометражки «Я возвращаю тебе удар» и «Семеро последних».

В начале сентября Леонов получил первый, со времён закрытия «Метели», серьёзный гонорар — 16 тысяч рублей. Восемь тысяч сразу перевёл в фонд обороны.

Тридцатого сентября немецкие войска начинают наступление на Москву. Танковые дивизии группы армий «Центр» легко прорывают оборону Брянского и Резервного фронтов и 3 октября захватывают Орёл, выйдя на прямую дорогу к столице.

Немногим позже их остановят всего в восьми километрах от Переделкина.

К 1 октября большая писательская бригада — более 200 человек — переправляется в город Чистополь, что в Татарстане, на реке Каме.

Семья Леонова была переправлена туда раньше.

Что греха таить: в те дни многие писатели откровенно поддались панике. Фадеев рассказывал, что поэт Василий Лебедев-Кумач пригнал на вокзал два пикапа вещей, несколько суток не мог их погрузить и натурально потерял рассудок, помешался. Лебедева-Кумача потом лечили. Вот тебе и «Вставай, страна огромная!», автором текста которой он значился.

Немцы двигались с семимильной быстротой, Москву едва ли не еженощно бомбили. Потом, в «Русском лесе», Леонов со знанием дела опишет авианалёты: он знал, что это такое.

Иногда говорят, что Леонов улетал из Москвы в компании с Борисом Пастернаком и Константином Фединым на специально предоставленном им самолёте: но всё было конечно же

не так. Все трое находились далеко не в фаворе, никто им никакого самолёта не предоставлял.

Каждый добирался до Чистополя в разные дни: сначала на самом обычном поезде до Казани, оттуда — по Каме на пароходе.

Леонов оказался в Чистополе чуть раньше Пастернака и застал семью — дочек и жену — в ужасном положении, голодных и больных. Как мог помог им и поехал обратно в Москву: собирать вещи. Но до столицы не добрался.

В Ка́зани Леонов встретил фактически весь Союз писателей: в тот момент там находился и аппарат правления, и Литфонд, и редакция издательства «Советский писатель», и т. п. В итоге в Москву Леонова уже не пустили.

В январе 1942 года Леонов сам описывал эту ситуацию режиссёру Сергею Эйзенштейну в письме: «Я оказался без шубы, без белья, без лишних штанов и, главное, без всех своих основных записей, планов, записных книжек и т. д. Всё это осталось в Москве. Стали ударять морозы, началась большая грусть, в 35 градусов — без шубейки — скучно. Стал болеть какими-то сильнейшими гриппами... Только недавно купил какой-то чёртов тулуп собачий, вес 37 ф., стоит колом, будучи поставлен на землю, на ночь можно привязывать на цепь: лает».

Сам Эйзенштейн тогда находился в Ташкенте. Он давно уже уговаривал Леонова принять участие в работе над сценарием фильма «Иван Грозный». К сожалению, ничего у них не получилось: обедневший в последние годы Леонов так и не смог добраться до Ташкента.

Зато в Чистополе он неожиданно сошёлся с несколькими литераторами, с которыми до сей поры не был особенно дружен: Асеев, Пастернак, Тренёв, Федин. Встречались и общались они постоянно, иногда выступали вместе. Например, с 23 по 26 февраля 1942-го в Чистополе прошли несколько вечеров, посвящённых 24-й годовщине Красной армии, с участием писателей Асеева, Пастернака, Леонова, а также Исаковского, Обрадовича и Бокова — на кожзаводе, ГАРО, на часовом заводе, в Клубе НКВД, в детдоме, в Заготзерно...

Ввиду того, что литераторов в Чистополе было много, вскоре был организован Чистопольский филиал Союза писателей. Вышеназванные Асеев, Пастернак, Тренёв, Федин и Леонов его возглавили. На, так сказать, общественных началах. Фактически, собравшиеся в Чистополе литераторы управляли собой сами, и местный горсовет во всём старался идти им навстречу.

Впрочем, объединяло названных литераторов вовсе не это. Борис Пастернак позже напишет, что «...когда сложилась наша правленческая пятёрка», они все попытались «заговорить по-другому». Пастернак будет вспоминать «о новом духе большой

гордости и независимости, пока ещё зачаточных, которые нас пятерых объединили, как по уговору». И завершит свои воспоминания вот такими словами: «Я думаю, что если не все мы, то двое-трое из нас с безразличием и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно».

Нам отчего-то кажется, что под как минимум «двоими» Пастернак имел в виду себя и Леонова. И мы ещё вернёмся к этой теме.

Вышеназванные сопредседатели Союза писателей были далеко не единственными руководителями литературных и общественных процессов в Чистополе. Существовал также совет эвакуированных — выборная организация, которая помогала писателям в их устройстве. В этот совет входили поэт Пётр Семынин, критик Вера Смирнова и другие. Был также очень влиятельный совет жён писателей, его возглавляла супруга Фадеева, молодая тогда ещё актриса МХАТ Ангелина Степанова.

Что до филиала СП — то он неустанно проводил встречи, семинары и вечера, в которых участвовали, естественно, и сопредседатели. Леонов чаще всего читал отрывки из «Дороги на Океан», и выбор его понятен. При всей многослойности и зашифрованности этой книги, именно в «Дороге...» Леонов наиболее оптимистичен, преисполнен и веры, и сил, и лёгкие рассказчика в романе опьяняющего воздуха полны... Не про шпиономанию же было ему читать, не про воровское дно, не про «барсуков», загнанных новой властью в норы...

Документы зафиксировали участие Леонова в вечере, посвящённом памяти Горького — 28 ноября 1941-го, и пушкинском вечере, 11 февраля 1942-го: здесь Леонов читал, конечно, не собственную прозу, а стихи великого поэта.

К чистопольскому периоду относится одна некрасивая история, долгое время распространявшаяся людьми, относящимися к Леонову дурно. Думаем, не стоит обходить её вниманием.

Якобы однажды Леонов проезжал мимо чистопольского базара, где некий спекулянт торговал мёдом из огромной бочки. Леонов остановился, спросил, сколько стоит мёд, и, не дожидаясь ответа, велел везти бочку к нему домой. Тем самым, утверждают пересказчики этой истории, писатель оставил весь город без мёда. Всё это будто бы происходило на глазах у целой очереди (выстроившейся, повторим, посередь многолюдного базара). И очередь эта безропотно проводила печальными глазами увозимую прочь бочку.

Для начала заметим, что воспоминаний о данном происшествии от лица очевидцев этой истории нет. В Чистополе, как было сказано выше, жило более двухсот литераторов, а ещё целые театральные труппы, художники, прочий артистический

люд, наконец, упомянутые нами друзья Леонова той поры — и никто из них не обмолвился о случившемся и словом.

История эта впервые была озвучена спустя 19 лет после того, как нечто подобное случилось (или не случилось) в Чистополе. И пошла она в мир с действительно лёгкой, но не всегда умной руки поэта Евгения Евтушенко. В 1960 году он написал стихотворение, которое мы частично процитируем: «Я расскажу вам быль про мёд. / Пусть кой-кого она проймёт, / пусть кто-то вроде не поймёт, / что разговор о нём идёт. / Итак, я расскажу про мёд. / В том страшном, в сорок первом, в Чистополе, / где голодало всё и мёрзло, / на снег базарный бочку выставили — / двадцативёдерную! — мёда! / Был продавец из этой сволочи, / что наживается на горе, / и горе выстроилось в очередь, / простое, горькое, нагое. / Он не деньгами брал, а кофтами, / часами или же отрезами. / Рука купеческая с кольцами / гнушалась явными отрепьями. / Он вещи на свету рассматривал. / Художник старый на ботинках / одной рукой шнурки разматывал, / другой — протягивал бутылку. / Глядел, как мёд тягуче цедится, / глядел согбенно и безропотно / и с мёдом — с этой вечной ценностью — / по снегу шёл в носках заштопанных... <...> Но — сани заскрипели мощно. / На спинке расписные розы. / И, важный лоб сановно морща, / сошёл с них некто, грузный, рослый. / Большой, торжественный, как в раме, / без тени жалости малейшей: / "Всю бочку. Заплачу коврами. / Давай сюда её, милейший. / Договоримся там, на месте. / А ну-ка пособите, братцы..." / И укатили они вместе. / Они всегда договорятся. <...> Далёк тот сорок первый год, / год отступлений и невзгод, / но жив он, мёдолюбец тот, / и сладко до сих пор живёт. / Когда к трибуне он несёт / самоуверенный живот, / когда он смотрит на часы / и гладит сытые усы, / я вспоминаю этот год, / я вспоминаю этот мёд. / Тот мёд тогда как будто сам / по этим — этим — тёк усам. / С них никогда он не сотрёт / прилипший к ним навеки мёд!»

Имени «мёдолюбца» Евтушенко в стихах не называет, но много позже, на заре «перестройки» в журнале «Огонёк», Евгений Александрович прямо скажет, что прототипом стихотворения послужил именно Леонов.

Оставим эмоции в стороне и разберёмся с этим текстом спокойно.

Итак, действие происходит зимой. Мы заметили, как Евтушенко, со свойственным ему прямым нажимом на слёзные железы, пишет о художнике, который идёт по снегу в заштопанных носках. (Видимо, решил мёдом поправить здоровье.)

Леонов жил в Чистополе с октября 1941-го до конца мая 1942-го. Потом ещё дважды возвращался в город: в октябре

1942-го ненадолго наведывался к семье, а в июне 1943 года забрал жену и дочерей в Москву.

То есть Евтушенко, равно как и несколько пересказчиков этой истории, говорит о зиме 1941/42 года.

Тут придётся вернуться к реалиям леоновской жизни той поры. Евтушенко о них, конечно, никак не знал, поскольку в пору пребывания Леонова в Чистополе было ему восемь лет и находился он за тысячи километров оттуда.

Во-первых, Евтушенко пишет о «сановном» лбе «мёдолюбца».

В 1941 году Леонов никаким сановником не был, не считать же таковым сопредседательство в чистопольском филиале Союза писателей: тогда и Пастернак, тоже живший впроголодь в маленькой комнатке, может считаться сановником. Разве что саней с расписными розами Борису Леонидовичу, равно как и всем остальным, никто не предоставлял.

Времена, когда Леонов занимал хоть какие-то весомые должности, уже годы как прошли. Напротив, он был писателем только что пережившим серьёзную опалу, подобную которой, к слову, Евгению Евтушенко переживать не пришлось ни разу. Спектакли по пьесам Леонова не шли, книги по-прежнему не переиздавались. Характерный факт: осенью 1941-го Леониду Максимовичу отказали в подписке на «Правду» — слишком много чести для недавнего неблагонадёжного.

То есть по статусу он ничем принципиально не отличался от любого гипотетического «художника», так же пришедшего за мёдом. Если только в худшую сторону.

В достаточно многочисленной переписке Леонова той поры мимолётно разбросаны детали полуголодной, без света (электростанция вышла из строя) жизни писателя и его семьи. Напомним, что у Леонова так и не нашлось денег для поездки в Ташкент: хотя в работе с Сергеем Эйзенштейном он был безусловно заинтересован.

Ещё одна нелепая деталь в стихотворении: расплата за мёд коврами. Мы уже цитировали выше письмо Леонова, где он рассказывал Эйзенштейну, что оказался в Чистополе вообще безо всего: без белья, без шубы, без записных книжек, без рукописей. Никаких ковров Леонов, конечно, в Чистополе не имел; зато в мемуаристке встречаются описания огромных зияющих дыр в полу той комнаты, где жили Леоновы: из дыры иногда вылезала любопытствующая крыса.

Крысы вообще были жуткой напастью в доме Леонова: достаточно сказать, что имевшаяся в наличии крупа хранилась в пакете, привязанном верёвкой к потолку (потом так же, в подвешенном мешочке, будет спасать свой изюм от мышей ангел Дымков в «Пирамиде»).

Самое нелепое в этой истории то, что мемуаристы, даже бывшие в Чистополе в то время, ссылаются не на отдалённых хотя бы свидетелей этой пресловутой покупки, а на стихотворение всё того же Евтушенко.

Безусловно, допускается, что подобная история могла иметь место: но лишь с одной очевидной оговоркой — все детали её очевидно лживы. Поэтический вымысел, мягко говоря.

Допустим, Леонов однажды и купил на базаре мёд: зима, заметим, в Чистополе была жутко холодной, с буранами и морозом до пятидесяти градусов. Самуил Маршак просил администрацию эвакуировать его вместе с семьёй, так как боялся холода элементарно не пережить. Леонов к тому же только что переболел тяжёлым гриппом, а следом заболели и жена, и ещё малые дочери. Купил, да. Но уж точно не двадцативедёрную бочку: зачем столько мёда — это раз; и куда он её дел, если её никто у него дома не видел — это два? Наконец, кто её, весом килограммов в четыреста, притащил на рынок, что за «спекулянт» такой? — тут же грузчики нужны!

Спустя двадцать лет эта история с покупкой мёда неожиданно обросла красочными подробностями, и совесть нации со станции Зима смолчать не смогла, расписав былые дела в десятикратно, вернее, двадцативедёрно преувеличенных пропорциях.

Никто не застрахован от подобной нелепой хулы.

Для сравнения приведём другой случившийся той же осенью 1941-го казус.

Леонов, как мы помним, оставался в Переделкине весьма долго; в то, что немцы могут взять Москву, он, по-видимому, не очень верил и панике не поддавался — это подтверждается и тем фактом, что, навестив семью в Чистополе, в октябре он опять поехал в столицу, до которой добрался бы, когда её немцы разве что в бинокль ещё не разглядывали.

Так вот, однажды жена Леонова, встречая в Чистополе пароход с новоприбывшими литераторами, поинтересовалась у писателя Константина Паустовского: «Как там Лёня, ничего не знаете о его судьбе?»

На что Паустовский ответил: «Я с Леоновым лично не знаком, но, кажется, он сошёл с ума».

Мир, как мы видим, полнится слухами, и зачастую слухами просто безумными.

Вот в интерпретации Евтушенко Леонов огромную бочку мёда на ковры променял; но вполне мог бы на некоей неблаговидной почве с ума сойти в июне 1941-го, отчего бы и нет. И Евгений Александрович всё это описал бы с чувством. Ему ж, допустим, сам Паустовский это рассказал: как же такой сюжетец упустить...

Кстати, в воспоминаниях Александра Гладкова «Встречи с Пастернаком» также упоминается некий литератор, который постоянно скупал мёд на местном рынке, но из контекста понятно, что это вовсе не Леонов (он упоминается в предыдущей фразе по другому поводу). Другой литератор, пишет далее Гладков, «чтобы не зависеть от привоза на рынок мяса, купил сразу целого быка». Кроме того, по рынку ходил поэт Асеев, «скупая за бесценок разные вещи». Ох, не попались они Евтушенко на перо.

В завершение этого малоприятного разговора добавим ещё пару слов. Надо понимать, что в отличие от 1941 года — в 1960-м, когда писалось стихотворение, Леонов уже пребывал в несоизмеримо ином статусе. Наряду с Михаилом Шолоховым он стал главным государственным писателем, депутатом Верховного Совета СССР, фактически «литературным генералом». И уже по этой простой причине всегда могли найтись некие не столь удачливые коллеги, готовые любой, самый дурной слух о Леонове вдохновенно приукрасить. Мы же знаем, что так бывает. Вернее сказать: так и случилось.

* * *

Финальная на сей момент «встреча» Евгения Евтушенко с Леонидом Леоновым произошла ещё в одном стихотворении поэта. В своё время в романе «Русский лес» Леонов описал убитого солдата с помощью всего одной, но необычайно сильной детали: по глазнице мёртвого, по зрачку ползёт муравей. После этого уже не надо писать, что человек убит: и так всё ясно.

Об этом тихом, но жутком образе смерти потом часто говорили исследователи Леонова и почитатели его, способные оценить меткость слова.

В конце 1980-х годов в продаже появился новый стихотворный сборник Евтушенко, где муравей Леонова легко был перенесён поэтом Евгением Александровичем в личную поэтическую лабораторию; правда, полз он теперь по лицу мёртвого «афганца».

Хвала

Какое-то особенное время наступило тогда в Чистополе: одновременно там будет создано несколько очень известных произведений. Михаил Исаковский напишет великое стихотворение «Враги сожгли родную хату», Борис Пастернак начнёт «Доктора Живаго», а Леонид Леонов сделает пьесу, которая

принесёт ему не только полноценное признание в родной стране, но и всплеск настоящей мировой славы. Мы говорим о «Нашествии».

Отчасти прототипами главного героя пьесы, врача Ивана Тихоновича Таланова, послужили два чистопольских медика, хорошо знакомых Леонову, — Самуил Зиновьевич Самойлов и Дмитрий Дмитриевич Авдеев.

У Авдеева, красивого, седого, в пышных усах и с неизменной трубкой старика, Леонов часто бывал и дома, и на работе — Дмитрий Дмитриевич разрешал. На приёмах тихонько сидел в уголке, вслушивался во врачебную — весьма богатую и любопытную — речь.

Дом врача Авдеева стал местом постоянного сбора писательского кружка, к которому принадлежал Леонов.

У Пастернака даже есть такие строки: «И в дни авдеевских салонов, / Где лучшие среди живых / Читали Федин и Леонов, / Тренёв, Асеев, Петровых». (Последняя фамилия принадлежит поэтессе Марии Сергеевне Петровых, вхожей в писательское сообщество.)

Зинаида Пастернак вспоминала, что в гостях у Авдеева «читали стихи, спорили, говорили о литературе, об искусстве»; ну и заодно «подкармливались пирогами и овощами, которыми гостеприимно угощали хозяева».

Однако первый импульс к написанию пьесы возник в доме врача Самойлова — именно там Леонов увидел огромный портрет худенького большелобого мальчика в матроске — сына врача.

Тогда, как позже Леонов рассказывал литературоведу Р. Н. Порману, он как-то вдруг и болезненно задумался: «А что за судьба ждёт этого мальчика? Что с ним может произойти? Какие трагедии обрушатся на него?»

Дорога леоновских размышлений оказалась чуть ли не предсказуемой. Скандалов с «Метелью» ему показалось мало, и он снова начинает внятно выводить привычную мелодию. Сын врача Ивана Таланова в «Нашествии» — Фёдор Таланов в день войны возвращается... из тюрьмы. В доме отца он и видит свой портрет, где изображён ребёнком.

Леонов, наверное, семь раз подумал и всё-таки «посадил» младшего Таланова не по уголовной, а по политической статье, аккурат в 1938 году.

Забегая вперёд скажем, что едва Леонов привёз свою работу в Москву, на него замахали руками: какие к чертям репрессии, убирайте это немедленно, иначе забудьте о пьесе. Пришлось всё на ходу менять. В итоге Таланов попал в тюрьму за попытку убийства из ревности.

Однако в самом поведении младшего Таланова просматривается никак не взбалмошный ревнивец (этот мотив, кстати, в пьесе почти не проявляется, — чувствуется, что он надуманный), но — сильный, интеллигентный, настрадавшийся, честолюбивый человек.

Семья встречает его неприветливо: хотя внешне причин никаких для этого нет. Ну, выстрелил из ревности, но не убил же никого.

Нет, все смотрят на младшего Таланова как на отмеченного страшной печатью. Так сквозь второй вариант пьесы просматривается первый.

В третьей, уже послевоенной редакции пьесы Леонов несколькими штрихами всё поставит на свои места.

Няня Таланова, Демидьевна, напрямую спросит Фёдора о причинах заключения: не слово ли неосторожное при плохом товарище произнёс он?

Ответ Таланова о жизни в тюрьме тоже будет вполне прозрачным: «Через болото тысячевёрстное трассу вели... под самый подбородок, так что буквально по горло занят был».

Но и в первом уже варианте есть все вешки, на которых строится образ младшего Таланова. Он недолюбливает главного советского героя пьесы — предрайисполкома Андрея Колесникова.

В ответ на произнесённое отцом слово «справедливость» Фёдор в крайнем раздражении отвечает: «А к тебе, к тебе самому справедливы они, которых ты лечил тридцать лет? Это ты первый, ещё до знаменитостей, стал делать операции на сердце. Это ты на свои кровные копейки зачинал поликлинику. Это ты стал принадлежностью города, коммунальным инвентарём, как его пожарная труба...»

Однако главная, и по сути своей, глубоко патриотическая мысль Леонова всё равно осталась очевидной и наглядной: как бы несправедливо и больно ни поступила с тобой эта власть, за что бы она ни посадила тебя в тюрьму, иногда наступает такой момент, что разом отменяются любые, самые тяжкие обиды.

И этот момент настал. И Таланов младший это понимает: идёт воевать и достойно встречает свою смерть.

«Нашествие» написано вдохновенно, и ярко, и яростно. Когда Леонов сочинял пьесу, на столе его стояли две документальные фотографии: девочки, расстрелянной нацистами в Керчи, и повешенной Зои Космодемьянской... Одновременно и мука, и сердечное человеческое бешенство чувствуются в пьесе. У Леонова у самого две такие девочки были за спиною, и возраста чуть ли не такого же, как те, на фото...

Пьесу Леонов задумал в декабре 1941-го, а в апреле 1942-го уже дописал. В том же месяце он читает её своим товарищам: Федину, Тренёву, Асееву, Пастернаку. Последний искренне в восторге — вот тот дух «гордости и независимости», который он призывал и которому так радовался. Очень хвалят пьесу и Тренёв, и Асеев. Федин сдержан, позже неизвестные информаторы запишут его раздражение по поводу леоновского успеха: он посчитает неуместным упоминание имени Сталина в финале «Нашествия».

Не нам судить, нужен был там Сталин или нет, но, однако ж, художественной вещи с главным героем, посаженным в 1938 году, Федину тоже не пришло бы в голову сочинять и отправлять её на рассмотрение цензурного комитета.

В мае 1942-го Леонов уезжает в Москву, 19 июля читает пьесу в Москве, в ВТО, где и происходит очередная подковёрная нервотрёпка и свистопляска. Леонов убирает 10—12 фраз, объясняющих поведение Фёдора Таланова, в финале появляется прославление вождя... и пьеса спасена.

В конце концов, остаётся, быть может, самое важное. Когда Фёдора Таланова задерживают немцы, на вопрос: «Ваше звание, сословие, занятие» он отвечает: «Я русский. Защищаю родину».

Леонов возвращает в литературу и делает главенствующей именно национальную тему. Более того: выбор Таланова — это и окончательный выбор Леонова. Именно в Великую Отечественную он искренне объединил эти два понятия: Россия и советская власть. Их уже не имело смысла разделять...

Двадцать девятого августа он пишет в письме председателю чистопольского горсовета М. С. Тверяковой: «Пьеса, законченная в богоспасаемом граде Вашем, уже напечатана в журнале “Новый мир” с пометкой “Чистополь” и уже расходится по градам и весям страны нашей: уехала в Барнаул, в Куйбышев, в Челябинск, в Свердловск и т. д.».

В октябре происходит очередной, и на этот раз определяющий момент взаимоотношений Сталина и Леонова.

Сталин звонит писателю и говорит, что пьесой очень доволен.

Леонов — в пересказе литературоведа Александра Овчаренко — так вспоминал этот день:

«...недавно вернулся из Чистополя. В ЦДЛ нам выдавали немного продуктов и бутылку водки. Зашёл товарищ. На столе у нас два кусочка хлеба, луковица и неполная бутылка водки. Вдруг звонок. Поскрёбышев: “Как живёте?” — “Живу”. — “Пьесу написали?” — “Написал. Отправил. Не знаю, читали ли?” — “Читали, читали. Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин”. Тот включился без перерыва и сказал: “Здравст-

вуйте, товарищ Леонов. Хорошую пьесу написали. Хорошую. Собираетесь ставить её на театре?"».

Так и сказал почему-то: «на театре».

Семнадцатого октября 1942-го Всеволод Иванов записывает в дневнике: «У всех на устах Леонов, которому позвонил Сталин». И далее:

«По поводу звонка к Леонову Маркиш сказал:

— Это звонок не только Леонову, это ко всей русской литературе, которая молчит».

Поэт и писатель Перец Маркиш понимал, что говорит.

Множество литераторов находились просто в подавленном состоянии; и веры в Победу никак не выказывали, скорее наоборот, что подтверждают десятки информаторских донесений той поры. И тем более мало кто уже на первом году войны отозвался крупным и сильным произведением на тему насущную и больную.

Уже в октябре начинаются репетиции «Нашествия» в Малом театре.

Вскоре после звонка Сталина к Леонову обратятся несколько режиссёров, которые ещё месяц назад и на порог его бы не пустили:

— А что вы нам свою пьесу не предложили, Леонид Максимович?

К 17 октября Леонов возвращается в Чистополь и участвует там в постановке пьесы, осуществляемой силами Ленинградского областного драматического театра. Премьера состоится 7 ноября.

В Казани писательское руководство, то ли не слышавшее о звонке Сталина, то ли не получившее нужных циркуляров, самим фактом премьеры оказалось взбешено («Знаем мы этого разносчика крамолы!»). 8 ноября в Чистополь приходит жёсткая телеграмма: на каких основаниях была разрешена постановка?!

На другой день там, видимо, во всём разобрались — и замолкли.

Но нервы у Леонова всё равно были на пределе.

В ноябре 1942 года Леонов возвращается в Москву, и вскоре Всеволод Иванов записывает в дневнике: «Обедал в Союзе, рядом с Леоновым. При дневном, убогом московском свете видно, что он сильно состарился. Пониже щёк — морщины, углы губ опущены, лицо дёргается. Зашли к нему. Кактусы. Мне кажется, что он любит их за долголетие».

Несколькими днями раньше Иванов, посещавший вместе с Леоновым спектакль «Кремлёвские куранты» во МХАТе, пишет ещё вот что: «Сидели рядом с Леоновым. Покашливая, —

от табаку — коротко, он жаловался, что ему в эти два года было страшно тяжело. <...> Лицо у него стало одутловатое, волосы длинные, — и если он раньше походил на инженера, из тех, что прошли рабфак, то теперь он писатель. Кажется, — под бременем своих писательских тягот, он стал сутулиться».

Оставим пока за скобками почти очевидное злорадство Иванова, скажем лишь, что в жизни Леонова вскоре всё начнёт меняться.

«Нашествие» уже в 1942-м выйдет в печати тремя изданиями. Леонова снова начнут публиковать: правда, пока только драматургию.

В ближайшие годы «Нашествие» поставят в доброй сотне театров по всему Советскому Союзу — в том числе в осаждённом Ленинграде. А затем спектакль вырвется за границу и триумфально пройдёт в десятках зарубежных стран всех пяти континентов. «Нашествие» станет первой пьесой, которую поставят в театрах Франции, Норвегии, Югославии после изгнания фашистов.

В 1944-м «Нашествие» выйдет отдельными изданиями в США, Мексике, Уругвае. В том же году появится первое издание пьесы в Китае, и только в послевоенные годы их будет пять. В 1945-м пьесу опубликуют в Аргентине (где «Нашествие» выйдет следующим изданием уже в 1946-м), Индии (где пьеса также будет переиздана ещё раз), Франции, Румынии, Польше. В 1947-м — в Болгарии и Нидерландах. Затем — в Испании, Швеции, Югославии, Японии и т. д. и т. д.

Лжа

Зиму 1942/43 года Леонов проводит на Брянском фронте.

В несколько заездов он проведёт на фронте более пяти месяцев.

Его минуют смертельные опасности, но печальная потеря случится дома: 12 февраля 1943 года умирает его тесть, Михаил Васильевич Сабашников. Во время одной из бомбёжек бомба попала в его дом, и старику перебило обе ноги. Последние месяцы своей жизни и сам Сабашников, и его жена Софья Яковлевна жили в доме Леоновых.

В перерывах между поездками на фронт Леонов много и упрямо работает.

В апреле 1943 года в «Новом мире» выходит новая пьеса Леонова — «Лёнушка», в наименовании которой различим поздний отсвет имени Лёна — так писателя звали в детстве. Пьеса, впрочем, о русской девушке, о партизанах, о предательстве,

подлости и дезертирстве, возможных даже на самой святой и самой народной войне.

В этом смысле несколько странно звучат сказанные позже слова Александра Исаевича Солженицына о том, что «...в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, и даже десятки тысяч, о чём наша история сумела смолчать».

Наверное, литература — это тоже история, и у Леонова появляются в двух пьесах не один и не два, а целая галерея дезертиров.

Вслед за пьесой Леонов пишет два письма «Неизвестному американскому другу»: пронзительную публицистику о необходимости открытия второго фронта.

Слова Леонова передают крупнейшие радиостанции тринадцати американских штатов; письма его слушают более десяти миллионов человек одновременно. После трансляции Леонову присылают из США двести с лишним писем — по крайней мере, именно столько прошло сначала американскую цензуру, потом советскую. (Летом 1943-го Леонов с юморком напишет в письме тому самому Самойлову, врачу, прототипу Таланова: «Так что если второй фронт откроется, за Вами поллитра».)

Девятнадцатого марта 1943 года Леонов получает Сталинскую премию за пьесу «Нашествие».

Двадцать седьмого мая в Москве в Малом театре триумфально проходит столичная премьера этой пьесы.

Двадцать пятого июня Леонов забирает семью из Чистополя.

Они возвращаются в столицу, отбросившую неприятеля от ворот своих.

Двадцать четвёртого августа в «Правде» выходит очередная статья Леонова «Поступь гнева». Через несколько дней он уже встречается с коллективом Горьковского драматического театра по поводу очередной постановки «Нашествия».

Ничто не предвещает несчастья, случившегося совсем близко.

Восемнадцатого сентября 1943 года Леонов узнаёт об аресте Сергея Михайловича Сабашникова, родного брата жены, Татьяны Михайловны.

Сабашникову было 45 лет, он работал руководителем кооперативного товарищества «Сотрудник» Управления промкооперации при СНК СССР и попал за решётку с крайне серьёзным обвинением в измене родине и контрреволюционной агитации.

То, что Леонов описывал и хотел изжить в своих пьесах, ворвалось прямо к нему в дом. У Сабашникова, впрочем, дело было куда серьёзнее: рассматривалась версия, что он якобы го-

товил покушение на Сталина. И Сабашникова, в отличие от Фёдора Таланова, освобождение не ждало.

Годы спустя, в «Архипелаге ГУЛАГ» упомянутый выше Солженицын уверенно напишет о судьбе прорабатываемых и подозреваемых:

«На улице их не узнают, ни руки не подают, ни кивают. Тем более в гости не зовут. И не ссужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне.

А Сталину только это и нужно! А он смеётся в усы, гуталинщик!

Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошёл в лакейские президенты. (Усатый шутник в издёвку придумал, проверял человеческое сердце.) А. Н. Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урождённой Сабашниковой, посещать семью её посажёного брата С. М. Сабашникова».

Мы не берёмся разбираться с ситуацией академика Вавилова и графа Толстого, но вот по поводу Леонова надо сделать несколько замет.

Мы обратились с просьбой прокомментировать слова Солженицына не к потомкам Леонова, которые могут быть и пристрастны, а в семью Сабашниковых, многие из которых лично помнят те времена, а вот с Леонидом Леоновым, и его семьёй, давно не связаны.

Родственники репрессированного Сабашникова пожимали плечами: «У нас все знают, что это неправда — описанное Солженицыным. Татьяна Михайловна — на средства, естественно, самого Леонова, со второй женой Сергея Михайловича долгие годы собирали и передавали посылки заключённому, помогали, ходили туда, стояли в очередях... Естественно, Леонов не ходил туда сам. И что? Никакого его запрета жене на общение с семьёй не было».

Но главное, что опровергает сказанное Александром Исаевичем, — тот факт, что Леонов в принципе не мог запретить жене общаться с семьёй Сабашникова, потому что мать заключённого, Софья Яковлевна, жила в доме Леонова! И в 1943-м, и в 1944-м, и в 1945-м... Как он мог запретить с ней общаться своей жене?

То, что позволил себе написать Солженицын, — это, прямо скажем, некрасивый навет.

Сабашников просидит очень долго: девять лет, и все эти годы Леоновы будут помогать ему. О чём сам Сабашников, впрочем, мог и не знать.

Такая пристрастность и такая истовая уверенность Солженицына несколько удивительна.

Но с другой стороны, есть определённая тенденция, с которой он в крайне жёсткой форме оценивал деятельность четырёх крупнейших художников того времени: Горького («Сталин убивал его зря, из перестраховки, он воспел бы и 1937-й год»), Алексея Толстого, Шолохова (первую книгу о том, что Шолохов якобы является плагиатором в «Тихом Доне», благословил, как все знают, именно Солженицын) и вот Леонова.

Позже, уже в нулевые годы, Александр Исаевич даже написал статью о Леонове, отчасти комплиментарную, но по большей части снисходительную — и снисходительную понапрасну: мы уже вспоминали о ней, когда говорили о двух вариантах «Вора», оценивая которые, Солженицын, прямо скажем, всё перепутал с точностью до наоборот.

Но нулевые — это уже другое время. Если в середине века, когда писался «Архипелаг ГУЛАГ», Леонов был виднейшим писателем и патриархом русской прозы, то к концу столетия Леонид Максимович явно перестал быть конкурентом Солженицыну, человеку не только титанической воли, большого мужества, но и, безусловно, огромных амбиций.

А вот по поводу авторства Михаила Шолохова он так и не высказался публично.

Фронт

В годы войны Леонов работает так, как не работал ни в 1936-м, ни в 1938-м, ни в 1940-м.

При всём том, что после получения Сталинской премии и благодаря бесконечным постановкам «Нашествия» это было уже не столь необходимо.

И дело не только в количестве текстов, которые он успел написать. Самый график его передвижений и встреч огромен: он неустанно ездит по городам, где ставят его пьесы, возвращается на фронт и тщательно собирает материал для новой прозы. Наконец, постоянно пишет неистовую публицистику, которую печатают «Известия» и «Правда». Сказать, что по силе воздействия она равнялась статьям Ильи Эренбурга, — пожалуй, преувеличение, — леоновский стиль более тяжеловесен, слова его словно выбиты на камне; однако и о статьях Леонова сохранилось множество благодарных отзывов фронтовиков.

С середины 1942 года Леонов выступает в качестве лектора в Литературном институте, с 1943-го он руководит там семинаром молодых писателей. В числе его учеников — писатели Марина Назаренко, Николай Евдокимов... Последний вспо-

минал, как впервые принёс Леонову свои «рукоделия» (уже расхваленные одним маститым критиком): «За всю свою жизнь я, наверное, не слышал столько горьких, суровых слов, сколько услышал от Леонова в тот день. Разбирая моё сочинение, он сдул с меня самонадеянность, как пену. Я еле дотащился до дома, сгорая от стыда. Полгода не мог прикоснуться к перу. Мудрый Леонов знал, что делал со своими семинаристами. Он беспощадно выбивал из нас легкомысленность и самомнение».

Осенью 1943 года Леонов снова возвращается к повести «Evgenia Ivanovna», пишет новый её вариант. Стоит задуматься, почему именно в войну для Леонова вновь становится важна тема эмиграции и судьбы её. Вероятно, он вновь и вновь примерял на себя одежды изгнанника: как бы он сегодня смотрел на Россию оттуда, из раздавленной Европы.

О многих европейских странах в своей публицистике 1943 года Леонов пишет так, что в наши времена на него легко надели бы колпак националиста и ксенофоба:

«Скучно нынче в Берлине, но ещё скучнее в столицах помельче, что лежат на столбовой дороге наступающей Красной Армии. Хозяева этих державок, у которых ума и совести на грош, а фанаберии на весь полтинник, также рассчитывали на поживу при делёжке неумерщвлённого медведя. Понятно, на пирушке у атамана хищников всегда что-нибудь достаётся и шакалам и воронью.

С молчаливой усмешкой народы моей страны слышали их чудовищные и оскорбительные притязания, вдохновлённые историческим невежеством и умеряемые лишь скудостью географических познаний. У всех на памяти военные декларации маннергеймов и антонесок: если Финляндия — так уж до Урала, Румыния — так уж по Владикавказ!.. Нам не помнится в точности, на какие именно океаны зарился адмирал несуществующего флота из Будапешта. То была убогая заносчивость блохи, что, затаясь на шерстистом хребте главного волка, возомнила себя наибольшим зверем, индрик-зверем...»

Впрочем, и сегодня позиция Леонова, со скидкой на то, что риторическая, а не только смысловая её нагрузка диктуется самой страшной мировой войной, кажется нам вполне актуальной. В те же дни, видя кромешную беду своей страны, Леонов имел все основания повышать голос.

В октябре Леонов едет в Ярославль на общественный просмотр «Нашествия». В ноябре состоялась премьера пьесы «Лёнушка» в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. Грибоедова, но туда Леонов уже не попадает — он снова отбывает на фронт в качестве военного корреспондента.

Добирался до только что освобождённого Киева вместе с фронтовиками, на боевых машинах, под привычной угрозой артналётов; никаких поблажек.

В декабре Леонов напишет в одной из статей: «За последний месяц я обошёл много мест на Руси и на Украине и вдоволь насмотрелся на твои дела, Гитлер. Я видел города-пустыни, вроде каменного мертвеца Хара-хото, где ни собаки, ни воробья, — я видел стёртый с земли Гомель, разбитый Чернигов, несуществующий Юхнов. Я побывал в несчастном Киеве и видел страшный овраг, где раскидан полусожжённый прах ста тысяч наших людей. Этот Бабий Яр выглядит как адская река пепла, несущая в себе несгоревшие туфельки вперемежку с человеческими останками».

Киев бомбят каждую ночь. Осматривая город, Леонов особенно запомнит аллеи каменных истуканов с тевтонской осанкой, стоявших на Владимирской Горке.

Тринадцатого ноября появляется опасность потери Киева: немцы, отброшенные почти к Житомиру, прорывают оборону и проходят разовым броском половину пути до города. Их останавливают части 1-го Украинского фронта.

Перед солдатами и офицерами фронта много выступает Леонов.

Особо сошёлся Леонов с танкистами. Гостил в 1-й Танковой армии. Она располагалась в те дни на правом берегу Днепра, немного западнее Киева, в районе Святошино — Жуляны — Софиевка — Борщаговская. В Святошине — до войны это был дачный район Киева — в красивых местах находился штаб армии.

Туда заезжал Леонов в компании с художниками Кукрыниксами — Куприяновым, Крыловым, Соколовым... Был в частях, встречался с руководством.

Но самые главные впечатления были получены в дни, проведённые в 3-й Гвардейской танковой армии, возглавляемой Павлом Семёновичем Рыбалко, тогда уже легендарным военачальником, считавшимся лучшим танковым генералом в Советской армии. Рыбалко незадолго до знакомства с Леоновым как раз получил звание Героя Советского Союза за успешное форсирование Днепра.

Любопытная деталь: они с Леоновым могли друг друга видеть ещё во время Гражданской, когда Рыбалко был комиссаром бригады в 1-й Конной армии. В селе Тягинка в 1920 году некоторое время квартировала и бригада комиссара Рыбалко, и 15-я Инзенская дивизия, где служил красноармеец Леонов. (Ко всему прочему, уже после войны, в 1946-м, пути их пересе-

кутся снова, когда оба — и маршал, и писатель — станут депутатами Верховного Совета СССР.)

Сейчас же в штабе Рыбалко в одном из сёл под Черниговом Леонов проведёт целую неделю.

Запомнилась писателю одна забавная история, свидетелем которой он был.

В суматохе случилось так, что штаб на какое-то время оказался почти без охранения, и однажды пришедшая сдаваться тройка немецких солдат зашла непосредственно в штабную столовую с поднятыми руками, чем несколько удивила собравшихся.

О жёстком нагоняе, который устроил Рыбалко подчинённым, догадаться несложно.

Конечно, слава генерала строилась далеко не на таких казусах.

Башенный стрелок «персонального» маршальского танка Муса Гайсин вспоминал: «Рыбалко ходил в танковые атаки на "Виллисе". Причём, как правило, стоя во весь рост в сером комбинезоне. Из открытой кабины вездехода лучше видно поле боя. А в машине стояла радиостанция, вот он и руководил действиями экипажей. Зрение у него было отличное. Однажды во время атаки слышу: кто-то стучит по башне снаружи. Высовываюсь из люка — батюшки, рядом с нашей "тридцатьчетвёркой" несётся "Виллис", а Павел Семёнович, держась одной рукой за лобовое стекло, в другой сжимает свою суковатую палку и показывает ею левее. Я мигом поворачиваю пушку туда, гляжу в прицел и обомлеваю: на меня смотрит ствол замаскированного под копну "тигра". Благо я выстрелил первым».

К Леонову Рыбалко относился с полным доверием: писатель постоянно находился собственно у командного стола, следя за работой генерала, в свободные минуты, по возможности, расспрашивая его.

Леонов тогда уже задумал повесть «Взятие Великошумска», и, пытливый самоучка, он стремился самым серьёзным образом разобраться в танковом деле.

В его повести Рыбалко является прототипом сразу двух героев. Естественно, что он — это эпизодически появляющийся командующий — «победитель Днепра», как определяет его писатель. «На газетной фотографии, опубликованной по поводу присвоения ему звания Героя, — пишет в повести Леонов, — был изображён нестарый человек недюжинной воинской зоркости и большого волевого нажима; этот был человечней и старше. По меньшей мере десять лет отделяли портрет от оригинала».

Но одновременно с тем куда более точным слепком с Ры-

балко является главный герой повести — командир отдельного корпуса, носящий созвучную фамилию Литовченко.

Он, как и Рыбалко, тоже родом с Украины — и вернулся на свою землю, отвоёвывать её. И опять же, как Рыбалко, тоже человек-легенда: «Страна узнала имя Литовченки сразу в звании генерал-лейтенанта, которого к исходу второго года именовали уже ein grosser zermann», то есть: великий танкист. Именно так всё и было, потому что Рыбалко встретил войну на преподавательской работе, на фронт был призван летом 1942-го и сразу же прославился несколькими блестящими операциями.

Единственно, что Литовченко, равно как и его главнокомандующий — «победитель Днепра», согласно повести, воевал на Халхин-Голе, а Рыбалко — нет. Рыбалко в 1930-е находился чуть южнее: в Китае, то в качестве военного атташе, то в качестве «русского генерала китайской службы», и участвовал, между прочим, в борьбе против уйгурских повстанцев Ма Чжунина, выступая под псевдонимом — ни много ни мало — Фу-Дзи-Хуй. Так что пришлось Литовченко и его командующему всё-таки под Халхин-Голом себя проявлять.

Но передвигается Литовченко в повести конечно же на «виллисе».

Действие происходит зимой, в третий год войны, в ту самую зиму 1943-го, начало которой Леонов провёл на фронте, бок о бок с танкистами.

Самое болезненное совпадение реального Рыбалко и Литовченко из повести связано с темой отцовства обоих генералов.

Рыбалко возглавит армию в сентябре 1942 года, и вскоре после прибытия на фронт жена сообщит ему страшную весть — весной во время боёв за Харьков в танке сгорел их единственный сын лейтенант Вилен Рыбалко. Леонов, естественно, знал об этом.

Генерал Литовченко на первых же страницах повести встречает на пути танковый экипаж, где водитель — тоже Литовченко, молодой парень.

Не сын, нет. Однофамилец, с котором генерал говорил, по словам писателя, «как с сыном».

Молодому Литовченко придётся пережить страшные и жуткие бои, но он выживет и всё перенесёт.

«Взятие Великошумска» выйдет уже в 1944-м, Леонов будет читать её полководцу сам.

Оживить в повести сына его прототипа было бы, наверное, неправильным. Глубоко нетактичным... Но утешить мужественного генерала, сказав, что не перевелась и не переведётся на земле порода хоть Рыбалко, хоть Литовченко, — это было достойным шагом.

В декабре 1943 года Леонов присутствует на харьковском судебном процессе над фашистскими преступниками и пишет с процесса душераздирающие отчёты в «Известия».

В январе 1944-го он снова близ передовой: на этот раз на Ленинградском и Волховском фронтах. Видит наступление, полностью освободившее Ленинград от блокады.

Вернувшись домой после почти трёхмесячного присутствия на войне, Леонов приступает к написанию «Взятия Великошумска». Он сделает повесть за четыре месяца. В июле её целиком — по объёму едва ли не полноценный роман — опубликует газета «Правда».

«Взятие Великошумска», как и две другие художественные вещи военной поры — замечательное «Нашествие» и куда менее удачная «Лёнушка», объединяет одно: высокая, эпическая интонация. В повести она выдержана безупречно.

В этом смысле «Взятие Великошумска» не совсем правильно рассматривать по тем же лекалам, что, скажем, и появившуюся позже «офицерскую прозу».

Леонов пишет былину; оттого речь его героев зачастую патетична, даже пафосна. Но пафос этот осмыслен, продуман и необходим: Леонов творит мир добра и зла, героев и чудовищ; он видит, что здесь и сейчас решается история человечества.

Что до фактологии — то в этом смысле в повести всё сделано безукоризненно точно — такой достоверности не могли добиться иные военные литераторы, делая в своих текстах множество обидных ошибок.

Леонов читал свою повесть в Главном автобронетанковом управлении, и по окончании чтения заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской армии В. Т. Вольский сказал: «Угодно ли вам немедленно получить звание инженер-майора бронетанковых войск?»

Не уверены, что закалённый военный мог в полной мере прочувствовать эпичность и торжественное звучание текста, но профессиональный инженерный подход он оценил вполне.

В 1944-м, после семилетнего перерыва, в Советской России с книжки «Взятие Великошумска» вновь начинает выходить проза Леонова.

Тогда же экранизируют пьесу Леонова «Нашествие». Это первый полновесный фильм по Леонову; всего впоследствии их будет четыре.

В качестве режиссёра картины выступил Абрам Матвеевич Роом, и по тем временам фильм получится отменным. Некоторые его сцены и сегодня смотрятся до слёз проникновенно.

Съёмки пройдут в оставленной немцами Твери (тогда ещё Калинине) — и разрушенный русский город всем своим жутким видом поможет создать правильное кино.

Сценарий несколько видоизменил сюжет пьесы, появились батальные сцены, есть несколько других различий... Но Леонов, обычно очень щепетильный в отношении своего текста, здесь был полностью на стороне режиссёра. Экранизация ему очень понравилась.

Тому были особые причины: «Нашествие», уже в силу наследования леоновскому тексту, кардинально отличалось от всей кинопродукции, как военной, так и послевоенной. Достаточно сравнить этот фильм с какой-нибудь забубённой штукой вроде «В шесть часов вечера после войны», снятой в том же 1944 году Иваном Пырьевым.

В фильме по пьесе Леонова, как и в самой пьесе — сама атмосфера трагическая, предгрозовая, а затем — грозовая, чёрная, гнетущая. Чего стоит только финал, где мать и отец смотрят на повешенного сына.

Роом долгое время с гордостью вспоминал, как высоко Сергей Эйзенштейн оценивал «Нашествие». Что ж, Эйзенштейн знал толк в кино.

Однако на заседании художественного совета студии, снимавшей «Нашествие», писатель Борис Горбатов высказался против выпуска фильма на экраны. Аргументацию свою Горбатов почерпнул, видимо, из прежних, многочисленных критических отзывов о леоновской прозе и драматургии. Ему, например, не понравились сологубовщина и достоевщина, демонстрируемая некоторыми героями «Нашествия».

В защиту фильма выступил Константин Симонов, литературный вкус которого был конечно же много лучше, чем у Горбатова.

«Нашествие» выйдет на экраны в феврале 1945 года.

В 1946 году Сталинской премии 2-й степени были удостоены режиссер-постановщик фильма Абрам Роом, актеры Олег Жаков и Василий Ванин.

* * *

С пьесой «Нашествие» и повестью «Взятие Великошумска» связан краткий, но бурный период популярности Леонида Леонова в США. В начале 1930-х там были изданы «Вор» и «Соть» (под названием «Советская река») и получили разнообразную, и любопытствующую, и скептическую, прессу.

Но всплеск массового интереса начался именно в 1944-м, когда американцы наряду с «Нашествием» неожиданно пере-

вели и выпустили «Дорогу на Океан». В те годы это была, что называется, очень своевременная книга: по основной тональности всё-таки радостная, пусть и со страшным финалом, — её не мешало бы и в Советской России переиздать, но здесь до этого ещё было далеко.

Имя Леонова в США, напомним, уже знали миллионы людей: это его обращения транслировали на всю притихшую страну по радио накануне открытия второго фронта. Очевидно, что решение о входе в войну было принято ещё до обнародования писем Леонова — но в числе прочего и с помощью голоса русского писателя американское правительство делало своё решение легитимным перед народом США.

Рекламный текст на обложке «Дороги на Океан» содержал как типично американские благоглупости про то, что Курилов — «родной брат Дмитрия Карамазова» (зря не самого Достоевского), так и очень дельное замечание о том, что роман предшествовал «рождению новой религии, которая сделала чудо Сталинграда».

«Дорогу на Океан» с восторгом приняли американские «левые», которые были сильны и многочисленны в те годы, как никогда позже, и с понятным смятением восприняли консерваторы. Ещё бы: ведь в «Дороге на Океан», помимо рождения новой религии, в отдельных фантастических главах описывалась ещё и мировая революция.

Посему и заголовки у критических рецензий были говорящие сами за себя: «Завтра — весь мир!», «Таковы мечты России?».

Дискуссия разгорелась не скучнее, чем в 1936-м в СССР. «Нью-Йорк таймс» одну за другой публикует рецензии — в одной восторг, в другой гнев; о романе пишут в десятках провинциальных газет. Издание «Чикаго сан» называет «Дорогу на Океан» «русским шедевром».

Новые рецензии на леоновский роман в США будут выходить вплоть до середины 1950-х!

А пока, ввиду того что американский тираж «Дороги на Океан» разошёлся замечательно быстро, в 1946-м в Нью-Йорке издадут «Половчанские сады» (в сборнике «Семь советских пьес») и отдельным изданием «Взятие Великошумска» под названием «Колесница гнева».

«Героем этого романа является стальное чудовище: 34-тонный танк, — напишут американцы. — Леонов — писатель, одарённый выдающимся талантом, и роман его написан в самых лучших традициях».

Как и в случае с «Дорогой на Океан», выйдет пышная кипа разнообразных и разноречивых рецензий, из которых впору

составить отдельную книгу; по горячим следам Второй мировой «Взятие Великошумска» получит своего американского читателя, удивлённого и заворожённого русским эпосом.

Однако стремительный и близкий к триумфальному въезд Леонова в американскую литературу завершится столь же быстро, как и начнётся. И далеко не по литературным причинам.

В марте того же 1946-го в Фултоне Черчилль произнесёт речь, которая положит начало холодной войне. И США, как мы знаем, станет в ней главным противником Советской России.

В Америке начнётся жёсткая борьба с собственным «левым движением». Что до советских писателей — вход для них будет строго ограничен; настанет пора публикации литературы исключительно антисоветского толка. Леонову на американские книжные рынки путь будет заказан.

Американская история Леонида Леонова получит продолжение лишь в 1960-м, когда там переиздадут роман «Вор», причём, напомним, в первой редакции.

После «Вора», вплоть до начала смуты в России в конце 1980-х, американцы будут периодически издавать Леонова и переведут все его сочинения, но это уже будет не столь жаркий, как в сороковые, а достаточно, что называется, вежливый интерес.

Зло на скамье подсудимых

Тридцатого апреля 1945 года в газете «Правда» будет опубликована очередная статья Леонида Леонова «Утро Победы»:

«Германия рассечена. Зло локализовано. Война подыхает.

Она подыхает в том самом немецком рейхе, который выпустил её на погибель мира. Она корчится и в муках грызёт чрево, её породившее. Нет зрелища срамней и поучительней: дочь пожирает родную мать. Это — возмездие».

Леонов станет одним из свидетелей исполнения этого возмездия: в сентябре 1945-го он посетит Дрезден и Люнебург, присутствуя в качестве корреспондента «Правды» на процессе над палачами из Бельзенского концлагеря, а в ноябре и декабре того же года — Нюрнберг.

Отзывы об увиденном он оставит крайне жёсткие. О немцах, во время первой поездки, Леонов пишет если не с ненавистью, то с искренним презрением и брезгливостью: «Есть такая заштатная провинция в северо-западной Германии близ Гамбурга, под названием Люнебург. <...> Сюда бежали со своими семьями гамбургские негоцианты. <...> Это они чинно гуляют здесь со своими фрау, это их кроткие детки бесшумно шалят на улицах, и даже мухи здесь летают особые, мелкие благовоспи-

танные мухи, не оставляющие следов на домашних предметах. Зато и скука в Люнебурге настоящая, немецкая, похожая на газовое удушье».

В этом милом городке располагался лагерь, где десятки тысяч человек заморили голодом.

«Ализариновые чернила и человеческая речь бессильны передать длительное ощущение душевной отравленности, полученное нами при посещении этого места, — пишет Леонов. — Сам Дант не рассказал бы больше, если б его послали сюда корреспондентом».

Но Леонову придётся рассказывать.

Большим шоком для него было наблюдать некую Ирму Грезе — белокурую немецкую девушку, редкой красоты, которая оказалась одним из специалистов по массовому убою заключённых.

На суде она улыбалась.

Когда её проводили из здания суда в тюремный грузовик мимо Леонова, из толпы крикнули:

— Боишься, Ирма?

— Нет, — ответила та спокойно.

«Мы возвращались из Бельзена, — напишет Леонов в статье «Когда заплачет Ирма», — и ни один из встречных не опустил перед нами глаза, хотя и видно было по всему, что мы ездили в гости к мёртвым. Мы обошли также все эти Катцен-штрассы и улицы Святого Духа в Люнебурге и обрели украшенную свежими цветами могилу неизвестного германского лётчика, расстреливавшего таких же неизвестных детей на дорогах Англии и Белоруссии.

Нет, миру не достаточно капитуляции бывших парикмахеров и фотографов, пейзанок и кондитерских продавщиц...»

Незадолго до окончания войны Сталин решил урезонить Илью Эренбурга, писавшего наиболее злые и жестокие статьи о фашистской Германии. Публикации его статей прекратились после выхода 14 апреля 1945 года в газете «Правда» статьи Г. Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», где он был обвинён в разжигании ненависти к немецкому народу.

Однако Леонову явно позволялось то, что Эренбургу уже запретили делать: разжигать ненависть.

Цитируемую выше статью Леонов завершает прозрачной мыслью о том, что капитуляции мало: ему нужны слёзы Ирмы.

Из Люнебурга отправились в Дрезден, на машине, сквозь дождь, торопясь преодолеть расстояние до темноты: война ещё не ушла настолько далеко, чтоб не опасаться вовсе ничего. По Германии бродили тысячи дезертиров, избежавших суда и ожесточённых.

В Дрезден Леонов заезжал давным-давно, по дороге к Горькому; и вот пришло грустное время вернуться туда ещё раз.

Леонов не забудет напомнить в статье об этом городе, что Дрезден в своё время был славянским городком Драждяны. Смысл напоминания понятен: с этой нацией надо быть осторожным, она может убить, она это делала не раз.

Дрезден 1945 года оказался вдрызг разбомблённым.

В числе иного увидели разрушенный памятник Мартину Лютеру. На постаменте Лютера уже не было, зато там примостился весёлый красноармеец: его фотографировали.

«Лютер лежит безрукий, на боку, — напишет Леонов. — Он как бы отвернулся от неба, потому что и небо отвернулось от него. Рядом стоят его медные сапоги. В зеленоватой глазнице скопилась дождевая вода. Он как бы плачет. Не верю тебе, Мартин Лютер. Небось и поверженный ты ещё полагаешь втайне, что немецкий гвоздь самая превосходная штука на свете!..»

Сразу по возвращении из Дрездена Леонов представлен к награде: ему вручают орден Отечественной войны 1-й степени за корреспондентскую деятельность последних лет. Награждение приурочено к выходу десятитысячного номера «Правды».

Это как минимум объяснимо: так сложилось к концу войны, что голос Леонида Леонова стал одним из самых главных писательских голосов, разговаривавших со страниц крупнейших газет с народом.

Вскоре Леонов снова едет в Германию.

В Нюрнберге Леонов был в большой компании: художники Кукрыниксы, с которыми встречался ещё на Украинском фронте, писатели Борис Полевой, Ярослав Галан с Западной Украины, драматург Всеволод Вишневский, с которым, к слову сказать, никаких хороших воспоминаний у Леонова связано не было: Вишневский, да-да, приложил руку к проработкам Леонова (а чуть ранее — Булгакова).

Однако услышанное и увиденное в Нюрнберге заслонило любые прежние обиды, они казались смешными на фоне вот этого, раскрывшегося настежь, ужаса.

Каждый день, к десяти утра, литераторы, художники, журналисты, расположившиеся в «Гранд-отеле», шли к зданию областного суда Баварии, где работал Международный военный трибунал.

Подсудимых было двадцать человек, в перерывах между заседаниями можно было подойти к барьеру, и Леонов увидел их всех близко, в упор.

«Вот Герман Геринг, — напишет он в те дни, — с перстеньком на руке и лицом притоносодержательницы».

«С ним рядом Гесс, с Адамовой головой, как на аптекарской склянке с ядом».

«Дальше следует Риббентроп, утративший наконец свою прежнюю мужскую прелесть: мешки под глазами и брови взведены как у балаганного пьеро».

Кто-то в компании писателей и художников сетует:

— Какой помятый вид у Риббентропа.

— Ничего, — отвечают ему, — отвисится.

Отдельный день был посвящён просмотру немецких кинодокументов. Бравые нацисты маршируют и, в крике, выбрасывают вперёд стремительные руки.

Леонов слышит, как Геринг, глядя на экран, спокойно шепчет: «Неплохо, неплохо...»

Потом собравшиеся в зале суда видят войну и старательно зафиксированные картины массовой человеческой смерти.

Борис Полевой вспомнит, как в «русском крыле» судебного помещения писатели обсуждали увиденное и услышанное:

«— Кошмарно... Чудовищно... Непостижимо... — рубит взволнованный Всеволод Вишневский, ставя после каждого слова жирную точку, какими вообще богата его речь. — Нюрнберг — он ведь всегда славился своими палачами... Седое средневековье... Железная дева — Стальные башмаки... Венец Иисуса... Все это здешнее, но такого... Ужас... Кошмар... Бред...

— Мефистофель в роли Фауста, — комментирует западноукраинский писатель из Львова Ярослав Галан, человек очень образованный, очень молчаливый и замкнутый.

— Что вы, батенька, зачем вы таким сравнением обижаете весёлого, энергичного немецкого чёрта, — отзывается Леонид Леонов. — Да Мефистофеля бы стошнило от всего этого. Вурдалаки — вот кто они. У вас в украинском языке есть такое слово — "вурдалак"?

— Да, есть. Вурдалаки есть у всех славянских народов, — столь же серьёзно, академическим тоном отзывается Галан. — Да, вы, пожалуй, рекомендовали более уместное сравнение».

Трибунал приговорит 11 из 20 человек к смертной казни. Спустя год их повесят в одном из местных спортзалов.

Глава девятая

ДЕПУТАТ РУССКОГО ЛЕСА

Верховный Совет

Когда говорят о Леонове как о патриархе советской литературы и, тем более, о «литературном генерале» советской эпохи — то отсчёт, строго говоря, нужно вести с 1946 года, не раньше.

Именно в этом году начинается взлёт его карьеры общественной — вовсе, скажем наперёд, не застраховавшей его от нескольких серьёзных неприятностей, связанных с литературным трудом.

О том, что кандидатура Леонова рассматривается в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, сам писатель узнал ещё в 1945-м; и дал согласие.

Надо понимать, чтó значило это депутатство.

В Верховный Совет первого, 1938 года, созыва (полномочия которого вместо четырёх положенных лет ввиду начавшейся войны продлили до 1945-го) были избраны несколько литераторов, но в качестве главных лиц выступали двое из них: Алексей Толстой и Михаил Шолохов. Именно их лица мелькали на страницах газет, именно на них власть делала ставку, прославляя два этих имени накануне выборов. Толстой и Шолохов работали как тягловая сила, тащившая за собой весь остальной список. Так Верховный Совет стал своеобразной табелью о рангах.

Кроме вышеназванных, в 1938-м были избраны Владимир Ставский — по очевидным причинам, как главный литературный чиновник; дагестанский поэт Сулейман Стальский — в подтверждение статуса СССР как многонациональной державы; Александр Корнейчук — приближённый к Сталину драматург, писавший пьесы по личному указанию вождя, и несколько подобных персон.

После смерти Алексея Толстого в феврале 1945 года новым «главным писателем земли Советской» неизбежно становился Леонид Леонов.

Пресловутые «выборы» в Верховный Совет безусловно являлись полностью срежиссированным действием, однако власть

стремилась к тому, чтобы в глазах советских людей происходящее было максимально легитимным. В первый послевоенный год в Верховный Совет должен был прийти литератор именно что народный, общепризнанный. После «Нашествия», «Взятия Великошумска» и десятков яростных публицистических статей, прочитанных миллионами, таковым был Леонов.

Признаем, что к тому времени ни Валентин Катаев, ни Всеволод Иванов, ни Константин Федин подобным авторитетом не обладали.

Все крупнейшие газеты СССР в первых числах января 1946 года сообщают, что Сталинский избирательный округ города Москвы выдвинул кандидатом в депутаты Иосифа Виссарионовича Сталина. Следом идут от своих округов: Калинин, Ворошилов, Андреев, Хрущев и т. д., всего 11 человек.

Сразу следом за вождями шли «инженеры человеческих душ».

В частности, в газете «Правда» от 4 января сообщалось: «Коллектив Загорского учительского института выдвинул кандидатом в депутаты Совета Союза Леонида Максимовича Леонова».

Информация о Леонове расположена в самом верху и посередине полосы. Слева от него — Лаврентий Берия, справа — Георгий Маленков.

Далее «Правда» пишет: «Студенты, профессора и преподаватели Загорского учительского института собрались 3 января в зале Городского театра на предвыборное собрание, посвящённое выдвижению кандидата в депутаты Верховного Совета СССР».

С речью на этом собрании выступил декан историко-филологического факультета товарищ Сахаров, который после ритуальных приветствий предложил выдвинуть кандидатом в депутаты героя нашей книги.

Характерно, что перечисляя произведения Леонова, товарищ Сахаров, естественно, не помнил, что кандидат в своё время написал, скажем, роман «Вор», а затем пьесу «Метель».

«Пламенной любовью к родине и острой ненавистью к фашистским изуверам проникнуты талантливые статьи Л. Леонова, публиковавшиеся в дни войны и теперь, в послевоенный период, — сообщает советская пресса. — Ордена Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, которыми советское правительство наградило Леонова, — свидетельство высокой оценки его творческой работы».

Товарища Сахарова поддержали и проголосовали единогласно.

В «Литературной газете» заметка о выдвижении Леонова, вопреки алфавиту, идёт под известием о выдвижении Михаила

Шолохова (от, естественно, станицы Вёшенской Миллеровского избирательного округа). Так же в своё время Шолохов, по табели о рангах, шёл после Алексея Толстого.

Внизу, под информацией о Леонове, в советских газетах размещалось, как правило, известие о выдвижении в Верховный Совет украинского поэта Павла Тычины. Это напоминало советским людям, что они живут в многонациональной семье народов.

Место Владимира Ставского занимал теперь в прошлом восхитительно талантливый поэт Николай Тихонов, с которым Леонов в далёком 1930-м ездил в Среднюю Азию. Теперь Тихонов — председатель правления Союза советских писателей, литературный чиновник высшего ранга.

Помимо вышеназванных в Верховный Совет избирался всё тот же Корнейчук, а также Бажов, Парфёнов, Фадеев, который оказался по статусу ниже Леонова, вполне возможно, потому, что как писатель давно уже не воспринимался — со времён «Разгрома» он не выпустил ни одной завершённой вещи.

Однако только о Леонове и Шолохове вышли в «Правде» огромные, в полполосы, материалы: «Писатель-патриот» о первом и «В станице Вёшенской» о втором. Статья о Леонове была опубликована в номере от 12 января, автор её, писатель Сергей Бородин, писал: «Национальная гордость великоросса сливается в творчестве Леонида Леонова с гордостью за весь советский многонациональный народ». Характерная для тех времён фраза! Не мешает помнить, что написал её автор глубоко патриотических книг о русской истории и к тому же потомственный дворянин — до 1941 года дворянства своего опасавшийся и публиковавшийся под псевдонимом Амир Саргиджан. (Он, добавим, вступил во Всероссийский союз писателей в 1925 году по рекомендации Андрея Белого, Всеволода Иванова и Леонида Леонова.)

Шестнадцатого и семнадцатого января в Загорске, а 18-го — в Пушкино прошли предвыборные встречи Леонова.

Отчёты о собраниях пестрят словами истёртыми и патетичными, но есть основания предполагать, что когда девушка-комсомолка вышла и перед всем залом сказала Леонову, что «в нашем воспитании есть и ваша доля, Леонид Максимович», она говорила искренне.

Несколько лет спустя в газете «Литературная Россия» будет опубликовано письмо некоего О. Копытко, военного, который, без всякой привязки к юбилеям и прочим празднествам, неожиданно признается: «Одним из любимых писателей, на книгах которого воспитывалось моё поколение, был Леонид Леонов. Когда грянула война, мы, семнадцатилетние парни,

учились по Леонову ненавидеть врага. “Наша Москва”, “Ярость”, “Примечание к параграфу” рождали священную ненависть к врагу. И сейчас помню грозную фразу писателя: “В триста миллионов рук мы дотянемся до тебя, Адольф Гитлер”. Мы знали, что дотянемся. Не помню, как попала к нам в землянку маленькая книжка с пьесой “Нашествие”, но помню суровое, грозное молчание солдат, рождение жгучего желания мстить...»

В течение многих лет подобных писем приходило и к Леонову и в газеты множество.

Десятого февраля 1946 года он был избран депутатом Верховного Совета СССР второго созыва.

Наградной список Леонова, по-видимому, показался писательской организации не столь пышным, как следовало бы. Общий тираж книг Леонова, как писали газеты, составлял к тому моменту 1 973 400 экземпляров, и при этом всего одна Сталинская премия и два ордена... У многих литераторов, куда меньшего ранга, к тому же более молодых, скажем, у Симонова и Корнейчука, одних Сталинских премий уже было по три.

В итоге 16 февраля 1946 года первому заместителю председателя Совета народных комиссаров товарищу Молотову на стол ложится бумага от председателя правления Союза писателей Н. Тихонова и секретаря правления Д. Поликарпова.

В послании сообщается:

«В феврале исполнилось 25-летие литературной деятельности известного русского писателя Леонида Максимовича Леонова.

Литературной деятельностью Л. М. Леонов занимается с февраля 1921 года. Первые его произведения были напечатаны в газете 15-й Сивашской Краснознамённой дивизии».

Стоит сказать, что в данном случае имеет место некоторый подлог.

Напомним, что первые заметки Леонова были опубликованы в 1913-м, в июле 1915-го — первое стихотворение и, наконец, в 1918 году Леонов проявил себя как ярый антибольшевистский публицист. Хорошо, что никому не пришло в голову отметить 20-летие творческой деятельности Леонова в 1938 году, с приложением необходимых публикаций.

Далее Тихонов и Поликарпов перечисляют книги Леонова (привычно забывая такие, как «Вор», «Необыкновенные рассказы о мужиках», «Метель» и прочие), упоминают его военную публицистику, между делом отмечают, что «творчество Л. М. Леонова высоко ценил А. М. Горький», и в финале ходатайствуют о награждении писателя орденом Ленина.

Спустя два дня Молотов, который в своё время подписывал разгромное постановление о «Метели», начертает на письме резолюцию: «Т. Сталину. Прошу утвердить».

В тот же день товарищ Сталин утвердил ходатайство.

В феврале Леонов получил орден Ленина, а в марте на радостях начал работать сразу и над пьесой «Золотая карета», и над завершением «Пирамиды» — роман тогда ещё назывался «Ангел».

В который раз Леонову казалось, что вот теперь-то его, орденоносца и депутата, никто не тронет.

Как бы не так!

Две пьесы

Первый вариант «Золотой кареты» назывался «Градоправительница» и был завершён ещё в июне 1946-го.

Судьба этой пьесы оказалась напрямую связана с постановкой «Лёнушки».

Столичная премьера «Лёнушки» состоялась 15 июля 1946-го в Московском театре драмы.

Вопреки обыкновению (и, верно, ожиданиям Леонова) никаких откликов на постановку не было. Буквально ни одного.

«Лёнушка», на наш взгляд, является не только самой слабой пьесой Леонова, но, пожалуй, самой неудачной его литературной работой вообще. Надуманная, с вопиюще нереальными коллизиями и даже для эпического текста совершенно неживым и патетичным языком; именно поэтому в течение трёх лет ни один театр не брал её — несмотря на триумф «Нашествия».

Проблема, однако ж, была ещё и в том, что поставили «Лёнушку» в откровенно смутное время — накануне августовского постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».

Как мы помним, это постановление коснулось в первую очередь названных журналов и двух публикуемых там авторов: Михаила Зощенко и Анны Ахматовой.

Но вслед за постановлением началась массовая, по страницам столичной и местной прессы, проработка других изданий, допустивших те или иные ошибки, а также строгий, с пристрастием, разбор ряда театральных постановок и кинолент.

Осенью дошла речь до Леонова, и 15 октября 1946 года на него обрушилась «Комсомольская правда». Это конечно же было не равносильно постановлению ЦК, но риторика звучала примерно та же.

Леонов уже пережил в связи с «Метелью» одно постановление ЦК и травлю никак не меньшую, чем пришлась на долю Зощенко и Ахматовой (о чём впоследствии наше литературоведение предпочло забыть), а тут его снова буквально вписали в сообщники Михаила Михайловича и Анны Андреевны.

«Мы считали до сих пор, что партизанский командир — это человек несгибаемой воли, острого, проницательного ума, умеющий быть непререкаемым авторитетом для тех, кого он ведёт», — пишут авторы статьи В. Городинский и Я. Варшавский об одном из главных героев леоновской пьесы — командире Похлёбкине. По их мнению, «Похлёбкин не обладает ни одним из этих качеств. Это болтун, неумный, непрестанно ошибающийся человек, явно истерический, даже одержимый».

«Не менее нелепой фигурой является и инструктор райкома партии Полина Акимовна Травина, — продолжают авторы. — Она представляет партийное руководство в отряде и делает это как нельзя плохо. <...> Она, по воле автора, говорит настолько бедным и дубовым языком, что один из персонажей в конце концов резонно спрашивает её: “Да есть что-нибудь, окромя партбилета, в каменной груди твоей, хозяйка?”».

И далее:

«В пьесе “Лёнушка” Леонов явно соскальзывает на свою прежнюю, казалось бы, давно позабытую и осуждённую им самим стезю. Образы “Волка”, “Половчанских садов”, “Метели” не раз возникали в нашей памяти, когда мы читали пьесу. И здесь снуют притаившиеся кулаки, и здесь злейшему врагу предоставлена трибуна для своего рода “принципиальных высказываний”.

Изменник Степан Дракин, бывший кулак, перед партизанским судом дерзко издевается над своими судьями, но они ничего не могут сказать в ответ ему. Перед лицом смерти немецкий наёмник Степан Дракин говорит Похлёбкину: “Ты человек молодой, Василь Васильич. Дай тебе господь при полном коммунизме сон такой радостный увидеть, как бы мой сын жил...” Выслушав его, Травина не находит ничего другого, как, покачав головой, сказать присутствующим: “Слышали? Запоминайте... в ком ещё сомнение осталось!” Зачем надо запоминать злобную речь врага — остаётся неизвестным.

Во имя чего Леонов изображает советских людей какой-то бесформенной, тёмной массой?»

Сравним с постановлением ЦК ВКП(б): «Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зо-

щенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами».

Чтобы у читателей «Комсомольской правды» не оставалось сомнений, к чему дело клонится, авторы статьи прямо пишут, что в речи «Похлёбкина явственно слышатся интонации персонажей Зощенко, глумившегося над языком советского человека. Отвратительный жаргон Похлёбкина выдаётся за речь руководителя крестьян, при этом — в час народного горя. Этот Похлёбкин, выдуманный Леоновым, выглядит карикатурой».

Волна, поднятая публикацией в «Комсомольской правде», могла повлечь за собой, как и в прежние времена, десятки подобных статей и прочие крупные неприятности. Ни наличие орденов, ни прочие заслуги Леонова могли и не спасти — как не спасли они Михаила Зощенко, вскоре исключённого из Союза писателей.

Но за Леонова неожиданно резко, и уже во второй раз, вступился Константин Симонов в газете «Правда» спустя два дня — 17 октября.

Вполне возможно, что это было его собственной инициативой, согласованной наверху: Симонову были свойственны мужественные жесты — именно он, кстати говоря, в качестве редактора «Нового мира» первым решится опубликовать и подвергнутого обструкции Михаила Зощенко.

«...не будем разбираться в объективных и субъективных причинах, которые заставили В. Городинского и Я. Варшавского так долго — целых три года — вынашивать в себе этот, так сказать, критический крик души, — пишет Симонов. — Один кричит тогда, когда ему хочется кричать, другой кричит тогда, когда ему кажется, что, наконец, можно на кого-то накричать».

«Какие бы недостатки ни были в этой пьесе Леонова, — завершает статью Симонов, — но в ней есть большая душа, большая боль за Родину и народ».

Несмотря на заступничество Симонова, нехороший звонок уже прозвучал, и руководство Малого театра, куда Леонов сосватал свою «Золотую карету», неожиданно прекращает работу над спектаклем.

На то были две причины.

Во-первых, атмосфера и этой пьесы, если пользоваться терминологией Городинского и Варшавского, была «сумрачная и гнетущая». Не ко времени пьеса с такой атмосферой; в театре это понимали.

Во-вторых, до Леонова через вторые, если не третьи уста донесли слова Жданова: «Пусть Леонов только попробует поставить свою пьесу!» Жданов был внимательный читатель, этого не отнимешь у него.

Леонов, заметим, в это время вовсе не теряет в своём статусе, и даже напротив. В октябре его выбирают председателем правления Литфонда, тогда же он введён в состав Комитета по делам искусств. В ноябре в том же Малом театре создан Литературно-репертуарный совет под председательством Леонова — но при всём этом именно свою пьесу председатель Совета «разрешить» не в состоянии!

Что же это за пьеса была?

* * *

Действие лучшей, на наш взгляд, леоновской драматургической работы «Золотая карета» происходит в течение суток в маленьком городке сразу после войны.

Сам Леонов позже в интервью журналу «Театр» так вкратце подавал сюжет своего сочинения:

«Где-то за пределами пьесы, двадцать шесть лет назад, молодой бедный учитель Кареев полюбил хорошую девушку, Машеньку Порошину, дочь важного и сердитого чиновника с седыми бакенбардами, и был отвергнут. Незадачливому жениху было сказано в запале, что за такой невестой следует приезжать в золотой карете... Гонимый обидой, Кареев ушёл тогда из города, чтобы к началу пьесы, в первом акте, вернуться известным учёным, академиком Кареевым. Он приезжает со своим взрослым и холостым сыном Юлием; последнему, по ходу пьесы, приглянется Марька, дочь прежней Машеньки Порошиной, ставшей ныне председательницей горсовета Марией Сергеевной Щелкановой, всеми уважаемой и любимой "городничихой". <...>

Вырос сын и у друга юности Кареева, Непряхина, директора убогой местной гостиницы. Это — Тимоша; до войны — талантливый астроном, теперь — демобилизованный танкист, потерявший зрение на фронте. Тимоша — сверстник Марьки, товарищ её детства. Он горячо её любит, и Марьке предстоит сделать выбор между приехавшим из столицы "в золотой карете" сыном академика и другом детства».

В первой редакции пьесы Марька предпочитает сына академика юриста Юлия (которого в первой редакции зовут Яков Карев) ослепшему танкисту.

Понять её, наверное, можно: город, где живёт Марька, захудал и нищ, на детали этой нищеты Леонов не скупится, и ничего хорошего в такой разрухе девушку не ждёт.

Отдельной строкой стоит упомянуть отца Марьки — дезертира Чирканова (впоследствии Леонов переименовал его в Щелканова). Он возглавляет местное предприятие по изготовлению спичек. Выпускает брак: спички не горят. К тому же го-

товится сбежать из семьи с любовницей по фамилии Табун-Турковская.

Сам Чирканов в пьесе не появляется, но омерзение этот советский начальник вызывает и на расстоянии.

В центре сюжета первой редакции пьесы был полковник Берёзкин. Он-то как раз и приехал наказать Чирканова, умышленно сломавшего себе на фронте два ребра, чтобы его комиссовали.

В числе прочего Берёзкин хочет открыть чиркановской жене (градоначальнице Марии Сергеевне) и дочери (Марьке) правду о нём.

Но в финале Берёзкин раздумывает делать это.

Здесь очень важный момент.

Люстрация (то есть очищение социума путём жертвоприношений) по семейным, наследственным признакам — один из сквозных моментов во всех сочинениях Леонова.

Собственная судьба писателя, являвшегося бывшим белогвардейцем, судьба его отца, в годы Гражданской возглавлявшего Общество помощи воинам Северного фронта, а потом ставшего советским зэка, — всё это заставляло Леонова раз за разом возвращаться к размышлениям о том, насколько дети ответственны за деяния родителей.

Мотив этот есть в «Скутаревском», в «Дороге на Океан», «Волке», «Метели», «Нашествии», во многих иных вещах. Отец против сына, брат против брата, жена против мужа, дочь против отца и так далее до бесконечности. Не говоря о череде «бывших» в текстах Леонова — губернаторов, судей, купцов, провокаторов, каждый из которых несёт на хребте неприподъёмный крест своего собственного прошлого.

Всякий раз тему люстрации Леонов разрешает по-новому; но в целом картина мира, рисуемая им, остаётся чудовищной и неприглядной. В «Дороге на Океан» брат доносит на брата (и впоследствии доносчик, вроде бы и без связи с самим фактом доноса, лишён собственного человеческого счастья). Схожая коллизия, как мы помним, наличествует в «Метели». В «Нашествии» мать чурается меченного тюрьмой сына и восклицает, что «он наш», «он с нами» — то есть вернулся в семью, — только когда сын, казнённый фашистами, висит на виселице.

В мире Леонова жить, пожалуй, страшно.

И вот в «Золотой карете», едва ли не впервые, не происходит немедленное наказание и развенчание зла, или того, что в стране советской принято считать злом.

Берёзкин ничего не говорит жене и дочери негодяя Чирканова. И даже не сдаёт «куда надо» самого Чирканова — хотя с

самой войны хранит письмо, которое может жёстко скомпрометировать нынешнего советского провинциального руководителя.

Несмотря на это, никакой истовой веры в будущее героев и страны, в которой они живут, по прочтении пьесы всё равно не складывается.

Марька уезжает, и мать её, прозевавшая в юности свою «золотую карету», вослед дочери, в полном одиночестве, поднимает бокал: «...За горы высокие, девочка!»

Нет никаких сил поверить в эти «высокие горы», если оставляется первая любовь, — тот самый бывший танкист Тимоша, — ослепший, Боже мой, астроном — влюблённый в звёзды, которых он никогда не увидит.

Причём и какого-либо понятного выхода из сложившейся ситуации тоже нет. И это очередная примета Леонова: на какой бы высокой ноте он ни заканчивал свои сочинения, всем существом чувствуешь, что там, дальше будет не лучше — шагнёшь вперёд, и тебя сразу окружит вязкая неприютная тьма.

«Сложный путь»

Стараясь сделать своё писательское положение более прочным, Леонов всё-таки соглашался не на каждое предложение.

Весной 1947 года к нему обратился режиссёр Михаил Чиаурели. Поначалу Чиаурели работал в Госкинопроме Грузии, затем перебрался в Москву. Незадолго до этого, в 1946-м, он поставил «Клятву» — фильм о Сталине, понравившийся вождю, получивший и Государственную премию СССР, и Золотую медаль на МКФ в Венеции.

Чиаурели сообщил, что есть идея открыть специальную студию для создания серии эпических фильмов по истории России.

— «Сам» считает, что ты должен стать во главе, — сказал он чуть ли не шёпотом. — Нет, нет, ты не будешь писать. Ты будешь только возглавлять. Четыре машины дадут тебе — и всё необходимое.

— Миша, ты мне друг? — спросил Леонов. — Да? Тогда отговори его как-нибудь...

Однако в состав художественного совета при Министерстве кинематографии Леонов всё-таки был введён в апреле 1947-го.

В том же году Леонов входит в состав секретариата правления Союза советских писателей, а в декабре избирается ещё и депутатом Моссовета.

Но на судьбу его произведений это по-прежнему никак не влияло.

Ни одна пьеса, кроме «Нашествия», не шла. К декабрю 1946-го Леонов сделал четвёртую редакцию «Золотой кареты», и её всё равно не приняли к постановке. Пьесу опубликовали гектографическим изданием в нескольких десятках экземпляров. В ближайшее десятилетие её никто не увидит и не прочтёт. Не будут её ни ставить, ни издавать.

Вот тебе и дважды депутат, и орденоносец. Никого это не волновало!

В те годы он как-то скажет своему соседу по Переделкино Корнею Чуковскому, что «не может написать и десятой доли того, что хотелось бы».

— А вы думаете, почему я столько души вкладываю в теплицу?.. Или вот в эту зажигалку, которую сделал сам?.. — спросил Леонов у Чуковского. — Это торможение. Теплицы — это мой роман, зажигалка — рассказ...

Судя по публикациям, Леонов снова замолчит: почти на три года. Несколько статей в 1947-м, несколько в 1948-м, несколько в 1949-м. В докладной записке агитпропа ЦК М. А. Суслову «О недостатках в работе коммунистов сектора искусств» от 8 января 1949 года говорилось, что Леонов самоустранился от драматургической работы... А что они хотели?

Внутренне он, наверное, матерился — он умел. «На кой... чёрт я всем этим депутатством занимаюсь тогда, если мне писать всё равно не дают?!»

Все эти годы он понемногу возводил свою «Пирамиду». Писал карандашом, не призывая в помощницы машинистку, чтобы не настукивать компромат на самого себя... а уж его «микробий» почерк вряд ли бы кто разобрал, даже если бы захотел.

Новые книги у него, надо признать, выходят. Но состав вошедших в них текстов строго ограничен. «Избранное», выпущенное Государственным издательством художественной литературы в 1945-м, включает повести «Саранчуки» и «Взятие Великошумска», роман «Соть», пьесы «Нашествие» и «Лёнушка», пять публицистических статей. Ещё отдельным изданием в 1947-м выходят «Барсуки». Другие сочинения негласно к публикации не допускаются. Не ко двору! И это обидно Леонову, и хочется как-то исправить ситуацию.

Летом 1948-го он возьмётся за переработку «Дороги на Океан», потратит два месяца и бросит работу. Затем решится переделать «Унтиловск», просидит месяц и снова бросит. Это ж как самого себя в мясорубке проворачивать. Невесёлое занятие: сквозь железное сито просеивать каждое живое слово.

Причём внешне всё по-прежнему выглядит более чем благопристойно.

В январе 1948-го — Леонов в Киеве на торжествах в связи с 30-летием Украины.

В феврале, 5-го числа, выступает на вечере в ЦДЛ, посвящённом 75-летию Михаила Пришвина — который Леонова, заметим, никогда особенно не любил.

В марте, 10-го, отбывает в Венгрию на празднование столетия венгерской революции и проведёт там четыре дня, в компании, кстати, с Климом Ворошиловым.

Пишет по этому поводу для «Правды» обстоятельную статью «Венгерская весна», она будет опубликована 31 марта:

«Особое сердцебиенье возникает в нас всякий раз на народных демонстрациях, когда массы осознают свою силу, собственным локтем чувствуют слитность своего порыва, сами видят грозную стройность своих рядов. Две таких демонстрации в Будапеште мы простояли до самого конца. Вечером четырнадцатого марта состоялось факельное шествие к Национальному музею. Гремели духовые оркестры, и несчитанные сонмы испуганных будапештских воробьёв шумно перекочёвывали с дерева на дерево по мере приближения звуковой лавины. <...>

В день отъезда, по приглашению президента Республики, мы отправились на Балатон. Нам и самим очень хотелось взглянуть на знаменитые места, которые ещё Людендорф считал самым опасным протоком к сердцу империи и где впоследствии Толбухин смолол и расшвырял правый фланг германской обороны... Сперва шёл дождичек, такой нужный в это время, но потом погода разветрилась, и розовато окрасились дали. Тотчас за Секешфехерваром нам попался по дороге обычный крестьянский базар. Там в рядах стояло множество сытых коров, выведенных на продажу. Мы вылезли из машин, и тотчас нас окружила толпа крестьян, простых мадьярских мужиков, очень похожих на наших — с Полтавщины, либо с Черниговщины. Они узнали президента, узнали Ворошилова, узнали Ракоши (генеральный секретарь Венгерской коммунистической партии. — *З. П.*), сопровождавшего нас в поездке. Какое-то дружное, несдержанное душевное движение произошло среди этих людей, и вдруг одна могучая, ещё довольно свежая старуха вытащила из-за пазухи заветный мешочек на шнурке, что у нас называется гайтаном, извлекла из него билет коммунистической партии Венгрии и показала его Ракоши».

Такие впечатления о поездке обнародовал Леонид Максимович. Не знаем уж, что там на самом деле происходило, в стране, ещё недавно бывшей союзницей Гитлера.

Летом Леонов едет в Польшу, во Вроцлав, на конгресс деятелей культуры в защиту мира.

Осенью активно участвует в праздновании пятидесятилетия МХАТа — того самого, где были запрещены и похоронены две его пьесы.

Зимой он опять на Украине, на этот раз на съезде писателей.

В 1949-м дважды съездит в Болгарию, затем в Финляндию. Примет участие в торжествах, связанных со 125-летием Малого театра — в который так и не въехала «Золотая карета».

Власть не оставит без внимания леоновский юбилей: в мае ему исполнится пятьдесят.

Первого июня 1949 года «Литературная газета» выйдет с поздравлением на первой полосе: «Дорогой Леонид Максимович! Нам хорошо виден ваш большой и сложный творческий путь...»

Не только «большой», но и «сложный»: неслучайное словцо. И — «нам хорошо виден». Вроде как в сказке: высоко сижу, далеко гляжу. Хорошо видим, как вы тут сложно петляете, дорогой юбиляр. Всё запутать нас хотите.

Подписались: Фадеев, Симонов, Тихонов, Вишневский, Федин, Эренбург... И Эренбург, и Вишневский юбиляра несколько недолюбливали; с Фединым тоже были сложные отношения — в личном дневнике он писал о друге Лёне хорошо, в разговорах сплошь и рядом отзывался несколько иначе. Зато Фадеев, в более поздней публицистике своей, неожиданно — и, верится, вполне искренне — назвал Леонова в числе своих учителей.

Чуть раньше прошли два вечера, посвящённых Леонову.

Первый, 16 мая, провели Всероссийское театральное общество и Центральный дом работников искусств — он был посвящён драматургии Леонова. Вёл вечер главный режиссёр Московского театра революции, популярный киноактёр Николай Охлопков. Артисты Театра имени Моссовета и Московского государственного театра сыграли отрывки из «Нашествия» и «Обыкновенного человека».

Тридцать первого мая состоялся вечер уже в Центральном доме литераторов. Открыл его, как глава Союза писателей, Николай Тихонов. Доклад о леоновском творчестве прочёл критик Евгений Сурков. Приветственные речи произнесли Борис Горбатов, Владимир Ермилов, Самуил Маршак, Иван Соколов-Микитов... От МХАТа выступил Пётр Марков — вот он-то действительно Леонова любил. Были представители от Малого театра и Московского театра драмы. Артисты прочли со сцены несколько фрагментов из прозы Леонова... В общем, всё как полагается.

Сохранилось фото с того вечера: Леонов в изящном пиджаке, серьёзный, красивый, без единого седого волоса; на столе пред ним — букет сирени. Рядом за столиком Александр Чаковский, Лев Соболев, Александр Жаров, Константин Федин...

Осенью Леонову присвоят звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». «Избранное», правда, и в 1949 году выйдет в маловарьируемом прежнем составе.

Здесь иной читатель, памятуя о судьбе Зощенко или Платонова, может вспомнить поговорку, что, мол, у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий; и отчасти замечание покажется верным. По крайней мере, если брать в расчёт именно 1949 год: потому что в предыдущие годы Леонова прорабатывали и трепали немногим меньше, чем обоих вышеназванных.

Но мы о другом хотели сказать. После войны появилось уже новое поколение читателей, для которых Леонов как общественный деятель становится известен всё более и более, однако образ его как литератора постепенно оказывается существенно усечённым. В прокрустово ложе соцреализма не помещается подавляющая часть написанного им — и всё это остаётся за пределами читательского внимания. Так вместо разнообразного, свободного, страшного, упрямого, себе на уме Леонова появлялся Леонов монументальный, орденоносный, однозначный.

Начало нового романа

Как всякий леоновский роман, «Русский лес» начинался с нескольких мимолётных, но слепительных (леоновское слово), как фотографическая вспышка, впечатлений.

Мысль написать книгу о лесе пришла ещё в 1926 году; но тогда иные вещи были на повестке дня.

Однако возникший замысел постепенно дополнялся то одним впечатлением, то другим.

Летом 1932-го шёл Леонов по улице и увидел девушку, будто бы слегка летевшую по-над землёю. Олицетворение счастья и чистоты — вот так она выглядела. Тут и зародился образ Поли Вихровой с её светлым, наивным взглядом, с её улыбкой, обращённой к миру.

Но до романа опять дело не дошло: если в первой половине 1930-х Леонов был заворожён социальным экспериментом, происходящим в стране, то вторая половина тридцатых одарить долгим дыханием роман никак не могла — воздуха не хватало. А следом война...

Потом был неуспех с постановкой «Золотой кареты», снова выбивший Леонова из колеи, заставивший писателя взять новую паузу.

И здесь, наконец, сложатся такие обстоятельства, что буквально подвигнут писателя к созданию новой книги.

Стоит вспомнить, что все, начиная с «Соти», свои романы и все, начиная с «Половчанских садов», пьесы Леонов делал буквально с натуры: большое строительство, репрессии, война...

Другой вопрос, что всякий раз, когда Леонов пытался взять действительность голыми руками, — ему приходилось долго после этого лечить ожоги.

И выбор всегда был простой — либо публиковать текст, либо спрятать его, как повесть «Evgenia Ivanovna» или роман «Ангел»: к 1947-му он уже собрал в синюю папку рукопись «Ангела» в 17 авторских листов и отдал жене на хранение — мечтать о публикации подобной книги было бессмысленно.

В случае с «Русским лесом» Леонов снова пытается идти «на вы», с открытым лицом... Однако делать это всё сложнее, и ему придётся соглашаться на компромиссы, о которых мы ещё вспомним.

Но он прислушивается к жизни — и, не в силах смолчать, начинает реагировать на неё.

Сначала, в 1947-м, в Моссовете, где Леонов приступил к депутатским обязанностям, созрел план озеленения столицы.

Одновременно появилось Постановление правительства РФ об учреждении Общества друзей озеленения.

Только что вышедшая из ужасной войны Советская Россия почти немедля взялась за свой внешний облик.

Леонову все эти — признаем, благие — деяния власти были безусловно по душе.

Двадцать восьмого декабря 1947 года в газете «Известия» публикуется его статья «В защиту Друга»: о глобальных проблемах лесопользования, об исчезновении посадок в Москве, о варварском отношении к «зелёному другу» по всей стране.

Несмотря на то, что власть вопросом охраны природы уже отчасти обеспокоилась, голоса, подобные леоновскому, были внове. Публикация его статьи произвела натуральный фурор. В редакцию пришли десятки писем, отклики на материал публиковались не только в «Известиях», но и в других газетах. В 1948 году вышел специальный сборник «В защиту друга», изданный Всероссийским обществом содействия строительству и охране зелёных насаждений. Под непосредственным влиянием леоновского призыва в Грузии образовалось общество «Друг леса»; а затем подобные организации появились и в Центральной России.

Но самое главное, что леоновский голос легализовал больную тему в среде самих лесников.

Евгений Лопухов, в разные годы занимавший крупные должности по лесохозяйственной части вплоть до замминистра лесной промышленности СССР, вспоминал обсуждение назревших

проблем в коллегии Главснаблеса, произошедшее уже через несколько дней после публикации в «Известиях». Последняя фраза в леоновской статье была такой: «Кто просит слова, товарищи?» Статью прочли вслух, и люди отреагировали на финал статьи буквально: все подняли руки. У всех уже было что сказать.

Получив огромное количество откликов, Леонов понял, какую серьёзную тему он затронул: одними публицистическими выпадами тут уже было не обойтись.

Понемногу образовался новый круг леоновского общения: профессор Московского лесотехнического института Н. П. Анучин, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии Г. Р. Эйтинген, профессор, автор многих книг по лесоведению М. Е. Ткаченко, множество разного калибра деятелей лесного хозяйства — от серьёзного начальства до рядовых лесников.

С присущей ему въедливостью Леонов приступил к изучению лесной науки: начиная с первых упоминаний о лесе в древнейшие времена и до последних теорий ботанического ресурсоведения. Писателю несли папки с министерской статистикой, все доступные книги на тему леса, подборки «Лесного журнала» за сто лет (свыше тысячи книг!) — и всё это он самым внимательным образом прочёл. Одновременно не забывая следить, как обстоят дела с лесопользованием в текущее время.

В 1949 году был запущен в ход сталинский план преобразования природы, предусматривавший в числе прочего широкомасштабные посадки леса. Дело изначально разумное начали исполнять чрезмерно ретиво, без должной научной подготовки, без необходимых консультаций у настоящих «лесных» специалистов. В итоге уже к концу года стало ясно, что план посадок не выполняется и на четверть от задуманного. Идея откровенно проваливалась.

Притом что общее отношение к лесу было по-прежнему чудовищным. В том же 1949-м Государственную премию СССР получил Василий Ажаев с романом «Далеко от Москвы», где бульдозерист, прущий по «зелёному другу», восклицает: «Так её, тайгу! Врёшь, поддашься! Не устоишь... Круши её!» Любопытный факт: отрывок этот под характерным заголовком «Наступление на тайгу» был повторён в нескольких изданиях учебника «Родное слово» для 4-го класса начальной школы.

Как тут было смолчать...

* * *

«Начали ездить по лесам, — вспоминал Евгений Лопухов. — Визиты в лес стали всё чаще и чаще. И по разным географическим параллелям: Шипов лес, Хреновский бор, Алек-

сеевская роща, Тульские засеки, Лисинские лесничества, северная тайга.

Поездки были разные, не похожие одна на другую. Некоторые из них, особенно далёкие, отличались и большой длительностью. Например, выезд в Вологодскую область занял несколько недель. И не в весну, когда тянет в природу, без комфорта, по тяжёлым дорогам, в таёжный лес европейского севера; с южной стороны этот лес граничит с Костромским Пошехоньем и с Чухломой».

«На одной из прогулок в Тульских засеках нам встретились два дуба, — рассказывает Лопухов. — Возможно, что это были последние такие дубы в России. Перед глазами были деревья-гиганты. Он (Леонов. — *З. П.*) долго-долго гладил их по коре, эти феноменальные явления природы с классической формой ствола, с далеко ушедшей в высь мощной кроной. Их рождение следует отнести если не к Святославу, то ко времени Василия Тёмного, и уж во всяком случае не позже Ивана Грозного. Стоял и долго молчал. Помню, в этот момент проф. Г. Р. Эйтинген его сфотографировал. А затем метрах в ста сели у бревна, и завязалась продолжительная беседа. Говорили о дубе. В центре разговора — дубравы Родины: Брянские, Казанские, Воронежские. Помню, как среди большого разговора о дубе было высказано мнение, что мы потеряли от небрежного хозяйствования драгоценную северную расу».

Леонов, по словам Лопухова, «...желал отлично знать современный механизм лесного дела. С этой целью Леонид Максимович заходил к лесорубам на делянки и на лесовывозные трассы. Кроме того, посещал кордоны, знакомился там с лесниками... <...> Поездки были не без происшествий. Двигаясь ночью из Тульских засек, попали в катастрофу. Авария произошла на шоссе Москва—Симферополь. Спаслись чудом. Наша машина, потеряв управление, повернулась на девяносто градусов и пошла на большой скорости поперёк шоссе. В это время сзади на большой скорости следовал по пятам тяжёлый междугородний автобус. И буквально доли секунды разделяли от столкновения двух движущихся масс. И одна из движущихся масс — наша машина — сваливается под откос. В придорожной канаве, толчками и бросками из стороны в сторону, гасилась её живая сила».

Помолчали и начали вылезать. Кости у всех целы остались.

Так Леонов, в который уже раз, после неоднократного риска то ареста, то расстрела, то иной напасти в Гражданскую, после едва не сорвавшегося в пропасть автобуса в Средней Азии, после ужаса 1937-го, 1938-го, 1939-го и 1940-го, после бомбёжек Великой Отечественной, ещё раз заглянул за край...

* * *

В те послевоенные годы Лопухов и упомянутый выше профессор Московского лесотехнического института Анучин организовали общественную дискуссию, выступая с требованием восстановления кафедр лесоводства в лесных вузах. Ответственные и мужественные люди, они хотели реабилитировать принцип постоянства пользования лесом.

И попали под жёсткую критику тех лесоводов, которые, по правде говоря, лесоводами и права не имели именоваться.

Леонов узнал имя П. В. Васильева — который позже попортит здоровье и самому Леониду Максимовичу. В книге «Сокровища советских лесов», изданной в 1949-м, Васильев утверждал, что в малолесных районах страны — не говоря о тех, где леса много, — вырубать лес можно смело, никуда он не исчезнет, хватит ещё хоть на тысячу лет.

Васильев был доктором экономических наук, работал в Институте леса Академии наук СССР заместителем директора и на правах экономиста неустанно требовал «расширенного» лесосводства.

Анучин, как мог, отвечал Васильеву в журнале «Лес», оспаривал его высказывания, но последний был куда более ретив и резок, действовал сразу по нескольким направлениям, в числе прочего посылая письма в самые высокие инстанции.

Так, в декабре 1949 года он писал второму на тот момент человеку в партии Георгию Маленкову: «Я считаю, что в настоящее время совершенно необходимо, чтобы защищаемые Н. П. Анучиным и Е. И. Лопуховым взгляды были рассмотрены и соответствующим образом оценены в Центральном Комитете нашей партии, с опубликованием выводов в нашей партийной печати».

Маленков начертал на послании Васильева несколько резолюций, требуя обсудить поднятые вопросы на бюро по сельскому хозяйству и заготовкам, и отдельно рекомендовал разобраться с Анучиным и Лопуховым товарищу Берии, что, впрочем, не должно вызывать у читателя болезненный трепет, так как Лаврентий Павлович занимал в тот момент должность заместителя главы правительства, а не главы НКВД.

Однако лесоводам Анучину и Лопухову всё равно досталось так, как в иные времена не раз доставалось и самому Леонову.

Двадцать седьмого октября 1950 года коллегия Минлесхоза СССР, рассмотрев докладную записку Васильева в ЦК ВКП(б) «О некоторых антибольшевистских теориях и делах в области лесного хозяйства», объявила, что «статьи тт. Анучина и Лопухова вносят путаницу в понимание принципа постоянства пользования и свидетельствуют о неправильной по данному

вопросу позиции авторов названных статей. <...> Термин "постоянство и равномерность пользования лесом" и содержание этого принципа наносят вред и засоряют советскую лесную терминологию и поэтому должны быть изъяты из практического употребления».

Леонов начал писать «Русский лес» за девять месяцев до этого постановления, в январе 1950 года. Роман только-только набирал силу и вес, работать над огромным текстом предстояло ещё три года, и у Леонова были наглядные основания бросить к чёрту это болезненное дело — раз оно сулит очередные неприятности.

Тем более что главный герой романа, лесной профессор Иван Вихров, писался с Анучина (но не с него одного); и Леонов недвусмысленно стоял на позициях, занимаемых побиваемыми в тот момент учёными.

В ноябре 1953 года, когда роман уже начал публиковаться в печати, вышло постановление ЦК партии о ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности, что фактически означало приказ о новом увеличении темпов рубки леса.

Нет, с этим нужно было воевать в полную силу. Отступать было некуда.

Плата за гражданство леса

С точки зрения социальной, «Русский лес» больше чем книга — это деяние, поступок, подвиг. Недаром и доныне в Российском музее леса имя Леонида Леонова почитается наравне с именами корифеев лесной науки.

Леонов, писатель, слышимый всей страной — в отличие от малоизвестных советскому народу лесоводов, — чуть ли не в одиночку инициировал масштабные процессы, связанные с темой спасения природы. Сам термин «экология» ещё не был тогда распространён; однако именно Леонов был первым, со всероссийским именем, экологом.

Шум от «Русского леса» стоял едва ли не два десятилетия подряд; роман стал своеобразной библией и оберегом для тысяч честных лесников, которые при помощи леоновского слова отстаивали пресловутые гражданские права леса.

С точки зрения общекультурной, книга эта стала первоосновой для возникновения прозы «деревенской», почвеннической.

Но стоит признать, что собственно на леоновскую литературную биографию роман этот в конечном итоге повлиял отрицательно. В «Русском лесе» есть множество замечательно написанных страниц, есть классически сделанные сцены; од-

нако сама атмосфера этой книги ныне кажется выхолощенной, неживой. Леонов вынужденно использовал в романе бесконечные трафареты соцреализма, может быть, впервые поставив тему повествования превыше своего права на честное художественное слово.

О событиях, описанных в предыдущих романах и повестях Леонова, можно с уверенностью сказать: да, в действительности было не только так, но было и так — как то происходит в «Барсуках», в «Соти», в «Дороге на Океан».

А вот о «Русском лесе» повторить подобное куда сложнее: скорее Леонов описал, как могло бы быть; но всё было несколько иначе, а чаще всего — совсем иначе. Пред нами бесконечно идеализированная картина — и когда к холсту прикасаешься, остаётся ощущение лака.

Сегодня это особенно очевидно, но отчасти было понятно и вчера, и позавчера; и несколько десятков миллионов советских людей, читавших эту книгу (а она переиздавалась 25 раз — и огромными тиражами), с каждым годом чувствовали выхолощенность романа всё острее.

Притом что мы не являемся огульными критиками социализма в России и далеки от взгляда на эти времена как на безусловно мрачные и дурные, роман Леонова оставляет томительное ощущение внешней фальши. О том же сразу по выходе романа говорил, к примеру, такой мудрый читатель, как Александр Твардовский; да и не только он. Корней Чуковский даже в пересказе Леоновым ещё не написанного романа обнаружил и «неправдоподобие», и «литературность».

Пресный вкус полуправды способен разъесть даже самое святое и светлое дело — в «Русском лесе» послевкусие это слишком явно. И, как ни печально, сегодня с помощью леоновского романа уже не заступиться за землю, за почву и за несчастный лес, вырубаемый ныне в десятки раз (это не метафора) более нагло, чем при Советах.

Слишком много в романе полупоклонов советской власти, которые Леонов делает малоспособной к гибкости шеей и не самым искренним словом.

Тональность он задаёт с первых же строк, вопрошая: «...что могло случиться со студенткой в Советском государстве, где, кажется, самая молодость служит охранной грамотой от несчастий?»

Предвоенная Советская Россия в подаче Леонова, до сих пор куда более внимательного, въедливого, если не сказать — мрачного, неожиданно начинает сиять, как асфальтовая дорога, политая в июньский день серебряной водой из поливальной машины.

Герои, сплошь и рядом, изъясняются сентенциями вроде: «Я твёрдо верю, Варя, что коммунизм призван истребить боль, зло, неправду, то есть всё некрасивое, бесформенное, низменное... и, значит, коммунизм, кроме всего прочего, есть совершенная красота во всём». Никто не спорит, что советские студентки в 1941 году вполне могли произносить и не такое — куда важнее, что в иных своих сочинениях Леонов оставлял право за собой и за своими героями высказывать вещи иного, зачастую противоположного толка. А вот «Русский лес» в этом смысле оказался почти стерилен.

Коммунисты, которые в каждом предыдущем романе Леонова были, напомним, бездетны и по характерам явно неоднозначны (а часто — откровенно неприятны), в «Русском лесе», как на подбор, добры, красивы, грамотны, статны, честны. И дети у них есть, и ошибок они не совершают вовсе, а из недостатков за ними замечена лишь излишняя прямолинейность. И большие коммунистические начальники, и секретари партячеек всегда начеку и в любую минуту готовы прийти притесняемым на помощь. Даже непонятно становится, как при наличии такой мудрой партии главному герою книги леснику Вихрову терзали душу и мешали работать добрых двадцать лет (не забывая валить леса по всей стране).

Возникает ощущение, что Леонов изо всех сил заговаривает цензуру и въедливых критиков, чтобы выиграть в другом: в самом важном. Он не оступается и в малую антибольшевистскую ересь, чтоб его не поймали за руку и не испортили всю работу разом: никакой свинцовой тяжести в воздухе, никаких намёков на жестоковыйное время, ничего предосудительного. Он раз за разом разменивает высокую честь своего дара, чтобы расплатиться этой непомерной ценой за гражданство леса.

Но кто посмеет обвинить Леонова в том? Быть может, порой такая размена оказывается выше и честнее откровенной фронды или брезгливого молчания...

Пред Леоновым стояла другая задача: отбить русский лес от хваткиx и цепких рук людей злых и неумных. В романе всё работает на эту цель. В итоге лесу Леонов помог, но книгу, как чтение для читателя, а не для исследователя, едва ли не загубил.

Памятуя о том, что с конца 1980-х Леонов, на удивление крепкий ещё старик, имел возможность в течение добрых восьми лет переправить свои романы с учётом нескольких ставших очевидными истин, можно было бы удивляться, отчего он это не сделал со всеми своими книгами.

Но, перечитывая их спокойно и беспристрастно, понимаешь, что, скажем, «Соть» и «Дорогу на Океан» править было

вовсе незачем: Леонов там сказал почти всё, что хотел и как хотел. Если и были там ошибки — то предельно честные, которые в конечном итоге ценнее всякого задним числом привнесённого прозрения. А вот «Русский лес» править не имело смысла — его нужно было бы переписывать заново, с чистого листа, меняя каждую судьбу, ломая весь сюжет и всю стилистику. И Леонов это знал.

Вместе с тем глупо было бы говорить, что «Русский лес» вовсе лишён художественной силы.

В романе, как всегда, содержится большое количество умышленных недоговорённостей, разветвлённых отсылок к религиозной и светской литературе, соцреализму откровенно несвойственных; хотя и традиционные поминания учения Маркса и Энгельса тоже есть, как без них.

Архитектоника романа выполнена очень любопытно: несколько десятков героев действуют в течение сорока лет — и выглядит это почти органично; впрочем, наличествует ряд слишком уж литературных перекрестий в судьбах персонажей и маловозможных на огромных просторах страны встреч тех героев, которым встретиться надлежит; но этот недостаток присущ вообще всем русским классическим эпопеям XX века от «Жизни Клима Самгина» и «Хождения по мукам» до совсем уже в этом смысле карикатурного «Доктора Живаго».

Леоновская афористичность, леоновские пейзажи, леоновская манера письма часто завораживают, несмотря, опять же, на возникающее порой лёгкое отчуждение от очевидных — то здесь, то там — плакатных советских мазков и от нарочито сложной и преисполненной излишней патетики речи почти всех героев. Но это, надо сказать, вообще свойственно ранней и поздней леоновской прозе. Только ранняя его проза строилась по образцу сказа — и в сказах такие речевые характеристики персонажей вполне традиционны; а поздняя тяготеет к народному эпосу, также допускающему сходную, «высокую» манеру изъяснения героев. (В «Белой ночи», «Дороге на Океан» или в довоенных пьесах леоновские герои изъяснялись вполне, что называется, по-человечески.)

Зато Леонов, заметим мимолётно, одарил в «Русском лесе» авторов кинокартины «Летят журавли» волшебным названием фильма и самой метафорой в этом названии заключённой. То ли режиссёр Михаил Калатозов, то ли автор сценария фильма Виктор Розов, читая «Русский лес», заметили, как раненый боец в романе Леонова бессознательно повторяет слова про летящих журавлей — и читатель понимает, что птицы в небе были последним, что он увидел на свете. Пролетающих журавлей, как мы помним, видит и смертельно раненный герой фильма.

Затем Леонов употребляет в разговоре о любви словосочетание «обыкновенное чудо» — и оно впоследствии послужит названием для одноимённой пьесы Евгения Шварца.

Вихров и Грацианский

Один из самых интересных конфликтов в романе — взаимоотношения двух главных героев: Ивана Вихрова и его антагониста Александра Грацианского.

Вихров — автор многих работ о судьбе русского леса, истинный патриот России и при этом большевик в очень малой степени — сам поясняет своему товарищу, большому партийцу, что шёл к революции «лесом»: своими, путаными путями.

Грацианский — личность почти омерзительная, паразитирующая на Вихрове за счёт своей ортодоксальной, крикливой, яростной левизны (и слово «левизна» в отношении Грацианского в романе несколько раз звучит). Он — никакой учёный, зато яростный и признанный полемист, неустанно и жёстко бьющий Вихрова в своих статьях. Вихров болеет об исчезающем лесе, а Грацианский обвиняет коллегу в том, что деревья ему дороже великих социалистических строек, которым, понятное дело, древесина крайне необходима.

Далее Грацианский копает ещё глубже, говоря о том, что революции, как кипящей лаве, не дóлжно останавливаться никогда — иначе её саму ждут печальные последствия.

Вихрова Леонов рисует, естественно, не только с лесоведов, но и с себя: мало ли его, русского писателя, прорабатывали и терзали ортодоксальные «левые».

Прообразом Грацианского послужили тоже не ортодоксы лесоводчества, а несколько литературных деятелей. Во-первых, мы назовём печально известное имя Павла Ивановича Лебедева-Полянского, с октября 1922-го по июль 1931-го занимавшего должность заведующего Главлитом. Это он ввёл традицию контроля над радиовещанием, инициировал изъятие из книжного рынка и библиотек «вредной» литературы, организовал идеологически-политический анализ выходящей литературы и т. д. и т. п. Лебедев-Полянский подарил Грацианскому одну своеобразную свою привычку: подбривать лоб, чтобы он казался выше... «Сологубовский тип» — так определял Леонов Лебедева-Полянского.

Помимо того, в фамилии Грацианского отдалённо угадываются авторы нескольких пасквилей на Леонова, — скажем, последнего по времени выхода, сочинили который В. Городинский и Я. Варшавский. Подобно Михаилу Булгакову в «Мастере и

Маргарите», Леонов не преминул поддеть коготком своих цепких и языкастых недоброжелателей. Только если у Булгакова критики подвергаются разнообразным надругательствам, свершаемым нечистой силой, то Леонов обходится помощью Поли Вихровой, дочери лесовода, выливающей чернильницу на голову Грацианскому. О, с каким бы наслаждением Леонов сам опорожнил бы чернильницу над головами иных своих критиков!

«Кто давал право Грацианскому, — вопрошает один из героев «Русского леса», — на острейшие политические обвинения, какие могут быть предъявлены лишь соответствующими статьями советских законов... да и то после обстоятельного расследования?..»

Этот вопрос сам Леонов мог не раз риторически обращать ко всем городинским и варшавским, в самые дурные времена обвинявшим писателя то в «троцкизме», то в «очернительстве», то в «клеветничестве», то в иных, в прямом смысле для того времени смертных грехах.

Вихрову (как чуть ранее белогвардейцу Протоклитову) Леонов дарит одно из явных своих детских воспоминаний: маленький Ваня, как Лёна когда-то, несёт на похоронах икону, один, впереди провожающих усопшего.

«Все шли на погост пустые, — пишет Леонов, — лишь Ивашка с иконой, к великой зависти Демидки Золотухина. Тот всё набивался подсобить, понести священный предмет шажочков тридцать пять; но хотя Иван и осознавал, что получать удовольствие следует наравне с другими, понимал также, что тот потом не вернёт.

— Тяжёлая? — через каждые пять шагов спрашивал Демидка про икону.

— Средне так... в общем, ничего себе, — с непонятным видом уклонялся Иван».

Вихров постарше Леонова: ему довелось участвовать в Первой мировой, там он был ранен и охромел, но и ранение произошло во время разгрома самсоновской армии, известие о котором буквально ошарашило, как мы знаем, пятнадцатилетнего подростка Леонова.

Зато первые книги писателя и его героя выходят в одно и то же время — в начале двадцатых.

Примерно в то же время, что и Леонов, Вихров пережил «крупнейшую творческую неудачу» — в 1936 году его проработали так, что лесовод едва сохранил голову на плечах. Самые болезненные «творческие неудачи» Леонова, напомним, пришлись на 1939-й и 1940-й.

От поражений и печалей лечился Вихров тоже по-леоновски: в бане.

От печальных последствий огульной критики Вихрова спасает однажды добрая статья, опубликованная в партийной печати: как тут не вспомнить неожиданную здравицу Марка Серебрянского в честь Леонова в «Известиях», в 1939-м, и уже послевоенное заступничество Константина Симонова в «Правде».

Мало того, в «Русском лесе» Леонов пародирует одну уже описанную нами сцену, случившуюся в Переделкине в упомянутом 1939-м: когда жена Леонова пошла к Фадееву узнать о дальнейшей судьбе распекаемого в пух и прах мужа, а Фадеев даже не принял её, разговаривая со второго этажа своей дачи. В «Русском лесе» сам Вихров идёт к своему бывшему товарищу, пробившемуся в большие чиновники. Дальше всё происходит как в Переделкине: у товарища гости, слышны их весёлые голоса, Вихрова не пускают и разговаривают с ним с балкона...

Говорить, что Вихров схож с Леоновым исключительно положительными своими чертами, не совсем верно. Вихров — как и Леонов — одержим своей работой настолько, что не замечает близких. Характерно, что лес в романе — опоэтизированный, бесконечно красивый — почти всегда дан со стороны любующегося, восхищённого взора Вихрова. Но вот дочери своей, Поли, отец не видит. Поля, жившая с ним до пяти лет и вернувшаяся в отцовский дом в восемнадцать, описывается только закадровым авторским голосом. Лесовод все глаза на лес проглядел.

Кстати, характерный момент: у Ивана Вихрова в отношениях с детьми очевидные проблемы. Мало того что дочь его воспитывалась отдельно, он и на своего пасынка не способен повлиять. Взрослых, достойных учеников, способных защитить вместе с ним лесное дело, — тоже не наблюдается. Вихров одинок, и не мешало бы добавить, что в первом варианте романа «Русский лес» его дочь Поля должна была погибнуть (жена, Татьяна Михайловна, уговорила Леонова «девочку не убивать»).

И счастливый финал окончательного варианта романа тоже сомнителен: Поля, её жених и пасынок Сергей встречаются с Вихровым пред тем, как все трое снова отправятся на фронт. На дворе 1942 год, и неизвестно, вернутся ли они...

Но Леонов не был бы самим собой, если б неоднозначность прочтения его книги заключалась только в образе Вихрова.

Порой кажется, что создавая в своих текстах потайные переходы и закладывая в самых неожиданных местах тайники, Леонов делал это вовсе не для близорукой критики. Скорее он был одержим некоей манией: запутать не только самого въедливого и, может, ещё не родившегося читателя, но и самого Творца.

Мы ведём вот к чему. Есть основания удивиться, что Грацианский, вызывающий у автора «Русского леса» очевидное омерзение, вместе с этим раз за разом отражает ереси, ужасы и заблуждения самого Леонова.

Грацианский выдаёт себя с головой, едва появившись в романе: в бомбоубежище он случайно встречается с Полей Вихровой, приехавшей в Москву из деревни, и, в числе прочего, живописует ей свои невесёлые представления о будущем человечества.

Грацианский рассказывает о «промежутках покоя», которые необходимы человечеству в перерывах между войнами «в целях накопления жиров и средств для будущего столкновения». Однако, по мнению учёного, эти паузы «по мере роста промышленных возможностей и соответственного усложнения отношений... <...> будут всё более сокращаться, пока человечество не образумится... или не превратится в газовую туманность местного значения, когда его разрушительный потенциал подавит окончательно потенциал созидательный».

Дело в том, что мысли, изложенные Грацианским, являются едва ли не основополагающими в миропонимании автора «Пирамиды» — и, более того, именно оттуда, из первого варианта романа, как нам кажется, они и извлечены.

Однако наделить во всех смыслах положительного Ивана Вихрова недобрыми своими предчувствиями Леонов никак не мог и посему щедро делился своим пессимизмом с Грацианским.

Иван Вихров, зашедший к давнему своему недругу в гости, ничтоже сумняшеся берёт в отсутствие хозяина его личный дневник и, не в силах остановиться, читает.

На последних страницах дневника Грацианский вкратце набрасывает свою теорию конструкции космоса, словно бы пародируя Леонова, который более подробно пишет о том же самом в «Пирамиде».

Более того, Грацианский, всерьёз раздумывающий о самоубийстве, вдруг, вослед за Леоновым и даже опережая его, озвучивает то, что мучило писателя целую жизнь: тему ошибки Бога, сотворившего человека.

«Хотение смерти, — пишет Грацианский, — есть тоска бога о неудаче своего творения».

И далее идёт ещё одна мысль о самоубийстве: «Э т о есть единственное, в чём человек превосходит бога, который не смог бы упразднить себя, если бы даже пожелал».

Помимо созвучного интереса к важнейшим и болезненным для Леонова вопросам — грядущее самоуничтожение планеты, строение космоса и божественная неудача с человечиной —

Грацианский то здесь, то там словно пародирует сам характер писателя. То выясняется, что он вовсе не пьёт спиртного и живёт почти затворником. То называет «рукодельем» свои сочинения — а это любимое словечко Леонова по отношению к своим писаниям. То, как Леонов же, питает интерес к архивам — где на Грацианского, как и на писателя, хранятся нехорошие материалы. То на пике известности отказывается от «довольно лестного поста» — будто бы из скромности, но прозорливый большевик в романе вопрошает риторически о Грацианском: что, может быть, он «...побоялся связанного с этим слишком пристального общественного внимания?». Есть основания предположить, что и Леонов долгое время то приближался к власти, то самочинно избегал её, опасаясь того самого чрезмерного интереса общественности.

Наконец, в странной щедрости Леонов дарует Грацианскому одно из самых любимых присловий собственного сочинения, что «только в могилу можно дезертировать из истории». Он потом не раз будет повторять эту фразу в своих интервью, и никто не заметит (или вида не подаст), что Леонид Максимович цитирует отчего-то не что-нибудь из вихровских высказываний, а максимы его антипода.

В завершение далеко не полного перечисления знаковых совпадений заметим, что Вихров — несомненный атеист, чего, как мы отметили выше, о Грацианском не скажешь. Он-то, напротив, в Бога верит, но пытается то ли оспорить, то ли критически осмыслить его деяния. И в этом случае Леонов опять же ближе к еретику Грацианскому.

В итоге получается так, что будто бы несовместимые Вихров и Грацианский — подобно игральной карте — являют собой одну сложносочинённую душу, леоновскую, где то ли Вихров на Грацианского смотрит снизу вверх, то ли наоборот.

И ничего унизительного для Леонова в наших утверждениях нет. Хотя бы потому, что писатель сам однажды признался, что Вихров и Грацианский задумывались им как одно лицо. И даже покончить с собой должен был истерзанный Грацианским Вихров, а не Грацианский, разочаровавшийся в Боге и человеке. И только потом Леонов «расщепил» этого, единого, персонажа — а в каком-то смысле себя самого.

При этом, повторимся, Грацианский всё равно Леонову противен, и сомневаться в этом не стоит. Наделяя отрицательного героя своими ересями, Леонов словно проверяет их на крепость: выживут ли, будучи повторены даже самыми дурными устами.

Кроме прочего, есть и определённая близость драматических коллизий в «Дороге на Океан» и в «Русском лесе»: посто-

янное, на грани разоблачения, существование Протоклитова и Грацианского вновь дублирует собственную леоновскую судьбу. Но в «Русском лесе» коллизия эта явно рассматривается Леоновым с куда большего расстояния, чем в 1935 году. Эта тема его уже не столь сильно зачаровывает и пугает. Пережив глобальные чистки и припадки всенародного доносительства, заняв видные посты и войдя в масть, Леонов уже не опасался столь сильно, как в 1930-е. Почти тридцать лет минуло с его белогвардейских приключений в Архангельске — глупо пугаться далёких, почти истаявших призраков своего прошлого.

Тем не менее кочующая из сочинения в сочинение тема люстрации проявляется у Леонова и здесь.

Упоминавшаяся выше Поля, пока росла без отца, десятки раз читала в прессе критические статьи Александра Грацианского о Вихрове. Вера её в печатное слово была такова, что в начале романа Поля считает нужным заявить едва знакомому человеку: «Я ненавижу моего отца!»

Приёмный сын Вихрова Сергей был приведён в дом «лесного профессора» его стародавним, по деревенскому детству, знакомым купеческим сыном, раскулаченным в 1929 году и сбежавшим от новой власти в глухие сибирские дали.

У Сергея в этом смысле своя наследственная боль, потому что, по Леонову, сын за отца, равно как и дочь за отца — всё-таки отвечают.

Жена Вихрова Елена, выросшая при дворе помещицы, тоже многие годы мучается своей чудовищной виной, которая по нашим временам вовсе не понятно в чём заключается (и тут есть явный отсыл к судьбе леоновской жены Татьяны, так и не сумевшей в Советской России получить образование). Нескончаемые терзания доводят Елену до того, что она, забрав дочь, бежит от мужа в деревню, где беззаветным трудом пытается заработать себе прощение.

Озвученное Леоновым ещё во время проработки «Метели» «право на воздух родины» в «Русском лесе» пытаются отработать едва ли не все главные герои. Помимо разве что партийных деятелей, правом этим обладающие по определению.

Напрашивается вывод: самый важный и чаще всего встречающийся леоновский герой — исстрадавшийся человек, несущий немыслимый грех если не белогвардейской службы или тюремного срока при Советах, то хотя бы дурного родства или даже соседства с «бывшими». Сам-то Леонов, как мы знаем, переживал сразу два греха (за себя и за отца), неустанно, многие годы отстаивая своё собственное право на воздух родины, терзаясь при этом ещё и другой непомерной мукой — грехом несостоявшейся в мире человечины.

Что до «Русского леса», то там не обошлось без привычной леоновской «закавыки»: попавшую в немецкий плен Полю выручает... предатель, пошедший в старосты. Видя восхитительное, такое русское поведение Поли на допросе, он неожиданно стреляет в допрашивающего девушку офицера.

«Верно, из тех был, в которых чувство родины сильнее накопленной злобы...» — говорят о нём в романе.

Есть смысл вспомнить, что герой, пошедший к немцам в услужение и затем восстающий против новых хозяев русской земли, появился ещё в «Лёнушке», написанной во время войны.

Какой интерес всё ж таки питал Леонов к чёрным углам человеческой души!

Но какой бы гиблой и запущенной ни была эта душа, говорит Леонов, сила крови и почвы настолько велика, что возвращает почти всякое ничтожество в человеческий вид.

Леоновское чувство патриотизма почти природное: он воспринимает истинного русского человека как саженец русского леса — он возрос здесь, его корни здесь, и пересадить его на иную землю невозможно.

Леонов говорил об этом неоднократно до «Русского леса» и ещё раз скажет об этом в повести «Evgenia Ivanovna».

Две смерти

В отличие от «Пирамиды» Леонов писал «Русский лес» с явным расчётом на публикацию. Кстати, и машинистку пригласил работать, Нину Мушкину. Дочь её, Елена, вспоминает:

«Самое страшное испытание для Леонова — выпустить рукопись из рук. Вынести из дома. Отдать машинистке. В качестве курьеров признавал только членов своей семьи — дочерей Наташу, Лену и, конечно, жену, Татьяну Михайловну. Кстати, Татьяна Михайловна помогала ему безгранично. <...>

Иногда за рукописью всё же приезжала мама. Мы жили в Дегтярном, между Пушкинской и Маяковской, а Леоновы — на улице Горького, между Маяковской и площадью Белорусского вокзала. Три троллейбусные остановки. Но Леонов всё равно волновался. Звонил каждую минуту:

— Нина Леопольдовна ещё не вернулась?

Успокаивался, лишь когда слышал её голос.

— Всё в порядке? Ничего не потеряли?

Летом Леонид Максимович настойчиво приглашал маму на дачу. Работать:

— За два дня 100 страниц и напечатаете. Леночку берите. Татьяна Михайловна будет рада».

Леонов и прежде относился к своим рукописям с маниакальной бережностью, а здесь волноваться стоило вдвойне: с его-то опытом он отлично понимал, что нужно готовиться к большой драке. И затевал он её сам.

В основном роман был завершён к январю 1953 года.

Наверное, Леонов вновь испытывал привычный внутренний холодок и нет-нет да и задумывался: а обережёт ли на этот раз его царь Иосиф?

Но Сталин умер до публикации романа, 5 марта 1953 года.

Леонов, наверное, переживал эту смерть: как переживали её тогда миллионы людей в стране.

Ушёл не просто глава Советского государства — ушёл человек, которого Леонов всю жизнь будет почитать за своего неоднократного спасителя.

Это в каком-то смысле было искушением для Леонова: вера в то, что между ним и вождём был определённый контакт.

Уже в патриаршем возрасте Леонов как-то обмолвился, что Сталин присылал к нему чиновников то из секретариата Союза писателей, то из собственного секретариата: через них спрашивал мнение писателя о настоящем и будущем Советского Союза.

Едва ли факт появления гонцов от Сталина в доме Леонова доказуем; но многие годы спустя писатель не раз удивлялся, отчего последующие пять генсеков, не говоря о первом президенте Российской Федерации, никогда не снизошли до серьёзной беседы с ним: в отличие от Сталина.

Сразу после известия о кончине вождя в «Правде» начинается ряд публикаций от ведущих советских писателей.

Александр Фадеев, Борис Полевой, Фёдор Гладков, беспомощные стихи Твардовского... пронзительное и очень честное шолоховское «Прощай, отец!». «Как внезапно и страшно мы осиротели!» — напишет Шолохов.

Статья Леонида Леонова «Слово прощанья» выйдет в «Правде» 10 марта.

Позже он говорил, что «Слово...» далось ему трудно, отчего именно, не поясняя. Но от этой публикации он не отказывался.

«Наше поколение живо помнит чёрный снег давней зимы и такое же заплаканное лицо столицы, — пишет Леонов. — Вот так же страна тревожно прислушивалась к затихающим ударам ленинского сердца. Вот и теперь, все трое суток кряду одна и та же мысль жгла сердца простых людей — тяжко заболел отец наш. В этих безыскусственных, на улице подслушанных словах выразилась вся скорбь народа и сыновняя благодарная верность творцу его побед и его славы».

И далее: «Не забвением былой утраты мерится давность упомянутого срока, а громадностью пройденного за это время пути. Это был поистине исполинский, без передышек, сталинский переход, равного которому не знают людские летописи».

Леонов стоял у гроба вождя в составе почётного караула: этой чести тоже удостаивались только избранные.

* * *

За полгода до смерти Сталина дело родного брата жены Леонова — Сергея Сабашникова, уже отсидевшего положенные ему десять лет, неожиданно было пересмотрено. И его приговорили к расстрелу. Он был убит 26 августа 1952 года.

Но тогда Леонов этого не знал.

Попытка разгрома

В июле 1953 года отдельные главы из «Русского леса» начали выходить в различных газетах, в октябре началась журнальная публикация в журнале «Знамя» и закончилась в декабре.

Для тех работников лесного хозяйства, против кого эта книга была направлена, публикация романа стала шоком: Леонов растоптал их.

Хотя сложившаяся в лесоводстве ситуация была подана Леоновым конечно же с некоторой долей условности: полную правду он написать просто не мог.

Поэтому пришлось молодого ещё Грацианского сделать агентом царской охранки; случилось это, правда, не по доброй воле Грацианского, а скорее случайно: ему «подложили» проститутку, сотрудничавшую с полицией, и он ненароком выдал своих партийных товарищей. Однако посыл Леонова был ясен: нерадивые лесники в Советском Союзе могут существовать лишь как пережиток дореволюционного прошлого. Средь настоящих коммунистов и честных участников большевистской борьбы таких нет.

Вместе с тем положительный герой в романе, прогрессивный советский лесовод и коммунист Иван Вихров, проповедуя лесосбережение, на самом деле повторял далеко не популярные в Стране Советов теории, которые именовались в прессе то «буржуазными», то «помещичье-юнкерскими». Теория «постоянного лесопользования» была выдвинута задолго до войны лесоводами М. М. Орловым и Г. Ф. Морозовым. Но ещё в 1932 году вышла разгромная книга Н. Алексейчика и Б. Чагина «Против реакционных теорий на лесном фронте», где Орлова и Морозо-

ва натурально разнесли в пух и прах. (Кстати, в «Русском лесе» Леонов, не стесняясь, наделит сторонников Грацианского фамилиями Андрейчик, Ейчик и Чик.) После Алексейчика и Чагина в том же направлении крепко постарались Васильев и его сотоварищи — правоверные, между прочим, коммунисты.

Как мы видим, леоновский роман стал своеобразным кривым зеркалом — но себя все конечно же узнали и в таком отражении. И оттого, что Грацианский оказался с подмоченной охранкой репутацией, а Вихрова в романе лично опекало большое партийное начальство, прототипам отрицательных героев было ещё обиднее.

Уже 16 января 1954 года в Институте лесоводства Академии наук СССР состоялось обсуждение романа.

Профессор П. В. Васильев заявил прямо: «В таком виде роман "Русский лес" наносит большой ущерб делу воспитания молодых лесных кадров» и охарактеризовал книгу как «примитивный протест против истребления лесов».

Подразумевалось, что роман стоит переписать заново и вложить в уста Вихрова речи иного толка.

Следом прошло собрание в Ленинградской лесотехнической академии.

Накануне собрания в многотиражке академии были опубликованы отзывы преподавателей о романе. Доцент А. А. Байтин озаглавил свою заметку «Надуманная книга», где удивлялся: «Оказывается, все силы Вихрова направлены на борьбу за "непрерывное лесное пользование". Старая и убогая идея!» Доцент А. В. Преображенский поименовал свой опус «Неоправдавшиеся надежды» и, как и все остальные рецензенты многотиражки, обвинил Леонова в дилетантстве.

На самом собрании, если верить стенограмме, выяснилось, что Леонов «не сумел дать в своем романе подлинной тематики леса в действенной форме, и роман не имеет права называться "Русский лес". Без коренной переработки роман не должен и переиздаваться отдельной книгой».

Роман обсуждали в Доме учёных в городе Горьком, в Полоцком лесном техникуме, во Всесоюзной публичной библиотеке имени В. И. Ленина и в Поволжском лесотехническом институте имени М. Горького, что в Йошкар-Оле...

Начались серьёзные закулисные процессы. Васильев и его окружение принялись готовить письма «наверх», подыскивать сторонников как во власти, так и в писательской среде.

Но и Леонов в 1954 году был куда более весомой персоной, чем в тридцатые, и для того, чтобы свалить дважды орденоносца, лауреата Сталинской премии, депутата Верховного Совета и Моссовета, нужны были серьёзные усилия.

Критика, публикуемая на роман, была хоть и не огульно ругательной, как в прежние времена, но с эдакими значительными оговорочками, видными уже по заглавиям: «Недостатки яркого, большого произведения» («Литературная газета» за март 1954 года), «Большая удача — большие требования» (опять же «Литературная газета», но за апрель того же года).

Статьи строились по несколько иным принципам, чем ранее. Клеветником и бездарностью такого видного литератора называть уже было неприлично, посему зачины публикаций самые благостные: да, большой писатель, да, взлёт творческой мысли, да, охват и глубина... А потом понемногу начинается. Многих критиков беспокоил, например, образ Поли, которая, как мы помним, отца своего, лесного профессора Вихрова, заочно ненавидела.

«Разве не странно, — задаётся вопросом обозреватель «Литературной газеты» Антон Тарасенков, — что лишь по одной журнальной трескотне Грацианского, подвергавшего книги её отца лихой “проработке”, в сознании Поли укрепилась мысль, будто он, её отец, — негодяй и тайный враг советской власти?»

О том же самом задумается критик Марк Щеглов — его статья будет опубликована в пятой книжке «Нового мира» за 1954 год. И тот же вопрос позже поднимет критик Михаил Лобанов, который дебютирует в литературе с доныне небезынтересной книгой «“Русский лес” Леонида Леонова».

Объединяет всех названных одно — это были молодые люди, родившиеся в середине 1920-х. В 1932 году Леонов на одном из писательских собраний говорил, что он не может описывать девушку, донёсшую на своего отца, до тех пор, пока сам себе не объяснит, как она это делает, зачем, что в душе её творится.

Доносительство, отказ от родителей — это был, прямо скажем, вопрос, стоявший тогда на повестке дня всей страны: тотальная классовая борьба зашла и в сферу семьи.

Но вот только критики Леонова в начале тридцатых были малыми детьми — им это не запало в душу так остро, как писателю!

Поэтому Марк Щеглов так удивляется созданной в романе Леонова атмосфере взаимной подозрительности и ненависти. «Поля изощряет свои следовательские способности, — пишет он, — постепенно в методичный разбор дела Грацианского—Вихрова втягивается и Варя; тётка Таиса подглядывает за Грацианским в щёлочку, придя с мирным поручением передать ему вновь вышедшую книгу Вихрова; Грацианский выслеживает Вихрова; Крайнов подозревает Грацианского...» и т. д. и т. п.

Причём, на наш взгляд, Леонов в «Русском лесе» не ставил целью добиться именно этого эффекта — но и здесь его до-

бился. И ведь как раз в том, что ему ставили на вид, прав был и точен!

Жаль, молодые критики не ведали о том. Но и даже если бы они сами застали те времена, едва ли кому-то из советских критиков пришло бы в голову похвалить писателя за то, что он ненароком продемонстрировал одну из жутких гримас эпохи.

Были в критике и привычные обвинения Леонова в сгущении красок и создании атмосферы мрачности, в странном понимании «советского гуманизма».

В майской «Литературной газете» 1954 года было опубликовано письмо в редакцию Б. Корсунской, чертёжницы, которая не без удивления писала: «...даже и видение грядущих веков Леонов почему-то окрашивает в “Русском лесе” в сумеречные тона вечерней негаснущей полоски неба. Так возрождаются в новой книге мотивы “Соти”».

Б. Корсунская, по-видимому, не читала «Необыкновенных рассказов о мужиках» и романа «Вор», тогда бы ей не было так удивительно.

«Ещё не все леса сняты с “Русского леса”, — продолжает читательница, — ещё дают себя чувствовать колебания автора в трактовке отдельных положений, поворотов, а подчас и целых образов. Ещё недостаточно чётко и выразительно проступают основные линии, создающие благородный, гармоничный и одухотворённый облик всего здания. Так, например, мы слишком мало узнаём о Крайнове, ближе всех героев стоящем к революционному движению в России».

Может быть, и благо для Леонова, что не дожил Сталин до публикации романа и, по своему обыкновению, не прочёл его; серьёзных упрёков в недостаточном освещении «руководящей роли партии» ему было бы не избежать. Достаточно вспомнить, как всего несколько лет назад была разгромлена первая редакция фадеевской «Молодой гвардии» на тех же основаниях. А у Леонова вообще чёрт знает что творится: десятилетиями натуральные вредители мучают прогрессивного лесовода, ставшего к тому же ещё и коммунистом, — а партия о том и знать не знает, и ведать не ведает. И наказывает Грацианского не её мудрая и карающая длань, а сам он идёт топиться в проруби.

Что до упомянутого коммуниста Крайнова, то и в его облике Леонов отдельно отмечает почему-то «ледяной блеск», — и этот «лёд» ставит Леонову на вид критик Марк Щеглов, автор «новомировской» публикации о «Русском лесе».

Щеглов отдельно останавливается на мотивах «гуманистического холода» в романе.

«Какие холодно-рассудочные, бессердечные слова и образы рождаются у юных девушек — у той же Поли Вихровой и её

подруги Вари Чернецовой...» — удивляется критик. Слишком ледяным и мучительным видится Леонову, по мнению Щеглова, восхождение к человеческому счастью и сам прогресс.

Щеглов в продолжение темы приводит в своей статье стихи, сочинённые женихом Поли и ей самой однажды продекламированные вслух: «...но с этой стремнины холодной / никто ещё не сходил / назад, в колыбель, в первородный, / привычный и тёплый ил».

«Нам представляется довольно отталкивающим этот странный оптимизм и это странное человеколюбие, — пишет Щеглов, замечательно метко подметивший пессимистические леоновские воззрения о человечестве. — Холодно-холодно от ледниковой чистоты и ясности, к которым подчас поднимает своих героинь Леонид Леонов из "привычного и тёплого ила" (каким кажется им, вероятно, всё обыкновенное, человеческое)».

Да это не героиням Леонова так кажется! Это его потайная философия дала в романе неожиданный отсвет.

Едва ли не впервые за всю творческую жизнь Леонова замечания критиков по стилистике «Русского леса» кажутся нам достаточно обоснованными.

«...случается, — отмечает Антон Тарасенков, — риторика увлекает Л. Леонова в свои мнимо-красивые "бездны", и тогда его герои, да и он сам, начинают выражаться так выспренне, так завихрённо-умственно и так "красиво", что, право, теряется реальное представление о месте действия и характере персонажей».

Но на самые больные места Леонову наступает опять же Щеглов — и в данном случае писатель наверняка знал, что критик прав.

Щеглов усомнился в том, что Грацианского нужно было делать хоть и случайным, но всё ж таки провокатором и сотрудником охранки. Грацианский, по Леонову, не укоренён в советской действительности, а является неким атавизмом «проклятого прошлого»: и именно это кажется Щеглову надуманным и ложным.

И с ним ой как трудно поспорить. В защиту писателя можно сказать лишь, что он спасал книгу, спасал тему — и сделать отрицательного героя типичным советским профессором никак не мог.

«Грацианский у Леонова всю жизнь балансирует на кончике иглы, боясь разоблачения своей преступной связи с царской охранкой, — пишет Щеглов, — но это лишь один из возможных случаев, причём самый детективный. Чаще грацианские в жизни боятся разоблачения в более простом смыс-

ле, они боятся остаться без облачения в придуманные ими для себя достоинства, ибо тогда-то и откроется бездарная, себялюбивая, скверная их сердцевина».

Но как Леонов мог идти по этому пути?!

В конце концов, если б Леонов решил стать тотально правдивым пред самим собой, он должен был так или иначе связать если не с охранкой, то с белогвардейцами как раз Вихрова, а Грацианского вывести в качестве весьма распространённого советского типажа, эдакого рапповца от лесной науки.

Нет, это было невозможно! Немыслимо.

Наверное, это самое болезненное для художника — когда тебе ставят на вид те недостатки, о которых ты сам знаешь и которые исправить не в силах. Щеглову, в каком-то смысле, было проще критиковать — причём не впрямую критиковать, а намёками, которые, да, многие тогда уже понимали, и в первую голову — Твардовский, статью Щеглова в «Новом мире» опубликовавший. Но попробовал бы в те времена — а роман писался, напомним, в последние годы правления Сталина — хоть кто-то кроме Леонова сделать подобный выпад в сторону «левых» ортодоксов.

«Не хлебом единым» Владимира Дудинцева выйдет только в 1956 году, а «Белые одежды» его же, построенные, в сущности, на той же коллизии, что и «Русский лес» (только вместо лесного хозяйства там биология, а вместо Грацианского прототипы Трофима Лысенко), — в 1987 году.

Леонов Марку Щеглову этой статьи не простил. И когда молодой и, признаем, замечательно одарённый критик умер в 1956 году, в возрасте 31 года, Леонов был единственным, кто отказался поставить подпись под некрологом.

— Слишком много крови попортил мне этот молодой человек, — обронил писатель.

И в данной ситуации не знаешь, чью сторону принять: Леонова, который и так сделал максимально возможное в тех условиях, или Щеглова, справедливо потребовавшего невозможного.

* * *

Самыми опасными для Леонова в том далёком 1954 году оставались конечно же не идеологические и тем более не стилистические претензии, но претензии по существу романа. Происхождение Грацианского и «выспренная» речь героев не так сильно волновали партийное руководство — а вот прямая леоновская атака на маститых лесоводов вполне могла окончиться разгромом книги.

К слову сказать, на неоднозначную трактовку лесных проблем Леоновым Щеглов тоже намекает в своей статье: вот-де, мы сами не специалисты, но говорят, что Леонид Максимович со своим Вихровым и здесь что-то напутал...

Но до прямого партийного вмешательства никто из критиков и литераторов не решался самочинно принять ту или иную сторону в лесных проблемах — как принял одну из сторон сам Леонов. Посему в течение полугода критика романа в глубокий лес не забиралась, а путалась в трёх соснах: вот стилистика, вот роль партии, вот Грацианский, вот истеричная Поля... И опять всё то же самое по кругу.

Вадим Кожевников, редактор «Знамени», где роман опубликован, был в те месяцы, как вспоминали современники, на нервах. Полететь могла и его виновная голова: такую крамолу пропустить!

Затаившись, все ждали высшего решения, но его всё никак не было. Приступивший к обязанностям генерального секретаря Никита Хрущёв, в отличие от Сталина, книг не читал — это царь Иосиф даже во время войны, или накануне её, мог дать команду одну пьесу растоптать, а в благодарность за другую лично звонить автору. После его смерти времена наступили иные — до культуры руки доходили далеко не сразу.

Не дождавшись кивка, 10 мая 1954 года в Центральном доме литераторов решили провести обсуждение романа Леонова.

Подготовлено всё было качественно.

Для начала противники Леонова дождались того момента, когда секретариат Союза писателей, где у Леонова сохранялись крепкие отношения со всем «главком», отбыл на съезд в Киев.

Для развенчания романа подобрали (по-видимому, не без закулисных переговоров) хороших загонщиков. Во-первых, Константина Паустовского, писателя признанного и маститого — пусть и в меньшей, чем Леонов, степени. Во-вторых, Степана Злобина, о котором сказать стоит отдельно: далеко не все помнят это имя, а зря.

Биография его была не менее интересна и противоречива, чем леоновская. Родился Степан Павлович в 1903 году, в семье эсеров (мать в 1906-м была приговорена по делу о покушении на генерала Рейнбота к каторге, заменённой вечным поселением в Туруханском крае; отец после событий 1905 года тоже был выслан в Сибирь). В 1917-м и сам Злобин пошёл по эсеровской дорожке, за что и был арестован большевиками, посажен в Бутырку и отпущен на поруки отца. В 1924 году он снова попал в поле зрения чекистов и опять два месяца провёл в Бутырке, но и в этот раз всё обошлось — хотя в картотеке неблагонадёжных его имя сохранилось.

Первую известность Злобин получил как исторический романист: в 1929 году он выпустил книгу «Салават Юлаев» — вещь, предназначенную скорее для юношества, но в этом смысле дельную и занимательную.

В Отечественную войну он, пошедший на фронт, попал в окружение и, оглохший от контузии, раненный осколком в лицо, оказался в плену. Там возглавил подполье, готовил побег, был приговорён к смертной казни... В общем, вёл себя самым достойным образом.

После войны Злобин пережил наивысший свой писательский успех: в 1951 году он получил по личному решению вождя Сталинскую премию за крепкий, добротный роман «Степан Разин».

Чуть раньше Злобин написал роман «Пропавшие без вести» — о судьбах красноармейцев, оказавшихся в фашистском плену, но на исходе 1940-х такая литература не приветствовалась. Роман был изъят КГБ, и рукопись была возвращена автору лишь после смерти Сталина.

В начале 1954 года Злобина постигла новая неудача: выступая 6 декабря на собрании писателей Москвы, он позволил себе некоторые вольности, и через день «Правда» назвала его речь «идейно порочной».

Книги Злобина исчезли из планов издательств, и писатель, так долго зарабатывавший то самое, леоновское «право на Родину», сначала как бывший эсер и сын эсеров, потом как военнопленный, об этом ещё и романы сочиняющий, вновь оказался не у дел и без работы. (Опережая события, скажем, что, начиная с 1956 года, книги его снова начнут выходить.)

В этой ситуации Злобину нужно было как-то возвращать своё имя: и события вокруг «Русского леса», верно, показались Степану Павловичу подходящими для восстановления репутации.

Если, конечно, не предположить, что леоновский роман возмутил его совершенно искренне. Что, признаем, в логике дальнейшей злобинской судьбы тоже допустимо: ведь это он впоследствии будет писать обращение к Хрущёву с протестом против расправы над Борисом Пастернаком и Владимиром Дудинцевым, это он выступит в защиту молодых Василия Аксёнова и Андрея Вознесенского, временно попавших в немилость, это он будет оказывать посильную поддержку и Юрию Домбровскому, и Лидии Чуковской...

Однако ж степень его раздражения на Леонова с его «Русским лесом» всё-таки кажется нам несколько преувеличенной.

Девятого мая Константин Паустовский, как председатель секции прозы, лично позвонил Леонову. Они, надо сказать, ед-

ва не стали родственниками — в своё время Паустовский пришёл в гости к Леоновым с племянником и сватал его за Лену, старшую дочь Леонида Максимовича и Татьяны Михайловны. Сватовство ни к чему не привело, и Леонов потом уверял, что Паустовский затаил по этому поводу обиду. Ну, не знаем.

По телефону Паустовский, посекундно заминаясь, посоветовал Леонову на обсуждение не приходить, дабы поберечь нервы.

Но Леонов всё-таки пришёл, узнав, что первым заседанием дело не ограничилось и роман будут обсуждать ещё раз. В итоге прошло целых три заседания, чего в практике Союза писателей не было никогда. Даже на Пастернака и Солженицына столько времени не тратили.

Паустовский, взвесивший все «за» и «против», сослался на простуду и выступил лишь с кратким вступительным словом, сразу передав бразды правления Злобину.

Степан Павлович выступал два с половиной часа, неоднократно упомянув и реальные, и надуманные ошибки и шероховатости романа.

В частности, он заново пересказал все доводы лесовода Васильева, и это, видимо, неслучайно.

По завершении речи у многих из числа собравшихся создалось общее ощущение, что Леонов — по злобинскому мнению — вообще не писатель, а самозванец.

Стилистика романа, о которой Злобин говорил особенно много, была конечно же по большому счёту ни при чём. Недаром на заседании присутствовали обе заинтересованные стороны — и Васильев, и Анучин, — занимавшие позиции прямо противоположные.

Они тоже высказались по поводу «Русского леса», и если Анучин ещё раз поддержал позицию Вихрова, то Васильев прямо сообщил собравшимся о том, что в романе Леонова «отрицательно трактуется роль государства и даже роль партии».

Это уже тянуло на политическую статью: отрицательная трактовка роли партии!

Для поддержания своей точки зрения Васильев принёс с собой «Резолюцию читательской конференции работников и студентов ленинградской лесотехнической академии имени Кирова» от 23 марта 1954 года. Там, в частности, утверждалось: «Автор Л. Леонов не разобрался в проблеме леса. <...> В романе нет не только самого леса и производственников в лесу, в романе нет научно-производственной жизни, нет коллектива, нет партии. <...> Вихров только честный маньяк, застрявший на старых положениях науки. <...> Конференция высказывается за решительное исправление романа в части литератур-

ных приемов, тематики, языка и стиля. Без такой переработки роман не должен переиздаваться».

К чести и работников лесного хозяйства и собравшихся на обсуждении писателей, подавляющее их большинство выступило в качестве адвокатов Леонова. А там были и старые знакомые Леонова — лесоводы Е. И. Лопухов, В. Г. Нестеров и Г. М. Бенинсон, и критики Е. Д. Сурков, З. С. Кедрина и Г. А. Колесникова, и студенты, которых Васильев привёл с собой, — видимо, для поддержки собственной позиции. Но случилось неожиданное: в ходе встречи студенты прониклись правотой Леонида Леонова и его сторонников и, к бешенству Васильева, активно демонстрировали свою позицию аплодисментами.

Бенинсон поспорил с тем положением, будто Леонов «не разобрался в проблеме леса», и сказал, что писатель читал и «таких авторов, о которых мы, специалисты, даже не слыхали».

Нестеров назвал роман «кладом народной мудрости».

Другие выступавшие дошли до того, что Васильева и Злобина самих обвинили в «грацианщине».

Вообще при всех нервозатратах, что пришлось пережить Леонову, да и не только ему, за двадцать — при Сталине — лет в литературе, невозможно не отметить одной вещи. Да, последствия литературной критики тогда могли быть весьма печальными — однако сам факт циркуляции в печати идей противоположного толка говорит о внутренней раскрепощённости общества и даже в каком-то смысле демократичности его.

Выясняется, что партия не была инициатором всех внутрилитературных процессов, зачастую лишь постфактум принимая ту или иную сторону. Да, Сталин лично мог запретить тот или иной роман, ту или иную театральную постановку. Но, с другой стороны, даже благосклонность Сталина не гарантировала защиту от того, что романы Леонова не будут топтать ретивые критики, а, скажем, пьесу Булгакова «Дни Турбиных», которую вождь посещал 16 раз, не снимут из репертуара под давлением делегации украинских писателей, посчитавших сочинение Михаила Афанасьевича обидным для их самостийного народа.

Васильев конечно же был ошарашен случившимся на обсуждении: он рассчитывал на совсем иной результат.

— Мне хочется выразить большой душевный протест против того, что товарищи обо мне говорили как о Грацианском, — сказал он в последний день заседаний, и, право слово, его даже можно пожалеть в этой ситуации.

— Ни с того ни с сего я должен, будучи приглашённым гостем, уходить с именем какого-то Грацианского, шпиона и мер-

завца. Я прошу таковым меня не считать, — завершил свою речь Васильев.

Впрочем, после обсуждения своего романа Леонов вернулся далеко не успокоенный — он предполагал, что произошедшее лишь начало долгой тяжбы. Хорошо, что хотя бы, в отличие от недавних времён, такие разборки не грозили более серьёзными последствиями.

Леонов даже находил в себе силы забавно шутить по поводу Злобина и ещё одного сторонника профессора Васильева по фамилии Дик. Писатель переиначил стихотворение Лермонтова и, потирая руки, повторял: «Бьётся Терек, Дик и Злобин».

Васильев вскоре продолжил борьбу за спасение своего профессионального имени другими, более проверенными методами.

В августе 1954 года в ЦК КПСС пришло письмо, подписанное им, а также профессором В. Тимофеевым, членом-корреспондентом Академии наук СССР Н. Баранским и академиком В. Сухачёвым с требованием заставить Леонида Леонова «Русский лес» переделать самым кардинальным способом, в числе прочего изъяв «буржуазные теории» постоянства леса.

«Возрождение этого “принципа” в нашей литературе, тем более в художественной, может внести лишь ненужную вредную путаницу среди всех тех, кто знаком с утвердившимися у нас основами организации лесного хозяйства или изучает их», — говорилось в письме.

Из ЦК письмо переслали в отдел науки и культуры; там подумали и выдали своё заключение: «Критику романа “Русский лес” со стороны указанных учёных нельзя признать объективной. Они односторонне подходят к этому роману и игнорируют его особенности как художественного произведения, где читателя в первую очередь интересует судьба героев, правдивое изображение их характеров, реальный показ событий. Полагаем нецелесообразным принимать какие-либо меры по данному письму».

Упадок

«Русский лес» не запретят, он выйдет отдельным изданием в 1954-м, затем дополнительным, шестым, томом в собрании сочинений Леонова в 1955-м, и следом его переиздадут уже в 1956-м.

Но сам Леонов, разнервничавшийся и обозлившийся на то, что роман хоть и не убит наповал, как некоторые его прежние сочинения, но принят далеко не однозначно, а кое-кем ещё и

унизительно раскритикован (причём на этот раз критиковали его люди молодые, что было вдвойне обидно), снова замолчит.

В 1954-м за весь год он опубликует статью «Волшебный город» и одну из немногих автобиографий, совершенно выхолощенную.

В начале 1955 года в журнале «Октябрь» выйдет переправленная (и не в лучшую сторону), так и не поставленная до тех пор на сцене «Золотая карета». Она и в «Октябрь»-то попала потому, что Леонова ввели в состав редколлегии журнала и он сумел опальную свою пьесу, сделав финал порозовее да пооптимистичнее, продавить.

Премьера «Золотой кареты» случится 1 декабря того же года в Русском областном драматическом театре... города Караганды. Наверняка и там были смелые и талантливые артисты и режиссёры, но знаменательно, что поближе к европейской части так и не нашлось ни одного театра, способного воплотить эту пьесу на сцене. Хотя уже известно было, что во МХАТе очень, очень хотят ставить «Золотую карету» — но столь же сильно боятся это сделать! А ведь год назад, в марте 1954-го, Леонов вновь был избран депутатом Верховного Совета СССР, в том же году вошёл в состав правления Союза писателей СССР, а в 1955-м стал членом Советского комитета защиты мира. И что? Это как-то влияло на судьбу его лучших сочинений?

В 1956 году Леонов вообще не публикуется.

К чертям такую жизнь! К чертям такую литературу! Ко всем чертям такое отношение!

Так часто бывает: после многолетней и мучительной работы вдруг ощущается глубокий упадок душевных сил. Именно это ощущение в середине 1950-х настигло Леонова.

Он неожиданно остро почувствовал, что не имеет своего понимающего, преданного, умного читателя.

В не столь далёком 1948 году Леонов писал литературоведу Владимиру Ковалёву: «В том словесном нагромождении, какое представляют мои книжки, могут быть любопытны лишь далёкие, где-то на пятой горизонтали, подтексты, и многие из них, кажется мне, будут поняты когда-нибудь потом».

Но годы шли, и хотелось хоть какого-то понимания сейчас, при жизни. А то ситуация получалась откровенно абсурдная: в 1930-е Леонова ругали ортодоксальные «левые» (и за дело — если брать точкой отсчёта их позицию), в 1950-е стали ругать либеральные «левые» (и тоже по делу — если точкой отсчёта брать их «розовое», предоттепельное миропонимание), — а Леонов при этом с самого начала находился в совершенно иной системе координат, далёкой от первых и куда более сложной, чем у вторых. Первые, съеденные самой Революцией, физичес-

ки исчезнут; вторые начнут расцветать, полниться соками и сорвут свой куш на исходе 1980-х годов, но Леонову — тому самому, истинному, существующему на своей «пятой горизонтали», давно всё стало понятно и с одними, и с другими. Он свои задачи решал, выступая, как в «Воре» сказано — «следователем по особо важным делам человечества». А до этих задач никому не было никакого дела.

Отдельную роль в многомесячном психозе писателя сыграл XX съезд КПСС, прошедший в Москве с 14 по 25 февраля 1956 года, а вернее то, что случилось на съезде в последний его день. На утреннем заседании Никита Хрущёв выступил с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях». Закрытость его, впрочем, была условной, потому что вскоре доклад был распространён в партячейках всей страны; и литератор такого масштаба, как Леонов, хоть и не был никогда членом партии, узнал содержание доклада уже в первых числах марта.

Доклад шокировал тогда многих, стал он неожиданностью и для Леонова. Не потому вовсе, что Леонов был автором многочисленной «сталинианы»: мы можем вспомнить лишь единичные упоминания имени вождя в «Дороге на Океан», «Нашествии» и «Русском лесе» (в последних двух случаях фамилия Сталина была снята при переизданиях), несколько ритуальных приветствий в речах и публицистике, две отдельные статьи о вожде, причём последняя — посмертная. Любой литератор тех времён писал о Сталине. Если это и был грех, — в чём мы несколько сомневаемся, — то грех общий.

Леонова взволновало другое: дала гигантскую трещину та идея, которой он — со всеми бесконечными скидками — пытался служить: хотя бы, пользуясь его же словами, если не на пятой, то на первой горизонтали своих текстов. Ведь и служил он — как мог — не собственно социалистической доктрине, но некоей утопии, которая могла, по замыслу Леонова, повлиять на историю уже, кажется, обречённого человейника.

И главным проводником той утопии в леоновском понимании был конечно же Сталин. С Лениным Леонов никогда не общался, никогда о нём всерьёз, пожалуй, не размышлял. Единственный раз Ленин появится в качестве эпизодического героя в «Скутаревском», и всё; а то, что в некрологе о Сталине Леонов поминает «чёрный снег» зимы 1924 года — так это он домысливает. В 1924 году Леонов, несмотря на свою не столь давнюю работу в красноармейских газетах, в долговечность советской власти верил очень мало и о смерти Владимира Ильича всерьёз опечалиться просто бы не сумел. Какой ещё «чёрный снег», ей-богу.

Смерть Сталина его тронула куда более; а уж известия о кошмарной неправедности тех времён, массовых расстрелах (о факте которых, конечно, знал — но масштабов предположить не мог) и пытках (вот уж чего не ждали от оплота мирового гуманизма) не могли не повергнуть писателя в глубокий душевный шок.

Разочарование было настолько сильным, что весной 1956 года, почти сразу после хрущёвского доклада, Леонов попадает в больницу 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР. Диагноз: парез, проявившийся у Леонова в параличе нескольких лицевых мышц. С тех пор на всех фотографиях Леонова видно, что левая сторона его лица почти недвижима.

В больнице происходит ещё одна знаковая встреча: там, в то же самое время, лечится от своих ужасов и многодневной бессонницы Александр Фадеев.

Дружеские отношения между ними давно уже были невозможны, но они всё-таки общались. Говорили, естественно, о недавнем хрущёвском докладе. Фадеев, который уже что-то смертельно главное решил для себя, неожиданно признался Леонову, что в 1930-е годы поставил тысячу подписей на документах, легализующих писательские аресты... Тысячу.

Вскоре, 13 мая 1956 года, Александр Фадеев застрелился, написав в предсмертной записке: «Не вижу возможности жить, так как искусство, которому отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и уже не может быть поправлено... Литература — этот высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать ещё худшего... Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни».

Едва ли и Леонид Максимович не задумывался тогда над тем, что искусство его, которому он тоже отдал жизнь свою, «загублено самоуверенно-невежественным руководством», а сама литература воистину и унижена, и затравлена...

Десять лет назад, сразу после выхода «Молодой гвардии» Фадеева, Леонов говорил Чуковскому, что роман этот — плохой: «...какая структура у клёна, какая структура у самшита, медленно создаются новые клетки. А вон за окном ваш бальзамин — клетки увидишь без микроскопа, огромный, в три месяца достиг высоты, какой клёну не достичь и в 12, — но тра-

ва, бурьян. Таков и фадеевский роман». Чуковский записал эту фразу тогда в дневнике.

Теперь пришло время самому Леонову задуматься: чтó есть его творчество: самшит или... а?

В 57 лет он чувствует себя стариком. Мало кто из общавшихся тогда с ним мог подумать, что Леонову предстоит прожить ещё долгие, долгие годы. Напротив, люди видели писателя с надорванным здоровьем и расшатавшейся психикой.

Критик Евгений Сурков, с которым у Леонова заладились дружеские отношения, так описывал писателя в феврале 1957 года: «...он поразил меня тоскливым, почти безнадёжным настроением. После болезни рот чуть скривился, левый глаз немного меньше другого, от этого в лице (оно стало сморщенным, бабьим) что-то жалкое».

В том же месяце критик запишет в дневнике слова писателя: «Больше печатать ничего не буду. Хватит!»

И ещё через месяц, в марте, Сурков добавит несколько печальных штрихов к портрету писателя: «Леонов тусклый, смятый какой-то, как будто в нём всё время бегут тучи, тяжёлые, дымчатые, быстрые».

Седьмого апреля 1957 года Сурков записывает слова Леонова: «Я не знаю, какой я писатель. Нет, я не кокетничаю, вы не подумайте, что юродствую. Я действительно не знаю, занимаю ли место в русской литературе. Знаю, что задачи ставлю большие, работаю много, как никто, а что выходит — не знаю. Нужен я кому-нибудь?»

* * *

Сложившаяся ситуация будет исправляться понемногу, шаг за шагом.

В марте 1957 года на экраны выходит следующая, после «Нашествия», полноценная кинокартина по Леонову: «Обыкновенный человек», экранизация комедии, законченной накануне войны. Сценарий Леонова и Михаила Ромма, режиссёр Александр Столбов, больше, кстати, не снявший ни одного фильма. В «Обыкновенном человеке» были задействованы кинозвёзды той поры: Василий Меркурьев, Серафима Бирман, а также недавно начавшая работать в кино Ирина Скобцева... Фильм этот станет, пожалуй, одной из самых успешных экранизаций Леонова.

С другой стороны, писатель вновь начнёт спасаться тем, чем спасался во все времена: работой. Снимет с полки в апреле того же года не издававшегося двадцать лет «Вора», и — как всегда с ним бывало — начнёт понемногу править книгу; и делом этим увлечётся.

С третьей стороны, Леонова, наконец, уважат: настолько крепко, насколько возможно. В 1957 году будет решено ввести новую, самую главную литературную премию — Ленинскую. Сталинской-то уже нет.

Переберут возможных кандидатов, чтобы зачин был громкий и стопроцентно точный. И Леонов станет единственным и безусловным кандидатом.

Двадцать второго апреля 1957 года ему будет присуждена Ленинская премия за роман «Русский лес».

С этой поры в своей природоохранной деятельности Леонов получит серьёзный иммунитет. И за лесные дела возьмётся с новой силой. Рядом с Леоновым организуется круг единомышленников и помощников — из числа литераторов, журналистов, общественных деятелей.

Уже 23 апреля в «Правде» публикуется беседа с Леоновым «Создадим общество друзей природы!». Спустя две недели, 7 мая, в «Литературной газете» выходит статья Леонова и его сотоварищей писателей Анны Караваевой, Виталия Закруткина, Евгения Пермитина «О нашем зелёном друге». В июне в «Комсомольской правде» появится новое интервью Леонова об охране природы. Надо честно признать, что советская пресса не особенно увлекалась подобной тематикой: и в предыдущие, и в последующие годы статьи на экологические темы не выходили в центральных изданиях по несколько лет кряду. В этом смысле неустанное леоновское напоминание о проблеме дорогого стоит.

В марте 1958 года Леонов будет вновь избран депутатом Верховного Совета СССР. В качестве депутата он так же неустанно встречается с работниками лесного хозяйства.

Так, шаг за шагом, с «Русского леса» начнётся эпоха, когда писательский голос будет в общественной жизни объективно весомым.

Советская власть взрастила преданных ей «инженеров человеческих душ», наделила их авторитетом и званиями, издала их книги миллионными тиражами — и отныне была вынуждена прислушиваться к ним. Не слушаться, о, нет — но всё-таки считаться.

Десятки депутатских запросов, сделанных Леоновым, звонки, письма, просьбы — вся эта работа спасла тысячи и тысячи деревьев по всей стране.

Леонов шаг за шагом совершит по тем временам почти невозможное: легализует саму возможность критики если не верховной власти, то отдельных её составляющих, — например Министерства лесной промышленности.

Не всё конечно же удавалось сделать, не через все препоны пройти — но попробовал бы иной писатель в наши дни, спустя полвека после тех событий, повлиять на ту же варварскую вырубку: о, как бы на него посмотрели те, к кому он обратился... А вернее, никто бы на него и не посмотрел даже.

После «Русского леса» ещё в 1956 году возвысит голос другой патриарх советской литературы, Михаил Шолохов: он выступит в защиту озера Байкал.

Благословлённое Леоновым, взрастёт новое поколение хранителей и радетелей русской природы: Владимир Чивилихин, Борис Рябинин, Борис Можаев, Валентин Распутин, Виктор Астафьев...

О их деятельности в последующие три десятилетия стоит писать отдельную работу.

Самый очевидный и громкий пример: это они, Леонов, Распутин, Астафьев, 20 декабря 1985 года выступят в газете «Советская Россия» с открытым письмом против переброски северных рек. И проект остановят.

* * *

Порой кажется, что защита природы с каждым годом для Леонова становилась каким-то противовесом всё большего его отчуждения от человечества. В конечном итоге он стремился спасти всякое живое существо на земле уже не во имя человека, а от человека: чтобы хоть что-то осталось после неудавшегося Божьего творения со всеми его кровавыми утопиями.

В этом смысле леоновские заботы о русском лесе безусловно продолжают не столько литературную задачу собственно «Русского леса», сколько являются логичным завершением всей его творческой деятельности, почти неформулируемым образом сочетавшим истинный русский патриотизм и нежность к русской почве, с имморальным отношением к человеку вообще.

«Не пускайте Леонова»

А тогда, на исходе 1950-х, словно бы в награду Леонову за долготерпение и крепкое человеческое постоянство, литературная его судьба начинает выправляться в сторону признания, близкого к абсолютному.

Летом, 16 июня 1957 года, пройдёт премьера «Золотой кареты» в Театре имени Ленсовета в Ленинграде. В том же году 2 ноября состоится премьера той же пьесы во МХАТе — и ста-

нет, наконец-то, первой, после краткое время шедших там же «Унтиловска» и «Половчанских садов», постановкой, которую мало того что не запретили — но и в основном тепло приняли в прессе.

Хотя новый, слишком оптимистичный финал пьесы Леонову несколько раз поставят на вид. Напомним, что в первом варианте «Золотой кареты» молодая героиня Маша оставляла в городке влюблённого в неё и ослепшего на войне танкиста и уезжала с новым другом в новую жизнь. Во втором варианте Маша остаётся дома, со слепым своим женихом.

«Бесспорно, что поцелуй под занавес, которым кончается представление, противоречит не только стилю пьесы, но и её духу, — писал Ю. Хапютин в первом номере журнала «Театр» за 1958 год. — Режиссёр вдруг спешит подать к крыльцу ту самую Золотую Карету лёгкого, быстрого счастья...»

В 1964 году Леонов вновь перепишет пьесу, где Маша всё-таки уедет, оставив танкиста. Мало того, если в первом варианте она уезжала хотя бы тоже с бывшим фронтовиком — то теперь выясняется, что её избранник всю войну работал секретарём у своего отца, известного учёного. Такой изощрённо пессимистической пьесы никому, кроме Леонова, тогда не позволили бы опубликовать. Но Леонова остановить уже не смели — хотя, как ни печально, оценить именно его, «сановника» и «литературного генерала», тексты во всей полноте уже мало кто мог. Смешная ситуация! В гонимых и диссидентствующих ходили сплошь и рядом витии, позволявшие себе лёгкие фехтовальные выпады, — а Леонова, с его мрачными диагнозами, поставленными уже в молодые годы и сформулированными ещё более жёстко в новых вариантах «Вора», «Метели» и «Золотой кареты», мало кто слышал и понимал.

Тут, наверное, есть и отчасти его вина.

Он так долго желал жить спокойной и достойной жизнью, без прижиганий калёным железом эпохи, что в итоге всё-таки получил желаемое.

Даже в приводимой выше цитате (равно как и во многих иных критических статьях на ту же тему) претензии по финалу «Золотой кареты» направлены почему-то к режиссёрам спектакля, а не к автору пьесы, депутату Верховного Совета и лауреату Ленинской премии.

С другой стороны, вскоре критиковать Леонова станет почти не за что, просто потому, что за сорок лет после «Русского леса» он опубликует лишь одну новую вещь — небольшую киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» и с 1938 года переправляемую — повесть «Evgenia Ivanovna».

С середины 1950-х Леонова не терзают в прессе, но почтительно изучают. Книги и исследования о нём начинают выходить ежегодно и массовыми тиражами.

Всевозможные театральные, а затем радио- и телепостановки также станут традиционными.

Одновременно с «Золотой каретой» в Московском театре имени В. Маяковского режиссёром Николаем Охлопковым будут поставлены «Половчанские сады» под названием «Садовник и тень».

В декабре 1958 года в Ленинградском драматическом театре пройдёт инсценировка по роману «Русский лес» — «Живая вода».

Но писать при этом Леонову хочется всё меньше и меньше: и уж точно — писать о советской современности.

Сталинская эпоха хотя бы заслуживала серьёзного разговора: глаза в глаза со временем суровым. А на исходе пятидесятых начало происходить измельчание и тем, и трагедий.

Двадцать третьего октября 1958 года Борису Пастернаку — второму после Бунина из русских писателей — была присуждена Нобелевская премия по литературе. Тут безусловно имел место фактор политический; в качестве претендента до Пастернака рассматривался Шолохов и заслуживал её куда больше, но его «задвинули». Впоследствии Нобелевский комитет будет трижды рассматривать кандидатуру Леонида Леонова — но ему, в отличие от Шолохова и Пастернака, премию так и не дадут. Отчасти это объяснимо: кто ж там на Западе умел читать на «пятой горизонтали» — это и в России мало кто мог!

Пастернаку тем временем пришлось пережить унизительные проработки, в которые традиционно вовлекли и писателей.

Двадцать пятого октября состоялось заседание партийной группы Президиума СП, присутствовали 45 человек, в том числе Лев Ошанин, Мариэтта Шагинян, Николай Грибачёв, Сергей Михалков; последние двое призвали выслать Пастернака из страны, и Шагинян их поддержала. 27-го состоялось уже совместное заседание президиума правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, тоже собравшее большое количество литераторов видных и маститых: там были Николай Тихонов, Валентин Катаев, Вера Панова, Борис Полевой, Александр Твардовский...

Большинство литераторов Бориса Пастернака осудили; некоторые смолчали.

По болезни на собрание не явились Шолохов, Лавренёв, Гладков, Маршак, Тычина, Всеволод Иванов, а Леонов — не явился без причины. Он уже сказывался больным в 1930-е, доб-

рую сотню раз за десять лет. Теперь мог позволить себе просто не ходить, не затрудняясь поиском оправдания.

Не то чтобы ему было жалко Пастернака. Наверное, чувство жалости у Леонова стало к тому времени каким-то иным по составу, чем у большинства людей. С тем же успехом можно спросить: а умеет ли жалеть валун или древесное кольцо...

Борис Пастернак, как поэт истинный и чувствующий недоступное многим иным, как-то понимал это. Да, он знал об отказе Леонова участвовать в судилище над ним, и даже был дружен с Леоновым в 1942-м, и восхищался им несколько раз, — и при всём этом, кажется, боялся его не бесчеловечности, а внечеловечности, обращённости в какие-то другие сферы, тёмные и мучительные.

Они несколько раз встречаются уже после отказа Пастернака от Нобелевской премии, и о содержаниях их разговоров мы можем догадаться по одному факту.

В 1958 году Леонов начинает работать над очередным вариантом «Пирамиды», одним из сюжетов которой является, как известно, приход дьявола на землю.

Борис Пастернак умрёт 30 мая 1960 года, за сутки до дня рождения Леонова, и в предсмертном бреду увидит его у изголовья — как он сидит и говорит о «Фаусте» и о дьяволе; и глаза Леонова строги и нездешни, и часть лица недвижна.

Очнётся ненадолго и попросит в дом Леонова не пускать.

Глава десятая

EVGENIA IVANOVNA И МИСТЕР МАК-КИНЛИ

«Опасный человек»

В ноябре 1959 года, в связи с приближением пятидесятилетия со дня смерти Льва Николаевича Толстого, был создан Юбилейный Толстовский комитет. Леонид Леонов стал его главой.

Профессор Владимир Аникин, назначенный секретарём Юбилейного комитета, вспоминал, как всё начиналось: «Леонов приехал на улицу Воровского (ныне Поварскую) и, отпустив шофера, поднялся по небольшой парадной лестнице. <...> Леонид Максимович стремительно прошёл по коридору к секретарям правления, пожимая руки знакомым. Я увидел его мельком, высокого, стройного, несмотря на возраст. Первое впечатление — совсем не похож на руководителя. В том, как он здоровался со знакомыми, не было нарочитости, в жестах замечалась обходительность, а в движениях — порывистость».

Здесь мы остановимся на минуту и попытаемся понять, что за Леонов предстаёт пред нами теперь.

Это уже совсем другой человек — в сравнении с тем, которого мы знали до сих пор.

Леонов — действительно сановник, и мы не склонны вкладывать в это определение хоть какой-нибудь негативный смысл. Он человек, облечённый саном; и благо снизошло бы на ту страну, где подобных ему сановников было бы большинство.

Отныне весомо не только его слово: само присутствие Леонида Леонова наполняет смыслом всякое мероприятие, заставляя видевших его запоминать все детали произошедшего.

Леонов пережил кризис середины 1950-х и наглядно бодр. Роман «Пирамида», переименованный из «Ангела» в «Большого Ангела», в работе, завершается вторая редакция «Вора» — новая редакция романа будет опубликована в том же 1959-м.

Минувшей весной страна торжественно и с фанфарами отметила шестидесятилетие Леонида Леонова, и его — во второй раз — наградили орденом Ленина. Писателей такого уровня в Советском Союзе всего двое, ну, может быть, по гамбургскому

счёту, трое, но, как Есенин в своё время писал, «да не обойдёшься с одним Пастернаком».

С каждой наградою писательская неприкосновенность Леонова становится всё более прочной, но, надо признать, читатели рефлексирующие и сомневающиеся со временем начнут сторониться его книг.

В наши с вами дни, спустя не столь долгие, но довольно дурные времена, думается иногда, что читатель — существо переменчивое и суетное порой, а вот иммунитет, присвоенный с целью завершения главного пожизненного труда, — мы имеем в виду «Пирамиду», — может быть, даже важнее поспешного читательского интереса.

Тем более что в 1959 году о проблеме расставания с массовым и любящим читателем речь ещё не шла, и даже напротив. В эти годы Леонов переживает, наверное, третий всплеск народной популярности. Первый был в 1920-е годы и связан в основном с успехом «Барсуков». Второй — это народная драма «Нашествие» и «Взятие Великошумска». Теперь, после многочисленных и даже скандальных публикаций, связанных с романом, после получения Ленинской премии, «Русский лес» читают буквально миллионы людей. Достаточно привести один факт в связи с этим: в течение нескольких лет Леонов получит более восьми тысяч писем от своих почитателей...

Это, конечно, было хорошим подспорьем для исправления настроения.

В Толстовский комитет Леонов попал из очередной заграничной поездки. В прошлом, 1958 году он посетил Индию, в начале 1959-го около месяца провёл в США. А с 5 октября по 5 ноября того же года путешествовал по Италии и Франции.

И вот теперь, преисполненный впечатлений, в стране советской.

«...Он сыпал острыми замечаниями, шутил, заряжал вокруг себя пространство — слушатели невольно подчинялись действию его слов, — таким Аникин описывает Леонова на первом заседании комитета. — Он делился мыслями и после заседания, всюду: в коридоре, во дворе, у дверцы своей автомашины, в кабинете у нас, литературных клерков. Оживлённый, едкий в насмешках, он находился в каком-то внутреннем движении, словно торопился, спешил. Потом, узнав его лучше, я понял, что тут ничего не было от поведения человека, редко посещавшего "начальство". Оживлённых, иногда откровенно наигранных речей от разных писателей мы, работники аппарата, наслушались в правлении достаточно. Тут было другое — искреннее волнение, шедшее от внутренней, душевной энергии».

Аникин запомнил множество, вполне в духе Леонова, казусов той поры.

Предстоящее торжество Леонид Максимович иронично называет «муроприятие».

Как главе комитета Леонову нужно было вести заседания. Он в ответ машет руками:

— Примусы умею паять, чинить водопровод, делать люстры, пьесы, романы, но не председательствовать.

В первый же раз усаживает рядом Аникина, чтобы подсказывал.

После заседания интересуется:

— Ну, как получилось?

— Хорошо.

— Значит, могу начать карьеру?!

Но карьеру с таким въедливым характером конечно же не сделаешь.

Вот приносят макеты памятников Льву Толстому. Леонов все бракует, один за другим.

Следом несут медаль к юбилею Толстого, кто-то из начальства предлагает выбить слова Горького на ней. Леонов опять возмущается, и по делу. Немедленно набирает номер телефона заместителя министра культуры и спрашивает:

— При чём тут Горький? Конвоир при Толстом?

Слова Горького с медали убирают.

Решается вопрос о докладчике на торжественном собрании в Большом театре, где присутствовать будут первые лица страны.

Леонов отказывается и день, и два, и три.

Владимир Аникин, сам едва ли не в отчаянии, говорит ему:

— Нет, только вы, Леонид Максимович! Кому же ещё!

Леонов думает ещё несколько дней, потом соглашается. И признаётся, что его подкупили эти слова: Шолохов ведь не приедет из Вёшенской выступать, а больше действительно некому.

Леонов садится за доклад, относится к этому, как всегда, очень серьёзно, работает два месяца, продумывая каждое слово. Создаёт несколько вариантов, и Аникин вспоминает, как листы с разонравившимся текстом Леонов отдаёт жене, называя их «стружки».

— Проснёшься ночью — пришла мысль, удачная, боишься потерять, — говорит Леонов о своей работе. — Вставать не хочется, а идёшь и пишешь. Поиск истины как у электронной машины: поворот — семь!.. Нет... Снова поворот — девять!.. Нет... Восемь! — и сейф открыт!.. И так много раз.

Иногда шутит по поводу доклада:

— Вот соберутся все в Большом театре — а докладчика нет? Исчез... А?..

Организаторы сдержанно улыбаются в ответ на это.

«Леонов ни в чём не был похож на других известных писателей, — продолжает Аникин. — Я заметил за ним одну особенность: он говорит иногда как бы размышляя вслух. Его речь, живая и вольная, иногда торопливая, в этих случаях становилась трудной, но именно тогда он и сообщал всегда что-то особенно важное. Однако бывало нередко и так, что он говорил, взвешивая слова на невидимых весах, словно проверял их правильность, и следил за собеседником — как он их встретит. А вне трудных раздумий он бывал чуть ироничен. Тогда перед тобой был человек, не скрывающий, что принуждён играть некую житейскую роль, избранную к тому же не по весёлой обязанности. Он признался:

— Завидую: видел недавно — идёт вот такой мужчина (тучный), несёт в руках по кульку, ступает медленно, степенно... Я так не умею. Бежишь-бежишь, пока не упадёшь... всем телом!

Во время заседания и после него он держал в руках какой-то чёрный шнурок и постоянно сматывал и наматывал его на руку.

Решения свои хотел исполнить сразу и был настойчив».

Впрочем, не все преграды настойчивость его могла преодолеть. Готовый уже доклад нужно было согласовать с секретарём правления Союза писателей Георгием Марковым и чиновниками из ЦК.

За неделю до выступления Леонова в Большом театре, 11 ноября 1960 года, собралась комиссия: заведующий отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов, инструктор того же отдела Игорь Черноуцан, Марков, ещё несколько человек, и Владимир Аникин, которому на таком собрании находиться было не по статусу, но Леонов настоял на его присутствии.

Начальство сказало, что есть замечания. Леонов ответил, что его ни Горький, ни Станиславский не правили: а кто, мол, вы такие. Возникла нехорошая пауза. В разговор вступил дипломатичный Марков, буквально прошептав, что всё равно стоит обсудить текст в целом, в общем...

Помолчав, все согласились.

По мнению «руководства», Леонов слишком много внимания уделил «арзамасскому страху» (то есть ужасу собственной смерти) Льва Толстого.

Поликарпову не понравилась фраза, касающаяся и года смерти Толстого: «День шёл на убыль, круче примораживало, русская мысль глубже забиралась в подполье или на долгую зимнюю спячку». По его мнению, вернее, согласно «Краткому

курсу истории ВКП(б)», в 1910-м как раз и начался новый революционный подъём.

Был ещё десяток некрасивых, докучливых, болезненных придирок.

Леонов всех выслушал и мрачно поблагодарил.

Потом, уже наедине, сказал Аникину: «...не скрывайте ничего, опишите, как Леонову шприц вводили, а он кричал от боли».

На какие-то уступки пришлось идти, но в своём докладе Леонов всё равно сказал то, что ему было необходимо. Кстати, и «арзамасский страх» остался, и про революционный подъём было поправлено так, что дело лишь запутало ещё сильнее. Хотя несколько ритуальных поминаний имени Ленина в «Слове о Толстом» конечно же есть, и не сказать, что они там обязательны (вообще в публицистике Леонова приметы элементарного советского дискурса почти всегда присутствуют — в отличие от многослойных романов; за исключением разве что «Русского леса»).

Нас, впрочем, интересует другой момент.

К 1960 году Леонов по совокупности заслуг уже имел некоторые основания соизмерять себя с Толстым, и вот в «Слове...» он совершенно неожиданно рассказывает биографию Льва Николаевича как свою.

Он восхищается любовью ко всякому новому знанию у Толстого, но мы знаем, что почти то же можно говорить и о Леонове: «Великий художник, он в то же время был ненасытного жизнелюбия человек, который в пятьдесят лет уселся за изучение древних языков ради ознакомления с первоисточниками общеизвестных истин. Всякий звук жизни вызывал гулкое эхо в его душе, ничто не ускользало от его нетерпеливого и деятельного внимания — философия истории, сословная архитектура государства, задачи педагогики и воспитания. <...> Он пашет землю, кладёт печи и шьёт сапоги для высшего проникновенья через мускульное ощущенье, которое для писателя неизмеримо важнее знания книжного».

Но самое главное и откровенное признание никем тогда не было прочитано. «...каждый большой художник, — написал Леонов, — помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повестку века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он развязывает на протяжении всего творческого пути».

Каково! Впору позвать дознавателя, который спросит: а нука, покажите, товарищ Леонов, куда вы с такой безупречностью спрятали свой «душевный узел»? В чём там ваши сомнения

пожизненные? Неужели в необходимости существования человеческой породы как таковой?

Следом Леонов удивляется, «что в один и тот же день погребения Гауптман провозгласил Толстого величайшим христианином, а Метерлинк — величайшим атеистом».

И это тоже очередная леоновская явка с повинной.

Разве что стоило бы заменить атеиста на еретика: атеизм Леонову был неприятен и смешон; он-то всегда знал, что Бог есть.

Но сам парадокс подмечен верно, и отлучение от Церкви, которому предали Толстого, Леонов конечно же примерял на себя, со своей «безупречно спрятанной проблемой».

«Признаться, — продолжает Леонов, — странное было у писателя Льва Николаевича Толстого христианство, обряды которого он отвергнул в семнадцать лет, — сомнительное христианство Толстого, от которого официальная церковь вынуждена защищаться отлучением, то есть публичным проклятием с амвонов страны...»

И далее Леонов говорит о том, что истинной религией Льва Толстого и единственной возможностью бегства от «арзамасского страха» было растворение в народе, в мужике.

Недаром, вспоминает Леонов, «с мертвенных губ Толстого срывается последняя его, зарегистрированная газетной хроникой, пронзительной тоски полная фраза: ...нет, мужики так не умирают! И в этом предсмертном, сквозь зубы, сожалении выражена вся житейская философия Толстого — строить жизнь так, чтобы уходить из неё безбольно, как все эти немудрствующие счастливцы — деревья, птицы и труженики земли: без лжи, без боязни, без оглядки, без жалоб, без попрёков совести».

Заметьте, как к толстовским мужикам Леонов приплетает свои деревья, своё языческое божество — Лес. Религию эту, Леонову отчасти близкую, озвучивал в своё время Иван Вихров в «Русском лесе», согласно которому «нет бога на земле, а только никогда не остывающий хмель жизни, да радости пресветлого разума, да ещё жёлтая могильная ямина в придачу — для переплава их в ещё более совершенные ценности всеобщего бытия». Но Леонов, в отличие от Вихрова, с растворением в природе соглашаясь, никак не отрицал Бога неземного, верховного, и почти неразличимого пока.

В целом доклад Леонова был достаточно крамольным. Даже с подвернувшейся под руку цитатой из вождя мирового пролетариата речь так и не пришла к тому, что Толстой был «зеркалом русской революции», а увела докладчика в иные, неожиданные дебри.

Если бы его цензоры честно, чистыми глазами, попытались пройти, строка за строкой, вослед леоновской мысли, доклад пришлось бы отменять.

Но этого не сделали.

Девятнадцатого ноября Большой театр был полон. В зале находились Никита Хрущёв и Леонид Брежнев, в ту пору занимавший должность председателя Президиума Верховного Совета СССР; ну и прочее строгое начальство наличествовало: А. И. Микоян, Н. И. Шверник, Е. А. Фурцева, А. Н. Косыгин, Н. Г. Игнатов, многие другие.

Заметим, что по настоянию Леонида Леонова были приглашены, в том числе из-за границы, прямые потомки Толстого, которых едва не оставили без внимания.

Леоновский доклад, по словам Владимира Аникина, «театр слушал заворожённо. Ошеломление было таким сильным, что смысл писательской речи, многосторонние оценки и характеристики (я это тоже заметил) не сразу укладывались в сознание. <...> В театре сидела и слушала Леонова тогда ещё совсем молодая Лидия Дмитриевна Громова-Опульская, исследователь Толстого, ставшая со временем одним из лучших знатоков его творчества. Она рассказала мне много лет спустя, что слушала доклад с необыкновенным волнением, “со слезами радости”».

После заседания, как водится, для избранных был устроен банкет.

Аникин стал свидетелем того, как «...Хрущёв подошёл к Леонову и сказал ему с несомненным одобрением и весьма веско:

— Политический доклад!

Оценку Хрущёва услышали многие, и в последующие дни она стала известна едва ли не всем в писательском союзе».

Ещё более любопытна запись Татьяны Михайловны Леоновой в дневнике: «После доклада пригласили в правительственную комнату. Здороваясь, Х. (Хрущёв. — *З. П.*) сказал: “А вы опасный человек, как вас слушали! Полтора часа держали в напряжении такую аудиторию!”».

Но дабы немного снизить градус повествования, мы вспомним, в продолжение хрущёвской темы, совсем другую историю. Как-то в Подмосковье на встрече писателей с Хрущёвым генеральный, уже пьяный, подошёл к Леонову и сказал: «А ваших книг я не читал! Если бы я их читал — меня бы выгнали давно. Я только нужные книги смотрю... Но в молодости, помню, читал я книгу о Бове Королевиче, вот это была вещ-щь!.. До сих пор помню...»

Киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» была задумана во время поездки в США, в феврале—марте 1959 года.

Первое ощущение от Америки было, как и для всякого советского человека, несколько обескураживающим: страна выглядела как огромная витрина — сияющая, разноцветная, преисполненная всевозможных соблазнов.

«А прошло полторы недели — и ощущение пустоты», — говорил по возвращении оттуда Леонов, и, думается, вовсе не кривил душой. Человек он был далеко не молодой, заморских стран повидал достаточно, и едва ли самый вид американского довольства смог перевернуть его душу.

Но когда Леонов после первой поездки сказал литературоведу Владимиру Аникину, что «снова в США не поехал бы», — он в итоге обманул сам себя: потому что поехал ровно через год.

Правда, здесь уже был другой интерес: задумана киноповесть о жизни в «мире капитала», надо добрать материала; тут и оказия подвернулась с писательской делегацией ещё раз махнуть через океан. К тому же, как мы помним, в 1960 году в США вышел леоновский «Вор». За который ему, кстати, американские издатели не заплатили вообще ничего. Сначала предложили бесплатно взять в издательском магазине книг на 75 долларов, потом перезвонили и уточнили: нет, на 50...

Впечатления о США у Леонова были, в общем, традиционны для всякого русского писателя. В наиболее последовательном виде их изложил ещё Сергей Есенин в отличном очерке «Железный Миргород», потом Ильфом и Петровым была написана книга «Одноэтажная Америка»; ну и так далее.

Было понятно, что мир хоть по одну сторону океана, хоть по вторую, нуждается в переделке. Леонов общался тогда с драматургом Артуром Миллером, и в этом они сошлись.

«Встречалось много разных людей: умные, умеют слушать, но без витамина, — рассказывал Леонов об американцах. — Их предки вывезли из Европы рубанки, молотки и не взяли с собой ничего, что годится для жизни духа... Нет у них сумасшедшинки, блеска в глазах, как у европейцев... Рационализм, делячество!.. И нам это угрожает!»

Старик был прозорлив, спору нет.

В том же 1960 году, уже вернувшись в СССР, посетовал: «Меня никто не спросил, что я видел в Америке и что думаю об этом... особенно те, от кого зависит многое».

А спросить бы стоило.

Киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» только по очень внешним признакам имеет отношение к той «антимпе-

риалистической» борьбе Страны Советов с заокеанским недругом, в которой посильно принимали участие и писатели.

Ну да, действие происходит в некоей западной стране, однако на США в тексте прямо не указывается нигде.

Главный герой киноповести — клерк Мак-Кинли, пребывающий в постоянном ужасе от предстоящей мировой войны. Он одержим любовью к детям, мечтает о большом и радостном семействе, но не в силах переступить через свои маниакальные страхи. В своё время ему довелось воевать в Африке, и он насмотрелся там на мёртвых детей, у которых были — как болезненно точно определил в тексте Леонов — «суровые прокурорские лица»; сам он тоже видел подобное в Отечественную.

Одновременно некий Сэм Боулдер создаёт разветвлённую сеть сальваториев — оборудованных схронов, где желающие могут быть усыплены специальным коллоидным газом на любой желательный срок, хоть на тысячелетие.

Мак-Кинли, будучи приглашённым в один из сальваториев, чтобы ознакомиться с его работой, пытается обманом проникнуть в коллоидную камеру: он жаждет исчезнуть из страшного мира и очнуться в чудесном будущем.

Обман обнаруживается; Мак-Кинли буквально выбрасывают из сальватория на помойку.

Теперь он озабочен сбором необходимых средств для того, чтобы честно купить себе место в сальватории. В долг никто не даёт, ограбление пьяного не удаётся... Но тут вспоминается случайно подслушанный разговор молодых людей в кафе: один из них пересказывает роман «какого-то поляка», где нуждающийся в деньгах студент убивает топором богатую старуху. Причём топор как орудие убийства молодые люди находят вполне приемлемым и доныне: используя его, вполне можно сойти за сумасшедшего.

Вскоре Мак-Кинли случайно знакомится с богатой немолодой женщиной и начинает за ней ухаживать.

Тем временем Сэма Боулдера вызывают в сенат, обвиняя его в том, что сальватории задумали в Москве с целью посеять панику в стане противника и заодно в буквальном смысле усыпить часть интеллектуальных элит.

И здесь, наконец, выясняется, в чьё обличие Леонов спрятался со своей философией на этот раз. Конечно же в язвительного и саркастичного старика, разочарованного в человечине — и в то же время исповедующего принципы мироустройства, равноудалённые от любой социальной доктрины, будь то социализм или капитализм.

«Я работаю не от Кремля», — восклицает Боулдер; и это слова, которые вполне мог произнести герой нашей книги.

Боулдер описывает, как нам думается, личные впечатления Леонова от перелёта в США.

«Я получил вашу вздорную повестку и сперва этово... — начинает Боулдер, — мне уже вредно, мне нельзя самолёт, хехе... в небо мне уж дозволительно только с ангелом. Но тут мне дали проглотить что-то такое, продолговатое, и вот... (Долгая пауза.) Когда мне не дремалось, то я глядел оттуда сквозь облачную дымку на все эти плывущие города и башни и думал: так почему же оно так прочно? Их жгут века подряд, взрывают, а они всё стоят... я спрашивал себя: почему?.. из камня и стали? Нет. А потому, господа, что оно сделано из живой человеческой души. Из вздоха нашего, из мечты, из надежды... как будто даже из ничего. Вот почему книги живут дольше железа... "Так что же сегодня нужно прежде всего для спасения мира?" — думал я, плывя в поднебесье».

И продолжает: «Приготовьтесь, я вам скажу сейчас очень смешную, даже непристойную в таком месте вещь: чистая душа, господа... (Махнув рукою.) А впрочем, всё равно: потом приходит шальной наследник, балбес, голова винтом... и опять пепел, неоплаканный пепел летит по ветру! (В ответ на шелест переспросов, прокатившийся по залу.) Я сказал: по ветру, пепел... господа. (Длительная пауза, старик что-то жует.) В дороге я имел также удовольствие слушать; летел и слушал, этово... ну, ваши огненные речи, господа! И тоже — где я был назван организатором всемирного дезертирства с поля чести, хе-хе, хотя (грозя пальцем и с дробным смешком)... хотя у всех вас давно уже куплено по билету в мои сальватории, шельмецы! С пожара первыми убегают те, кто раньше узнал про огонь: поджигатели. Но одно, пожалуй, верно: старик стоит у трапа и неистово торопит всех, чтобы скорее всходили на мой корабль... отплывающий куда-то корабль. Признаться, я и сам не знаю куда! Но почему же он поступает так, этот чёртов, совратительный старик? Почему? Может быть, за свою долгую жизнь старый Сэм так полюбил людей, что решил хоть что-нибудь сберечь от предстоящего костра? Сомнительно. Мне слишком много про всех вас известно, чтобы жалеть. Нет... а просто хочу закинуть впрок, по ту сторону завтра, немножко наших идей, памяти о прошлом и ещё кое-чего для постройки шалаша на первое время... там. Для кого, я и сам не знаю».

Здесь даже интонации собственные, леоновские: спустя 25 лет замредактора «Нашего современника» Виктор Гусев спросит у Леонова, как же ему не страшно употреблять слово «человечина», на что он, сам того, видимо, не помня, ответит словами Боулдера: «Я слишком стар, и слишком много знаю про людей, чтобы их жалеть...»

Мы уже не говорим о картине мира, описанной Боулдером, которая безусловно и леоновская тоже.

«...мы слишком часто обращались к дьяволу за консультацией или чтоб погрел нам трагически остывающую кровь, — говорит Боулдер. — В сущности, господа, наша хвалёная цивилизация достигла той роковой содомской черты, когда в древности на неё ниспосылался огненный дождь. Снова чистая душа требуется миру... и какие бы телодвижения ни совершали мы, завтра планета будет в другой одежде. И не оплакивайте обречённого, господа: к сожалению, главное уже произошло. Оно бывало и раньше, они вымирали не раз, троглодиты и эти... (ближайшему секретарю) ну, как их... эти палеозойские водяные блошки?

Секретарь. Трилобиты, сэр.

Боулдер. Вот-вот, троглодиты и трилобиты. Со временем из этого образуется толстый на дне океана слой извёстки, который, будем надеяться, пригодится на что-нибудь путное в дальнейшем. Итак, всё!..»

Но и в этой киноповести, как всегда в случае Леонова, присутствует очевидный дуализм.

К финалу, например, выясняется, что Мак-Кинли был ведом к своей цели покинуть текущие времена не кем иным, как дьяволом. Возможно, это именно он выстраивает ситуацию так, что Мак-Кинли знакомится с богатой старухой. И когда убийство не получается, это дьявол подбрасывает Мак-Кинли лотерейный билет с баснословным выигрышем, дающим возможность немедленно купить себе место в сальватории.

Несчастный клерк бежит в будущее.

Первое, что он, выпущенный из сальватория, слышит — это воздушная тревога. Несколько зданий, которые Мак-Кинли успевает увидеть, погружаются в землю, остаются лишь сферические крышки наподобие канализационных. Пейзажа — никакого. Небо темнеет, и «только обезумевшая от смертного ужаса кошка дикими скачками и зигзагами мчится между крышек»...

Картина эта, безусловно, предвещает видения будущего из «Пирамиды» (а возможно, они уже и были написаны тогда).

Впрочем, ужасное будущее оказывается сном Мак-Кинли. Он остаётся в своём времени, преодолевает искушения, решается создать семью... Но уверенности в будущем читателям это вовсе не прибавляет и ничего из сказанного мистером Боулдером не отменяет.

Спустя пятнадцать лет Леонов неожиданно вспомнит в разговоре с литературоведом Александром Овчаренко:

— Будучи в США, я сказал: «Мы живём в век, не позволяющий делать ошибок».

А на вопрос Овчаренко: «Вы оптимист или пессимист?» ответит:

— Я пессимист. Считаю, что пессимизм умнее оптимизма. Пессимизм позволяет предусмотрительность. Я жду несчастья, а оно — не случилось. Хорошо; случилось же — я встречаю его подготовленным.

Своею повестью Леонов настраивал читателей на пессимистический лад.

«Бегство мистера Мак-Кинли» было написано летом 1960 года; полгода цензура вычитывала киноповесть, и затем наверху решили публиковать её в «Правде», что и было сделано: с 1 января по 5 февраля новая леоновская вещь публикуется в главной государственной газете.

Однако на киносудьбу «Бегства мистера Мак-Кинли» это не повлияло.

В те годы никто не решится экранизировать её.

И снова «Метель»

В марте 1962-го Леонов поехал в Карелию — на этот раз его выдвинули кандидатом в депутаты в Верховный Совет от Беломорского избирательного округа.

Восьмого марта он прибыл в Беломорск, побывал на строительстве местной ГЭС, а в клубе имени Сергея Кирова повстречался с избирателями.

Роман «Русский лес» в те времена дал ему большое количество читателей всех возрастов. В газете «Беломорская трибуна» периодически публиковались вполне, судя по нетривиальному содержанию, искренние отзывы жителей Карелии о писателе и кандидате Леонове. Едва ли не все из них пишут благодарные слова об этой книге.

Проблема сохранения лесного богатства стала и главной его заботой как депутата, и на встречах об этом говорили больше всего.

В Беломорске, в том марте, Леонов отчитывался перед людьми: «Моя последняя книга посвящена запутанной и непролазной лесной проблеме — защите родной природы, от которой мы требуем всё больше, чем отдаём ей накопившегося долга. До сих пор ещё в нашей лесной промышленности есть достаточное количество последователей Грацианского... Пока мы ведём этот разговор, наверное, сотни безумных костров горят на наших лесосеках, так я за то, чтобы погасить эти неразумные огнища».

Такие депутаты — которым ещё и не нравилось что-то в стране советской — были внове; даже если бы выборы той по-

ры не были безвариантной профанацией, его бы избирали всё равно: сотни писем жителей Карелии радетелю русскому леса, полученные Леоновым в тот год — тому порукой.

Девятого марта Леонов съездил в село Нюхча, общался там с рыболовами. Карелы его очаровали — не очень похожий на русских, степенный, сдержанный и — что Леонову было особенно важно — мастеровитый, бережный к лесу народ.

В том же марте Леонова в третий раз избрали депутатом в Верховный Совет.

Лето принесло писателю две новые обнадёживающие вести: во-первых, было предложено сделать сценарий для экранизации «Русского леса» — и Леонов его написал; во-вторых, появилась возможность вернуть на сцену запрещённую и не переиздававшуюся 22 года пьесу «Метель» — ту самую, что едва не стоила Леонову жизни.

Критик Евгений Сурков буквально уговорил режиссёра Московского театра драмы и комедии А. К. Плотникова пьесу прочесть. Тот был прочтённым просто поражён, но самочинно взяться за такую постановку, естественно, не мог.

Плотников вышел на министра культуры Екатерину Фурцеву, рассказал о желании ставить пьесу.

Фурцева приняла просьбу к сведению, прочла «Метель»... Пригласила на встречу самого Леонова и попросила его пойти на некоторые исправления в крамольном тексте. Он спорить не стал, в итоге 30 июля 1962 года Екатерина Фурцева подала в ЦК КПСС докладную следующего содержания:

«Московский театр драмы и комедии обратился в Министерство культуры СССР с просьбой разрешить ему поставить пьесу Л. Леонова "Метель".

Ознакомившись с существующим вариантом пьесы, Министерство культуры СССР считает, что при некоторых авторских доработках она могла бы быть использована в репертуаре театров.

Автор пьесы Л. Леонов согласен вместе с театром доработать пьесу с учетом всех замечаний, которые будут сделаны по прилагаемому старому варианту "Метели".

Считая необходимым привлечь Л. Леонова к активной работе с театрами, Министерство культуры СССР просит ЦК КПСС пересмотреть принятое в 1940 году постановление о пьесе "Метель" и разрешить Московскому театру драмы и комедии после авторской доработки включить это произведение в репертуар театра».

Восемнадцатого октября 1962 года Президиум ЦК КПСС принимает решение: отменить постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 сентября 1940 года о пьесе «Метель» как необос-

нованное. 25 октября «Литературная газета» публикует первый акт пьесы — причём в старом ещё варианте.

В декабре Леонов читает уже переработанный текст актёрам Московского театра драмы и комедии.

Казалось, что всё должно получиться, тем более что к «Метели» помимо Театра драмы и комедии проявил интерес ещё и МХАТ.

* * *

В итоге обе эти, принесённые 1962 годом, вести Леонова лишь разочаровали.

МХАТ так и не решился взяться за «Метель». Театр драмы и комедии продолжил репетиции, хотя уже было известно, что у пьесы объявились недоброжелатели «наверху». В марте Леонов писал литературоведу Владимиру Ковалёву, что над пьесой «собираются тучки среднего размера».

Работу над постановкой всё-таки довели до конца, премьера должна была состояться в декабре 1963 года, даже афиши появились на тумбах.

Но спектакль всё равно закрыли, причём вместе с театром. В начале 1964 года по решению исполкома Моссовета главным режиссёром вместо Плотникова был назначен Юрий Любимов, сам Театр драмы и комедии был реорганизован и официально получил новое своё имя — Театр на Таганке.

В планы Юрия Любимова, позднее заслуженно зарекомендовавшего себя провозвестником свобод в Советской России, постановка «Метели» не входила. Заметим, что в первые годы своей работы он куда более успешно делал безусловно яркие, но и столь же правоверные советские спектакли по Маяковскому и Джону Риду — про «Десять дней, которые потрясли мир».

Зато «Метелью» (равно как и «Золотой каретой») очень заинтересовались в большинстве стран соцлагеря. Объяснения этому как минимум два.

Во-первых, в послевоенные годы в европейских театрах пьесы Леонова шли не реже, а порой и чаще постановок, скажем, по Чехову и Горькому. Леонова хорошо знали и любили.

Во-вторых, потайное недовольство, испытываемое интеллигенцией стран соцлагеря, требовало выхода, в том числе и в сфере культуры — и здесь пьесы Леонова стали неожиданным подспорьем. С одной стороны, признанный советский писатель, с другой — пишет о том, чего никто или почти никто не решался писать ни у них, ни у нас.

В Советской России «Метель» незаметно, во второй раз, но уже без шума прикрывают. Однако спустя месяц, 18 марта

1964 года, Леонов едет в Венгрию — потому что пьесу ставят там. Как же было не появиться «Метели» в стране, пережившей известные события 1956 года.

Тем более что в Венгрии к тому времени уже были поставлены и «Нашествие», и «Золотая карета», и «Обыкновенный человек»; и книги Леонова там тоже были известны. Ещё в 1928 году отдельным изданием в Венгрии был опубликован «Конец мелкого человека». Потом был долгий перерыв — авторитарный режим Миклоша Хорти давал о себе знать — а с 1949-го там выходят, одно за другим, все главные леоновские сочинения: сборник из двух повестей («Саранча» и «Взятие Великошумска»), «Соть» (под названием «Тронется лес»; 1950; роман переиздан в 1956-м венгро-румынским издательством), «Дорога на Океан» (1951; переиздана в 1965-м), «Русский лес» (1955), «Скутаревский» (под названием «Комета»; 1956), «Вор» (1962; в послесловии к роману, между прочим, говорится, что именно в этой книге «миропонимание Леонова развёртывается полнее всего»), и т. д. И даже «Метель», не переиздававшуюся в России, венгры выпустили отдельной книжкой в том же 1963 году.

Венгерская постановка пьесы стала, пожалуй, лучшим подарком к 65-летию Леонида Леонова, которое теперь с неизменным елеем отмечалось во всех правительственных газетах СССР. Лучше бы пьесы позволили ставить вместо публикаций трафаретных и с каждым юбилеем всё более неживых панегириков...

Ещё до Венгрии, в 1957-м, «Метель» и «Золотая карета» были поставлены в Чехословакии, а в 1958-м ещё и «Волк». Отзывы чешской критики на эти постановки были более чем откровенны: утверждалось, что Леонов восстаёт против догматизма советской системы, прямо писалось о воссозданной в сочинениях драматурга «атмосфере подозрительности, уродующей человеческий характер». В России подобных рецензий на сочинения Леонова не писал никто. Мы, правда, не уверены, что писателя такое прочтение приводило в восторг. О европейском фуроре своих драм Леонов почти никогда в советской прессе не высказывался.

Да и вряд ли ему стоило рассказывать, что «прикрытую» в СССР «Метель» в той же Чехословакии издали в 1957-м, переиздали в 1958-м и ещё раз в 1959 году — настолько быстро расходились тиражи! И едва ли ему пришло бы в голову поделиться радостью, что в 1967 году в Чехословакии вышла книга «Бабель. Леонов. Солженицын» (где главным сочинением Леонова назван «Вор», и интерпретировался роман вполне прозрачно: «Если революция, по его (Векшина. — *З. П.*) мнению, даёт

право на кровь, не означает ли это, что, собственно, всё позволено? Поэтому он становится организатором наглого грабежа»).

Всего с середины 1920-х до середины 1960-х в Чехословакии зафиксировано 70 изданий произведений Леонова — как отдельных книг, так и публикаций в главнейших журналах и газетах страны.

Плюс ко всему в 1963 году в Чехословакии поставили на сцене «Бегство мистера Мак-Кинли» — до которого у советских театров руки вообще так и не дошли.

Одновременно с венгерской постановкой в марте «Метель» ставят в Югославии, в белградском Современном театре, и там пьеса идёт особенно успешно: билеты раскупаются за неделю до премьеры. Интервью Леонова, приехавшего в декабре того же года в Югославию, появляются в каждой третьей местной газете. Наименования рецензий, публикуемых на постановку, опять же говорят сами за себя: «Атмосфера страха», «Занесённые метелью» и т. п.

Встречают его там на ура: Леонов выступает в столичных университетах, много общается с местными писателями, его возят по древним монастырям...

В следующем году в Югославии сделают сценическую постановку романа «Вор» — чего на родине Леонова тоже не случалось никогда.

* * *

В декабре 1964-го на больших экранах страны советской появляется картина «Русский лес». И Леонида Леонова, и большинство зрителей и почитателей этого романа ждёт некоторое разочарование.

В качестве режиссёра выступил Владимир Петров, прославившийся в 1930-е масштабной исторической картиной «Пётр Первый», снявший в 1940-е «Кутузова» и «Сталинградскую битву», после войны с успехом экранизировавший классику — от «Ревизора» (1952) по Гоголю до «Накануне» по Тургеневу (1959). Казалось бы, лучшего режиссёра для «Русского леса» — романа, с одной стороны, эпического, а с другой — наследующего русской классике, и придумать было невозможно.

Музыку к фильму писал великий Георгий Свиридов, один из любимейших композиторов Леонова. Над сценарием работали втроём: сам Владимир Петров, Юрий Лукин (недавно сделавший сценарий к «Судьбе человека» по Шолохову) и автор собственно «Русского леса».

Но, признаться, с писателем было не так просто ладить: законы кинематографа его волновали куда меньше, чем собст-

венный текст. Сохранилось пять неутверждённых вариантов сценария! И утверждённый — шестой: Леонид Максимович, по-видимому, хорошо помучил своих соавторов.

Сложную архитектонику романа так и не удалось перенести в кадр. Достаточно привести один факт: в первой части фильма, действие которой происходит 22 июня 1941 года, трижды пришлось повторять одну и ту же сцену с сидящим в своём кабинете Иваном Вихровым (его играл лауреат Сталинской премии Борис Толмазов). А всё потому, что иначе не удалось соединить воедино четыре ретроспекции: возврат в его детство — раз, показ юности Вихрова — два, воспоминания о встрече с Грацианским — три и переезд Вихровых в столицу — четыре.

Фильм в итоге получился труднопроходимым, тяжеловесным, почти трёхчасовым, и ни замечательная музыка, ни отменная актёрская игра упомянутого Толмазова, Руфины Нифонтовой, Николая Гриценко, Майи Булгаковой и Юрия Яковлева ленту не спасли.

В отличие от книги фильм не пользовался известностью и был вскоре позабыт.

Последнее явление белогвардейца

В то время как леоновские пьесы шествовали по театрам Европы, а рецензиями на них можно было в два слоя уложить достойную площадь или, при иных обстоятельствах и в другие годы, сшить из них крепкое дело о «клеветничестве» и «пособничестве», — вот в это самое время Леонов в который раз размышлял: а стоит ли публиковать повесть «Evgenia Ivanovna»?

Крамолы в ней, на нынешний взгляд, немногим больше, чем в любом другом сочинении Леонида Леонова: внеидеологичные, злые каверзы обнаружить у него можно везде. Есть они и в «Evgenii Ivanovne» — хотя, быть может, их тут даже меньше, чем в «Барсуках» и тем более в «Воре».

Но дело в том, что «Evgenia Ivanovna» — по всем внешним призракам вообще не советская вещь. Бесконечно печальная, нежнейшая, пасторальная, словно бы написанная дождём на лобовом автомобильном стекле повесть: нужно быть очень глухим, чтобы не услышать тихой музыки этой прозы, раздающейся будто бы откуда-то из-под тёплой земли.

В «Evgenii Ivanovne» хоть и поднимались в который раз главные леоновские темы, всё равно вещь эта казалась какой-то немыслимой и непорочной для тех лет. Да и для наших дней тоже...

А тогда Леонов боялся за повесть как за живого и близкого человека. «Опубликовать — это всё равно что Евгению Ивановну мою, нагую, выпустить на площадь, на всеобщее рассмотрение...» — так вот говорил.

Советовался в который раз с женою, Татьяной Михайловной, и вроде бы, в конце концов, решились на публикацию.

Зимой 1963-го в Москву из Лондона приехала уже упоминавшаяся нами выше Мария Игнатьевна Будберг, любимая женщина Горького (и, кстати, Герберта Уэллса; а также двойной агент советской и английской разведок, о чём, впрочем, Леонов знать никак не мог).

Устроили встречу Будберг и Леонова. Специально для Марии Игнатьевны и её гостей Леонов выступил с чтением повести. Все были очарованы.

Леонов отдельно поинтересовался у Марии Игнатьевны, нет ли ошибок в описании одного из главных героев — английского учёного, его привычек, речи. Будберг сделала две или три незначительные поправки... Позже именно она блестяще переведёт леоновскую повесть для английского издания (отчего-то забыв вставить в текст посвящение Татьяне Михайловне Леоновой — чего Леонид Максимович очень долго не мог простить Будберг; не помнил, что ли, как отказал ей на Капри?).

В марте 1963 года Леонов позвонил Вадиму Кожевникову, редактору журнала «Знамя»:

— Есть одна вещь для публикации. Повесть. Если нужна — приезжай.

Кожевников прибыл в компании со своим заместителем, Людмилой Скорино, взял повесть читать. И тоже задумался: он уже понервничал в своё время с «Русским лесом», когда несколько томительных месяцев не знал, снимут ли ему голову за публикацию романа или оставят поносить. А тут Леонов подсунул повесть про белогвардейца и его жену, эмигрировавшую за рубеж в Гражданскую и вышедшую замуж за иностранца. Что это ещё такое, в конце концов, ни в какие ворота...

В начале лета Леоновы поехали в Крым — и повесть забрали у ничего так и не решившего Кожевникова.

Ещё раз перечли её, десять раз посоветовались, перекрестились — и в августе вернули в журнал.

Вскоре и Кожевников, наконец, решился на публикацию: «Evgenia Ivanovna» вышла в октябрьском номере журнала.

С 12 по 15 ноября 1963 года Леонов сам читал её на Центральном радио. Потом, в течение месяца, на радио приходили кипы благодарных писем. Такой пронзительной прозы и на столь болезненную тему никто и не ожидал услышать.

* * *

Несмотря на то, что во всех изданиях повести начало работы над ней датируется 1938 годом, задумана она была несколько раньше.

В августе 1928 года Леонов путешествовал по Военно-Грузинской дороге, он тогда как раз писал «Белую ночь» — и много размышлял о белом офицерстве. Тогда, кажется, впервые пришла Леонову мысль проследить путь выброшенного из России белогвардейца, решившего вернуться домой. «А что было бы, если бы я...»

Как-то они сидели с Тицианом Табидзе и его женой в духане «Симпатия», а через стол от них в одиночестве коротал время «поношенного обличья человек», — как его потом определил Леонов.

Человек был в крагах и в помятой шляпе, «которой, — вспоминал Леонов, — не хватало только положенного пёрышка для сходства с тирольской. Было непонятно, как он попал сюда».

В октябре 1934 года Леонов снова был в Грузии, и на празднестве Алавердоба среди сотен людей вдруг увидел даже не этого человека, а некую схожую, мучительно напоминающую его тень. «...это был запал к созданию Стратонова», — признается потом писатель. Возможно, предположим мы, и Глеба Протоклитова тоже, над образом которого он работал в том же 1934 году.

Стратонов — последний белый офицер, описанный Леоновым. В фамилии его заключено латинское «stratum» — страта, слой — в данном случае слой людей, выброшенных вон.

В отличие от сильного и гордого Протоклитова, Стратонов не просто «из бывших», — он натурально бывший человек. Усталый, проигравший свою душу, лишённый всего, кроме родины.

Сюжет повести несложен: в Гражданскую, в 1920 году, провинциальная девушка Женя уходит вместе со своим женихом, молодым офицериком Стратоновым, за рубежи.

«Матери благословили их в дорогу и всё пытались навязать по сундучку с прижизненным наследством. Молодые бежали в наёмной бричке, добытой по кулачному праву эвакуации. Брачная ночь состоялась в степи под открытым небом. Первый снег кружился в потёмках, лошадь стояла смирно, нераспряжённая, пахло прелой ботвой с баштана. Бесшумная пятерня нашаривала в степи беглецов, и этот смертный трепет умножал ненасытность Стратонова. У Женя озябли коленки...»

Через полгода Стратонов бросит её одну в Константинополе. Женя (она же — Evgenia Ivanovna), перебравшаяся в Париж, уверенная в гибели мужа и сама находящаяся на грани са-

моубийства, случайно знакомится с английским археологом по фамилии Пикеринг.

«Слава Пикеринга, литератора и лектора, не уступала его известности искателя сокровищ, а ему всегда зловеще везло как в поисках их, так и в азартных играх вообще. Одна его лекция о мумифицированной пчеле из погребального венка принцессы Аменердис, полная эрудиции и поэтического блеска, обошла все школьные хрестоматии Запада, потому что знакомила с Египтом двадцать пятой династии полнее иной многотомной биографии».

Он берёт её к себе на должность секретаря в предстоящей поездке по Месопотамии. Прямо в путешествии они становятся мужем и женой.

Пикеринг предлагает молодой русской жене вернуться домой транзитом через Россию. Он на хорошем счету в СССР, и, вполне издевательски, Леонов объясняет почему: «...в одном газетном интервью перед самым отъездом в Малую Азию учёный отвел России почётную, хотя незавидную участь горючего, чуть ли не вязанки хвороста, в деле великого переплава одряхлевшего мира, однако советский корреспондент и за это поторопился внести британского археолога в немногочисленный пока актив влиятельных друзей Октябрьской революции».

Молодая семейная пара попадает в Тифлис, и здесь Женя неожиданно встречает Стратонова: выясняется, что он не погиб.

Тогда, из Константинополя, он бежал через границу домой. В Стратонова стреляли, но он выжил. Теперь вот работает гидом.

Стратонова роднит с Глебом Протоклитовым только одна, но очень важная деталь. Оба эти леоновских белогвардейца отчего-то говорят о Советской России — «моя», «наша», как будто жаждут её присвоить, раствориться в ней, а не быть изгнанными из неё на пустой белый свет.

Стоит процитировать один из центральных монологов Стратонова, который никак не напоминает привычные белогвардейские речи в советской литературе той поры.

«Хорошо... но разрешите по-русски: об э т о м трудно на иностранном диалекте, — волнуясь, начал Стратонов. — Великие светочи России давно пророчили ей особую, героическую, в смысле отсутствия европейского эгоизма, историческую миссию... которая долгое время служила темой яростных споров целых поколений у нас и поводом для юмора пошляков за границей. Между тем тут опасно скалить зубы... речь идёт о стариннейшей и, главное, всеобщей людской потребности в мире, добре и правде, то есть об установлении на земле высшей

человечности... условно назовём это мечтой о золотом или праведном веке. Не поблёкшая от многих противоречивых толкований, осмеянная и преданная столько раз на протяжении столетий, она доныне теплится. <...> И вначале утоление этой ненасытной жажды было предоставлено доброй воле и отеческой совести государей, духовенства и вообще старших лиц, но потом ввиду разочарований и задержек младшие сами попытались сдвинуть дело с мёртвой точки. Я веду к тому, что все прежние революции надо рассматривать лишь как разведку боем: генеральная битва начинается здесь и завтра. Вы сейчас увидите, *почему* и *что* именно объединяет *нас*, в этой стране, сегодня».

И чуть ниже он добавляет про «огромную Россию, взвалившую на свои плечи предсказанный ей подвиг. В сущности, это всё тот же путь к звёздам, но в отличие от прежних — окольных, — *через небо*, здесь предполагается двинуть *туда* кратчайшим, земным маршрутом, сквозь гору и напрямки».

Казалось бы, какого чёрта бывший белогвардеец излагает теорию революции, оправдывает и объясняет её: неужели же для этого не нашлось других уст? Но для Леонова только такой расклад является самым правильным.

Однако, в отличие от Протоклитова, Стратонов помимо весьма сомнительного греха своего белогвардейства несёт в душе иной, действительно тяжкий грех. И тяжесть этого греха отменяет и рассеивает всю его истовую веру в Россию и русский, через революцию, путь к небу.

«...когда союзники России покинули её в беде, — произносит голосом Стратонова свой очередной монолог едва ли не сам Леонов, — я вынужден был временно уйти за границу... пока не решил вернуться домой, приносить посильную пользу отечеству... пусть даже на осушке болот! Для этого мне пришлось защемить в себе душу, предать свою мечту, даже совершить подлый поступок, воспоминание о котором сжигает меня доныне...»

Стратонов, да, бросил свою женщину, одну, на чужбине — и чего бы он теперь ни говорил о будущем родины своей, понятно одно: на небо, даже самым «кратчайшим маршрутом», не попадёшь, такой грех за собой волоча.

Не себя ли корил Леонов в том, что не просто оставил в Архангельске отца — помочь он ему в 1920-м ничем не мог, — а в том, что оставил его могилу без присмотра, и за несколько десятилетий суровой и страшной русской жизни так и не добрался туда.

Что до философии всей повести, то она, по сути, страшна. Стратонов, вернувшийся на родину, словно притянутый не-

преодолимой магнитной силой, — одновременно бросает слабую женщину и тем самым растаптывает душу свою.

Женя, родину покинувшая, — зачинает ребёнка именно в тот недолгий визит в страну советскую; но, вернувшись в Англию, умирает. Послеродовым осложнением объясняют её смерть медики, но всё чуть сложнее.

Русская родина, по Леонову, не отпускает от себя ни одно честное своё дитя и, кажется, питает себя их душами, жизнями их.

О том и повесть.

Леонов уходит в сад

У публициста Виктора Кожемяко был знакомый, в 1990-е годы неожиданно рассказавший, что его мать едва не вышла замуж за писателя Леонида Леонова. Дело было, кажется, в 1921 году. Будто бы девушка захотела венчаться, а начинающий литератор наотрез отказался. Так и расстались.

Кожемяко пошёл к Леонову, спросил, правда ли.

Тот ответил, что девушку, да, помнит.

— А не поженились в самом деле из-за того, что вы не захотели венчаться?

— Э нет, тут совсем другое, — ответил Леонов. — Сейчас я вам расскажу. Я действительно как раз из Красной армии только что демобилизовался. Устроился учеником к слесарю и поселился у него на чердаке. Там и спальня, и кабинет, и мастерская. А с Марусей мы тогда стали встречаться. Маруся её звали.

— Однажды, — вспоминал Леонов, — попала она в чердачное обиталище в разгар работы и увидела мои руки. Чёрные. В масле, заскорузлые. И, знаете, отшатнулась, и глаза у неё стали растерянные. Испугалась моих рук! Ну про какое венчание после этого мог быть разговор?

История любопытная, истинность её не докажет уже никто, но вот про то, что руки у Леонова были чёрные, заскорузлые, в масле, рабочие — это правда.

Вообще о руках его — проржавленных, пропитанных землёй, и вместе с тем удивительно красивых, гуттаперчевых, с длинными, изгибающимися назад до самой кисти, пальцами, с огромными, трудовыми ладонями, — говорили почти все мемуаристы, видевшие Леонова.

Он относится к тому редкому, к несчастью, на Руси типу писателей, которые помимо пера умели в руках держать едва ли не любой другой инструмент; и при иных обстоятельствах могли бы успешно заниматься чем угодно, а не сочинительством.

Рабочие навыки Леонова — это не толстовские, барские по сути, муки то с сохой, то с иглой — это, напротив, врождённое, крестьянское умение заниматься любым мужицким трудом.

И не только мужицким.

Как мы знаем, Леонов был профессиональным резчиком по дереву. Делал шкафы, которые, как сказал один современник, могли соревноваться с дворцовыми. Мог бы стать отменным художником: сохранившиеся этюды и графика Леонова, сделанные в молодости, тому порукой. Профессиональный фотограф, автор десятков фоторабот, опубликованных в газетах и журналах, он потом освоил ещё и видеокамеру и во время путешествия в Азию снял собственный документальный фильм «Леса Индии».

Кроме как на артиллериста в школе прапорщиков, Леонов больше ни на кого не учился; зато самолично и на приличном уровне выучил английский, закрепил изучаемый ещё в гимназии французский, не говоря о латыни, которую понимал свободно. Овладел несколькими музыкальными инструментами, а в юности ещё, напомним, и пел в Московском сводном гимназическом хоре.

Близкий знакомый Леонова, искусствовед Владимир Десятников вспоминал, что Леонов был необыкновенно одарён на любую работу. На террасе у Леонова, пишет Десятников, «...находилась компактная слесарная и электромастерская. Леонов точил по дереву и металлу на токарном станке, думаю, не хуже, чем царь Пётр Великий».

Мемуарист уверяет, что у Леонова были технические изобретения, на которые он при желании получил бы авторские свидетельства.

Подобно своим белогвардейцам, Леонов мог быть мастером на любой, доступной мыслящему человеку работе: врачом, шахматистом или, в конце концов, гидом по любым святым либо таинственным местам — с его-то энциклопедической памятью и несусветными знаниями в самых разных областях.

Ломоносовский тип! Мужик, рождённый богатой и щедрой землёй.

Очень точно записал как-то Корней Чуковский в дневнике: «Я часто встречаюсь с Леонидом Леоновым — и любуюсь его великолепным характером. Это сильный человек — отлично вооружённый для жизни. <...> У него золотые руки: он умеет делать абажуры, столы, стулья, он лепит из глины портреты, он сделал себе великолепную зажигалку из меди, у него много станков, инструментов, и стоит только посмотреть, как он держит в руках какие-нибудь семена или ягоды, чтобы понять, что он — великий садовод».

О леоновском участке, интересно рифмуя его вид с характером Леонида Максимовича, вспоминал и Константин Федин: «Вечером смотрел леоновский сад. Ботаники дивятся его разнообразию, он и правда хорош, несмотря на прихотливость. Богат, пышен, красочен, и всё в нём редкостно, не похоже на наши дачные русские сады — он словно чужеземец. В планировке весь писательский характер Леонова — ходишь по дорожкам, и всё как будто новое, а вместе с тем будто крутишься по лабиринту и возвращаешься назад».

Необходимое для полноцветья в саду — поддоны, стеклянные колпаки, специальное освещение и утепление — всё это Леонов тоже сделал своими руками, с учётом климата и характера десятков растений.

Сад собирали понемногу, саженец за саженцем.

«Из Сибири приехали кедры, прихватив с собой кандык и лилию кудреватую, — говорит Наталия Леонидовна, — с горных ручьёв Канады — экзотический пельтифиллум, с Камчатки — лизихитон и симпокарпус вонючий».

Хороший знакомый Леонова, директор Ботанического сада Академии наук Николай Цицын, поделился спорами джеферсонии, рододендронов, американских сортов алого пиона.

Всего Наталия Леонова насчитала более ста пятидесяти наименований растений, прижившихся в леоновском саду, — но она далеко не все учла и установила.

Вообще у него приживалось, вовремя цвело и пышно росло всё: привезённое хоть из Азии, хоть из Америки, хоть из любого уголка России.

В своём саду он был волшебник.

Владимир Чивилихин ещё при жизни Леонова рассказывал:

«Леонида Максимовича ничем нельзя удивить. Однажды мы с Владимиром Солоухиным заехали к нему, вернувшись из Олепина. Там, у родного дома Солоухина, мы обобрали созревший урожай невежинской рябины и, помню, взялись рассказывать Леонову, какое восхитительное варенье, какие настойки получаются из этого редкого сорта русской ягоды, выведенного в прошлом веке на Владимирщине. Хозяин послушал нас, послушал и пригласил в сад. “Вот, смотрите! Вот, а вот ещё”, — приговаривал он. Рябины у него оказалось более десятка сортов — и невежинская, и черноплодная, и какие-то ещё с чёрными, сине-сизыми, вишнёвыми ягодами, а под конец показал совершенно неожиданное: небольшое рябиновое деревце бережно держало на тонких веточках белоснежные кисти плодов.

Привёз как-то я в Переделкино из своего жалкого звенигородского питомничка несколько молодых кедров, веймутовых

сосен, пообещал сибирскую пихту, но оказалось, что всё это у Леонова есть.

— Ну, а багульник? — спросил я.

— Семья рододендронов у меня большая, — засмеялся Леонов.

— А саранка есть?

— Конечно, идёмте глянем.

— Бадан? Облепиха? — называл я сибирские эндемики. — Кандык?

Всё это у него было. Может быть, женьшеня всё же нет? Леонид Максимович подвёл меня под сень густого дерева, где из мягкой лесной подстилки выступали три стрельчатых стебля с зелёным ажурным венцом. Мне хотелось отблагодарить Леонова за несколько редких растений, которые он подарил мне, но как? И всё же мне однажды удалось обрадовать его — с гольцов Алтая привёз я три живых экземпляра "золотого корня", не уступающего по своим свойствам женьшеню».

Зимой Леонов прикармливал тех птиц, что добирались до Переделкина или зимовали там. Гости часто заставали Леонова за наблюдением пернатых у кормушек, которые сам он и мастерил, давая волю фантазии.

В крупных ёмкостях Леонов разводил живность: всевозможных рыб, лягушек; а может, и ещё какие потайные звери таились в саду, скажем, детёныш-нос-хоботом, навроде Бурыги.

Чуковский однажды заглянул к Леонову без предупреждения и обнаружил, как тот бормочет и даже негромко зазывает возле воды, а к нему, кивая головами по-над поверхностью, сплылись рыбы, едва руки не целующие своему хозяину, лягушки же не квакают, а воркуют в тон Леониду Максимовичу. На плечах у Леонова сидели птицы; неподалёку расположились совсем не пугливые белки.

— Боже ты мой! — так и всплеснул руками Корней Иванович, видя ещё и ежей, сбирающихся к ногам Леонова. — Я сейчас детей приведу со всего Переделкина взглянуть на эти чудеса! Боже ты мой!

— Да вы что! — как застигнутый врасплох колдун зашипел Леонов в ответ. — Да что вы! Не надо никого ни в коем случае! И сами идите-ка пока, соседушка! Так, так, да. До свидания. Идите-идите...

«Прекрасная память, — продолжает дочь Леонова, — помогала отцу сохранять огромный объём знаний о растениях: их происхождение, подробности о необходимом для нормального развития климате. Мою неспособность запоминать латинские названия он считал несовместимым с увлечением садом».

Леонов вообще был за введение латыни в школе; считал, что это дисциплинирует интеллект, разум, мозг. Сам он в этом смысле обладал удивительными способностями.

Известна одна история, случившаяся в декабре 1963 года в Японии. Едва ли не в каждой мировой столице Леонов сразу шёл в ботанический сад; так поступил и в Токио. Надо сказать, что в то время Леонов в Японии стал писателем едва ли не культовым. В 1953 году там вышло «Нашествие», первая его книга на японском языке, показавшаяся близкой читателю Страны восходящего солнца своим самурайским духом. Следом перевели «Русский лес», и этот роман на какое-то время обрёл популярность почти всенародную. После первого издания его в 1955 году роман переиздавали в 1958-м, 1959-м, 1960-м, 1961-м... Япония была не социалистической страной — и переводили, а тем более переиздавали там лишь то, что действительно пользовалось интересом и спросом. В декабре 1963-го, когда Леонов попал в Японию в составе писательской делегации, готовилось уже шестое издание «Русского леса» и переводился роман «Вор».

В Ботаническом саду Токио Леонов разговорился с садоводом по поводу одного растения. Леонид Максимович назвал его «Pancratium speciosum», что означает панкрациум прекрасный: есть такое вечнозеленое чудо с крупной луковицей бежево-коричневого цвета, с оттянутой шейкой, родом с Антильских островов.

— Леонид Максимович ошибается, — ответил японский садовод, — это не «Pancratium speciosum», а «Pancratium illiricum»! — он имел в виду панкрациум иллирийский, внешне, прямо скажем, несколько напоминающий первый.

— Нет, — мягко сказал Леонов, — это «Pancratium speciosum».

Садовод обиделся и принёс японскую ботаническую энциклопедию с изображением цветка.

— Это всё равно «Pancratium speciosum», врёт энциклопедия, — сказал Леонов и тут, как сам вспоминал, впервые увидел, как японец бледнеет, не веря ушам своим.

— Такого не может быть, — сказал японец шёпотом.

— Энциклопедия японская? — спросил Леонов.

— Нет, перевод с американского издания, — ответил садовод.

— А оно есть у вас? Принесите, пожалуйста.

Сходили за американским изданием и уже издалека, приближаясь к русскому писателю, начали, чуть кланяясь, извиняться: да, в их японский справочник прокралась ошибка!

Схожая история случилась в Англии, где Леонов заглянул в Ботанический сад Кью. Старый садовник поначалу объяс-

нялся с гостем из Страны Советов безо всякого энтузиазма, пока тот не остановился возле коллекции орхидей и не поинтересовался: «А где у вас анектохилюсы?» Тут садовник, отступив на шаг, сделал почтительный поклон и, указывая на некую полупотайную дверь, сказал: «Прошу вас, сэр!» Надо ли говорить, что дальнейшее их общение было обоюдно восхищённым.

В сентябре 1967 года Леонов был в Канаде, посетил Ботанический сад в Монреале, и там тоже сбежались все сотрудники подивиться на русского писателя, который всё знал обо всём и своими вопросами ставил в тупик местных специалистов.

Наталия Леонова перечисляет на русском и на латыни, какие замечательные растения жили вокруг отца, его заботливыми руками взращённые:

«Есть, например, в переделкинском саду горянка — эпимедиум (Epimedium) с кружевными кистями мелких цветов на фоне вздрагивающих от ветра лёгких листьев. Нельзя не согласиться с тем, что название говорит о воздушном изяществе. И русское и латинское название клопогона — цимицифуга (Cimicifuga) звучит с математической жёсткостью, прямолинейностью, и это вполне справедливо. Растение обладает удивительной графичностью. <...>

Под круглым стриженым тисом пышно разрастается папоротник, лёгкий, весь состоящий из плавно изогнутых линий, похожий на пришельца из мира эльфов и фей, и название его — Onoclea sensibilis. Оноклея не зря получила своё нежно звучащее имя — чувствительная. Зато ненавидимый садоводами сорняк — осока так и живёт всю жизнь под кличкой, похожей на окрик, — карекс (Carex)!

Цветы симплокарпуса вонючего вылезают из земли весной самыми первыми. Но, главное, они похожи на странную зверушку, старичка или деда-лесовика, но только не на цветок. Вот и название говорит об экзотичности — симплокарпус фоетидус (Symplocarpus foetidus)».

«...некоторые посетители сада, — вспоминал Чивилихин о Леонове, — с трудом удерживаются от улыбки, когда он с гордостью показывает какой-нибудь жалкий листочек, называет его латинское имя-отчество и восклицает:

— Это драгоценность! Из Чили. Редчайшая вещь. Просто нет цены.

Между тем комментарии эти бывают очень интересными. Вот мы идём по саду мимо сибирского уголка участка “стихийного” леса, мимо зарослей сахалинской гречихи и бересклета. Среди камней — невзрачный плоский бутон свежей зелени.

— Живёт! — удивлённо-радостно замечает Леонов и опус-

кается на колени. — С югославского высокогорья. Много лет, знаете, мечтал, а когда приехал в Белград, спрашиваю у одного учёного: "Нельзя ли добыть... (тут латынь)?" — "Трудно добраться сейчас, — отвечает. — Но у меня есть в гербарии, года два назад привёз, могу подарить". — "Жаль, говорю, я не составляю гербарии, мне надо живое". — "А вы привезите, дайте ему земли и воды, тогда посмотрите!" И вот представляете, — правда, ожило! Какая жажда жизни!»

«К числу папиных любимцев относился дикий пион из Крыма, — продолжает дочь. — Скромное растение украшали круглые листья, покрытые голубоватым налётом. Мои попытки развести этот пион семенами оставались безрезультатны, и я неоднократно просила отца поделиться со мной, дать отводок, кусок корневища. Он отказывался: боялся повредить материнский куст. Вот тут-то и случилось неожиданное — в толпе нарциссов возле моего крыльца появился круглый голубой листок. О, как я лелеяла его! А когда на третий год распустился крупный розовый цветок, позвала отца: "Ну-ка, Леонид Максимович, познакомься с новым жителем!" Он чуть было не заподозрил меня в неблаговидном поступке — тайном похищении куска корневища, что неудивительно: птицы не склёвывают семена пиона, а разум отказывался верить в самостоятельное путешествие по саду крошечного алого семечка. Папа с удивлением рассмотрел новоявленного пришельца, потом развёл руками и сказал: "Чудо!"

За одним чудом следует другое. Много лет назад, когда я начала увлекаться садом, отец привёз молодую яблоньку, и мы вместе посадили её под моим окном. В центре — яблонька, вокруг неё нарциссы. Неожиданно я обнаружила среди них растение, которое никто не высаживал. На следующий год опознала его — ирис. С трудом дождалась цветения. Но то, что на третий год распустилось, было не цветком, а явлением с большой буквы! Нечто огромное, душистое, редчайшей расцветки! Такие оттенки можно найти на полированной поверхности старинной мебели, в пламени красного дерева. Ничего подобного мне видеть не приходилось. Да и капризны ирисы — требуют дренажа и особой пышной почвы. Вот уж воистину: "Откуда ты, прелестное дитя?!"».

На такие чудеса леоновский сад богат до сих пор: каждый год то одно невиданное растение произрастёт в негаданном месте, то другое, в неясной человеку шалости переберётся через весь сад и распустится там, где его не ждали.

Как тут было Леонову не бросить на мир взгляд языческий и древний, каким люди нынешних дней видеть мир давно разучились.

Почти в каждом произведении Леонова есть тот или иной цветок: они бродят по страницам его, — так же как перелетавшие из романа в роман Набокова бабочки.

Но если бабочка у Набокова символизирует человеческую душу, то цветок Леонова означает отмирание человека, вместе со своей запутавшейся и уже не расцветающей душой.

Есть такой ещё в ранних «Записях Ковякина...» пассаж, из письма главного героя к губернатору: «Слышал я, что оранжерейками вы на свободке изволили подзаняться. Это очень хорошо (то есть цветочки — хорошо!). Тем более что человек уже перестал быть цветком природы. Он уже более походит на самый фрукт, готовый упасть».

Глава одиннадцатая

БОЛЬШОЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

«Не хочет — и не надо»

В июне 1966 года состоялось очередное избрание Леонида Леонова депутатом Верховного Совета СССР.

В октябре того же года к Леонову напросится в гости заведующий сектором художественной литературы Отдела культуры ЦК КПСС Альберт Беляев. Перед ним поставили задачу разобраться, что на уме у советских литераторов накануне очередного съезда Союза писателей.

Альберт Беляев вспоминает, как смуро встречал его Леонов, чуть сипло и устало говоря:

— Съезд-то вы проведёте. И время выбрали под юбилей государства. Ну как ему не пройти благополучно? По мне, лучше бы года на два передвинули съезд-то, да ведь вам это невыгодно. Я выступать не буду. У вас есть штатные ораторы. Пусть и говорят...

Съезд прошёл успешно, в июне 1967-го, Леонов действительно отмолчался на нём.

Он давно уже разуверился в том, что благополучные отношения с партийными и писательскими верхами могут решить хоть одну его серьёзную литературную проблему.

Теперь Леонид Максимович, например, ничего не предпринимая, смотрел, чем же в очередной раз закончится постановка пьесы «Метель», которую на этот раз взялся ставить Московский драматический театр имени Пушкина.

Девятнадцатого июня Леонов писал критику Евгению Суркову, что должна была состояться «папа-мама» «Метели» (так в театре называют генеральную репетицию перед премьерой, куда приглашаются друзья и родственники исполнителей), но исполнитель одной из главных ролей сломал ногу. «...В силу чего, — печалился Леонов, — во мне бродят разные, не только суеверные предчувствия и догадки. Ибо сочинение это, как Вам известно, не пользуется благоволением лиц, распределяющих хлеб и радости».

Премьера пьесы действительно продолжала тормозиться даже после излечения актёра, но всё-таки состоялась в ноябре

1967 года. После доброго десятка постановок «Метели» в разных странах Европы, напомним мы...

В том же ноябре, 10-го числа, в Болгарии на сцене Народного театра, что в Софии, состоялась премьера «Золотой кареты».

В дни проведения писательского съезда, в июне 1967 года, Леонов вошёл в состав Всесоюзного комитета по проведению юбилея Горького в качестве зампредседателя комитета и главного редактора юбилейного собрания сочинений: в марте 1968-го страна собиралась масштабно праздновать столетие со дня рождения великого буревестника.

Окончательная переоценка личности Горького Леоновым состоится чуть позже — мы об этом уже писали выше; хотя и в 1960-е Леонид Максимович воспринимал советского классика очень неоднозначно. Но за грамотное и достойное отношение к писателю, как и в случае с недавним юбилеем Льва Толстого, Леонов выступал последовательно.

Забраковал проект макета собрания сочинений Горького, который ему представили.

Литературовед Александр Овчаренко, работавший вместе с Леоновым, вспоминал, что Леонов просто взъярился на руководителей издательства «Наука»:

— Значит, вот так Горький будет у вас выглядеть?! Неужели для него у вас не нашлось ни хорошей бумаги, ни хороших шрифтов, ни оригинального оформления? Книга на гроб похожа! Дайте, в конце концов, больше воздуха, дайте широкие поля, сделайте книгу достойной... И не надо на титуле писать так много. Напишите просто одно слово — Горький.

И потом ещё Леонов долго отплёвывался: «Вот смотрю на это грубо(гробо)ватое оформление и думаю: “И ради этого я столько лет стараюсь, не ведая ни сна, ни выходных? Ради того, чтобы потом мне выдали такой вот гроб?”»

Но самое неприятное случилось во время подготовки официального юбилейного доклада: Леонова вновь — после нашумевшей речи о Толстом — уговорили выступить.

То, что написал Леонид Максимович о Горьком, мы уже разбирали и цитировали выше, выражая резонное удивление, каким образом это вообще могли позволить озвучить на всю страну.

Теперь расскажем, как именно всё происходило.

Готовый доклад, как водится, прочли несколько секретарей Союза писателей, и у всех опять же нашлись замечания.

Составили совместный документ, передали Леонову — но он, видимо, был уже не столь покладист, как девять лет назад, когда ему выворачивали руки с докладом о Толстом. Прочитав

замечания, Леонов велел послать всех к чёрту и с докладом выступать отказался.

Случилось это ровно за день до торжественного вечера, 27 марта 1968 года. Билеты были уже проданы, пресса оповещена, а руководители государства вписали мероприятие в свой высочайший график.

Так Леонов воплотил в жизнь свою саркастическую шутку девятилетней давности, которую он произнёс во время подготовки к толстовскому юбилею: «Вот соберутся все в Большом театре — а докладчика нет? Исчез... А?..»

Глава Союза писателей Георгий Мокеевич Марков в натуральном ужасе приехал к заведующему Отделом культуры ЦК КПСС Василию Филимоновичу Шауро. Можно представить, какими словами хотели бы они покрыть Леонова — но если б это могло исправить ситуацию!

В итоге, стиснув зубы, приняли решение отказаться от всех замечаний.

Шауро приказал Альберту Беляеву ехать к Леонову и объясниться с упрямым стариком. Но Леонид Максимович и не думал успокаиваться.

— Я вам не мальчик, чтобы со мной так общаться! — кричал Леонов на представителя ЦК, по сути, ни в чём не повинного. — Пусть чиновники из Союза писателей сами выступают!

Беляев едва уговорил Леонова не срывать торжественное мероприятие.

«С большим трудом Леонов отходил от своей взвинченности, — рассказывал потом Беляев, — то и дело взрывался новыми возмущениями и обидами. Наконец он сказал: “Ну, хорошо. Я вам поверю. Сделаю свой доклад. Но больше прошу не впутывать меня в подобные истории. Я старый писатель, у меня за плечами десятки романов, повестей, пьес, меня знает мир. А эти щелкопёры будут учить меня, как писать доклад о Горьком, и делать мне замечания?” Он помолчал и добавил с горечью: “Видите, какая собачья жизнь у писателя?! Слова сказать не дают без замечаний”».

«Доклад Леонова в Кремлёвском зале съездов прозвучал триумфально», — утверждает Беляев, и это подтверждают другие свидетели того выступления.

Но Леонову ещё предстояло пережить несколько минут раздражения.

После официальной части, завершающейся, как водится, в банкетном зале, Альберта Беляева отводит в сторону главный редактор «Литературной газеты» Александр Чаковский и сообщает, что политбюро решило леоновский доклад опубликовать в кратком изложении.

Неизвестно, Шауро ли нажаловался в политбюро о несносном поведении Леонова или сами «старейшины» пришли к такому решению. Но фамилии людей, которым выступление писателя пришлось своей вопиющей аполитичностью не по вкусу, Чаковский назвал самые увесистые: председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, заведующий Отделом агитации и пропаганды ЦК Михаил Андреевич Суслов и секретарь ЦК КПСС Андрей Павлович Кириленко...

Чаковский терять своё место вовсе не хотел, но и маститого писателя обидеть боялся, посему честно признался Беляеву: «Я доклад Леонова опубликовать не могу. Что делать?»

Опытный аппаратчик Беляев быстро придумал выход из положения.

— Александр Борисович, — сказал он Чаковскому, — вон стоит Брежнев. Идите к нему и скажите, что возглавляемое вами издание не может полностью напечатать доклад лауреата Ленинской премии Леонида Леонова.

Чаковский так и сделал.

«Я наблюдал, как он горячо что-то доказывал, — рассказывает Альберт Беляев. — Потом они пожали друг другу руки и сияющий Чаковский подлетел ко мне:

— Всё в порядке. Леонид Ильич дал добро печатать доклад полностью в “Литературке”. Сказал, что кое-кому из Политбюро что-то там не понравилось в докладе, но печатать нужно полностью, иначе нас не поймёт интеллигенция».

Поведение Брежнева мы конечно же можем успешно объяснить некоей демократичностью советского вождя и даже его уважением к Леонову... Но, думается, что тут имеет место та же история, что и в случае с Хрущёвым. Помните, как Хрущёв признался, что книг Леонова не читал? Вот так и Леонид Ильич их не читал, а доклад прослушал, заворожённый самой витиеватостью леоновской речи, в смыслы не вдаваясь, — если и был в состоянии их постичь. Брежнев в толк не мог взять, к чему такой переполох. «Что-то там не понравилось...» Мол, вечно этот въедливый Михаил Андреевич суетится на пустом месте.

Но Леонов, прожжённый литературный старожил, с его многолетним чутьём и цепким глазом, по одному суетливому передвижению властных и литературных чиновников сразу понял, в чём дело. Поймал Беляева за рукав:

— Что, мой доклад не хотят печатать?

— Нет, что вы... Всё в порядке... Сами видели, какой фурор он произвёл... Овация...

— А что же вы с Чаковским так суетились?

И, не дождавшись ответа, прибавил с откровенной злостью:

— Это мне ещё один урок: не лезь в общественные дела, не связывайся с политикой и политиканами. Они меня не знают и не понимают.

Леонов сознавал, что своим упрямством нажил себе сразу несколько недоброжелателей на самом верху: тут и Шауро, откровенно испугавшийся леоновского отказа делать доклад, и Косыгин с Кириленко и Сусловым, которые имели своё мнение по поводу леоновского выступления, но через их три сановные головы перешагнули и решили вопрос лично с Брежневым.

Нужно ли это всё было Леониду Максимовичу?

К тому же ему, как всякому человеку, был неизвестен собственный земной срок — и ой как не хотелось тратить последние годы жизни на эти нелепые препирательства, когда и так ясно, что ничего всерьёз изменить не получится. Та же, к примеру, лесная проблема могла послужить доказательством бессмысленности увещеваний власти предержащей: сколько сил было положено, а как творился беспредел то здесь, то там, так и творится по сей день.

«Не лучше ли достроить свою “Пирамиду” в оставшиеся на счету дни?» — так мог думать Леонов.

В начале лета 1970 года он сделает жест, который до тех пор себе никто не позволял. Неожиданно он прислал в ЦК КПСС письмо с отказом выдвигаться кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

Люди готовы были за депутатство сложить голову и душу по ветру пустить — а тут такое...

Суслов, который ничего не забыл, сказал: «Не хочет — не надо».

Желающих занять депутатские места и так было достаточно.

В октябре 1970 года Леонов войдёт в состав Всесоюзного комитета по проведению юбилея Ф. М. Достоевского, но выступать с докладом ему уже не предложат. Ну его, этого упрямого старика, неизвестно, что от него ждать.

Леонов и Шолохов

Свою литературную работу Леонов и Шолохов начали почти одновременно и некоторое время даже работали в одинаковом темпе.

Первая серьёзная публикация Леонова — в 1922 году, Шолохова — в 1924-м.

К 1932 году оба создали по пять томов произведений. Шолохов — «Донские рассказы» (которые, как и ранняя, малая проза Леонова, долго потом не переиздаются), три книги «Тихого До-

на» и первый том «Поднятой целины». У Леонова свой том повестей и рассказов, «Барсуки», «Вор», «Соть», «Скутаревский».

Но «Барсуки» вышли на два года раньше первого тома «Тихого Дона», и в леоновском романе есть места, которые убеждают нас в том, что Шолохов тогда прочёл его очень внимательно.

Леонов, как и чуть позже Шолохов, делает главным героем не большевика, а мятущегося, сильного, страстного человека, которого то течение подхватывает, то он сам поперёк течения идёт, без видимого смысла, от одной душевной, неизбывной муки.

Созвучны любовные коллизии в «Барсуках» и «Тихом Доне». Леонов, а затем Шолохов без прикрас дают взаимоотношения меж мужчиной и женщиной, рождённых и живущих «на земле», в сельских местах, не важно, в деревне или на хуторе. Надо сказать, что до тех пор русская литература куда чаще обращала внимание на любовные трагедии в среде бар или мещанства.

Когда Леонов описывает, как Егор Брыкин бил изменившую ему жену Анну, он даёт замечательно точную психологическую ремарку: «...сидела в нём уверенность, что наложением рук на повинную голову как бы прощает он Анну и отпускает ей многие её грехи. Анна приняла побои молча, лежала так, словно не хотела видеть себя возле суетившегося чуть не до обморока мужа».

В этом леоновском абзаце уже заложен рисунок взаимоотношений Аксиньи и Степана Астахова. И в будто безучастной реакции Анны угадывается будущая, презирающая мужа Аксинья, и в поведении Брыкина, желающего вернуть свою женщину, после собственного зверского к ней отношения, видится Степан.

Описанная Леоновым «барсучья» жизнь людей, ушедших из-под новой власти и не пришедших ни к какой, тоже содержит прообраз будущих мытарств Григория Мелехова, например, его жизни на острове в банде Фомина.

Сравните саму атмосферу. Вот Леонов:

«Опять заступила место тишина, земляная, самая тихая.

— Эха, бычатинки бы, — вздохнул Петька Ад, сидевший с вытянутыми ногами на полу, и коротко зевнул. — Пострелять бы... долгоухого видал даве.

— Из пальца не выстрелишь... — осадил и этого Гарасим, — а патронов я тебе не дам.

Опять потекли минуты скучного, зевотного молчания».

А вот Шолохов:

«Фомин и его соратники каждый по-своему убивали время: хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие; Капарин, которому не впрок пошли ночёвки на сырой

земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая; Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты; Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой, — всё было давно переговорено, — и собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их...»

Характерно, что и у Леонова, и у Шолохова со скуки окопавшиеся «повстанцы» начинают петь. Только у Шолохова от песни на минуту развеселятся и затем снова впадут в скуку, а у Леонова один из героев сразу скажет пытающемуся играть на гармони: «Брось ты... нехорошо у тебя выходит».

Но самое главное, что ни Леонов, ни Шолохов, описав кровавое, беспутное, страшное брожение народа, так и не дают к финалу осознать читателю, кто тут является носителем хоть какой-нибудь правды.

И финал обоих романов тоже созвучен: герои «Барсуков» смотрят на ночной месяц, а Григорий Мелехов на ледяное солнце.

При желании можно говорить о некотором сходстве тематики опубликованной в 1930 году «Соти» и появившегося спустя два года первого тома «Поднятой целины». Или о стилистическом созвучии «Взятия Великошумска» и романа «Они сражались за Родину». Но, как нам кажется, эти сравнения не имеют под собой столь основательной почвы. С середины 1920-х писатели идут слишком разными путями.

Шолохов был пожизненно связан с Донской землёю, и это одно из самых очевидных объяснений, почему в конце жизни он замолчал. А потому, что описал все трагедии, случившиеся на той земле, где жил: уход казаков на Первую мировую, затем Гражданскую, коллективизацию, Отечественную. А после Отечественной того Тихого Дона, что взрастил Шолохова, уже не стало. О чём же ещё писать?

В этом смысле для Леонова подобных ограничений не было: своих героев он мог поместить почти в любой раствор, в любую среду, в любую природу.

* * *

Если в середине 1920-х по литературному статусу и известности Леонов превосходил Шолохова, то в конце 1920-х — самом начале 1930-х в глазах читающей публики, критики и даже власти они сравнялись.

В 1932 году писатели однажды виделись у Горького именно в таком составе: Алексей Максимович, Иосиф Виссарионо-

вич, несколько человек из ближайшего окружения Сталина, Шолохов, Леонов.

Как две главные величины молодой советской литературы воспринимались они тогда не только внутри страны, но и за её пределами. Мы уже вспоминали Георгия Адамовича, который ставил Леонова выше Шолохова. О том же в 1928 году писал замечательный писатель и публицист Константин Чхеидзе в пражской газете «Казачий сполох», утверждая, что «из современных Шолохову советских писателей превосходит его Леонид Леонов», — притом что, по мнению Чхеидзе, уступает Шолохову даже Максим Горький.

Но уже к середине 1930-х Леонов в разговорах серчал и жаловался: «Чтó бы я ни написал — всё равно критика скажет, что Шолохов и Фадеев лучше!»

Так и было.

Два ещё не оконченных романа Шолохова воспринимались как символы величия молодой Страны Советов; он был предметом национальной гордости, наряду с челюскинцами и лётчиком Чкаловым. Леонова после публикации романа «Скутаревский» подобным образом никто не воспринимал. В то время, как ладный и красивый Шолохов смотрел со страниц правительственной прессы, Леонов в течение чуть ли не десятилетия наблюдал карикатуры на себя.

Леонид Максимович потом ещё долго сердился на Шолохова, говоря знакомым и в шестидесятые годы, и в семидесятые, что-де, когда его критики топтали, а ЦК выписывал постановления о клеветнической пьесе «Метель», достопочтимый Михаил Александрович на охоту ездил.

Вполне такое могло быть. А что должен был Шолохов предпринять?

Тем более что ситуацию эту Леонов видел ретроспективно, из того времени, когда они оба стали патриархами советской литературы и когда их фамилии в литературных святцах начали писать через запятую.

Сами взаимоотношения их отчасти схожи со взаимоотношениями Толстого и Достоевского, так же не нашедших за несколько десятилетий времени, чтобы всерьёз поговорить.

Единственные соразмерные им в XX веке величины — Шолохов и Леонов — продолжавшие к тому же первый — толстовскую линию, второй — с оговорками и даже полемикой — достоевскую, — виделись считаное количество раз.

Едва ли Толстой и Достоевский, найди они время с пятидесятых до восьмидесятых годов XIX века выслушать и понять друг друга, смогли бы хоть что-то изменить в том, что предстояло пережить России. Равно как и совместное выступление

Шолохова и Леонова в тот же промежуток времени спустя сто лет не остановило бы грядущего. Но как интересен был бы сам факт их общения или спора!

Леонов обмолвился как-то, что столкнулся с Шолоховым в Кремлёвской больнице, где оба подлечивались.

Разговор, уверяет Леонов, длился меньше полминуты.

— Здравствуй! — сказал один.

— Здравствуй! — сказал второй.

— Как живёшь? — сказал один.

— Хорошо, — ответил второй. — Тебе пишется?

— С трудом, — сказал один.

— Мне тоже. С невероятным трудом, — ответил второй.

На том и расстались. И даже не важно, кому именно принадлежат в этом диалоге реплики.

Леонов утверждал, что никогда и не разговаривал с Шолоховым более минуты.

Сохранилось, тем не менее, никак не подтверждённое свидетельство одного польского переводчика, видевшего Леонова и Шолохова в августе 1948 года в городе Вроцлаве в составе советской делегации на конгрессе в защиту мира. Они оба там действительно присутствовали.

Писатели якобы были поселены в один номер и вскоре разговорились о литературе. Шолохов стал объяснять, как Леонову стоило бы писать Митьку Векшина. Леонов в ответ начал говорить, каким он сделал бы Григория Мелехова. В итоге разругались вдрызг и Шолохов потребовал его отселить. Что и было сделано.

Когда у Леонова, спустя лет сорок, спросили, имела ли место подобная встреча, он ответил равнодушно:

— Не помню.

Хотя вряд ли бы он это забыл.

Отсчёт совместного главенства Шолохова и Леонова в советской литературе, как известно, идёт со времени выборов в Верховный Совет 1946 года; но окончательно их положение было закреплено в год полувекового юбилея революции — в 1967-м.

В феврале того года Леонову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Шолохов получил это звание шестью годами раньше, в 1960-м; тогда же ему была вручена и Ленинская премия — он стал вторым её лауреатом после Леонова.

А в мае 1967 года состоялось торжественное вручение Леониду Леонову и Михаилу Шолохову орденов Ленина и золотых медалей «Серп и Молот». Так власть продемонстрировала литературной элите и общественности в целом, кто у нас тут самые именитые литераторы — и по старшинству, и по заслугам.

...Однако как изменились времена и нравы за сто лет, заметим мы. Едва ли кто-нибудь в состоянии представить себе Толстого и Достоевского на совместной церемонии вручения им той или иной награды императором Александром II.

* * *

Имена Шолохова и Леонова связывала весьма неоднозначная молва о том, что они являются негласными лидерами пресловутой «русской партии».

Ныне для одних само словосочетание «русская партия» уже является символом мракобесия; для других существование «русской партии» давало возможность России пойти по иному пути, не приведшему бы страну к распаду и многолетнему хаосу.

Публицист Олег Платонов в 1967 году посещал возобновившиеся встречи у Евдокии Никитиной — так называемые Никитинские субботники, где ещё в 1920-е часто выступал Леонов и о которых, напомним, весьма нелицеприятно отзывался Михаил Булгаков.

Завсегдатаями посиделок стали в шестидесятые годы поэты Борис Слуцкий и Владимир Луговой, критик Нея Зоркая; вокруг мэтров группировалось студенчество... На одной из этих встреч, утверждает Платонов, зашёл разговор о новых черносотенцах. К ним собравшиеся безо всяких сомнений отнесли Шолохова, Леонова и автора романа «Тля» Ивана Шевцова. Достаточно любопытная иллюстрация к литературному быту того времени!

Вопрос, однако, в том, что никакой «русской партии» как организации хоть сколько-нибудь системной никогда не существовало в природе.

Да, начиная со второй половины 1950-х годов литераторы, исповедующие патриотические взгляды, заняли ряд административных постов в Союзе писателей, и почти все они почитали Леонида Леонова за своего учителя и наставника. Мы говорим о Михаиле Алексееве, Юрии Бондареве, Семёне Шуртакове, Евгении Осетрове.

Да, Леонов был близок с несколькими литераторами, вовлечёнными в орбиту работы «Молодой гвардии» — издания, где группировались наиболее ортодоксальные представители русского почвенничества. К примеру, Леонов дружил с писателем и соратником по борьбе за сохранность русского леса Владимиром Чивилихиным, издававшимся у «молодогвардейцев».

Да, Леонов много занимался охраной памятников архитектуры — и эту работу, как ни удивительно, также негласно числили по ведомству «русской партии», считая её своеобразным прикрытием для деятельности членов организации.

Но в случае Леонова ни о каком прикрытии и речи не идёт: он действительно радел за старину.

Ещё в 1955 году Леонов деятельно занимался проблемами Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, находившихся в запустении и разрушавшихся.

Высокий авторитет неоднократно позволял ему выступать с критикой советского чиновничества. И поныне некоторые леоновские публикации воспринимаются как безапелляционно жёсткие. Процитируем, например, его статью в «Литературной России» от 30 октября 1965 года «Пока суд да дело...»:

«За последнее десятилетие у нас наблюдается успешное — наряду с заповедниками природы — искоренение памятников старого русского зодчества. Для сбережения уцелевшего создан охранительный Оргкомитет, куда назначен и я. Начинается медленный, без ущерба для здоровья, разворот общественно-учредительно-краево-республиканско-заседательной деятельности... к сожалению, пока без учёта повседневных происшествий на этом действительном, в силу применения взрывчатки, ф р о н т е нашей культуры. Может случиться, ко времени организации Общества по охране охранять-то будет и нечего, так как с момента появления означенного Оргкомитета дело по ликвидации русской старины пошло вроде веселей. <...>

Примечательно, что в деле разрушения русской старины принимают участие и видные деятели культуры. Вот ряд взятых наугад памятников, уже разрушенных или намеченных к срочному удалению с глаз долой.

1. Администрация Восточного музея (ул. Обуха) взорвала апсиды церкви XVII века (Илья Пророк) для постройки там одного подсобного помещения. В этом году памятнику исполнилось бы триста лет, поздравляем кого следует с юбилеем. Остальные соавторы этого варварского акта скоро будут опознаны нами по горящей на них шапке.

2. Резная деревянная церковь-игрушка XVII века в Закарпатье (село Русское поле) отдана местными властями директору школы Я. С. Яновскому, по его просьбе, на дрова — в силу её сухой выдержанной древесины. Особенно трогательно здесь внимание администрации к нуждам деятеля народного просвещения. Распилку вели учащиеся средних классов, видимо, в порядке общественной работы.

3. Уже намечен перенос знаменитого Кондопожского собора XVIII века, хотя любая подвижка деревянного здания такой давности исключает его дальнейшую пригодность даже в качестве топлива. Авторы — проектировщики института «Ленпромстройпроект».

4. Мне пишут, что предполагается ликвидация Александро-Невской лавры (Ленинград) со знаменитым кладбищем исторических деятелей и классиков мировой литературы, небезызвестных также и у нас. Авторы — вдохновенные городские архитекторы тт. Каменский и Асс. Они же приступают к срочному преобразованию всего нижнего этажа по Невскому проспекту в широковитринный торговый ряд — в приблизительном стиле 5-й авеню».

Мы специально позволили себе длинную цитату — характеризующую, насколько широк был даже географически охват проблем, которыми занимался писатель и депутат Леонид Леонов. Остаётся лишь добавить, что если статьи, интервью, письма и депутатские запросы по природоохранной деятельности могут составить отдельный том в леоновском наследии, то ещё один сборник могут составить документы, связанные с защитой русской старины.

Из дня сегодняшнего мы должны понимать, что в 1960-е годы влияние публикаций в прессе было куда более действенным, чем спустя, скажем, сорок лет; тем более если статьи были подписаны именем всемирного известного писателя, депутата, орденоносца, а с некоторых пор ещё и Героя Социалистического Труда.

В итоге круг людей, обиженных Леоновым и даже пострадавших от его деятельности, всё более расширялся — только тем мы и можем объяснить широкую уверенность в том, что он не просто был представителем «русской партии», но и руководил ею, наподобие героя Конан Дойла: эдакого цепкого паука, шевелящего своею паутиною с целью навредить то видным ленинградским архитекторам (а также их непосредственному начальству), то закарпатскому директору школы (и главе администрации того района).

Мы, пожалуй, даже готовы согласиться и с такой фантазийной интерпретацией деятельности Леонова, потому что в итоге никто не тронул ни Александро-Невскую лавру, ни Успенский собор 1774 года в Кондопоге, который был со временем признан памятником деревянного зодчества, ни ещё десятки святых для всякого русского сердца мест, за которых словом и делом вступился Леонид Максимович со товарищи.

Тем не менее последствия этой деятельности, воспринимаемой через призму всеохватного влияния «русской партии», приносили Леонову не только моральное удовлетворение, но и отдельные неприятности.

Самый известный пример: история выдвижения Леонида Леонова в Академию наук СССР.

* * *

Органы Академии наук СССР образовывались исключительно на выборной основе. Высший орган — Общее собрание академиков и членов-корреспондентов — избирал новых членов.

По сути, Академия была элитарным и закрытым научным клубом. Членство в этом клубе гарантировало и высокий статус, и самые широкие возможности: Академия владела сетью научных учреждений, имела собственное издательство, флот для научных исследований, лаборатории и обсерватории.

Леонову, который всерьёз интересовался космистикой и даже разрабатывал собственную теорию Вселенной, членство в Академии было необходимо далеко не для самоутверждения. Мало того, Академия издавна давала самые широкие полномочия в деле защиты памятников старины — и это также было весьма кстати.

Академия имела четыре секции: физико-технических и математических наук, химико-технологических и биологических наук, секцию наук о Земле и секцию общественных наук. В последнюю, на отделение литературы, и выдвигался Леонов ещё в 1968 году.

И его не приняли. Притом что, например, в январе 1972 года Леонов был избран иностранным членом Сербской Академии наук и искусств.

Ситуация, прямо скажем, анекдотическая — и анекдот этот дурной. В то время Леонов был в числе пяти (Набоков, Солженицын, Симонов, Шолохов и он) самых переводимых в мире русских писателей: кого же ещё принимать в русскую Академию наук на отделение литературы, как не его?

Однако недоброжелателей у Леонова среди «бессмертных» было более чем достаточно. И какая-то их часть могла аргументированно пояснить своё моральное нежелание принимать писателя в академики.

Чтобы понять первопричины подобного положения вещей, нам придётся открутить время назад и вернуться во вторую половину 1940-х, когда понемногу начинала набирать обороты так называемая «борьба с космополитизмом».

* * *

Начало кампании было связано как раз с Академией наук, а именно — с делом профессора Григория Иосифовича Роскина и члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Нины Георгиевны Клюевой.

Клюева и Роскин создали препарат от рака — «КР». Открытием заинтересовались американские учёные, пожелавшие работать над исследованиями «вместе» с советскими специалистами. В ноябре 1946 года академик-секретарь Академии медицинских наук СССР В. В. Парин выехал в США, где передал американским учёным рукопись книги Клюевой и Роскина и ампулы с препаратом.

Только на этом этапе ситуация стала известна во всех подробностях Сталину, и произошедшее вызвало его, мягко говоря, недовольство. Парин был арестован и осуждён на 25 лет за «измену Родине», над Роскиным и Клюевой провели суд чести. Справедливости ради заметим, что учёные после суда чести не были лишены своих научных постов и степеней и продолжили работу.

Из дня сегодняшнего очевидно, что наука зачастую лишь выигрывает при совмещении усилий учёных, но вместе с тем ясно, что ни сегодня, ни тогда США не спешили разделить свои научные открытия с Советским Союзом.

Вскоре после дела Роскина и Клюевой появилась пьеса Константина Симонова «Чужая тень» — о «низкопоклонстве перед Западом».

В сфере культуры борьба с космополитизмом началась в мае 1947-го, когда поэт (а до 1946 года — глава Союза писателей СССР) Николай Тихонов раскритиковал книгу Исаака Нусинова «Пушкин и мировая литература». Нусинов, по мнению Тихонова, вывел Пушкина как едва ли не эпигона западной культуры, что конечно же было совершенно недопустимым.

Далее последовал целый вал разоблачительных акций в исторической науке, в сфере кинематографии, в литературной и театральной жизни.

Нельзя сказать, что сторона, обвиняемая в космополитизме, была безответна.

Непосредственно имени Леонида Леонова кампания коснулась во время конфликта между руководством Союза писателей и критиками из Всероссийского театрального общества.

Знаковым событием в истории конфликта стала творческая конференция московских драматургов, критиков и деятелей театра, прошедшая в Москве в последние дни ноября 1948 года. Докладчик, работник газеты «Правда» А. Борщаговский, обрушился на советскую драматургию и, в частности, заявил, что Леонов, Погодин, Нилин производят слабые пьесы, лишённые «нужной интеллигентности в фактуре» и «психофизического комплекса в психологическом раскрытии героя». Критик Ю. Юзовский, представлявший газету «Культура и жизнь», Борщаговского поддержал, тоже, не без презрения, помянув «му-

жичье» творчество Леонова. Досталось конечно же не только Леонову, но и другим драматургам, и многим из них, на наш взгляд, поделом.

Однако высокий градус обвинений требовал и ответной реакции. Она была продемонстрирована на 12-м пленуме правления Союза советских писателей, где присутствовал и Леонов.

Пленум вынес резолюцию: «В секции театральных критиков Всероссийского театрального общества и в комиссии по драматургии при Союзе писателей группируются критики, стоящие на осуждённых партией позициях аполитичности искусства, отстаиваемых ими в более или менее открытой или завуалированной форме. Менее откровенно на страницах печати и более откровенно на всевозможных совещаниях при ВТО и в Центральном доме литераторов этого рода критики (Гурвич, Юзовский, Малюгин и др.) с формалистических и эстетских позиций пытаются дискредитировать положительные явления в советской драматургии. <...> Желая расшатать доверие театров к современной советской теме с позиций аполитичного искусства, они неправильно ориентируют советского зрителя и мешают развитию творческого дарования многих драматургов, обращающихся к современной теме. Среди критиков этого рода культивируется низкопоклонство перед буржуазной культурой Запада, игнорируется богатейшее наследство русской классической драматургии, существует нигилизм по отношению к значительному опыту советской драматургии. <...> Часть советских театральных критиков (Борщаговский, Бояджиев, Варшавский) фактически идут на поводу у критики формалистической, эстетской».

Партийные верхи, как зачастую было и в 1930-е годы, так же наблюдали за конфликтом, не принимая пока позицию ни одной из сторон.

Надо помнить, что, скажем, упомянутые Борщаговский и Юзовский и многие другие критики того круга в 1940-е вовсе не являлись идеальной мишенью для битья, но, напротив, принадлежали к советским элитариям и задавали тон в центральной печати.

Фадеев, Тихонов и ряд крупных литературных деятелей в течение двух месяцев на самом высшем уровне пытались преломить конфликт в свою пользу. В иные времена их старания могли бы не увенчаться успехом — но тут демарш Фадеева и Тихонова вполне вписался в кампанию по борьбе с космополитизмом. В конце января 1949 года «Правда» встала ни их сторону, опубликовав статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков».

Не стоит также упрощать ситуацию, предполагая, что последовавший разгром «безродных космополитов» из числа театральных критиков коснулся исключительно Всероссийского театрального общества.

Например, в феврале того же года на партийных заседаниях в Союзе писателей была озвучена информация не только о «заговоре» группы критиков, но и причастности к этой группе секретаря правления Союза писателей Константина Симонова и секретаря партийной организации союза Бориса Горбатова.

Борьба с космополитизмом в сфере литературы не была однолинейна и примитивна, когда на одной стороне находятся власть и писатели, близкие к власти, а на другой — несчастные и терзаемые «космополиты». Всё было куда сложнее.

Отчасти эта борьба схожа с разгоном РАППа и внутрилитературными процессами начала 1930-х годов, когда под удары попадали те, кто совсем недавно полновластно пользовался своим правом бить других.

Что до Леонова, то он как не участвовал публично в борьбе с РАППом, так и во второй половине 1940-х избежал кампании по борьбе с космополитизмом.

Или, положим, почти избежал. «Почти» потому, что ещё 27 сентября 1947 года в «Литературной газете» была опубликована его статья «Рассуждение о великанах».

«Не на моём языке, — писал Леонов, — родилась поговорка: ubi bene, ibi patria — где хорошо, там и отечество, — мудрость симментальской коровы, которой безразлично, кто присосётся к её вымени, было бы тёплым стойло да сладким пойло. Для мыслящего человека нет дороже слова о т ч и з н а, обозначающего о т ч и й д о м, где он явился на свет, где услышал первое слово материнской ласки и по которому впервые пошёл ещё босыми ногами. <...> Мы любим отчизну, мы сами физически сотканы из частиц её неба, полей и рек. Не оттого ли последней мечтой политических скитальцев и даже просто бродяг было — вернуть в родную землю хоть кости свои с чужбины. <...>

И есть высочайшая степень патриотизма — не только для себя, но и для других... и в конечном итоге для других больше, чем для себя. Это патриотизм мудрости и старшинства: мы живём здесь, но наша родня раскидана всюду — по горизонтам пространства и по вертикалям времени. Мы — ч е л о в е ч е с т в о. Это не вселенский космополитизм некоторых наших изысканных современников, которые в понятие родины готовы включить любую точку Галактики, где имеются конфекционы и кафе, универмаги и гостиницы с сервисом. <...> В большинстве это люди способны... в первую очередь способные

скорее преувеличить сомнительные достоинства чужих, чем примириться с временными недостатками своих».

Под большинством утверждений этой статьи мы можем спокойно подписаться и сегодня, а сколь важно было бы их понимание ровно сорок лет спустя после написания... Но здесь нам всё-таки придётся обратить внимание на время непосредственной публикации «Рассуждения о великанах».

Это произошло через четыре месяца после того, как Тихонов назвал Исаака Нусинова «беспачпортным бродягой в человечестве» и положил начало «антикосмополитической» кампании, и за четыре месяца до того, как в начале февраля 1949-го Сталин подписал подготовленное Фадеевым постановление политбюро о роспуске объединений еврейских советских писателей в Москве, Киеве и Минске — что было уже со стороны власти произволом.

Леоновская статья вызвала огромное количество откликов и писем в редакцию — потому что он, как никто иной, умел говорить на сложные темы без истерики и вдумчиво. Но те, кого кампания борьбы с космополитизмом коснулась напрямую, и тем более кого она коснулась незаслуженно, огульно и болезненно, — они надолго запомнили леоновский спич.

* * *

В ноябре 1972 года Леонов во второй раз был выдвинут на звание академика.

Ещё до голосования стало ясно: всё складывается так, что даже на семьдесят четвёртом году жизни, при наличии всех ведомых наград от советской власти, доступ в закрытый клуб «бессмертных» Леонову всё равно не предоставят.

Ситуация усугублялась ещё и тем, что в те же дни случилось событие, пожалуй, противоположное по смыслу антикосмополитической кампании. 15 ноября 1972 года в «Литературной газете» была опубликована статья первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Александра Яковлева «Против антиисторизма».

При всех неустанных полупоклонах в сторону классиков марксизма-ленинизма, Яковлев в свой статье последовательно и достаточно жёстко раскритиковал основные позиции, отстаиваемые Леоновым и людьми схожих убеждений.

Яковлев писал о неприемлемости «нигилистического отношения к интеллигенции» и «воинствующей апологетики крестьянской патриархальности в противовес городской культуре», — имея в виду в первую очередь почвенно-патриотическое направление в литературе.

Само имя Леонова Яковлевым не называлось, но главный удар публикации был направлен на человека из ближайшего окружения писателя — критика Михаила Лобанова, дебютировавшего с отдельной книгой о «Русском лесе».

Яковлев саркастично пишет, что в новых книгах Лобанова «мы сталкиваемся с давно набившими оскомину рассуждениями "о загадке России", о "тяжелом кресте национального самосознания", о "тайне народа, его безмолвной мудрости", "зове природной цельности" и в противовес этому — о "разлагателях национального духа"».

«Если верить М. Лобанову, — продолжает, цитируя критика, Яковлев, — "современную литературу наши потомки будут судить по глубине отношения к судьбе русской деревни... Истинные ценности, прежде всего нравственные, всегда дождутся своего времени. И хорошо, что наша деревенская литература всё более насыщается этими ценностями, которые излучаются из недр крестьянской жизни".

Подобное же мировосприятие по-своему выражено в книге стихов "Посиделки" В. Яковченко: "О Русь! Люблю твою седую старину... Вон позабытый старый храм над колокольней поднял крест, как руку, как будто ждёт условленного звука и жадно смотрит в очи небесам. Ах, старый, старый, позабытый храм..."

А пока один тоскует по храмам и крестам, другой заливается плачем по лошадям, третий голосит по петухам», — саркастично подытоживает Яковлев, явно давая понять, что ценность всего вышеперечисленного ему откровенно не ясна.

«Мотивы "неопочвенничества" не так уж безобидны, как может показаться при поверхностном размышлении, — утверждает Яковлев. — Если внимательно вглядеться в нашу жизнь, проанализировать динамику социально-экономических и нравственно-психологических сдвигов в обществе, то неизбежным будет вывод: общественное развитие отнюдь не стёрло и не могло стереть чётких граней, разделяющих национальное и националистическое, патриотическое и шовинистическое».

По сути, статья стала прямым обвинением писателей почвеннического направления в национализме и шовинизме.

Лобанов вспоминает, что сразу после публикации в «Литературной газете» Леонов позвонил ему и поддержал его — вслух фамилию Яковлева естественно не называя: телефонный всё-таки разговор, незачем это...

Справедливости ради добавим, что своеобразный манифест первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС не получил в 1972 году столь бурного продолжения,

как борьба с космополитизмом в 1947-м; и уже в 1973 году Яковлев был переведён на другую работу, став послом СССР в Канаде.

Однако в ноябре 1972 года никто такого варианта развития событий ещё не предполагал, в том числе и в Академии наук СССР, но, напротив, ждали совсем другого поворота в государственной идеологии. Условно его можно определить как либерально-западнический.

Эта предгрозовая атмосфера лишь усиливала позиции того круга «бессмертных», что не желали видеть Леонова в составе Академии.

* * *

Академик-секретарь отделения литературы и языка Академии наук СССР Борис Храпченко убеждал близкого к Леонову литературоведа Александра Овчаренко, что писателя надо отговорить баллотироваться.

Если верить воспоминаниям Овчаренко, Борис Храпченко объяснял свою позицию предельно внятно:

— Нет никаких гарантий, пойми! Ты же знаешь состав нашей Академии... Провалят его, он может не перенести удара, а виновны будем мы.

Но 18 ноября, через три дня после публикации статьи Яковлева, документы от Леонова поступили в Академию наук СССР.

Один из академиков Отделения литературоведения, директор Института мировой литературы Борис Сучков открыто заявил в те дни, что Леонова в Академию не допустят.

Но в день голосования по Леонову в Академии наук неожиданно появляется Михаил Шолохов. Он-то, любимец Сталина, был принят в Академию наук СССР ещё в 1939 году, в возрасте тридцати четырёх лет! Когда Леонов и думать не мог про такие почести...

Шолохов пришёл на заседание впервые за много десятилетий. По словам писателя Валентина Осипова, близко знавшего Шолохова, был он в тот день «больной, белый весь, бледный».

Одним своим присутствием Шолохов надавил на, как сам Михаил Александрович выразился, «ёбаную академию».

Отказать нобелевскому лауреату «бессмертные» не смогли.

В последние дни ноября 1972 года, спустя две недели после публикации Александра Яковлева в «Литературной газете», Леонов Леонов наконец стал действительным членом Академии наук по специальности «Литературоведение».

Но когда Леонову говорили, и неоднократно, что его поддержал Шолохов, Леонов с непроницаемым лицом отвечал:

— Знаете... я не верю.

Признаться, мы не очень понимаем, отчего он не верил. Потому ли, что вообще мало верил в человеческую доброту и взаимопомощь?

Но это не так: он сам не раз помогал писателям и ходатайствовал за многих.

Знал и о том, что Шолохов тоже многократно протягивал руку собратьям по ремеслу в трудную для них минуту (например, по свидетельству поэта Виктора Бокова, Леонов и Шолохов, независимо друг от друга, хлопотали о лечении Андрея Платонова во второй половине 1940-х).

Скорее мы склонны предполагать, что та, шумная и не сложившаяся в дружбу, но, напротив, обрушившая её возможность, встреча Леонова и Шолохова в Польше после войны всё-таки имела место. И убедила Леонова в том, что они — несовместимы и разнородны по составу.

«До странности лишённый доброты...»

Любопытно, что о Леонове его сверстники почти не оставили воспоминаний.

Какую-то особую человеческую породу он являл собой, до конца не совсем понятную.

Его очень любили, порой просто обожали старики, пока он был молодым: художники Фалилеев, Кардовский... Отдельный его человеческий роман — с Горьким — мы расписали в подробностях; и разрыв состоялся как раз тогда, когда Леонов стал зрелым мужем, тридцати семи лет.

Среди сверстников крепких отношений у него не сложилось, наверное, ни с кем. Мы поинтересовались у дочери писателя, Наталии Леоновой, кто был в числе близких друзей её отца, — она подумала и... перевела разговор на другую тему. Кажется, Наталия Леонидовна сделала это незаметно для себя самой, даже случайно. Но в любом случае ответ не слетел, что называется, с уст.

Леонов, утверждал литературовед Виктор Хрулёв, «...был одинокий человек, сознательно желающий быть одиноким. Поставил на дачном участке деревянную башню, уединялся там для работы, весь посёлок ядовито подшучивал, называя её "башней из слоновой кости". Это ещё сильней подчеркивало его желание уйти, отгрести от себя всё ненужное.

Разумеется, он мог заполучить в друзья — искренние или неискренние, это другой вопрос — почти любого человека. Всякий почёл бы за честь быть с писателем Леоновым в близких отношениях: "Я — друг Леонида Леонова!" Любой бы ходил, выставив пузо. Кроме того, он был очень интересный человек, незаурядный собеседник, так что с ним было не скучно любому, не только мне. Но он почти никого не хотел видеть в друзьях, я так понимаю».

Близко общался с железнодорожными работниками — пока писал «Дорогу на Океан».

Ещё крепче и дольше — с лесниками, ботаниками — в ходе работы над «Русским лесом», и после, когда шли все эти бесконечные баталии в защиту «зелёного друга».

Увлекался боксом — и много общался с боксёрами, это ещё в 1930-е.

Знался с Вольфом Мессингом, и, возможно, тот факт, что известный гипнотизёр и фокусник встречался со Сталиным, навёл Леонова на мысль написать встречу со Сталиным ангела (и, в силу обстоятельств, фокусника) Дымкова в «Пирамиде».

Можно вспомнить мимолётные дружбы с Ясенским и Фадеевым, оборвавшиеся по известным обстоятельствам.

Был недолгий взаимный интерес друг к другу сначала с Есениным, потом с Пастернаком.

Стоит упомянуть странную дружбу с Фединым, то ревновавшим Леонова к успеху, то делавшим о нём неожиданные записи в дневнике, вроде вот этой, от 23 сентября 1955 года: «Я совсем не похож на него. Но дороги наши вьются поблизости, и мы идём почти рядом уже тридцать лет. Мы никогда не пойдём по одной дороге, как никогда не вырастили бы одинакового сада, но в чём-то мы схожи всё-таки, должны быть схожи, иначе наше приятельство оставалось бы объяснить только полной противоположностью».

О куда более жёсткой противоположности, гораздо жёстче в подаче, но при этом интонационно схоже, писал в дневнике десятилетием раньше о Леонове и Всеволод Иванов: «Удивительное дело, никогда он мне ничего дурного не сделал, да и я тоже, — и между нами, в общем, всегда были хорошие отношения, но редко меня кто, внутренне, так раздражает, как он. По закону контраста, наверное?»

Какое важное совпадение: оба, и Федин, и Иванов, так или иначе пишут о контрасте с Леоновым. Хотя Федин буквально уговаривает себя, что они вроде бы «должны быть схожи» с ним, — но чувствуется, что они на самом деле имеют мало общего. И если Федина это удивляет, то у Иванова всё в Леонове давно вызывает душевную судорогу.

Леонов, признаем, действительно на многих литераторов действовал раздражающе. Если верить дневниковым записям Ахматовой, в своё время Леонова терпеть не мог Мандельштам, и даже Анна Андреевна не понимала, за что именно. После войны схожие чувства Леонов будет вызывать у Анатолия Мариенгофа.

А вот всё тот же Всеволод Иванов вспоминает о своём дне рождения: «Были Толстой, Леонов, Федин, — и родственники. <...> Леонов, важный, опухший, рассказывал о бане, что рассказывал уже сотни раз. Это не значит, что не наблюдательный — но он так жаден, что не передаёт своих наблюдений, боясь, что украдут. Поэтому, для внешнего употребления у него есть — баня, кактусы и отработанные наблюдения, которые он уже вложил в романы».

(И далее, уже о себе:

«<Алексей> Толстой сказал:

— Вы, Всеволод, похожи на бухгалтера. Был такой бухгалтер, сидел тихо, говорил мало, весь в чёрном. А, вдруг, вскрикнул, вспрыгнул на стол и пошёл прямо по блюдам и тарелкам!

— Махно?

Он захохотал:

— Махно, ха-ха-ха!.. Ещё удивительней!»

Конечно, как о себе — так сразу Махно, а как за товарища: скупой, опухший, с кактусами, и наблюдениями не делится. О, люди...)

Сравните ивановские слова с записью из дневника Корнея Чуковского о Леонове: «Он приходит ко мне раза два в неделю — говорит без конца, но никогда не говорит о своих планах, удачах, затеях. Завтра у него, скажем, премьера в Малом театре, вчера у него вышла новая книга — он говорит три часа и не проронит об этом ни слова. У него нет ни тени хвастовства...»

Между Чуковским и Ивановым разница в одном: Иванова Леонов раздражает, а Чуковский им восхищается, но, по сути, пишет о том же, что и все вышеназванные. Леонов какой-то другой, скрытый, непохожий на всех!

«При видимом простодушии он всегда себе на уме, — продолжает свою запись Чуковский, пытаясь разгадать характер Леонова; и далее говорит самое важное: — Это породистый и хорошо организованный человек, до странности лишённый доброты...»

Чуковский произносит ключевые слова, и мы не имеем никакого права о них умолчать.

Лишённый доброты — не значит злой.

Так, злым не может быть ветвь или цветок, которые лишены доброты, но и не злы.

Леонов не совершил в своей жизни ни одного известного нам поступка, который говорил бы о его имморальности и бесчеловечности. По крайней мере, в рамках того века, где ему выпала судьба жить, он вёл себя более чем достойно.

И, тем не менее, порой кажется, что Леонов сохранил лицо и не наступил ни на чей труп (чтобы, как сам метко выразился, быть на голову выше) не столько из пронзительной жалости к людям, сколько в честной попытке сохранить чистую совесть, чистые руки, чистую голову. Если Бог есть, Он откликается только на зов души прозрачной и сберёгшей себя от мрака — вот что понимал Леонов с самого начала.

И это его стремление, так или иначе, чувствовали старики, когда Леонов был юн. И эту, пронесённую сквозь сумрак и страх, совесть — которая совсем иначе высвечивает и мудрость человеческую, — почувствовало в нём молодое поколение, пришедшее в литературу после войны.

Вспомним ещё одну цитату из ивановского дневника: «Вечером — у Н. А. Пешковой, Леонов — поучающий, — даже тому, как надо писать картины. Н. А. кокетничает с ним, а он обиделся на то, что Тамара сказала, что к писателям могут ходить "изливать душу и жаждать поучения" только дураки».

Мы думаем, что обиделся Леонов потому, что очень серьёзно относился к писательскому ремеслу. Не то чтобы он страстно хотел «поучать», но ему было чем поделиться и было что рассказать.

Наверное, он понял это ещё когда преподавал в Литературном институте. Леонов, прямо скажем, был строг, но оставшиеся на его курсе ученики вспоминали о нём с благодарностью.

«Выпадали дни, когда мы приходили к нему домой группой в несколько человек — то ли поздравить с днём рождения 31 мая (и удушить сиренью!), то ли по какой-либо причине семинар проводился у него дома, — вспоминала его ученица Марина Назаренко. — В сравнительно небольшой, хотя и четырёхкомнатной квартире, только детская и кабинет были поместительными. Мы рассаживались по стульям и на уютном сундучке возле огромного письменного стола, на гладком тёмном пространстве которого не возвышалось никаких чернильно-письменных конструкций — хозяин не терпел их. Он и тут учил и воспитывал нас. Выслушивал очередного автора, вскакивал, обронив, что кресло опротивело, ходил по кабинету, вызволял то один, то другой том из плотной книжной стены слева от входа, доставал любимого Брейгеля — Брейгель осо-

бенно годился как научное пособие. А то и каталог тюльпанов, присланный из Голландии.

Каждый раз мы заставали нечто новенькое, сотворённое им собственноручно: торшер, абажур или самоварную трубу. Руки Леонида Максимовича были постоянно в беспокойстве. (Кажется, это так и называлось: “беспокойство рук”.) Во время разговора он непременно что-то делал или вертел в пальцах. Чинил необыкновенную зажигалку, устраивая фитилёк, точил перочинный ножик, щупал земельку под кактусом — игластым пузырём, лечившимся на табуретке у письменного стола.

А с каким артистизмом, разойдясь, шлёпая губами и огрубляя голос, Леонид Максимович изображал несимпатичных ему — будь то живность или вещь. Прислонясь к косяку, глядя в балконную дверь, за которой топырились его колючие питомцы и где была прибита кормушка для ворон, он импровизировал, творил; голубели, зеленели глаза, становились совсем прозрачны (Фурманов, рассказывали, называл их “электрическими”). Тайна знания светилась в них — он видел то, что никому из нас не было доступно. И это ощущение, что перед нами человек необыкновенный, из другого даже мира, который откроется не скоро, не оставляло нас».

Дорогами и тропками Леонова

Если Горький часто переживал, что у него нет последователей, то у Леонова они со временем появятся в большом количестве. Почти вся так называемая почвенническая литература развивалась по путям, проторённым Леоновым и Шолоховым.

Но зачастую леоновское влияние можно обнаружить даже там, где оно и не очень ожидается. Так, в 1993 году Никита Михалков снимет фильм «Утомлённые солнцем». Конструкция его, если присмотреться, построена на основе нашумевших в 1930-е годы леоновских пьес — «Половчанские сады» и «Волк».

И «Половчанские сады», и «Волка» начали заново и с успехом ставить в театре в те годы, когда Никита Сергеевич взрослел, набирался впечатлений, впервые в числе прочего узнавая о сталинских временах.

Мимо Леонова он просто не мог пройти. Наверняка Михалков и постановки по Леонову видел, и читал его самого. С чего бы, в конце концов, спрашивать Никите Сергеевичу у отца, а жив ли Леонид Максимович.

В обеих пьесах Леонова, напомним, изображена большая семья на исходе 1930-х годов, в которой неожиданно появля-

ется шпион. Ровно та же коллизия наблюдается в картине Михалкова. Причём в «Половчанских садах» шпион ранее имел отношения с женой главного героя, как опять же в «Утомлённых солнцем».

Впрочем, михалковский шпион больше похож на Луку Сандукова в «Волке» — он столь же стремителен и безжалостен, и одновременно есть в нём ощущение загнанности и одиночества.

Общая атмосфера и обеих пьес, и фильма мучительно схожа: то же внешнее, бессмысленное какое-то веселье, те же шутки и розыгрыши, и то же потайное ожидание скорого ужаса, хаоса, взрыва шаровой молнии.

Думаем, что на Михалкова Леонов повлиял опосредованно: так случается, что какая-та тема, какое-то ощущение проникают в тебя настолько глубоко, что и годы спустя, забыв о первоначальном импульсе, ты невольно воспроизводишь увиденное многие годы назад.

* * *

О том, что Леонов повлиял на их формирование как литераторов, говорили в одном из интервью братья Стругацкие, назвав следующий ряд своих учителей: «Алексей Толстой, Гоголь, Салтыков-Щедрин. Проза Пушкина. Затем, значительно позже, Достоевский. В определенной степени Леонид Леонов, его “Дорога на Океан”».

В повести Стругацких «Страна багровых туч» есть такое размышление главного героя: «Никто из нас, наверное, не боится смерти, — подумал Быков. — Мы только не хотим её. Чьи это слова?»

Авторы ответа не дают, но это Леонова слова (верней слова Леонова о Курилове).

По сути, приведённая леоновская фраза является камертоном, по которому настроено звучание и этой повести, и ещё нескольких сочинений ранних Стругацких, с их устремлённостью в будущее — к Океанам Мироздания, с их верой в разумное человечество и с пренебрежением всякого истинного героя к своей личной судьбе, легко жертвуемой во имя общего блага.

Можно, впрочем, сравнивать Леонова и Стругацких даже на уровне деталей: вспомним, например, тональность иронических и нежных дружеских посиделок товарищей Курилова и дружеские застолья покорителей небесных пространств в «Стране багровых туч» — тут сложно не заметить сходства.

Явно влияние романа «Дороги на Океан» и на другую, в своё время нашумевшую книгу «И дольше века...» («Буранный

полустанок») Чингиза Айтматова. Айтматов бесхитростно позаимствовал саму структуру «Дороги на Океан» для своего сочинения. Разобрал все составляющие леоновской книги и собрал из них свою.

Доказать это несложно.

Сюжет романа Леонова имеет две главные силовые линии. Первая — железная дорога, символизирующая настоящее. Вторая — фантастические прогулки в будущее (где, надо сказать, Леонов описывает или, вернее, предсказывает космическое путешествие землян).

Те же две сюжетные линии наблюдаются у Айтматова: одна связана с трудом главных героев на железнодорожном полустанке, вторая — с полётом землян в космос (которые встречают там представителей другой цивилизации).

И если у Леонова два героя совершают облёты ландшафтов будущего, то два космонавта у Айтматова облетают другую планету.

Айтматов перенимает (в меру возможностей, конечно) даже леоновскую подачу материала: если настоящее в обоих романах описывается полнокровно, наглядно, реалистично, то фантастические главы сделаны в телеграфном, сжатом, спрессованном стиле.

Пример навскидку:

«...Значительная часть планеты постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает всё живое. Это явление так называемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном полёте мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты — возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения, — поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нём выгорают все почвообразующие вещества».

Такое ощущение, что это цитата из главы «Мы проходим через войну» в «Дороге на Океан»; но нет, это Айтматов.

В числе главных составляющих романа «Дорога на Океан»: преследование и арест «врага народа» Протоклитова, образ правоверного коммуниста Алексея Курилова, тема моря и непокоя, работа на железной дороге татарина Сайфуллы, влюблённого одновременно в двух женщин, одна из которых приходится дочерью раскулаченному.

Те же самые темы (но в другой, смещённой последовательности) берёт Айтматов: роль Сайфуллы у него выполняет главный герой романа Едигей, также работающий на железной дороге, также любящий двух женщин сразу, одна из которых тоже

состоит в родстве с «врагом народа». Роль Алексея Курилова выполняет коммунист Афанасий Елизаров, вполне на Курилова похожий.

Только если у Леонова линия Курилова главная, а линия Сайфуллы — второстепенная, то у Айтматова наоборот: Едигей в центре повествования, Елизаров — побочный персонаж.

Наконец, на месте загнанного и по доносу арестованного железнодорожника Глеба Протоклитова — у Айтматова арестованный опять же по доносу и репрессированный железнодорожник Абугалип Куттыбаев.

Тема воды в романе Айтматова присутствует, но она не главенствующая, как в «Дороге на Океан». Однако тема непокоя, желания двигаться куда-то, куда угодно, в любую, отчего-то сулящую счастье неизвестность — есть, и она пронизывает весь текст. Носитель этой темы упомянутый железнодорожник Едигей.

Не берёмся судить, насколько серьёзно Айтматов знал остальное творчество Леонова, но даже описание ужаса лисицы, пришедшей к железной дороге в начале романа «И дольше века...», странно напоминает лисий страх, описанный Леоновым в «Скутаревском». Не говоря об очевидном созвучии ещё одного эпизода: взбешённый и разочарованный своей жизнью Едигей пытается забить верблюда — до недавнего времени бывшего ему родным существом. Точно так же как пытался забить свою собаку разочаровавшийся и озверевший Талаган в повести Леонова «Петушихинский пролом».

Но даже если последние примеры являются случайными совпадениями, тень собственно от «Дороги...» на «Буранном полустанке» слишком очевидна, чтобы её не заметить.

Впрочем, Айтматов обнародовал свой труд в начале 1980-х, когда в среде «высоколобой», задающей тон публики читать и почитать Леонова стало несколько даже неприличным — и, как следствие, автор «И дольше века...» имел основания надеяться, что никто ничего не увидит.

Так, собственно, и случилось.

* * *

Не всегда ровные, но многолетние отношения связывали Леонова с Владимиром Чивилихиным и Владимиром Солоухиным (к его первой серьёзной книге «Лирические повести» 1962 года Леонов написал предисловие). К слову сказать, одну из яблонь в саду Леонова привёз в подарок Солоухин, а ещё отсутствующий в леоновском «заповеднике» кедр нашёл-таки Чивилихин.

Оба они писали о Леонове по-сыновьи тёплые статьи, но наследовали ему скорее не в художественном, а в публицистическом смысле. И первый, и второй, вослед за Леоновым, активно выступали за сохранение природы, памятников архитектуры (вспомним, к примеру, «Письма из Русского музея» Солоухина) и русской самости как таковой («Память» Чивилихина).

Бывали у Леонова в гостях Василий Белов и Евгений Носов — которых он ценил и ставил высоко.

Впрочем, под прямое леоновское влияние они, наверное, попасть не могли. Оба были, что называется, «себе на уме»: один — вологодский мужичок, другой — курский. И Белов, и Носов имели слишком богатый и ещё не в полной мере художественно переработанный опыт собственного деревенского детства, коллективизации (Белов) и войны (Носов), оба слишком хорошо владели языком своей «малой родины» и слишком дорожили этим наследием.

Что до сложного сюжетостроения или умения выстроить философскую подоплёку художественного текста — то есть того, в чём Леонов действительно являлся настоящим мастером, — то эти сферы были далеки как от Белова, так и от Носова, и в них они, признаться, сильны не были.

Однако и Белов, и Носов бесконечно уважали старика, слушали его, верили ему во многом.

Виктор Астафьев посвятил Леонову «Стародуб» — вторую свою, после «Перевала», повесть, написанную в 1960 году. Переиздавался «Стародуб» редко, и это, наверное, неслучайно — повесть получилась очень ученической, придуманной. Однако в контексте и творчества Астафьева, и их взаимоотношений с Леоновым тут есть о чём поговорить.

В «Перевале», оконченном годом раньше, Астафьев угадал одну из главных своих тем: мир страшен и дик, но идти всё равно надо не от людей, а к людям.

Астафьев и верил и не верил в это, всю жизнь, по сути, разрешая ту же загадку, что и Леонов: человек — удачное творение Господне или неудачное?

«Стародуб» в этом смысле является вещью прямо-таки чуждой «Перевалу». Речь там идёт о старообрядческом селе, возле которого разбивается плот и на берег выбрасывает единственного спасшегося ребёнка. Собравшееся на сход село решает ребёнка привязать к наспех сделанному салику и отправить по реке дальше: чужаки тут не нужны, сглаз от них может быть.

Коллизия эта ровно противоположна описанной ранее в «Перевале»: там отчаявшегося, сбежавшего из дома ребёнка как раз берут на плот артельщики, чем возвращают пацану веру в доброту мира и человека.

В «Стародубе» за отправляемого на верную смерть мальца вступается местный охотник Фаефан и берёт его жить к себе. Пацану дают прозвание Култыш, вскоре они перебираются с Фаефаном вдвоём в его охотничью сторожку, там и живут, в село наведываясь лишь изредка.

Много лет спустя случится неурожай, селяне обвинят во всём уже постаревшего Култыша и снова попытаются его убить. На этот раз спасёт Култыша женщина, которую он любил. Разочарованный, Култыш уйдёт из села уже навсегда.

Посыл «Стародуба» очевиден: мир чудовищен, люди звероподобны, и лучше дела с ними никогда не иметь — добром тут тебе никто не отплатит.

Астафьева так и будет всю жизнь раскачивать от восторга пред внезапно раскрывшимся миром, как в «Перевале», до ненависти к нему, как в «Стародубе». Писать он будет с годами всё лучше и лучше, но сама амплитуда его страстного отношения к жизни и к человеку заложена была уже в двух первых повестях.

Посвящение Леонову конечно же было неслучайным. Созвучна не столько тема (хотя Леонов никогда столь дидактично прямолинеен не был), сколько стилистика. «Стародуб», будем называть вещи своими именами, — повесть подражательная, и повлияла в данном случае на Астафьева ранняя проза Леонова, а именно рассказ «Гибель Егорушки».

Они и начинаются почти одинаково: с картины затерянной скалистой местности, самый вид которой уже наводит сердечную тоску.

«На крутом лобастом мысу, будто вытряхнутые из кузова, рассыпались два десятка изб, крытых колотым тёсом и еловым корьём, — это кержацкое село Вырубы. <...> Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом». Это Астафьев.

А вот Леонов: «Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой, Нюньюг-остров, и каб был он в широту поболе семи четвертей, — быть бы уж беспременно посёлку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угрёвой случайной скалы».

У Леонова, как у Астафьева позже, сюжет строится на появлении человека, вынесенного на берег водой. Только у Астафьева пришедший к людям мог бы всех спасти — но люди его не приняли, а у Леонова всё ровно наоборот: монах Агапий, подобранный на берегу моря рыбаком Егорушкой, приносит его семье погибель ребёнка, а душу человеческую заражает всё тем же безвыходным отчаянием.

...Другая тема, которой стоило бы всерьёз заняться, — это взаимоотношения Леонова и Астафьева с их отцами.

Про отца Леонида Леонова мы уже не раз говорили; отец Астафьева — повод для не менее сложного разговора. Отсидевший, вечно пьяный, слабый, виновный в заброшенности и страшном сиротстве своего сына — он был презираем Астафьевым. Об этом сказано Астафьевым уже в подпитанном собственной печальной биографией «Перевале», это нет-нет да и проявляется в других его сочинениях; прямой речью порицает родителя Астафьев в «Затесях». Виктор Петрович отца не любил и в несчастном своём детстве винил в первую очередь его. Отсюда, к слову, сердечное почтение Астафьева к старикам (и к Леонову в первую очередь), от которых он ждал получить тепла и благословения, какого недополучил в детстве. Так Леонов в своё время относился к Сабашникову, к Остроухову, к Самарину...

Но тут таится роковое отличие: оставленный отцом и выросший без матери, Астафьев постепенно, шаг за шагом пришёл к неприятию не только человека как такового, но и Отечества вообще, которое, на его суровый взгляд, столь же и даже более бессердечно, как несчастный родитель Виктора Петровича.

Здесь и кроется зазор меж мировосприятием Леонова и Астафьева. Оба печалились об исходе русского народа, оба грустно взирали на людской путь — но в итоге у Астафьева больше раздражения и даже озлобления по этому поводу, а у Леонова — только печаль и сожаление.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить некоторые авторские отступления в «Пирамиде», с одной стороны, и в «Проклятых и убитых» — с другой.

...В дни их ухода из этого мира различие это проявилось особенно остро.

Астафьев в предсмертной записке напишет: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание».

А к Леонову незадолго до смерти заходила младшая дочь, и он еле слышно повторял: «Какой народ был... какой народ, Боже мой — русские... И какая трагическая судьба...»

* * *

Наследовать сложносочинённой, а иногда и трудноподъёмной леоновской фразе более других пытался Пётр Проскурин — но получалось у него это менее других.

В его случае фраза становится трудноподъёмной не для читателя (как порой у Леонова), а для самого писателя, который не справляется с выражаемой им мыслью.

Псевдоклассическое многословие иногда заметно и в позднем Юрии Бондареве (особенно в «Мгновениях», и во многих романах о мирной жизни), но в случае Проскурина достигает своего с обратным знаком совершенства. Пётр Лукич подзабыл леоновский урок о том, что первая фраза произведения задаёт камертон всему тексту. А чего мы можем ждать от книги, которая начинается так: «Тревожный знакомый свет прорезался неровным, дрожащим бликом и исчез, чтобы снова появиться через мгновение, и она даже во сне потянулась на этот свет, это было предупреждение, предчувствие счастья, одного из тех немногих мгновений, таких редких в её предыдущей жизни, где-то в самых отдалённых глубинах её существа уже копилась таинственная, как подземная река, музыка, и, как всегда, она начиналась с одной и той же мучительно рвущейся ноты».

Слишком много всего, в равной степени и многозначного и бессмысленного: облик, подземная река, предчувствие, предупреждение, глубины, музыка, нота... Это первая фраза поздней повести Проскурина «Чёрные птицы».

У Леонова есть столь же сложно построенные фразы — но там почти всегда каждое слово взвешено на точных весах, даром, что не всякий обладает необходимым слухом для того, чтобы это услышать.

Впрочем, в некоторых своих вещах Проскурин был крепким мастером.

Самое лучшее, на наш взгляд, сочинение Петра Проскурина — автобиографическая вещь, опубликованная уже после его смерти, «Порог любви». Там была замечательно хорошо уловлена интонация — спокойная, сердечная и мудрая. Если бы не пространные рассуждения о литературе, книга была бы совсем хороша. Однако именно в «Пороге любви» Проскурин признался в своей читательской любви к Леонову, и больше ни об одном писателе в своей, по сути, итоговой книге он не говорит с таким почтением.

«В истории литературы, — пишет Проскурин, — в том числе и нашей, русской, есть много примеров, когда одно, далеко выходящее вперёд произведение вызывало целый поток подражаний себе... <...> Так было с “Русским лесом” Леонова, с его открытием Вихрова и Грацианского. Нет смысла заниматься утомительными и долгими раскопками, стоит приподнять всего лишь поверхностный слой, чтобы обнаружить, какая когорта пишущих черпала и черпает из бездонного родника леоновского открытия, которое можно назвать “открытием противостояния”; да, да, и в жизни так оно и есть».

Любопытен для нас и последний роман Петра Проскурина — «Число зверя», опубликованный в 1999 году.

Ещё в конце 1980-х Проскурин навлёк на себя гнев либеральной общественности, когда публично и с неизменным презрением говорил о новомодных на тот момент литераторах, берущихся описывать Сталина. «Для этого нужен талант Шекспира или Достоевского!» — ругался Проскурин.

Смеем предположить, что в этом случае говорил он с голоса Леонова: Леонид Максимович вскоре после смерти вождя обронил фразу о по-шекспировски разнородной и сложной фигуре Сталина; и потом многократно повторял это в разговорах; в том числе и с Проскуриным.

На исходе девяностых Проскурин наконец взялся за большой политический роман, правда, не о Сталине, а о Брежневе, но Иосиф Виссарионович в «Числе зверя» тоже появляется, — навещает Леонида Ильича во сне и устраивает ему и его приближённым разнос.

Книга эта, в сокровенном своём смысле, о том же, что и «Пирамида» — об истончении всех истин, о распадающемся у нас на глазах государстве, о народе, который иссякает.

Да и начинается «Число зверя» с леоновской ноты: «Тихий и светлый ключ, выбиваясь на поверхность, чуть шевелил чистый песок. Присмотревшись, можно было увидеть подвижные, живоносно затейливые струйки песка на дне небольшой колдобинки — здесь, среди болот и мореновых взлобков, брала начало Волга...»

Это конечно же леоновский ручеёк, его увидел и был навек поражён маленький Ваня Вихров. В тот же ручеёк вонзал свою трость Грацианский.

В самом сюжете проскуринского романа ничего родственного Леонову нет вообще — книга медленная, вымороченная, конспирологическая, даром что Юрий Бондарев назвал «Число зверя» великим сочинением.

Зато общее есть в самой атмосфере, создаваемой Леоновым и Проскуриным в их последних романах, — атмосфере марева, передвижения оживших клочьев тумана, предчувствия последнего человеческого поражения.

Писатель Александр Проханов «Число зверя» читал и после него, в том же году, начал серию своих босхианских, прославивших его сочинений, от «Господина Гексогена» и далее. Тут Проскурин на него безусловно повлиял. Об этом никто ещё не говорил просто потому, что Проханова прочли почти все, а Проскурина почти никто. Всю эту внешнюю атрибутику, — вожди, юродивые, не очень глубокая мистика, масонский заговор, гибель Красной Империи, явления Сталина и прочее, и прочее — Проханов знал сам, но именно Проскурин дал ту

размытую оптику, ту странную, заговаривающуюся стилистику, в которой только и возможно подобное описывать.

Иногда говорят, что последние прохановские романы написаны под влиянием «Пирамиды». Мы спросили о том у самого Проханова и выяснили, что последнего романа Леонова он так и не прочёл. Посему тут стоит вести речь о влиянии опосредованном, через Проскурина.

Зато Проханов читал «Русский лес» (он и сам работал лесником, кстати). О прямом влиянии тут тоже говорить, наверное, не стоит; однако любовное, полуязыческое, но с тайным знанием о едином Боге, восприятие природы, безусловно, роднит первую книжку Проханова «Иду в путь мой» с «Русским лесом».

* * *

Если говорить о литераторах последнего поколения, самые глубокие взаимоотношения, на наш взгляд, сложились между Леоновым и Валентином Распутиным.

Леонов — любимейший писатель Распутина, у него Валентин Григорьевич учился строить драматургию своих вещей.

Коллизия со сбором детей вокруг постели умирающего родителя появляется в «Половчанских садах» Леонова, — и на той же коллизии построен распутинский «Последний поклон». (Справедливости ради стоит сказать, что впервые подобный сюжет использует Гауптман в пьесе «Праздник примирения», но что-то нам подсказывает, что Распутин апеллировал всё-таки к Леониду Максимовичу.)

Распутинская повесть «Пожар» написана в том же ритме, что и леоновская «Саранча». И то и другое, по сути, повесть-катастрофа; и при помощи этой, происходящей в обеих вещах катастрофы выясняется, в каком государстве мы живём и какие мы сами. Пафос «Пожара», «Саранчи» и, например, «Русского леса» прост и по нынешним временам воспринимается чуть ли не иронично: необходимо сберечь всенародное, национальное добро, которое буквально горит по нашей вине, предвещая нам и нашим потомкам жизнь на пепелище.

О том, что бегство всего живого с места строительства бумажного комбината в романе «Соть» предвещает распутинское «Прощание с Матёрой», писали до нас.

Можно говорить о картинах странного, почти непостижимого умом сочетания сердечности и бессердечности крестьянского мира, видного у Леонова в «Барсуках» и «Необыкновенных рассказах о мужиках», а у Распутина в первой же повести «Деньги для Марии» и в самой лучшей, великой его книге «Живи и помни».

По-леоновски Распутин почти никогда не скатывался в публицистику (по крайней мере, до «Пожара»), но наличие в текстах авторских «заковык», будто бы мимоходом брошенных деталей, создавало, как нынче выясняется, наиболее точную и ёмкую картину русского и советского мира.

Наконец, у Распутина чаще, чем у кого-либо, встречаются эти сгустки мысли, почти прозрения, которые принято называть «афоризмами». Это также признак особого, леоновского, внимания к слову.

У Леонова можно открыть любую книгу и зачерпнуть пригоршню замечательно точных наблюдений. Вот, к примеру, «Дорога на Океан»: «Прежде чем научиться думать, люди учились улыбаться»; «Когда любовь, и недостатки радуют, когда её нет, и достоинства раздражают»; «Надо рассердить женщину, чтобы узнать, какой она будет много лет спустя»; «Шибче горя не бывает родства»; «Мужчина изменяет от нечистоплотности, а женщины от величия и горя».

Здесь только надо сделать скидку на то, что утверждения эти принадлежат разным героям и не являются авторской позицией; однако если не объективная глубина, то субъективная меткость в таких выражениях всегда чувствуется.

Распутин тоже знал, что так, через одну фразу, можно сразу вскрыть человека, и у него примеры подобной наблюдательности рассыпаны повсюду.

Чего у Распутина нет — так этого леоновского тайного едва ли не конфликта с Богом. У Распутина вообще Бога в художественных текстах нет, — он оперирует другим понятием, это — Судьба.

И если в представлении Леонова, по крайней мере позднего, человеческую судьбу нужно таскать с собой, как «осклизлое бревно», то распутинская Судьба, при всём ужасе, выпадающем иной раз на человеческую долю, — всё равно до последней минуты тёплая, обещающая тебе приют. По крайней мере пока ты человек, а не волк.

И здесь мы выходим к самому серьёзному сближению прозы Распутина и сочинений Леонова.

Никто, кажется, ещё не заметил прямой связи между упомянутой книгой «Живи и помни» и несколькими леоновскими текстами.

Во-первых, здесь наличествует одна, не самая важная, даже второстепенная, но всё-таки схожая коллизия: и у Леонова в «Барсуках», и у Распутина в «Живи и помни» героиню пытается соблазнить прибывший в деревню уполномоченный. При сходстве сюжета, стоит отметить разницу меж леоновским и

распутинским восприятием женщины. Леоновская героиня поддаётся соблазну, распутинская — нет.

У Распутина вообще, от первой до последней повести, едва ли не вся земля Русь держится на женщине. Скажем, сравним главных героинь упомянутых выше повестей «Пожар» и «Саранча». У Распутина жена того мужика, что идёт навстречу катастрофе, — неотъемлемая часть его, воистину ребро. Леонов же, напротив, пародирует в «Саранче» достоевскую Настасью Филипповну: развенчивая её и буквально раздевая в финале повести донага — притом лишая эту наготу всякой женской силы, привлекательности, тайны.

Надо сказать, у Леонова во всех его сочинениях нет ни одного счастливого и нежно любимого им женского образа, кроме разве что Дуни в «Пирамиде», которая, правду сказать, не совсем в земном рассудке пребывает. (Достаточно ходульный женский образ в пьесе «Лёнушка» не в счёт.)

Иногда встречаются у Леонова чудесные девушки — но они почти ещё дети; и бывают старухи, умудрённые многотрудной жизнью.

Молодые же, если не в пороке живут, то как минимум несчастны: например, эмигрантка Женя в повести «Evgenia Ivanovna», циркачка Таня в «Воре» и молодая советская женщина Варя в «Русском лесе» (и все три, в конце концов, погибают).

А чаще всего судьба женщин и несчастна, и порочна одновременно: от разрывающейся меж двумя «барсуками» главной героини первого леоновского романа, к ещё одной, гнилью подёрнутой реинкарнации Настасьи Филипповны — Маньки-Вьюги в «Воре», вплоть до Лизы из «Дороги на Океан», сделавшей в припадке истерики аборт от обожающего её мужа. Череду подобных характеров продолжает жена Вихрова, сбежавшая от него вместе с ребёнком. Женщина она, может, и честная, но сердечно какая-то холодная. Завершает этот скорбный ряд циничная и фригидная Юлия Бамбаласки из «Пирамиды».

Во взгляде на женщин, повторимся, Леонова и Распутина ничего не роднит; да и, кажется, Валентин Григорьевич даже не мог заподозрить учителя в таком сумеречном воззрении на слабый пол. Но мы-то уже знаем, что Леонид Максимович и на мужчину смотрел не более радужно. И тут-то они с Распутиным сошлись.

Главная метафора книги «Живи и помни», конечно, леоновская: мужчина, в сути своей превратившийся в волка: предавший и Отечество, и любовь к женщине, и в волчьем обличье вернувшийся к своей любимой.

Книга «Живи и помни» могла бы называться «Волк», когда бы уже не было такой пьесы у Леонова, с той же метаморфозой, когда сильный, смелый, русский мужик становится зверем.

У Распутина дезертировавший с фронта солдат напрямую волком не называется нигде. Но книга начинается с того, как он, живущий в заброшенной зимовейке, отпугивая волков, научился страшно выть. Кульминация «Живи и помни» — тот момент, когда дезертир гонит по лесу корову с телком и, уведя их подальше от людей, телка забивает. Так он превращается в волка, ворующего беззащитную скотину у людей. И кровь его, ставшая волчьей, легко уносит его из зимовейки, когда за ним начинается охота. Ничто в нём человеческого уже не остаётся, и он ни единой жилкой не чувствует, что беременная его ребёнком женщина, Настёна, топится в реке, не вынеся своей судьбы, своего невольного предательства и обрушившегося на неё презрения мира.

Лишь здесь сходятся Леонов и Распутин в своём, как нам кажется, нечеловечески жёстком взгляде на женщину, пошедшую за мужчиной и невольно предавшую родину.

У Распутина в «Живи и помни» героиня гибнет — но за десять лет до публикации распутинской повести у Леонова в повести «Evgenia Ivanovna» происходит, по сути, та же трагедия: женщина, повинная только в том, что пошла за своим мужчиною, умирает в финале, во время родов. И даже наличие плода не спасает ни распутинскую Настёну, ни леоновскую Женю.

Так и хочется воскликнуть, вскинув руки: разве это справедливо?!

...Даже если виноваты в их погибели дурные и слабые мужчины...

* * *

На исходе 1960-х, в начале 1970-х годов Леонов узнаёт о двух писателях, которые впоследствии станут в известном смысле антиподами. Мы говорим о Юрии Бондареве и Александре Солженицыне.

В сегодняшнем нашем восприятии два этих имени сложносочитаемы, но в течение как минимум трёх десятилетий оба вышеназванных человека вполне могли соперничать за звание первого русского писателя.

Бондарев был не просто известен — а именно что популярен; и не только у нас, но и за рубежом, где с 1958 по 1980 год опубликовано 130 наименований его книг.

На наш, весьма субъективный взгляд, общий уровень прозы (и тем более публицистики) Солженицына выше, чем об-

щий уровень сочинений Бондарева. Но в лучших своих вещах Бондарев берёт высоты, недоступные Солженицыну — писателю очень сильному, но лишённому той непостижимой музыкальности, которая является основой всякой великой прозы.

При чтении Солженицына всё время остаётся ощущение огромного мастерства — и при этом сделанности, рукотворности текста, отсутствия в нём тайны.

Когда, напротив, читаешь военные вещи Бондарева, ощущаешь в невозможной какой-то полноте огромную и страшную музыку мира. Бондарев — один из лучших мировых баталистов; сражение, скажем, в романе «Горячий снег» сделано безусловно великим художником.

Сказав выше «военные вещи Бондарева», мы не оговорились. Чтение позднего, «мирного» Бондарева оставляет неистребимое ощущение, что книги его написаны не одним, а двумя людьми. Возьмём, к примеру, «Берег», где первую и третью «мирные» части читать, признаться, трудно: по причине чрезмерной литературности самого вещества прозы, удивительного какого-то обилия неточных эпитетов и описания непродуманных эмоций. Но вторая, военная часть «Берега» опять удивительно хороша — прозы такого уровня в России очень мало.

Впрочем, некоторые поздние вещи Бондарева, скажем, «Бермудский треугольник», не распадаются и выглядят вполне крепко: но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и этот роман, по сути, связан с войной и являет собой описание не очень далёких от передовой тылов уже идущей новой Гражданской.

Бондарев, повторимся, писатель военный — что его вовсе не умаляет, как не может умалить такое определение, скажем, Василя Быкова.

Как военного писателя Леонов и узнал Бондарева.

Их познакомил Александр Овчаренко в 1971 году, кстати, 23 февраля.

В первом же их разговоре, как нам кажется, заложена суть последующих литературных взаимоотношений Бондарева и Леонова.

Последний сразу спросил Бондарева о Достоевском: это была первая и привычная леоновская проверка.

— Мне ближе Толстой с его плотскостью, мясистостью, жизненностью, — честно ответил Бондарев. — Достоевского тоже люблю, но он меня часто смущает алогичностью.

Леонов, вспоминает Овчаренко, долго молчал, потом сказал:

— У него не алогичность. Сила искусства достигается другим — наибольший эффект дают ходы шахматного коня. Я пи-

шу три главы, всё развивается последовательно, читатель ждёт дальше того-то. И вдруг я делаю резкий, непредвиденный им поворот, всё летит черепками... А между тем внутренне это обусловлено, а не то, чего ждал читатель. Это — ход конём.

Умение «ходить конём», к слову, одно из главных отличий Леонова от всех иных его современников.

Большинство русских писателей прошлого века выстраивали сюжет почти прямолинейно. Леонов в лучших своих вещах строит сюжет как кардиограмму, на которую наложена ещё одна кардиограмма. Совпадение одного сердечного удара с другим — это и есть леоновский сюжет.

Упомянутому Овчаренко Леонов рисовал и построение своей фразы примерно следующим образом. У одних фраза, скажем, такая: - - -. У Леонова всё строится куда сложнее, например, так: //-\\.

Леонов ещё не раз будет обсуждать строение сюжета и фразы с Бондаревым, и это, наверное, ещё один, после Проскурина, случай, когда леоновская наука по большей части пойдёт писателю во вред.

Огромная сила Бондарева была совсем в другом, он «добывал» неслыханную и ошарашивающую музыку ясностью своей, мужеством, меткостью, жизненностью. То есть наследованием толстовскому, но ни в коем случае не достоевскому пути.

Всякий раз, когда Бондарев будет «ходить конём», хоть в пределах одной фразы, хоть в целых романах, он будет ломать свою же, такую простую и мудрую, партию.

Распутин, к примеру, не пошёл леоновскими путями утяжеления сюжета и фразы и в итоге, пожалуй, выиграл.

В любом случае, Леонов будет ставить Бондарева очень высоко, а в Солженицыне на какое-то время даже разочаруется.

Но далеко не сразу, и далеко не навсегда.

Ещё в 1969 году Леонов скажет Овчаренко о Солженицыне:

— Говорят, что Солженицыну намекнули, что его могут выслать, на что он ответил: «Это значит обречь меня на смерть!» Если он так сказал, то это многое значит...

На самом деле это куда больше говорит о самом Леонове. И только что упоминавшаяся нами повесть «Evgenia Ivanovna», и все леоновские белогвардейцы из романов и пьес, и собственная его судьба подтверждают, что он ни для себя не видел жизни вне родины, ни для своих героев.

Спустя некоторое время Леонов, если верить Овчаренко, начнёт отзываться о Солженицыне куда раздражённей: и что не без некоторого политиканства его вещи написаны, и что не понятна та идея, во имя которой это политиканство Александр Исаевич проявляет.

Между прочим, заметит Леонов у Солженицына такую вещь, как «нагнетание мелочей». Мы-то уже знаем, что он сам этим «нагнетанием» владел в полной мере, но, видимо, считал, что молодой сотоварищ по литературе «мелочи» собирает с какими-то другими целями.

В любом случае, когда Солженицына начинали травить, Леонов на проработку его не пришёл, о чём Солженицын не без язвительности поминает в книге «Бодался телёнок с дубом»: «...У них (в зале, где собрались советские писатели. — *З. П.*) уже был густой, надышанный и накуренный воздух, дневное электричество, опорожнённые чайные стаканы и пепел, насыпанный на полировку стола — они уже два часа до меня заседали. Не все сорок два были: Шолохову было бы унизительно приезжать; Леонову — скользко перед потомками, он рассчитывал на посмертность».

У Александра Исаевича был, безусловно, меткий глаз, и Леонов действительно мыслил далеко не сиюминутными категориями. Однако ж элемент лукавства в описании, данном Александром Исаевичем, есть: если Шолохову «унизительно» как человеку, то Леонову всего лишь «скользко перед потомками». А как человеку вроде и не унизительно? Или Шолохову не «скользко перед потомками»?

Зимой 1974 года, после высылки Солженицына за границу, Леонову ещё раз напомнят его годы молодые, придя из «органов» с просьбой подписать антисолженицынское письмо. На что Леонид Максимович попросит представить ему написанное Солженицыным «в полном объёме»: и тогда, мол, я подумаю.

Очень изящный ответ, признаем.

В достаточно полном объёме Леонов узнает прозу Солженицына уже в конце восьмидесятых. Вернее, даже не сам прочтёт, а одна из его помощниц, Галина Платошкина, станет читать Леонову вслух «Архипелаг ГУЛАГ»: сам старик будет плохо видеть к тому времени.

«Достойный эпилог к “Капиталу” Маркса», — мрачно скажет Леонов о сочинении Солженицына.

И чуть позже добавит в одном разговоре:

— Солженицын — не художник, но серьёзно смотрящий на жизнь общества литератор, политический мыслитель. Он берёт важные тезисы, которые требуют большой ответственности и зоркости. Когда прикасаешься к великой трагедии народа, должны быть чисты помыслы — будто ты на костёр идёшь...

Несмотря на соразмерный масштаб и личности, и таланта (у одного публицистического, у второго литературного) — их конечно же не роднило почти ничего. Внешне (очень внешне!) схожая, несколько мрачная, недобрая, трудная, медленная

проза Леонова и Солженицына строится на совершенно разных законах и повествует в конечном итоге о разном.

И позднее признание в какой-то мере правоты Солженицына Леоновым означало лишь то, что Леонид Максимович нашёл ещё одно подтверждение своим апокалиптическим предчувствиям, которые у него и без «Архипелага ГУЛАГ» наличествовали и были им самим уже описаны.

И поздняя статья Солженицына о «Воре» является, по сути, развёрнутым размышлением на тему: «Насколько Леонов был антисоветским писателем?» Проще говоря, Солженицын, со своей стороны, встраивал патриарха советской прозы в собственное миропонимание.

Оба конечно же по-настоящему любили Россию... Но для Леонова жизненный путь Солженицына был просто немыслим; равно как и, естественно, наоборот.

Так и существуют они пока в очень разных измерениях, два огромных, непознанных в полной мере небесных тела.

Глава двенадцатая

ПРОРОЧЕСТВА И ЮБИЛЕИ

Ванга

С начала семидесятых — и почти на четверть века вперёд — Леонов будет жить если не в затворничестве, то как минимум в заметном отстранении от мира. Даже природоохранной деятельностью и защитой старины станет заниматься всё меньше — благо вырастил поколение последователей, которые, как сумели, усвоили леоновские уроки.

Иногда он присутствует на торжественных мероприятиях — хотя всё реже. Каждое лето отдыхает с женой в Крыму. Изредка бывает за границей — в основном в Болгарии. Но вообще вся его биография сводится, по сути, к одному — возведению «Пирамиды». Событий и какой бы то ни было суеты в леоновской жизни всё меньше, только работа за столом, заменившая почти всё и придающая едва ли не единственный и главный смысл присутствию на земле.

Однако поездка в Болгарию в последних числах октября — начале ноября 1970 года подарила Леонову действительно замечательное знакомство.

Его в Болгарии знали более чем хорошо: помимо почти ежегодных переизданий романов в Софии вышло двенадцатитомное собрание сочинений Леонова. Разве что в Югославии и в Чехословакии он был столь же известен и воспринимался как безусловный патриарх русской классической литературы.

В 1970-м Леонова встречали на самом высоком уровне; и в качестве сюрприза познакомили с прорицательницей Вангой — так весь мир называл Вангелию Пандеву Гуштерову, урождённую Димитрову.

* * *

Ванга родилась в 1911 году. Согласно легенде, в 1923 году неожиданный смерч подхватил двенадцатилетнюю Вангелию и унёс от дома то ли на сто метров, то ли на километр, где её нашли спустя несколько часов засыпанную землёй, но живую.

История эта документально никак не подтверждена, в том числе и метеорологическими сводками того времени.

В том же 1923 году девочка Вангелия ослепла.

Говорят, что предсказывать она начала с шестнадцати лет: легко находила потерявшуюся скотину, какие-то вещи сельчан... Первое, серьёзное предсказание её зафиксировано в начале 1941 года, когда она сообщила, что вскоре страшная война придёт на болгарскую землю.

Так и случилось. Вскоре о прорицательнице знали во всей Европе.

Между прочим, 8 апреля 1942 года её посетил царь Болгарии Борис III, которому Ванга якобы предсказала дату его кончины.

В последующие годы к ней приезжали многие сильные мира сего, и, например, Индире Ганди она напророчила возвращение в кресло премьер-министра, а Тодору Живкову — смерть дочери в автокатастрофе.

Способности Ванги были признаны в Болгарии на государственном уровне, и в послевоенное время к ней началось паломничество со всех концов земли. Подсчитано, что она приняла около одного миллиона человек! В Петриче, где жила Ванга, была построена специальная гостиница для приезжих.

Далеко не все её предсказания исполнялись и исполняются, но известно и огромное количество сбывшихся (социолог Величко Добриянов, исследовавший феномен Ванги, говорит о том, что из 99 проанализированных им сообщений ясновидящей 43 были адекватными, 43 альтернативными (двусмысленными) и 12 неадекватными. Это означает, что процент телепатического «попадания» у бабы Ванги равен 68,3. Результат высокий, никак не укладывающийся в рамки теории вероятности).

По сей день находятся желающие оспорить дар Ванги. Часто говорят, что на неё работали все спецслужбы Болгарии. Однако история общения Леонова с прорицательницей заставляет как минимум усомниться в этом.

В 1970-х она принимала порядка ста тысяч человек в год — но писателя Леонида Леонова запомнила среди всей этой бесконечной череды людей.

Сам факт, что их познакомили, сложно недооценить: очередь желающих попасть к Ванге была расписана на год вперёд, и среди ожидавших аудиенции были люди небедные и влиятельные.

Более того, Леонов не сам приехал к ней, а её привезли к писателю в гостиницу.

Он спустился вниз, поцеловал ей руку.

Их перевезли для разговора в специальный дом.

После беседы с Вангой Леонов вышел, мягко говоря, озадаченным.

Она спросила у него о том, чего никак не могли знать болгарские спецслужбы.

— Почему до сих пор не был на могиле своего отца? — поинтересовалась прорицательница.

Мы помним, что Леонов не поехал на похороны его в 1929-м и за сорок один год с той поры в Архангельске так и не побывал.

Едва ли такое путешествие было столь же опасным, как в сталинские годы, однако в письмах к знакомым Леонов даже в семидесятые жаловался, что в Архангельск приходят запросы из Союза писателей СССР «о кулацком прошлом» Максима Леонова.

Кажется, что своих знакомых Леонид Максимович вводил в некоторое заблуждение. Никакого кулацкого прошлого у Максима Леонова быть не могло в принципе. Запросы — к сожалению, по сей день не обнаруженные — наверняка касались времени Гражданской войны и неясного прошлого не только отца, но и сына.

В любом случае, Ванга задала вопрос не просто точный, но и жуткий в своей проникновенности.

Следующий её вопрос ошарашил не меньше.

— Где Ленча твоя?

— Какая Ленча? — не понял Леонов.

Подумав, догадался, что Ленча — это Лена по-болгарски.

Поначалу наверняка решил, что вопрос касается его старшей дочери Елены. Но нет, не её Ванга имела в виду. Она говорила о какой-то маленькой Ленче, совсем ещё девочке.

— Я не знаю, — ответил Леонов в растерянности. — Не знаю, кто это.

— Ну что ты врёшь, я же вижу, что она рядом с твоей матерью стоит! — воскликнула Ванга.

И тут он вспомнил о своей родной сестре Лене, умершей в начале века, много-много лет назад. Никогда Леонов о ней не писал, ни разу не упоминал ни в одном своём сочинении.

Удивлённый писатель в тот же приезд попросил о ещё одной встрече с Вангой — и ему во второй раз не отказали.

По всей видимости, именно тогда она снова попала, что называется, в точку, сказав:

— Новый роман пишешь... Сейчас не публикуй... Попозже... Года через три...

И что-то предупредила о возможном пожаре, где всё может сгореть. Запомнив это слова, писатель перестанет хранить рукописи на даче в Переделкине.

* * *

На всю оставшуюся ему жизнь Леонов будет зачарован Вангой.

Раз за разом предпримет он попытки спросить у неё не только о себе, но и мироустройстве вообще. Леонова будет интересовать очень многое: видит ли прорицательница на Луне какие-то ключевые факты из жизни российских императоров, жизнь человека и смерть человека, наличие иных существ в космосе...

Следующий раз они увидятся в мае 1973 года: Леонов приедет на вручение ему болгарского ордена Кирилла и Мефодия.

Ванга скажет, что Леонову не стоит показываться на телевидении: оно может принести ему смерть. Спустя несколько лет в главной редакции литературно-драматических программ возникнет идея устроить встречу Леонида Леонова со зрителями в Концертной студии «Останкино», и он наотрез откажется. И даже причину скрывать не станет: Ванга отсоветовала.

Более полное содержание их бесед осталось тайной, но несомненно одно: вера в способности прорицательницы у Леонова год от года не ослабевала, и даже напротив.

Однако публиковать «Пирамиду» (называвшуюся тогда «Большой Ангел») спустя три года, как то советовала Ванга в 1970-м, он не стал.

И вследствие этого едва не потерял труд доброй половины своей жизни.

Пожар

Зимой 1973 года Леоновы решили переехать от Белорусского вокзала, где они жили, в более тихое место.

«Наш дом стоял, как остров среди городского транспорта, — вспоминала Наталия Леонидовна Леонова. — С одной стороны улица Горького, не затихающая до поздней ночи, с другой — грузовое движение 2-й Тверской-Ямской, а с торца — переулок Александра Невского с трамваями. Прямо под окнами папиного кабинета находился служебный вход в магазин, к которому вплотную ежедневно подъезжали огромные крытые машины и с шумом, не выключая мотора, разгружали свои товары. Папе в его семьдесят пять лет стало тяжело работать. И ему пообещали организовать обмен квартиры и переезд в новый строящийся дом у Никитских ворот, в котором мы (мои родители и моя семья) могли бы жить рядом, в соседних квартирах. В течение девяти месяцев мы подъезжали к нашему будущему жилью: вот уже три этажа готово, вот семь, вот уже двенадцатый

кончают... остались отделочные работы... Летом 74-го строительство закончилось».

Место, где провёл Леонид Леонов последние двадцать лет жизни, — одно из самых уютных в Москве: из окна — просторные виды, но улочка тихая. Рядом сквер и церковь Большого Вознесения, где, говорят, венчался Пушкин.

Леонид Максимович выбрал квартиру на четвёртом этаже, предположив, что лучше жить пониже на случай, если лифт будет ломаться (и был, к слову, прав: лифт действительно ломался часто).

Леоновым переезд дался конечно же не просто: надо помнить, что Татьяне Михайловне был 71 год, а главе семейства — 75.

Двадцать пятого сентября 1974 года Татьяна Михайловна запишет в дневнике: «Когда переехали, устроились, сели мы с Лёней, посмотрели друг на друга, сказали: вот переехали и живы остались!»

«Они собирались эту ночь с 25 на 26 провести на новой квартире, — вспоминает Наталия Леонидовна Леонова. — Но почему-то передумали: "Едем на дачу". Проверили газ, поставили квартиру на милицейскую охрану, и, запирая дверь, папа на электрощитке, находящемся на лестничной площадке, повернул рубильник, чтобы квартира не была под током, и они уехали.

26 сентября я не пошла на работу, так как собиралась отнести наши паспорта на прописку. Ещё не было десяти, когда ко мне позвонила соседка:

— В квартире ваших родителей что-то случилось! Наверное, лопнули водопроводные трубы! Вода потоком течёт по стеклу!

Я с лестничной клетки увидела окно — так может выглядеть окно бани, где целый день люди льют на себя горячую воду, да и то к концу рабочего дня...»

Приехал муж Наталии Леонидовны, вскрыли дверь. В квартире ничего не горело, не дымилось, но воздух был настолько сгущённо-чёрным, что зайти в квартиру казалось просто невозможным.

Вызвали пожарных — но и те не смогли войти: их фонари не в состоянии были осветить помещение, где словно бы застыл недвижимо душный, мрачный, тёмный, плотный снег.

«Я помню, — пишет Наталия Леонова, — у дверей совсем молоденький пожарный, посланный начальником в этот мрак, надевал противогаз, он нервничал, у него дрожали руки, ему было страшно входить в это чёрное н е ч т о».

Вызвали машину, которая выбила стёкла со стороны лоджии. Тьма начала рассеиваться.

«Нам объяснили так: от сильного пламени выгорел в квартире весь кислород, — говорит Наталия Леонидовна, — процесс замедлился, началось затянувшееся тление, забившее все комнаты жирной чёрной копотью. Если бы хоть одна форточка была бы приоткрыта, пламя уничтожило бы всё. Вода на стёклах — от конденсации...

Пожар начался в папином кабинете. Два книжных шкафа лежали на полу, превращённые в пепел, и обугленные доски... Паркет прогорел до бетонного перекрытия».

Огонь уничтожил половину уникальной леоновской библиотеки, множество книг XVI, XVII, XVIII веков — издания, которых, возможно, больше и нет на свете.

Татьяна Михайловна записала тогда в дневнике: «...подъезжаем к нашему дому — стоят пожарные машины, из окон валит дым. Откуда, из какого этажа, чьи это окна? Сразу не дошло. Вдруг вижу, на балконе стоит Наташа, схватившись за голову руками, плачет... Увидела нас — замахала руками — уезжайте, не входите.. Никогда не забуду... Мы кинулись наверх, навстречу из нашей квартиры выходили молодые пожарники в касках и противогазах, выносили сгоревшие книжные полки. <...>

Лёня стоял посреди комнаты, как окаменелый. Кто-то сказал — “как он держится, владеет собой...”».

Спустя годы Наталия Леонидовна уверенно заявила: «Причины для возникновения огня не было: в квартире электропроводка не была под током... <...>

Не сработала пожарная сигнализация; не приехали из милицейской охраны, хотя был получен сигнал. Почему?

Почему пожар начался именно в папином кабинете? <...> Отчего в кабинете была настолько высокая температура, что мы в золе нашли оплавленное стекло, а папина люстра, которую он делал сам из листов плексигласа и медных трубок, не затронутая пламенем, превратилась в комок корявого полупрозрачного вещества и бесформенные куски жёлтого металла?

Каким образом мог выгореть весь кислород в квартире, если сгорели лишь два шкафа?..»

Версия о поджоге возникла сразу после пожара. К Леонову приходили знакомые, утверждавшие, что это акция против него, и не стоит гадать, чьих это рук дело.

«Куда же мне из моей страны бежать? Некуда...» — сказал Леонов жене, почти так же, как говорил отцу 55 лет назад.

На сегодняшний день и полностью согласиться с конспирологической версией, и отрицать её одинаково сложно.

Но элементарная констатация событий той поры может навести кое на какие мысли.

«Наверху» знали, что Леонов давно пишет новый роман. Известна «Записка Комитета государственной безопасности в

ЦК КПСС» от 8 июля 1973 года, гласящая: «Среди окружения видного писателя Л. Леонова стало известно, что в настоящее время он работает над рукописью автобиографического характера, охватывающей события периода коллективизации, голода 1933 года и репрессий 1937 года, которая якобы не предназначается к опубликованию. Автор также выступает против проявляющихся, по его мнению, тенденций предать забвению понятия русское, русский народ, Россия»...

Ситуация усугублялась тем, что всю первую половину 1974 года советское правительство достаточно болезненно переживало, пожалуй, самый крупный литературный скандал за всю эпоху существования СССР.

Вернёмся к сказанному в прошлой главе и напомним, что 12 февраля 1974 года по решению политбюро писатель Солженицын был арестован и обвинён в измене родине. 13 февраля его лишили советского гражданства и переправили в ФРГ на самолёте.

Третьего марта 1974 года в Париже было опубликовано солженицынское «Письмо вождям Советского Союза».

Летом 1974 года, на гонорары от «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын создал «Русский общественный фонд помощи преследуемым и их семьям» для помощи политическим заключённым в СССР.

Каждое из этих событий вызывало нервный стресс у советского партийного начальства.

Так мы и подошли к сентябрьскому пожару в доме Леоновых.

Мог он случиться вследствие всех вышеприведённых обстоятельств, если помнить к тому же нарочитый отказ Леонова участвовать в травле Солженицына?

Мог, конечно.

Что, в конце концов, в этой ситуации советская власть способна была сделать с Леоновым, у которого чёрт знает ещё что за рукопись существует?

Украсть её? А он поднимет скандал — и шум будет куда более неприятный и дурной, чем в случае с Солженицыным: известность Леонова на тот момент была в разы больше.

Попытаться надавить на Леонова? Ну вот уже попытались давить на Солженицына, а чём всё кончилось?

Выслать и Леонова за границу? Лауреата Сталинской премии и орденоносца? Это уже вообще не в какие ворота... Может, и Шолохова тогда выслать? На радость всему миру.

Конечно, устроить пожар было самым простым выбором, самым легкодоступным.

Одна загвоздка: Леонов, вопреки своим привычкам первым делом заботиться о рукописях, не перенёс папки с «Пирами-

дой» в новую квартиру и тем более, памятуя о предупреждении Ванги, не оставил их на даче, а на время сложил у дочери.

Так спасся роман.

В ноябре 1974 года, словно назло кому-то, кто пытался сжечь его книгу, Леонов публикует в одиннадцатом номере журнала «Наука и жизнь» фрагмент «Пирамиды». Благо он там был членом редколлегии, дружил с главредом и мог этот вопрос решить мгновенно, безо всяких проволочек.

«Рукописи не горят, дьяволы!..» — так, в стиле «Соти», мог ругаться про себя Леонов.

* * *

А дача Леонова в Переделкине всё-таки сгорела. И там, между прочим, были леоновские рукописи. Но случилось это осенью 2009 года.

Незнакомый брюнет в кровати

Киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» экранизируют спустя целых пятнадцать лет после написания, в следующем, 1975 году. Это станет четвёртой и последней прижизненной экранизацией произведений Леонова.

По всем составляющим фильм должен был получиться замечательно хорошим.

Снимал его Михаил Швейцер, уже прославившийся классическими постановками по Катаеву («Время, вперёд!»), Ильфу и Петрову («Золотой телёнок»), свободно работающий в любом жанре — от комедии до трагедии.

Швейцер привлёк Владимира Высоцкого, который находился тогда в зените славы. Высоцкий прочёл «Бегство...», написал по мотивам киноповести девять баллад.

Подходящей роли для него не нашлось, и поэтому он играл уличного певца, которого в тексте Леонова нет. Любопытно, что чуть ли не единственный раз в своей карьере Высоцкий поёт песню не на свою музыку, а на музыку Исаака Шварца, причём это блюз; он его очень по-высоцки исполняет.

Вообще подбор музыки Шварц осуществил не без юмора: в фильме, например, есть мелодические зарисовки на темы «Битлз» — группы, находившейся в СССР под негласным запретом.

Главную роль исполнил Донатас Банионис, говорящий, правда, голосом Зиновия Гердта. В женских ролях были задействованы Жанна Болотова и Алла Демидова, совершенно неожиданно для её поклонников игравшая проститутку. Фильм

вообще изобиловал показами картин «загнивающего Запада», наряду с уличными певцами и всевозможными битниками, жрицы любви там попадаются на каждом втором шагу; мало того, в образе продажной женщины появляется и сам дьявол.

Один из самых замечательных моментов фильма: появление Бориса Бабочкина, того самого, что в 1934 году сыграл Чапаева в одноимённом фильме, разом заработав мировую славу. В «Бегстве мистера Мак-Кинли» Бабочкин снимется после пятнадцатилетнего отсутствия на больших экранах, и это станет его последней ролью в кино. Он сыграет того самого Боулдера, излагающего мысли Леонова. Более того, вольно или невольно, Бабочкин в фильме на Леонова похож!

Если плюс ко всему вспомнить вдумчивую, несуетную, умело созданную атмосферу фильма, то он был обречён на успех.

Леонов посетил премьеру 8 декабря 1976 года и остался недоволен.

— Автору трудно смотреть, — сказал он Александру Овчаренко по телефону. — Я же героя знаю, каким он был в 1922 году, в каких носках ходил. На кой чёрт он несёт топор в перевязанной бантиками коробке? И сняли всю мою полемику с Достоевским. Зато восемь минут заставили плясать манекены, хотя надо было только упомянуть. Высоцкого Швейцер привлёк только потому, что он его друг...

И так далее.

Позже о Высоцком, невесть откуда появившемся в экранизации «Бегства мистера Мак-Кинли», Леонов выскажется ещё более саркастично, хотя и не без юмора:

— Неприятно. Просыпаешься утром — а рядом неизвестный брюнет.

Высоцкий и сам был недоволен. В том же году, выступая в Ростове-на-Дону, он сказал со сцены: «...Я написал несколько больших баллад для фильма "Бегство мистера Мак-Кинли". Они делали большую рекламу этому и написали, что я там играю чуть ли не главную роль и что я там пою все баллады. Это враньё! Я там ничего не играю, потому что полностью вырезан, там вместо девяти баллад осталось полторы, и те — где-то на заднем плане. Поэтому не верьте! На фильм-то пойдите, но совсем без ожидания того, что вы там услышите мои баллады...»

В 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, которую Леонов получил как сценарист, а Швейцер как, соответственно, режиссёр; также премии вручили оператору, художнику, нескольким актёрам, в том числе Борису Бабочкину посмертно. В том же году Исаак Шварц как композитор «Бегства...» получил премию на Международном кинофестивале научно-фантастических фильмов в Триесте.

Однако ситуация вокруг кинокартины «Бегство мистера Мак-Кинли» сложилась парадоксальная, вполне в духе позднего Леонова. Несмотря на россыпь полученных наград, после разовых демонстраций по телевидению фильм исчез, будто и не было его.

Сегодня, пересматривая экранизацию, остаётся только удивляться, как эта по-леоновски мрачная, наполненная непреходящим предчувствием тотального кошмара, только при очень невнимательном просмотре напоминающая сатиру на капиталистический мир, картина вообще могла появиться на экранах. Тем более в те времена, когда в Союзе Советских почти полновластно царствовали кинокомедии.

«Побольше бы физикам таких лириков!»

Устойчивый интерес к Ванге и даже в известном смысле дружба с ней (они часто — по почте или с какой-либо оказией — обменивались подарками) недвусмысленно выказывают то, что Леонов отчасти был мистиком. Но, естественно, мистицизм был далеко не единственным способом объяснения мира для Леонова.

Он пытался осмыслить бытие в нескольких системах координат одновременно: религия и наука не отменяли мистики, равно и наоборот.

По большому счёту, в случае Леонова речь стоит вести о том, что все эти системы миропонимания в конечном итоге создают единую, его собственную, леоновскую картину реальности, наиболее полно явленную им в «Пирамиде».

«...Люди, — пишет Леонов там, — из ещё неостывших обломков протуберанца, вторично пропущенных сквозь жаркие тигли своих сердец, как из исходного материала, выплавили себе лишь таившиеся там дотоле сокровища, как музыка, молитва, магия, математика и прочие производные от мысли и мечты...»

Это о том же: о единстве мироздания, где одно немыслимо без другого, где и мысль, и мечта писателя служат лишь одному — постижению.

Не всегда ортодоксы Церкви, науки или хранители иных сокровищ спокойно воспринимали писательскую готовность отторгнуть многие догмы (или, напротив, неожиданно объединить их), да и просто леоновскую любознательность.

Вдова Петра Леонидовича Капицы, лауреата Нобелевской премии по физике, на вопрос, как её муж относился к религии, ответила однажды:

— Знаете, он старался не распространяться на эту тему. Всегда, когда задавали вопрос о религии, он молчал. Страдал, если

его открыто спрашивали об этом. Когда он отдыхал в Крыму в каком-то большом санатории, там его одолевал подобными разговорами Леонид Леонов... Он не любил, не хотел разговаривать на эту тему.

К счастью, не все реагировали на подобные разговоры столь болезненно.

Уже в Академии наук, в середине 1970-х, Леонов близко и на многие годы вперёд сошёлся с физиком-механиком, одним из основоположников российской космонавтики Борисом Викторовичем Раушенбахом.

«Не помню сейчас, как и почему мы с ним сблизились, — вспоминал Раушенбах. — Сначала это были обычные: “Здравствуйте!” — “Здравствуйте!” — “Как сегодня чай?” — “Неплохо заварен”. Потом наметились контакты... <...> Леонова страшно волновала проблема Большого Взрыва, после которого возникла наша Вселенная, и, таким образом, мир был сотворён, а не существовал вечно. Это его очень будоражило, потому что идею сотворения мира он, как писатель, воспринимал поэтически, а не грубо математически, как мы, учёные».

По утверждению главреда журнала «Наука и жизнь» Виктора Николаевича Болховитинова, Леонов пытался «...перевести на понятный всем повседневный язык общеизвестные аксиомы астрофизики, эти ритуальные, выраженные в сложных, недоступных простонародному восприятию формулах, непонятные слуху смертных, как жреческие заклятия древности. И в то же время писателю казалось плодотворным вызвать учёных на дискуссию, на разговор по занимающим его вопросам».

Ещё в 1978 году Болховитинов писал, что Леонов «...давно задумывается о возможных физических теориях и для запредельных — световых — скоростей. Теоретическая физика в последние годы не раз обращалась к этой проблеме, но Леонову хотелось бы, чтобы гипотетическая картина сверхсветовых движений была понятна не только физикам с их строгой формульной наукой, но и людям другой культуры — гуманитарной с её поэтическим языком. Леонову хотелось бы уйти от закодированности языка физиков. Он говорил: “Миллионы стоят у храма науки и не знают, о чем там моленья, и просят приоткрыть хоть оконце”».

«...Много лет тому назад нам пришло в голову пойти на разговор к Ландау, — продолжает Болховитинов, — крупнейшему физику-теоретику... Лев Давидович быстро набросал формулы. Леонов их знал. Но ему хотелось другого — “мускульного”, реального, поэтического их выражения. Он добивался: так что же всё-таки произойдёт с телом, если оно подошло к границе, очерченной эйнштейновским запретом? И он высыпал на го-

лову Ландау формулы и Хаббла, и Леметра, и Доплера, и Фицджеральда...

Прощаясь, когда Леонид Максимович уже прошёл вперёд, Ландау удивлённо засмеялся: “Побольше бы физикам таких лириков!” В то время в ходу была диада “физики — лирики”.

Удивление Ландау было бы, вероятно, менее сильным, если бы он вспомнил, что ещё в 1935 году в реалистическом романе “Дорога на Океан” Леоновым была высказана мельком идея радара — возможность видеть издалека с помощью радиоволн».

Вызвать учёных на серьёзный спор Леонову не удалось, а ему, верно, очень хотелось.

Как-то, усмехаясь, Леонов обронил, что астрономия конца XIX века напоминала пансион благородных девиц. Планеты ходят парами, всюду гармония. «Тихо плавают в тумане хоры стройные светил...»

Потом оказалось, что гармонии нет, но есть хаос, свирепый мир излучений, неведомых «чёрных дыр» и квазаров.

Этот «свирепый мир», эти «квазары» и «чёрные дыры» влекли писателя уже не первый год: надо сказать, что «Пирамида» со всеми её ныне известными сюжетными линиями, с удивительным сочетанием физики и абсурда в мареве происходящего, была готова за несколько десятилетий до публикации.

* * *

Членом редколлегии журнала «Наука и жизнь» Леонов стал ещё в 1961 году (свершившийся полёт в космос располагал к такому шагу как никогда) и вскоре уже читал главреду, упомянутому выше Болховитинову, главу из своего нового романа, где студент 2-го курса Никанор Втюрин строит собственную теорию пространства и времени.

Втюрина Леонов переименует в Шамина — а теория пространства и времени останется и в окончательном варианте.

В последующие десятилетия Леонов не раз будет так или иначе пересказывать своим знакомым всё содержание известной нам редакции «Пирамиды».

Дочь Леонова Наталия, помогавшая на рубеже семидесятых отцу доделать, дособирать из многих кусков роман (для чего она специально оставила работу), по сей день жалеет о том, что «Пирамида» не увидела свет в те дни. Дочь уверена, что редакция начала 1970-х была чуть более в хорошем смысле ясной.

И всё более усложнявшейся с каждым годом, добавим мы.

Новый, второй фрагмент романа появится в 1979 году в четвёртом номере журнала «Москва». Любопытно, что роман «Мастер и Маргарита» впервые, с огромными купюрами, был опубликован в том же журнале в 1966—1967 годах; так издание,

которое впоследствии станет оплотом православия в России, дало жизнь двум великим книгам, где в числе главных героев действует дьявол.

Очевидно, что советская цензура пропустить «Пирамиду» в печать в первозданном её виде не решилась никогда бы... но если с купюрами, как многострадальную булгаковскую книгу, — могло бы получиться.

Кажется, что в 1979 году, предчувствуя скорые беды и ужасы, Леонов был готов предпринять попытку обнародовать свою книгу, но тут вмешались другие, трагические обстоятельства.

Без жены

В воспоминаниях нескольких мемуаристов говорится, что Ванга предсказала Леонову смерть жены.

Это не совсем так.

О Татьяне Михайловне мы уже вспоминали не раз. Есть все основания говорить, что она была главным человеком в жизни Леонова из великого числа живших в его время и рядом с ним.

Однажды Леонов сказал, что о пяти людях он думал в жизни чаще всего: Христос, Достоевский, Гоголь, Ванга и жена, Татьяна Михайловна.

В начале 1979 года, ещё не зная о скором уходе жены, Леонов сказал ей: «Знаешь, всё, что я делал всю жизнь, всё, что я писал, — это для тебя одной».

Вспоминают, что поэт Александр Жаров однажды, уже после войны, удивился, говоря о Леонове:

— Был красивее всех нас — факт, а никаких историй романтических с его именем никогда не связывали.

Леонов действительно любил свою женщину.

Разве что слово «любил» с его характером как-то очень сложно сочетается. Тут, наверное, надо искать какое-то другое определение, которого мы, к сожалению, не знаем.

Когда у них была золотая свадьба, кто-то из гостей спросил Леонова:

— Так вот всю жизнь и... жили с одной женой? В любви?

Спокойно и без улыбки он ответил:

— Я эти все любовные погони, красавиц всяких избегал. Писать люблю. Жизнь много раз своим транспортом меня переезжала. Писателю тыл нужен, надёжный тыл. Он у меня есть.

Они прожили вместе 56 лет. Ей Леонов посвятил повесть «Evgenia Ivanovna» — одну из самых любимых своих вещей.

«Любви и преданности у неё хватало на всех — мужа, дочерей, внуков, — вспоминает о матери Наталия Леонова. — И при этом она всегда оставалась ровной, немногословной и

сдержанной — это была чисто сабашниковская сдержанность, доставшаяся ей от её отца. Я никогда не слыхала её повышенного голоса, она ни разу не подняла на детей руку, но не была щедра и на ласку — всё выражалось только взглядом и улыбкой».

Татьяна Михайловна была не просто женщиной, другом и собеседником Леонова — она была самым первым и самым главным его помощником. Вычитывала все его книги, разбирала рукописи, помнила обо всех издательских, театральных, кинематографических, публицистических заботах мужа.

Достаточно привести всего один факт; знающие — поймут. Однажды Татьяне Михайловне показали какое-то из многочисленных изданий романа «Русский лес» — и там было две опечатки. Две! На огромный том.

Она говорит: «Да, я знаю. Просто перед выходом именно эту часть романа издатели забыли мне прислать».

Дневник Татьяны Михайловны служит восхитительным примером самоотверженности и самоотдачи. Девять десятых записей — о муже, о его работе, о его заботах, о его болезнях, о его трудностях, о его характере. Она не только любила Леонида Леонова, но и бесконечно уважала его. По её мнению, он всю жизнь вёл себя более чем достойно.

А её поведение, весь её настоящий, воистину женский, русский, светлый характер выражается в ещё одном случае, который запомнила дочь, Наталия Леонидовна.

Однажды летом 1979 года она пришла к матери и увидела над кроватью листок с надписью из шести букв: «НЖНСУМ».

— Мама, что это у тебя написано? — спросила Наталия Леонидовна.

Татьяна Михайловна улыбнулась и пожала плечами.

— Папа догадался, о чём тут? — не унималась дочь.

— Нет.

— А Лена? — спросила Наталия Леонидовна о своей сестре.

— Тоже нет.

— ...А я поняла, что ты написала. Потому что я тебя хорошо знаю. Здесь написано: «Не жаловаться. Не скулить. Умереть молча».

Татьяна Михайловна умерла от рака 18 сентября 1979 года. Так как и приказала сама себе: молча, без жалоб, с необыкновенным достоинством.

* * *

Через четыре месяца после смерти жены у Леонова тоже обнаружили рак.

Все видевшие его тогда вспоминают, что писатель был очень спокоен, не выказывал и малейших признаков волнения.

Жизнь без жены казалась ему настолько бессмысленной и пустой, предположила как-то Наталия Леонова, что даже печальный (и вполне предсказуемый — в 81 год!) исход операции казался благом.

Леонов тогда обратил внимание, как линию жизни на его ладони пересекают две резкие черты. Первая оказалась болезнью жены, а вторая — его болезнью.

Но после этих разрывов линия жизни была длинной и ровной.

Так и случилось.

7 января — в Рождество! — 1980 года ему сделали операцию, отрезали едва ли не половину желудка — и по-прежнему сильный организм всё перенёс.

Леонов похудел, стал вновь, как в юности, что называется, поджарым — но всё-таки оправился.

Его младшие сотоварищи по литературе, навещавшие писателя и в те годы и даже десятилетием спустя — то есть когда Леонову было уже за девяносто, — помнят очень крепкое его рукопожатие, быстрые движения, нестариковскую какую-то ловкость и конечно же стремительный и саркастичный ум.

Он стал быстро сдавать только в последние два-три года жизни.

А тогда, в 1980-м, 7 сентября, Леонов едет на празднование 600-летия победы на Куликовом поле, упоминавшееся нами чуть выше. Ненадолго вернувшись в Москву, в том же сентябре Леонов вместе с дочерью Наталией отправляется в Болгарию, где участвует во Всемирном парламенте народов за мир, проходившем с 23 сентября в Софии, и следом — в Третьей международной встрече писателей, проходившей там же с 28 сентября.

Повстречался конечно же и с Вангой.

Спросил у её сестры Любы, что же его не предупредили о скорой смерти самого близкого человека, на что Люба сказала:

— Как же вы говорите, что вас не предупреждали... Ванга посылала вам в подарок одну кофейную чашку, а не две. Вы должны были догадаться, что скоро останетесь один.

Леонов поверил этим словам.

* * *

Год спустя, в 1981 году общий знакомый и Ванги и Леонова, Любен Георгиев, навестил писателя в Москве.

Леонид Максимович просил его при встрече с Вангой поинтересоваться, что сказала Ванга о его «Пирамиде».

Любен ответил:

— Передаю дословно: «Вижу, что он держит в руках не одну, а две книги».

— Вот как! — обрадовался Леонов. — Это правда! Эти две книги — фактически оба варианта моего незаконченного романа! И два, оба — в машинописном виде, потому что почерк у меня очень мелкий и неразборчивый, я и сам-то не всегда разбираю свои каракули...

Опережая события, скажем, что «Пирамида» действительно вышла при жизни Леонова в двух томах. И это были не два варианта, а один, и законченный.

В 1982 году Леонов с дочерью Наталией вновь вылетел в Болгарию, где общался с Вангой последний раз.

По совету Ванги Леоновы привезли ей горсть земли с могилы Татьяны Михайловны. Растерев землю в руках, Ванга сказала, что нельзя было убирать комнатный цветок, который та любила.

Леоновы действительно вынесли из квартиры слишком больший фикус филодендрон, столь любимый Татьяной Михайловной.

— Сколько я ещё буду работать над романом? — спросил Леонов.

Она подняла вверх ладони, раскрыв пальцы: и он понял этот жест как ответ — десять лет.

— Что ждёт Россию? — спросил Леонов.

— Не бойся, что бы ни случилось, Россия сохранится как яйцо в воде, — ответила она.

Между тем этому яйцу в кипятке предстояло скоро лопнуть.

Возвращаясь от Ванги, вспоминал Леонов, он зачем-то зашёл в магазин игрушек. И вдруг увидел идущего на задних ногах, жуткого какого-то для игрушки, коня — такого же, как увидел во сне в ночь перед началом войны. Смотрел на него долго и оторопело.

Последняя перекличка

В последние годы жизни Шолохов всё чаще вспоминал, говорил о Леонове.

Валентин Осипов писал в дневнике: «Навещаю Шолохова в больнице. Совсем плох: глаза тусклы, движения замедленны, говорит с трудом. Однако обманывает внешний вид: как только устроился в кресле и дымнул сигаретой, так завязался долгий разговор. Один из узелков в этом разговоре — “Как там Леонов?”».

И так — всякий раз.

«Рассказываю, что издательство “Художественная литература” затевает “Библиотеку классики” — миллионными

тиражами. У него сразу же вопросы: “Советские будут? <...> А Леонов?”».

Ещё одна запись: «...заинтересованно, хотя никогда не были друзьями, расспрашивал о Леонове, о том, в частности, пишет ли, работает ли? Задумчиво — так запомнилось — воспринял мой рассказ, что Леонов в каждый том своего переиздаваемого собрания сочинений вносит значительнейшие поправки и вставки».

Едва ли хоть один из них видел себя хранителем и пастырем своей страны, но с годами, чувствуя приближение неминуемой смерти, они становились всё более внимательны — хоть и с дальних расстояний — друг к другу.

Как сказал однажды Леонов с горькой усмешкой: «...по мере обрастания окладистой бородой я стал с особо-тревожной приглядкой производить по утрам перекличку ближайших моих современников — все ли в сборе, налицо: покуда — они, дотоле и я».

В предчувствии ухода Шолохова Леонов мог особенно остро ощутить своё одиночество. Это ж сколько случилось поколенческих смен на его веку! Сначала ушли поэтические корифеи Серебряного века, чьи стихи почитал всем сердцем, — Блок, Брюсов. Следом те, кто был немногим старше самого Леонова: Есенин, Фурманов. Прорядили в 1930-е тех, с кем работал бок о бок: Буданцев, Ясенский. Был целый ряд литераторов, погибших в войну, как Афиногенов, или не доживших до её конца, как Алексей Толстой. Неожиданно рано в послевоенные годы ушли те, с кем связывали сложные отношения: Фадеев, Пастернак, Всеволод Иванов. Не осталось тех, с кем был рождён в один год, о чём Леонов безусловно знал: Платонова, жившего в России, и Набокова, жившего вне её. И поспешно начало уходить поколение тех, кого совсем вблизи наблюдал добрые полвека: Константин Федин, Константин Симонов... Не говоря о родившихся, когда Леонов уже держал перо в руках — и на его же глазах перегоревших несказанно скоро: тот же Фёдор Абрамов, тот же Василий Шукшин, — за обоими он пристально смотрел... А всего — сотни и сотни имён! Тех, кому жал руку, тех, кого видел...

В январе 1984-го через Осипова Леонов передал Шолохову приветы, неожиданно сердечные, тёплые, слёзные.

Шолохов ответил уже через силу: «Как... он... там?.. Спасибо... ему... доброе...»

Ему оставалось жить одиннадцать дней.

Сразу после известия о смерти Шолохова Леонов позвонил в редакцию «Известий», надиктовал слово прощания:

— Вместе с миллионами... скорблю... Шолохов подарил стране самую замечательную книгу нашей эпохи.

«Самую замечательную» — это значит выше всех иных. Леонов больше ни о ком никогда так не говорил.

После ухода Шолохова он остался наедине с грядущей на Россию смутой и со своею «Пирамидой».

Вровень с ним уже не стоял никто.

«Раздумья у старого камня»

Самую известную свою статью «Раздумья у старого камня» Леонов написал ещё в 1968 году, к двухлетию Всероссийского общества по охране памятников. Публикацию по теме заказал главный редактор газеты «Правда» Борис Иванович Стукалин.

Даже по нынешним временам эта леоновская работа мало того что актуальна, но в чём-то даже и радикальна. А для 1968 года тон, взятый Леоновым, был вообще недопустим.

«Гражданская совесть и стариковские предчувствия повелевают мне высказаться вслух по поводу национальной нашей старины. Многое уже не воротить, — тем громче надо вступиться в защиту уцелевшего» — так начинает свою статью писатель.

Сделав необходимое, а на те дни — вполне искреннее признание о том, что Октябрь 1917 года был гигантским событием, выдвинувшим советскую державу в мировые лидеры и ускорившим бег технического прогресса, Леонов переводит разговор к той теме, ради которой всё и затевалось.

«...с веками кладовые великого и трудолюбивого народа пополняются всё новыми поступленьями его трудов и вдохновений... но вот уже и не видать под ними одного почтеннейшего, на самом дне хранящегося предмета, в давно прошедшие времена называвшегося хоругвью.

Как правило, реликвия эта представляет собой прямоугольный лоскут старой ткани, простреляной, обгорелой местами, с тревожно-бурыми пятнами на ней, но никому и в голову не придёт отдать его в химчистку. <...>

Предки наши от случая к случаю выносили из-под спуда на воздух сей изредившийся лоскуток, под колокольный звон поили вешним ветром досыта, молодили солнышком отускневшее золотое шитьё. Иначе рассудительному государю было никак нельзя, а то в нужде, как примется история ещё разок огнём да мечом поверять тебя на годность для самостоятельного государственного бытия, сунешь руку в заветный сундук, а там ветошинка одна, вся в плесневелых каках да мышеединах: такая в бой не поведёт!»

Несчастный Стукалин читал, наверное, и протирал очки в недоумении: совсем, что ли, старик Леонов с ума сошёл. Хоругви какие-то... рассудительный государь... И это всё в «Правде» публиковать?!

Дальше — не лучше.

Сталин, как известно, уже десакрализирован, развенчан и, в принципе, малоупоминаем.

Но Леонова это будто не касается, он неожиданно вспоминает про сталинское обращение «Братья и сёстры!»: «...нам в особенности полезно со всею болью сердца вспомнить, вникнуть, подвергнуть беспристрастному анализу ту, потрясающую патриота, под незабываемый звон стекла, июльскую речь в трагическом сорок первом. Так почему же именно, почему уже на второй неделе страшного поединка пришлось нам, несмотря на едва ли не каждодневные рассуждения про малую кровь и чужие территории, пускать в ход столь необычные в нашей практике интонации, а в прекрасное суровое утро ноябрьского парада, четыре месяца спустя, выкатывать на передовые позиции столь устарелую, казалось бы, артиллерию, с клеймами Суворова, Дмитрия Донского и даже Невского Александра? Причём делал это предельного авторитета человек — с гулким на весь свет именем».

Гулким... на весь свет...

Помянув Сталина, Леонов переходит к Богу.

«На протяжении тысячелетий понятие бога как исходного начала всех начал, — утверждает Леонов, — вместившее в себя множество философских ипостасей, национально окрашенных фантастических мифов, когда-либо двигавших людьми моральных стимулов, служило ёмкой и неприкосновенной копилкой, куда Человек — мыслитель и мастер, художник и зодчий — вносил наиболее отборное, бесценное своё, концентрат из людских озарений и страданий, беззаветной мечты и неоправдавшейся надежды. <...>

Наступление поздней зрелости во всех цивилизациях знаменовалось скептическим пересмотром потускневших миражей детства, но всегда неприглядной представлялась сомнительная доблесть, якобы в доказательство людского превосходства над божеством — по-свински гадить в алтаре, дырявить финкой Магдалину на холсте, отрубать нос беззащитному античному Юпитеру».

Стукалин, конечно, догадывался, что Леонов не то что намекает, а прямым текстом говорит о советской власти во всех её бурных заблуждениях.

Писатель взывал в своей статье: пока ещё не поздно, надо довести до сознания людей, что «...сегодня есть лишь про-

межуточное звено между вчера и завтра, что все мы нынешние — лишь головной отряд бесчисленных поколений, пускай закопанных где-то далеко позади, однако отнюдь не исчезнувших вчистую, а и посмертно взирающих нам вдогонку».

На Бориса Стукалина, человека вполне достойного и насколько возможно последовательного, сетовать, конечно, не стоит: такое он просто не мог опубликовать.

Леонова попросили позволить сделать в статье хотя бы несколько купюр. Он отказался.

Статья два месяца лежала в наборе, ждала своей участи, в итоге её вернули автору.

Леонов тогда сказал одному из партийных начальников, ознакомившихся с «Раздумьями у старого камня», что, мол, не важно, опубликовали вы это или нет, важно, что вы это прочитали.

В 1972 году у Леонова выходило очередное собрание сочинений, он попытался включить статью туда — сняли; и не посмотрели на то, что орденоносец и лауреат.

Литературовед Юрий Прокушев пытался в том же году, месяц спустя, сделать из статьи хотя бы выборку для сборника «Памятники Отечества», но и у него почти ничего не получилось: едва «продавили» два абзаца, и всё.

Чтение статьи самим Леоновым записали на киноленту; Николай Карцев и режиссёр Юрий Белянкин смонтировали выступление и сделали документальный фильм. Его конечно же тоже запретили и отправили на полку.

Статья дождалась своей участи только в 1980 году, когда с большими купюрами была опубликована в журнале «Техника — молодёжи».

К тому году относится один, вполне реальный, связанный с именем Леонида Леонова анекдот. Он тогда принимал участие в подготовке празднования 600-летия со дня Куликовской битвы. Во время одного из первых совещаний партийный глава Тульской области, на нынешней территории которой сражение произошло, вслух высказал сомнение в необходимости поминать борьбу с татаро-монголами — как-то неинтернационально это.

— Не путайте п.... с оладьей, — зло сказал Леонов, чем поверг начальство в натуральный минутный ступор.

...Полностью «Раздумья у старого камня» вышли уже после начала так называемой «перестройки», в конце 1986 года, в газете «Советская культура».

Но в эти времена уже никто, как ни странно, не желал всерьёз о чём-то раздумывать, хоть у старого камня, хоть у новых ворот.

Дурную подоплёку нового времени Леонов разгадал не сразу, — и всё равно он был одним из немногих, понявших суть свершающегося достаточно скоро.

Одиннадцатого марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС становится Михаил Горбачёв. 7 ноября того же года Леонид Леонов присутствовал на традиционном приёме в Кремле, слушал Горбачёва и вернулся домой крайне довольный, обнадёженный. Тогда многие разумные люди пережили минуты первичного очарования, веры в добрые и долгожданные перемены. Геронтократия давно стала невозможной, эпоху позднего брежневизма Леонов презирал — а тут появился молодой, улыбчивый, бойкий лидер.

Первые нехорошие подозрения появились у Леонова в начале 1987 года.

Тогда, в феврале, состоялось торжественное собрание в Большом театре по случаю 150-летия со дня смерти А. С. Пушкина.

Незадолго до начала заседания Леонов в задумчивости прогуливался за кулисами и к нему сами подошли Горбачёв и Александр Яковлев.

Настроение у обоих было, как рассказывал Леонов своему знакомцу Арсению Ларионову, «бодрое, если не сказать весёлое».

«Слово за слово, разговор о перестройке, — пересказывает мемуарист слова Леонова, — спрашиваю, верят ли они, что из затеи этой выйдет что-нибудь стоящее. Горбачёв рассмеялся. “Ничего-ничего, Леонид Максимович, помните, как у Пушкина в обращении к Чаадаеву: ‘Пока свободою горим, / Пока сердца для чести живы...’” Я ответил: “Как же, как же не помнить юношеский порыв Пушкина. Но вы-то уже немолоды для порывов души... Вам бы здравый смысл, целесообразность, народное счастье держать в уме, разве не так?!” Но тут вступил в разговор Яковлев и басовито, сановно улыбаясь хитрыми глазами, добавил: “Разве это не цель серьёзных мужей: ‘Россия вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена!’ Так оно и будет!”».

— Может, им обломки государства нужны, чтоб имена свои написать? — желчно вопрошал Леонов.

Можно было б расценить его слова в те дни как стариковское брюзжание, когда б всё не было затем так грустно...

С именем Пушкина связан, к слову, другой показательный факт.

В 1987 году было опубликовано исследование П. Е. Щёголева «Дуэль и смерть Пушкина», где на женскую честь Натальи

Николаевны Гончаровой была, что называется, брошена тень. Нынешнего читателя подобным сочинением уже не ошарашить, но для того времени книжка Щёголева была симптоматичной. Скоро на смену хотя бы документально подкреплённым трудам, вроде щёголевского, пойдут сотни едких, как кислота, поверхностных, площадных сочинений, посвящённых всем тем, чьи имена крепили и славили Россию.

«Советская культура» опубликовала тогда письмо Леонида Леонова, подписанное также Юрием Бондаревым, Петром Палиевским, Николаем Скатовым, о недопустимости покушений на честь поэта и потаканий пошлой толпе.

Их голоса конечно же не были услышаны.

В том же 1987 году в печати появился третий фрагмент романа «Пирамида»; публикацию осуществила газета «Правда».

Тогда ещё в главной советской газете не догадывались о том, какой разворот совершит страна в ближайшие годы, посему поинтересовались у писателя и общественного деятеля Валерия Ганичева, занимавшегося публикацией:

— Тут нет никакого подвоха? Критики коммунизма, например? Точно нет?

Ганичев передал эти слова Леонову. Он пожал плечами, ничего не ответив.

Леонов ещё надеялся, что его предсказания поймут шире — без тех бессмысленных градаций, вроде «советский — антисоветский», что ничего, по сути, уже не могло объяснить.

— Я не верю в долговременность Западного мира, — сказал тогда Леонов в одном из интервью. — Он может разрушиться из-за любой случайности... Гайка попадёт в систему, и всё...

Можно представить, насколько скептически воспринимались тогда его слова жителями СССР, в том числе и недавними читателями Леонова.

Стоит признать, что в те годы авторитет русского писателя начнёт стремительно падать. Мы конечно же говорим о тех литераторах, что не потрудились над созданием мифа о собственном многолетнем диссидентстве при советской власти и не приняли участия в кампании по развенчанию всего и вся в русской истории.

* * *

Двадцать восьмого марта 1988 года Михаил Горбачёв и Леонид Леонов снова виделись на вечере в Художественном театре в связи со 120-летием со дня рождения Горького. Оба были в президиуме; между ними сидел Георгий Марков.

Горбачёв и Леонов перекинулись парой фраз — через Маркова. И наблюдавшие их из зала заметили, что Марков не сдвинулся с места, пока писатель и генсек говорили.

Леонов не без умысла рассказал генсеку, как в своё время просил передать Никите Хрущёву, чтоб тот не пренебрегал русским народом — ибо он ещё пригодится России. Какая ж Россия без народа! Хрущёв, говорят, был крайне раздражён леоновскими словами.

Михаил Сергеевич выслушал Леонова и ничего не ответил. Может, он не понял, о чём это вообще?

Теперь-то нам думается, что искренне веря в писательское право что-либо объяснять главе государства, Леонов не был лишён некоторой наивности.

Внук Леонова Николай Макаров однажды очень точно заметил: «У деда, несмотря на всю его мудрость и жизненный опыт, было странное представление, отчасти идущее из XIX века, что писатель должен говорить с правителем и учить его правильно управлять. Что литература должна делать власть умнее. Это некоторые архаичные подсознательные конструкции, но очень важные для него. Какой-то древний крестьянский архетип здесь чувствуется».

И когда годом позже, в 1989-м, с подачи Валерия Ганичева вновь зашёл серьёзный разговор о публикации «Пирамиды», Леонов вдруг ответил:

— Пусть генсек прочитает роман.

В том смысле, что генсеку будет полезно вникнуть в смысл книги и остепениться.

Ганичев принял слова Леонова всерьёз и попытался выйти на главу государства. Нашёл подходы к Раисе Максимовне Горбачёвой, она, по словам Ганичева, — «испугалась и сказала, что не может решить вопрос».

«Я попросил посоветоваться с самим. “Ну, не знаю...” — был затухающий ответ», — вспоминает Ганичев.

— Ну и не надо, — отреагировал Леонов, когда Ганичев пересказал ему свои мытарства.

Весной 1989 года он вновь через знакомых обратится к Ванге с вопросом о романе. Ванга отзовётся и наговорит письмо к Леонову:

«Книга будет иметь четыре образа, — человек, Вселенная, Бог, демон...»

«У Леонида Леонова ещё есть жизненный потенциал. Он ещё поживёт...»

«Судьба этого писателя в литературе сложная, но счастливая. Много будут говорить о нём и после его смерти. Сейчас его ценят, но многие ему завидуют из-за его таланта и удачно вы-

бранных тем. Роман будет переведён за рубежом — в Германии, Индии, Бразилии, Америке и во многих других странах мира...»

«*Есть ли у него враги*? Были, но они уже умерли, поэтому нет необходимости говорить о них. Пусть он не боится живых. Выпустит три книги, которые обойдут всю землю. Леонид Леонов — благословенный...»

«Роман должен появиться через три года, и его будет редактировать женщина, но она должна быть очень доверенным лицом. Книга будет иметь огромный успех и будет принята хорошо всеми людьми, даже молодёжью...»

Ну, три года — значит, три года, решил Леонов.

Ещё раз он попытается всерьёз поговорить с Горбачёвым, когда тот прибудет к нему сам, лично. В первых числах июня 1989 года несколько крупнейших изданий страны выйдут с заметками о том, что генеральный секретарь навестил старейшего советского писателя Леонида Леонова 31 мая, в день его 90-летнего юбилея.

— Горбачёв приехал довольно неожиданно, без большой охраны... как-то сами собой появились квадратные ребята на лестничной клетке, — вспоминает Николай Макаров, внук писателя.

Генсека сопровождали коммунистические и писательские чины, в достаточно серьёзном количестве — десятка два человек... генсек заявился с огромным букетом красных, цвета обновлённого социализма, как пошутил Горбачёв, роз.

В те дни шёл десятый съезд народных депутатов, и генсек приехал между заседаниями.

«Мы тогда не поняли, но этот приезд был, конечно, не ради деда — скорее знаком уважения к консервативному крылу, полезным, как, наверное, казалось Горбачёву в дни съезда», — признаётся Макаров.

Именно на этой встрече Горбачёв сказал Леонову, что читал «его» книгу «Бруски». Писатель вида не подал.

Быстро накрыли стол, разлили грузинское вино, самое простое.

Леонов пошутил, кивнув на бокал Горбачёва:

— Вам, может быть, нельзя, вы же за рулём, за штурвалом? — имея в виду, естественно, управление государством и проходящий съезд.

Горбачёв засмеялся. В бокал его случайно попал большой кусок пробки, плескался там... но ничего, он выпил, а пробку оставил.

Штурвал, надо сказать, начал выходить из рук Горбачёва сразу после встречи с Леоновым: на съезде начали критиковать

генсека, вскоре была создана так называемая межрегиональная группа... ну и так далее.

Что до визита к Леонову, то некоторое время писателю удалось пообщаться с главой государства один на один.

— Никакого разговора не получилось, — мрачно признался Леонов потом. — Им это не было нужно. Катастрофу я не предотвратил бы... но про пожар, который занимался, они могли бы услышать. Ещё было время.

Некоторые мемуаристы вспоминают о случившемся чуть позже личном звонке Горбачёва Леонову: в этот раз генсек пригласил его на очередную встречу с интеллигенцией.

Разговор по телефону был недолгим, но известно, что Леонов вновь поднял тему сбережения нации.

— Если так дальше пойдёт, — сказал он генсеку, — варягов придётся приглашать на Русь.

Горбачёв конечно же леоновский пессимизм не поддержал. Наверняка что-нибудь бодрое вспомнил из классиков по случаю. Он вообще был упоительно бодр тогда.

На встречу, куда его приглашал Горбачёв, Леонов не пошёл.

* * *

Всеобщего оптимизма тех лет Леонов никак не разделял. Он и в иные-то времена предпочитал пессимистично смотреть на будущность, а тут тем более.

Осенью 1989 года Леонов позвонит своему знакомому литератору Сергею Власову, которому в своё время подавал рекомендацию в Союз писателей. «Принеси, — скажет, — мышеловки: мыши одолели совсем».

Как тут не вспомнить описанное Леоновым ещё в «Записях Ковякина...» нашествие тараканов, случившееся в 1917 году. Опять природа начала трескаться на глазах и из щелей полезла всякая мелкая нечисть.

— Вместо того чтоб развивать экономику, — говорил Леонов Владимиру Стеценко, — «рыночники» сдали огромный внутренний рынок ростовщикам и спекулянтам. Попрошайничают и закупают в долг залежалые тряпки и продовольствие. Сейчас вернутся войска из Европы, триста тысяч! Их надо поселить, строить дома. В деревни старые солдат не расселишь. В моей родовой деревне Полухино две старухи остались. Разваливаются пустые хаты. Как туда вселить? Вся инфраструктура разрушена. Городские «фермеры» — едут по наивности в мёртвые деревни. Но без инфраструктуры, без агронома ничего не сделаешь!..

Мемуаристы вспоминают 1990 год, когда речи Бориса Ельцина и упоминавшегося нами Яковлева вызывали у Леонова просто физическую брезгливость.

— Ну а чего мы хотим? — говорил он, не сбрасывая очевидной вины с советского времени. — Партийное сито имело такие мелкие ячейки, что во власть могли пройти только пройдохи... Всё рухнет в одночасье, потому что *этих* заменить некем!

— Тупое нарциссианство Горбачёвых, Яковлевых, Ельциных проявляется как лакмусовая бумажка при первом же прикосновении, — так, если верить Ларионову, говорил Леонид Максимович в том же девяностом, когда советский генсек получил Нобелевскую премию мира.

— Жаль, этого никто не замечает, и замечать не хочет, — сердился писатель. — А Горбачёв уже распустил павлиний хвост... Мировая печать его похваливает, за него домысливает. А речи его тошно слушать, косноязычные, невнятные, около-государственные, бахвальство узколобое...

Но ладно бы приходилось только одного генсека слушать. Что тогда творилось в российских газетах и журналах! Вой и гай стоял неумолчный. Россию, каждую скрепу её будто бы изъедали тысячи неустанных короедов.

В марте—апреле 1990 года сразу несколько изданий, в числе которых «Литературная Россия», «Наш современник», «Московский литератор», публикуют Письмо писателей России Верховному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР и ЦК КПСС.

«Травля, шельмование и преследование коренного народа» — так называлось это письмо.

Подпись Леонова стояла одной из первых в списке подписавших, среди которых были Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Юрий Кузнецов, Пётр Проскурин, Александр Проханов, Валентин Распутин...

«В последние годы под знамёнами объявленной “демократизации”, строительства “правового государства”, под лозунгом борьбы с “фашизмом и расизмом” в нашей стране разнуздались силы общественной дестабилизации. <...> Их прибежище — многомиллионные по тиражам центральные периодические издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну» — так говорилось в этом письме, в некоторых своих положениях не потерявшем, что называется, актуальности и по сей день.

«Происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны. <...>

Представители трёх его ныне живущих поколений, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны, спасших мир от гитлеризма, представители разных специальных слоёв и профессий — люди русского происхождения — ежедневно, без каких-либо объективных оснований именуются в прессе “фашистами” и “расистами” или же — с сугубо биологическим презрением — “детьми Шарикова”, то есть происходящими от псов. Это прямо приводит на память гитлеровскую пропагандистскую терминологию относительно русских, “низшей” славянской расы.

Регулярному расистскому поношению подвергается всё историческое прошлое России — дореволюционное и послереволюционное.

Россия — “тысячелетняя раба”, “немая реторта рабства”, “крепостная душа русской души”, “что может дать миру тысячелетняя раба?” — эти клеветнические клише относительно России и русского народа, в которых отрицается не только факт, но и сама возможность позитивного вклада России в мировую историю и культуру, к сожалению, определяют собою отношение центральной периодической печати и Ц<ентрального> Т<елевидения> к великому героическому народу-труженику, взявшему некогда на свои плечи беспримерную тяжесть созидания многонационального государства.

“Русский характер исторически выродился, реанимировать его — значит, вновь (?) обрекать страну на отставание, которое может стать хроническим”, — читаем мы напечатанное на русском языке, на бумаге, выработанной из русского леса. Само существование “русского характера”, русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ объявляется сегодня лишним, глубоко нежеланным народом. “Этот народ с искажённым национальным самосознанием”, — заключают о русских советские политические деятели и журналисты.

Желая расчленить Россию, упразднить это геополитическое понятие, они называют её “страной, населённой призраками”, русскую культуру — “накраденной” (!), тысячелетнюю российскую государственность — “утопией”.

Стремление “вывести” русских за рамки Homo sapiens приобрело в официальной прессе формы расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий, пожалуй, средь всех прежних “скрижалей” оголтелого человеконенавистничества. “Да, да, все русские: люди-шизофреники. Одна половина — садист, жаждущий власти неограниченной, другая — мазохист, жаждущий побоев и цепей”, — подобная “типология” русских нарочито распубликовывается московскими “гумани-

стами" в прессе союзных республик — для мобилизации всех народов страны, в том числе и славянских, против братского русского народа. <...>

Дискриминированный в реальных гражданских правах, ошельмованный как "раб", как "фантом" или "призрак", русский человек в то же время сплошь и рядом нарекается "великодержавным шовинистом", угрожающим другим нациям и народам.

Для этого лживо, глумливо переписывается история России, так, что защита Отечества, святая героика русского патриотического чувства трактуется как "генетическая" агрессивность, самодовлеющий милитаризм. "А с кем только не воевала?! — сокрушается насчёт "забияки"-России член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев в "Литературной газете" (14 февраля с. г.) — И всё это в памяти. Всё это формирует сознание, остаётся в генофонде. Психологически — наследие отягчающее".

И уж не для того ли, чтоб снять с нас генетическую, психологическую "тяжесть" патриотической ратной славы, центральная пресса ныне равно отказывает России в победе над Наполеоном, и в победе над гитлеровской Германией?

Примеры подобной беззастенчивой лжи средств массовой информации, которые пытаются перекричать и Карамзина с его "Историей государства Российского", и "Клеветникам России" Пушкина, и "Войну и мир" Л. Толстого, и свидетельскую память наших живых ещё современников, — воистину бессчётны».

Диагноз этому Леонов единолично поставил уже в «Пирамиде», вложив в уста одного из героев следующие речи: «Конечно, случались и на Западе исповеди с биеньем в перси, но лишь на общегуманитарные темы, наши же... <...> умники разоблачились до полного срама, каясь в неприглядности своей отчизны от её дремучего бездорожья и бородатно-лапотной родни до пропойных кабаков и босого нищего Христа: самих себя шарахались в гранёных зеркалах Европы».

В финале процитированного нами письма его авторы умоляли не забывать о том, что «...мы, русские, — высокоталантливый, геройски отважный, знающий радость осмысленного, созидательного труда, могучий духом народ. Что "русский характер", "русское сердце", бескорыстная русская преданность истине, русское чувство справедливости, сострадания, правды, наконец — неистребимый, беззаветный русский патриотизм — это всё драгоценный алмаз в сокровищнице человеческого духа».

«Воспрянем же! — так завершали своё послание писатели. — Возьмём в свои руки судьбу нашей Родины-России! Направим

все свои помыслы и дела на то, чтобы оградить её от всевластия политических авантюристов...»

Никакой реакции, естественно, на это письмо не последовало.

Но, с другой стороны, а какая могла она быть, эта реакция? Кому, в конце концов, направляли литераторы своё послание? Их адресаты, «политические авантюристы», должны были раскаяться и посыпать голову пеплом? И призвать к власти невесть откуда у них взявшихся истинных патриотов?

* * *

Для полноты картины следует признать, что отношение Леонова к так называемой «патриотической общественности» было тоже, мягко говоря, неоднозначным. Даже упомянутое выше письмо он требовал сделать более кратким и ёмким — а его не послушали и понаписали, помимо процитированного выше, такого, под чем бы Леонов никогда не подписался.

Если же брать шире, Леонов хорошо знал и цену многим «патриотам», и степень их истинного мужества, и реальные цели некоторых из них.

Зачастую самых разных калибров и образцов «патриоты» хотели элементарно использовать имя Леонова не только для придания идеологического веса тем или иным декларациям, но и в бурных материальных разборках, начавшихся тогда.

Близкие Леонова вспоминают, как однажды он разыграл спектакль слабоумия пред большими «патриотическими» чиновниками, пришедшими у него просить поддержки в решении имущественных дел Союза писателей. Посмотрев на будто бы потерявшего память Леонида Максимовича, огорошенные ходоки ушли. Спустя минуту после их ухода подтянутый, ясный и спокойный Леонов вновь занялся «Пирамидой», с её виртуозной стилистикой и сложнейшими аллюзиями, отсылающими к десяткам религиозных, философских и художественных сочинений.

Втайне, кажется нам, Леонов уже не умел искренне поверить в благополучный исход обрушившейся на Россию — и далеко не в последние годы — беды. И тут уже речь шла не о изначально греховной человечине, но о качестве того «людского материала», что он наблюдал округ себя. В России действительно неоткуда было взяться новым элитам, готовым купно и заедино продемонстрировать тот самый «русский характер»!

И некому было их возглавить, даже если бы они появились.

Но и смолчать Леонов тоже не мог себе позволить...

А какой ещё у него был выбор: кроме как высказаться?

Последние годы жизни Леонова вообще бедны на внешние события, по крайней мере видимые человеческому глазу.

Он всё реже выходил из дома, не ездил в Переделкино... Иногда подолгу ни с кем, кроме помощников, не встречался.

И днём и ночью думал о своём труде, как заточённый находясь внутри «Пирамиды».

Вскоре начались события необратимые и страшные.

Те, кто видел Леонова в августе 1991 года, помнят, как болезненно переживал он случившееся с его родиной.

Отдельная боль была о раздоре внутри славянских, ещё недавно братских народов.

— Как грешно и страшно материнскую ладанку рубить пополам на плахе... — сказал Леонов о бушующей Украине зашедшим к нему в гости Юрию Бондареву и Тимуру Пулатову.

События развивались так, что полный, окончательный распад государства и последующий хаос на территории бывшей России казался вполне реальным.

«Пирамида» выходит в свет

Если бы не ухудшавшееся зрение, он писал бы сам. Силы были.

Одна из посетительниц Леонова запомнила писателя так: «Он был невысок, худощав, причёску носил короткую, под ёжика, хотя шевелюра его была великолепна — в девяносто один год не было и намека на мало-мальскую плешь; его верхнюю губу украшали шикарные усы, видом напоминавшие горьковские, и тут я особо должна сказать о глазах, терявших, к сожалению, свою ясность и выглядывавших из-под очков с толстыми стёклами. Они были очень тёмные, почти чёрные, умные и с едва уловимой язвительной усмешкой, и в то же время их окутывал налёт грусти человека, стоящего одной ногой в могиле. Вообще Леонид Максимович был бодр, держался молодцом и явно преувеличивал свою старческую немощь. Несмотря на жару, одет он был в тёмный костюм, из-под которого красовалась безупречной белизны накрахмаленная рубашка — в его подчёркнуто официальной манере держаться был какой-то лоск, какой отличает, ну, скажем, английских джентльменов...»

С самоиронией у него тоже всё было в порядке. Знакомый Леонова Владимир Стеценко предложил как-то в шутку Леонову работать с помощью бинокля — раз не видит текст.

— Ещё, говорят, хорошо старикам раствор цианистого калия помогает по утрам, натощак, — отреагировал Леонов и заливисто засмеялся.

Дочери Леонова не имели возможности ежедневно находиться при отце, чтобы записывать поправки в «Пирамиду», в итоге зашла речь о необходимости помощника.

Одним из первых, уже в начале девяностых, взялся помогать Леониду Максимовичу критик Михаил Лобанов.

Надо признать, что характер у Леонова был не из лёгких — его, с известной долей условности, можно назвать деспотическим. Он требовал безусловного подчинения, старательности и выдержки.

Далеко не все могли работать в леоновском ритме и беспрекословно подчиняться писателю. С тем же Лобановым они достаточно скоро рассорились (хотя уважение друг к другу сохранили).

Следующим помощником был Виктор Хрулёв.

«Работа начиналась в 9 утра, максимум в 9.30, — вспоминал он. — Писатель входил в отведённую для занятий комнату психологически подготовленным, “в полной форме”: при галстуке, в жилетке, здоровался и начинал с нетерпением диктовать то, что было продумано вечером и выверено после ночных сомнений. Диктовал чётко, называя все знаки препинания, лишь изредка меняя на ходу строчки. Ему нужно было освободить память от текста, чтобы взглянуть на него со стороны и двинуться дальше. В это время он был энергичен и предельно целеустремлён. Воля автора вела на штурм неизвестного и требовала ответной собранности и чуткости помощника. Творческое состояние нельзя было нарушать ни вопросом, ни лишним движением, ни шелестом бумаги. На редкие обращения близких отвечал однозначно: “Мы работаем. Не мешайте”.

Исчерпав подготовленную часть текста, Л. Леонов уходил к себе в кабинет продумать следующую страницу, затем возвращался с добавлениями и уточнениями. В обеденный перерыв работа прерывалась, потом писатель отдыхал час-полтора: за это время текст переписывался набело. Отдохнув, Л. Леонов возвращался с новым вариантом, и продолжалась правка текста, запись нового, переписывание последнего варианта».

«Поразительна не только тщательность работы над словом, — продолжал Хрулёв, — но и требование точности, которому автор неумолимо следовал в подготовке эпизодов. Приведу один пример. В начале “Пирамиды” рассказывается о том, как кинорежиссёр Сорокин подвозит Дуню Лоскутову к её дому на машине и не может понять, что же манит его в этой простенькой девушке в плюшевой шубке. Сорокину чудится в ней некая тайна, которую он боится упустить, так как мог бы выгодно использовать в кино. И тут в его сознании возникает сравнение горечи её лица с горечью лиц на фреске “Вознесе-

ние Девы" в Сиене, "где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля...". После слова "фестиваля" стоят три точки, означающие паузу, возвращающую разговор к внутреннему размышлению Сорокина.

Чтобы оставить фразу: "...где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля", нужно было решить, успеет ли режиссёр из Венеции доехать до Сиены, побыть там час-два и затем вернуться обратно. Как он может туда добраться? На каком транспорте? Для разрешения этих вопросов обратились к малому атласу, но масштаб его был слишком крупным. Посмотрели другую книгу — и вновь остались сомнения; гарантии того, что герой успеет вовремя вернуться, не было. Наконец Л. Леонов приносит большой альбом — атлас на иностранном языке и просит просчитать сантиметровой линейкой расстояние и весь маршрут в Сиену и обратно.

Когда я заметил, что вряд ли стоит столь тщательно выверять расстояние (читатель и так поверит автору, тем более что в романе есть смещения времён года, пространства, много условности), Л. Леонов сказал: "Я не имею права обманывать читателя. Если я говорю, что Сорокин там побывал, я должен знать, как он туда доберётся, каким маршрутом вернётся. Я должен знать механику поездки. Тогда я буду чувствовать состояние своего героя..."».

Схожие воспоминания о работе с Леоновым оставили все его редакторы.

«К моему появлению в московской квартире Леонова, — вспоминал Вадим Десятников, — каркас романа был уже выстроен, начерно сшит, но отделка ещё продолжалась.

В работе Леонид Максимович вёл себя как диктатор. Подчёркивал: "Я работаю строго". Самое удивительное, что, не имея возможности читать, он помнил из текста романа (более семидесяти печатных листов) чуть ли не каждую фразу, поворот мысли. И мучился оттого, что любое серьёзное изменение, а иногда и деталь влекли за собой новый крепёж и соседних, и дальних глав.

И здесь уж никто ему не в силах был помочь. А степень его отчаяния и не представить!

Леонов успевал к моему ежедневному приходу надиктовать интересующий его отрывок (или поправить текст) и просил обычно записывать. Клюнет хрупким пальцем в клавишу, уже привычную в его полуслепоте, послушает две-три фразы, выключит машинку:

— Не то, не то... Эх, как плохо!.. Лучше записывайте!

И начинает с голоса надиктовывать:

— Ну-ка, почитайте, что там получилось?

И опять:

— Не то, не то...»

Надо сказать, работа над «Пирамидой» как минимум дважды прерывалась: сначала на создание нового эпилога «Вора», который, как мы рассказывали раньше, записал Виктор Хрулёв, а затем нового послесловия к «Барсукам», записанного с голоса Леонова.

«Барсуками» занимались сначала Владимир Стеценко, а затем его коллега Александр Трофимов, — оба работали в издательстве «Современный писатель», решившем переиздать первый леоновский роман.

Со Стеценко, хоть и были знакомы уже давно, разругались очень быстро — он вспоминал, как то и дело выбегал в подъезд покурить, пока Леонов успокаивался. Да и сам был постоянно на взводе.

Трофимов работу Стеценко завершил летом—осенью 1993-го.

— Мне важно переработать этот роман, — говорил Леонов о «Барсуках» ему, — несколько сцен я теперь вижу совсем по-другому, но особенно важно для меня послесловие, оно звучит во мне, требует, чтобы я написал его... Ведь «Барсуки» — мой первый роман, и я, старик, сопровождаю его послесловием через семьдесят лет... Вы чувствуете этот срок?!

«Часто он уставал и ложился отдохнуть, засыпал, а я сидел рядом, прислушиваясь к его слабому дыханию, порой совсем тихому, как бы отлетающему... — вспоминает Трофимов. — Но где-то через час он поднимался, и мы снова приступали к работе, поначалу казавшейся лёгкой. День ото дня она становилась всё труднее, и я вспоминал редакторов, рассказывавших мне, как трудно работать с Леонидом Максимовичем... <...>

Я не знаю ни одного современника, столь скрупулёзно анатомировавшего слово, фразу, прямую речь, главу. Порой работа целого дня (а я бывал у него часто — с девяти до шести вечера) — и всего лишь одна фраза... А я уже знал, знал, что наутро Леонид Максимович её обязательно отвергнет... Какое там утром... Поздний вечер, двенадцатый час, звонок.

— Александр Андреевич?

— Да, Леонид Максимович, — разве я мог его не узнать, не узнать этот надтреснутый, надмирный голос...

— Я подумал, вам нужно прийти завтра пораньше... <...>

И снова — леоновское — утро.

Ум его работал прекрасно, он сам порой довольно живо ходил по комнатам. Очень крепкие у него были руки. Когда он пожимал, здороваясь, мою руку, казалось, что передо мной здоровый мужчина в расцвете сил».

Послесловие они завершили как раз в дни расстрела парламента, в начале октября 1993 года. На улице стреляли — и это тоже было своеобразным эпилогом к первой книге Леонова.

...Несколько мемуаристов вспоминают, что якобы в первых числах октября Леонов был в Доме Советов: его привезли туда, дабы само присутствие патриарха русской литературы освятило движение политического сопротивления.

Родные и близкие Леонова утверждают, что ничего подобного в действительности не происходило; и, кажется, они правы.

Однако сам миф появления Леонида Леонова в здании Белого дома незадолго до расстрела его из танков симптоматичен и многозначен.

* * *

В очередной раз речь об издании «Пирамиды» зашла осенью 1992 года.

Тогда в доме Леонова появилась женщина-помощница, последний редактор «Пирамиды» Ольга Овчаренко — литературовед и дочь литературоведа Александра Овчаренко, хорошего леоновского знакомого, которого мы не раз вспоминали в нашей книге.

«На моих глазах все основные сцены романа, — с удивлением вспоминает и Ольга Овчаренко, — были по многу раз переписаны. Леонид Максимович старался отделать каждое слово. Очень часто он просил меня посмотреть интересующие его слова в словарях. Мы пользовались словарём Даля, словарями синонимов и антонимов, словарём иностранных слов, энциклопедией Брокгауза и Ефрона, словарём Ляруcс — все эти книги были у писателя под рукой. Но часто я отправлялась в Ленинку и Иностранку, чтобы поработать, по указанию Леонида Максимовича, с другой справочной и научной литературой. Леонов обычно очень доброжелательно отзывался об авторах словарей (“Хороший словарь синонимов написала Александрова!”), но я не помню ни одного случая, когда бы ему пришлось воспользоваться плодами их трудов. Нужное слово Леонид Максимович всегда находил сам, причём часто бывало, что на его поиски уходило несколько часов».

Если верить воспоминаниям Петра Алёшкина, возглавлявшего тогда издательство «Голос», инициатором публикации романа был писатель Николай Дорошенко.

Дорошенко спросил у Алёшкина, хочет ли тот издать новый роман Леонова, и последний, разумеется, согласился.

Договорились вместе прийти к старику — всё обсудить.

«Леонид Леонов открыл нам дверь сам, — вспоминает Алёшкин, — открыл, глянул на меня острым глазком, другой прищуренный, как бы спрятался глубоко за веками, под белой жёсткой бровью, и было впечатление, что оттуда он хитренько и постоянно изучает, оценивает тебя, протянул худую, тёплую руку для пожатия и хрипло сказал:

— Проходите, проходите.

Он довольно энергично двинулся впереди нас по коридору в свой кабинет.

Там я увидел Бориса Стукалина, бывшего министра печати. Я знал, что Леонов пригласил его, чтобы он присутствовал при разговоре со мной, издателем, знал, что Леонид Максимович дружил с ним издавна, доверял ему...»

Заключили договор, договорились о том, что издательство «Голос» будет платить ежемесячную зарплату Ольге Овчаренко.

— Давайте я покажу вам роман, — сказал Леонов гостям.

На полу, возвышаясь на полметра, лежали пять огромных папок.

Пётр Алёшкин вскоре прочёл отсканированную рукопись — и, как сам рассказывает, был потрясён. Пытался настоять на том, чтобы «Пирамиду» немедленно отправили в печать — в книге ему всё показалось стройным и логичным, но Леонов отказался:

— Что вы, что вы, Пётр Фёдорович... Представьте себе: мать родила ребёнка, он ещё весь в слизи и в крови, а она показывает его людям. Какое впечатление будет? Так и роман.

Иногда говорят, что Леонов не хотел «отпускать» от себя «Пирамиду» — роман был не только его главным делом жизни, но и, что называется, правом на жизнь, на её продолжение.

Мы не берёмся судить об этом.

В конце концов, после внесения сотен и сотен правок, Ольга Овчаренко, по-видимому, поняла, что если не сделать окончательную редактуру без Леонова — работа не закончится никогда.

Последнюю кройку и сшивку романа сделала она одна, чуть ли не сбежав с рукописью от неуёмного старика.

Одновременно издатели продолжали, как умели, убеждать Леонова в необходимости публикации «Пирамиды»:

— Надо, чтобы книга работала на Россию, а время уходит. В русской литературе последние три-четыре года пустота, вакуум, и нужен импульс, который возродил бы интерес к русской литературе.

«Мы пытались воздействовать на его честолюбие», — признаётся Алёшкин в воспоминаниях.

— Скоро приедет Солженицын, — подходила с другой стороны Ольга Овчаренко, — будет шум, и публикацию вашего романа никто не заметит. Надо печатать скорее...

Говорили о том, что роман очень ёмкий и воздействовать он будет на читателей сильно, да и вообще на всё, что происходит в России, а если появится через год, то воздействие его будет не то...

Еле уговорили.

* * *

Перед публикацией книги, по советской литературной традиции, роман решено было «пропустить» через журнал.

Остановились на «Нашем современнике».

Роман прочёл Геннадий Гусев — заместитель главного редактора Станислава Куняева. Гусева «Пирамида» поразила — они, к слову сказать, сошлись с Леоновым, и Геннадий Михайлович в последние годы жизни Леонида Максимовича был одним из самых близких ему людей.

«Но это не значит, что работа шла без сучка без задоринки, — вспоминает Алёшкин историю публикации «Пирамиды» в «Нашем современнике», — Геннадий Гусев пожаловался мне однажды с каким-то восхищением:

— Ну и старик!.. С кем только я не работал: с Силаевым, с Власовым (раньше Гусев был помощником Председателя Совета министров РСФСР). Насколько Власов был жёсткий мужик, и всё же с ним было легче и проще. Вот характер! Как ты с ним ладишь?»

Накануне появления романа в «Нашем современнике» Леонов внёс туда ещё добрую сотню правок, и на Гусева эта работа опять же произвела неизгладимое впечатление.

«Он радовался как ребёнок, — вспоминал Гусев о Леонове, — когда удавалось найти, “выловить”, “ухватить” нужное, точное слово. Впадал в отчаянье и панику, если оно не давалось. Становился злым, колючим, обидчивым, если я, по простоте душевной, пытался ему помочь, да всё, пожалуй, невпопад. Он сам, только сам способен был найти самое точное, единственно подходящее и необходимое слово.

Вот Бог создаёт человека из глины, затем, разгневанный, низвергает в бездну “провинившиеся легионы сил небесных”, а затем пропускает в руку Адамову “животворящую искру” духа. И вся эта “операция” целиком уложилась в “м о л н и й н ы й п р о м е л ь к...”. Поначалу было: “молнийный проблеск”, но Леонид Максимович вдруг завздыхал и протянул: “Нет, не то...” Воцарилось молчание. Я робко произнёс: “В с п ы ш к а”,

вспомнив ночное фотографирование. Леонов отмахнулся и опять повторил: "Нет, не то". И вдруг лицо его озарилось тёплым светом. Слово было найдено! Конечно же "промельк"! — оно не просто точнее, не просто оригинальнее (хотя и это бесспорно) — оно самое-самое, и неяркое, и мгновенное, и т а и н с т в е н н о е.

Или вот ещё. В той же ключевой сцене беседы Шатаницкого с Шаминым Никанор, в знак протеста против затеваемой "профессором" и его свитой потехи, отвечает "адекватным щелчком" — и заявляет, что хочет "на часок-другой сбегать с приятелем пополоскаться в знаменитый теперь столичный бассейн-к у п а л и щ е" (разрядка автора). Вот это-то слово, выделенное затем Леоновым, долго отыскивалось им в кладовых его необъятной памяти. Ей-Богу, в них, как мне казалось, весь знаменитый четырёхтомник В. И. Даля! Он не удовольствовался упоминанием бассейна, который был вырыт на месте взорванного храма Христа Спасителя. Купалище — слово не просто глубоко русское, но и преисполненное религиозно-мистического смысла.

Самое интересное наступало, когда Леонов возбуждённо восклицал: "Сейчас, Генмихалыч, появится момент, драгоценный для всей рукописи!!" Вот речь заходит о грехопадении Евы. "Я, — говорит Шатаницкий, — с к и н у л с я пресловутым библейским змием, зрелой анакондой ископаемого метража". У меня сохранились черновики беглых записей этого "драгоценного" момента, испещрённые, в поисках наилучших вариантов, большими и малыми поправками. Так, змий был сперва "метров шести длиной", потом просто "безрукой анакондой", и наконец был найден "ископаемый метраж"».

Впрочем, работа по стилистике — это ещё не всё.

Один из скандалов был связан с попыткой редакции «Нашего современника» найти деньги на издание спецвыпуска с романом Леонова.

Кому-то пришло в голову написать в правительство письмо с просьбой о финансовой помощи — и чтобы это письмо подписал сам Леонов.

— Унижаться перед этим правительством? — возмутился Леонов. — Ни за что.

К Леонову приехали и Куняев, и Гусев, и Алёшкина с собой позвали.

Наперебой уговаривали, пока все трое лёгкой испариной не покрылись.

«Еле убедили хотя бы взглянуть, послушать заготовленное заранее письмо, — вспоминал Алёшкин. — Слушал Леонид Максимович молча, опустив голову. Весь вид его говорил, что

процедура эта неприятна ему. Письмо было деловое, никаких экивоков в сторону правительства: мол, закончен роман, хотелось бы увидеть его опубликованным, но ситуация в печати вам знакома, в связи с этим прошу выделить деньги на издание».

Поморщившись и сделав долгую паузу, Леонов наконец выдал:

— Нет, там не всё точно. Надо бы перепечатать.

— А что не так? — удивился Куняев. — Вроде бы мы всё соблюли...

— Нет, не всё. Там сказано: последний роман. Почему последний? Надо написать — новый! «Новый роман!» А в таком виде я не подпишу. Перепечатывайте.

— А если перепечатаем, подпишете?

Снова задумался Леонов.

— Перепечатаете — подпишу...

«Куняев с Гусевым облегчённо вздохнули, — рассказывает Алёшкин. — И напрасно. Они ещё не знали, что Леонид Максимович просто давал себе время на обдумывание, а я знал, что сделает он так, как говорит ему совесть: не подпишет. Не сделает того, что считает унижением для себя. И он не подписал.

Журнал от своего имени обратился к правительству».

На том история не кончилась: Леонову перезвонили из правительства, сказали, что лучше бы публиковать роман не в «Нашем современнике», а в «Новом мире».

Ситуация понятная: «Новый мир» в те годы держался на позициях скорее либеральных и смотрелся вполне лояльным к власти — чего о «Нашем современнике» сказать было никак нельзя.

Леонов отказал и на этот раз — хотя, казалось бы, что за дело ему до всей этой межлитературной суеты, в его-то возрасте, за пять лет до столетнего юбилея!

В итоге деньги дали всё-таки «Нашему современнику». Справедливости ради стоит упомянуть, что отвечал за это решение Михаил Иванович Триноге, один из чиновников в правительстве Виктора Черномырдина. Триноге, на счастье просителей, хорошо знал и даже любил книги Леонова — и на упорство писателя не рассердился.

Журнал начал готовить роман к вёрстке.

Но и на этом этапе тоже всё было далеко не гладко.

Неожиданно рассердившийся из-за одного неоднозначного момента в романе Леонов вдруг объявил Гусеву:

— Я делаю официальное заявление. Официальное! Работа над романом прекращается. Навсегда! А вы поезжайте домой, я больше не буду вас мучить. Утром передайте Куняеву моё ре-

шение. Учтите: оно окончательное... окончательное. Сил больше нет, воля иссякла...

Гусев, наверное, поначалу думал, что на старика напало минутное раздражение — но прошёл день, и второй, и третий — а Леонов и не думал отказываться от своих слов.

Пришлось вновь идти к Леониду Максимовичу с уговорами — но он на увещевания не реагировал никак.

Гусев метался меж Леоновым и Куняевым, пытаясь хоть как-то разрешить ситуацию.

...Сдался Леонов лишь после того, как Гусев, несколько лукавя, сообщил, что журнал вынужден будет закрыться, если роман не выйдет.

— Из-за вас, Леонид Максимович, были взяты деньги у правительства, — пояснил Гусев, — и они уже пущены в дело. А тут вы снимаете роман... Из этой ситуации «Нашему современнику» уже не выбраться.

— ...Нет... такой грех я на душу не возьму... — сказал Леонов, помолчав.

Вёрстка продолжилась.

Тогда, стоит вспомнить, случился один анекдот, достойный внесения в классику литературных анекдотов.

Леонов однажды позвонил в отдел прозы «Нашего современника», которым заведовал тогда ещё молодой писатель Александр Сегень.

— Прочитали рукопись? — спросил Леонов у него.

— Прочитал, — односложно ответил Сегень.

— Что скажете? — пришлось спросить Леонову.

— Ничего так, — ответил Сегень. — Слог нормальный.

Леонов просто ахнул; и не без некоторого восхищения часто потом пересказывал эту историю знакомым:

— «Слог нормальный!», а? Мне девяносто пять лет, меня можно людям показывать за сорок копеек! Я написал десять томов прозы! А он — «слог нормальный»!

Полных девяносто пяти ему, впрочем, ещё не было — в те дни как раз приближался юбилей Леонова — возраст, до которого ни один из русских классиков не дожил.

И здесь Леонова свалила новая страшная болезнь: ему поставили диагноз «рак горла».

* * *

В конце апреля Леонова положили в Онкологический институт имени Герцена.

Леонов свой диагноз знал и отнёсся к нему спокойно.

Другой вопрос, что ему, измождённому старику, было очень и очень больно физически. Нестерпимо!

Однажды он сказал пришедшему к нему Геннадию Гусеву:

— Помогите мне умереть. Нету сил больше. Помогите! Найдите какой-нибудь яд, таблетки — что угодно, лишь бы не эти муки...

Леонов, вспоминает Гусев, «...бессильно откинулся на спинку стула. Прямо перед ним мерцал монитор, на цветном экране которого скоро появятся зловещие "черепашки" — раковые наросты на тканях гортани... Помолчав минуту-другую, прохрипел: "Знаю, знаю, вы никогда на это не пойдёте: грех великий! Простите меня, Бога ради".

Потом, когда его уводили в палату, остановился, взглядом подозвал меня к себе и опять шёпотом напомнил: "А всё-таки... Генмихалыч, может, найдёте что-нибудь... спасите..." У меня до острой боли сжалось сердце».

Про условия лечения в Онкологическом институте придётся сказать отдельно.

Посещавшие великого и старейшего русского писателя в больнице приходили в ужас: сырое, грязное, сирое помещение, вода из крана каплет, тараканы ползают, мухи летают буйными стаями. Простыни в разводах и крови больных, лежавших тут раньше. И — решётки на окнах.

— Как в психбольницу упрятали, — хрипел Леонов.

Другое дело, что близкие Леонова иной больницы и найти не могли: остальные тогда были ещё ужаснее!

К тому ж хотя бы наличие отдельной палаты — и то было большим достижением.

Как-то в Онкологический институт позвонили из Кремля, сообщили Леонову, что его хочет навестить Борис Ельцин: как, мол, вы на это смотрите, Леонид Максимович?

Он обещал подумать, не торопился с ответом.

Никакой Ельцин, конечно, не приехал.

Леонову становилось всё хуже.

Близкие были уверены, что Леонов до выхода книг недотянет, но он... умудрился выбраться, выползти — на нечеловеческих каких-то запасах прочности.

Ему нужно было подержать в руках труд доброй половины его жизни — «Пирамиду».

Мало того, он даже продолжил её править — хотя правки эти в издание уже не вошли.

Ольга Овчаренко вспоминает, как однажды приходит она в больницу, а там сидит член редколлегии «Нашего современника» медик Лев Лукич Хунданов, и Леонов диктует ему один из вариантов «ересей Матвея» — размышление о том, зачем Богу понадобились люди.

Какая завидная, Боже мой, воля!

* * *

Вскоре старик приехал домой.

К нему даже голос вернулся: твёрдый и чёткий.

В последние майские дни ему принесли сигнальные экземпляры романа «Пирамида», и он поглаживал книги рукой, умиротворённый, спокойный, казавшийся почти уже бессмертным.

Но что ему было делать ещё на земле?

Незадолго перед смертью он сказал:

— О жизни мне известно всё. Смерть — вот кульминация человеческого познания. Осталось самое последнее и самое таинственное...

Глава тринадцатая
«ПИРАМИДА»

Пришедшие вослед

С последней книгой Леонова связан один парадокс: о ней достаточно много писали специалисты, статьи и научные работы, посвящённые «Пирамиде», могут составить уже серьёзный многотомник... и в то же время, по большому счёту, книгу эту можно назвать малоизвестной, прошедшей мимо великого количества людей, которые ознакомиться с ней были просто обязаны — и не ознакомились. Скажем, подавляющее большинство литераторов и критиков нового поколения.

Но не все, к счастью.

Влияние последней книги Леонова несомненно сказывается на сочинениях Алексея Варламова и Дмитрия Быкова.

Оба — авторы любопытных эссе о Леонове, оба почитают его за одного из крупнейших писателей ушедшего века.

Уважение к Леонову в обоих случаях представляется нам достойным некоторого удивления в силу того, что творчество его порой вступает в серьёзные противоречия с убеждениями и Быкова, и Варламова.

Последний является писателем православным, уверенным в том, что «...русская литература всегда была по натуре христианкой»: в то время как до «Русского леса» Леонов был писателем как минимум антиклерикальным, а «Пирамида» — так это просто рассадник ересей, в том числе и антихристианских, о чём Варламов отлично осведомлён.

Что до Быкова, то он автор известной теории о варягах и хазарах, поочерёдно угнетающих коренное население России: в этой градации, памятуя о тех признаках, которыми Дмитрий Львович наделяет «угнетателей», Леонов является безусловным варягом (надо пояснить, что ни варяги, ни хазары Быкову не милы). Внечеловечность Леонова, и мрачность его, и ледяные космические сквозняки, пронизывающие его мировоззрение, — тому порукой... Не говоря о достаточно серьёзном (и тоже варяжском) отношении Леонова к Сталину, в которое, впрочем, Быков, если верить его эссе о Леонове, последовательно не желает верить.

В любом случае, очевидно, что Варламова и Быкова можно отнести к ключевым фигурам современной литературы, и в этом смысле интерес их к Леонову знаменателен.

И Варламова, и Быкова так или иначе волнует тема конца времён, истончения всех истин, взаимоотношений человека и Бога (смотрите, к примеру, романы «11 сентября» Варламова и «Списанные» Быкова).

Леонов схожим образом (но раньше) сформулировал идею цикличности русской истории, к которой Быков неустанно возвращается и в своей прозе, и в стихах, и в публицистике.

В «Пирамиде», прочитанной и не раз перечитанной Быковым самым внимательным образом, есть такой фрагмент, касающийся одного из героев — Вадима Лоскутова:

«Тут Вадим выдал на-гора достойную поповского отпрыска самодельную теорийку о вращательном, при ленивой внешности, состоянии русского мужика на железной оси его исторической судьбы. Оное состоянье диктуется якобы географическим местонахождением России, тангенциально закручиваемой с обеих сторон евразийскими сквозняками, так что получается волчок чередующихся, всякий раз с еретическим перехватом, супротивных крайностей — от староверского затворничества и сектантского богоискательства с ножовым, по живому мясу, отсечением плотских радостей до маньякальной решимости вывести род людской напролом, сквозь любую пылающую неизбежность, из ямы социальных грехов и грязи в лоно вечного благоденствия, причем спин коловращения может достигнуть критической частоты, достаточной вымахнуть её из гнезда и полмира разнести в клочья. <...>

...Географическая громадность продиктовала и незамысловатый, ко всякой случайности приспособленный житейский обиход применительно к утруднённой русской действительности с вечной нехваткой чего-нибудь в силу физической невозможности ни поспеть всюду при наших баснословных расстояниях, ни докричаться до царя земного, как и небесного, сквозь такие даль и высоту. С их головокружительных вершин, потребных для обозрения подвластного хозяйства, дни благоденствия и печали распознаются разве только по отсутствию или наличию дымов, застилающих горизонт, людишки же внизу как бы подразумеваются. Отсюда недоделка всего нашего обихода: сразу в красный угол из-под топора. Отсюда каждые два века роковой прыжок через очередной исторический ров и полвека лёжки потом с поломатою ногой».

Всякий, кто с творчеством Быкова знаком, определённое созвучие с его поздними рассуждениями здесь несомненно услышит.

Хотя, признаем, в деталях у Быкова сама идея круговорота истории (или даже отсутствия оной) осмыслена шире и расписана куда более подробно.

В качестве непроверенного предположения о взаимоотношениях Леонова и Быкова сделаем ещё одну замету.

Есть в «Пирамиде» потрясающая сцена возвращения в отчий дом из сталинских лагерей упомянутого выше героя Вадима Лоскутова. Близкие Вадима видят, что с ним что-то не так, но в чём именно дело, понять не могут.

Вадим спит на чердаке, и родитель его — о. Матвей ночью решается с улицы посмотреть на сына. Цепляясь за доску карниза, он подбирается к слуховому окошку.

Приникнув к квадратному отверстию, о. Матвей неожиданно вплотную видит лицо сына.

«Исключительная сила впечатления, — пишет Леонов в романе, — в том и заключалась, что до подобного маневра изнутри последнему (то есть Вадиму. — *З. П.*) потребовалась бы минимум пара, друг на дружке, ящиков фруктово-тарного типа, коим на пустом чердаке взяться было неоткуда. В таком положении батюшке выгоднее показалось для здоровья сделать вид, будто ничего особенного не приметил. Всё же по миновании некоторого, буквально нос к носу оцепенения длительностью чуть ли не полвека, лишь тогда опомнившийся Матвей довольно резво, с элементами акробатики, спустился наземь, чтобы тем же кружным путём воротиться восвояси».

Пересказывая наутро этот страшный ночной эпизод своей супруге, о. Матвей делает несколько неожиданный вывод из произошедшего: «Ропщем на усатого-то... <...> а разве подобную вещь выдержать без закалки?»

То есть он предполагает, что в сталинских лагерях из людей обычных делают сверхлюдей: в том и есть смысл тюремного заключения.

Тут мы должны вспомнить первый (и, пожалуй, лучший) роман Дмитрия Быкова «Оправдание», 2001 года, на схожем предположении и построенный: что часть арестованных в годы репрессий не были убиты, но, напротив, после спецподготовки их использовали при проведении тех или иных военных операций. (В романе Быкова, уже после войны в гости к Эренбургу приходит живой и невредимый спецназовец Бабель.)

К финалу быковского романа становится ясным, что всё это авторские предположения, так называемые реконструкции... и Бабель (в числе иных репрессированных) на самом деле мёртв.

Как, впрочем, и Вадим Лоскутов — он тоже был уже неживой и приходил в семью свою, по определению Леонова, «шестимесячным мертвецом».

Так одна фраза о. Матвея в «Пирамиде» могла послужить импульсом к написанию Дмитрием Быковым романа (точнее, одной из его сюжетных линий).

* * *

Прямое отношение к Леонову, а именно, к двум его сочинениям — «Унтиловску» и «Пирамиде» — имеет роман Алексея Варламова «Купол».

В самом названии варламовского романа слышится антитеза «Пирамиде». Варламов берётся описать не гигантское надгробие человечеству (пирамиду), а возможность хоть какой-то защиты если не всего человечества, то хотя бы его части (купол).

Оба сочинения можно назвать романами-наваждениями (как известно, именно такой подзаголовок имеет «Пирамида»). Вослед за Леоновым Варламов использует приёмы смещения и размывания реальности, когда автор нарочно запутывает читателя, не давая осознать, описывает ли он событие, имевшее место в действительности, или некий сон, морок.

Недаром, как нам кажется, в «Куполе» символически упомянуты «клочья тумана» — это одна из важнейших метафор Леонова, называвшего своих героев «ожившими клочьями тумана».

В романе своём Варламов описывает очередную историю Унтиловска (он же Няндорск, он же Пораженск), но уже на исходе столетия: теперь эта чёрная дыра истории, всероссийская гибельная провинция называется Чагодай.

Вообще русская литература богата на описания подобных мест, огромные лужи на главной площади украшают малые городки ещё у Гоголя, ничего не изменялось и далее: хоть у Салтыкова-Щедрина, хоть у Горького в повести «Городок Окуров», хоть в «Уездном» Замятина.

Но нам очевидно и то, что именно у Леонова «унтиловщина» получила наполнение апокалиптическое, и то, что Варламов ориентировался в первую очередь на него.

Сходство содержится уже на уровне сюжета. Главный герой повести Леонова «Унтиловск» (и одноимённой пьесы) — ссыльный Буслов. Он, надо сказать, не единственный политический страдалец в своём провинциальном городке — в пьесе «Унтиловск» наличествует ещё и ссыльный Гуга; «жук, ублюдок жука» — именует его Леонов.

Варламовский Мясоедов тоже ссыльный, «диссида». Порой он в своих попытках преодолеть «унтиловщину» (она же — «чагодайщина») пытается подняться до бусловской страсти; но куда чаще это ничтожное человеческое отребье хочется назвать «ублюдком жука».

«Диссида» Мясоедов, как и «социалист» Буслов, общается с небольшим кругом знакомых. Как в «Унтиловске», в «Куполе» среди этих знакомых — местный батюшка.

Не только Леонов, но и Варламов, от которого подобных жестов ожидать было труднее, описывает служителя веры с откровенной иронией, если не сказать с сарказмом (отдельно стоит заметить банные сцены в леоновской повести и в варламовском романе, где главный герой и поп оказываются в одной парилке; другое совпадение — пристрастие героев к азартным играм, у Леонова это шашки, у Варламова — карты).

И в «Унтиловске», и в «Куполе» присутствует схожий конфликт: на смену монархии, сославшей Буслова, в первом сочинении, и на смену коммунизму, сославшему Мясоедова, во втором, приходят ещё более чудовищные и стыдные времена. Но «унтиловское» дно всерьёз не способны изменить никакие перемены... Кроме, разве что, Страшного суда, который мы вполне заслужили.

Чтобы снять любые сомнения в прямой апелляции к Леонову, Варламов несколько раз пишет о «порче людской породы», о прямых «претензиях к Творцу» главного героя, упоминает в своём романе наиважнейшие для Леонова символы, например Вавилонскую башню, и такие понятия, как «чудо» и «западня» (имеются в виду, естественно, чудо божественное, а западня — бесовская).

Наконец, Варламов использует излюбленный леоновский приём, когда помимо рассказчика в романе присутствует ещё некий герой-сочинитель, который одновременно с автором пишет параллельный, на ту же тему роман (помимо «Вора», у Леонова схожая конструкция наличествует и в «Дороге на Океан», и в «Русском лесе», и в «Пирамиде», где отдельные герои пытаются по-своему, минуя автора книги, реконструировать те или иные события).

Вместе с тем очевидно, что сам классический леоновский сюжет об «унтиловщине» Варламов преподносит совершенно по-новому.

Здесь стоит вспомнить, что в мае 1999 года, к столетию Леонова, Варламов опубликовал в «Литературной газете» статью о нём. Там писалось о завидном даре Леонова вычерпать самую сложную тему до дна. В частности, Леонов так глубоко и разносторонне подал в «Пирамиде» версии о конце времён, что, по мнению Варламова, не оставил другим писателям права на работу в этой тематике.

Комплимент продуманный, имеющий в случае Леонова основания быть озвученным; но вообще мы все знаем, что никакую тему закрыть окончательно нельзя никогда. Иначе сама

литература не появилась бы вовсе: в конце концов, главные темы были закрыты ещё в Новом Завете.

Вот и сам Варламов в романе «Купол» заново использует возможность осмыслить тему конца времён.

Разбор того, как он это делает, выходит за рамки нашего повествования, достаточно сказать, что Варламов пытается наделить само существование Унтиловска, вернее, Чагодая почти неуловимым смыслом, исключающим изначальную и непобедимую греховность этих чёрных дыр.

В финале «Купола» главный герой рассказывает о книге одного русского священника, которую ему прислали: «...В ней говорилось о том, что в конечном итоге мы потерпим поражение, но не надо бояться того, что мы отдадим нашу землю, потому что на этой земле мы всё равно странники. <...> Я знаю, что он прав, я верю, что так и будет, даже если этой новой родины не увижу, а провалюсь в ту пропасть, что разверзлась посреди Чагодая. Но иногда во мне что-то протестует против этих по-человечески холодных, бессердечных, хотя по-своему абсолютно верных рассуждений, и мне делается безумно жаль моей далёкой страны, её больших и малых городов, один из которых мне дороже всего...»

Нам кажется, что под упомянутой «книгой священника» Варламов не имеет в виду какую-то конкретную книгу, одну. Но в числе нескольких подобных книг, и, может быть, в первую очередь, имеется в виду жизнеописание священника о. Матвея — роман «Пирамида». С его в чём-то холодными, в чём-то бессердечными и такими верными выводами, о которых мы ещё поговорим ниже...

Леонов и Церковь

Размышляя о русской литературе, философ Василий Розанов с удивлением заметил, что Лермонтова, Гоголя, Достоевского и в чуть меньшей степени Толстого объединяет то, что они могли бы уйти в монахи. Это соответствует их духу и характеру.

Оглядываясь, понимаешь, что в прошлом веке к монашеству по каким-то внутренним характеристикам Леонов был ближе всех.

Не Булгаков же, верно? Не Набоков. Не Шолохов. Быть может, Платонов в последние годы жизни, но... не знаем.

В начале 1920-х годов Леонов не раз посещал Оптину пустынь. Настоятель словно что-то разгадал в нём сразу, стал уговаривать:

— Поживи здесь, оглядись... Понравится — пострижём!..

Не остался.

Но Амвросий Оптинский был один из самых почитаемых Леоновым старцев; в кабинете писателя всегда висел его портрет. Кстати, любопытное совпадение: Амвросий Оптинский занимался изданием «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника, на которого, в свою очередь, хотел походить один из главных леоновских прототипов — Глеб Протоклитов из «Дороги на Океан». Не случайны все эти связи.

Где бы ни жил Леонов, всегда в его комнате были иконы: мы это можем увидеть уже на том акварельном портрете писателя, что сделала Елена Качура-Фалилеева в 1923 году.

Во время работы над «Сотью» Леонов поселился в монашеской келье в Параклитовой пустыни, жил там. Его, человека чуравшегося больших и шумных обществ, всю жизнь размышлявшего о Боге и одновременно стремившегося заниматься трудом физическим, упорным, тяжёлым, — монахом представить несложно, повторим мы.

Затем Леонов посещал Черниговский скит близ Троице-Сергиевой лавры, где похоронены Константин Леонтьев и Василий Розанов.

Всю свою жизнь, в самые неблагополучные годы, он всегда стремился в церковь и, тайно и явно, исповедовался, отстаивал службы. Во всякое посещение церкви ставил свечи за упокой тех стариков, что так повлияли на него и которых помнил и любил всю жизнь: Остроухова, Самарина, Фалилеева — людей православных и глубоко веровавших...

С 1940 года, почти каждый октябрь, Леонов ездил в Троице-Сергиеву лавру в Сергиев день.

После войны, как мы помним, активно занимался спасением монастырей... Говорят, что он не случайно баллотировался по Загорскому избирательному округу — на территории округа располагалась Московская духовная академия. Руководители академии, естественно, не могли во всеуслышание объявить, как помогал им депутат Леонов, хотя ближний круг руководства был наслышан об этом.

Но здесь нам придётся озвучить очевидный парадокс: Леонов всю жизнь стремился к Церкви, одновременно и неустанно отторгая её.

Причём к пропагандируемому в Стране Советов атеизму это отторжение не имело никакого отношения (хотя могло так восприниматься иными читателями его книг).

Доказать леоновскую чуждость атеизму несложно: как и многие его герои, от Курилова до Грацианского, Леонов не отрицает существование Бога, но порой готов оспаривать ценность божественных деяний.

Началось это до того, как он официально стал «советским писателем»: стихи Леонова архангельского периода и ранняя его проза отражают болезненное смятение молодого человека, размышляющего о взаимоотношениях человека и Того, Кто над ним.

Соответственно, еретические размышления не завершились с кончиной советской власти, но лишь вышли на новый, куда более трагический и осмысленный уровень в финальном романе Леонова.

Самое простое объяснение — это сказать, что Леонову сам институт Церкви казался безусловно догматическим. К тому же он никак не мог найти в богословии ответы на вопросы, казавшиеся ему самыми важными (и к которым мы вернёмся ниже).

Это ведь Леонов сказал: «Как все религиозного типа сообщества, церковь ещё на пороге храма требует от верующего полного отказа от самостоятельного мышления».

А он отказываться не желал.

Не стоит к тому же забывать время, когда рос Леонов — еретический, богохульный Серебряный век. Серьёзная часть культурных элит задолго до большевистской революции демонстрировала своё скептическое отношение к Церкви.

Наконец, и «измельчание» народа Леонов напрямую связывал с ослаблением влияния Церкви и, более того, её внутренней слабостью.

Пятнадцатого мая 1988-го Александр Овчаренко записал за Леоновым: «Может быть, православие — единственный способ восстановления русского народа. Мы — большой народ, в какой-то мере раздробленный множеством других наций. Но тут важно ещё — куда ведёт церковь. Где Сергии Радонежские? Где настоящие проповедники и пастыри, заботящиеся о судьбе русского народа?..»

Леонов был уверен, что Церковь должна быть воинствующей — но этого не было! Даже когда Церкви, в последние годы жизни Леонова, дали большие возможности...

Все названные причины на разных этапах леоновской жизни имели серьёзное значение, мы в этом уверены.

Но главная причина очевидного и многолетнего леоновского разлада с Церковью всё-таки в другом.

Леонова всегда, с самой ранней юности, мучило мрачное, медленное чувство богооставленности.

И в этом смысле непреходящее леоновское раздражение на служителей Церкви — это всего лишь самая простая возможность заявить Создателю о своей обиде: Боже мой, зачем ты оставил меня?

Помните, как у Есенина: «Навсегда простёр глухие длани / Звёздный твой Пилат. / Или, Или, лама савахфани, / Отпусти в закат».

У Леонова почти о том же, схожая мелодия. Только если с поэзией Есенина случилось необъяснимое чудо, когда даже богооставленность его кажется тёплой, щемящей — у Леонова всё иначе. Его богооставленность — ледяная, жуткая.

Он страдал от этого. Но его дерзость с Тем, Кто свыше, и с теми, кто хранит Его дом здесь, — была не только пожизненной западнёй для Леонова, но и его забавой тоже.

Вспомним навскидку, как служители веры описаны в прозе Леонова.

Все примеры приводить не станем: их сотни. Но вскользь по главным сочинениям пройдёмся.

Читаем «Барсуки», первый роман. Умирает один из героев, Катушин; его отпевают: «На носу у чтеца сидели катушинские очки... Серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы».

Наконец отпели: «Кривошейий поп снимал ризу и обстоятельно расспрашивал чернобородого Галунова о катушинском конце. Свечи гасли, темнело».

Привезли покойника на кладбище: «Кладбищенский батюшка, олицетворение земного уныния, рассыпаясь на верхних нотках, изобразил надгробное рыдание и помахал потухшим кадилом».

О, как едко мстительное перо леоновское! «...разбитая таратайка... кривошеий поп... изобразил надгробное рыдание...»

Или вспомним, как старик Быхалов хотел перед смертью завещать одному монастырю 17 тысяч рублей.

В первом издании «Барсуков» история начинается так: «Стали к Быхалову монахи ходить, тонкие и толстые».

В последнем собрании сочинений, выходившем в 1981—1984 годах, фраза расширена: «Стали к Быхалову монахи ходить, тонкие и толстые, ангелы и хряки».

Мало, видите ли, Леонову, что они «тонкие и толстые»!

«...у всех равно были замедленные, осторожные движенья и вкрадчивая, журчащая речь, — продолжает Леонов. — Иные пахли ладаном, иные — мылом, иные — смесью меди и селёдки».

Это ж просто омерзение берёт, когда представляешь эту делегацию...

Посещения деда Быхалова монахами в «Барсуках» закончились так:

«Однажды, в конце октября, сам монастырский казначей пришёл, сопровождаемый двумя, меньшими. Был казначей

внушителен, как колокол, а шёлковая ряса сама собой пела об радостях горних миров, а руки были пухлы и мягки — гладить по душам пасомых. Весь тот день намеревался провести Зосим Васильич в тихих беседословиях о семнадцати заветных тысячах и о человеческой душе. Спрашивал казначей, обдумал ли Быхалов своё отреченье от тлена. Интересовался также — в бумагах ли у Быхалова все семнадцать или просто так, бумажками... Грозил погибелью низкий казначейский баритон, журчал описаньями покойного райского места.

Гладя себя по волосам, повествовал казначей не слышанное ни разу Быхаловым преданье о Вавиле. Жил Вавило и ел Вавилу блуд. Ушёл в обитель, но и туда вошли. Тогда в самом себе, молчащем, заперся Вавило и замкнулся засовом необычайного подвига. Но и туда просочились, и там обгладывали. И вот в одно утро бессонный и очумелый ринулся Вавило на беса и откусил ему хвост. А то не хвост был, а собственный уд...

...и распалилась Быхаловская душа. И уже примерял в воображеньи рясу на себя Зосим Васильич, и уже гулял в ней по монастырскому саду, где клубятся черемухи в девственное небо всеблагой монастырской весны. Там забыть о напрасной жизни, забыть о сыне, сгоревшем от буйственных помыслов, там утихомириться возрастающему бунту Быхаловского сердца.

Было даже удивительно, как неиссякаемо струится из казначея эта сладкая густая скорбь... Как вдруг икнул казначей. Зосим Васильич вздрогнул и украдкой огляделся. Один из меньших монашков зевал, а другой вяло почесывал у себя под ряской, уныло глядя в окно.

— Что... аль блошка завелась? — резко поворотился к нему Быхалов.

— Новичок ещё у нас... на послушаньи, — быстро сообразил казначей, строгим взглядом укоряя монашка, покрасневшего до корней волос. — Из таких вот и куём столпы веры!..

— Ну, брат, как тебя ни куй, все равно мощей не выйдет!»

В итоге Быхалов не дал денег монахам.

Характерно, что в первом издании «Барсуков» фрагмента про одного почёсывающегося монаха, а второго зевающего — тоже нету. Это Леонов потом уже приписал, когда советская антиклерикальная пропаганда почти сошла на нет и он мог вообще все подобные места вырезать нещадно. А он их, напротив, дополнял, дописывал!

Дочитывая «Барсуков», мы ещё встретим русских мужиков не на жизнь, а на смерть дерущихся иконами — и дьякон, не в силах сдержаться, дерётся вместе со всеми. Появится новый герой — священник из деревни Воры, которого в одной из сцен

Леонов опишет, например, так: «Воровской поп, Иван Магнитов, удирал на телеге, нагруженной доверху поповским скарбом и ребятьём. Сам он сидел на пузатом комоде и держал на коленях, в обнимку, самовар. После заворота дороги влево всё это стало еле приметно, и только в глянце самовара предательски торчал красный отсвет пожара».

Поп, заметим, вернётся в деревню за поросёнком — тут его и поймает злое мужичьё.

Не менее саркастичны описания монахов и священников в книгах «Соть» и «Дорога на Океан». В главах-ретроспекциях последнего романа Леонов неоднократно подчёркивает, что глобальные дореволюционные афёры и прочие беззакония на железной дороге проходили с ведома и при прямой поддержке Церкви.

«Скрипучий бас велиароподобного Иова подал сигнал к движению бумаг, людей, капиталов, рабочих тачек» — такие высказывания позволяет себе Леонов, прямым текстом говоря о схожести попа с бесом Велиаром (как тут не вспомнить хлёсткую фразу из рассказа «Деяния Азлазивона»: «Мирской поп — адов поводырь»).

Но главный и постоянный приём, используемый Леоновым при описании служителей церкви, — ирония.

Оцените, например, такой фрагмент в «Дороге на Океан»: «Первым пустили поезд с солдатами, которые пели приличные случаю песни; с той же целью однажды Ной выпускал пробного голубя из своего ковчега. Потом, при стечении народа, на грузовую платформу поставили скамейки, устланные коврами, и впрягли двухосную, со здоровенной трубой, машину, которая дымила, как чёрт. Здесь уселись директора, инженеры, важнейшие из пайщиков со своими семьями, инспектора наблюдения и другие губернского масштаба деятели, приглашённые на домашнее торжество. <...> Преосвященный согласился прокатиться при условии, что паровоз не будет свистеть в пути. Впрочем, он долго не решался влезать на платформу: “Как всё это грустно!” — молвил он».

Или, вспомним, как одна из героинь «Дороги...» по имени Лиза рассказывала о своей жизни в Пороженске: «Купец, что торговал басоном в галантерейном ряду (“Знаете, пружины, волос, диванная трава!”), сошёлся с молоденькой монашкой, бросив семью. (“А у него восемь сыновей, и все мальчики!”) <...> Соборного протоиерея, пьяного, в полном облачении, застали в алтаре с извещением о закрытии собора. (“А вокруг всё клочки от Евангелия валялись...”)».

Если присмотреться, в своих сочинениях Леонов создаёт целую галерею русских попов, один неприятнее другого.

Начнёт с попа Игната в «Деяниях Азлазивона», который просит «Пода-ай, Осподи, отцу Кондрату сломление ноги...», и о. Ионы в «Унтиловске», говорящего своей дочери: «Матушка-то говорит, как венчаться будешь, не забыть церкву-то красными флагами убрать. А то, не ровён час, со службы сгонят. Доказывай потом, что в бога не веруешь».

В «Русском лесе» на смену предыдущим отцам приходит новый батюшка — о. Тринитатов. Его Леонов характеризует как «лошадника, эсера и подписчика столичных изданий с картинками», больного хроническим воспалением седалищного нерва; в одно из первых своих появлений о. Тринитатов «долго и сокрушённо» качает головой «на столь привлекательную супругу столичного деятеля, со рвением скоблившую заслеженные полы в сенцах...».

Завершает сей скорбный ряд о. Матвей, герой «Пирамиды», кажется, вовсе лишённый ощущения небесной благодати...

«От церкви земле тяжело!» — написал Леонов ещё в «Петушихинском проломе».

Как такое могло случиться? Как истово, искренне верующий человек мог столь жёстко говорить о Церкви — доме Бога на земле?!

Финальное разъяснение мы выберем самое простое, ибо, как точно заметил сам Леонов: «В отличие от лжи правда любит рядиться в безвкусные лоскутья банальности».

Осознав никчёмность человеческой породы, более того — уверив себя в этом, Леонов не сумел объяснить себе, зачем Бог создал людей такими. Зачем так унизил их? Зачем, столь слабых и столь вздорных, оставил их жить на белом свете?

И оттого, что Церковь дом Бога на земле, — всю жизнь свою Леонов, не в силах себя остановить, занимался изгнанием Бога из дома.

Ибо если Ты не сделал нас достойными Тебя — что делаешь Ты среди нас?

Сталин: последние долги

Опубликованную 23 января 1946 года в газете «Правда» статью Леонова «Слово о первом депутате» вспоминают часто. Панегирик Сталину, написанный в пору первых выборов Леонова в Верховный Совет, порой трактуют как проявление чуть ли не слабости писателя.

Сам Леонов уже в «новые времена» немного поработал на эту версию, написав в газету «Завтра» письмо о том, что на него надавил крупный партийный работник Дмитрий Поликар-

пов, в то время ответственный секретарь правления Союза писателей СССР (позже — член ЦК КПСС).

Разговор продолжался два часа! «Вы обязаны это сделать!» — повышал голос Поликарпов.

Ну, конечно: такой чести удостоили — выдвинули в депутаты: жалко, что ли, одну статью написать.

Внук Леонова Николай Макаров утверждает: обо всём, что сопровождало написание статьи, Леонид Максимович «вспоминал с ненавистью».

Одновременно вышеупомянутый литератор Дмитрий Быков находит, что «Слово о первом депутате» — текст осмысленно пародийный, издевательский.

Леонов действительно, как мы уже заметили, много, по самой тонкой грани проходя, забавлялся со своим жутким временем: подобных забав в те годы не позволял себе, пожалуй, никто.

Однако в данном случае мы рискнём не согласиться ни с близкими писателя, ни с Дмитрием Быковым.

Ничего пародийного в этой статье нет.

Писал он её наверняка не с самым лёгким сердцем: но Леонов вообще ничего по заказу делать никогда не желал. Однако выводить из нежелания писать статью о Сталине ненависть и презрение к Сталину — путь слишком простой.

Там, да, есть неудачные фрагменты, самый тон её сплошь и рядом выхолощенный, но есть и вдохновенные места; и нужно либо не понимать Леонова, либо истово желать видеть его не тем, каким он был на самом деле, чтобы отрицать это.

И ещё есть в этом тексте знаковые, такие уже привычные для нас, каверзы.

Леонов пишет:

«...Останови своих коней, возница! Хотим сойти и постоять в молчании минутку на самом важном перегоне нашей жизни! Хотим оглянуться на дорогу, которую на чортовых скоростях мы проскакали в четверть века».

Леонид Максимович, надо сказать, в 1946 году возобновил активную работу над первой редакцией «Пирамиды» — там как раз самый главный «чорт», тогда ещё носивший фамилию Сатанинский, живёт в Москве в ранге большого советского начальника.

Далее следует не очень, признаем, удачный зачин главной темы:

«...Народ мой и совесть велят мне сказать слово о товарище Сталине, первом депутате нашей земли.

Не море я, даже не ласковое солнышко, чтоб отразить хоть в малой доле величие светила, видимого ныне со всех краёв вселенной».

Но нам всё-таки стоит обратить внимание на очевидное созвучие этих слов с другим, чуть более поздним упоминанием Сталина у Леонова.

В 1952 году он напишет либретто оперы «Нашествие», где главный герой, Фёдор Таланов, поднимается в лучах солнца, символизирующего Сталина, и говорит: «Приветствую тебя, большое солнце, / Великий друг друзей и враг врагов...»

Генеалогию Сталина Леонов возводит в своей статье к Петру Первому:

«Не вчера мой народ поселился на своей великой равнине. Мы обращаем взор назад, в первозданную Петровскую метель».

Леонов пишет про «свирепое пламя этого чернорабочего царя, на целый век разодравшее» темноту над Россией.

Петровский свирепый жар, как мы видим, напрямую ассоциирован с тем огненным светом, которым современный вождь с не меньшей свирепостью «раздирал» новую тьму над родиной.

И чем дальше пишется статья, тем серьёзней и уверенней становится леоновский тон, и вот уже, думается нам, голос его правдив предельно:

«Когда на Нюрнбергском процессе переводчик шептал мне в микрофон о подробностях зверского фашистского изуверства, казалось мне — это совесть шепчет мне в ухо:

— Что, понял теперь, миленький, почему уголь, нефть и сталь полтора десятка лет не сходили с наших газетных столбцов? Потому что из этих первородных грубых стихий, с прибавкой человеческого творчества, создаётся таинственный сплав свободы и счастья. Ими заряжаются пушки, они текут в крови державы... Теперь полностью дошло до твоего сердца вещее капитанское слово, сказанное в начале нашего похода к праведной земле: «либо мы сделаем это, либо нас сомнут»? <...> И если завтра снова повелит капитан удвоить засыпку хлеба в пазуху государства, утроить скорость станков, учетверить приплод твоих домен и мартенов — станешь ли ты теперь желать времени на перекурку да пряничка к светлому дню? Гляди внимательней на этих призраков фашистской ночи, пока не развеял их в прах приговор Трибунала. Тебя даже не засекли бы, из тебя выцедили бы твою жизнь как из тюбика, по мере надобности для германского хозяйства...»

«...Не станем перечислять всех этапов этого беспримерного поединка со смертью, — продолжает Леонов, вспоминая недавнюю войну. — Были горестные дни вначале; помнится, чёрный иней свисал с деревьев в эту самую пору, и хлебушко был черствей камня, и самая водка отзывала пригарью. Не меньше, чем добытую радость, береги эту светлую скорбь по родимой земле, попираемой ногами завоевателя!.. Со сжатыми

зубами дралась родина и всё дралось в ней — воины и старухи, даже пылающие леса, даже самый воздух, раскалённый русским морозом досиня... <...> Вспомни, как качался маятник победы меж двух враждебных лагерей, и тогда стало необходимо в каждого вложить частицу капитанской воли, чтоб укрепить решимость к преодолению гибели: так от щепотки благородного вольфрама крепчает и становится несокрушимой сталь. И вот он роздал нам себя... Так сколько же нужно было иметь внутри, чтоб не иссякнуть, чтоб хватило на всех».

«...история планеты выглядела бы весьма иначе, если бы Сталин не возглавил величавого освободительного порыва народов России: нам было бы любопытно понаблюдать смелые цирковые кульбиты и флик-фляки инакомыслящих мудрецов в их попытках хотя бы частично доказать обратное. Перед человечеством стоял мрак небытия, чернее копотного зева бельзенского крематория, который в своё время превратил бы оных мудрецов (если только сами они не фашисты!) в легковесный аспириноподобный порошок для удобрения немецкой капусты. Этою простейшею из аксиом мог бы овладеть при усилии даже не очень дряхлый колхозный конь...»

«Он научил нас не щадить мелкого для достижения большого и таким путем узнали мы нечто дороже жизни.

Мы честно прожили эти годы творчества и борьбы, в которые тащили лемеха новой цивилизации по застарелой целине. Мы впрягли в тот плуг всё, что имели — свою раскованную силу и природные дарования, и этот Человек шёл первым, шёл там, где не виднелось ни следа, ни борозды. <...> И опять глядим мы в его лицо, — не коснулись ли тяжёлые заботы его душевной молодости. И хотя мы помним, когда прочертилась там каждая морщинка и при каких условиях побелела каждая прядь его волос, мы спокойны за будущее своей страны...»

И что бы Леонов ни говорил о самом факте создания именно этой статьи, многие её постулаты напрямую связаны с тем, что писал он о Сталине впоследствии.

Вот таким дан Сталин в романе «Русский лес»: «Он легко поднимался по внутренней лестнице мавзолея, чуть впереди своих соратников, из которых каждого Поля узнавала по мелькнувшему сквозь снег силуэту с расстояния. На нём была солдатская шинель без петлиц и отличий, фуражка с общеармейской звездой... <...> Поля услышала голос, ложившийся в душу с естественностью зерна в распахнутую почву... <...> Радиоэхо ярусами и вперекличку разносило эти слова по затихшему городу; казалось, старый камень площади повторяет их строка за строкой, впитывая на века...»

Много ли тут интонационных различий со статьёю?

После смерти Сталина упоминания его в художественных текстах стали убирать (по прямым, кстати, рекомендациям, идущим теперь уже от настырных хрущёвских соколов). В новом варианте «Русского леса» сказано лишь о «всех тех, кто нёс тогда бремя ответственности за страну и возглавленные ею идеи», само имя Сталина отсутствует.

Но заметьте, насколько созвучно описание Сталина в «Пирамиде» с описанием в «Русском лесе», и даже со «Словом о первом депутате»: «В отмену легендарных описаний был он вполне обыкновенной внешности, в полувоенном кителе и чуть постарше себя на портретах, но, значит, благодаря жуткой славе ночной была в самой его заурядности какая-то пристальная значительность, подавляющая воображение. <...> Каждая мысль, выраженная этим негромким и чуть глуховатым голосом, с заметным кавказским акцентом и несвойственным русской речи кучным произнесением слов, немедленно подчиняла себе самое рассеянное внимание и приобретала всемирное эхо».

Вид Сталина, как мы видим, приобретает в «Пирамиде» почти инфернальные приметы — но ощущение немыслимого масштаба этой фигуры остаётся всё равно.

* * *

«Пирамида» начиналась с двух тем, остро обозначившихся в мировосприятии Леонова сразу после войны: Бог, Его присутствие в мире и Россия в пору великого социального эксперимента: как почти идеальное пространство, позволяющее разобраться во взаимоотношениях человека и Того, Кто выше его.

Позже, в 1970-е, Леонов признался одному из собеседников, что изначально в «Пирамиде» хотел «махнуть по атеистам» — это первая тема; и объяснить 1937 год («...иначе нам его не простят», — пояснил Леонов) — это тема вторая.

Но вместо атеистов Леонов, по его же словам, «махнул по Богу», да так, как того не случалось даже в предыдущих романах, — об этом мы ещё поговорим ниже.

Что до 1937 года, то объяснить и насколько возможно оправдать его ещё может историк, добровольно поместивший себя вне категорий добра и зла, а вот истинному русскому писателю это едва ли под силу.

О тюрьмах и лагерях в достаточно серьёзной и ощутимой полноте Леонов узнал, естественно, не только из книг Солженицына, но задолго до их прочтения, сразу после смерти Сталина. Тут не только пресловутый хрущёвский доклад сыграл своё дело или встреча с Фадеевым в больнице, но и общение с многими леоновскими знакомыми, вернувшимися из лагерей.

Среди них был близкий, ещё по архангельской истории, товарищ Леонова — Зуев, Александр Никанорович, которого забрали в 1938-м. Они встретились в 1954-м, много разговаривали, часто встречались...

И год от года желание разобраться с этим временем не ослабевало, но лишь усиливалось.

Навскидку несколько мемуарных фрагментов, записанных, заметим, людьми самых разных взглядов.

В 1966 году Леонов говорит заведующему сектором художественной литературы Отдела культуры ЦК КПСС Альберту Беляеву: «Меня, к примеру, волнуют две проблемы: культ Сталина и его время. Сталин был великая личность шекспировского плана. Писать об этом времени и об этой личности нам не дают. А надо. А выступи я с трибуны об этом — мне же и по шее дадут».

В 1969 году литературовед Александр Овчаренко записывает за Леоновым: «Сталин — часть нашей трудной, тяжкой, но исторически обусловленной судьбы. И писать о ней надо так, чтобы никому не дать повода ни для злорадства, ни для хихиканья, ни для плевков в нашу священную кровь. При всех наших ошибках, драмах, мы накопили такие психологические богатства, какими не располагает ни один народ в мире. Они, эти богатства, дают нам право на благодарное уважение человечества. И о наших трагедиях писать надо так, чтобы они вызывали благоговейный трепет, чтоб пред ними человечество снимало шляпу, памятуя, что это наша кровь, наши слёзы, наши горести, наша вера; наше уважение к ним должно быть тем сильнее, что, проходя через них, мы принесли победу миру всё-таки».

В дневнике за 1970 год литературоведа Натальи Грозновой есть ещё один пересказ слов Леонова: «Сейчас плевки и оплеухи в адрес Сталина. Это чушь. <...> Мы ещё не изучили и не поняли, на каких координатах прошло это очень серьёзное явление».

Она же записывает в мае 1971-го: «Сталин понимал, что “Братьев Карамазовых” нельзя печатать: в “Великом инквизиторе” — секрет того, как пользоваться, как управлять человечеством. Сталин — единственный, кто заслуживает большой литературы».

И, согласно Грозновой, в мае 1980-го Леонов вновь говорит: «Сталин не зря заказывал литературе параллели с Иваном IV и Петром I. Сталин понимал, что он чужой человек, сидит в Кремле... Но он не страдал от этого, а стремился преодолеть. Это единственная по-настоящему шекспировская фигура в нашей революции».

Разброс и лет, и усложнение характеристик говорят, что тема эта мучила его неотступно.

Леонов не хотел упрощения, презирал огульное издевательство над теми временами, но с каждым годом всё твёрже понимал, что никакого оправдания тоже не получится: отсюда озвученные Леоновым ещё в начале 1970-х ассоциации способов правления Сталиным с заветами Великого инквизитора.

В 1988 году Леонов скажет о Сталине: «Все эти слова "страшный", "жестокий" и т. п. по отношению к таким людям неприменимы. Шекспировские характеры не определяют отдельной доминантой. В древние времена изобретались более точные определения вроде — "бич божий"».

Подобным образом, вне человеческих понятий, пытается осмыслить Сталина Леонов и в «Пирамиде».

И уже не важно, насколько образ реального Сталина соответствовал образу романному (а он, естественно, мало соответствовал). Леонову было нужно вычислить эту фигуру на координатах большого бытия — настолько большого, что оно перехлёстывает через собственно человеческую историю.

* * *

Сцена беседы главного героя «Пирамиды» ангела Дымкова со Сталиным — одна из самых последних в книге, и такое её расположение многозначно.

Разговор со Сталиным будто венчает всё случившееся в романе — все те поиски и метания, что характеризуют всякого героя книги.

Кажется, что ощущение опустошённости и ужаса, бессмысленности человеческих попыток разгадать смыслы своего бытия должно как-то, как угодно разрешиться в той сцене, где разговаривают посланник неба и тиран (впрочем, Леонов именует Сталина Хозяином, с прописной буквы).

Сталин говорит Дымкову, что главной темой их разговора станет «древняя боль земная», которую необходимо преодолеть. Но если христианство обещает окончательное преодоление этой боли за порогом жизни, то Сталин ставит пред собой задачу прижизненного освобождения от неё.

«Я обрёк себя на труд и проклятье ближайшего поколения», — понимает Сталин.

Размышляя о смысле Революции, Сталин приходит к выводу, что материальное равенство не способно принести человечеству удовлетворения.

Но что тогда?

«...Глядя сверху, — уверен леоновский Сталин, — человек гадок для самого себя как самоцель, а хорош как инструмент для некоего великого задания, для выполнения которого дана

была ему жизнь, и нечего щадить глину, не оправдавшую своего главного предназначения...»

«Штурм больших твердынь, — продолжает он, — удаётся лишь в случае, когда подвиг становится для участников единственным шансом возвращенья к жизни. Смерть не освобождает нас от исторической ответственности за выход из строя, разве только от трибунала. Рабочие сутки в двадцать четыре часа расценивать как злостный саботаж и дезертирство».

Согласно Сталину — человеку, достигшему небывалого могущества и возведшего империю, которая встала, как сказано в «Пирамиде», «превыше хребтов Гималайских», — последней твердыней, которую придётся штурмовать, является человеческий разум.

Именно разум не даёт достичь не только материального равенства, но равенства тотального, абсолютного, необходимого человечеству, дабы не взорваться по причине раздирающих его противоречий.

Здесь Сталин решает призвать на помощь ангела Дымкова.

Фактически, Сталин пытается соблазнить ангела на ещё один бунт против Бога.

Первый бунт, по версии Леонова (ориентирующегося на Книгу Еноха и, в данном случае, Коран), случился тогда, когда Бог создал людей и подчинил им ангелов. «Как мог Ты созданных из огня подчинить созданиям из глины?» — воскликнул тогда предводитель ангелов.

И если ангел Дымков, ведомый рукой Сталина, лишит людей разума — а в конечном итоге того божественного духа, что был в них вдохнут, — то человечество вновь превратится в ничтожество. Из одухотворённой глины оно станет просто глиной!

Так Бог поймёт, что его вера в человека и любовь к человеку были напрасны, ненужны.

По сути, леоновская интерпретация сталинского замысла является метафорой не только социалистического эксперимента, а вообще любой масштабной всечеловеческой афёры, когда люди пытаются изменить не только мир вокруг себя, но и презреть собственное своё человеческое естество, в коем вера в божественную правоту является сутью и крепью.

По Леонову, Сталин становится строителем очередной Башни Калафата, о которой герой нашей книги написал ещё в юношеском стихотворении 1916 года. Человек не вправе стать больше, чем он есть — вот в чём смысл леоновской притчи о Калафате. И чем выше пытается возвести человек свою Башню, тем страшней будет его ужас при виде тщетности приложенных усилий!

Сталин в «Пирамиде» не подвластен тёмным силам напрямую, но при всём наглядном величии его фигуры он невольно участвует в противостоянии Света и Тьмы на стороне Тьмы.

Леонов, впрочем, ещё раз оговаривается, что Сталин в «Пирамиде» и Сталин в реальности — не идентичны. «Но современники, — поясняет Леонов, — имеют священное право на собственное суждение о личности вождя, который столько безумных дней и ночей беспощадно распоряжался судьбой, жизнью, достоянием их отчизны, чтобы завести её в цейтнот истории».

И далее, завершая тему, Леонов пишет, что если провести «судебно-патологический» анализ деятельности Сталина, «...ещё значительнее оказался бы мистический аспект этой незаурядной личности, как она представится однажды прозревшему современнику».

То есть самому Леонову — это он был последним реальным современником Сталина, смотревшим глаза в глаза вождю и тирану.

Двойники

В «Пирамиде», по нашим подсчётам, всего чуть более восьмидесяти героев, но главных персонажей — немного.

Во-первых, рассказчик, и зовут его Леонид Максимович. Священник о. Матвей Лоскутов и его семья: жена Прасковья Андреевна, сыновья Егор и Вадим, дочь Дуня, к которой приходит, вызванный её видениями, ангел Дымков.

Шатаницкий — дьявол и корифей всех наук в Стране Советов. Никанор Шамин, студент Шатаницкого, будущий муж Дуни.

Дюрсо — цирковой деятель, соблазнивший Дымкова стать цирковым артистом. Юлия Бамбаласки — дочь Дюрсо, возжелавшая родить от ангела Дымкова ребёнка-исполина. Валентин Сорокин — любовник Юлии, успешный советский режиссёр. Вышеупомянутый Сталин. Он действует всего в двух главах, да и само имя его упоминается в романе дважды, но так или иначе Сталин присутствует во всём повествовании.

То есть всего 13 центральных героев.

Действие происходит в 1940 году, начинается осенью: после неприятностей, случившихся с рассказчиком, суливших ему гибель (в реальности, напомним, тому соответствовал запрет «клеветнической» пьесы «Метель»).

Сюжет романа строится, по сути, на одной коллизии: Шатаницкий пытается так или иначе поставить ангела Дымкова

на земле в такие условия, чтобы тот здесь проштрафился и стал «невозвращенцем».

Тем самым Шатаницкий наконец докажет Богу мерзость человеческой породы, сгубившей не только самоё себя, но и Его посланника.

После этого Бог должен понять, что Он понапрасну отдал когда-то созданных из огня в подчинение созданиям из глины, откажется от человека и вновь приблизит к Себе и простит когда-то взбунтовавшихся ангелов.

Всё это происходит на мрачном фоне постреволюционной, сталинской России.

Носителем в первую очередь религиозных воззрений (и сомнений!) самого Леонова является, как мы уже знаем, о. Матвей.

Но не менее интересны ещё два героя, которые так или иначе отражают жизненные перипетии и взгляды Леонова на разных этапах его судьбы: в первую очередь в те самые, сталинские годы.

Эти два человека на какое-то время вписались в социальные структуры сталинской эпохи: маститый кинорежиссёр Валентин Сорокин и один из сыновей о. Матвея — Вадим Лоскутов.

Сорокин — это наглядный образ Леонова «успешного», Леонова «советского», Леонова «ангажированного» — внутренне при этом не очень искреннего. Многие склонны верить именно в подобный леоновский образ, и не будем утверждать, что эта вера безосновательна. Однако убеждённость, что Леонов был таким и только таким, как, надеемся, уже поняли читатели этой книги, — нелепа, глупа.

Согласно роману, Сорокин — человек, во-первых, очень умный, обладающий «несоветским», куда более широким интеллектом. Например, именно он подробно объясняет Юлии Бамбаласки, что такое Книга Еноха.

Сорокин — безусловный циник, причём порой даже несколько очаровательный в своём цинизме.

Впрочем, циничен он и в своём насквозь ангажированном творчестве — что самому Сорокину радости уже не приносит.

Оцените, к примеру, такой пассаж о Сорокине в «Пирамиде»: «Дерзость публичного суждения, насторожившего приятелей и дежурных стукачей, выдавала меру сорокинской тоски об упущенных возможностях, от века вознаграждаемых по высшей прометейской ставке — чахоткой, нищетой, безумием, больничной койкой, магаданской каторгой. Он потому и не носил своих медалей за усердие, что самому напоминали о пропащих годах его шумного и многосерийного бесплодия...»

Леонов, надо сказать, сам медалей своих не надевал никогда, и едва ли не по той же самой причине, что и Сорокин. Как мы уже знаем, основное количество написанных Леоновым текстов создано им в первые без малого полтора десятилетия литературной работы – с 1922 по 1935 год. В последующие 60 (!) лет написано в разы меньше! Если к последнему советскому десятитомному собранию сочинений Леонова приплюсовать ещё двухтомное издание «Пирамиды», то получается, что на первые годы работы приходится почти девять томов написанного, а на последующие 60 лет — три, ну, три с половиной тома.

Помните, как Леонов объяснял Чуковскому, зачем он занимается своей оранжереей — затем, что писать не может так, как ему хочется!

Притом что с какого-то времени ордена Леонову стали вручать непрестанно, по поводу и без повода: одних орденов Ленина было шесть, ещё два — Октябрьской Революции и целые россыпи иных.

Единственно что, Сорокин переживает свой фавор до войны, а Леонов вошёл в масть после, да и само слово «бесплодие» к писателю малоприменимо — но ощущения автора в определённую пору его жизни и героя всё-таки созвучны, схожи.

Схоже с леоновским и насмешливое, порой дерзкое отношение Сорокина к жизни, к действительности во всех её проявлениях. Сорокин, как и Леонов, смотрит на очень многое с глубинной иронией, а то и с сарказмом... И насквозь советские кинокартины свои он делает с ясным осознанием того, что это всё фальшь, подделка.

Но вот парадокс не только леоновской натуры, но, пожалуй, многих иных людей, мыслящих, сомневающихся: вполне органичное сочетание казалось бы противоположных сущностей. Потому что и Вадим Лоскутов, сын о. Матвея, так или иначе высказывает убеждения Леонова и середины 1930-х годов — времени наибольшей веры писателя в советский проект, и более поздние, 1960-х, 1970-х годов, его взгляды: когда, после всех передряг и мук, Леонов спокойно смог обдумать произошедший в стране гигантский социальный эксперимент.

В мрачном мире романа-наваждения «Пирамида» Вадим пытается выступать адвокатом русского извода социализма — при всех жутких издержках реализации утопии. И тут уже никакой иронии места нет.

Чьи, как не леоновские речи произносит Вадим в одной из ключевых романных сцен — в беседе с родителями накануне ареста. Он говорит:

«Происходящий в таком объёме процесс переплава требует

собственных температур, порою немыслимых для обыкновенного человеческого вещества. Немудрено, что так часто погорают и самые кочегары! Но печку надо хорошо разогреть, прежде чем сунуть туда всю планету. Никого не убеждаю ликовать по поводу причиняемой боли, зато не отрекаюсь я и от предназначенной лично мне...»

И терзания Вадима о том, что при всей его вере и страстности он «всё равно лишний в эпохе попутчик» — тоже созвучны тому, что испытывал Леонов, когда громили его «Скутаревского» и «Дорогу на Океан».

Важен сюжет, связанный с написанием Вадимом Лоскутовым романа о древнеегипетском фараоне — этой книгой он желал иносказательно предупредить вождя Страны Советов о неизбежном развенчании его культа. Сюжет этот также является созвучным тем зашифрованным диалогам со Сталиным, что вёл в «Дороге на Океан» сам Леонов.

Неслучайно знакомые Лоскутова в шутку называют его за подобные сочинения «расторопным самоубийцей» — то есть человеком, поднимающим такие темы, которые трогать бы не стоило, и зачем-то подающим знаки вождю, имеющему все основания адекватным образом оценить дерзость. Кажется, в иные дни, сочиняя не только «Дорогу на Океан», но и, скажем, «Метель», Леонов мог и сам с мрачным юморком так себя назвать: «расторопным самоубийцей».

«...По неписаным законам того времени Лоскутов Вадим вполне заслужил постигшие его беды, — пишет Леонов в «Пирамиде». — Да и его самого всё время работы над повестью не покидало гадкое чувство, словно бомбу носит в кармане, но хотя одно обнаружение её, даже без взрыва, разнесло бы в клочья весь его мирок, уже не мог освободиться от овладевшего им образа».

Это ж тоже автопортрет! Тем более если вспомнить, как в письмах Горькому Леонов говорил, как заболевает какой-то темой — и тема эта подчиняет себе всё его существо.

Лоскутов, добавим в завершение, по сюжету романа ушёл из дома, оставив своего отца — человека безусловно чуждого новому времени. И этот сюжет нам тоже хорошо знаком...

В итоге и лавирующий, играющий со временем в дурака Валентин Сорокин, и Вадим Лоскутов, пытавшийся жить по правилам своего времени, какими бы они ни были, — оба эти человека приходят к полному краху. Один осознаёт, что стал бессилен как художник, второй гибнет физически.

Но самое страшное, что эти две жизненные трагедии, иллюстрирующие душевные метания самого Леонова, происходят на фоне измельчания и отмирания человечества вообще.

Игра непосильная

Леонов рассказал однажды, что импульсом к написанию последнего варианта «Пирамиды» стал вопрос: «Может ли человек обвинять Бога?»

Пришлось на этот вопрос отвечать добрые полвека.

Признаем честно: с точки зрения Православной церкви, роман-наваждение «Пирамида» — карусель ересей. Ситуация усугубляется тем, что главный разносчик этих ересей — священник. Он в этом романе третье, после Лоскутова и Сорокина, зеркало Леонова — и самое главное.

Если Лоскутов и Сорокин ведут игру со своим временем, то о. Матвей затеял огромную игру с тем, с кем никому и тем более ему, священнику, играть не позволено.

В известном смысле, размышления и многие поступки о. Матвея — провокация пред очами Бога. И цель провокации одна — докричаться: дай знать о Себе! Объясни, зачем мы Тебе? Если Ты ещё есть. Если Ты ещё в силах.

Размышления о. Матвея, а на самом деле самого Леонова, начинались вот с чего: «На стыке фанатической веры и благочестивого вольномыслия насчёт кое-каких явных логических неувязок и вознамерился батюшка последовательно, догмат за догматом, разъяснить весь Филаретов катехизис на уровне, доступном даже для сельского населения. <...> После уймы бессонных ночей, которые провёл за сапожным верстаком, мысленно исследуя ускользающую от ума непреложную истину, наткнулся вдруг на каверзный и никем дотоле не поднимавшийся вопрос — а собственно зачем, в утоление какой печали Верховному Существу, не знающему наших забот, потребностей и вожделений, понадобились вдруг грешные, дерзкие, скорбные люди и почему никто пока не усомнился в туманном богословском постулате об изначальной любви к своим завтрашним творениям, ибо как можно заранее полюбить ещё не родившихся?»

Вопрос этот можно продолжить: мало того что Ты полюбил не родившихся, как можешь Ты любить родившихся вот такими — ничтожной человечиной!

Или уже не можешь?

Если брать всех предыдущих героев Леонова, так или иначе схожих с ним, от Глеба Протоклитова, Вихрова и отчасти Грацианского вплоть до Сорокина и Лоскутова — то их сомнения ещё было кому разрешить и заблуждения — опровергнуть. А вот сомнения и заблуждения о. Матвея разрешить и опровергнуть уже некому. Он обращается со своими ересями поверх человечества — сразу в небеса.

И те безмолвствуют.

Казалось бы, у ангела Дымкова могли бы возникнуть какие-то ответы на мучащие о. Матвея вопросы — но нет, в романе он говорит о чём угодно, рисует Никанору Шамину модель вселенной палкой на снегу... а вот о том, зачем Бог создал человека и как сумел полюбить ещё не родившихся, он не рассказывает ничего. Скорее всего, предположим мы, просто не знает: Дымков ведь всего лишь ангел.

Или отчего у ангела Дымкова никто не спросил: какой Он, Бог?

Пусть бы ангел рассказал людям земным!

Или Бога, в отличие от модели вселенной, палкой на снегу уже не нарисуешь?

...Но и об этом никто не спрашивает.

О. Матвей неустанно размышляет о Боге, но само присутствие Бога в «Пирамиде» не ощущается вовсе. Есть дьявол, есть заплутавший и запутавшийся ангел, есть люди, погрязшие в слабости и ничтожестве... И постоянное, тайное, непроговариваемое вслух чувство пустого неба над ними.

В этом контексте важна сама история, как о. Матвей решил стать священником — о чём он однажды рассказывает сыну Вадиму.

«То ли по болезненной затруднительности речи, то ли из опаски рассердить сына, — пишет Леонов, — только о. Матвей не сразу ответил, что ему была показана б е з д н а. Произнесённое слово подразумевало вечное, с мистическим оттенком, вертикальное падение... <...> На повторный вопрос: что за б е з д н а имеется в виду и что там прежде всего самое характерное бросилось в глаза отцу? — тот сказал, что ничего особого не бросилось, так как наблюдал её лишь снаружи и без следов какой-либо внешней необычности».

Бездна, по-видимому, является синонимом ада — и пусть его обычность никого не обманет: так же обычна была достоевская банька с пауками.

Выходит, что будущий священник решил прийти в Церковь не столько в уверенности о всеблагом и милостивом Господе, но, напротив: заглянув в ад, в обычную — и оттого ещё более страшную! — пустоту.

И засасывающая человечество пустота эта с каждой страницей «Пирамиды» становится всё более навязчивой, безысходной, всеобъемлющей.

О. Матвей ни разу не молится Ему. Кажется, он вообще забыл, что такое молитва, разуверился в её смысле. Он — священник, почти растративший веру, опустошённый не столько даже жизнью, сколько собственными навязчивыми сомнениями.

В силу этого дух его становится всё слабее и слабее, всё более о. Матвей подвержен искусу, всё чаще свершает вещи, никак не соотносимые с его саном.

Книга начинается с того, что о. Матвей «из малодушной боязни разгневать хозяйку» не оказал посильную помощь многодетному, потерявшему всякие средства к существованию дьякону Аблаеву, принявшему решение за скромную мзду и обещание хоть какой-то работы прилюдно, в советском Дворце культуры, отречься от веры.

Более того, за день до аблаевского отречения, общаясь с дьяконом, о́. Матвей в пустом храме открывает тому свою еретическую догадку о пришествии Христа. Согласно священнику, «оно действительно состоялось, сошествие с небес, во исполнение первородного греха... весь вопрос — чьего? Не потому ли, что вдоволь наглядевшись на горе людей, обусловленное их телесною природой, и порешился отец небесный предать палачам возлюбленного сына своего, чтобы испил чашу неведомого ему дотоле страдания нашего?».

Проще говоря, Христос не людские грехи искупал на распятии, но грех изначально виновного пред людьми Бога-Вседержителя!

Столь же еретично последнее напутствие о. Матвея дьякону о том, что «...сам Иисус будет стоять рядом с ним на помосте и совместно пригубит чашу горести его».

Разве ж устояло бы в мире христианство, если бы подобным образом рассуждали первохристиане, и вообще все те, что верили во Христа и под страхом смертной муки не отказались от Него?

Стоит вспомнить, как фактически изгнанный из собственного дома сыном Егором о. Матвей на прощание советует остающейся с детьми попадье: «За хозяйством само собой приглядывай да парнишку сразу-то в хомут не впрягай, надорвётся без одышки, ещё мальчик... <...> А пуще о Дунюшке разум кровью обливается: такая за нас с тобой сердечко своё в омут житейский кинет. Помнишь, как Сонечка у Достоевского, вместе читали, синим огоньком сгорала без единого попрёку! Телом своим прегради ей скользкую дорожку. <...> На худой конец сама умертвися, прикинься, будто угорела, деток от себя облегчи. А Бога не бойся, он свой, войдёт в твоё положение, простит».

То есть это священник предлагает собственной жене свершить чудовищный грех — наложить на себя руки.

Апофеоза Матвеевы метания достигают в дни его болезни. В горячке предстаёт ему гигантский исход народов, за которым наблюдает сошедший с фрески Христос.

И здесь, пишет Леонов, о. Матвей понимает, что в Христе не осталось ничего от пророка и сына Божьего, потому что он «вчистую роздал себя людям», «растворился в самой идее человеческой».

В видениях о. Матвея человечество уходит в неведомое, растворяется там, и Христос остаётся один...

* * *

Сомнения о. Матвея развивает упомянутый выше режиссёр Валентин Сорокин, который в беседе с Юлией Бамбаласки произносит спич о слабеющих богах.

«Привычные к бесплотной химии прообразов, — пересказывает автор слова Сорокина, — боги перестают предвидеть производные взбесившегося вещества, которое уже само начинает диктовать им идеи».

Надо сказать, что об отмирании богов Леонов устами своих персонажей заговорил далеко не впервые. Ещё в юношеской поэме «Земля» Леонов пишет об «изстаревшемся Боге». В «Дороге на Океан» встречается пассаж о том, как большевик Курилов нашёл книгу по истории религий и принялся читать её: «Это был наиболее полный каталог богов, с указанием родословной, возраста и даты гибели каждого. Выяснялось, что агонии их длились столетиями. Можно было проследить, как медленно спадала с человека первородная шерсть, как пытался он охватить природу своими неумелыми руками, как трудно поднимался с четверенек будущий хозяин земли. Всё это были автопортреты давно исчезнувших народов. Боги были сделаны из страха, ненависти, лести и отчаянья; материал определял лицо бога».

В «Русском лесе» сама Библия упомянута в контексте отмирания человеческой души: Вихров навещает своего учителя Тулякова и видит в его квартире, что «вместо сигарного ящика на громадном, с Дворцовую площадь, столе уже выстроилась для генерального наступления фаланга аптекарских пузырьков, а на ближнем краю, откуда раньше свисали яростно исчерканные рукописи, теперь, судя по корешкам, поселились те утешительные книги, что проникают в подобные квартиры с чёрного хода, незадолго до гробовщика, — библия, траволечебники и нечто шарлатанское о звёздах — с энциклопедией тибетских знахарей, Жуд Ши, во главе».

Точку в непрестанных, из книги в книги кочующих сомнениях ставит в «Пирамиде» Шатаницкий, заявляющий о. Матвею: «Извините, господа хорошие, уж некогда да и некого просить в небе о заступничестве, поелику Его и не было никогда на свете...»

А раз Бога нет, или он ослаб, изстарелся и сник — то и человечество ждёт гибель.

Одна из самых пронзительных сцен в романе — путешествие Дуни в будущее, где она видит ничтожных, немногим выше травы потомков людей, почти уже потерявших разум и живущих стадом.

На одном из вожаков этого двуногого стада заметна табличка, чудом сохранившаяся после всех катастроф, обрушившихся на землю. Табличка эта, видимо, почитается остатками человечества за некий магический символ, нерасшифрованный завет.

Надпись на ней гласит: «Не курить».

* * *

И здесь нам, наконец, стоит остановиться и посмотреть на всё несколько иначе.

«Пирамида» имеет подзаголовок «Роман-наваждение».

Леонов не случайно так обозначил жанр своего последнего и самого важного романа. Он писал его полвека, у него было время подумать.

Слово «навада», как мы знаем, было спрятано ещё в фамилии большевика Увадьева — главного героя романа «Соть». И уже там оно таило в себе изначальный свой, недобрый смысл.

Буквально «наваждение» — это видение, внушённое злой силой с целью соблазна.

Слова о смерти Бога в романе произносит дьявол-искуситель. Апокалипсические картины будущего видит больная душевной болезнью Дуня. И даже видения о слабости Христа приходят о. Матвею в горячечном бреду.

Ничего не остаётся, как внять простейшей разгадке всего происходящего в «Пирамиде»: не стоит верить её ересям, ибо это обманка, подлог, соблазн — сам Леонов нам об этом говорит сразу же.

Книга заканчивается описанием сноса Старо-Федосеевской обители, где и происходило основное действие.

Леонов пишет: «Столбы искр взвивались в отемневшее небо, когда подкидывали новую охапку древесного хлама на перемол огни. Они красиво реяли и гасли, опадая пеплом на истоптанный снег, на просторную окрестность по ту сторону поверженного наземь Старо-Федосеева, на мою подставленную ладонь погорельца».

Самоопределение «погорелец» может означать крушение веры Леонида Леонова: ангел, пришедший на землю сквозь дверь в Старо-Федосеевском храме, улетел в небо, сам храм

снесли с лица земли, и стоит земля пустая, и посередь земли человек на сквозняке, ненужный Богу.

Однако можно вложить в определение «погорелец» и несколько иное значение: сгорела не вера, а навада.

Наваждение, так долго мучившее человека, истаяло...

И, значит, есть Бог, и есть ещё человек, сберегаемый любовью, благодатью и верой.

И, быть может, у нас ещё есть малая надежда сберечь себя и свою землю.

За порогом

Леонов умер 8 августа 1994 года в своей квартире на Большой Никитской.

Смерть пришла к нему во сне, он ушёл спокойно, нестыдно, тихо. Такую смерть надо заслужить целой жизнью.

Его отпевали в храме Вознесения Господня у Никитских ворот — том самом, где, говорят, венчались Пушкин с Гончаровой.

Незадолго до ухода Леонов вновь вспоминал о своём памятном детском сне: где луг, и Бог, и его оборванное благословение.

Пройдя огромный путь длиной почти в столетие, отрок Леонид вновь вернулся в то же самое лето, которое на целую жизнь заронило в его душу печаль.

И, кажется, тот же самый луг по-прежнему полноцветно пылал. И, мнится, воздух был всё так же ароматен. И ветер был.

И вновь, как в детстве, потемнело небо, и показалось, что солнце больше не проглянет.

Но здесь три сложенных перста почти коснулись лба его — где так долго зрели сомнение и мука.

Затем — коснулись груди его, где так долго жила боль о земле и человеке на земле.

И правого плеча.

И левого плеча.

...Прощён и принят...

Не о себе болело его сердце.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. М. ЛЕОНОВА

1899, 19(31) мая — в Москве, в семье издателя и поэта Максима Леоновича Леонова и Марии Петровны Леоновой (урождённой Петровой) родился сын Леонид.

1908, январь — арест Максима Леоновича Леонова.

1913, 25, 26 сентября — первая публикация Леонида Леонова: в архангельской газете «Северное утро», издаваемой М. Л. Леоновым, появляются две краткие корреспонденции из Москвы (выдержки из писем Леонида к отцу).

1915, 4 июля — поэтический дебют Леонида Леонова: в газете «Северное утро» опубликовано стихотворение «Вечером».

1917, 17 октября — Леонид Леонов пишет первое прозаическое произведение — сказку «Царь и Афоня».

1918, февраль—март — Леонид Леонов оканчивает гимназию и уезжает из Москвы в Архангельск.

Конец апреля — знакомство с художником и писателем С. Г. Писаховым.

Конец июля — Леонид Леонов и Степан Писахов едут в Москву. В это время англо-франко-американские войска входят в Архангельск. Леонов и Писахов спешно возвращаются из Москвы в Архангельск.

1919, 5 февраля — Леонид Леонов призван в Артиллерийскую школу Северной области.

10 июня — по окончании школы зачислен в Интендантский отдел Северного фронта.

27 декабря — прапорщик Леонид Леонов переведён в 4-й Северный полк.

1920, 23 февраля — Максим Леонович Леонов арестован ВЧК.

1 апреля — Леонид Леонов принят на должность секретаря печатной стенной газеты архангельского отделения РОСТА «Красная весть».

Начало июня — вступает добровольцем в Красную армию.

5 октября — назначается редактором «Бюллетеня» политотдела 15-й Инзенской стрелковой дивизии.

1921, июнь — откомандирован в Москву.

30 июля — назначен техническим секретарём газеты «Красный воин».

1922, май — демобилизован из Красной армии.

1923, 25 июля — свадьба Леонова и Татьяны Михайловны Сабашниковой.

Осень — в издательстве Михаила и Сергея Сабашниковых выходят первые книги Леонова: «Петушихинский пролом» и сборник из трёх рассказов: «Деревянная королева», «Бубновый валет», «Валина кукла».

1924, январь — фининспектор Мосфинотдела описывает имущество супругов Леоновых.

Октябрь — окончание работы над романом «Барсуки».

1925, май—июнь — супруги Леоновы в гостях у поэта М. А. Волошина в Коктебеле.

29 декабря — Леонов и писатель В. Г. Лидин обращаются к Л. Д. Троцкому с просьбой выступить на похоронах Есенина.

1926, 18 октября — завершён роман «Вор» (первая редакция).

1927, июнь—июль — поездка в Германию, Австрию, Италию, Польшу. Трёхнедельное пребывание у А. М. Горького в Сорренто.
22 сентября — премьера спектакля «Барсуки» в Театре им. Вахтангова.
1928, 17 февраля — премьера спектакля «Унтиловск» во МХАТе.
15 июля — у Леонида и Татьяны Леоновых рождается дочь Елена.
Осень — поездки на Сясьстрой и на Балахнинский бумажный комбинат.
1929, 1 марта — в Архангельске умирает Максим Леонович Леонов, отец писателя.
28 октября — завершён роман «Соть».
30 декабря — Леонов избран председателем правления ВССП.
1930, 22 марта — выезжает в Туркменистан в составе бригады писателей.
8 июня — 7 июля — написана повесть «Саранча».
1931, апрель — навещает в Берлине художника В. Д. Фалилеева. Второй визит к Горькому в Сорренто.
1932, май — избирается членом президиума Оргкомитета Союза советских писателей.
Июль — завершён роман «Скутаревский».
26 октября — в составе группы писателей встречается с И. В. Сталиным на квартире у А. М. Горького.
17 ноября — «Литературная газета» публикует соболезнования нескольких писателей, в том числе и Леонова, в связи со смертью Н. С. Аллилуевой, жены И. В. Сталина.
1933, 11 марта — у Леоновых рождается дочь Наталия.
17 мая — Леонов встречает в Конотопе А. М. Горького, окончательно вернувшегося в СССР.
17 августа — поездка в составе писательской бригады на Беломорканал.
Осень — сбор материала для романа «Дорога на Океан». Поездки по Нижегородской ветке Казанской железной дороги.
1934, 11 мая — премьера пьесы «Скутаревский» в Малом театре.
21 августа — выступает на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.
1 сентября — избран членом правления Союза советских писателей СССР.
1935, 15 августа — завершён роман «Дорога на Океан».
1936, 21 августа — подпись Леонова среди 16 других писательских фамилий появляется под «расстрельным» письмом в газете «Правда».
Ноябрь — по поручению редактора «Известий» Н. И. Бухарина едет в Рязань.
1937, 25—29 декабря — поездка в Тбилиси.
1938, февраль—июнь — написана пьеса «Волк» («Бегство Сандукова»).
1939, 31 января — награждён орденом Трудового Красного Знамени.
1 апреля — в составе группы драматургов едет в Тулу на постановку пьесы «Волк».
6 мая — премьера пьесы «Половчанские сады» во МХАТе; премьера пьесы «Волк» в Малом театре.
15 мая — И. Э. Бабель даёт показания о существовании группы террористов-троцкистов, в которую помимо самого Бабеля якобы входят Леонов, Валентин Катаев, Всеволод Иванов, Юрий Олеша, Владимир Лидин.
18 мая — пытаясь найти защиту от травли критики, Леонов пишет письмо И. В. Сталину.

4 июля — «Известия» публикуют комплиментарную статью Марка Серебрянского «Леонид Леонов», что означает временное прекращение критических атак на писателя.
Июль—ноябрь — написана пьеса «Метель».
1940, 16 сентября — состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросам искусства с участием И. В. Сталина, А. А. Андреева, А. А. Жданова, Л. М. Кагановича, Г. М. Маленкова, Л. З. Мехлиса, А. С. Щербакова; одна из главных тем обсуждения — пьеса Леонова «Метель».
18 сентября — Политбюро ЦК ВКП(б) вынесло постановление: «Запретить к постановке в театрах пьесу Леонова “Метель” как идеологически враждебную, являющуюся злостной клеветой на советскую действительность».
Осень — возникает замысел романа «Пирамида».
Середина декабря — середина января (1941) — поездка в Среднюю Азию.
1941, июнь—август — Леонов пишет и публикует антифашистские статьи в центральной прессе.
1942, апрель — окончена пьеса «Нашествие».
7 ноября — премьера спектакля «Нашествие» в Чистополе.
Декабрь—февраль (1943) — Леонов на Брянском фронте.
1943, 12 февраля — умирает Михаил Васильевич Сабашников, тесть писателя.
19 марта — присуждение Леонову Сталинской премии за пьесу «Нашествие».
18 сентября — арест Сергея Михайловича Сабашникова, родного брата жены писателя.
1944, январь — Леонов находится в районе Ленинграда во время наступления Ленинградского и Волховского фронтов.
Июнь — закончена повесть «Взятие Великошумска».
16 июля — выступает в Большом театре на торжественном заседании, посвящённом 50-летию со дня смерти А. П. Чехова.
1945, 15 января — выступает в Большом театре на торжественном заседании, посвящённом 150-летию со дня рождения А. С. Грибоедова.
22 мая — премьера спектакля «Обыкновенный человек» в Московском театре драмы.
Сентябрь — поездка в Дрезден и Люксембург в качестве корреспондента «Правды».
23 сентября — награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
Ноябрь—декабрь — присутствует в качестве корреспондента «Правды» на процессе в Нюрнберге.
1946, 10 февраля — избран депутатом Верховного Совета СССР второго созыва.
18 февраля — награждён орденом Ленина.
1946—1947 — написан первый вариант «Пирамиды» — роман «Ангел».
1948, февраль — вошёл в состав постоянной комиссии ССП по делам бумажной промышленности.
1949, 31 мая — творческий вечер Леонова в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).
26 октября — Леонову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
1950, январь — начало работы над романом «Русский лес». Первые поездки по леспромхозам.
12 марта — избран депутатом Верховного Совета СССР.

1953, январь — завершён роман «Русский лес».

1954, 10, 14, 17 мая — дискуссии о романе «Русский лес» в ЦДЛ. Попытки разгрома романа.

1955, 1 декабря — премьера спектакля «Золотая карета» в Русском областном драматическом театре города Караганды.

1956, март — лечение в больнице 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР; врачебный диагноз: парез. Последние встречи с А. Фадеевым.

1957, 22 апреля — Леонову присуждена Ленинская премия за роман «Русский лес».

16 июня — премьера «Золотой кареты» в Театре им. Ленсовета (Ленинград).

2 ноября — премьера «Золотой кареты» во МХАТе.

1958, 14 февраля — отъезд в Индию в составе писательской делегации. Во время путешествия по Индии Леонов снимает документальный фильм.

16 марта — избрание депутатом Верховного Совета СССР.

1959, июль — завершена работа над второй редакцией романа «Вор».

1960, лето — написана киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли».

19 ноября — выступление в Большом театре на торжественном заседании, посвящённом 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого.

1961, 16 марта — премьера спектакля «Русский лес» в Театре им. Вахтангова.

1962, 7 января — Леонов выдвинут в состав Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР.

Март — избран депутатом Верховного Совета СССР.

30 июля — министр культуры Е. А. Фурцева подала в ЦК КПСС докладную записку с просьбой разрешить Московскому театру драмы и комедии поставить пьесу Леонова «Метель».

18 октября — Президиум ЦК КПСС принимает решение отменить постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 сентября 1940 года о запрещении пьесы «Метель» как необоснованное.

1963, декабрь — поездка в Японию с делегацией писателей.

1964, март — поездка в Венгрию на постановку пьесы «Метель».

Декабрь — поездка в Югославию на постановку пьесы «Метель».

1965, июль — поездка в Югославию. Выступление на конгрессе ПЕН-клуба.

1966, июнь — Леонов избран депутатом Верховного Совета СССР.

1967, февраль — присвоение Леонову звания Героя Социалистического Труда.

1968, 27, 28 марта — Леонов отказывается выступать в Кремлёвском дворце на торжественном заседании по случаю 100-летия со дня рождения А. М. Горького из-за внесённых в его доклад правок; цензоры снимают правки. Выступает с докладом о Горьком.

1970, июнь — в письме, направленном в ЦК КПСС, Леонов отказывается выдвигаться депутатом в Верховный Совет СССР.

30 октября — вылетает в Болгарию, где знакомится с Вангой.

1972, январь — избран иностранным членом Сербской Академии наук и искусств.

29 ноября — избран действительным членом Академии наук СССР по специальности «Литературоведение».

1973, май — награждён болгарским орденом Кирилла и Мефодия.

1974, май — в канун своего 75-летия Леонов награждён орденом Ленина.

26 сентября — пожар в квартире Леоновых.

1975, август — входит в состав юбилейного комитета по подготовке празднования 150-летия М. Е. Салтыкова-Щедрина.

1979, 30 мая — в канун 80-летия награждён орденом Ленина.

18 сентября — смерть жены Татьяны Михайловны Леоновой.

1980, 7 января — Леонов попадает в больницу с диагнозом «рак желудка»; операция проходит успешно.

7 сентября — присутствует на праздновании 600-летия победы на Куликовом поле.

1985, 20 декабря — Леонов, Распутин, Астафьев и другие писатели выступают в газете «Советская Россия» с открытым письмом против переброски северных рек.

1988, 28 марта — присутствует на торжественном вечере во МХАТе, посвящённом 120-летию со дня рождения А. М. Горького. Общается с М. С. Горбачёвым.

1989, 31 мая — М. С. Горбачёв навещает Леонова в его квартире в день рождения писателя; визит генерального секретаря широко освещается прессой.

1990, март — Леонов подписывает Письмо писателей России Верховному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР и ЦК КПСС. Письмо, озаглавленное «Травля, шельмование и преследование коренного народа», публикуется в большинстве изданий патриотической направленности.

1994, 24 марта — подписывает в печать роман «Пирамида».

Конец апреля — с диагнозом «рак горла» Леонова кладут в Онкологический институт им. Герцена.

28 мая — представлен к очередной государственной награде — ордену Дружбы народов.

31 мая — 95-летний юбилей классика. Леонов встречает прессу и гостей дома, на Большой Никитской, 37.

8 августа — Леонид Максимович Леонов умирает во сне.

После отпевания в храме Святого Вознесения у Никитских ворот погребён на Новодевичьем кладбище.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА

РОМАНЫ

«Барсуки» (1923—1924; эпилог к роману — 1993)
«Вор» (1925—1927; новая редакция — 1959; окончательная редакция — 1994)
«Соть» (1928—1929)
«Скутаревский» (1931—1932)
«Дорога на Океан» (1933—1935)
«Русский лес» (1950—1953)
«Пирамида» (1940—1994)

ПОВЕСТИ

«Петушихинский пролом» (1923; в последнем прижизненном собрании сочинений повесть помещена в раздел «Рассказы»)
«Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным» (1923)
«Конец мелкого человека» (1924; переработана в 1960-м; в последнем прижизненном собрании сочинений повесть помещена в раздел «Рассказы»)
«Унтиловск» (1925; впервые повесть опубликована в 1999 году в журнале «Москва»)
«Провинциальная история» (1927)
«Белая ночь» (1928)
«Саранча» (1930)
«Взятие Великошумска» (1944)
«Evgenia Ivanovna» (1938—1963)

РАССКАЗЫ

«Бурыга» (1920; утерян; восстановлен в 1922-м)
«Деяния Азлазивона» (1921; впервые опубликован в журнале «Наше наследие», 2001)
«Валина кукла» (1919; переработан в 1922-м)
«Бубновый валет» (1922)
«Гибель Егорушки» (1922; переработан в 1923-м)
«Туатамур» (1922)
«Халиль» (1922)
«Случай с Яковом Пигунком» (1922)
«Уход Хама» (1922)
«Деревянная королева» (1922)

«Необыкновенные рассказы о мужиках»
«Тёмная вода» (1927)
«Возвращение Копылёва» (1927)
«Приключение с Иваном» (1927)
«Бродяга» (1928)
«Месть» (1928)

ПЬЕСЫ

«Унтиловск» (1924—1925)
«Усмирение Бададошкина» (1928)
«Половчанские сады» (1936)
«Волк (Бегство Сандукова)» (1938)
«Метель» (1939)
«Обыкновенный человек» (1940—1941)
«Нашествие» (1942)
«Лёнушка» (1942—1943)
«Золотая карета» (1946; 2-я редакция — 1955; новая редакция — 1964)

БИБЛИОГРАФИЯ

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Леонов Л. М. Собрание сочинений: В 5 т. Харьков: Пролетарий; М.: ЗИФ, 1928—1930.

Леонов Л. М. Собрание сочинений в шести томах. М.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1953—1955.

Леонов Л. М. Собрание сочинений: В 9 т. М.: ГИХЛ, 1960—1962.

Леонов Л. М. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Художественная литература, 1969—1972.

Леонов Л. М. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Художественная литература, 1981—1984.

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ

Леонов Л. М. Петушихинский пролом. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1923.

Леонов Л. М. Деревянная королева. Бубновый валет. Валина кукла. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1923.

Леонов Л. М. Туатамур. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1924.

Леонов Л. М. Конец мелкого человека. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1924.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ

Леонов Л. М. Барсуки. Роман. Л.: Госиздат, 1925[1].

Леонов Л. М. Рассказы. М.; Л.: Круг, 1925.

Леонов Л. М. Рассказы. М.; Л.: Госиздат, 1926.

Леонов Л. М. Рассказы. М.: Никитинские субботники, 1927; 2-е изд. 1929.

Леонов Л. М. Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным. Повесть. Л.: Госиздат, 1927.

Леонов Л. М. Вор. Роман. М.; Л.: Госиздат, 1928[2].

Леонов Л. М. Саранчуки. Повесть. М.: ГИХЛ, 1931.

Леонов Л. М. Соть. Роман. М.: ГИХЛ, 1931[3].

---

[1] Роман «Барсуки» входил во все собрания сочинений Л. М. Леонова. Кроме того, переиздавался при жизни писателя отдельными изданиями более 20 раз, в том числе в 1926, 1927 (два издания), 1930, 1932, 1933, 1935, 1937, 1947, 1950, 1952 (переработанное издание), 1954, 1957, 1958, 1964, 1969, 1973, 1982 (в сборнике из двух романов: «Соть», «Барсуки»), 1987, 1988, 1990 (репринтное издание) годах.

[2] Роман «Вор» входил в первое, третье, четвёртое и пятое собрания сочинений, переиздавался при жизни писателя в 1932, 1934, 1936, 1959 (новая редакция), 1962, 1965, 1966, 1967, 1979, 1985, 1991, 1994 (переработанное издание) годах.

[3] Роман «Соть» входил во все собрания сочинений, в большинство сборников избранных произведений. Кроме того, около 20 раз переиздавался при жизни писателя: после первого отдельного издания роман «Соть» дважды выходил в 1931-м, дважды в 1932-м, далее в 1934, 1935, 1965, 1968,

Леонов Л. М. Белая ночь. Повесть. М.: Журнально-газетное объединение, 1932.
Леонов Л. М. Скутаревский. Роман. М.: Федерация, 1932[4].
Леонов Л. М. Избранные произведения: Туатамур. Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным. Белая ночь. Провинциальная история и др. М.: ГИХЛ, 1932.
Леонов Л. М. Пьесы: Унтиловск. Усмирение Бададошкина. Старухи. Скутаревский. М.: ГИХЛ, 1935.
Леонов Л. М. Дорога на Океан. Роман. М.: Гослитиздат, 1936[5].
Леонов Л. М. Метель. Пьеса. М.: Отдел распространения Всесоюзного управления по охране авторских прав (стеклограф. изд.), 1940.
Леонов Л. М. Твой брат Володя Куриленко. Очерк. М.: Молодая гвардия, 1942.
Леонов Л. М. Нашествие. Пьеса в 4-х действиях. М.; Л.: Искусство, 1942.
Леонов Л. М. Лёнушка. Народная трагедия в 4-х действиях. М.; Л.: Искусство, 1943.
Леонов Л. М. Взятие Великошумска. Повесть. М.: ГИХЛ, 1944.
Леонов Л. М. Пьесы: Обыкновенный человек. Половчанские сады. Нашествие. Лёнушка. М.: Советский писатель, 1945.
Леонов Л. М. Избранное: Саранча. Взятие Великошумска. Соть. Нашествие. Лёнушка. Публицистика. М.: ГИХЛ, 1945.
Леонов Л. М. Статьи военных лет. М.: Правда, 1946.
Леонов Л. М. Золотая карета. Пьеса. М.: Отдел распространения Всесоюзного управления по охране авторских прав (стеклограф. изд.), 1946.
Леонов Л. М. В наши годы. Публицистика 1941—1948. М.: Советский писатель, 1949.
Леонов Л. М. Избранное: Половчанские сады. Нашествие. Дорога на Океан. Публицистика. М.: ГИХЛ, 1949.
Леонов Л. М. Пьесы: Половчанские сады. Волк. Обыкновенный человек. Нашествие. Лёнушка. М.: Советский писатель, 1953.
Леонов Л. М. Русский лес. Роман. М.: Молодая гвардия, 1954[6].
Леонов Л. М. Театр. Драматические произведения: Половчанские сады. Волк. Обыкновенный человек. Лёнушка. Золотая карета (вторая редакция). Русский лес (автоинсценировка совместно с Ф. Бондаренко). Нашествие (либретто совместно с О. Литовским) и др. Статьи. В 2 т. М.: Искусство, 1960.
Леонов Л. М. Бегство мистера Мак-Кинли. Киноповесть. М.: Правда, 1961.

1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 (дважды; второй раз в сборнике из двух романов: «Соть», «Барсуки»), 1983, 1984, 1985 годах.

[4] Роман «Скутаревский» входил во второе, третье, четвёртое и пятое собрания сочинений писателя; отдельные издания: в 1933 (дважды), 1934, 1935, 1967, 1975, 1978 годах.

[5] Роман «Дорога на Океан» входил во второе, третье, четвёртое и пятое собрания сочинений, в сборник «Избранное» 1949 года; после первого выпуска дважды переиздавался в 1936-м, затем выходил в 1950, 1954, 1958, 1961, 1966, 1971, 1977, 1980, 1986, 1987 (в сборнике: «Дорога на Океан», «Саранча») годах.

[6] Роман «Русский лес» входил во второе (дополнительным томом), третье, четвёртое и пятое собрания сочинений. Отдельным изданием при жизни писателя выходил в 1955, 1956, 1957 (два издания), 1958, 1961, 1965 (в двух книгах), 1966, 1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1983, 1986, 1988 (два издания) годах.

Леонов Л. М. Evgenia Ivanovna. Повесть. М.: Советская Россия, 1964.
Леонов Л. М. Литература и время. Избранная публицистика. М.: Молодая гвардия, 1964.
Леонов Л. М. Литературные выступления. М.: Советская Россия, 1966.
Леонов Л. М. В годы войны и после. М.: Воениздат, 1968.
Леонов Л. М. Проза: Туатамур. Белая ночь. Взятие Великошумска. Evgenia Ivanovna. Пьесы: Нашествие. Золотая карета. Статьи. Речи. М.: Московский рабочий, 1971.
Леонов Л. М. Пьесы: Унтиловск. Усмирение Бададошкина. Половчанские сады. Волк (Бегство Сандукова). Метель. Обыкновенный человек. Нашествие. Лёнушка. Золотая карета. М.: Советский писатель, 1973.
Леонов Л. М. О природе начистоту. Публицистика. М.: Советская Россия, 1974.
Леонов Л. М. Слово к молодым. Публицистика. М.: Молодая гвардия, 1975.
Леонов Л. М. Пьесы: Унтиловск. Усмирение Бададошкина. Половчанские сады. Волк (Бегство Сандукова). Метель. Обыкновенный человек. Нашествие. Лёнушка. Золотая карета. М.: Искусство, 1976.
Леонов Л. М. Публицистика. М.: Московский рабочий, 1976.
Леонов Л. М. Повести и рассказы: Туатамур. Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным. Белая ночь. Взятие Великошумска и др. Публицистика. Тула: Приокское книжное издательство, 1982.
Леонов Л. М. Ранняя проза: Повести и рассказы. М.: Современник, 1986.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

Леонов Л. М. Вор. Роман. М.: Профиздат, 1991.
Леонов Л. М. Пирамида. Роман-наваждение в трёх частях. М.: Специальный выпуск журнала «Наш современник», 1994.
Леонов Л. М. Пирамида. Роман-наваждение в трёх частях. В 2 т. М.: Голос, 1994.
Леонов Л. М. Вор. Роман. М.: Голос, 1994.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Леонов Л. М. Барсуки. Рассказы. М.: Современный писатель, 1995.
Леонов Л. М. Избранное: Петушихинский пролом. Конец мелкого человека. Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулёве Андреем Петровичем Ковякиным. Evgenia Ivanovna. Барсуки. Русский лес (фрагменты). Пирамида (фрагменты) и др. Публицистика. М.: Информпечать, 1999.
Леонов Л. М. Русский лес. М.: Изд-во Государственного университета леса, 2000.
Леонов Л. М. Бурыга. М.: Издательство ИТРК, 2003.
Леонов Л. М. Сочинения: В 3 т.: Т. 1: Русский лес. Гл. 1—8; Т. 2: Русский лес. Гл. 9—17; Т. 3: Повести. Рассказы. М.: Издательский дом «Синергия», 2008.
Леонов Л. М. Ранние рассказы. М.: ОГИ, 2009.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЛЕОНИДУ ЛЕОНОВУ

Прижизненные издания

Леонид Леонов. М.: Никитинские субботники, 1926.

Шкловский В. Б. Пять человек знакомых: Андрей Белый. Евг. Замятин. Бор. Пильняк. Конст. Федин. Леонид Леонов. Тифлис: Заккнига, 1927.

Кирпотин В. Романы Леонида Леонова. М.; Л., 1932.

Нусинов И. М. Леонид Леонов. М.: Художественная литература, 1935.

Ковалёв В. А. Романы Леонида Леонова. М.: Издательство Академии наук СССР, 1954.

Лобанов М. П. Роман Л. Леонова «Русский лес». М.: Советский писатель, 1958.

Богуславская З. Б. Леонид Леонов. М.: Советский писатель, 1960.

Финк Л. А. Драматургия Леонида Леонова. М.: Советский писатель, 1962.

Старикова Е. В. «Русский лес» Леонида Леонова. Вихров и Грацианский. М.: Художественная литература, 1963.

Власов Ф. Х. Эпос мужества. М.: Московский рабочий, 1965.

Творчество Леонида Леонова. Исследования и сообщения. Встречи с Леоновым. Библиография. Л.: Наука, 1969.

Старикова Е. В. Леонид Леонов. Очерки творчества. М.: Художественная литература, 1972.

Большой мир: Статьи о творчестве Леонида Леонова. М.: Московский рабочий, 1972.

Финк Л. А. Уроки Леонида Леонова. Творческая эволюция. М.: Советский писатель, 1973.

Уроки Леонова. Сборник. М.: Современник, 1973.

Ковалёв В. А. Этюды о Леониде Леонове. М.: Современник, 1974.

О Леонове. М.: Современник, 1979.

Мировое значение творчества Леонида Леонова. Сборник статей. М.: Современник, 1981.

Ковалёв В. А. Леонид Леонов: Семинарий. М.: Просвещение, 1982.

Грознова Н. А. Творчество Леонида Леонова и традиции русской классической литературы. Очерки. Л., 1982.

Щеглова Г. Н. Жанро-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова. М.: Советский писатель, 1984.

Вахитова Т. М. Леонид Леонов: Жизнь и творчество. М.: Просвещение, 1984.

Крылов В. П. Леонид Леонов – художник. Петрозаводск: Карелия, 1984.

Проблемы изучения творчества Леонида Леонова в вузе. Л.: ЛГПИ, 1986.

Михайлов О. Н. Леонид Леонов. М.: Советская Россия, 1986.

Михайлов О. Н. Мироздание по Леониду Леонову. Личность и творчество. М.: Советский писатель, 1987.

Леонид Леонов. Творческая индивидуальность и литературный процесс. Сборник статей. Л.: Наука, 1987.

Ковалёв В. А. В ответе за будущее. Леонид Леонов. Исследования и материалы. М.: Современник, 1989.

Химич В. В. Поэтика романов Л. Леонова. Свердловск: Уральский университет, 1989.

Хрулёв В. И. Мысль и слово Леонида Леонова. Саратов, 1989.

Петишев А. Человек и современный мир в романном искусстве Леонида Леонова. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1989.

Новые издания

Из творческого наследия русских писателей XX века. М. Шолохов, А. Платонов, Л. Леонов. СПб.: Наука, 1995.

Леонид Леонов. Грани творчества. Бирск: Бирский педагогический институт, 1995.

Леонид Леонов в воспоминаниях, дневниках, интервью. М.: Голос, 1999.

Леонид Леонов и русская литература XX века. Материалы юбилейной научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения Л. М. Леонова. СПб.: Наука, 2000.

Век Леонида Леонова. Проблемы творчества. Воспоминания. М.: ИМЛИ РАН, 2001.

Овчаренко А. И. В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968—1988 годов. М.: Московский интеллектуально-деловой клуб, 2002.

Поэтика Леонида Леонова и художественная картина мира в XX веке. СПб.: Наука, 2003.

Якимова Л. П. Мотивная структура романа Леонида Леонова «Пирамида». Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2003.

Роман Л. Леонова «Пирамида». Проблема мирооправдания. СПб.: Наука, 2004.

Стеценко В. П. Пиры кочевников у подножия разграбленных пирамид. М.: Глобус, 2006.

Якимова Л. П. Повести Леонида Леонова 20-х годов о революции и гражданской войне как жанрово-тематический и семантико-поэтический цикл. Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2007.

Вахитова Т. М. Художественная картина мира в прозе Леонида Леонова. СПб.: Наука, 2007.

СОДЕРЖАНИЕ

Прилепин З.

П 76 Леонид Леонов: «Игра его была огромна» / Захар Прилепин. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 569[7] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1227).

ISBN 978-5-235-03318-4

Захар Прилепин, один из наиболее известных молодых писателей, предлагает свою версию биографии последнего русского классика Леонида Леонова (1899—1994), прожившего жизнь огромную, полную трагических коллизий, не исследованных ещё в полной мере, а также оригинальные трактовки его классических произведений: романов «Барсуки», «Вор», «Дорога на Океан», «Русский лес», «Пирамида». Отдельные главы посвящены сложным взаимоотношениям Леонова с Есениным, Булгаковым, Горьким. Новый взгляд на время так называемых «сталинских репрессий» позволяет автору утверждать, что Леонов в своих произведениях вёл трудную, долгую и опасную «игру» с вождём, являющую собой один из самых любопытных, почти детективных сюжетов литературы XX века. Не миновал автор и такой сложной, неоднозначной темы, как Леонов и Церковь. Книга, как и жизнь её героя, охватывает огромную эпоху: от Первой мировой и Гражданской войн до распада СССР и расстрела парламента.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Леонов

Прилепин Захар
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ: «ИГРА ЕГО БЫЛА ОГРОМНА»

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Л. М. Марченко, Г. В. Платова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 25.09.2009. Подписано в печать 28.12.2009. Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 30,24+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 93232

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущёвская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущёвская ул., 21

ISBN 978-5-235-03318-4

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Г. Аксенов
«ВЕРНАДСКИЙ»

А. Кузичева
«ЧЕХОВ»

А. Воронцов-Дашков
«ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА»

М. Беленький
«МЕНДЕЛЕЕВ»

Н. Никитина
«СОФЬЯ ТОЛСТАЯ»

А. Кудря
«ВЕРЕЩАГИН»

А. Булыгин
«КАРУЗО»

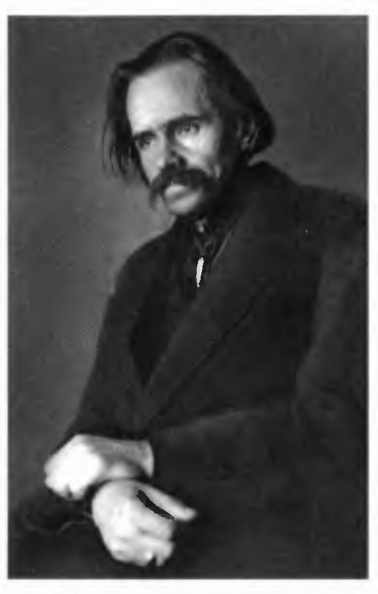
М. Чертанов
«ГЕРБЕРТ УЭЛЛС»

Г. Горелик
«АНДРЕЙ САХАРОВ»











Мария Ивановна Петрова, бабушка писателя по матери.
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Максим Леонович Леонов, отец писателя.
1920-е гг.
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Лёня Леонов на руках у тётушки Аксиньи.
1900 г.
Фото из архива Н. Л. Леоновой



Мария Петровна Леонова, мать писателя, с детьми: Борис, Леонид (стоит), Леночка (сидит), Коля (на руках), Владимир.
Фото из архива Н. Л. Леоновой



Максим Леонович и Мария Петровна Леоновы с сыновьями Борисом и Леонидом. *Москва. 1914 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой*

Купеческое Зарядье на рубеже XX века. *Москва*







Спиридон Дрожжин,
поэт-суриковец

Филипп Шкулёв,
пролетарский
поэт-самоучка,
друг и соратник
отца писателя



Во дворе дома
в Зарядье,
где находилась
бакалейная лавка
деда писателя.
Москва.
Начало 1900-х гг.
Фото из архива
Н. Л. Леоновой



Архангельск в период интервенции. Вход иностранных войск в город. *1918 г.*

Приказ по Управлению архангельского уездного коменданта о зачислении юнкера Леонида Леонова на английский паёк до отбытия на фронт. *1919 г. Фото из архива автора*

ПРИКАЗЪ

По Управленію Архангельскаго Уѣзднаго Коменданта

№ 160

9 го ІЮНЯ 1919 года

Города Архангельска

§ 1

Завтра смѣна дежурства въ 12 часовъ дня

На 10 е Іюня назначаются:

Дежурный по Управленію писарь Даниловъ

" " посыльной Савинъ

" по Комендантской К-ды Рыткинъ

ПО СТРОЕВОЙ ЧАСТИ

§ 2

Явившагося по мобилизаціи гражд. Василія ПЕТРОВА, впредь до освидѣтельствованія его въ годности, зачислить на англійскій паекъ при Сборномъ пунктѣ съ сего числа.

§ 3

Юнкеровъ Артиллерійской Школы Сѣверной Области Бориса БЛАГОНАДЕЖДИНА, Дмитрія ВАСИЛЬЕВА и Леонида ЛЕОНОВА, впредь до отбытія на фронтъ, зачислить на англійскій паекъ при Сборномъ пунктѣ съ 6 го сего Іюня

СПРАВКА: Аттестатъ Школы за №№ 611, 618 и 636.

§ 4



Степан Писахов,
архангельский сказочник



Борис Шергин,
архангельский писатель

Могила отца писателя, Максима Леоновича Леонова (1872–1929).
Современный вид. Архангельск. Фото из архива автора





Леонид Леонов.
Портрет работы
М. В. Сабашниковой. 1923 г.
Фото из архива Н. Л. Леоновой



Татьяна Сабашникова,
невеста писателя.
Портрет работы
М. В. Сабашниковой. Весна 1923 г.
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Свадьба Леонида Леонова и Татьяны Сабашниковой.
После венчания в церкви села Абрамцева.
25 июля 1923 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой





Михаил Васильевич Сабашников,
известный книгоиздатель,
тесть писателя



Татьяна Михайловна,
жена писателя.
Фото Л. М. Леонова.
Середина 1920-х гг.
Из архива Н. Л. Леоновой

Максимилиан Волошин (в белом одеянии) с гостями у своего знаменитого «Дома поэта» в Коктебеле в 1913 году.
Спустя 12 лет поэта посетят молодожёны Леоновы





Сергей Есенин



Валерий Брюсов.
1923 г.

Леонид Леонов в деревне Ескино на Ярославщине, где жили его деды Петровы.
1926 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой





Лев Троцкий



Николай Бухарин

В кабинете Горького на его вилле в Сорренто:
генетик Николай Кольцов, Леонид Леонов, Алексей Максимович, Мария Будберг.
Италия. 1927 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой





Актёр Борис Бабочкин в роли Чапаева в одноимённом фильме.
1934 г.

Алексей Толстой и Максим Горький среди делегатов I Всесоюзного съезда советских писателей в Колонном зале Дома союзов. *1934 г.*





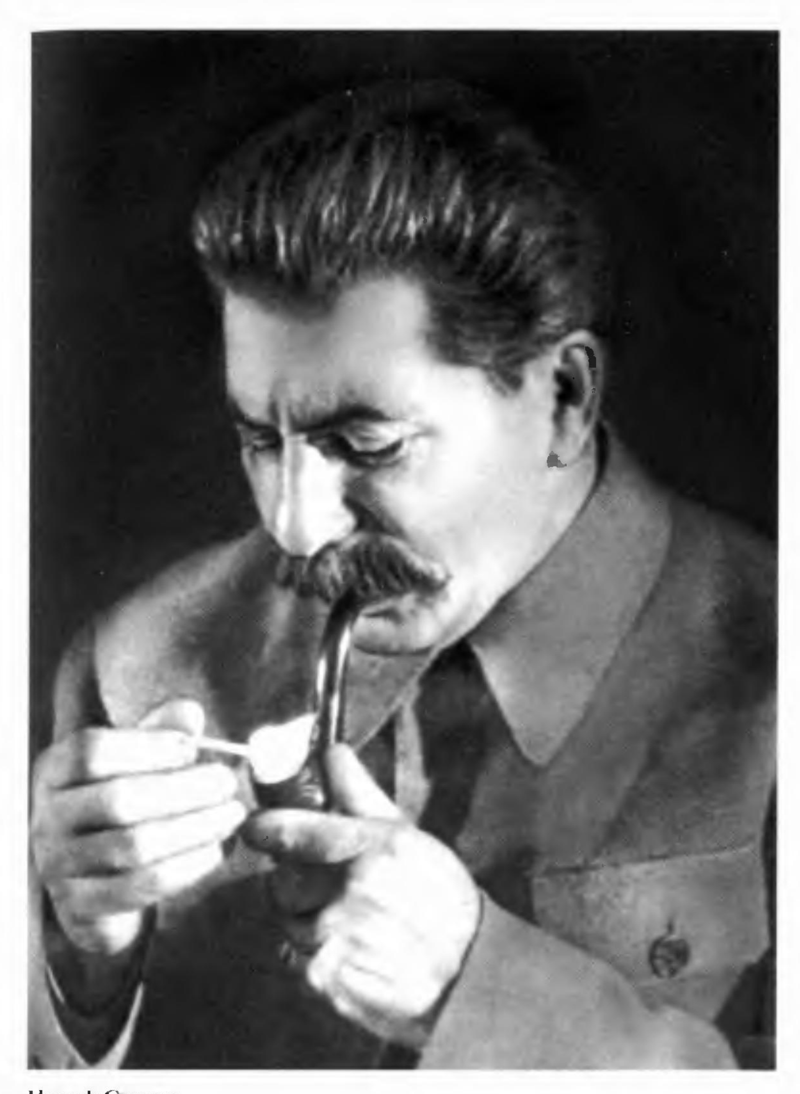
Михаил Шолохов

Октябрьский парад писателей, возглавляемый Максимом Горьким: Михаил Шолохов, Фёдор Панфёров, Фёдор Гладков, Борис Пильняк, Леонид Леонов, Ильф и Петров с золотым телёнком.
Дружеский шарж Б. Пророкова. «Литературная газета». 1932 г.





Леонид Леонов. *1940 г.*
«"Игра его была огромна", — пишет Леонов о Глебе Протоклитове в самом начале романа "Дорога на Океан"... Но насколько огромна была игра самого Леонова!.. Срисовать Протоклитова с себя — это уже в известном смысле явка с повинной. Но Леонов знал, что делал, и делал это умышленно. Это было его и забавой, и аккуратно расставленной самому себе западнёй»



Иосиф Сталин.

«Сцена, в которой появляется Курилов в начале "Дороги на Океан", — она словно бы со Сталина списана, с натуры... Сама фигура Сталина, его нечеловеческий эксперимент над человеческим веществом куда больше волновали Леонова, чем социализм как таковой. Без всякой иронии Глеб Протоклитов говорит однажды о Курилове: "Этот человек играет большую роль в моей судьбе. Он как громадная планета, и я — её ничтожный спутник. Пятнадцать лет я вращаюсь в её орбите и всё не могу вырваться"»



Леонид Леонов с режиссёром и актёром Юрием Завадским в своём кабинете в квартире на улице Горького.
Москва. Конец 1930-х гг. Фото из архива Н. Л. Леоновой



Леонид Максимович Леонов. *1953 г.*
Фото А. Лесса



Л. М. Леонов и Вл. И. Немирович-Данченко в день открытия музея А. М. Горького. *Москва. 4 ноября 1937 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой*

Всеволод Иванов с сыном Вячеславом. *Москва. 1930-е гг.*



Павел Васильев с женой Еленой Вяловой. *Середина 1930-х гг.*









Борис Пастернак

Михаил Булгаков

Дом Союза советских писателей. *Москва. 1947 г.*





Леонид Леонов
и Константин Федин
в писательском
посёлке
Переделкино.
1950 г.

Валентин Катаев
в рабочем кабинете.
Москва. 1952 г.





Одно из увлечений писателя – резьба по дереву.
У токарного станка в квартире на улице Горького. *Москва. 1950 г.*
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Татьяна Михайловна и Леонид Максимович Леоновы
с дочерьми Наталией и Еленой. *1950 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой*





Александр Фадеев

Леонид Леонов
и Вадим Кожевников
(слева)
за писательскими
разговорами.
1950 г.





В почётном карауле у гроба Сталина:
Илья Эренбург, Константин Федин, Николай Тихонов, Леонид Леонов.
8 марта 1953 г.

Похороны Александра Фадеева. *Москва. 1956 г.*





Леонид Максимович с внуками Николаем и Татьяной. *1960 г.*
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Леонид Леонов (в центре) с сербской поэтессой Десанкой Максимович.
Югославия. 1956 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой





Л. М. Леонов в Музее-квартире Ф. М. Достоевского на Божедомке.
Москва. 5 июля 1972 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой

Писательский отдых в Крыму: Василий Ардаматский (второй слева) и Леонид Леонов (крайний справа).
Нижняя Ореанда. 1970-е гг. Фото из архива Н. Л. Леоновой





Болгарская прорицательница Ванга:
«Леонид Леонов — благословенный...»

Владимир Высоцкий в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» по киноповести Л. Леонова.
1975 г.



Болгарская осень 1980 года. С Любомиром Левчевым у памятника писателям, погибшим во Второй мировой войне. *София. Октябрь 1980 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой*



Леонид Леонов и Наталия Леонова, дочь писателя, с болгарскими писателями Георгием Джагаровым и Любомиром Левчевым. *Фото из архива Н. Л. Леоновой*

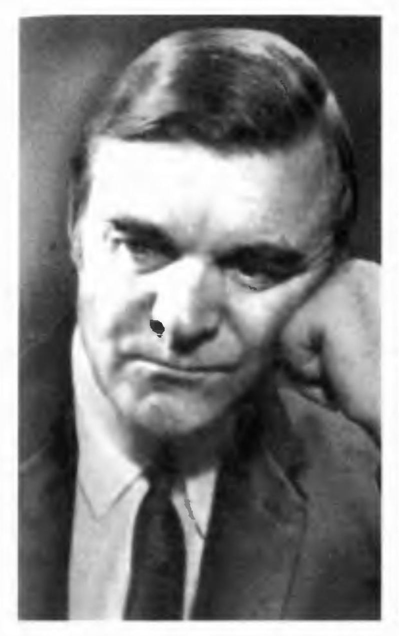




С венесуэльским писателем Мигелем Отеро Сильвой (слева). *1980 г.*
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Леонид Леонов (в центре) на Московской книжной ярмарке.
Начало 1980-х гг.





Юрий Бондарев



Валентин Распутин

Академик И. В. Петрянов-Соколов (второй слева),
Леонид Леонов (в центре) и Владимир Солоухин (второй справа).
Москва. Кремль. 1980-е гг. Фото из архива Н. Л. Леоновой





Визит
М. С. Горбачёва
к Л. М. Леонову
в день
90-летнего юбилея
писателя.
1989 г.
Фото из архива Н. Л. Леоновой

Юбилейная съёмка фильма.
Тележурналист Татьяна Земскова,
академик Борис Раушенбах
и Леонид Леонов
в домашнем кабинете писателя.
1989 г.
Фото из архива Н. Л. Леоновой





Из последних фотографий Леонида Леонова. В гостях у него писатель, путешественник, телеведущий Василий Песков и издательский деятель Борис Стукалин. *1993 г. Фото из архива Н. Л. Леоновой*

Осиротевший кабинет писателя в его последней квартире на Большой Никитской. *Москва*





«Его отпевали в храме Вознесения Господня у Никитских ворот —
том самом, где, говорят, венчались Пушкин с Гончаровой.
Незадолго до ухода Леонов вновь вспоминал о своём памятном детском сне:
где луг, и Бог, и его оборванное благословение...
И вновь, как в детстве, потемнело небо, и показалось,
что солнце больше не проглянет.
Но здесь три сложенных перста почти коснулись лба его —
где так долго зрели сомнение и мука...»


ISBN 978-5-235-03318-4
9 785235 033184 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ